



ВСТРЕЧИ
С ПРОШЛЫМ



VII



ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ





ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Выпуск 7



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1990

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СССР

Выпуск 7

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

И. Л. Андронников

Н. Б. Волкова (ответственный редактор)
И. И. Аброскина
К. Н. Киряленко
И. П. Сиротинская
С. В. Шумихин

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ, СООБЩЕНИЙ, ОБЗОРОВ:

*И. И. Аброскина, Е. М. Бень, И. Э. Бердан, С. Г. Блинов,
Е. В. Бронникова, Н. Б. Волкова, С. Д. Воронин,
Е. И. Горская, А. Д. Зайцев, К. Н. Кириленко,
Н. А. Коробова, Е. Б. Коркина, Н. Г. Королева,
М. В. Криштофова, А. В. Маньковский, А. К. Пушкин,
М. А. Рашковская, Л. Л. Родионов, И. П. Сиротинская,
Н. В. Снытко, Д. М. Фельдман, С. В. Шумихин*

В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

*О. Л. Андрианова, С. Г. Блинов, К. Н. Кириленко,
С. Ю. Митурич, И. П. Сиротинская, С. В. Шумихин*

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ:

Н. В. Снытко


ПРОВЕРКА И СВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ ТЕКСТОВ,
ОБЩАЯ УНИФИКАЦИЯ:

К. В. Айдарова, С. Г. Блинов, А. В. Маньковский

ПОДБОР ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
И СОСТАВЛЕНИЕ ИМЕННОГО УКАЗАТЕЛЯ:

Е. В. Бронникова

Художник А. В. Денисов



В СБОРНИКЕ «ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ» —
ЛИТЕРАТУРА, ТЕАТР, КИНО,
МЕМОУАРЫ, ДНЕВНИКИ.
ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ИМЕ-
НА ИЗ ТЕХ, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ.

Глеб АЛЕКСЕЕВ

А. С. ГРИН

Н. ГУМИЛЕВ

ДОН-АМИНАДО

С. ДУРЫЛИН

С. КРЖИЖАНОВСКИЙ

А. КРУЧЕНЫХ

М. КУЗМИН

В. МАЯКОВСКИЙ

С. НАРОВЧАТОВ

Ю. ОКСМАН

Е. Н. ОПОЧИНИН

Б. ПАСТЕРНАК

Тов Александр
и С. С. Гусев.

Н. Зинин

С. Дуранин
А. С. Кручинин

А. Гусев

А. Кузнецов

В. Мачковски

Chapman

Sh. Ormonde

W. Orman

Macgregor

Dr. Murray

A. Thompson

W. G. G. G. G.

J. M. M.

J. W. W.

Бор. ПИЛЬНЯК

А. ТРИШАТОВ

Владислав ХОДАСЕВИЧ

Федор ШАЛЯПИН

Г. ШЕНГЕЛИ

ОТ РЕДКОЛЛЕГНИ

Перед вами 7-й выпуск сборника материалов ЦГАЛИ СССР «Встречи с прошлым». Вот уже около двадцати лет продолжается знакомство читателей с богатствами, хранящимися в нашем архиве. Собрание документов и материалов по литературе и искусству, представленное в ЦГАЛИ, — одно из крупнейших в мире.

Каждый из семи выпусков «Встреч с прошлым», при единстве сложившейся структуры (публикации и сообщения, обзоры фондов, хроника), имеет свое лицо. 7-й выпуск преимущественно посвящен литературе, истории и истории литературы. По сравнению с предыдущими выпусками в нем представлено большее количество прежде не публиковавшихся литературных произведений как известных авторов, так и тех, кого читателю еще предстоит для себя открыть. Здесь — рассказы С. Д. Кржижановского и А. Тришатов, главы из романа-хроники Г. А. Шенгели, черновой вариант незаконченной поэмы Н. С. Гумилева, стихи и главы из воспоминаний одного из родоначальников русского футуризма А. Е. Крученых, очерк Бориса Пильняка, стихи, фельетоны и афоризмы Дон-Аминадо. Публикации сборника возросли в объеме; если произведение печатается не полностью, то из него отобраны цельные, достаточно большие отрывки, дабы свести к минимуму купюры внутри текста.

По-прежнему много публикаций из эпистолярного наследия деятелей отечественной культуры. Это письма В. Ф. Ходасевича Ю. И. Айхенвальду, Ф. И. Шаляпина жене и дочери, С. С. Наровчатова О. Ф. Берггольц, В. Е. Ардова С. И. Юткевичу и др. Особо следует выделить по своей глубокой духовной и интеллектуальной насыщенности переписку Б. Л. Пастернака и С. Н. Дурылина.

Среди публикуемых воспоминаний и мемуаров привлекают внимание главы из воспоминаний врача М. М. Мелентьева «Мой час и мое время». Мелентьев — не писатель, не профессиональный литератор, но с каким интересом читается

его правдивый рассказ о пережитом в 1920—1930-е годы. Мы предполагаем и в будущем представлять на страницах наших сборников подобные «свидетельства эпохи» из фондов ЦГАЛИ.

Много нового может почерпнуть читатель из воспоминаний современников о Владимире Маяковском, фрагменты которых охватывают всю его жизнь — от рождения до трагического конца 14 апреля 1930 года, а также раскрывают историю посмертного «бронзовения» поэта, в одночасье по резолюции Сталина признанного «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

О литературе русского зарубежья, кроме упомянутых уже публикаций писем В. Ф. Ходасевича и материалов из парижского архива Дон-Аминадо, рассказывают очерки Глеба Алексеева, дающие портреты русских писателей, живших в начале 1920-х годов в Берлине, и «Заграница» Бориса Пильняка.

Надеемся, что с интересом будут приняты читателем и авторское вступление М. Кузмина к своим дневникам, и набросок сюжета ненаписанного рассказа, продиктованного смертельно больным Александром Грином жене, и история архива горьковского издательства «Знание», и письма читателей в редакцию «Нового мира», посвященные появившейся на страницах журнала в 1962 году повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и обзор богатейшего архивного фонда литературоведа Ю. Г. Оксмана, да и другие материалы сборника.

Археографические принципы передачи текстов остались, в основном, прежними. Купюры в публикациях обозначаются отточием в квадратных скобках. Как может заметить читатель, знакомый с предыдущими выпусками, их стало несколько меньше; однако иные публикуемые источники настолько обширны, что поместить их в сборнике целиком, как бы этого ни хотелось, — невозможно; отсюда — неизбежные сокращения.

МЕССА ПО МИНУВШЕМУ

Театр издавна называли храмом муз. В современной жизни архивы, наряду с музеями и библиотеками, выполняют функцию храмов культуры. Подобно старинным монастырям, хранившим за своими крепостными стенами бесценные манускрипты, чтобы оставить потомкам летопись деяний и помыслов предков, архивы сберегают память о подробностях жизни и духовной активности людей, от иных из которых в противном случае не осталось бы и следа. Но не только сберегают. Время от времени ими совершается своя месса — воскрешение забытого, встречи с прошлым.

Сборники, выпускаемые ЦГАЛИ — выход за монастырские стены в большой свет, имеют свою сложившуюся традицию. Как много еще нового и любопытного для всякого живого ума скрыто, оказывается, под шифрованной цифирью фондов, описей и папок! Здесь не только новые подробности о людях знаменитых, таких, как Александр Сергеевич или Михаил Юрьевич, по отношению к биографиям которых любая мелочь видится значительной. Здесь и следы жизни людей менее известных и даже вовсе неизвестных, но при мечательных красках своей судьбы или попытками самобытного творчества.

Чтобы осознать значение архивного дела, надо обладать неким минимумом исторического воображения. Увы, для многих архив — это хранилище пыльных, мало кому нужных бумаг. Но того, кто мало-мальски проникся мыслью, что кроме современности с ее сиюминутными заботами есть вечность, бросает в дрожь от одного ожидания — что может еще открыться в пачке старых писем, писанных неразборчивым почерком и перевязанных голубой ленточкой, в желтых бумагах, погруженных в картонку из-под шляп, или под переплетом рассыпающейся от ветхости тетради... Как учащенно билось над этими страницами чье-то сердце, какие страсти там отгорели, какие дерзкие и отчаянные думы одолевали чью-то голову.

Архивистам ведом странный закон, согласно которому

автограф приобретает все большую ценность, удаляясь от времени написания, как будто речь идет о деньгах, положенных в банк под возрастающие проценты. Чем древнее бумага, тем она ценнее уже в силу своей редкости, даже если ее собственное содержание не столь уж и значительно. Грамотки на бересте XII века бесценны даже тогда, когда несут простое житейское сообщение: зовут в гости или фиксируют долг соседа. То, что отнюдь не казалось ценным 100, 50 и даже всего 20 лет назад, в процессе времени обнаруживает как бы новый слой смысла. Жизнь стремительно убегает вперед, заставляя быстро забывать даже простейшие обычаи, привычки, обиход и лексикон времени, но он порой остается закрепленным на бумаге. И какое-нибудь семейное предание, обычная (а тем более не совсем обычная) история двух влюбленных в XIX веке, воскресившая «тени остафьевского парка», остановит сочувственное внимание читателя, даже если никак не соотносится с именами знаменитостей в области литературы, музыки, театра или совсем вскользь прошелестит в ней имя Шопена.

Конечно, обеспечен читательский интерес к материалам из архивов и литературным документам Н. Гумилева и В. Ходасевича, Б. Пильняка и Б. Пастернака, А. Грина и М. Кузмина. По отношению к XIX веку находки не так обильны, и это понятно. Но когда речь идет о русских классиках — Пушкине, Лермонтове, Щедринае, о которых, мнится, мы знаем все, — интересна любая новая деталь, даже если это лишь мнение современника, пересказ чьих-то суждений, переданный мемуаристом слух, как порой в записях Е. Н. Опочинина. Кстати, вопреки ученому пуризму, иной раз записанная сплетня может быть расценена как материал для понимания: сводя на очную ставку мнения, критически оценивая пересуды и версии современников, скажем, вокруг пушкинской дуэли, мы можем лучше оценить, как воспринимали поэта в известном кругу, что о нем, пусть и ошибочно, думали. И это тоже штрих к пониманию общественной психологии среды и ушедшей эпохи.

В истории культуры обычно неосознанно борются между собою два взгляда, которые условно можно определить, как «демократический» и «элитарный». Согласно «элитарному», культурно-аристократическому взгляду заслуживают внимания потомства лишь великие или, по меньшей мере, заметные имена, исторически значительные события. Все прочее — обсервки культуры. Демократический взгляд шире: он распространяет свой интерес на людей, не замеченных историей. И это справедливо. Ведь в конце концов любая писаная

история лишь сжатый конспект жизни, сгусток событий. Сама жизнь, протекшая в ушедших веках, складывалась куда полнее, причудливее и красочнее.

Льву Толстому принадлежит наблюдение, что история литературы не всегда справедлива и внушаема идолами успеха. Она интересуется решительно всем, что вышло из-под пера известного писателя, хотя у всякого гения и мудреца можно найти вещи случайные и неудачные. Зато у забытых и пренебреженных толпой писателей, которых зовут «малыми», «второстепенными», есть, как правило, одна-две вещи, пусть небольшой рассказ, вдохновенная страница, которые куда выше почитаемых неудач фаворитов общественного внимания.

Листая литературные справочники и библиографии, буд-то ходишь по кладбищу с обомшелыми памятниками и оплывшими бугорками былых могил. Сколько в литературе, в истории искусства безвозвратно погаснувших миров, незаслуженно забытых лиц! Понятно стремление Николая Федоровича Федорова, автора «Философии общего дела» и одновременно замечательной статьи «Музей», воскресить так или иначе всех прежде живших предков в их никогда не повторенной индивидуальности. Пусть эта благороднейшая идея утопична. Но утопична цель, а не стимул. Победа над смертью как над забвением — вот что в доступных для себя рамках делает архив, открывая свои шкафы и сейфы и вынося к широкой публике рассказ о забытых именах и судьбах. Иногда ведь забвение касалось и очень одаренных людей. Почему не было им удачи при жизни? Я не имею здесь даже в виду тех очевидных случаев, когда о забвении специально заботились их преследователи, загонявшие их в каменный мешок. Но иному, может быть, не хватило характера, чтобы утвердить себя в общем сознании, или настойчивости труда. А может, так сложилась судьба, что талант их не смог вполне развиваться. Или они не совпали с самочувствием времени, духовно выпадая из своей современности, и оттого не получили отзвука? Так или иначе, а архив делает благородное дело, стремясь познакомить с образцами творчества Глеба Алексеева, С. Қржижановского или А. Тришатова. Они не были услышаны по-настоящему в 20—30-е годы и превратились как бы в давно растаявшие тени. Теперь они возвращаются к нам частицами своего духовного «я».

Листая эту книгу, когда она еще была рукописью, я ловил себя на сложном чувстве: будто где-то совсем рядом тикал хронометр, который с приближением к нам десятилетий и лиц становился все громче, чеканнее. Передо мною

стали проходить уже знакомые мне события, слышались хорошо известные голоса — я как бы увидел те светящиеся точки за последнюю четверть века, где мое и наше недавнее литературное настоящее становилось прошлым, с которым можно встречаться лишь памятью или на бумаге.

Вот мелькнуло имя Георгия Шенгели — боже мой, да я его помню: когда я учился на первом курсе, он вел у нас факультатив по стиховедению и я захаживал в эту аудиторию. Упомянута Евдоксия Федоровна Никитина... Да ведь это гимназическая учительница словесности моей матери, перед революцией она преподавала в Чернявско-Усачевском училище! Но ведь и я ее знал, даже выступал на одном из последних «Никитинских субботников», году этак в 1970-м.

Об этом стоит вспомнить. Ведь по субботам каждый без особого приглашения мог войти в эту большую старую квартиру во Вспольном переулке, повесить свое пальто на вешалку и сесть на один из стульев, расставленных двумя-тремя рядами по периметру обширной комнаты. Величавая старуха с поредевшими до пролысинок, но взбитыми рыжеватыми волосами открывала заседание звоном большого медного колокольчика. По неизменному ритуалу гостям подавалась в перерыве чашка чая и два бутерброда — один с колбасой, другой с сыром. Мне рассказывали, что так повелось с 20-х голодных годов. Между прочим, и это угощенье привлекало сюда молодых писателей, живших отнюдь не роскошной жизнью, и они охотно сходились на «субботники», где единственным строго соблюдаемым правилом было: по прочтении своего рассказа, стихотворения или эссе оставить рукопись в архиве хозяйки. Да еще желательно было к тому же написать и отдать ей свою автобиографию. Евдоксия Федоровна рассказывала мне, что после закрытия в начале 30-х годов кооперативного издательства «Никитинские субботники» сотрудники НКВД не раз наведывались в ее дом по случаю ареста то одного, то другого писателя, покушаясь на его бумаги. «Я нарочно никогда не разбирала свой архив, сваливала одно на другое», — объясняла мне Евдоксия Федоровна. А своим непрощеным визитерам говорила: «Сама не знаю, где у меня что, ищите, что вам нужно...» И делала царственный жест рукой на забытые доверху бумагами огромные шкафы. Распахнув дверцы и подняв облако пыли, ее посетители быстро понимали бессмысленность этой задачи — одних автобиографий писателей Никитина собрала несколько тысяч, и это поистине бесценная коллекция — жаль, что она использована до сих пор лишь в небольшой части.

Память потянула свою нить, зацепившись за фамилию

Никитиной. Но я мог бы вспомнить и мелькнувшего на других страницах Сергея Павловича Боброва — математика и поэта из «Центрифуги». Мы не были знакомы, но в 60-е годы, после выхода моей книги «Толстой и Чехов», он вступил со мной в оживленную переписку, и я мог оценить тогда нетривиальность его суждений и преданность уже на склоне лет интересам литературы. И уж что говорить об Иване Сергеевиче Соколове-Микитове, о котором ведут речь в сборнике его старые знакомцы по Берлину 20-х годов. Я не только хорошо знал, но, отважусь сказать, и дружил с ним, тогда уже ослепшим старцем. И, читая теперь о его молодости, вижу, как стойко пронес он через всю жизнь благороднейшие черты чистой, правдолюбивой природы — с молодых лет и до последних дней. Вижу то же заросшее, но не молодой черной, а серебристой щетиной лицо, узнаю знакомое мудрое нетщеславие русского до мозга костей человека.

Я уж не говорю про таких людей более близкого к моему поколению, как Ольга Федоровна Берггольц или Александр Исаевич Солженицын, — с каждым из них что-то связано у многих из нас, в том числе и у меня. Восторженные и негодующие письма читателей по поводу «Одного дня Ивана Денисовича», обзореваемые в этой книге, я держал в свое время в руках в редакции «Нового мира», куда они были адресованы.

Замечу, кстати, что кроме «Нового мира» среди немногих организаций, выдвинувших в 1963 году повесть А. И. Солженицына на соискание Ленинской премии, был Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Такое чутье к истинным, а не эфемерным достоинствам, подлинной мере заслуг в литературе, делает честь его сотрудникам. Сейчас, спустя более чем четверть века, очевидно, что они не ошиблись, проявив интерес к сложной и значительной фигуре писателя, так ярко дебютировавшего в нашей литературе и так прочно вписавшего себя в ее историю.

Современники обычно беспечны к сохранению и собиранию старых бумаг. Но была и еще одна причина бедности семейных и личных писательских архивов за минувшие полвека с лишком. Не всякая эпоха благоприятствует хранению рукописей да и просто писанию откровенных дружеских писем, дневников, воспоминаний — то есть тому роду неофициальной литературы, которая и пополняет такие архивы, как ЦГАЛИ. Множество ценнейших автографов, свидетельств, письменных документов утрачено, по-видимому, безвозвратно в 30—50-е годы. Дневники сжигались владельцами, письма становились короче и скучнели, у людей онемевал язык.

А сколько рукописей было арестовано вместе с их владельцами и исчезло без следа! Те же, что попадали в архив, терялись в этой бездонной пучине бумаг, зачастую неописанные или снабженные тайным шифром. Архивы становились крепостями за семью печатями, а скудость новых поступлений была как бы запрограммирована.

Однако старинный библейский текст гласит, что есть время собирать камни и есть время их разбрасывать. Применительно к архивным заботам можно сказать: есть время собирать архивы и есть время возвращать их читателям, обществу в виде публикаций и книг.

Такое время наступило.

В. Лакшин

**ПУБЛИКАЦИИ
И
СООБЩЕНИЯ**

ДВЕ ТЕНИ ОСТАФЬЕВСКОГО ПАРКА

Публикация Н. В. Смытко

Среди многочисленных архивов знаменитостей XIX века, сберегаемых в ЦГАЛИ, есть небольшой архив Елизаветы Сергеевны Дёлер (ф. 752), всего 736 единиц хранения, а по сути гораздо меньше, так как к фонду присоединены материалы родственников Е. С. Дёлер, относящиеся к XX веку.

Чем привлекает этот архив наше внимание? Прежде всего приходит в голову, как это графиня Елизавета Сергеевна Шереметева, а такова была ее девичья фамилия, стала женой простого смертного, подданного Луккского герцогства, что в Италии, Теодора Дёлера. То, что был он пианистом и даже композитором, отнюдь не украшало его в глазах русской аристократии, к которой принадлежали графы Шереметевы, когда-то первыми в России получившие графское достоинство. Скорее наоборот. Пианист при Николае I почитался артистом. А чтобы понять, что значило слово «артист» во времена, когда жили и любили действующие лица нашей первой истории (а их будет две), вспомним импровизатора из «Египетских ночей» Пушкина.

История самоотверженной любви графини Шереметевой к заезжому гастролеру пианисту Теодору Дёлеру заслуживает внимания хотя бы своей неординарностью.

Проходят годы, и Елизавета Сергеевна Дёлер, испытавшая большую любовь, отвоевавшая свое счастье, после десяти лет, прожитых за границей, возвращается вдовой на родину и становится свидетельницей и поверенной другой большой

любви — любви своего племянника графа Сергея Дмитриевича Шереметева и Екатерины Павловны Вяземской, внучки друга Пушкина поэта Петра Андреевича Вяземского. Так на листах одного архива переплелись истории двух женских судеб, возникли две женские тени.

Начнем с первой истории. Елизавета Сергеевна Шереметева (будем пока называть ее Лизочкой) родилась в 1818 году. Отец ее, граф Сергей Васильевич Шереметев, хотя и принадлежал к одному из древнейших родов Российской империи, не занимал видного общественного положения, но семья имела родственные связи со всеми знатнейшими фамилиями того времени: Голицыными, Львовыми, Вяземскими, Муравьевыми, Горчаковыми и др. Казалось бы, выбор мужа, равного по происхождению, затруднений не представлял, тем более что родственник ее, Б. Б. Алмазов, свидетельствует, что, «унаследовав чудную красоту своей матери, Елизавета Сергеевна в молодости блистала в высшем московском обществе, пленяя всех своей необыкновенной грацией и приветливостью» (ф. 752, оп. 1, ед. хр. 9, л. 3 об.). Но девушка ждала, она не мыслила себе брака без большой любви, брака по расчету. Быть может, тут сыграло роль полученное ею воспитание. Росла она под влиянием матери, Варвары Петровны, урожденной Алмазовой (Сергей Васильевич Шереметев умер в 1834 году), а это была женщина незаурядная, обладавшая широким кругозором, имевшая убеждения, часто не совпадавшие с общепринятыми. Она сумела привить своей любимой младшей дочери любовь к музыке, поэзии, искусству. Лизочка знала французский, немецкий, английский и итальянский языки, недурно рисовала и была хорошей музыканткой. Последнее обстоятельство сыграло в ее жизни важную роль и привело к тому, что, преодолев с помощью матери множество препятствий, она стала женой пианиста и композитора Теодора Дёлера. Для нас сейчас его имя — звук пустой. Но когда-то в Европе его ставили в ряд с величайшими пианистами. Генрих Гейне в своей «Лютении» («Музыкальный сезон 1844 года») назвал его «самым большим среди маленьких» (Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1958. Т. 8. С. 303).

Но прежде, чем рассказать о том, как сошлись пути графини Шереметевой и Теодора Дёлера, хочется, в качестве предисловия, которое поможет нам донять, почему графиня Шереметева полюбила музыканта, изложить историю путешествия Лизочки с сестрой Анной Сергеевной Шереметевой, женой дальнего родственника, графа Д. Н. Шереметева (сына Н. П. Шереметева и бывшей крепостной его актрисы

П. И. Жемчуговой), по наиболее богатым достопримечательностями городам Западной Европы. Анна Сергеевна, кроме младшей сестры, захватила с собой маленького сына Николеньку. Не миновали сестры и Парижа, где пробыли весь театрално-музыкальный сезон 1842/43 года. Именно в Париже Лизочке Шереметевой выпало редкое счастье — она брала уроки у самого Шопена. Это доказывает, что была она не бездарной дилетанткой. Бездарной девице Шопен уроков давать бы не стал.

Но, упомянув о том, что Лизочка Шереметева брала уроки у Шопена, невозможно умолчать, что в фонде 752 сохранились дневники ее (оп. 1, ед. хр. 15 и 16) и сестры Анны Сергеевны (ед. хр. 600) именно за это время. Дневник последней немногословен и сух. Перечисляются без комментариев виденные достопримечательности, спектакли, слышанные оперы и концерты, имена знаменитых певцов, певиц, актрис и актеров. О Шопене тоже кратко: «был тогда-то», «в таком-то часу дал урок Лизе». Не то дневники Лизочки. Они трогательны своей наивностью и бесхитростностью. Девушка, путешествуя с родной сестрой, чувствует себя одинокой. Уж очень они разные: мечтательница и рациональная светская дама. Пока Лизочка гуляет с маленьким племянником в Тюильри, Анна Сергеевна посещает парижские магазины и салоны светских знакомых. Надо отдать ей справедливость: в оперу они ездят вместе. Но такая женщина за музыканта замуж не вышла бы! Невольно вспоминаешь письмо Лизочки Шереметевой своему жениху Теодору Дёлеру, написанное в 1846 году, после того как мать ее уже дала согласие на этот брак: «На бале его величество подошел к моей сестре Аннет и спросил, правда ли, что он слышал о моей помолвке, и неужели она и вся семья не знает, что разрешение на этот брак может дать только он и брака девушки, носящей одну из знатнейших фамилий, с артистом он никогда не разрешит. Пусть сестра передаст матери, что этот брак он запрещает» (ф. 752, оп. 1, ед. хр. 558, л. 139). Нет, не случайно Николай I высказал свое возмущение именно Анне Сергеевне, а не кому-либо другому из многочисленной родни.

Но все это было потом... А сейчас перед нами лежат дневники Лизочки Шереметевой.

«22 октября 1842 г. Выехали из Страсбурга в 7 часов утра. Остановились пообедать в Сарребуре, красивом городке, уже во Франции. Любопытно слышать только французскую речь, видеть всех мужчин в блузах, колпаках и неуклюжих сабо [...]. Переваляли Вогезы. Ночевать остановились в Нанси.

Было так холодно, что всю ночь топили камин, как в Страсбурге. В Нанси оставались до полудня: ходили смотреть часовню, в которой покоятся все Лотарингские герцоги [...]. Едем через Линьи, Куломье [...]. Непередаваемое ощущение, ночью мы будем в Париже.

25 октября. Мы в Париже в отеле «Рейн». Будучи в пути половину ночи, вторую половину я проспала превосходно. Но мне не терпелось взглянуть на этот знаменитый город. Переступив порог, я осенила себя крестным знамением, прося Бога хранить меня; ведь я живу не по своей воле и я так одинока. Никто сейчас не скажет мне: «ты поступила как должно», все готовы только осудить».

26 октября Анна Сергеевна нашла квартиру на Итальянском бульваре. Вечером сестры смотрели балет и восхищались Карлоттой Гризи и Петипа. И все же 27 и 28 октября Лизочка пишет: «Не могу выразить, как мне тяжело чувствовать себя такой одинокой. Мне так все безразлично, что я радуюсь, когда настает пора ложиться спать [...]. Кроме старинных храмов и красивой природы я не нахожу ничего прекрасного за границей. Люди мне не нравятся, они мне чужие» (там же, ед. хр. 15, л. 44—49).

Но радость на пороге. Лизочка пишет, что в квартиру привезли чудесный рояль Эрара, что у сестры был с визитом В. Ф. Ленц — русский пианист, ученик Шопена. Он много говорил о Шопене, назвал его «последним лучом заходящего солнца». И наконец, 9 ноября 1842 года Лизочка в первый раз видит Шопена, который пришел дать урок приятельнице Анны Сергеевны — Мари Крюденер. «Его нельзя назвать красивым, он невысок, худощав, лицо его болезненно и выразительно. Он играл сонату Бетховена» (там же, л. 60 об. — 63).

С этого дня девушка записывает в своем дневнике впечатления от каждого посещения Шопена, от его игры: «Приходил Шопен, дал урок [Мари Крюденер]. Затем играл свои ноктюрны и мазурки. Играл так, что хотелось преклонить колени» (там же, л. 65—66); «Приходил Шопен, играл свой «Меланхолический вальс» и этюды. Его игра не от мира сего, она так нежна, так трепетна, что даже ангелы ее бы заслушались» (там же, л. 72); «О, как я хотела бы быть его ученицей. Но это невозможно. Слишком многие хотят того же» (там же, л. 74 об.).

Однако мечта Лизочки сбылась.⁶ 16 декабря 1842 года она взяла у Шопена первый урок. Она записывает подробности посещений Шопена, его доброту к талантливому мальчику пианисту Фильчу, совместную поездку к Плейелю, где Шопен

«играл больше часа, как ангел» (там же, ед. хр. 16, л. 9 об.—11).

Но счастье было недолгим. 20 января 1843 года Лизочка пишет: «Вот и последний урок. Мы нежно простились, с надеждой возобновить уроки весной [...]. Увезли рояль, на котором столько играл Шопен» (там же, л. 16 об.).

Записей в дневнике много. Фрагменты из них приводит С. А. Семеновский в статье «Русские друзья и знакомые Шопена» (Русско-польские музыкальные связи. М., 1963. С. 119—137). Укажем также, что дневник дополняют письма Елизаветы Сергеевны к матери Варваре Петровне из Парижа, в которых она восторженно пишет о встречах с Шопеном. Письма эти хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ф. 1287, оп. 1, ед. хр. 3094, ч. 1; ед. хр. 3095, ч. 2). Выдержки из них приведены в приложении к «Письмам Шопена», т. 2 (М., 1980. С. 328—335).

Но все это, быть может, слишком длинная присказка — сказка будет впереди.

Сестры возвратились в Москву. Лизочка читает, играет на рояле, мечтает, ждет... И вот в Россию приезжает на гастроли Теодор Дёлер. Кстати, они и не подозревали, что в Италии в 1843 году жили почти рядом друг возле друга. 24 февраля 1845 года они познакомились. Уже 25 апреля Лизочка пишет Дёлеру: «Тороплюсь поблагодарить Вас за прелестный сюрприз, который сестра передала мне, г-н Дёлер, от Вашего имени. Я очень благодарна Вам за то, что Вы меня не забыли, но признаюсь, что смотрю на Ваш вальс и не решаюсь его сыграть. С нетерпением жду, когда Вы исполните его сами. Рояль молчит после Вашего отъезда, он грустит с тех пор, как Вы на нем не играете» (ф. 752, оп. 1, ед. хр. 558, л. 1). Ноты этого вальса «Valse non dansante»* сохранились (там же, ед. хр. 523).

Незаметно пролетели два месяца, и Лизочка пишет: «Милый г-н Дёлер, сегодня две недели, как мы не виделись, и эти две недели показались мне месяцами...» (там же, ед. хр. 558, л. 21). 30 августа Дёлер назван «дорогим Дёлером», 28 сентября — «милым г-ном Теодором», и наконец 29 октября она заверяет своего любимого: «Милый Теодор, отныне разлучить нас может один Господь Бог» (там же, л. 35).

Мать Лизочки не восстала, как того можно было ожидать, против любви дочери к заезжему музыканту. Дёлер пришелся ей по душе. Но еще 26 июля 1845 года она ему пишет: «В своем письме ко мне Вы утверждали, что отсутствие титула и

* «Вальс не для танцев» (фр.).

большого состояния не дает Вам права на руку моей дочери. Все это не имеет значения, если только люди по-настоящему любят друг друга. Вот почему мне хочется быть уверенной в силе Вашего чувства [...]. Соглашаясь на желание Лизы, сочувствуя ее любви к Вам, я жертвую собой — различие религий, необходимость покинуть родину, ибо мысль о возможности вам поселиться в России — иллюзия; не буду скрывать от Вас, что не только родственники, но и все мои знакомые никогда не простят мне моего согласия. Так какая же Вам радость жить в стране, где на Вас смотрят сверху вниз?... Здесь все будет давать ей [дочери] почувствовать, что отныне она «жена артиста», и все будут повторять эти слова с удовольствием» (там же, ед. хр. 586, л. 6 об.—7 об.).

В ноябре Варвара Петровна добавляет: «Советую Вам обзавестись если не титулом, то хотя бы дворянским дипломом. Вам мои слова покажутся чем-то смешным и несерьезным. Но потом Вы поймете, что я была права» (там же, л. 22).

Варвара Петровна заранее предугадывала, сколько трудностей придется им всем преодолеть. Николай I был непреклонен. Он ревностно заботился о недопущении «мезальянса». И тогда мать пишет отчаянное письмо брату Николая I, великому князю Михаилу Павловичу. Письмо в наши дни кажется странным и даже смешным. Ведь речь идет о пианисте и композиторе, человеке достойной и уважаемой, по современным меркам, профессии.

«Ваше императорское высочество, милостивое благоволение Вашего имп. выс., которым я до сих пор была осчастливлена, дает мне смелость прибегнуть к Вам в минуту весьма тяжелую для сердца матери и вместе с тем обнадеживает, что Ваше имп. выс. не откажет в высоком покровительстве в деле, от которого зависит счастье младшей дочери моей.

Вашему имп. выс. вероятно известно, что она помолвлена за Дёлера. Он артист, но душевные его качества, ум и образование привлекли не только внимание, но и любовь моей дочери. Несмотря на это, мысль выдать ее за человека не равного с пей состояния, гордость древней фамилии нашей, оскорбленное самолюбие не позволяли мне долго согласиться на это. Дочь моя покорилась моей воле, но занемогла. Она давно страдала болью в глазах, но в это время зрение ее так ослабло, что призванные донтора объявили мне, что от всякого душевного потрясения она может лишиться зрения. Могла ли я дальше противиться желанию ее? Собрав все возможные сведения о Дёлере, которые все были к его чести, успев узнать его коротко в течение целого года, с согласия

сыновей и зятей моих, я позволила дочери выйти замуж за Дёлера и утешалась ее счастьем. Каково же мне было слышать, что государь император не только что не одобряет этого брака, но твердо намерен запретить его. Его императорское величество изъявил негодование свое дочери моей графине Шереметевой [Анне Сергеевне] говоря, что брак этот нанесет срам фамилии, оскорбит общество — происхождение и состояние Дёлера ничего не имеют позорного: семейство его весьма уважаемо в герцогстве Луккском, всегда было приближено ко двору, отец его был воспитателем наследного герцога, и Федор Дёлер, жених моей дочери, только семь лет тому назад решился, с позволения владетельного герцога, употребить свой талант в пользу небогатого своего семейства: причина, побудившая его сделаться артистом, приносит ему честь. Теперь же, имея обеспеченное состояние, он снова возвращается в прежний быт свой, а герцог, узнав, что Дёлер женится на русской дворянке, обещал его самого возвести в дворянское достоинство и сделать, сказал герцог, для него больше, чем он может ожидать. Дочери моей 26 лет, она младшая в семействе, старшие обе за Шереметевыми и имеют сыновей, следовательно, род наш от этого брака не прекращается. Состояние, которое я могу дать дочери, так мало, что не нанесёт ущерба имени нашему в России. От общества она давно отказалась, потому что по слабости глаз не может переносить света. И я теперь в ежеминутном страхе, чтоб это новое огорчение не лишило ее зрения.

Представьте себе ужас матери при этой мысли, Ваше имп. выс., и не откажитесь исходатайствовать монаршее согласие на то, от чего зависит спокойствие целого семейства.

Ежели бы Ваше имп. выс. благоволили удостоить меня высоким посещением своим, я бы изустно повторила все причины, побудившие меня согласиться на брак моей дочери, а вместе с тем и имела бы счастье выразить те чувства глубочайшего высокопочитания и искренней преданности, с которыми пребуду навсегда Вашего имп. выс. покорнейшая слуга. Февраль 1846 г.» (там же, ед. хр. 3, л. 8—9 об.).

Простим Варваре Петровне некоторое сгущение красок. Зрение Лизочки ничуть от любви не пострадало. Вместе с тем обратим внимание, что письмо Варвары Петровны написано на хорошем русском языке, это во-первых, и во-вторых — она считает вполне естественным «удостоиться» визита Михаила Павловича.

А тем временем Теодор Дёлер мчится на родину, и герцог Луккский не только подписывает указ о наследственном дворянстве Дёлера, но и жалует его орденом и титулом барона.

В конце концов Николай I снисходит к просьбе Варвары Петровны, подкрепленной ходатайством великого князя Михаила Павловича. Кажется бы — победа. Но нет, возникает другое препятствие: разность вероисповеданий. Но и тут найдены подходящие статьи Устава духовной консистории. И в апреле Дёлер обращается к Николаю I с просьбой, содержание которой и все фразеологические обороты предварительно тщательно обдуманы доброжелателями:

«Государь! Имея честь снискать согласие г-жи Шереметевой, супруги почившего г-на Шереметева, камергера двора Вашего величества, на руку ее дочери, Елисаветы Шереметевой, осмеливаюсь, государь, будучи Луккским подданным и дворянином, католического вероисповедания, в возрасте тридцати двух лет, умолять Ваше императорское величество даровать мне свое благосклонное разрешение, позволяющее мне осуществить мои желания.

С радостью воспитывал бы детей, дарованных мне Богом, в лоне православной церкви, но, будучи жителем Лукки, я не могу этого обещать.

С глубоким почитанием, осмелюсь, государь, назвать себя Вашего величества верным и покорным слугою.

Т. Дёлер».

Кроме того, он дает подписку:

«Я, нижеподписавшийся, Теодор Дёлер, подданный герцогства Луккского, обязуюсь сим согласно воле его императорского величества, императора всея России, никогда не давать публичных концертов в России со времени совершения брака моего с Елисаветою Шереметевой.

С. Петербург. Теодор Дёлер. Кавалер ордена св. Людовика герцогства Луккского» (там же, л. 11).

Бракосочетание состоялось в «домашней графа Шереметева церкви» 29 апреля 1846 года, и счастливые новобрачные уехали за границу.

Елизавета Сергеевна стала деятельной помощницей мужа: переписывала его сочинения, принимала в своем доме весь музыкальный и литературный мир Европы 1840—1850-х годов. Тому свидетельство — хранящиеся в фонде альбомы с автографами Шопена, Листа, Мендельсона, Россини, Тальберга, Берлиоза и множество других. Автографы Шопена опубликованы, но письмо Берлиоза и другие не менее интересные документы еще ждут своего исследователя. Именно в этот период Дёлер закончил свою оперу «Танкред» по либретто Гаэтано Росси, тема которой была заимствована из стихотворений карбонария, участника движения «Рисорджи-

менто», поэта и драматурга Сильвио Пеллико. Постановки ее в театре Николини во Флоренции, а затем в Риме Елизавета Сергеевна добилась лишь в 1880 году, через 24 года после смерти мужа.

Судьба отпустила Елизавете Сергеевне 10 лет счастья. Дёлер заболел туберкулезом легких, лечение на европейских курортах не помогало, не помогла самоотверженная забота жены, и в феврале 1856 года во Флоренции Дёлер умер.

Елизавета Сергеевна не мыслила себя вдали от родины, покинуть которую заставила ее лишь преданная любовь к мужу. Она хлопочет о дозволении перевезти в Россию прах Дёлера, добивается разрешения после многих хлопот и хоронит его в Москве, на иноверческом кладбище на Введенских горах.

С музыкой и музыкальным миром Елизавета Сергеевна не расставалась и в России. Для нее музыка и любимый человек были неотделимы. Она неизменный посетитель всех концертов, поклонница братьев Рубинштейнов, дружит с братом знаменитого скрипача Генриха Венявского — Жозефом (Юзефом) Венявским, пианистом и композитором, который в 1860-х годах был профессором Московской консерватории. Его письма к ней (там же, ед. хр. 130) свидетельствуют о том, что Елизавета Сергеевна была хорошо осведомлена о событиях музыкальной жизни России.

Интересы Елизаветы Сергеевны не ограничивались музыкой. Оставшаяся после ее смерти библиотека, содержавшая более 500 томов, это убедительно доказывает. В ней сочинения Пушкина, А. К. Толстого, Державина, П. А. Вяземского, Евгении Тур (Салиас де Турнемир), с которой Елизавета Сергеевна была дружна и, судя по письмам последней, очень тесно (там же, ед. хр. 350). Об этом говорят слова Е. Тур в одном из писем: «Дружеские услуги возможны только между очень близкими людьми».

В библиотеке Елизаветы Сергеевны хранился журнал «Русский архив» с 1866 по 1889 год, альбом Пушкинской выставки, «Музыкальная газета» на французском языке, Устав, протоколы и отчеты Общества любителей древней письменности. Были среди книг и сочинения Сергея Дмитриевича Шереметева, доводившегося Елизавете Сергеевне племянником.

С. Д. Шереметев родился в 1844 году. В молодости — блестящий адъютант наследника престола, с годами — член Российской Академии наук, председатель археографической комиссии и Общества любителей древней письменности, основанного в 1877 году Павлом Петровичем Вяземским,

член Государственного совета, обер-егермейстер, издатель сочинений П. А. и П. П. Вяземских и инициатор многих других культурных начинаний. Но для нас сейчас он Сережа Шереметев, он совсем молод и обожает свою тетушку — Елизавету Сергеевну Дёлер, которая, по существу, заменила ему рано умершую мать. Отношения его со второй женой отца не перешагнули границ почтения и учтивости. Тетушка Лиза самый близкий для него человек. В фонде хранится огромное количество его писем к ней — около двух тысяч. Еще будучи мальчиком, он обещал постоянно писать ей и свое обещание выполнил. Письма переплетены в тетради, они настоящий клад для исследователя.

Ограничимся тетрадью с письмами за 1868 год и посмотрим, что представлял собой тогда Сережа Шереметев, которого сразу и безоглядно полюбила Катенька Вяземская. Было ему 24 года. Итак, перелистываем тетрадь в единице хранения 435:

26 января 1868 года он пишет Елизавете Сергеевне: «В общем, должен признаться, что с меня хватит военной службы; полагаю, что пяти лет больше чем достаточно» (л. 7).

7 марта: «Позавчера я был зван к графу Толстому (поэту) и слушал его новую драму «Царь Федор Иоаннович». Вечер был интереснейший. Его новая драма очень талантлива. Боюсь только, что ее не разрешат поставить на сцене [...]. Прекрасна роль царицы Ирины. Граф Толстой удивительно приятный человек, я был счастлив иметь случай с ним познакомиться. Он подарил мне маленькую книжечку — свой перевод «Коринфской невесты» Гете» (л. 20).

16 марта: «...Когда без четверти десять я увидел в дверях [гостиной графини Протасовой] Федора Ивановича Тютчева, то чуть не закричал от радости!» (л. 24). В том же письме он описывает, как читал Горбунов свои «рассказы из русского быта».

18 марта он сообщает Елизавете Сергеевне свои впечатления от 4-го тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»: «...Все действующие лица романа становятся словно родными читателю, а изложение событий 1812 года еще более обостряет интерес. Какой прекрасный дар принес граф Толстой русской литературе!» (л. 27). Сережа уже читал «Преступление и наказание» Достоевского и, хотя остался равнодушен, собирается прочитать «Идиота».

Очень характерны строчки, написанные тоже в марте месяце: «Вчера у меня был брат и битых два часа рассматривал мои альбомы и гравюры. Он очень мил» (л. 27). Речь идет о сыне отца от второй жены, будущем претенденте

на свою долю огромного наследства. Но Сережа об этом не думает — ему нравится, что брат увлекся собранными им альбомами и гравюрами. А наличие их доказывает, что Сережа заинтересовался не только литературой, но и искусством.

23 марта 1868 года — знаменательный день. Он в первый раз встречается с княжной Катенькой Вяземской и ее матерью Марией Аркадьевной, урожденной Столыпиной, в гостиную у Мальцевых (л. 28).

Так почему же полюбил Катеньку Сережа Шереметев? Хоть была она похожа на свою красавицу мать, но в «свете» красавиц было немало, а Сережа Шереметев был завидным женихом, и многие старались покорить его сердце. Богатой невестой Екатерину Павловну Вяземскую никак нельзя было назвать. Хотя отца ее, Павла Петровича, Петр Андреевич Вяземский своевременно отправил на дипломатическую службу в Константинополь, иначе говоря, в глухую дипломатическую провинцию, но страсть к картежной игре сын от отца унаследовал. Подорванное Петром Андреевичем Вяземским состояние продолжало таять и в руках сына. Имения доходов не приносили. Уходили деньги и на «благородную страсть» — коллекционирование картин, скульптур, старинной мебели, гравюр, оружия и пр. Сын Павла Петровича — Петр Павлович, не продолжил линии Вяземских — литераторов, библиофилов, историков. Катенька же с детства впитывала в себя ту атмосферу высокой культуры, которая была свойственна еще прадеду ее Андрею Ивановичу. И пусть носила она дома холстинковые платица, перед Сережей она предстала в сиянии, окружающем внука поэта — друга Пушкина, дочь известного знатока русской старины. С отцом Катеньки — Павлом Петровичем Сережа познакомился на Почтамтской, где тогда были сложены вещи, предназначенные к перевозке в Остафьево.

Елизавете Сергеевне то ли кто-то что-то сказал, то ли она сама что-то почувствовала. Но Сереже приходится объяснять, почему 23 марта он был «так весел». Впрочем, он сообщает, что 24-го снова побывал у Мальцевых, где велись разговоры о «Войне и мире».

По-французски это называется «*coup de foudre*» — «удар молнии», «любовь с первого взгляда». Первая встреча состоялась 23 марта, а 13 апреля Сережа пишет Елизавете Сергеевне письмо, которое просит «никому не показывать». Письмо длинное, сумбурное. И только в конце выясняется, о ком идет речь. Только в конце он признается, что «любит княжну Екатерину Павловну Вяземскую» (л. 33).

Чувство было обоюдным. Предложение принято. Сережа на удивление быстро и органично входит в семью Вяземских. 7 мая он пишет, что собирается в Москву, а оттуда «в Остафьево, что в двадцати пяти верстах от Москвы по дороге на Подольск». И там же: «В Останкинском дворце готовятся к свадьбе. Мне это кажется ужасно странным. Я — и живу в Останкине — чудеса! Однако мысль, что венчаться мы будем в Останкинской церкви, мне приятна» (л. 39).

Пока что в ожидании свадьбы, отложенной по случаю поста, Сережа проводит все свободное время в Петербурге на Почтамтской у Вяземских. Дивится остроумию деда невесты, поражается, как бабушка (Вера Федоровна Вяземская), несмотря на возраст, всегда весела и бодра. Пока что Остафьево со всеми своими сокровищами номинально принадлежит отцу Катеньки, Павлу Петровичу, и он продолжает перевозить туда собранные и купленные раритеты. Но оно заложено и перезаложено. Сыну Павла Петровича значимость и единственность его непонятна. В свое время, после смерти П. П. Вяземского, его выкупит С. Д. Шереметев.

Но сейчас все живы и здоровы. Скоро свадьба, и весеннее небо безоблачно.

25 мая Сережа сообщает Елизавете Сергеевне, что наконец «все едут в Москву, а отец в Кусково» (л. 45).

А вот и другая знаменательная дата. Сергей Дмитриевич Шереметев в первый раз видит Остафьево, к которому впоследствии он так прикипел душой, которому посвятил много прочувствованных строк. 7 июня он пишет Елизавете Сергеевне: «Вчера в полночь я приехал в Остафьево, которое просто очаровательно. Дом обширный и красивый, прелестный запущенный парк. Окрестности тоже мне нравятся...» (л. 47). Он уверен, что Остафьево должно понравиться и ей тоже. «Княгиня очень ждет Вас, и я надеюсь, Вы не станете противиться. Приезжайте скорее...» (л. 55 об.—56).

И вот счастливый конец нашей второй истории...

«Граф и графиня Шереметевы просят Вас сделать им честь пожаловать 30 июня сего года в 7^{1/2} часов вечера в село Останкино на бракосочетание графа Сергея Дмитриевича Шереметева с княжностью Екатериною Павловной Вяземской» (л. 165).

Так княжна Екатерина Павловна Вяземская стала графиней Шереметевой. Нетрудно представить себе Катеньку и Елизавету Сергеевну гуляющими по аллеям Остафьевского парка. Их силуэты растаяли за долгие десятилетия. Елизавета Сергеевна умерла в 1890 году и была положена рядом с Теодо-

ром Дёлером на Введенском кладбище. Екатерина Павловна тоже пережила своего мужа и похоронена возле Остафьевской церкви в 1929 году, когда сын ее, Павел Сергеевич Шереметев был директором Остафьевского музея и боролся за его существование.

А Остафьевский дом, помнящий и двух женщин, истории любви которых мы рассказали, и многих великих людей, живших в нем и посещавших его, цел. Он стоит и ждет своего «звездного часа».

ВОСПОМИНАНИЯ Е. Н. ОПОЧИНИНА

Публикация Е. В. Бронниковой

В ЦГАЛИ СССР хранятся документы, принадлежавшие Е. Н. Опочинину (ф. 361, ед. хр. 44). Имя Евгения Николаевича Опочинина мало что может сказать современному читателю, хотя в свое время он был довольно известным литератором, коллекционером, собирателем русского фольклора. Он имеет несомненные заслуги перед архивным делом: в 80-е годы прошлого века принимал участие в разборке бесценного «Остафьевского архива», а также архива графа С. Д. Шереметева и приобретенных Сергеем Дмитриевичем бумага библюфила С. А. Соболевского, друга А. С. Пушкина. Опочинин долгое время работал в газете «Правительственный вестник», его произведения можно было встретить на страницах журналов «Исторический вестник» и «Русский вестник». В начале XX века по понедельникам и средам в популярном «Московском листке» печатались с продолжением его исторические романы. Е. Н. Опочинин написал несколько работ по истории театра, основанных на богатом архивном материале. Наибольший успех принесли Опочинину исторические рассказы и очерки о жизни в деревне и об охоте. Единственной опубликованной в советское время книжкой была его историческая повесть «Сказ про птичьего ловца Никитку» (М.; Л.: Госиздат, 1930).

Справедливости ради следует остановиться на оценке Е. Н. Опочининым своего собственного творчества. Уже будучи достаточно известным автором, Евгений Николаевич сказал однажды в кругу московских литераторов: «Разве мы настоящие писатели... Мы только удобрительный материал для будущих щедрых литературных урожаев. Мы, конечно, вносим свою лепту в общее развитие литературы. Вклад наш, вероятно, не особенно значителен, и вряд ли позднейшие поколения станут его внимательно рассматривать и тем более изучать, но мы все-таки его делаем, и делаем искренне, добросовестно и с хорошими, чистыми намерениями».

Может быть, своей работой мы в какой-то мере отвечаем на настоящие литературные запросы общества. Мне обидно слышать, что мы только поставщики чтива и больше ничего. Мне через мои писания хочется научить читателей быть добрей, честней, чище, благороднее! Я к этому стремлюсь всеми своими силами и возможностями. Другое дело, насколько мне и моим друзьям-писателям это удастся, но я пи-

шу честно» (Лобанов В. Столешники дяди Гиляя. М., 1972. С. 38).

Опочинин был знаком с многими писателями своего времени (П. П. Вяземским, Ф. М. Достоевским, И. С. Тургеневым, Г. П. Данилевским, А. Н. Майковым, Д. В. Григоровичем, Я. П. Полонским и др.).

В 1936 году в 6-м томе сборника «Звенья» были опубликованы «Беседы с Достоевским» Е. Н. Опочинина с предисловием и комментариями Ю. Н. Верховского. Это фрагменты воспоминаний Опочинина, продиктованные им в конце жизни (он умер в 1928 году). В предисловии к публикации говорилось о том, что предполагается опубликовать и другие части воспоминаний, но эти планы не осуществились.

В 1937 году дочь писателя Л. Е. Опочинина передала машинописный текст воспоминаний в Государственный литературный музей, откуда документы поступили в Центральный государственный литературный архив (ныне ЦГАЛИ СССР).

Сохранился следующий отзыв В. Д. Бонч-Бруевича об Опочинине и его очерках: «...все материалы Опочинина являются именно документами. Нельзя забывать, что они принадлежали Опочинину, одному из редких людей своей эпохи по точным записям своих бесед с современными ему писателями» (ф. 629, оп. 1, ед. хр. 265, л. 32).

Опочинин родился в 1858 году в обедневшей дворянской семье. Учился в Киеве. По словам Евгения Николаевича, во времена своего студенчества он для заработка начал писать в газетах, а в 1879 году переехал в Петербург (См.: Лобанов В. Указ. соч. С. 35). Дальний родственник — Ф. К. Опочинин — познакомил его с князем Павлом Петровичем Вяземским. Это знакомство во многом определило дальнейшую судьбу юноши. Е. Н. Опочинин начал работать в Обществе любителей древней письменности. Он был хранителем библиотеки и музея Общества, позже — секретарем П. П. Вяземского. В 1886 году принимал участие в подготовке издания Общества — «Памятников древней письменности».

Ниже публикуются фрагменты воспоминаний Опочинина о П. П. Вяземском (ф. 361, оп. 1, ед. хр. 10, л. 1—51) — наиболее подробный и обстоятельный из всех написанных им мемуарных очерков.

Князь П. П. Вяземский (1820—1888) был сыном Петра Андреевича Вяземского, известного поэта, друга А. С. Пушкина. П. П. Вяземский занимался изучением истории литературы, палеографией, написал большое исследование о «Слове о полку Игореве». По его инициативе в 1877 году

было создано Общество любителей древней письменности для собирания, хранения, изучения и введения в научный оборот ранее неизвестных произведений древнерусской литературы. П. П. Вяземский был крупным чиновником; в 80-е годы XIX века, во времена знакомства с Опочининым, князь занимал пост председателя Петербургского комитета иностранной цензуры, а с 1881 года стал начальником Главного управления по делам печати.

П. П. Вяземский хорошо помнил своего крестного, А. С. Пушкина, с удовольствием рассказывал о нем Опочинину, который спустя многие годы записал наиболее запомнившиеся эпизоды из разговоров с князем.

Упомянутое Опочининым шуточное стихотворение А. С. Пушкина было написано в конце 1826—первой половине 1827 года (См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 3. С. 55, 1142). Опочинин ошибочно приписывает Пушкину авторство прозвища П. П. Вяземского — «Павлушка — медный лоб». Сам Павел Петрович писал по этому поводу: «Со времени написания стихов в мой альбом кличка моя в семействе стала: «друг мой Павел»; до стихов же Пушкина я пользовался нелестным прозвищем:

Павлушка, медный лоб, приличное прозвание,
Имел ко лжи большое дарованье.

Прозвище это взято было из эпиграммы Измайлова на Павла Свинына и навлекло на моих сестер строгий нагоняй со стороны Пушкина за предосудительную, вредную шутку» (Вяземский П. П. Александр Сергеевич Пушкин. 1826—1837: По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. Спб., 1880. С. 10—11).

П. П. Вяземский и М. Ю. Лермонтов — тема особая. Павел Петрович хорошо знал поэта. Они встречались в 1838—1841 годы в доме Валуевых и Карамзиных. Упомянутая Опочининым Екатерина Андреевна Карамзина была теткой Павла Петровича. П. П. Вяземский не написал, подобно многим своим современникам, воспоминаний о М. Ю. Лермонтове. Он скептически относился к собиранию биографических материалов, текстологическому анализу произведений М. Ю. Лермонтова. Так, профессор Дерптского университета, биограф поэта П. А. Висковатов не сумел получить от князя сведений, которые можно было бы использовать при подготовке его труда «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество». Видимо, визит П. А. Висковатова к князю и публикация им в майском (1887) номере «Русской старины» стихотворения М. Ю. Лермонтова

«L'Attente» («Ожидание») стали поводом для написания П. П. Вяземским известной литературной мистификации — писем и записок Омер де Гелль. Того самого «последнего труда на французском языке», свидетелем создания которого стал Е. Н. Опочинин (См.: Иванова Т. А. Посмертная судьба поэта. М., 1967. С. 114—122). Героиня мистификации Омер де Гелль (Hottmaire de Hell) имела мало общего с реальным лицом — французской поэтессой и путешественницей. Омер де Гелль Вяземского, путешествуя в 40-е годы XIX века, попадала в самые невероятные ситуации. Одним из ее «приключений» был роман с М. Ю. Лермонтовым.

П. П. Вяземский познакомил с отрывком из своего сочинения (переводом четырех несуществовавших писем Омер де Гелль к парижской приятельнице о встречах с русским поэтом) редактора «Русского архива» П. И. Бартенева. Поверив в подлинность этих документов, Бартенева опубликовал их в сентябре 1887 года в своем журнале.

Мистификация Вяземского вводила в заблуждение как историков литературы, так и беллетристов, писавших о Лермонтове (назовем хотя бы Бор. Пильняка, П. А. Павленко, С. Н. Сергеева-Ценского, К. А. Большакова, П. Е. Щеголева, В. А. Мануйлова), вплоть до середины 1930-х годов. В 1933 году издательство «Academia» опубликовало письма и записки Омер де Гелль, не усомнившись в их подлинности. Мистификация была раскрыта только в 1934-35 годах Н. О. Лернером, а затем П. С. Поповым (см.: Новый мир, 1935. № 3. С. 282—293; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 353; Книжное обозрение. 1988. № 51 (23 декабря). С. 6). В ЦГАЛИ СССР в фонде Вяземских хранятся черновики и рукопись «Записок» Омер де Гелль, написанные рукой П. П. Вяземского (ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3753—3762).

Опочинин вспоминает о своеобразных литературных вкусах П. П. Вяземского. Князь не любил И. С. Тургенева, творчеством Ф. М. Достоевского заинтересовался только после смерти великого современника, да и то ненадолго. Павла Петровича более занимали авантюрные романы Эмиля Габрио, одного из родоначальников детективного жанра.

КНЯЗЬ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ

Глубокий след в моей душе оставил навсегда оригинальный образ этого человека. В строгом смысле слова, это не был литератор, писатель, это не был ученый; знания его были обширны и разнообразны, но беспорядочны и бессис-

темны. Зато это был живой источник воспоминаний великого прошлого. Когда-то, мальчиком, он с образом в руках участвовал в свадебном поезде А. С. Пушкина. Он родился и вырос в семье отца-поэта, друга Пушкина, в семье, тесно связанной с крупнейшими представителями нашей литературы 1820—40-х годов. И на нем самом сохранился отпечаток этой эпохи. Было что-то несовременное в этой львиной голове с гривой седых волос, во всей его фигуре и даже в оборотах его речи, всегда своеобразной. Он никогда не говорил пространно — его речь была отрывиста, полна недоговорок, но сильна и образна. Нельзя сказать, чтобы он был безупречно прям и откровенен, — по необходимости и ему приходилось в иных случаях держаться «политики», но это всегда смущало его, и вся его «политика» как-то сама собой разоблачалась, и настоящий Вяземский тотчас же весь выступал наружу — грубоватый, но добрый, искренний и простой.

Мне, может быть, скажут, что искренних и добрых людей, а также дилетантов во всех областях знания и искусства слишком много, чтобы посвящать им большое внимание. А ответу на это, что П. П. Вяземский, несмотря на беспорядочность своих знаний, не был дилетантом. Особенностью его ума была способность всегда и везде быстро схватывать сущность или то главное, что освещает, а иногда даже исчерпывает предмет. Специалисты-ученые не признавали этого, может быть, завидуя той легкости, с какой давалось ему то, что доставалось им с такими усилиями [...].

Я работал с князем П. П. Вяземским в Обществе любителей древней письменности и у него лично с конца 1879 до половины 1883 года и за это время виделся с ним ежедневно. Я приглашен был работать в Складе (так назывался музей Общества любителей древней письменности) по описанию древних рукописей библиотеки Общества [...].

Не прошло и двух месяцев моей работы в музее, как Павел Петрович пригласил меня заниматься в его семейном Остафьевском архиве, сосредоточенном, то есть, попросту говоря, без всякого порядка сваленном, в целом ряде низких шкафов у него в столовой. Вот здесь-то я и стал заниматься по вечерам. Я приходил часов около 8-ми и всегда заставал Вяземского в этой столовой, в углу, в креслах у письменного стола, на котором горели 4 свечи в высоких шандалах. Откинувшись на спинку кресла и упираясь коленями в стол, сидел он обычно с книгой или рукописью в руках и страшно дымя своими огромными папиросами, которые он менял одну за другой. Эти огромные окурки были везде: валялись на столе, на полу, на креслах, наполняли блюдечко стакана с кофе;

пепел покрывал черный сюртук князя — его всегдашний костюм, попал и в стакан с кофе, что не мешало Павлу Петровичу с удовольствием из него прихлебывать. Окурки оказывались и в стакане с сельтерской водой, которой он выпивал невероятное количество. Николай Кругликов, камердинер, и Семен, кухонный мужик, то и дело подавали ему это питье. «Семен, сельтерской!» — поминутно слышались громкие возгласы в столовой.

Так сидели мы вдвоем в этой большой комнате — столовой, каждый за своим делом — Вяземский за чтением, а я за разборкой интереснейших бумаг его архива. Это были тихие и прекрасные для меня вечера интересной и даже, можно сказать, образовательной работы. Я знакомился с людьми, о которых раньше столько слышал и читал, по их собственным письмам к друзьям и родным, как бы в их интимной жизненной обстановке, и они превращались передо мной в живые образы. Я представлял себе ясно Пушкина, Боратынского, Веневитинова, Лермонтова, семью Карамзиных, Жуковского, Россет-Смирнову, Дениса Давыдова, Пущина, Кюхельбекера, братьев Бестужевых и других...

Часто какой-нибудь вопрос, обращенный мною к Павлу Петровичу по поводу документа, бывшего у меня в данную минуту в руках, зажигал в нем воспоминания и он начинал рассказывать. И как рассказывать! Это был рассказ в изложении далеко не литературном, иногда даже нецензурный, но простой, живой и образный. Мертвые воскресали, и дела их, злые и добрые, совершались у меня на глазах...

Я узнал, между прочим, что А. С. Пушкин, которого я и тогда боготворил и почему-то представлял себе писаным красавцем, был далеко не хорош собой, что он был бешено раздражителен, не всегда справедлив, скор на язык. Я узнал, что его роман с А. П. Керн не имел характера чистой страсти и увлечения и что Пушкин в кружке друзей и даже в письмах к ним в самых грубых выражениях вышучивал свои с ней отношения и открыто говорил о своих слишком больших у нее успехах. Много и других шалостей поэта выявлялось в рассказах Вяземского... О, как жалею я, что в то время мне не пришло в голову записывать эти рассказы каждый вечер по возвращении домой. Какой живой и глубоко интересный материал дали бы теперь эти записи.

Особенно ярко рисовался Пушкин в воспоминаниях Павла Петровича в детские его годы. Я как будто бы сам видел, как ливрейный лакей докладывает о приезде поэта, как А[лександр] С[ергеевич] порывисто и живо вбегает в комнату с улыбкой на бледном лице, обводя присутствующи-

щих огненным взглядом. Дети, а в их числе и сам теперешний рассказчик, курносый мальчуган с большой головой и довольно неповоротливый («Павлушка — медный лоб», как шутя именовал его Пушкин), окружают поэта, трогают за ноги, теребят за фалды, желая убедиться в правильности шуточного предупреждения старших, что у Пушкина зад школодный, ноги сахарные и т. д. ...

Вот в один из приездов к Вяземским поэт, нарушая распорядок родителей не давать Павлушке карт*, забирается в детскую к больному ребенку и старательно рисует полную колоду на визитных карточках, а потом, нашалив, как ни в чем не бывало возвращается в гостиную к старшим и вступает в общую беседу. Я представлял себе, как его слушают, как ловят каждое его слово...

Однажды Пушкин написал своему юному другу известное шуточное правоучение:

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

Не помню, был ли тогда налицо в бумагах Остафьевского архива оригинал этих шуточных стихов. Кажется, нет.

Разумеется, рассказы П. П. Вяземского о трагической истории дуэли Пушкина и его смерти передавались им на основании рассказов отца и близких: непосредственных впечатлений от этих событий у него не могло быть, он был еще слишком юн. Но помню одно, что П[авел] П[етрович] настойчиво утверждал, что дуэль ни при каких условиях не могла не состояться. Были бы получены анонимные письма, или бы их вовсе не было — это не имело никакого значения: Пушкин все равно вызвал бы Дантеса на дуэль. По словам П[авла] П[етровича], вероятно основанным на показаниях его отца и тетки, Е. А. Карамзиной, Пушкин в последние два месяца своей жизни горел и дрожал от злобы и негодования на своего врага. И это не могло не разразиться взрывом и катастрофой.

После рассказа о дуэли П[авел] П[етрович] показал мне хранившийся у него жилет Пушкина, который был на

* Мать князя П[авла] П[етровича], Вера Федоровна, опасаясь, чтобы страсть ее мужа к карточной игре не перешлась сыну, сделала распоряжение, чтобы юному Павлу Петровичу ни под каким видом никто не давал карт и не учил его играть. (Примеч. авт.)

нем во время дуэли. Это был, разумеется, очень старомодный жилет, как называли прежде, с шалью, т. е. с отогнутым бортом по вырезу. Я рассмотрел его и благоговейно подержал в руках. Впоследствии мною был заказан, по желанию князя, для этой реликвии поэта особый ящик — витрина из кипарисного дерева, в котором она и была экспонирована на выставке по случаю пятидесятилетия со дня смерти Пушкина, устроенной в Петербурге благодаря стараниям и неутомимой энергии покойного В. П. Гаевского.

Кстати, вспоминается мне, как довелось мне обрадовать старого князя. Как-то, бродя по Апраксину рынку, я увидел у старьевщика старенький бюст Пушкина, отлитый, вероятно, в 30-х годах. И тогда уже будучи в зачатке коллекционером, я купил эту вещицу и, придя заниматься к П[авлу] П[етровичу], показал ее ему. Неожиданно для меня Вяземский весь загорелся. «Это бюст, современный Пушкину, — сказал он с радостью. — Точно такой был у отца, но не сохранился. Это большая редкость».

Я поспешил предложить князю принять от меня эту «редкость». Впоследствии и бюст этот фигурировал на Пушкинской выставке.

Надо сказать, что П. П. Вяземский дорожил каждой мелочью, каждым пустяком, относящимся к прошлому, и в особенности к А. С. Пушкину. И в памяти своей он берег даже незначительные, мелкие факты. Иногда они внезапно припоминались ему, и он тут же делился ими, приводя какой-нибудь остроумный анекдот или просто меткое словечко. Случалось и так: сидит П[авел] П[етрович], развалившись в креслах в уголке столовой, около своего письменного стола и упорно молчит. В руке давно потухшая толстая папироса, на столе остыл в стакане недопитый кофе, сдобренный пеплом и даже табаком из окурков. И вдруг, как будто продолжая ранее начатый рассказ, начинает своими отрывистыми фразами передавать подробности какого-либо случая, какой-либо сцены, только что добытых из потайного уголка памяти.

Однажды, как раз после такого безмолвного припоминания, он удивил меня следующим внезапным заявлением:

— А знаете ли — ведь он не любил свою жену!

П[авел] П[етрович] остановился и глядел на меня как будто спросонья. Очевидно, мысль его была далеко, далеко. Я молча ждал разъяснения загадки, но, не дождавшись, спросил:

— О ком вы говорите, князь?

Он снова и как будто бы проснулся и, с удивлением взглянув на меня, сказал:

— О ком? Конечно, о Пушкине. Я хочу сказать, что Пушкин уже не любил свою жену, когда из-за нее стрелялся. И стрелялся он вовсе не из-за нее: он сам был обижен разными скверными намеками. Его самого травили.

С женой же своей — мне говорил отец — он был холоден, а иногда даже и не говорил. Зато в большой близости был с Alexandrine, хотя она и не была красива, но очень приятна и умна. Он говорил с ней целыми часами, читал ей свои стихи, советовался... Я думаю, что тут была связь. Вы, однако, не вздумайте кому-нибудь рассказывать об этом — еще напечатают, а этого не надо.

После такого предупреждения мне нельзя было спросить П[авла] П[етровича], на каком основании он так уверенно говорит об отношениях Пушкина к его свояченице, а сам он не обмолвился об этом больше ни словом. Впрочем, в другой раз П[авел] П[етрович], рассматривая при мне портрет Н[атальи] Н[иколаевны], но уже не Пушкиной, а Ланской, сделал весьма прозрачный намек на связь Пушкина с сестрой жены.

— Очень красива! — сказал П[авел] П[етрович], глядя на портрет. — Александра гораздо хуже, но он был от нее без ума.

Много и часто вспоминал Павел Петрович о Лермонтове. В обрисовке его воспоминаний наш молодой, рано погибший поэт выступал, как человек, в далеко не привлекательном виде. По нашему современному определению, его можно было назвать хулиганом чистейшего типа. Выходки совершенно невозможные и нетерпимые, бретерство самого низшего разбора, нечистоплотная бесцеремонность в обращении с женщинами как-то странно уживались в нем с подвигами высокого благородства, верностью в дружбе... Однако же указанные отрицательные свойства натуры Лермонтова не отталкивали от него людей, может быть потому, что они заглаживались блестящим дарованием и большим умом.

О многих проделках Лермонтова вспоминал Вяземский. Всего, что он рассказывал, [не] упомяну, но вот, например, что случилось однажды на обеде у Екатерины Андреевны Карамзиной.

В числе приглашенных на этом обеде был Лермонтов и одна не старая еще дама, жена какого-то мелкого чиновника. На беду ее посадили рядом с поэтом, а она немедленно начала приставать к нему с вопросами, не написал ли он чего-нибудь новенького. Лермонтов сначала держался вежливо, но вот в глазах его начал просвечивать опасный огонек. Между тем чиновница не отставала.

— Вчера написал я небольшое стихотворение... — начал было Лермонтов, как чиновница прервала его умильной просьбой:

— Ах, прочтите, пожалуйста, Михаил Юрьевич! — приступила она к поэту. — Ради бога, умоляю вас, прочтите!

Лермонтов наклонил голову в знак согласия и, близко придвинувшись к даме, начал тихим голосом:

— На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...

— Стерва ты этакая, и какого черта тебе от меня нужно! — внезапно прервал декламацию Лермонтов. Дама вздрогнула и отшатнулась, а он снова, как ни в чем не бывало, продолжал чтение:

— И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой она...

— Этакая ты сволочь! И что ты понимаешь, зачем тебе стихи?

На этот раз слушательница не выдержала, вскочила с места и в слезах бросилась к хозяйке дома. Ее насилу могли успокоить уверениями, что на Лермонтова временами находят припадки безумия. Даму пересадили от опасного соседа на другое место, а тот между тем, не смущаясь устроенным скандалом, начал весело болтать с сидящими неподалеку гостями.

После обеда Екатерина Андреевна задала поэту хорошую головоломку, а он смеялся, целовал ей руки и говорил одно:

— Зачем она надоедает мне моими стихами?

И эта выходка, как и многие другие, прошла Лермонтову даром: ему не отказали от дома, не прекратили с ним знакомства. Гениальному юноше все прощалось. Но в домах, им посещаемых, хозяева всегда были настороже, чтобы он не отколол какой-нибудь штуки. Выходки же его были не всегда невинного свойства.

По словам П. П. Вяземского, характер у поэта был крайне неровный и настроение часто и резко менялось: от неудержимой веселости он переходил к мрачной задумчивости и угрюмо сидел молча, еле отвечая на вопросы. И в такие минуты он бывал небезопасен. Соответственно настроению менялось и его лицо. Обычно некрасивый, он в веселые минуты, оживляясь, становился привлекательным: глаза разгорались, все линии лица его начинали как бы играть, и он казался чуть не красавцем. Зато в минуты мрачности он отталкивал от себя всех — так неприятна была саркастическая улыбка, кривившая его губы, так тяжел взгляд помутневших глаз, в которых при малейшем поводе вот-вот загорится бешенство.

Многие рассказы князя П[авла] П[етровича] о Лермонтове и его проделках, а в особенности в тех случаях, когда приводились его беседы с товарищами, были совершенно нецензурны, и передавать их невозможно. Профессор П. Висковатов, вероятно, поэтому и не почерпнул много из рассказов П[авла] П[етровича] для своей книги о Лермонтове, хотя и возлагал большие надежды на этот живой источник сведений о поэте. Впрочем, сам князь П[авел] П[етрович] довольно странно принял визит Висковатова к нему по этому поводу. Он был очень учтив с профессором, но когда тот приступил к вопросам о Лермонтове, он стал рассказывать ему такие ужасные вещи, что тот не делал попытки взять карандаш, чтобы записать что-либо из этих рассказов. А когда он ушел, Вяземский встал с места и, облегченно вздыхая, сказал:

— Надоел, черт! И какой дурак...

Впоследствии, незадолго до своей кончины, князь П[авел] П[етрович] возвратился к воспоминаниям о своей юности и о Лермонтове, когда начал писать свой последний труд на французском языке — нечто вроде повести или романа, героиней которого была молодая француженка *m-lle Hommaire de Hell*. Интрига разыгрывалась между нею, ее покровителем *Tête Bout de Marigny* и М. Ю. Лермонтовым в качестве счастливого поклонника.

Князь Вяземский очень увлечен был этим своим произведением. И правда, было чем увлечься: интрига романа развивалась живо и интересно, диалоги шли просто и естественно, многие положения действующих лиц были неожиданны и комически забавны.

Я почти каждый день приходил к князю, хотя в это время уже оставил свои занятия у него и в Обществе, и он читал мне свой роман. В комических сценах, непременно с *Tête Bout de Marigny*, автор заливался тихим старческим смехом, смехом до слез, причем грузное тело его все сотрясалось.

В то время, — я говорю о второй половине 80-х годов, — князь уже не служил, оставаясь только сенатором, и все свое время посвящал Обществу любителей древней письменности, своему помянутому мной роману и еще одному забавному занятию — компоновке сцен из вырезаемых и склеиваемых модных картинок и других иллюстраций. Он придавал изображенным на них персонажам то или другое положение, раскрашивал их, покрывал лаком, и в конце концов получались иллюстрации к тому же роману о *Hommaire de Hell*.

Павел Петрович и всегда любил возиться с гуммиараби-

ком, лаками и красками, а тут он ходил весь вымазанный клеем. Иногда кисть, которой он пользовался при наклеивании своих фигур, по рассеянности попадала куда не следует и повисала, запутавшись в седой его бороде или в волосах. Банки с клеем были у него всегда с собой в кармане сюртука, и часто случалось, что он по забывчивости садился на них. Разумеется, происходила катастрофа: стеклянные банки не выдерживали, лопались под тяжестью его тела, и князь подплывал на клею или лаке, причем спиртуозный запах распространялся по комнате. Чувствуя его, П[авел] П[етрович] недоумевал:

— Что это такое?!— спрашивал он в таких случаях меня.

— Вероятно, вы клей раздавили,— говорил я хладнокровно.

Тогда он в тревоге вскакивал и звал своих слуг:

— Семен! Николай!

А если казус случался в музее, то он призывал Ивана или карлика Римейко, который в таких случаях ехидно ухмылялся и по уходе князя всегда замечал, покачивая головой:

— Их сиятельство как ребенок...— и хитро мигал своими жабьими глазками.

Иногда, отрываясь от работы, П[авел] П[етрович] без всякого повода обращался к воспоминаниям давних дней, чаще же всего к разным случаям увлечения его карточной игрой. Он рассказывал, как крупно и несчастливо играл он в Гамбурге. Как в игорной зале его преследовали своими просьбами о займах проигравшиеся в пух блистательные леди, как где-то в Германии, кажется в Баден-Бадене, он видел Ф. М. Достоевского, игравшего отчаянно и неудержимо... Одет он был, по словам П[авла] П[етровича], отвратительно, вид имел растерянный, и было заметно, что всякий проигрыш он принимал чрезвычайно тяжело. Но играл он до конца, до закрытия казино, до последнего талера в кармане.

Сам П[авел] П[етрович] и вернувшись в Петербург не мог отказаться от игры. Играл он в так называемом «Картофельном клубе» (Сельскохозяйственный клуб, помещавшийся на Невском, в доме Бернардаки). Тут, между прочим, судьба столкнула его за зеленым столом с Н. А. Некрасовым.

— Скажите, князь,— не вытерпел я,— справедливы ли слухи о Некрасове...

— То есть о его нечестной игре?— поставил точку над і князь.

— Ну да.

— Совершенный вздор и неправда. Никогда Некрасов не был шулером. Он играл чрезвычайно спокойно, и его невозмутимость бесила противников. Они выходили из себя и проигрывали. Вот и все, что можно поставить Некрасову в вину.

Но пора возвратиться к последовательному рассказу, т. е. к началу 80-х годов.

Я помню, как князь служил по цензурному ведомству, а именно, в Комитете цензуры иностранной, где он был председателем [...].

Позднее, в 1881 году, П. П. Вяземский получил более высокое назначение, а именно, на пост начальника Главного управления по делам печати.

По правде сказать, выбор этот был неудачен. Павел Петрович был плохой чиновник, а потому его кто хотел обертывал вокруг пальца и более всех «наследственный» правитель дел В. С. Адикаевский. Это была удивительная фигура. Неглупый, тонкий и хитрый, он пережил целый ряд начальников, причем каждый уходящий передавал его вновь назначенному, ибо это был, что называется, необходимый человек или неизбежное зло — как хотите.

Человек добрый, мягкий, с широким умственным горизонтом и большой терпимостью, Павел Петрович принужден был по указке свыше принимать суровые меры в отношении печати. Предостережения журналам и газетам сыпались одно за другим, и одни за другими запрещались как временные издания, так и отдельные книги [...].

Помню еще, вызван был по начальству к князю редактор «Отеч[ественных] записок» М. Е. Салтыков (Щедрин). Я наблюдал это свидание из соседней комнаты-библиотеки. Начальник и вызванный для внушения редактор молча, но приветливо поздоровались и уселись друг против друга. Павел Петрович за своим столом в широких креслах, сильно откинувшись назад и пуская клубы дыма из своей огромной папиросы, а Салтыков напротив, также в креслах и также небрежно развалившись. Добрые две-три минуты прошли в обоюдном молчании. Станные собеседники сидели друг против друга как два противника, готовящиеся вступить в бой и ожидающие, кто первый начнет.

Не выдержал Вяземский и в самой вежливой форме объяснил повод, заставивший его побеспокоить Михаила Евграфовича.

— Ау, князь! — низко наклонил голову Салтыков, согнувшись в креслах. Вяземский побагровел от этой однослож-

ной реплики и уже в более резкой форме стал излагать свое внушение.

Салтыков повторил свой чудной поклон, широко развел руками и снова произнес свое «ау».

— Что вы этим хотите сказать? — чуть не в бешенстве крикнул князь.

— Ничего особенного, — как-то странно затряс своей большой бородой Салтыков. — Я уже писал ранее и повторю вашему сиятельству сейчас: я уповаю, что вскорости все временные издания, приватными лицами издаваемые, не будут существовать. И останутся токмо две газеты: «Сельский вестник» и «Градский вестник».

Со своего наблюдательного поста я увидел, что сцена внезапно изменила свой характер: старый князь откинулся на спинку кресла и беззвучно засмеялся, колыхаясь своим грузным животом. Салтыков же еще раз повторил свое «ау», разводя руками, но уже стоя, и тут же добавил:

— Позвольте удалиться.

Вяземский встал и со слезами на глазах от смеха, обойдя стол, приблизился к Салтыкову. Он проводил его до дверей передней, где у порога горячо пожал ему руку.

Насколько мне известно, «впушение» на этот раз никаких последствий для Салтыкова не имело, а в разговоре о Михаиле Евграфовиче в тот же вечер со мной князь назвал его одним из самых умных людей в России.

Князь Павел Петрович Вяземский был очень далек от современной ему литературы — он жил прошлым, где над всем и всеми царил Пушкин. Даже крупнейших наших писателей, которые тогда были еще в живых, он не читал и не хотел знать, а мелких, но плодовитых со свойственной ему прямой грубостью называл «литературными др...ми». «Они одержимы особым поносом, — говорил он, — и кому нужны их писания?»

Тургенева он выделял, но не любил. «Пишет скучно, — говорил он о нашем великом романисте. — Размазывает д...мо и поливает его медом».

В начале февраля 1881 года, только что пережив смерть Ф. М. Достоевского, я как-то пришел вечером на работу к Павлу Петровичу. Я был в крайне подавленном состоянии духа. Зашел разговор о недавних, небывало торжественных похоронах нашего писателя. Я рассказывал о том, как единодушно весь Петербург провожал Достоевского до места его вечного успокоения. Вяземский слушал и смотрел на ме-

ня с явной насмешкой, а потом вдруг как-то вскинулся и быстро спросил, с недоверием в тоне голоса:

— Неужели он такой большой писатель? У нас мало кого так хоронили. А я ничего его не читал...

Я выразил удивление и сказал, что в Петербурге и даже во всей России трудно найти человека среди образованного общества, который бы не был знаком с произведениями Достоевского.

— Может ли это быть? — не то в виде сомнения, не то вопроса бросил князь. — А что же у него лучше всего?

— Трудно сказать, — ответил я. — Все хорошо, но одно из наиболее характерных его произведений, мне кажется, «Преступление и наказание».

— Что это, уголовный роман? — поинтересовался Вяземский. — Может быть, что-нибудь вроде Габорио?

Я постарался разубедить его в возможности такого сближения и как мог рассказал вкратце, что такое представляет собой названный роман Достоевского. Князь чрезвычайно заинтересовался.

Дня через два вечером придя к нему, я с удивлением увидел у него на столике развернутый на последних страницах томик «Преступление и наказание». Оказалось, что князь на другой же день поручил кому-то купить для него сочинения Достоевского, какие можно было найти в отдельных изданиях. Я видел у него «Записки из Мертвого дома», «Идиот», «Бесы» и что-то еще, не помню.

— Очень хорошо, — сказал Вяземский, ударив рукой по книге. — Трудно оторваться... Все хорошо, но ужасно, ужасно!

Я согласился с этим отрывистым определением.

— И каковы эти люди! — продолжал князь. — Чиновник этот пьяный, его дочь... Гуляющая девка, а лучше других. А эта стерва Амалия, квартирная хозяйка, и этот важный господин Лужин? Удивительно! Все живые люди.

Князь скоро прочитал роман, но разговора о нем не возобновлял. Куда-то исчезли и остальные книги Достоевского, а на их месте я увидел желтые томики Габорио, которыми и раньше пробавлялся Павел Петрович. Должно быть, Достоевский все-таки показался ему слишком тяжелым [...].

Публикуем с некоторыми сокращениями мемуарные очерки Опочинина о Д. В. Григоровиче, Г. П. Данилевском и А. Н. Майкове (ф. 361, оп. 1, ед. хр. 10, л. 63—66, 74—92).

Писатель Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) — автор известных повестей «Антон-Горемыка» и «Гут-

таперчевый мальчик». Григорович окончил инженерное училище и Академию художеств, некоторое время служил в Дирекции императорских театров. В 40-е годы был близок к кругу журнала «Современник». Н. А. Некрасов привлек его к участию в альманахах «Физиология Петербурга» (1845) и «Первое апреля» (1846), для которых Григорович и написал очерк «Петербургский шарманщик» и рассказ «Штука полотна». В 60—80-е годы Григорович был секретарем Общества поощрения художеств, одного из старейших художественных обществ в России, существовавшего в Петербурге с 1820 года.

По заданию этого Общества Е. Н. Опочинин в 1887 и в 1889 годах изучал памятники и предметы древнерусского искусства в некоторых областях России (см.: РО ГЦТМ, ф. 196, ед. хр. 34, 35). В своих воспоминаниях он упоминает о том, как болезненно Д. В. Григорович воспринял публикацию в 1889 году в «Историческом вестнике» воспоминаний писательницы Авдотьи Яковлевны Панаевой, жены И. И. Панаева, а в 40—60-е годы — Н. А. Некрасова. Григорович недолюбливал А. Я. Панаеву. Вращаясь в том же кругу людей, с которыми встречалась и А. Я. Панаева, Дмитрий Васильевич расходился с ней в оценке многих лиц и событий. Поэтому, узнав о подготовке ее воспоминаний к публикации, Григорович пытался приостановить их выход в свет, но безрезультатно (см.: Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 11, 410).

ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Как-то в 80-м году, а может быть и в 81-м году, в Обществе поощрения художеств, на Большой Морской, мне кто-то из приятелей указал на Дмитрия Васильевича, который был секретарем этого Общества и вершил все его дела. Это был высокий, тонкий старик с изящной головой, обрамленной серебряными волосами с непослушным вихорком, свесившимся на лоб, с седыми бакенами и усами. Быстрые движения, небрежным бантом повязанный мягкий галстук и монокль на черной ленточке, все придавало этой фигуре несколько легкомысленный вид. Вскоре я познакомился с ним и потом видался нередко, то у общих знакомых, то на литературных вечерах, то в театре, но никогда в его домашней обстановке. Я был тогда очень молод, но несмотря на это Д[митрий] В[асильевич] при встречах и моих посещениях Общества поощрения художеств беседовал со мной серьезно, и

я увидел, что впечатление легкомыслия у меня исчезло: во всех оттенках речи, в обращении прежде всего сказывались доброта и сердечность.

Голос мягкий и глубокий прямо проникал в душу. При всем том быстрая и живая речь сверкала блеском остроумия; живой и искренний юмор проникал каждую черту его лица во время беседы; нередко забавный и остроумный анекдот вкраплялся в его речь и оживлял беседу. В общем, это был очаровательный образ старика с живым юношеским умом, разнообразным и блестящим, с душой нежной и глубоко чувствующей. И никакого лицемерия, никакой наигранности не замечалось в нем, все было просто и естественно, хотя нередко едкие сарказмы срывались у него с губ и злая насмешка сбивала с пьедесталов целые ряды взгромоздившихся на них не по заслугам авторитетов. Таков в моих глазах был Д. В. Григорович. О нем, пожалуй, можно было бы сказать: «для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца», но у него это было не только для «красного словца». Вся его натура, тонкая и богатая, мимовольно, сама собой, поднимала бич насмешки над всем, что ему казалось мелким, пошлым и ничтожным.

Помню, я в разговоре с Д[митрием] В[асильевичем] как-то проскользнуло имя Г. П. Данилевского, известного «исторического» романиста и моего шефа по службе в редакции «Правительственного вестника». Д[митрий] В[асильевич] сделал значительное лицо, как-то особенно поднял брови, всем обликом своим пародировал сановника и, подняв вверх указательный палец, напыщенно произнес: «О, он, пожалуй, самый большой писатель наших дней... В нем от всего великого найдешь понемногу: частица есть от Гоголя, от Толстого, от кого угодно. И все ровно и гладко, слово к слову нижется, как волосок к волоску на голове прилизанного петербургского чиновника. И при этом он страшно ревнив к успехам других, и мне кажется, он готов был бы запретить всю русскую литературу, кроме самого себя и одного-двух благосклонных к нему критиков».

Когда А. Я. Головачева-Панаева, в своих «воспоминаниях» в «Историческом вестнике», облила грязью память Н. А. Некрасова, Д[митрий] В[асильевич] в коротенькой беседе со мной по этому поводу, между прочим, заметил: «Ну, что ж, тут нечему удивляться и нечем возмущаться: старушка несла всю жизнь тяжелое ведро помоев, и нет вины со стороны, тех, кого они зацепили, когда она их расплескала» [...].

В последний раз я видел Григоровича на Невском у решет-

ки сквера у памятника Екатерины, он не заметил, как я подошел, ибо стоял, склонившись к двум уличным мальчишкам, которых оделял какой-то мелочью, вытаскивая ее из кармана своего старенького коричневого пальто. Когда я поздоровался с ним, он встретил меня приветливой улыбкой.

Это впечатление приветливости в моем воспоминании связано навсегда с изящным образом Д. В. Григоровича.

С 1883 по 1891 год Е. Н. Опочинин работал в газете «Правительственный вестник». Непросто сложились отношения начинающего писателя со своим непосредственным начальством — главным редактором газеты Григорием Петровичем Данилевским (1829—1890).

Опочинин впервые встретился с Г. П. Данилевским на одном из «вторников» у сотрудника «Правительственного вестника» писателя А. П. Милюкова. Опочинин дает следующую характеристику человеку, под началом которого через некоторое время ему пришлось работать: «Г. П. Данилевский — человек скорее небольшого, чем среднего роста, но плотный, гладко причесанный и гладко выбритый, в опрятном черном сюртучке, отличается быстрыми движениями и не менее быстрой речью. Звонкий голос его покрывает общий говор и с той поры, как он вошел, так сказать, плавает в воздухе» (ф. 361, оп. 1, ед. хр. 10, л. 60).

В редакции «Правительственного вестника» Е. Н. Опочинин встречался с Сергеем Николаевичем Шубинским, редактором «Исторического вестника», и с Вуколом Михайловичем Лавровым — издателем и редактором московской «Русской мысли».

Е. Н. Опочинин подробно описывает ход переговоров Данилевского с «Русской мыслью» в связи с предполагавшейся публикацией там романа «Сожженная Москва». Хвалебная статья П. П. Сокальского «Поэзия труда и борьбы», упоминающаяся в публикуемых воспоминаниях, появилась в «Русской мысли» в ноябре — декабре 1885 года.

В 1887 году отмечалось 50-летие творческой деятельности Ивана Константиновича Айвазовского. В числе присутствовавших на торжествах Опочинин упоминает в своих воспоминаниях композитора Антона Григорьевича Рубинштейна и журналиста, секретаря Общества любителей древней письменности Федора Ильича Булгакова.

Рассказ Н. С. Лескова «Аскалонский злодей», привлек-

ший внимание Г. П. Данилевского, был опубликован в журнале «Русская мысль» в ноябре 1889 года.

Надо сказать, что Г. П. Данилевский имел нелестную репутацию среди собратьев по перу. Поэт Н. Ф. Щербина в сатирическом «Соннике русской литературы» предупреждал: «Данилевского Григория во сне видеть — предвещает слышать приятные новости о России, но увы! — большею частью несбыточные» (Щербина Н. Ф. Полн. собр. соч. Спб., 1873. С. 331).

Приводимое в воспоминаниях стихотворение Н. А. Некрасова является отрывком из «Песни об «Очерках» (из лирической драмы «Видение на Неве»), опубликованной в журнале «Современник» (1863, № 4. См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Л., 1981. Т. 2. С. 298).

В доме А. П. Милюкова Евгений Николаевич познакомился с поэтом Аполлоном Николаевичем Майковым (1821—1897). Упоминание автора воспоминаний о своей страсти к ружейной охоте и безразличии к рыбной ловле, которой увлекался Майков, могло впоследствии отразиться в язвительной заметке об Опочинине, принадлежащей перу редактора журнала «Оса» Е. И. Вашкова:

«Пошехонский помещик, потомок Гедимины, пишет «исторические» романы, а на досуге продает замоскворецким коллекционерам старье и давит из латуни ларцы. Нелюбим почему-то художниками. Написал «Записки охотника» (убедительно просит не смешивать с Тургеневскими). Любит летом стрелять ершей. Несколько лет тому назад, в урочище «Вшивая Зепь», убил дробью большого медведя, который, впрочем, при внимательном осмотре оказался не медведем, а обыкновенной лягушкой. Ошибка объясняется близорукостью охотника» (ф. 90, он. 2, ед. хр. 3, л. 5).

ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

«Друг Платон, но еще больший друг истина», — учит нас древность. Я подружился с Г. П. Данилевским на самом пороге его смерти, — перед этим несколько лет подряд служа с ним вместе, я только ссорился с ним и мы друг друга не любили. Скрепя сердце беру я перо, чтобы запечатлеть свои о нем воспоминания...

«Amicus Plato»* стараюсь убедить я себя, а в душу не-

* Друг Платон (лат.).

вольно закрадывается сомнение, как бы давние ссоры и неудовольствия не отразились на моих воспоминаниях о Г. П. Данилевском. Но как бы то ни было, попробую, и пусть его тень простит меня, если я, не сгущая красок, скажу неприятную ей правду [...].

При небольшом, но приличном своем росте, он, вбегая куда-нибудь, как-то пыжился, как будто вырастая на глазах у вас, во всей красе выставляя украшавшую его звезду и надменно сощуривая глаза.

Но не думайте, чтобы всегда и везде он корчил из себя сановника; попадая в общество настоящих сановников или родовитых людей с большим влиянием и значением, он, с свойственной ему эластичностью, как-то сразу становился чрезмерно скромным, мягким и даже угодливым. Он рад был всей душой быть полезным и всячески вызывался на услуги и действительно оказывал их, но всегда так, что это ему ничего не стоило: все делалось чужим горбом, чужими силами и даже на чужие средства. Во время моей совместной службы с ним он был членом совета Главного управления по делам печати и главным редактором органа всех министерств, газеты «Правительственный вестник», причем ему же принадлежал главный надзор над издававшимся тогда «Сельским вестником». Но не подумайте, чтобы эти многосложные обязанности отнимали у него много времени, — вовсе нет. Дело обходилось очень просто: заседания совета по делам печати происходили не так уж часто, времени отнимали немного, да можно было иногда и отсутствовать на них. В редакцию «Правительственного вестника» Григорий Петрович являлся обыкновенно в 3-м часу дня. Здесь он обычно доставал из ящика письменного стола сложенную четвертушками бумагу с отогнанными полями и начинал пестрить ее своим мелким почерком, продолжая какой-либо свой роман или повесть. Иногда только работа эта прерывалась или посещениями каких-либо официальных лиц, которых нельзя было не принять, или редкими осложнениями по службе. Она, эта служба, не доставляла никаких хлопот: были «дорогой» Евгений Николаевич [Опочинин] и не менее «дорогой» Илья Антипович, которые спокойно вели дело. А контора с многочисленным штатом исполняла свои обязанности и кроме того давала сановитому романисту великолепных переписчиков. Пишущих машинок тогда еще не было, и все произведения Григория Петровича с малоразборчивых его оригиналов переписывались вручную в двух, трех экземплярах каждое. И два маленьких чиновника, занимавшиеся этой работой, посвящали ей все служебное время да

еще работали и на дому. Зато рукописи романов и повестей Данилевского изготовлялись в великолепном виде: это были толстые томы в большую четверку, написанные чудесным почерком, на хорошей плотной бумаге.

Со временем, когда подросли детки Григория Петровича, Константин и Михаил, и стали обнаруживать склонность пописывать, их юные произведения стали также переписываться в нескольких экземплярах в конторе. Однако это были только опыты — у Константина в прозе, у Михаила в стихах, и они, увы, не увидели света и осуждены были храниться в рукописях в одном из шкафов «Гришкиного» архива, как непочтительно именовал его покойный Шубинский. Но, кроме детских литературных опытов семьи Данилевского, бывало, что в конторе переписывались пространные критические статьи, посвященные произведениям Данилевского.

Помню я, между прочим, как было дело с помещением одного из романов Григория Петровича в журнале «Русская мысль». Не припомню сейчас, который из двух его романов это был, «Черный год» или «Сожженная Москва», но это дела не меняет.

В. М. Лавров приехал в Петербург договариваться с Данилевским об условиях: размере гонорара, сроках печатания и т. д., и вдруг ему предъявлено автором и поставлено как *conditio sine qua non**, чтобы в журнале была помещена огромнейшая, растянутая на несколько номеров статья дружественного автору критика, откуда-то с юга, представлявшая собой сплошной хвалебный гимн. Она обнимала собой деятельность романиста с самого ее начала; в ней автора «Новых мест» и «Беглые в Новороссии» называли русским Купером, возвеличивали всячески, кадили ему на все лады...

Вукол Михайлович Лавров попробовал было отговориться от помещения стеснительного панегирика, но Данилевский стоял на своем, объявив, что иначе не даст романа. Что было делать? Дело было перед подпиской, и о новом романе Данилевского было объявлено. Волей-неволей пришлось согласиться.

Вспоминается мне, как, откуда-то узнав об этом, пришел к нам в редакцию Сергей Николаевич Шубинский и, поместившись с боку моего стола, широко развел руками и, с покорным видом опуская вниз голову, возгласил:

— Преклоняюсь. Преклоняюсь. Этот выше всех литературных фокусников во всем мире. Нет, подумайте: не только

* Необходимое условие (лат.).

сам сцапал тройной гонорар за дрянной романишко, а еще и хвалителя себе нанял за счет издателя*.

И Шубинский закатился веселым смехом.

В конторе между тем хвалебная статья была великолепно переписана, заключена в красивую цветную обложку, а потом передана мне Григорием Петровичем с умильной просьбой, которой не исполнить было нельзя: «утречком, за кофейком, просмотреть статейку (в 6—7 печатных листов), сгладить шероховатости и прочее».

С таким же наказом получал я от Г. П. Данилевского и романы его, размером в 25—30 печатных листов, перед сдачей их издателю. Я должен был просматривать их «утречком за кофейком», т. е. попросту редактировать их, уничтожая анахронизмы, тщательно исправляя во многих местах слог и прочее и прочее. И приходилось просиживать за этой работой по неделе и по две, жертвуя последними свободными часами при каторжной дневной и ночной редакционной работе.

И при всем том Григорий Петрович был милый и приятный человек. Он был другом многих крупных художников, в том числе И. К. Айвазовского, но не Репина, которого недолюбливал за его, как он говорил, натуралистическое направление.

Кстати об Айвазовском. Я помню, во время празднования в Петербурге 50-летнего юбилея этого знаменитого мариниста Григорий Петрович особенно старался всячески разрекламировать его. В «Правительственном вестнике» помещались описания его картин, была дана подробнейшая его биография; я по несколько раз откомандировался на выставку его картин и прочее и прочее.

И вот помпезное празднование юбилея после торжественного заседания в Академии, где юбиляру была поднесена выбитая в честь его медаль, разрешилось обедом по подписке, на котором присутствовал весь высший художественный, литературный и чиновный Петербург. Блистала яркими огнями огромная зала ресторана, колоссальный стол, разукрашенный цветами, сверкал белоснежным бельем, серебром и хрусталем. Посредине помещался сам юбиляр, на которого еще при входе его в залу возложили лавровый венок.

— Кабанья голова под лавровым листом, — злобно шепнул мне на ухо Ф. И. Булгаков, увидав эту картину.

* Насколько помню, эта статья под заглавием «Поэзия труда и борьбы» была напечатана в «Русской мысли» и была подписана Сокальским. (Примеч. авт.)

Рядом с И. К. Айвазовским помещалась его красавица жена, а кругом — звезды, ленты, шитые мундиры, фраки.

Мы с приятелями сели поодаль от этого центра, в конце стола. За обедом, как водится, были речи; много хвалили, много кадили, много лстили. И вот, наконец, с бокалом в руке вскочил Г. П. Данилевский.

— Господа! Я предлагаю обратиться с ходатайством куда следует о переименовании прославленного юбиляром Азовского моря в Айвазовское море.

Должно быть, это предложение было принято в шутку, ибо встичено оно было как будто с недоумением — слышались жидкие аплодисменты, кто-то хихикнул.

Я не утерпел и встал с бокалом в руке (на нашем конце стола было порядочно выпито) в свою очередь высказал пожелание, чтобы Невский проспект, который Григорий Петрович украшает своим пребыванием, был переименован в проспект Данилевский.

Дружный хохот всего нашего конца был ответом на мой забавный гост. Даже А. Г. Рубинштейн затряс своей львиной гривой.

Но мне это не прошло даром: наш исторический романист не простил мне моей шутки. На другой день в разговоре по службе он был особенно сух, пыжился и сверкал на меня глазами, а через некоторое время, когда ему пришлось отправлять представление в Главное управление о назначении служащим редакции добавочных, он убавил мне сотни полторы рублей.

Сколько стычек и настоящих словесных битв пришлось выдержать мне с Григорием Петровичем из-за отзывов о разных книгах, приславшихся издателями в редакцию «Правительственного вестника» для рецензии! Все эти книги направлялись ко мне с неизменной надписью рукой Данилевского «В. О. (внутренний отдел) для отзыва». И эти отзывы непременно должны были быть хвалебными. Бывало так: получу я книгу с такой надписью и, просмотрев ее, вижу, что это издание ничего не стоящая дребедень, явно спекулятивное предприятие какого-нибудь проходимца. Иду к главному редактору и высказываю ему свое мнение.

— Да вам-то какое дело, — возражает мне Григорий Петрович. — Жалко вам, что ли, что издатель, благодаря хорошему отзыву о своей книге, заработает несколько лишних сотен рублей. Ведь по отзывам покупают книги одни дураки...

— Помилуйте, — пытаюсь я упорствовать. — Ведь я редактирую отдел, и никого другого как меня будут упрекать в том, что я рекламирую всякую дрянь.

— Ну, экая важность, — решает Данилевский. — Ну, упрекнул. А вас от этого убудет? Нет уж, вы, дорогой мой, поместите рецензию об этой книжке, я вас очень прошу. Пошлите ее кому-нибудь из маленьких сотрудников. (А. П. Милукова в таких случаях он указывать не смел.)

Я пожимал плечами и, не дав никакого ответа, уходил к себе. Чаще всего в таких случаях я жиллил книгу, спроваживая ее в дальний ящик стола и не посылая никому. Иногда дело так и забывалось, а иногда, случалось, Григорий Петрович вспоминал о забытом отзыве, и тогда, делать нечего, приходилось помещать рецензию о дрянной книге. Зато во всех литературных предприятиях, крупных и мелких издательствах у Григория Петровича были близкие друзья. Отовсюду получал он книги ценные и неценные и за каждую зиму скапливал целую библиотеку, которую и отправлял благополучно на родную Украину, в свое харьковское имение, село Пришиб-Петровское. Маркс, Суворин, Стасюлевич, Герман Гопне, Корнфельд («Стрекоза»), Девриен, Вольф, Ильин, Глазунов, Печаткин, одним словом, все короли и князья печатного дела были поставщиками и друзьями Г. П. Данилевского. Я уж не говорю о журналистах.

Критики толстых журналов, если и косились на исторического романиста, то все же находили немного дефектов в его произведениях и, в общем, были к нему благосклонны. А он, кроме «Русской мысли», подрабатывал и в других местах: то под праздничек рассказик в фельетоне «Нового времени» и подпишет его псевдонимом «Зеленый человек», то в «Русском вестнике» повестушку, еще где-нибудь стихотворение, а в «Ниве», у приятеля Маркса — что-нибудь такое, фантастическое, но приятное.

И все считали «за честь и счастье» иметь его сотрудником, хотя и поругивали плодовитого автора. А генеральное благоденствие увеличивалось, казна его росла, и нивы в селе Пришибе тучнели, а стада умножались.

Друзья были у него и в сановном мире, где, однако, он держался тише воды ниже травы. И почему-то все эти друзья его поругивали и относились к нему несерьезно. Никто не верил в его исторические познания, даже в серьезность его творческих литературных задач, а некоторые так просто определяли: «Гришка жарит свои романы с кондачка, по поговорке — за вкус не берусь, а горяченько будет». Сам же Григорий Петрович был очень строг в своих литературных требованиях и надменно и презрительно осуждал своих коллег-литераторов. Достоевского, по своему собственному признанию, он не переносил. «Помилуйте, — говорил он, —

все его творчество какое-то сплошное нытье, мучительное и напряженное углубление в болезную человеческую душу. Что тут хорошего? Зачем и за что мучить читателя?»

Не очень снисходительно относился Григорий Петрович и к Н. С. Лескову. Его своеобразный стиль называл он умышленной ломкой и уродованием русского языка и других достоинств в этом писателе не хотел видеть. Однако появление в «Русской мысли» рассказа Н. С. Лескова «Аскалонский злодей» заставило и Данилевского заблистать глазами и как бы с удивлением произнести: «А ведь знаете, это хорошо».

Я упомянул уже о несерьезном отношении к Г. П. Данилевскому всех имевших с ним дело. С. Н. Шубинский уверял, что если не всякому слуху следует верить, то тому, что говорит Данилевский, не следует верить никогда. И такое мнение о нем господствовало еще издавна. Еще Н. Ф. Щербина в своем «Соннике русской литературы» метко определил правдивость Григория Петровича, а Н. А. Некрасов пошел еще дальше — он, не обинуясь, сказал:

Я не охотник до Невского.
Бродит там всякий народ,
Встретишь как раз Данилевского,
Что-нибудь тотчас соврет;
Где-нибудь выдать за верное —
Скажут: и сам ты такой!
Дело однажды прескверное
Было такое со мной!..

Великий себялюбец и корыстолюбец, на каждое новое знакомство смотревший с точки зрения выгоды, Г. П. Данилевский может быть до некоторой степени оправдан лишь одним: прекрасный семьянин, нежный и, пожалуй, чересчур заботливый отец. Он, как крот, все таскал в свою нору, и да простится ему, если от этого терпели и казенные, и частные интересы.

Я помню, как он предпринял издание полного собрания своих сочинений. Что это была за возня, какая это была суета! Вся контора «Правительственного вестника» была поставлена на ноги, это была настоящая экспедиция издания. Сторожа редакции развозили по разным местам сотни экземпляров многотомного издания. Работы всем было по горло. Повсюду, во всех журналах и газетах, больших и малых, были мобилизованы рецензенты для помещения библиографических замечаний. Рекламы сыпались дождем. И нескончаемая струя желтых, зеленых, синих и красных бумажек сыпалась в генеральскую нору [...].

Но всему бывает конец, и на Григории Петровиче воочию

оправдалась истина «Екклезиаста»: «суета суетствий и всяческая суета». В самом разгаре забот, усилий, суеты, мелких интриг, дразг и волнений, лавируя по узкому фарватеру чиновничьей жизни, ожидая: вот-вот волна вынесет его ближе к вершине бюрократической карьеры, он наткнулся на неожиданное, неизбежное препятствие: пришла смерть [...].

МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ

«Майков». Издавна, еще в ранней моей юности, когда при мне произносили это имя, мне представлялось, что в первый раз после зимы открыли окно и весенний воздух свежей струей хлынул в комнату. Вероятно, это впечатление от имени поэта связывалось у меня с глубоко врезавшимся в память его стихотворением:

Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался...

И вот, представьте себе, как я был поражен, когда в Петербурге, в один из «вторников» у А. П. Милюкова, хозяин, Александр Петрович, подвел меня к пожилому господину среднего роста, самой обыденной наружности и назвал его А. Н. Майковым.

Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его лежали непослушными прядками на голове; вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадают на каждом шагу, но стоило заговорить ему — и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы...

Раньше, не зная лично Майкова, я любил и почитал его как поэта-художника. Я знал наизусть много его стихотворений, целые поэмы, как «Два мира» и «Три смерти», сами собой укладывались у меня в памяти.

Но вот странное дело, когда я узнал поэта лично и стал с ним встречаться, мое отношение к некоторым его произведе-

ниями совершенно изменилось: раньше мне все казалось высоко и прекрасно, а тут, помимо моей воли, произошла какая-то переоценка и многое, что казалось мне прекрасным, я отбросил в сторону, как недостойное великого поэта.

Я повинился в этой своей новой разборчивости перед Аполлоном Николаевичем. Помню, недоверчивое выражение едва мелькнуло в его глазах и сменилось ясной улыбкой.

— Ах, если б вы знали, сколько я хотел бы отбросить из написанного мною, да не только отбросить, а и забыть навсегда... Да вот беда: не только из песни, а из песен слова не выкинешь.

Часто приходилось мне встречаться с Аполлоном Николаевичем в разных местах, бывал я и у него несколько раз в его небольшой скромной квартирке на Никольской улице. Случалось, подолгу беседовали мы о русской поэзии, о литературе вообще, и я уверен, многое довелось мне воспринять от Аполлона Николаевича в этих беседах. Никого в жизни не встречал я, кто бы так любил, почитал и понимал Пушкина. Он чувствовал каждый звук в его стихах, улавливал тончайшие оттенки гениальных образов и картин и преклонялся перед ними, как перед святыней. «В нем все совершенно, — говорил Аполлон Николаевич о нашем великом поэте, — даже его недостатки. В другом, обыкновенном человеке мы, может быть, осудили бы безудержную вспыльчивость, не всегда разборчивую склонность к сарказму и ядовитой насмешке, а без них он немислим, у него все безгранично и все совершенно. Даже горькая смерть его на барьере от пули противника как-то подходит к образу поэта, трагично завершая его жизнь. Право, мне кажется, умри он спокойно после долгой болезни, окруженный заботами семьи и врачами, это как-то не вязалось бы с его образом и кипучей жизнью» [...].

С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга. Как известно, поэт был страстный рыболов и на Сиверскую привлекла его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкой в руках.

Я, с детства ружейный охотник, не очень-то понимал удовольствие высидывать часами на берегу, но, случалось, сопровождал поэта в его рыболовных экскурсиях.

Однажды вечером я подошел к Аполлону Николаевичу,

сидевшему с удочкой на берегу. Я опустился рядом с ним, а он, подняв кверху руку, жестом рекомендовал мне соблюдение тишины. Так сидели мы с десяток минут. От скуки я стал слагать про себя шутливые метры и шепотком говорить их Майкову:

Старец на бреге сидел и лесу далёко закинул,
Взором спокойным следил за поплавком легковесным,
Вдруг он, вздрогну́в, затонул и скрылся в пучине...
Рыбарь же, страстью объят, оживился:
Леской высоко взмахнув, бросил добычу на берег.
Но что же? О, боги! То был не линь, не окунь серебристый,
Ни даже щука сама, гроза пискарей мелководных,
То был, о позор — лягушонок...

Майков, не отрывая глаз от поплавка, выслушал мои вирши до конца, а потом обернул ко мне улыбающееся лицо и, ни минуты не думая, также шепотком ответил:

Ядом иронии злой, о жестокий Немврод, возмутил ты
Радость невинную ловли моей, и за это,
Предвиденья духом объятый, я предвещаю тебе:
Будут ловитвы твои бесплодны на многие годы,
И единой добычею будет тебе
Ни вепрь, ни олень многогогий и даже ни заяц,—
Единой добычею будет тебе лишь чешуйнохвостая крыса.

Навсегда запечатлелась в моей памяти спокойная фигура А. Н. Майкова на фоне красивого пейзажа, при свете угасающего солнца.

То, что я пишу о Майкове, есть лишь маленькая памятка. Я не биограф и не панегирист, и цель моя поделиться глубоким впечатлением, какое оставил в моей душе образ поэта-классика.

Как известно, А. Н. Майкова связывала долголетняя дружба с Ф. М. Достоевским. В труднейших случаях жизни великий писатель наш прибегал к помощи друга-поэта и находил ее неизменно. Я, раньше чем познакомился с Майковым, много знал о нем от Достоевского. «Читайте Майкова, — говорил мне Федор Михайлович, — глубже вчитывайтесь в него... Это истинный поэт, и каждое слово его дорого» [...].

«И КАК ОГНЕННЫЕ ЗАРНИЦЫ ПОЛЫХНУЛИ ДОБРО И ЗЛО...»

(Вторая песнь «Поэмы начала» Н. С. Гумилева)

Публикация И. П. Сиротинской

Строки, вынесенные в заглавие, — из неоконченной «Поэмы начала» Николая Степановича Гумилева (1886—1921). Перелистываешь пожелтевшие от времени листки и думаешь о силе духа и дерзости ума этого человека.

Революция, гражданская война... Рушатся устои старого, обжитого мира тенистых парков, бело-желтых ампириных зданий, изысканных гостиных. Кажется многим — рушится великая Россия, настал конец «славы отчей». Он, дворянин и офицер, тоже предчувствует свою гибель. А пишет — о звездах, которые указывают путь капитанам и мудрецам, воинам и поэтам, о происхождении миров и времени, добра и зла, жизни и смерти. «Звезды» — пожалуй, одно из самых частых слов в его стихах. И это не просто особенность его лексики.

Космогонические мотивы свойственны поэзии Гумилева, особенно последнему периоду его творчества. В сборнике «Огненный столп» (Пг., 1921) стихотворения «Слово», «Шестое чувство» прямо перекликаются и по теме, и по интонации с «Поэмой начала».

На своем экземпляре сборника «Огненный столп» на странице 17-й, над текстом стихотворения «Слово» А. А. Ахматова сделала помету: «ср. с «Драконом».

«Дракон» — это первая книга «Поэмы начала», над которой Гумилев работал, по-видимому, в 1918—1920 годах.

Первая песнь из книги «Дракон» опубликована в первом альманахе Цеха Поэтов, вышедшем еще при жизни Гумилева в 1921 году в Петрограде, а затем перепечатана в посмертном сборнике «Стихотворения» (Пг., 1923. 2-е изд.). В этом издании к поэме имелось примечание: «Дракон» (1919—1918)*. Первая часть эпической поэмы». Предполагалось 12 частей. В бумагах поэта имеются черновые наброски второй части. А. А. Ахматова в этом сборнике ниже текста поэмы пометила: «1919 (?)» (Новое поступление. С. 125).

В «Вестнике литературы» (№ 8 за 1920 год) в разделе «Чем заняты наши писатели» упоминалось, что Гумилев заканчивает «Поэму начала», которая состоит из 18 песен и

* Так в книге.

6 книг: 1) Дракон, 2) Друиды, 3) Воины, 4) Мятеж, 5) Огонь и вода, 6) Потоп. «Действие поэмы происходит в сказочной Лемурии, предшественнице Атлантиды, а в основу его положена концепция автора о последовательной смене четырех классов — творцов (друидов), воинов, купцов и народа» (Вестник литературы. 1920. № 8 (20). С. 11).

В опубликованной первой песне поэмы жрец легендарной Лемурии, Морадита, вопрошает последнего умирающего дракона о тайнах мира:

Зарожденье, преображденье
И ужасный конец миров
Ты за ревностное служенье
От своих не скроешь жрецов.

Содержанием последующих песен, видимо, должен был быть ответ дракона. Последние строки первой песни таковы:

Переливы чешуй далече
Озарили уступы круч,
Точно голос нечеловечий,
Превращенный из звука в луч.

В архиве Гумилева, переданном в 1934 году в Гослитмузей его второй женой Анной Николаевной Гумилевой, урожденной Энгельгардт, сохранились наброски песни второй из книги «Дракон». Наброски эти хранятся сейчас в ЦГАЛИ в четырех вариантах. Первый вариант — в виде машинописной копии, три другие — автографы (ф. 147, оп. 1, ед. хр. 10). Анализ текстов, помет на них позволяет установить предположительную последовательность вариантов.

В первом варианте песни намечен план поэмы:

- 1) Метафизика.
- 2) Космос.
- 3) Жизнь.
- 4) Драконы.
- 5) Люди.
- 6) Звери.
- 7) Растения.
- 8) Минералы.
- 9) Духи.
- 10) Метафизика.
- 11)
- 12) *

При последовательном чтении вариантов воссоздается ход работы поэта над стихами: сначала черновые наброски,

* 11—12 остались незаполненными.

неразборчивым почерком, словно поэт торопится записать нахлынувшие на него строки, но вот порыв иссякает, набросок кончается, следует строгий отбор: текст правится, вертикальной чертой отчеркиваются слева лучшие, по мнению автора, строфы, иногда цифрами намечается новая последовательность строк, набросок переписывается набело, это словно дает новый импульс, стихи продолжаютс я опять черновой скорописью, опять набросок кончается, переписывается набело и... на таком беловом наброске кончается последний, четвертый вариант.

В данной публикации воспроизводятся два промежуточных, наиболее полных варианта начала второй песни книги «Дракон».

Видно, как по мере работы поэта над текстом все более отсеивается умозрительная «метафизика», оттачивается форма, нарастает энергия, живописность стиха.

В первом публикуемом варианте (левый столбец) отчеркнуты вертикальной чертой 2-я, 6-я, 13-я строфы, с 19-й строфы начинается скоропись — эти строки возникли в этом варианте.

После 22-й строфы запись:

«Мировые драконы и их преображение в земн[ых]. Преобр[ажение] зем[ных] др[аконов], преобр[ажение] чел[ока]».

Строфы 11-я, 22-я зачеркнуты, строфы 7-я, 19-я записаны на полях слева.

Во втором публикуемом варианте (правый столбец) скоропись начинается с 16-й строфы со слов «В зеленеющем океане...».

Последние 3 строфы записаны на другом листе, после текста предыдущего варианта, и отнесены к данному варианту по содержанию текста, авторской нумерации части (4), более темному, фиолетовому цвету чернил, которыми написан вариант в целом, тогда как другие наброски записаны более светлыми, синими чернилами.

Полный текст второй песни книги «Дракон» не сохранился. Видимо, она так и не была закончена автором.

Зачеркнутый текст восстанавливается в ломаных скобках; исправленные автором варианты — в подстрочных примечаниях. Редакторские конъектуры и предположительное чтение трудноразбираемых слов даны в квадратных скобках.

ПОЭМА НАЧАЛА

Книга первая

ДРАКОН

Песнь II

1

Первый вариант

Сознавая лишь постоянство,
Без страданий и без усад
В неродившееся пространство
Устремлялся бесплотный взгляд.

Мир был легок, бесформен, пресен,
Бездыханен и недвижим,
И своих трагических песен
Не водило время над ним.

Но от взгляда сущностью новой
Загорелась первая мысль,
Вместе с мыслью родилось слово,
Предводитель священных числ.

И, возглавляя радости странствий,
Все сверканье и все тепло,
В чуть слагающемся пространстве
Слово тонким лучом прошло.

Млечной* радугою повисло,
Озарив непомерный сон;
И дробящие слово числа
Объясняли его закон.

2

В этом мире блаженно-новом,
Как сверканье и как тепло,
Было между числом и словом
И не слово, и не число.

<Обе воли и оба знания
В нем едином дивно слились>

Превращая в тепло сверканья
Светоносцем оно звалось,
Потому что полное знание
В нем едином дивно слилось.

И оно, помыслив отдельность
Как священнейшее из прав,
Разорвало святую цельность,
Красной молнией в бездну пав.

1

[Второй вариант]

Мир когда-то был легок, пресен,
Бездыханен и недвижим,
И своих трагических песен
Но водило время над ним,

А уже в этой тьме суровой
Трепетала первая мысль,
И от мысли родилось слово,
Предводитель священных числ.

В слове скрытое материнство
Отыскало свои пути:
— Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.

Ибо в мире блаженно-новом,
Как сверканье и как тепло,
Было между числом и словом,
И не слово, и не число.

Светозарное, плотью стало
Звучом, запахом и лучом,
И живая жизнь захлестала
Золотым и буйным ключом.

2

Скалясь красными пропастями,
Раскаленны, страшны, пестры
За клокочущими мирами
Проносились с гулом миры.

Налетали, сшибались, выли
И стремительно мчались вниз,
И столбы золотистой пыли
Над ловцом и жертвой вились.

В озаренной светом бездне,
Затаив первозданный гнев,
Плыл на каждой звезде наездник
Лебедь, Дева, Телец и Лев.

А на этой навстречу звездам,
Огрызаясь на звездный звон,
Золотобагряным наростом
Поднимался дивный дракон.

* Вм. зачеркнутого «Светлой».

Увлеченные в том паденье,
Пали числа звездным дождем,
И повеял холод, и тени
Потянулись вслед за лучом.

Мир стал шире, глубже, полнее,
Как стена из света и мглы,
На которой вились, как змеи,
Первозданной силы узлы.

<Стали образы без названья
Направлять окрыленный шаг
В вышину, в тепло и сверканье,
И в глубины, в холод и мрак>.

3

О отдельности! Ты пламень счастья
Даже в холоде и во тьме!
Ты блаженное сладострастье
Замышлять и желать и сметь!

В силе скрытое материнство
Ей открыло ея пути:
— Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.

Но распавшиеся частицы
Друг ко другу вновь повлекло,
И как огненные зарницы
Полыхнули добро и зло.

От стремленья и обладанья*
Этот мир уже не стена,
А бескрайнего мирозданья
Ширина, длина, глубина.

В опьяненье своей свободы
Золотые пляшут миры,
Камни, пламени, воздух, воды
Славят радость и боль игры.

4

Скалясь красными пропастями,
Золотым взъерошась огнем,
Меж испуганными мирами
Дико мчался кипящий ком.

А на нем, угрожая звездам,
Огрызаясь на звездный звон,
Золотобагряным наростом
Поднимался первый дракон.

Лапы мир оплели, как нити,
И когда вздыхал он, дремля,
По расшатанной им орбите
Вверх и вниз металась земля.

3

Мчалось время; прочней, телесней
Застывало оно везде.
Дева стала лучом и песней
На далекой своей звезде.

Лебедь стал сияющей льдиной,
А дракон — земною корою,
Разметавшею равниной,
Притаившеюся горой.

Умягчилось сердце природы,
Огонь в глубинах земли исчез,
Побежали звонкие воды,
Отражая огни небес.

Но из самых темных затонов,
Из гниющих в воде корней,
Появилось племя драконов,
Крокодилов и черных змей.

Вползали слепые груды
И давили с хрустом других,
Кровяные рвались сосуды
От мычанья и рева их.

4

В зеленеющем океане
Стало тесно от тяжелых тел
От поверженных великанов
Нестерпимо воздух смердел

Да, но мы превратить сумели
В [лапы] цепкие плавники,
Чтоб вползать на теплые мели,
Пробиваться сквозь тростники.

Стало тесно и здесь — усилие
[Нашей] творческой воли нам
Подарило крепкие крылья,
Чтоб носиться как облакам.

* Вм. зачеркнутого «От бесчинного их слиянья».

Лапы мир оплели, как нити,
И когда вздыхал он, дремля,
По расшатанной им орбите
Вверх и вниз металась земля.

Молчаливый этот наездник
На безумном своем коне
Увидал в сияющей бездне
Синий мир блаженный вполне

И ударил... И стало пусто,
Где пред тем плясала звезда,
И от стога ее и хруста
Появилось время* тогда.

<Стало прошлое [невозвратно]
Темным будущее и тлен
Страшным [чумным] подобный пятнам
На небесном расцвел челе>

5

Да от хруста ее и стога
Появилось время, и вот
На губительного дракона
Племя звездное восстает

Алым полымем в свете бездны
Разгоралось пламя времен,
Был на каждой звезде наездник
Лев иль Дева иль Скорпион.

Налетали, сшибались, выли
И стремительно мчались вниз,
И столбы золотистой пыли
Над ловцом и жертвой вились.

Смерть как вихрь носилась по тверди,
И росло сильней и пышней
Опьянение темное смерти
Все равно, чужой иль своей.

И ревело время, ревело,
Точно зверь во мраке пещер,
Чтоб из песни освирепелой
Родилась гармония сфер.

6

Дева стала звуком и светом
На далекой своей звезде.

Лебедь стал сияющей льдиной,
А дракон земною корой,
Разметавшеюся равниной,
Притаившеюся горой.

* Вм. зачеркнутого: «Первый звук родился...»

Умягчилось сердце природы,
Огонь в глубинах земли исчез
Побежали звонкие воды,
Отражая огни небес.

Но из самых темных затонов,
Из гниющих в воде корней
Появились сотни драконов,
Крокодилов и черных змей.

Поднимались слепые груды
И давили с треском других,
Кровяные рвались сосуды
От мычанья и рева их.

«КАНОНАДА ПО КАНОНАМ»

(Рассказы С. Д. Кржижановского)

Публикация Д. М. Фельдмана

«Я живу в таком далеком будущем, что мое будущее кажется мне прошлым, отжитым и истлевшим»

(из записных книжек С. Д. Кржижановского)

Человек, написавший строки, вынесенные в эпиграф, знал себе цену и понимал: его литературная судьба сложилась неудачно. Во всяком случае — при жизни. Впрочем, Сигизмунд Доминикович Кржижановский не считал себя непризнанным писателем. Скорее — неузнанным.

Его помнят как переводчика, педагога и драматурга. Его работы по театроведению, истории и теории литературы читают, изучают и цитируют в наши дни. Кржижановский-лектор, Кржижановский-исследователь, автор «Поэтики заглавий», статей о Пушкине, Островском, Шекспире, эссе о Бернарде Шоу, переведенных на родине драматурга, — фигура довольно заметная в литературном процессе 1920-х — 1930-х годов. Иное дело — Кржижановский-прозаик...

И все же литературоведение, лекции, переводы, киносценарии, либретто, службу в редакциях сам он считал лишь средством, лишь источником заработка. Целью всегда оставалась литература. Но из всего написанного им за тридцать лет — рассказы, повести, пьесы — издано ничтожно мало.

Его ценили, им восхищались В. Ф. Асмус, М. А. Волошин, А. С. Грин, В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров и многие-многие другие. Но тем не менее — путь к читателю был закрыт. Возможно, виной тому — его ирония. Лстить своему времени и современникам Кржижановский не умел, да и не хотел учиться. Компромиссы — не удавались.

Он не был, да его и не считали сатириком, бытописателем или фантастом. То, что делал Кржижановский, вообще не укладывалось в рамки общепринятых классификаций. Правда, знатоки и специалисты сравнивали его с Гофманом и По, но эти аналогии не отражали сути. Проза Кржижановского была адресована читателю, обладавшему определенной философской культурой, хотя бы элементарными познаниями в области истории философии. Даже названия рассказов и сборников — «Чем люди мертвы», «Разговор двух разговоров», «Клуб убийц букв», «Жизнеописание одной мысли» — воспринимались как логическая игра, как нарушение стереотипа. Сюжеты Кржижановского строились

на исследовании «полемики идей», философских реминисценциях, столкновении парадоксов. Он не снисходил к читателю — разговор шел на равных.

Редакторы утверждали, что Кржижановский излишне сложен, излишне философичен и вообще элитарен, а потому непонятен массам. Все им написанное считалось не то чтоб несовременным, а каким-то *несвоевременным*. Он не спорил и не уступал. Вот так и получилось, что писатель, несомненно выдающийся, оказался вне истории литературы, вне читательской памяти.

О жизни его и творчестве известно очень мало. Воспоминаний Кржижановский не оставил, дневников не вел, а рассказы современников, как и обычно, весьма противоречивы. Наиболее достоверный источник — мемуары жены, Анны Гавриловны Бовшек (1887—1971), актрисы и режиссера. Они познакомились в 1920 году, и главным образом ее стараниями собран и сохранен архив С. Д. Кржижановского...

Он родился 30 января 1887 года и воспитывался в Киеве, в польской католической семье. Окончив гимназию в 1907 году, брал уроки музыки, готовился в консерваторию, но поступил на юридический факультет Киевского университета. Студентом был старательным, хотя правоведение как таковое не входило в область его интересов. В те годы Кржижановский посещает лекции на историко-филологическом факультете, изучает историю, философию, эстетику, поэтику, историю литературы, этнографию, психологию... Практически — занимается на двух отделениях одновременно.

Университетский курс казался ему недостаточным, и, чтобы продолжить образование, он дважды — в 1911 и 1912 годах — выезжал за границу (Швейцария, Италия, Франция, Германия). Поездки дали материал для первых путевых очерков.

В 1913 году Кржижановский окончил университет и в 1914-м зачислен помощником присяжного поверенного при Киевском окружном суде. Где он жил и что делал в годы войны и революции, точно неизвестно — документальных свидетельств нет. Если верить анкете, Кржижановский не оставлял юридическую практику, но есть и другие версии, созданные друзьями и знакомыми: был сторожем на складе, бухгалтером, жил случайными заработками. Его проза тех лет весьма автобиографична, и, может быть, истину следует искать не в анкетах. Впрочем, это проблема будущих биографов.

Первая мировая война была для него глобальной катастрофой, крушением усвоенных с детства понятий о всеевропей-

ском культурном единстве, внациональном характере гуманистических ценностей. Вероятно, именно сильнейшим нравственным потрясением, сознанием преступности и нелепости происходящего обусловлена особость его художественного мира — столь удивлявшее современников сочетание обыденности и абсурда, фантасмагории, трагизма и жестокой иронии. О реминисценциях и литературных влияниях можно, конечно, спорить...

Его первые публикации (стихи и путевые очерки в киевской периодике) относятся к 1912 году, но литературным дебютом Қржижановский считал рассказ «Якоби и якобы», напечатанный семь лет спустя в первом номере журнала «Зори». В то время он был уже довольно популярен в Киеве, главным образом — как лектор. Помимо курсов в Государственном музыкально-драматическом институте он вел литературно-музыкальные программы, работал с А. И. Дейчем, А. Қ. Буцким, Г. Г. Нейгаузом, А. Қ. Марджановым, А. С. Курбасом... В марте 1922 года Қржижановский переехал в Москву...

В столице пришлось начинать заново — ни родственных, ни дружеских связей там не было. Работа все же нашлась — по предложению ЦЕҚУБУ Қржижановский вместе с Бовшек провел цикл литературных вечеров (программы были подготовлены еще в Киеве). Эти выступления принесли известность и, что самое главное, — знакомства в театральных и литературных кругах. Появились новые друзья.

В 1923 году А. Я. Таиров предложил ему читать курс лекций в Экспериментальных мастерских Московского государственного Камерного театра. Пожалуй, «курс лекций» — определение не вполне точное. Высоко ценя Қржижановского, Таиров сформулировал свое предложение так: «Читайте все, что хотите, и как Вы сочтете нужным». В данном случае, эта установка себя оправдала.

Лекции Қржижановского, необычные даже по тем временам, стали событием культурной жизни Москвы. В курс, названный «Теория и психология театра», входили: история и теория литературы, история театра, методика анализа текста драмы, основы психологии, теория поведения, теория сценического пространства и многое другое. Некоторые идеи Қржижановского были затем сформулированы А. С. Курбасом, а много позже — Питером Бруком. «Несвоевременность» проявилась и тут.

В мастерских Камерного театра он преподавал почти три года, но сотрудничество этим не ограничилось. Практически, Қржижановский был постоянным сотрудником театра, много

работал со студийцами, публиковал статьи (своего рода конспекты лекций) в многотиражке «7 дней МКТ», а его инсценировка романа Г. К. Честертон «Человек, который был Четвергом» выдержала 50 представлений. В театральных кругах он считался признанным авторитетом, но в издательствах не везло по-прежнему. Правда, несколько рассказов и очерков прошли в московской периодике: очерк «Штемпель Москва» И. Г. Лежнев напечатал в № 14 журнала «Россия», а в издательстве «Денница» приняли «Сказки для вундеркиндов». Были и другие надежды... Но Лежнев был выслан за границу, журнал и издательство закрылись, и рукописи вернулись к автору. Впрочем, он этому уже не удивлялся. Друзья предлагали помощь, он, как правило, отшучивался. А. Г. Бовшек рассказывает: «Внимание Таирова к Сигизмунду Доминиковичу росло, с годами переходя в трогательную, почти нежную заботу о нем. Когда однажды Кржижановский попал в трудное положение, Таиров заволновался — «Кто Ваш главный враг? Скажите. У меня все-таки есть связи... Может...» — «Нет, Александр Яковлевич, не может, и ничто не поможет. Мой главный враг — я сам. Я тот пустынный, который сам для себя медведь» (ф. 2280, оп. 1, ед. хр. 118, л. 37).

В этой шутке доля правды велика. Стать другим, измениться или изменить себе Кржижановский не мог. Он знал свой путь, жил в литературе и литературой, верил будущему. Искусство было его личным делом.

К счастью, друзья не оставляли надежд хоть как-то выручить его, избавить от нужды, найти подходящую работу. С. Д. Мстиславский предложил написать об Авенариусе для Большой Советской Энциклопедии, статью приняли, последовал ряд новых заказов, и вскоре Кржижановский был зачислен контрольным редактором в отдел ЛИЯ (Литература, Искусство, Языковедение). Работал он и для «Литературной энциклопедии» — двухтомного словаря литературных терминов, выходившего под редакцией Н. Л. Бродского.

Это были «годы передышки». Служба в редакции не слишком тяготила, он продолжал писать, и, несмотря на отсутствие публикаций, выход к аудитории был найден. Именно к аудитории — *слушателям*.

Его часто приглашали читать свои рассказы, это вошло в моду, так и называлось: «пригласить на Кржижановского». Андрей Белый, например, записал в дневнике 18 декабря 1927 года: «Был у [П. Н.] Зайцева. Чтение Кржижановского. Народ» (ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100, л. 132). Он стал автором, чьи произведения «знали на слух», обсуждали и пере-

сказывали с чужих слов — по законам «устного бытования». Но все же — это был выход.

О нем говорили: «известный непрочитанный писатель». Фразы, шутки, «бонмо» Кржижановского расходились анонимно; ему, в свою очередь, приписывали чужие остроты. Так складывалась литературная репутация...

В те годы он регулярно выступал в литературном салоне Евдоксии Федоровны Никитиной — на так называемых «Никитинских субботниках». С Никитиной его познакомили Е. Л. Лани и П. Г. Антокольский, входившие в это объединение и участвовавшие в работе одноименного кооперативного издательства. Им также руководила Никитина.

Различного рода объединения писателей и возникавшие при них издательские кооперативы — явление типичное в 1920-е годы. Но «Никитинские субботники» не были ни творческим союзом единомышленников (что предполагало бы общность эстетических установок или совместное участие в литературной полемике), ни чисто профессиональным объединением литераторов на коммерческой основе. Этот уникальный симбиоз литературного салона и коммерческого предприятия создавался и существовал исключительно энергией Никитиной, благодаря ее воле, опыту и деловой хватке.

В «Никитинские субботники» входили писатели и художники, литературоведы и критики, члены РАППа и «Кузницы», Литературного центра конструктивистов, Лефа и «Передела» — вражда группировок невозможна в салоне, и взаимотерпимость была там законом. Никитина издавала все, что могло иметь спрос, и этому принципу следовала неукоснительно. Личные вкусы и пристрастия отходили на второй план.

Кржижановского приняли в объединение, он много работал, но опубликовать успел лишь «Поэтику заглавий». В 1931 году «Никитинские субботники» вошли в состав издательства «Федерация» и как самостоятельный кооператив более не существовали. Постепенно ликвидировали и другие кооперативы. Тем не менее «субботники» сыграли важную роль в судьбе Кржижановского, способствовали установлению и закреплению многих дружеских связей. К тому же теперь он считался автором *книги*. Но если в 1920-е годы *писатель* Кржижановский мог еще найти путь к читателю, то в 1930-е — 1940-е надежд почти не осталось. В эпоху предельно жестких регламентаций, когда устанавливалось окончательно и не подлежало сомнению, что, как и о чем следует писать, сама идея «канонады по канонам» казалась немисливо дерзкой. Он это понимал...

Желая помочь Кржижановскому, друзья передали его рукописи Горькому. Передали, не спросив и не ожидая авторского согласия, и отзыв Горького, столь удививший, даже возмутивший многих, он принял спокойно — иного не ждал.

«Я не могу рассматривать иронические сочинения гр. Кржижановского со стороны их философской ценности, — писал Горький Г. П. Шторму в августе 1932 года, — но мне кажется, что они достаточно интересны и, вероятно, имели бы успех в 80-х гг. XIX столетия. В те годы праздномыслие среди интеллектуалистов было в моде [...].

Мне кажется, что в наши трагические дни, когда весь мир живет в предчувствии неизбежной и великой катастрофы, лукавое празднословие — неуместно, даже и в том случае, если оно искренно.

Большинству человечества — не до философии [...]. В наши дни как будто бы создается иная гносеология, основанная на деянии, а не на созерцании, на фактах, а не на словах. Поэтому, я думаю, что сочинения гр. Кржижановского не найдут издателя. А если и найдут, то всеконечно вывихнут некоторые молодые мозги. А сие последнее — нужно ли?» (Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 699).

Это звучало как приговор: автору — «гражданин», а не «товарищ» и книгам — «лукавое празднословие... всеконечно вывихнут...» Вывод вполне определенный, толкованиям не подлежащий.

Впрочем, Горький не считал себя носителем абсолютной истины. Он умел отказываться от ошибочных суждений — некогда и Достоевский казался ему «социально вредным». Да и письмо — не рецензия, не отзыв, данный официально. Его можно понять и как совет, предостережение. Времена менялись не только для Кржижановского...

В 1931 году ему пришлось уйти из редакции БСЭ — сложились отношения с зам. редактора П. И. Лебедевым-Полянским. Кржижановскому тот не доверял, считал его идеологически невыдержанным», а потому докучал постоянно всевозможными мелочными придирками. А тут еще независимый характер Кржижановского и «классово-чуждое происхождение» — дворянин. Скрывать это он не считал нужным, по крайней мере — в анкетах. Опять начались долгие поиски постоянного заработка. Кржижановский находил службу, но рано или поздно оставлял ее — по тем же причинам.

И снова друзья приходили на выручку — Г. А. Шенгели добывал заказы на переводы, постоянно помогал М. Ю. Ле-

видов. А. Г. Бовшек рассказывает: «Предполагалась небольшая, на полчаса, передача по радио о творчестве Шекспира. Левидов [...] поручил С. Д. написать очерк. Случилось то, что весьма характерно для творческой практики Кржижановского: он написал очерк не столько по заданию радио, сколько по внутренней потребности сказать о том, что в Шекспире было интересно и дорого лично ему. Передача не состоялась, но Левидов заставил автора переделать очерк в статью, отдал ее в редакцию журнала «Литературный критик». Так появились [...] «Шаги Фальстафа», «Контуры шекспировской комедии» и другие работы [...]. Не было ни одной шекспировской конференции, где Кржижановский не выступил бы с новым докладом [...]» (ф. 2280, оп. 1, ед. хр. 118, л. 75).

Он пытался «уйти» в литературоведение, как его современники-поэты «уходили» в художественный перевод, а литературоведы — в беллетристику. И тем не менее Кржижановский всегда и во всем оставался *писателем*. Менять профессию он не желал.

Работал он и в кино. Как сценарист фильма «Праздник Святого Йоргена» Кржижановский пользовался достаточным авторитетом, но его понимание задач и методов кинодраматургии тоже было «несвоевременным». Конфликты, по словам А. Г. Бовшек, возникали постоянно. В 1933 году «Кржижановский, — пишет она, — получил [...] предложение ознакомиться со сценарием мультипликационного фильма «Новый Гулливер» и изменить его [...]. В течение трех дней Кржижановский придумал два варианта «Гулливера» и изложил их в Союзкино. Режиссеры [...] признали, что он распрямил тему во весь ее рост, что это перекрывает их сценарий, но так как старый сценарий уже в производстве, типажи и декорации готовы, то придется вернуться к первоначальному [...], углубляя и уточняя его новыми образами и словостроем.

«Я еле удержался, — писал мне С. Д., — чтобы не сказать: за тему о Гулливере не следовало братья лилипутам, но что-то дерзкое сказал — а после этого [...] принял трудные предложения» (там же, л. 77).

В 1932 году осуществился давний план — поездка в Среднюю Азию. Он выбрал Узбекистан, изучал язык, читал труды историков и этнографов. По материалам поездки Кржижановский написал книгу очерков «Салыр-гюль», но журнал «30 дней» опубликовал лишь одну главу в 5-м номере за 1933 год. Все же это был успех.

Он не мог не работать: подготовил сборник новелл

«Чем люди мертвы», писал сценарий «Машина времени», о праве первой постановки его пьесы «Поп и поручик» спорили многие режиссеры (в том числе Н. П. Акимов и Р. Н. Симонов), а инсценировку «Евгения Онегина» (музыка С. С. Прокофьева, художник А. А. Осмеркин) репетировал в своем театре А. Я. Таиров. Но в Союзкино договор на сценарий так и не был подписан, пьеса не пошла, а Камерному театру инсценировку не разрешили. Невзгоды Кржижановский переносил стойко, шутил: «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работавшим на бытие» (там же, ед. хр. 118, л. 1).

Впрочем, один раз удача казалась близка: по рекомендации Е. Г. Лундберга в издательстве «Советский писатель» принята сборник «Рассказы о Западе». В 1941 году рукопись пошла в набор, но — началась война...

Фронт подошел к Москве, Кржижановский был тяжело болен, истощен, но от эвакуации отказался. Он продолжал работать, полагая, что «писатель должен оставаться там, где его тема». Личные обиды и неудачи теперь не имели значения, Кржижановский делал все, что ему поручали.

По его либретто в театре имени Станиславского ставили оперу «Суворов», Кржижановский вел занятия с актерами, следил за ходом репетиций, вносил поправки, изменения. Премьера состоялась в феврале 1942 года, спектакль шел всю войну, неизменно собирая полный зал и в Москве, и в Ташкенте, и в Новосибирске. Вместе с концертными бригадами Кржижановский выезжал на фронт, по командировкам ВТО инспектировал театры Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, читал лекции. В эти годы написаны «Корабельная слободка» (пьеса об осаде Севастополя), либретто оперы «Фрегат «Победа», пьеса «Голуби», исследования по русскому военному фольклору. Он работал много и напряженно, видел сценическую реализацию своих замыслов, но считать это победой или удачей не мог. Пусть добровольно, пусть бескорыстно, из самых лучших побуждений, но так или иначе он принял чужие условия: писал то, что считали нужным другие. Кржижановский знал цену такого рода уступкам, понимал необратимость последствий. И все же, как никогда раньше, он ощущал себя *нужным*, ярлык «несвоевременный» был наконец-то снят, забыт. К несчастью — ненадолго.

После войны он по-прежнему, но без прежнего блеска читал лекции, вел занятия с молодыми драматургами, переводил Тувима, Жеромского, Мицкевича, Фредро, составил антологию польского рассказа. Его последнюю книгу — цикл очерков «Раненая Москва» («Москва в первый год войны»)

издательства не приняли, с тех пор Кржижановский почти не писал, силы были на исходе.

Он уже не мог бороться с болезнью, жил уединенно, избегал встреч даже с друзьями. «В конце октября, — пишет А. Г. Бовшек, — произошло кровоизлияние в мозг [...]. В минуту просветления я спросила его: «Хотите ли вы жить?» Он ответил: «Не знаю. Скорей нет, чем да», — потом тихо добавил: «Если б это не было так пошло, я бы сказал, что душа у меня надорвалась» (там же, л. 89). 28 декабря 1950 года С. Д. Кржижановский умер.

Комиссия по его литературному наследию была создана почти семь лет спустя — в 1957 году. В состав ее вошли: Е. Л. Ланн (председатель), А. А. Аникст, В. Ф. Асмус, В. А. Дынник и А. Г. Бовшек.

Для издательства «Советский писатель» комиссия в кратчайший срок подготовила двухтомное собрание сочинений Кржижановского, сборники его произведений предлагались и другим издательствам. Но в инстанциях, как водится, не спешили, публикация все откладывалась, редакторы требовали все новых сокращений и переработок, а в 1958 году умер Е. Л. Ланн, и возникли новые затруднения... Книги так и не вышли.

В 1965 году А. Г. Бовшек передала архив С. Д. Кржижановского в ЦГАЛИ (ф. 2280, оп. 1,2).

Ниже публикуются два ранних рассказа Кржижановского — «Спиноза и паук» (из подготовленного сборника «Сказки для вундеркиндов») и «Чудак».

СПИНОЗА И ПАУК

Биограф Бенедикта Спинозы Колерус (XVII в.) сообщает о философе: «Он любил, в часы отдыха от научной работы, наблюдать, бросив муху в сеть к пауку, жившему в углу его комнаты, движения жертвы и хищника. Иногда, говорят, он при этом смеялся».

Старый мохнатолапый крестовик, почуяв на себе зрочки философа, чуть-чуть, что бывало с ним чрезвычайно редко, заволновался. Понятно: момент был слишком значителен. Вероятно, вследствие этого чисто артистического волнения мастера две-три нити оборвалось и спуталось, но, в общем, дело было сделано, как всегда: быстро и чисто.

Восемь тонких, внутрь вогнутых лапок паука, ступая по туго натянутому плетению паутины, методически, с полной

последовательностью, точно пронумерованные в потной тетрадке с экзерцисами пальцы пианиста, обмотали истерически дергающееся тело мухи в серебристо-серый ворсинчатый саван. Треугольная грудь мастера, с колючими глазками у краев, отыскав на вибрирующем черном брюшке мухи нужное место, сомкнула внутри брюшка свои остро изогнутые челюсти.

Муха дернулась было крылышками. Еще раз. И все.

Тогда-то паук и поднял колючий граненый глаз кверху: тогда-то глаза паука и зрачки метафизика встретились. На мгновенье. А затем: и паук-крестовик, и метафизик, расценив взгляды, разошлись.

Метафизик подошел к столу у окна; протянул правую руку — щелкнула бронзовая крышка чернильницы, зашептались друг с дружкой страницы рукописи.

А паук, потеряв слегка закровавившиеся передние лапки о пару средних, вполз по влажному бархатистому изумруду плесени в щель, темневшую меж стены и неплотно к ней примкнутыми трактатами Картезия, Гэреборда и Клаубергуса. Пройдя по сомкнувшим свои лезвия листам к одному из книжных вгибов, паук вобрал в себя, сколько мог глубже, все восемь лапок и замер.

Метафизик же, у окна, писал: «...естественное право простирается во всей Природе и в каждой отдельной особи так же далеко, как и сила. Следовательно, все, что человек осуществляет в силу своих естественных законов, он делает с абсолютным естественным правом, и его право на Природу измеряется степенью его силы»*.

Страницы, падая одна на другую, прикасались буквами к буквам и, вследствие этого, понимали друг друга. Скрипело перо. И лишь один раз метафизик, оторвав глаза от строк, глянул на паутинные нити в темном углу комнаты и улыбнулся.

А паук? — Прижавшись брюшком к пыльному Клаубергусу, он погрузился в *чистое недумание*. Философу было чему поучиться у паука, но чему мог научиться паук у философа? Тот, у нервущихся черных строк, знал меньше, чем ему было нужно знать. И писал, и писал. Этот же, у нервущихся серых нитей, знал ровно столько, сколько ему должно было знать: он был досоздан до конца, и ему незачем и не о чем было совещаться с шелестом листов манускриптов и печатных томов. Сидя во вгипе фолианта, он наслаждался великой привиле-

* Строки эти могут быть отысканы в «Tractatus Politicus» Спинозы. Cap. 1, § 1—2. (Примеч. авт.)

гией, издревле пожалованной их старинному и знатному паучьему роду, — от прадеда к деду, от деда к отцу и от отца к нему мохнатолапому — *свободой от мышления.*

1921

ЧУДАК

I

Меж ввитых в дымы сосен, по искромсанной снарядами лесной дороге, рота тихо пододвинулась к опушке. Обогнув шесть ахающих жерл, она оторвалась от леса и разомкнулась в цепь, стала медленно ползти по отлогому скосу холма, поднятому над полем. Или, со штыками у глаз, по сожженной боями и зноями растрескавшейся земле, к четкому верху холма: здесь, на узкой полосе, отделившей опушку от холма, — было странно тихо. Полоса была выключена из смерти: сверху ее прикрыло верховым визгом пули и лётками снарядов. Но удары их, гудом и хрустом полнившие лес, одевшие в пыль и мглу разрывов поле, ждавшее впереди, за гребневой линией холма, — оставляли полосу нетронутой и как бы забытой боем.

На гребне, по обе стороны желтого разбега дороги **возникали**, то тут, то там, качающиеся носилки с человеческими тушами меж параллельных, длинных, чуть выгибающихся шестов. Взрыв над линией гребня, прогрохотала пустая патронная двуколка: она бешено неслась на нас, толкая раскрутившимися колесами ошалелую, припадающую на задние копыта, сизую костистую клячу.

Слева — кладбище: с сорванным канонадами дерном. За прорывами ограды — кресты, пригибаясь рядами к земле, чинно кланялись, прося не забывать.

Но мы пока шли мимо: вернее, близящаяся четкая линия гребня шла на нас, медленно подвигаясь под ноги. Мы знали: переступив ее, откроем себя — пулям и, главное, глазам наших убийц. До черты: сто шагов, пятьдесят, двадцать; с е й ч а с, глянув влево, я увидел человека: человек этот, одетый в мешковатую полувоенную-полутуристскую одежду, с портфелем, мирно положенным на колени, сидел нога на ногу на камнях низкой кладбищенской ограды и, с видом совершенно посторонним всему происходящему, выставился узкой, крюком выдвинувшейся вперед рыжей бородкой навстречу цепи. Он проводил спокойными глазами клячу, бегущую к опушке, и теперь фиксировал острым наблюдательским глазом нас. Но линия, отделившая затишье от боя, была уже под ногами: шаг — и все — опушка,

подъем холма, кляча, кресты, стена, человек на стене — исчезло. Нас взяло боем.

II

Ночью сменили. Не всех: иные как легли, там в поле, так и лежали: и только затоптанная боями трава оплакивала их скудными росинами.

Шли молча, с винтовками на ремнях. Земля — сперва — скосом вверх; потом скосом вниз: под синими взлетами ракет возникал и ник, ник и возникал — неясный контур ограды; за ее брешами — кресты: униженно пригибаясь крестовинами, земно кланялись, моля не забывать. Но мы еще раз проходили мимо.

В памяти моей возник давешний образ: сторонний бою, спокойный человек, с портфелем, раскрытым на коленях, любопытствующая крючковитая бородка, обыскивающая бой.

Шпион? Вряд ли. Если не шпион, то кто? И чего ему, не позванному смертью, топтаться тут на кровях?

Шли до команды «стой». После «стой» повалились на землю: и всех прикрыло сном.

Рассвет отыскал нас меж стволов реденького растерявшего ветви, загаженного и ископанного резервного леса. Тотчас же, параллельно стволам, потянулись сизые дымки. Ржаво затявкили манерки. Птицы давно с омерзеньем покинули это жалкое, прокопченное гарью, бессильно тычущее в небо обугленные и искалеченные сучья подобие леса. Потянулись тягучие — пустые дни. От поверки до поверки, меж стуков топора, горластых песен и скучливого лета снарядов, ухающих там, где-то в полуверсте от нас. Чай из лужи, ловля вшей, сон, чаек и снова сон.

И каждый вечер я выходил к опушке. Там, прижавши спину к шершавой коре сосны, я ждал: у горизонта, полужастанные туманом, тянулись ало-синие зоревые полосы. И каждый вечер оттуда выкатывала телега; она выезжала всегда будто из зари: колеса, перекатившись с ало-синих борозд в темные вдавленные в землю колеи, сонно ворочая спицами, близились к опушке: и всегда на соломенном настиле — навзничь и ничком, лицами в лица, трупы. И в этот вечер, чуть дневные пылины, умаявшись, прилегли отдохнуть и сквозь вечерний очистившийся воздух опять потянулись сине-алые колеи, я уже стоял, прижав спину к сосновой коре и терпеливо ждал. Было как всегда: перекатившись коваными ободами с зоревых борозд в борозды

дороги, близилась телега: в ней лицами в лица, ничком и навзничь на желтом настиле — трупы. Борозды гасли, колеи застало туманом, от телеги, вкатившейся в туман, только и осталось — шорох колес о землю да скрип ссохшегося дерева. Я повернулся — идти назад: в трех шагах за мной, устало опершись ладонью о ствол, стоял человек, встреченный тогда у черты: в руках у него был все тот же портфель. Глянул на меня и будто ужалил вопросительным знаком бородки: я понял: трупы звали не меня одного. Человек, выждав паузу, деловито сказал:

— Начало.

— По-моему, — улыбнулся я, — скорее уж конец.

Человек зажал жало бородки в кулаке и вдруг заговорил неожиданно быстро и скомканно:

— Я говорю о начале страха. Я давно наблюдаю страх и не согласен с приемами Поссо в его «La Pauga»: тут нужны не плетизмографы*, а пушки. И пропустить войну исследователю депрессии, как делают это они, мои коллеги, просто глупо. Но вас, как я вижу, интересует труп. Вполне понимаю. Думают — трупы на кладбищах. Вздор. В каждого, — и в того, кого хоронят, и в того, кто хоронит, — вдет труп: и я не понимаю, как они там у их могильных ям не перепутают — себя и их. Труп зреет в человеке исподволь: правда, обыкновенно, он спрятан от глаза, вобран в ткань, но... зреет, и трупные проступы от дня к дню яснее и четче. Живое — не может пугать: жизнь во всех ее модификациях влечет — не отталкивает. Но стоит, прикоснувшись к человеку рукою ли, глазом ли, ощутить в нем, хотя бы на миг, трупную проступь и... мы мало зорки, но если отточить глаз, развить в себе вот это чувство, то незачем и телег с мертвецами, незачем кладбищ — мертвец и кладбище всюду. Конечно, в каждом из нас колебания, каждый то в мертвь, то в живь. Вот вы например, — он резко повернулся ко мне: — сейчас вы много живее, но когда вы, вы все, идете в бой, тогда... мне кажется, что тогда и убивать-то вас уже не нужно. И знаете, я думаю из боя — никто, вы понимаете, никто и никогда не возвращался... живым. Не согласны?

Он повернулся лицом в поле:

— Пошагаем — а?

И мы пошли меж пней и ям. Гул откатившегося боя то и дело вмешивался в разговор.

* Аппарат для измерения объема различных частей тела в зависимости от степени их кровенаполнения, зависящего, в свою очередь, от нервно-психического состояния.

— Мне часто задают вопрос, словами, взглядом (вот так и вы): зачем я здесь. Я пришел сюда к страху. Люди мне не нужны. Нет: мне в них нужен — их страх. Только.

Он, запрокинув голову, брезгливо покружил бородкой от стлавшейся по горизонталям мглы до серых вертикалей дымов — люди мне не нужны.

Я чувствовал и себя вчерченным в круг и хмуро отвечал:

— Сюда, к черте, приводит и здесь, у черты, удерживает — не страх, а...

Но собеседник уж нетерпеливо перебивал:

— У страха двойная повадка: он — то гонит назад, то — гонит вперед. Если вы погнаны им назад, то вам кричат «трус» и стреляют в спину, если же вы погнаны страхом вперед, наспиливают полосатую ленту на грудь — «за храбрость». Полосы на ленте: черная — желтая, черная — желтая. И полосы, вернее зоны, страха: черная — желтая: то черная жуть ночи — то полуденный, солнечный желтый ужас.

— Ведь против врагов вы посланы врагами: свои страшнее тех (он мотнул бородкой в дотлевающий закат) — и еще не известно, где жутче: под дулами *тех*, или под лучами *этих*. У «социального животного» страх двояк: оттуда и отсюда. И надо бы натягивать проволоку и впереди и позади окопа: от тех и от этих: шаг за черту вперед и полями; шаг за черту назад — и под взглядами. Ведь там, назади, сейчас — отвратительно: если вы молоды и сильны, то есть достойны жизни, — то нет такого полутрупа, шамкающего и шаркающего о землю, который, подняв продавленные в череп глаза, не толкнул бы вас, несущего жизнь, — улыбкой, словом, глазами сюда: в смерть. Глупая самка, надергавшая с полкоробки корпия, кривит крашенные губы: вы не на фронте? Даже дети, наученные ими, поднимают на вас спрашивающие глаза. И вы, желающие жить и не желающие убивать, толкаемые сотнями глаз, гонимые тысячами улыбок, слов и полуслов, бежите от этих на тех, из страха в страх. О, я изучил эту гамму черных клавиш: крик рваной меди, шаг пуль, синь ракет, чернь ям — как это разнообразит игру тысяч и тысяч лиц: оскал зубов, глаза из орбит; топоты ног, гонимых страхом туда и назад. Все поля утоптаны им. Вся война пронизана им, только им. И ясно: мне — сейчас — место здесь. Тут в портфеле — обобщения: страх не обвести колючей проволокой. Он всюду: и в войнах, и вне войны. Война — только сгусток. Это страх сигнал одиночек в общество. Он же таит человека от человека.

— Но любовь... — попробовал я возразить.

— Любовь, — нервно дернулся собеседник: — вы могли бы подыскать пример удачнее. Любовь: да она пугается всего: света дня, глаз, себя самой: прячется в ночь, за щели замка. Да и по самой сути своей ведь любовь это — игра в страх: человека влечет к человеку — жутью: дрожа, люди отдаются тайне именно потому, что боятся ее. И как только перестают бояться, то и... но зачем нам сворачивать в любовь: из страха все: религия — страх малого перед великим и самая жизнь, зачатая пугливо прячущимися любовниками — сплошная боязнь бытия. Над глазами рассиялись солнца, под ногой развернуты поля, а мы, затиснув глаза, спрятав мозг за черепные кости, делаем все, чтобы не быть: нам страшнее под ударом солнечных лучей, чем под летом пуль... да, да, — и, повторяю, мне непонятно, зачем еще нас убивать, когда мы и так... Повернем, что ли?

Назад мы шли молча. Навстречу маячили желтые ночные огни. Стихший было орудийный грохот разгрохотался опять. Зарничное колыхание уползающего боя временами освещало нам путь.

Спутник на минуту остановился, вслушиваясь:

— Завтра мне туда.

— Вдогонку за страхом? — улыбнулся я.

— Да.

— Меня, сознаюсь, всегда притягивали черные портфели.

Но вы, вероятно, боитесь огласки...

— Бось? О нет. Но вам трудно будет разобраться.

Вот разве это. С зарей — возвратите.

— Спасибо.

III

В вещевом мешке у меня отыскалась свеча. Отпели молитвы, откричали песни; полотнища палаток задернулись. Я лег у пня, наладил свечу, и желтый блик закачался над косыми строками тетради. Изредка я делал выметки. Вот они:

«Липкий асфальт. Красные ленты поездов. Среди серых солдатских сукон — старушонка в салоне. Тычется щуплым телом о дюжие спины: чего тебе, мать?»

— Ох, Пречистая, как увезли его, как увезли т у д а, так душа денно-нощно под ледом дрожит.

И я — «туда». Знаю: я, как и старушонка, не нужен здесь среди серых спин, матерщины, спутавшейся с отченашами. Но так надо: эти везут под пули — свои широкопалые, трудом наузленные руки и недоумение в глазах — я — стиснутое меж лба и темени м и р о с о з е р ц а н и е. Пора, давно

пора миросозерцаниям — под пули. Черепом крыта мысль: стенками стиснут череп. Черепа не снять, сорву хоть стены: мыслью в поле, мозгом в смерть. Так хочет т е м а. Она под пули, я за ней».

«Уже сегодня мог видеть и наблюдать е г о: из сотен глаз.

С утра к гулу колес стал примешиваться какой-то новый гуд. Близко позиция. Навстречу — поезд с ранеными. Длинная гусеница вагонов: иные, сдвинув болты, молчат: там тяжелые. Из раздвинутых щелей других — марля в кровавых пятнах, перепуганно громкие песни, выставившиеся наружу возбужденно оружие головы: и во всех глазах — он; и из всех зрачков — моя т е м а».

«Вот уж второй месяц — в зоне страха. Я как-то сразу заблудился в путанице их кротовых ходов, узких кладок, зигзагах окопа, горбящихся из земли землянок, напутанной всюду проволоки и серых, одинаково пригибающихся к земле, с одинаковым блеском стальной трехграни у одинаковых глаз, людей. Низким настилом немолкнувшего пулевого лета, невидимым сводом их траекторий людей вогнало в землю, вдавило в окопные ямы, сузило им бойничные щели, утишило слова, умалило и скрючило тела. Даже серым дымкам боязно распрямиться над ржавыми раструбами самодельных печурочных труб.

Какая удивительная культура страха: все от запрятанного в руках папиросного огонька, от подделавшейся под цвет трав одежды, от ежащегося тела, низкого хода сообщения, вечных сумерек землянки, шепотом на ухо в ухо переползающего пропуска, трехрядной нависи балок, давящих на мозг, — до желтого щупальца прожектора, хватающего тебя из тьмы, до коротких боязливых перебежек, вскидывающих и тотчас прячущих тело в траву, до орудий, опасно сунувших медные зады под настилы хвои и листьев, — все рассчитано и сделано так, чтобы держать человека, запутавшегося в мирке проволок, траекторий и окопных зигзагов, держать и не выпускать ни на миг из состояния жути. И это мудро: у жути свои чары, и кто взят ею, тому не уйти т а к».

«Мучил сон. Снилось: пробую затопить земляночную печь, а дым ползет на меня. Думаю: почему нет тяги? Труба прямо и коротка — сунуть жердь, наружу выйдет. Сунул: что такое? Ткнулась в землю. Странно: где был воздух, вдруг земля. Как так? Потянул за дверь: черно. День — и черно. Отчего

бы? И вдруг понял: землей в т я н у л о. Всех, с окопами, ходами, переходами, ямами землянок. И их и нас. Хотел было наружу. А после: да ведь «наружу»-то и нет. И от мысли этой проснулся: под телом вшивая солома; сквозь вмазанный в глину куцый осколок стекла — куцый же, мутный рассвет.

Ходил по окопам: сложный, ненужно сложный городок. Полуврылся в землю. Но если, начав рыть, дать волю лопатам, то... И весь день навязчивая мысль: а не искушаем ли мы землю?»

«От наших квадратных срубов, низкостенных мазанок, от древней избы — истопа — до окопной землянки недалеко. И окопная яма мужику странно знакома. «Было». И страх, то высматривающий сквозь стеклянный вставыш ямы «кого бы», то приваливающийся зябким телом к плечу мужика, крестясь лежащегося в секрет, — мужику знакомый и родной, свой страх. Ведь и там, в оставленных позади избах-срубах из черных углов дрожмя дрожат лампадки. За лампадками темные ризы. В прорезях риз черные и странные лики; в ликах обвод вперенных глаз. Зевы трехглазых чудищ, перевивы змей и пламена Последнего Суда. Зубовные скрежеты. И меч Архангела, занесенный над нищей, и так ниже трав склоненной, в землю влипшей, жизнью. Народу, не боящемуся своих крестами замахнувшихся церковок, смеющему жить у своих нетушимых лампад, не сводящих блика с его жизни, трудно ли пройти через войны?»

«Вот и наснежило. Сыграли группий сезон. Отдохнем. Страх стал дремным и вялым: обвис ледяными сосульками с проводов и треугольных игл. Застлало страх из снежин тканым саваном, повалило страх ветренным веером. Но нет-нет застучит зубами иззябший пулемет и опять сведет железные челюсти. Дымки — и те осмелели. Распрямились в вертикали, задрались кверху, и хоть бы что. На голых вербах — разочарованные вороны. Сидят, насутулив крылья: давно ли, куда клювом ни ткни, отовсюду трупью нежило. А теперь...

Редко, редко ударит медью о землю. Но и землю стянуло льдом: не дается. И осколки долго плачутся, пока не шваркнут в сне.

Идем, вдвоем с поручиком М., по ломкому насту: вот и воронки затянуло снегом. Будто и войны нет. А вдруг, здесь под снегом спящие озими? Как бывало.

Подымаемся, ломая ногами наст, на гребень холма: поле-поле-поле. Человек, идущий рядом, молчит: глаза книзу. Хо-

чу поделиться ширью с человеком, показать и ему простор. И вдруг говорю:

— Посмотрите, какой обстрел.

Тошно мне».

«Соседний участок протравило газами. Опоздал: приехал к трупам. Синие, с выкатом глаз, с растянутыми челюстями и вздутыми шеями. Их мне не нужно. А вот рядом с одним из синих — брошенная второпях маска: обыкновенный противогаз системы Зелинского: эта выразительна. В серую кожу влипло два круглых широко растянутых плоских глаза; узкий мягкий хобот; с хобота свис безобразный, травянистого цвета короб.

Никогда не пробовал представить себе — лицо Страха. Это помогло. Попросил себе экземпляр».

«Сегодня у меня радость. Вот уж четвертый день скучаю в запрятанной в овраг деревеньке. Встал с рассветом, взялся за листки, — и вдруг — уах, ударило. Только стекла в брызг. Пошел взглянуть: внутри глубокой воронки еще ползает синеватый дымок, а вестовой Демка — доску поперек ямы и уже штаны спускает.

Кругом гогочут:

— Погоди, дурак, прокоптишься.

— Что? В холуях служба, к теплым ватерам привык? Х-хы.

А Демка только:

— Пшли.

И никаких. Рожа веселая, озорная.

И вдруг так празднично-празднично стало: а что если обесстрашится жизнь. Ужели возможно? Отцедить бы проклятую муть и выплеснуть вон».

«Нет. Все протравило страхом. Насквозь. Все. Теперь я понял: красоте всегда быть лишь в проступях, всегда ютиться — так — редкими музейными номерками, кой-где и кое-как, и жизни ей не спасти. Все мы больны м а т е р и о б о я з н ь ю. Наши замыслы трусят материи: пригните их к буквам, к холсту, к камню и тотчас — дерг, назад, в душу. Повиснет слово на острие пера, а на бумагу — нет; ступит брезгливо на строку, теперь бы в свинец: нет — боязно. Произведение искусства это редкое-редкое «небось». Но у «небось» не авосевая ли техника? Этого хватает, чтобы покрыть площадь холста с аршинным поперечником, но чтобы покрыть красотой всю землю... нет, не нам».

«Скучно. Опять под выгибы траекторий. Опять кружить колесным спицам. И опять — кругом — мясо в крови. Где-то я читал, еще в отрочестве: есть черноперая птица Мовоцидиат. У птицы большие крылья, а ног нет. И как бросило ее в воздух, все летит и летит, а спизиться не может. Опадают крылья. Усталю застлало глаза, но птице — Мовоцидиату — лёт без роздыха. Пока до смерти не долетит».

«Этой мысли вряд ли прогвоздиться сквозь череп. Уже больно от нее, а слов все еще нет. Все-таки попробую. Вот: все эти Пирроновы Тропы, вопросы Энезидема, Монтеньево «que sais je?» не туда корнями повернуты. Решетом солнца не поймать, человечьим мышлением истины не постигнуть, но не потому, что мозг хил, а потому, что с е р д ц у истина не в подъем. Истина больнее боли. На нее надо р е ш и т ь с я. И вещи защищают свою суть, запрятав ее в жути, тая в ужасах.

Меж человеком и истиной — страх. Страх на страже. В древнем Фрагменте, приписываемом Пармениду, сыну Пиретову: «сердце совершенной истины — бестрепетно» (Philostr. Philos. Opera Fragm. 6). С нашим же трепыхающимся сердчишком предпринимать познание нельзя. Сначала обесстрашить себя и лишь тогда мыслить. Не ранее. Вот уж годы и годы учу мое сердце обрастать сталью: ведь если я бросил себя в это глупое, кротовыми норами изрытое, вшивое, в стальные колючки замотанное черное, звериное царство, то лишь тебя ради, свободная от сердца».

IV

На рассвете я возвратил рукопись.

Толкаясь колесами о пни, в лес вкатила двуколка. Человек с зажатым под локтем портфелем ступил, качнув квадратный кузов двуколки, на подножку. Сел — сгорбился: бородкой в колени. И двуколка, переваливаясь с колеса на колесо, заковыляла в грохоты.

У опушки топталось несколько солдат:

— Ишь, чудака опять колесами унесло.

— И чего ему, вольному, промеж смертей путаться?

— Чудак... Чудак и есть.

А к ночи и мы, не-чудаки, покинув лес, шли снова на синие дуги ракет к ямам окоп. Окоп встретил молча. Редко-редко пуля: и та верхом. Орудий — будто и нет. Молчь. И только миговые жизни ракет: зацветут на тонких гнутых стеблях, — глядь, уж и осыпались блеклым синим бликом: будто и не жили. Изредка ветер качнет воздухом, тотчас —

в ноздрях сладковатая вонь: трупы. И рассвет, оторвавший по алому шву небо от земли, показав искромсанную и спутапную, кой-как перемотанную по раздерганным кольям проволоку, подтвердил: да, трупы. И будут еще.

Но тем временем бой, грохотавший справа, с каждым часом отползал дальше и дальше. В тот же день, забывшись сном, я увидел: усталый бой медленно волочил по полям свое в дымы и гулы вдетое тело. Вдогонку за боем, переваливаясь с колеса на колесо, по межам и ямам затоптанных полей, — колеса двуколки. В двуколке человек: под острым локтем портфель: он наклонился, бородкой вперед, и торопит возницу: колеса кружат и кружат, все быстрее и быстрее, — но бой, как испуганный зверь, волоча дымы и жерла, трусливо выдергивается из-под колес двуколки, уползая кровавающим травя телом, прочь от отстегнувшегося вдогонку ему черного рта портфеля.

А у нас длилась тишь. Но странная: желтые дорожки впереди окопа так и зарастали травами — и никто не смел ступить на них; алые маки тут же, у бойниц, осыпались не сорванными, — и никто не смел потянуться за ними.

Ночами я любил, сев на низкой стрелковой ступени окопа, спиною в землю, часами удивляться: как зашвырнуло меня с ю да, в этот крохотный мирок крохотных ненавистей. И было чрезвычайно странно — почему меня бросило именно сюда, на эту орбиту, почему кружит вокруг этого солнца, а не вокруг того или вон того... — и, подняв лицо кверху, я отыскивал себе, разборчиво роясь глазами в россыпях миров, новое солнце и новую свою орбиту. Но созерцания длились недолго. Исподволь в сонную молчь окопного бдения стала прокрадываться, прячась от глаз и уха, какая-то странная зябкая жуть. Все было как прежде: редкий и длинный свист пули. Ракетная вспышка. Тьма. Вспышка. Тьма. Снова протяжная тонкая пулевая нота. Все как и прежде, точь-в-точь; и уже не то. Люди, встретившись в окопном проходе, искали чего-то глазами в глазах.

— Как думаете: долго еще так?

— Что так?

Беспричинно, на линии полевых караулов вспыхивал беспорядочный огонь. Обрывался: — Что там у вас?

— Ничего. Показалось.

То и дело шуршал телефон:

— На участке спокойно?

— Спокойно. А что?

— Нет, так. Почудилось.

Травы за окопом шевелились и шуршали; клочья тумана густились в притаившихся людей. Зяби и жуть — нитились обвисшими проводами, переползали из зрачков в зрачки.

Однажды ночью, сквозь дрему, меня ударило грохотом и воплем: я вскочил, стукнувшись теменем о навись землянки. Тихо. Облипший потом, с расстучавшимся сердцем, я толкнул дверь в окоп. И там — тихо. Осторожно поднялся на бруствер: ни звезды, ни ракеты, ни ветра, ни выстрела. И тогда я подумал: тому, с портфелем, незачем было уезжать от нас: за страхом.

На рассвете прорвало: как-то вдруг оттуда спереди — закричали жерла: и через четверть часа мы были под непрерывным снарядным ливнем. Гудящая земля швырками летела вверх; бревенчатые потолки землянок то здесь, то там слипались с полом; шуршащие леты осколков; гуды снарядных роев. Вначале растерянно тьявал телефон; но снаряд рванул за провода, — и мы остались одни в полузаваленных ямах, среди горящих балок с пульсирующим в ухе грохотом, полуслепые от пыли, забывшей воздуху все его поры. Помню, я пробовал пройти в соседний взвод. Сквозь оторванную дверь землянки я увидел сбившуюся в комья, налипшую на стену страдающую человечину. Лиц не было: были выставившиеся из налипи плечи и спины, застывшие острыми выступами локти, ряды прижатых к ногам ног: будто развороченная, смятая, брошенная под прилавок штука серого сукна. Я попробовал заговорить: никто и не пошевелинулся, и голос мой, схваченный грохотами, умолк. Получас. Час. Два. Мы начинали привыкать: то там, то здесь по путанным ходам, короткими толчками, от взрыва до взрыва, продергивались, по стенке, люди. Внутри оружейного рева возникала нота усталости, потом перебои. Потом — секундные паузы. И гул стал опадать. Только уши, разгудевшись, не умолкали. Мы знали: там, в наклубленной снарядами пыли, — близятся они.

— Выходи. К бойницам. Живо.

Я поднялся на подгибающихся коленях, лицом в дверь. Чья-то тень легла поперек прохода, странно маяча в пыльном облаке.

— Кто?

Как-то вдруг, точно склубившись из пыли, возник человек: тот, с портфелем: борода, выставившись вперед, любопытствующе ерзала вправо-влево, будто обыскивая стены, облепленные глухо заворочавшейся под серым сукном человечинной. Меня ударило кровью в зрачки.

— Прочь,— крикнул я и поднял приклад: — прочь отсюда.

Бородка, дернувшись вправо-влево, втянулась в лицо; лицо в пыль: проход был свободен.

v

Отбили. Опять срасталась рваная паутина проволоки. Опять зачавкали о землю лопаты.

— А чудак-то наш отчудил. Видали?

— Какой чудак?

— Да вон там...

Шагах в сорока от землянки среди алых пятен мака — черный портфель с расшвырявшимися листками бумаги. Рядом с портфелем человек: лицом в траву; локти остряты кверху, будто подняться хочет, а не поднимется.

Подошел — тронул: труп. Да, он.

Ну что ж: и ему на телегу: к «теме».

«...Я ОЧЕНЬ СЛЕЖУ ЗА ВАШИМИ ОТЗЫВАМИ...»

(Письма В. Ф. Ходасевича Ю. И. Айхенвальду)

Публикация Е. М. Беля

При жизни Владислава Ходасевича на Родине вышли четыре из пяти сборников его стихов, книга о Пушкине, многочисленные статьи и рецензии. С 1924 по конец 1980-х годов произведения поэта в Советском Союзе почти не переиздавались, не вышло в свет за это время ни одной исследовательской работы, специально посвященной его жизни и творчеству. Тем не менее нельзя утверждать, что Ходасевич был напрочь забыт: его произведения были доступны посетителям крупных библиотек, его книги, ставшие библиографической редкостью, можно было иной раз увидеть на прилавках букинистических магазинов, его стихи, переписанные или перепечатанные на машинке, передавались из рук в руки... Ходасевич не мог быть забыт, но он был искусственно отгорожен от широкого читателя.

Поэтому предваряя публикацию писем поэта к литературному критику Ю. И. Айхенвальду (1872—1928), стоит еще раз напомнить о канве жизни Ходасевича и оценке писателями-современниками его творчества.

Владислав Ходасевич родился 29 мая 1886 года в Москве в семье художника и фотографа Фелициана Ивановича Ходасевича — по происхождению поляка.

Семья была многодетной, будущий поэт был шестым по счету ребенком. В 1904 году Ходасевич окончил 3-ю московскую классическую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. Осенью 1905 года он перешел на историко-филологический факультет, а в 1910 году покинул университет. Главная причина ухода из университета — невозможность регулярно платить за обучение.

Впервые поэт опубликовал три своих стихотворения в вышедшем в 1905 году «Альманахе книгоиздательства «Гриф».

В автобиографии 1920 года Ходасевич отмечал: «Моя литературная деятельность началась в 1905 году. С тех пор я помещал свои стихи, а также критические и историко-литературные работы во многих изданиях, между прочим — в «Весах», «Золотом руне», «Перевале», «Образовании», «Современнике», «Аполлоне», «Северных записках», «Русской мысли», «Русских ведомостях», «Утре России», «Новой жизни» и др.» (ф. 537, оп. 1, ед. хр. 35, л. 1).

Весной 1905 года Ходасевич женился на восемнадцатилетней, необычайно красивой и экзальтированной Марине Эрастовне Рындиной, которая вскоре ушла от него к С. К. Маковскому, будущему редактору «Аполлона». С посвящением «Марине» вышел в издательстве «Гриф» в 1908 году первый сборник стихотворений поэта «Молодость». Ходасевич тяжело переносил разрыв с Рындиной, ставший одним из истоков настроения горького разочарования в его ранней лирике:

На распустьях, в кабаках
Утолял я голод волчий,
И застыла горечь желчи
На моих губах.

(«Протянулись дни мои...»)

Позже Ходасевич был женат на А. И. Гренцион, урожденной Чулковой (с 1911 по 1922 г.), Н. Н. Берберовой (с 1922 по 1932 г.), на О. Б. Марголиной (с 1933 г.). Ольга Борисовна Марголина до последнего дня была рядом с истощенным мучительной болезнью поэтом. В годы оккупации Франции она погибла в нацистском концлагере.

В 1914 году в московском издательстве «Альциона» вышла вторая книга стихотворений Ходасевича «Счастливый домик». Заглавие «Счастливый домик», очевидно, навеяно стихотворением Пушкина «Домовому» (1819):

Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охраняй!

Среди рецензентов «Счастливого домика» была М. С. Шагинян, сопоставившая его с первой книгой поэта «Молодость» (1908): «Молодость» Ходасевича, несмотря на ее совершенно своеобразное, ни на кого не похожее, несколько даже вычурное в своей намеренной простоте и сухости лицо, принадлежит к созданиям [...] первого периода нашего «декадентства»...

Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас и который мог бы сыграть очистительную роль для наших «воющих персов», которые сейчас залили улицы русской литературы и грозят ее будущему [...].

Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменяющий ему вкус к простоте и мере — стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторич-

чески разжалобиться» (Шагинян М. Счастливый домик// Приазовский край. 1914. № 71. 16 марта).

В мае 1916 года Ходасевича настигла беда. 17 мая он писал Б. А. Садовскому: «Дела мои вообще чрезвычайно плохи: у меня туберкулез позвоночника. Надели на меня третьего дня гипсовый корсет, это довольно невыносимо. А придется в нем походить лет пять, если не помру. Не снимается он даже на ночь. Дай Вам Бог этого не испытывать. В начале июня, кажется, поеду в Крым, но точно еще не знаю, куда и когда. А может быть, и не поеду» (ф. 464, оп. 2, ед. хр. 226, л. 51).

Лето 1916 года Ходасевич провел в Коктебеле, где существенно поправил здоровье.

С весны 1918 года он работал в советских учреждениях: в театральном-музыкальной секции Моссовета, в Театральном отделе Наркомпроса с Ю. К. Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым и другими писателями. Вел занятия в студии московского Пролеткульта, читая лекции о Пушкине. По предложению Горького с конца 1918 года до лета 1920 года заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература».

В конце лета 1918 года в Москве была организована Книжная Лавка писателей (Леонтьевский переулок, 16). Поочередно в ней торговали литераторы Б. А. Грифцов, М. В. Линд, П. П. Муратов, М. А. Осоргин, В. Ф. Ходасевич, А. С. Яковлев, Е. Л. Янтареv. Лавка просуществовала недолго.

Свое отношение к происходящим в России переменам Ходасевич выразил в письме к Б. А. Садовскому от 10 февраля 1920 года: «Немного обидно мне было прочесть Вашу фразу: «Я не знал, что Вы большевик». Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу. Но Вы знаете, что раньше я большевиком не был да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как же Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, — могу примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно?» (ф. 464, оп. 2, ед. хр. 226, л. 63).

Весной 1920 года был издан третий сборник стихотворений поэта «Путем зерна». В то же время Ходасевич заболел фурункулезом, бытовые лишения и холод вызвали и обострение туберкулеза позвоночника. В ноябре 1920 года по ходатайству Горького Ходасевич перебрался в Петроград. Летом 1922 года обстоятельства личной жизни (разрыв с А. И. Чул-

ковой и увлечение Н. Н. Берберовой) привели поэта в Берлин. В июле 1922 года в автобиографической заметке он писал: «В эту зиму издал и переиздал в Петербурге шесть книг своих. И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев срока. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои» (Юность. 1987. № 1. С. 86).

Уехав за границу, Ходасевич первое время переезжал из города в город. Побывал в Берлине, Саарове, Фрейбурге, Праге, Белфасте, Мариенбаде, Венеции, Риме, Париже, Сорренто. В 1925 году вновь приехал в Париж, где и прожил до самой смерти.

В 1922 году уже после отъезда Ходасевича в России вышла четвертая книга его стихов «Тяжелая лира». За рубежом был издан в составе собрания стихотворений поэтический цикл «Европейская ночь» (1927), его воспоминания о А. Белом, Н. С. Гумилеве, А. А. Блоке, В. Я. Брюсове, М. О. Гершензоне, Ф. Сологубе, С. Я. Парнок, С. А. Есенине, М. Горьком, отличающиеся строгостью изложения и фактической точностью. В 1931 году в Париже было издано отдельной книгой подготовленное Ходасевичем жизнеописание Г. Р. Державина, (недавно переизданное в СССР), по сей день сохранившее общекультурную и научную ценность, так же как и работы поэта о Пушкине (Ходасевич — автор двух книг о Пушкине: «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л., 1924) и «О Пушкине» (Берлин, 1937) и многочисленных статей и эссе о великом поэте России).

В лирике Ходасевича немало отголосков классической поэзии, и прежде всего стихотворений Пушкина и Баратынского. Ходасевич преклонялся перед главным размером лирики XIX века — ямбом, про который сказал:

С высот надзвездной Музики
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

(«Не ямбом ли четырехстопным...»)

Из поэтики Пушкина Ходасевич почерпнул предельную конкретность пусть даже обобщающих образов, точность смысла, строгое соответствие предмету слов и образов, твердый каркас стиха, игнорирование нарочитой украшенности

мысли и чувства. В лирике Ходасевича можно найти немало реминисценций из Пушкина, начиная от ритмических и интонационных и кончая почти совпадающими сочетаниями слов: «Бурной жизнью утомленный» (Пушкин) и «Грубой жизнью оглушенный» (Ходасевич).

Лирика Ходасевича близка и музе Баратынского, в первую очередь тяготением к философским обобщениям, возникающим на материале опыта души поэта.

Творчество Ходасевича оказывается актуальным сегодня как в силу независимости поэта от современных ему поэтических направлений, так и вследствие живой связи с классической традицией, которой в данном случае следовал не стилизатор, но самобытный представитель культуры своего времени. В ряде творений художника, истоки которых кроются в деталях его биографии, классическая форма, наполняясь новым смыслом, поворачивается для нас новыми гранями.

А. Белый с присущей ему страстностью заявлял: «В кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже...» И хочется крикнуть: «Не тоже, а *поэт Божьей милостью*, единственный в своем роде» (Белый А. Рембрандтова правда в поэзии наших дней (о стихах В. Ходасевича) // Записки мечтателей. 1922. № 5. С. 139).

Не случайно, что неповторимость Ходасевича-поэта при его жизни отмечали такие разные художники слова, как М. Горький и М. С. Шагинян; М. И. Цветаева и А. Белый; В. В. Набоков...

В письме к К. А. Федину от 15 марта 1923 года Горький охарактеризовал Ходасевича как «лучшего, на мой взгляд, поэта современной России...» (Огонек. 1986. № 48. С. 26).

Более того, в письме к Е. К. Феррари от 2 октября 1922 года он писал: «Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и — большой строгий талант» (там же. С. 28).

Горький, с которым Ходасевич особенно сблизился с осени 1918 года в связи со своим назначением на место заведующего московским отделением издательства «Всемирная литература», привлек Ходасевича в журнал «Беседа». 22 февраля 1923 года он писал ученому-китаисту В. М. Алексееву: «...журнал выйдет в конце марта. Руководители журнала: Ф. А. Браун, Бруно Адлер, географ, В. Ходасевич,

поэт, и я» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 409). В «Беседе», выходящей в Берлине, намечалось участие как писателей советской России, так и русских писателей, по разным причинам находившихся в то время за рубежом. С 1923 по 1925 год вышло семь номеров журнала, после чего издание прекратилось. На этот же период приходится наиболее тесные контакты Горького и Ходасевича, встречавшихся в Берлине, Саарове, Фрейбурге, Праге и живших под одной крышей в Сорренто с октября 1924 года по апрель 1925 года.

После 1925 года пути Горького и Ходасевича не пересекались; судьбы их сложились по-разному.

Умер Владислав Ходасевич в Париже 14 июня 1939 года.

Два публикуемых ниже письма Ходасевича Ю. Айхенвальду — обращения художника слова к своему критику. Письмо 1926 года одобрительное, письмо 1928 года — большей частью полемическое.

Несколько слов об адресате писем. Юлий Исаевич Айхенвальд — литературный критик, публицист. Родился в 1872 году в г. Балте Подольской губернии в семье раввина. В 1890 году окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, а в 1894 году — историко-филологический факультет Новороссийского университета. Айхенвальд был профессором Высших женских курсов в Москве, где читал курс истории русской литературы. Неоднократно выступал с докладами в просуществовавшем с начала XX века до 1917 года московском Литературно-художественном кружке, в чтениях которого принимали участие также К. Д. Бальмонт, А. Белый, Н. А. Бердяев, С. А. Венгеров, М. А. Волошин, С. М. Городецкий, Вяч. Иванов, С. К. Маковский, Д. С. Мережковский, К. И. Чуковский, Г. И. Чулков и др.

Айхенвальд начал печататься в 1895 году. Он сотрудничал в газетах «Утро России», «Речь» и некоторых других. Айхенвальд опубликовал в России ряд книг и статей, наиболее значительные из которых: «Силуэты русских писателей» (1907—1917), «Посмертные произведения Л. Толстого» (1912), «Спор о Белинском» (1914), «Слово о словах» (1917), «Поэты и поэтессы» (1922).

С 1922 по 1928 год Айхенвальд жил в Берлине, читал курс «Философские направления в русской литературе» в Русской религиозно-философской академии, принимал участие в работе Русского научного института, сотрудничал в журналах и газетах, руководил литературно-критическим отделом в газете «Руль». В газетах «Руль» и «Сегодня» неоднократно публиковались его отзывы о книжных новин-

ках и новых произведениях Цветаевой, Бальмонта, Бунина, Куприна, Набокова, Ходасевича и других писателей.

Еще в 1916 году Ходасевич откликнулся на книгу Айхенвальда «Пушкин» резкой рецензией со значащим заглавием «Сахарный Пушкин», опубликованной 9 ноября в газете «Русские ведомости». В 1920-е же годы поэт оценил у Айхенвальда профессиональную принципиальность и остроту его критического ума, желание понять современные явления литературы. Об этом писал Ходасевич в последние годы жизни в воспоминаниях о Горьком: «Однажды он [Горький] объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г., в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе» — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящей неподдельной радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался» (Современные записки. 1937. Кн. 53. С. 291-292).

31 июля 1926 г.

14, rue Lamblardie, Paris (12-e)

Дорогой Юлий Исаевич,

по-моему — благодарить критика за лестный отзыв — значит отчасти унижать его: ведь он пишет не ради удовольствия автора. Но на сей раз позвольте мне сделать как будто то же, да не совсем то: поблагодарить Вас не за *похвалу*, а за то, что Вы, один из немногих, *поняли* моего «Боттома»: его смысла, так хорошо и точно услышанного Вами, — не понимают. Впрочем, и в этом случае слово «поблагодарить» не совсем подходит. — Мне было ужасно приятно Ваше упоминание о Козлове.

Зато в суровом приговоре моим воспоминаниям о Брюсове, — по-моему, Вы не правы. Мне больно было писать их, но желание взять да и сказать *правду* — пересилило. Знаете ли, что я далеко не использовал своего материала? Я умолчал о вещах, поистине ужасных.

А вот помните ли мою статью «О чтении Пушкина» и Ваши замечания на нее? Вот где многое Вами замечено так верно и ценно, что я уже не решился бы перепечатать статью без существенных изменений.

Как видите — я очень слежу за Вашими отзывами и сердечно ценю их. Пропустил только то, что — говорят — писали Вы о 2 № «Благонамеренного», где были мои «Сорентинские фотографии». Не знаю даже, поминали ли Вы меня — и добром ли. Я тогда был болен, лежал больше месяца. Нет ли у Вас лишнего экземпляра Вашей статьи? Не пришлете ли, если не трудно? Здесь добыть невозможно.

Я уже больше года в Париже, а то все странствовал. Побывал в Праге (проездом), в Мариенбаде, в Ирландии, дважды в Италии — все не очень по доброй воле. Теперь, кажется, осел (плюю, чтоб не сглазить). — Если и Вы сообщите несколько слов о себе, буду от души рад и признателен.

Всего хорошего. Крепко жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич.

31 июля 1926

(ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 165, л. 1, об.).

Упомянутое в письме стихотворение «Джон Боттом» впервые напечатано в издававшихся в Париже «Современных записках» (1926. Кн. 28. С. 189—196). В рецензии на книгу 28-ю «Современных записок» Ю. И. Айхенвальд замечал по поводу «Джона Боттома»: «Исключительной красотой обладает «Джон Боттом» В. Ф. Ходасевича. Это в стиле старинной английской баллады выдержанное стихотворение с наивными интонациями, в своем складе и музыке напоминающее слепого музыканта Ивана Козлова [...]. Надо отдаться непосредственному очарованию этих замечательных стихов о «неизвестном солдате», на самом деле составленном из двух солдат, об этом Кто-Нибудь, об этом общем и Ничьем Анониме, который, однако, имел когда-то на земле свое имя, свою жену, «Джонову жену», и свою собственную руку, теперь замененную рукой посторонней. Такого упрека войне, как в этой художественной, полной мысли и чувства балладе, еще до сих пор не было сделано никем» (Руль. Берлин, 1926. 28 июля).

Стихотворение «Джон Боттом», на наш взгляд, двупла-

ново. Внешний план: англичанин Боттом, принужденный к участию в первой мировой войне, погибает на чужой земле; в могилу к нему кладут «руку мертвую» другого убитого; позже останки Боттома как останки неизвестного воина перемещают на родину, но жена его Мери не идет на поклон к символической могиле, потому что «Джону лишь верна».

«Подводный» план (может быть, не менее важный, хотя о нем сказал Айхенвальд лишь намеком): трагическая отторгнутость лирического героя стихотворения от родного «счастливого домика», в сравнении с которым «и рай ему невмочь». Не приносит лирическому герою утешения и апостол Петр, перед которым «решился он предстать»:

34

«Так приоткрой свои врата,
Дай мне хоть как-нибудь
Явиться призраком жене
И только ей шепнуть,

35

Что это я, что это я,
Не кто-нибудь, а Джон
Под безымянною плитой
В аббатстве погребен.

36

Что это я, что это я
Лежу в гробу глухом,—
Со мной постылая рука,
Земля во рту моем».

37

Ключи тряхнул апостол Петр
И строго молвил так:
«То — души грешные. Тебе ж —
Никак нельзя, никак».

В написанных в Сорренто воспоминаниях «Брюсов» (декабрь 1924) Ходасевич подчеркивал стремление родоначальника русского символизма властвовать над современной литературой, «врезаться» в века двумя строчками в школьном учебнике истории литературы, которые будут обязаны заучивать гимназисты. Ходасевич утверждал, что двигателем творческого пути Брюсова было тщеславие: «Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее *литераторами*, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом *месте* в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа —

все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, — но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Но затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось» (Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 217—218).

В примечаниях к своей книге воспоминаний «Некрополь», впервые изданной в Брюсселе в 1939 году, Ходасевич приводит отрывок о Брюсове из ответного письма Ю. И. Айхенвальда к нему от 5 августа 1926 года: «О Брюсове [...]. И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне не мало дурного и когда сопричислился к сильным мира сего, т. е. экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей» (Некрополь. 2-е изд. Париж, 1976. С. 278).

Статья Ходасевича «О чтении Пушкина. (К 125-летию со дня рождения)» была напечатана в «Современных записках». В ней исследуется понимание Пушкиным природы вдохновения. «Итак, в основу творческого акта Пушкин кладет вдохновение как способность к накоплению и осознанию жизненного опыта. Поэзия возникает для Пушкина не из произвольного воображения, не из абстрактного философствования. В основе поэзии лежит впечатление, т. е. материал, извлекаемый вдохновением из действительности. Отнимите у поэта действительность — творчество прекратится: фабрика «сладких звуков» остановится из-за отсутствия сырья. Поэзия есть преобразование действительности, самой конкретной. Иными словами — в основе поэтического творчества лежит автобиография поэта» (Современные записки. 1924. Кн. 20. С. 231-232). Ходасевич неизменно подходил к творчеству писателя во взаимосвязи с его личностью, особенностями биографии. Этому принципу он был верен, занимаясь исследованиями Державина и Пушкина, осмысляя пути и судьбы своих современников — Горького, Брюсова, Белого, Блока, Сологуба, Гумилева, Есенина, Гершензона.

Стихотворение Ходасевича «Соррентинские фотографии» (5 марта 1925 — февраль 1926) было впервые напечатано

в выходявшем в Брюсселе журнале «Благонамеренный» (1926. № 2. С. 14—21). Это — самобытный образец лирики Ходасевича: за плоскостью заграничной фотографии 1925 года поэт узревает события прошедших дней, пытаюсь в ткани стихотворения восстановить разорванную в сознании его лирического героя связь времен.

22 марта 1928 г.

14, rue Lamblardie, Paris (12-e).
22 марта 1928

Дорогой Юлий Исаевич,

пишу Вам экстренно, из кафе, вот по какому поводу. Только что некто спросил меня, не в Вас ли я «метил», пишучи о Сологубе («Современные записки»). Вы, будто бы, тоже писали о «просветлении» Сологуба перед смертью и т. д.

Все это меня встревожило. «Руля» я не получаю, в киосках его не продают (говорят — запрещен во Франции?). Вижу его иногда в редакции, если Яблоновский еще не успел разрезать. Вашей статьи о Сологубе я не читал. Если Вы в самом деле писали о «просветлении» — я с Вами не согласен. Но у меня, сами понимаете, не было причин эдак взъедаться на Вас, ибо, во-первых, каюсь, не помню Ваших *прежних* высказываний о Сологубе. «Метил» же я в Адамовича, который подряд *дважды* (в «Днях» и в «Звене») писал что-то слезливое о Сологубе и о России и вообще умилялся по случаю его смерти — а пока Сологуб был жив, отзывался о нем презрительно. Вообще зол я на Адамовича, каюсь: злит меня его «омережкование» — «да невзначай, да как проворно», прямо от орхидей и изысканных жирафов — к «вопросам церкви» и прочему. Сам вчера был распроекадент, а туда же — «примиряется» с Сологубом, который, дескать, *тоже* прозрел (точь-в-точь как Адамович!).

Так вот — пожалуйста, поверьте, что о Вас не думал, не помышлял — и уж если бы стал *спорить* с Вами, то, во-первых, назвал бы Вас, а во-вторых — по-иному, не тем тоном. Уж если на то пошло — скажу прямо, что давно научился ценить и уважать Вас в достаточной степени. Поэтому — успокойте меня, черкните два слова, что, дескать, понимаете и верите.

Еще — просьба. Некто (тот же) обещал мне дать статью Сирина обо мне, но не дал, затерял ее. Так вот — нельзя ли ее получить? Я бы написал Сирину, да не знаю его имени

и отчества, а спросить в «Современных записках» систематически забываю. Так я и эту статью не читал, а говорят — лестная. Вот мне и любопытно.

Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса. Иногда жила у меня по 2—3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось российским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать. Мы ведь 26 лет были друзьями. Пишу это Вам потому, что она рассказывала о Вашем участии к ней. Но Вы и представить себе не можете, до чего она дошла в Париже.

Ну, будьте здоровы. Жму руку и жду ответа.

Ваш В. Ходасевич
(ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 165, л. 2—3 об.).

В 1928 году Ходасевич написал воспоминания-эссе об умершем 5 декабря 1927 года Федоре Кузьмиче Сологубе — одном из крупнейших поэтов-символистов начала века. Ходасевич-мемуарист полемизировал с бытовавшим в эмигрантской прессе стремлением после кончины поэта создать сглаженную схему его творческого пути от витания в мире «сатанических» пороков и призраков к «просветлению» и тяге к обыденной жизни в предсмертные годы: «Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любованье речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов!.. Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только теперь. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине» (Современные записки. 1928. Кн. 34. С. 352—353).

Из текста письма к Айхенвальду выясняется, что в воспоминаниях о Сологубе Ходасевич полемизирует с Георгием Викторовичем Адамовичем — литератором, эмигрировавшим из России в 1923 году. В годы эмиграции Адамович выдвигал консервативную концепцию, провозглашавшую, что вместе с классической литературой XIX века прекратила свое существование вся литература России как часть общечеловеческой культуры.

Упомянутый Ходасевичем Александр Александрович Яблоновский (умер в 1934 году) в 1920-е годы, находясь в эмиграции, сотрудничал в редакции газеты «Последние новости».

Рецензия Сирина (В. В. Набокова) на собрание стихотворений В. Ф. Ходасевича 1927 года была опубликована в берлинской газете «Руль» 14 декабря 1927 года.

Спустя одиннадцать лет в статье «О Ходасевиче», написанной после смерти поэта, Набоков сказал: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней» (Современные записки. 1938. Кн. 19. С. 262).

В письме упоминается также Нина Ивановна Петровская (1884 — 1928). В 1904 году у нее, бывшей тогда замужем за С. А. Соколовым (Кречетовым), начался роман с В. Я. Брюсовым. В романе Брюсова «Огненный ангел» образ Ренаты был навеян общением с Петровской. Его отношения с ней были для Брюсова своеобразной романтической игрой; для Петровской же игра уже успела превратиться в жизнь. Разрыв с Брюсовым она переживала очень мучительно. 9 ноября 1911 года Петровская покинула Россию. За границей пребывала в ужасающей бедности; жила в Варшаве, Париже, Риме, Берлине. Весной 1927 года приехала в Париж, где жил тогда Ходасевич.

23 февраля 1928 года в Париже Нина Петровская в нищенской третьеразрядной гостинице в порыве безумного отчаяния, открыв газ, покончила с собой.

В 1928 году Ходасевич написал о Петровской воспоминания «Конец Ренаты», вошедшие впоследствии в книгу «Некрополь».

Судьба Ходасевича, в последние семнадцать лет жизни оторванного от Родины, была глубоко трагичной. Ощущение одиночества, и без того свойственное поэту, стало душераздирающим после отъезда из России в 1922 году. «Только есть одиночество — в раме/Говорящего правду стекла», — сказал он в стихотворении «Перед зеркалом» (1924). Тем не менее, Ходасевич до последнего дня «любовно и ревниво» берег «язык, завещанный веками», — язык русской литературы, Отечество которой — Царское Село.

В 1922 году поэт писал о том, что даже жребий эмигранта не может одолеть его духовного родства с отечественной культурой, пушкинской традицией:

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я,

Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам — под ярмо подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске,
А я с собой свою Россию
В дорожном унесу мешке.

«Восемь томиков» — восьмитомное собрание сочинений Пушкина (1903—1904) — издание, вышедшее под редакцией П. О. Морозова.

Публикуемые письма — еще одно из свидетельств живого интереса Ходасевича к изучению творческой биографии мастера слова во взаимосвязи с его судьбой. Проблемы, затрагиваемые Ходасевичем — поэтом и эссеистом в письмах к ценимому им критику Айхенвальду, связаны с неизменным стремлением их автора к полноте художественной правды.

МОНТАЖ ПОРТРЕТА ПИСАТЕЛЯ

(Рассказ А. Тришатова «Тысячелетское»)

Публикация С. Г. Блинова

«Примерно в 1914-16 годах появился в журналах и сборниках ряд рассказов молодого писателя Александра Тришатова (Добровольского), а затем вышла и его книга «Молодое, только молодое» [1915]. Рассказы Тришатова сразу привлекли к себе внимание необычностью стиля и своеобразием фразы. В те годы это прозвучало ново и свежо, хотя и не всем нравилось» (Лидин В. Г. Биографическая справка о А. Тришатове, составленная для ЦГАЛИ).

«Неудачи Тришатова меня не удивляют — он слишком перегнал свое время. Вероятно, только Б. Пастернак идет в уровень с ним! Пильняк, конечно — способный человек, но до них ему далеко. Это мое глубокое убеждение. Тришатов о прозе Пастернака отзывался как о лучшей — которую ему пришлось слышать за последнее время, чуть ли это — не гениальная проза... Тот огромный восторг, который вызывала во мне проза Пастернака, Тришатова, Белого, — является для меня подтверждением их огромной значительности, только Тришатов и Пастернак пошли дальше Белого» (И. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 27 апреля 1921 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 185, л. 4).

«В дальнейшем, однако, с Тришатовым случилось так, что он мало что публиковал, хотя и писал, но это написанное им, в силу сложных обстоятельств жизни Тришатова, утрачено» (Лидин В. Г. Биографическая справка о Тришатове).

«Вы, наверное, уже позабыли, что после смерти Тришатова Александра Александровича остался его архив [...]. Этот архив находится сейчас у меня, и прежде, чем передавать его в ЦГАЛИ, мне кажется Вам небезынтересно было бы на него взглянуть. Я мог бы к Вам его привезти, тем более, что он небольшого объема и соответственно небольшого веса» (Е. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 5 февраля 1965 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 177, л. 1).

«Стараниями Е. И. Белоусова, сына поэта И. А. Белоусова, удалось собрать то немногое, что уцелело, и тот, кто станет изучать дореволюционную прозу, возможно, заинтересуется и именем Тришатова» (Лидин В. Г. Биографическая справка о А. Тришатове).

«Постановили: Материалы принять, образовать новый фонд: ТРИШАТОВ АЛЕКСАНДР (Добровольский Александр Александрович) (1886 — 1964) — писатель» (из постановления экспертной комиссии).

«Александр Александрович Добровольский родился в Москве, в Замоскворечье, в 1886 году. Учился в 3-й мужской гимназии на Маросейке. Окончив гимназию, поступил в Московский университет. Во время летних каникул, между курсами, был арестован за участие в революционном движении. Находился в Луганской тюрьме. Был сослан на два года в Бердянск. Вернувшись в Москву, получил отказ в продолжении университетского образования как неблагонадежный (1908 — 1910 гг.).

Начал печататься в 1911 году. Сотрудничал в журналах: [«Путь»], «Синий журнал», «Новый Журнал для всех», альманахе «Сполохи» (Лидин В. Г. Биографическая справка о А. Тришатове).

«...может быть, и не стоит говорить об этой достаточно надоевшей истории «Пути» и тех маленьких дорожек, в которые он превратился. Вы знаете мое отношение к самому журналу как таковому, и Вы знаете мое отношение к истории первоначального скандала [...]. Я нахожу его более чем мерзким, хотя мало удивляюсь, зная тот задний двор литературы, где рождаются журналы, растут, живут или умирают» (А. А. Добровольский (А. Тришатов) — Н. С. Ашукину. 1913 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 252, л. 1).

«Очень извиняюсь, что не сразу отвечаю вам на ваше доброе письмо. Возил с августовской книжкой [«Новый Журнал для всех»], а я больше других, так как в прошлом месяце я пользовался небольшим отдыхом.

Как мне приятно, что Вы охотно идете навстречу моему желанию привлечь к журналу побольше московских работников [...]. У нашего детища столько еще изъянов, и так хотелось бы не иметь их. Помогайте нам» (13 августа 1915 г. Там же, л. 2).

«Сейчас намечаю сотрудников для будущего сборника, обратился к Добровольскому, — он сам, потом в «Новом Журнале для всех» есть, по-моему, интересная молодежь» (И. А. Белоусов — Н. С. Ашукину. 27 февраля 1916 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 182, л. 40 и об.).

«Если все так и пойдет в дальнейшем, то одним из самых близких мне будет лишь Тришатов» (18 февраля 1917 г. Там же, ед. хр. 183, л. 31).

«Спасибо большое, Николай Сергеевич, за Ваше письмо. Правда — я живу такой странной жизнью. Мои дни так однообразны и так равны. Это — узкая полоска серых, нагретых камней, резкий профиль уходящего вправо берега, приметное полотенце, солнце и вода [...]. Все-таки, кажется, я стал немножко бодрее, чем последние месяцы в Москве. А ведь Москва опять уже становится завтрашним днем. На днях надо будет подумывать об отъезде. Говорят, это связано со страшными трудностями, но так или иначе возвращаться надо» (А. А. Добровольский (А. Тришатов) — Н. С. Ашукину. 14 августа 1917 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 252, л. 4 и об.).

«Тришатов дал нам взамен «Копилки обид» — «Неделю о богатом юноше» [«Сполохи». Кн. 12. Ред. И. И. Белоусов и В. П. Ютанов. М., Сполохи, 1918] вещь во всех отношениях блестящая, несмотря на то, что глухие и злые не пожелали придти и послушать его. Ну и черт с ними!» (И. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 19 декабря 1917 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 184, л. 4 и об.).

«Может быть, вы уже совсем забыли про меня, вот уже я и сам не верю, что на земле был Тришатов. Я теперь только помощник секретаря в кооперации, я пишу теперь только бумаги с ходатайством об освобождении священников от призыва в тыловое ополчение, отношения в Совнархоз, объявления, что в Губернском союзе потребительных обществ есть вакансия машинистки 2-го разряда с окладом жалованья в 675 рублей, а вечером еще хуже, член распределительной комиссии профессионального союза, от 7-8 я пишу ордера на астраханские селетки, мыло, керосин и валенки [...].

У меня почти слезы на глазах, моя, моя Москва дорогая, и ваша Серпуховская, вся дорога до вашего дома... Ах, эти длинные ночи, последняя папироса, уже потушенное электричество и мы с Иваном Ивановичем [Белоусовым] (отрывок из нового Герцена), разговоры до рассвета, все волнение пережитого вечера, литературных встреч и впечатлений [...]. Расскажите мне про Ивана Ивановича, что с ним, где он, здоров ли, почему не напишет» (А. Тришатов — В. П. Ютанову. 24 ноября 1918 г. Ф. 577, оп. 2, ед. хр. 34, л. 1 и об.).

«Если угонят куда — я пропал, т. к. на свои легкие я теперь смотрю с большой опаской. Того и гляди опять начнетс я кровохаркание. А забрать, я думаю, теперь меня могут, т. к. и вид, и общее состояние временно опять достаточно средственное. Ведь взяли же Тришатова, от которого я так и не получил вестей. Не знаю, как и понять — обиделся ли он на меня или уж действительно махнул на все рукой и решил отдаться воле Божьей» (И. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 11 августа 1920 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 184, л. 18 и об.).

«...призван на службу 27 августа 1919 [года] в Московском Военном Комиссариате на Варварке, в Иркутск прибыл 22 августа [19]20 г., будучи откомандирован сюда окружным Военным Комиссаром Восточной Сибири из Красноярска» (А. Тришатов — Н. С. Ашукину. 13 декабря 1920 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 252, л. 7).

«Я все-таки не понимаю, зачем я очутился здесь, за тысячи верст от всего мне привычного и дорогого.

Жизнь моя идет без событий. Сажу в библиотеке красноармейского клуба, добросовестно пишу инвентарную книгу, карточки каталога и формуляры. Постиг премудрость десятичной классификации и кэттеровской расстановки и боюсь, что через год стану опытным библиотекарем.

По вечерам, когда дают электричество, что бывает с большими промежутками, читаю какие-нибудь добрые старые романы и все больше убеждаюсь, что сам я никогда ничего подобного не напишу.

Если сел бы писать, я знаю это, опять начнешь кричать без занятых... да нет, я молчу упорно, разве есть что-нибудь лучше молчания?» (А. А. Добровольский (А. Тришатов) — Н. С. Ашукину. 31 октября 1920 г. Там же, л. 6).

«Та возможность вырваться отсюда, которую вы мне открываете, влила в меня силы. Если бы это удалось, это было бы счастье, если не удастся, хоть поживу этой надеждой [...]. Вы мне не написали подробно, как нужно обратиться к Брюсову: с официальным прошением или частным письмом. Я написал письмо, которое прилагаю здесь незапечатанным» (13 декабря 1920 г. Там же, л. 7).

«Многоуважаемый Валерий Яковлевич, простите, что обращаюсь к вам частным образом и, почти незнакомый вам, затрудняю вас своей просьбой [...]. Жизнь в Москве необходима мне для моей литературной работы, и это заставляет меня обратиться к Вам [...]. Знание библиотечного дела, знакомство с десятичной системой, знакомство с книгой, долголетняя работа среди книг (в течение последних лет я работал в библиотеке Калужского Губсоюза, в библиотечной секции Культпросвета 43 дивизии, в литературно-библиотечной комиссии отдела Печати Московского совета), наконец, моя настоящая работа в иркутских библиотеках — гарнизонной и библиотеке Союза Советских служащих дает мне смелость просить вас о замещении мною одной из вакантных должностей во вверенной Вам библиотеке Литературного отдела и откомандировать меня как специалиста и литератора в Москву» (А. А. Добровольский (А. Тришатов) — В. Я. Брюсову. 13 декабря 1920 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 568, л. 1 и об.).

«Видел недавно во сне [...] Тришатова. Он читал свой новый рассказ — ему не давал читать Пильняк, боясь, что это будет слишком превосходить его вещи. Вспоминаю твой отзыв: Тришатов — это Достоевский под микроскопом и думаю, что это неверно, конечно, хотя, быть может, и есть малюсенькая злая доля истины.

[...] знаю и продолжаю утверждать, все более укрепляясь в этом, что Тришатов — самое значительное явление в русской литературе за последнее время. Все, что он пишет, «останется» (И. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 12 июля 1921 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 185, л. 12 и об.).

«В советское время [Тришатов] печатался в альманахах «Современники» [Слава светлишнего. Кн. 2. М.: ЗиФ, 1924; Сосланные в искусство. Кн. 1. М.: Московские беллетристы, 1923] и «Рол» [Металлический скворец. Сб. 2. М.: ЗиФ, 1924]» (Лидин В. Г. Биография А. Тришатова. Дело фонда 2588, л. 3).

«В из-ве «Земля и Фабрика» были разногласия относительно рассказов Григорьева и Тришатова [«Слава светлишнего»] в альманахе кружка. Одни из редакторов предлагали снять эти рассказы, другие признавали их лучшими в альманахе» (Протокол № 1 заседания кружка «Современники»

от 23 сентября 1923 г. Выступление В. Г. Вешнева. Ф. 577, оп. 1, ед. хр. 5, л. 7).

«В вопросе о выступлениях главное — организованность, обеспечение достаточными силами и пр. Некоторые члены кружка недостаточно участвуют в его работе, например Тришатов» (Выступление А. Ф. Насимовича. Там же, л. 6).

«Не знаю, читал ли ты повесть Беннетта «Заживо погребенный», чрезвычайно остроумную. Вот участь героя повести — похожа на участь Тришатова. Он тоже в сущности «заживопогребенный» со всеми своими вещами. Ужасный нищий принц со своими несметными богатствами. Поверь, что все это так, я бы не писал тебе всего этого, если бы не был глубоко убежден в этом» (И. И. Белоусов — Н. С. Ашукину. 27 апреля 1921 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 185, л. 4 об. — 5).

«В 1948 году [Тришатов] был репрессирован, в 1956 — реабилитирован. В годы репрессии написал книгу стихов «Ж-106» (Лидия В. Г. Биография А. Тришатова. Дело фонда 2588, л. 3).

Здесь в невеселом нашем доме
Меня утешил звук знакомый:
Стишок, припомнившийся мне:
«Поглубже в сон, поближе к дому».

Пусть нет конца моей беде,
Я все твержу четыре слова,
И вот, не различаю, где
Бараки, зона, лес сосновый...

От слов, от ссор, от работяг,
От злобы, от вражды к другому...
Не слушай, отдохни, приляг,
Поглубже в сон, поближе к дому.

Рукой недоброй и лихой
Мне жизнь очерчена по краю.
Я болен. Я совсем плохой,
Я чувствую, что умираю.

Но холодеющий. В бреду
Скажу. Переборю истому:
«Не трогай, Смерть. Я сам пойду
Поглубже в сон. Поближе к дому»

(Ф. 2588, оп. 1, ед. хр. 5, л. 9).

«Сегодня похоронили А. А. Тришатова. Я был у него с месяц назад, он поправлялся после инсульта, а потом его настиг второй. На похоронах я не был: опоздал и не мог найти машину» (В. Г. Лидин — Н. С. Ашукину. 12 января 1964 г. Ф. 1890, оп. 3, ед. хр. 318, л. 4).

Примечания

Среди упоминающихся в «монтаже» лиц:

Ашукин Николай Сергеевич (1890 — 1972) — писатель, историк литературы, пушкинист.

Белоусов Иван Алексеевич (1863 — 1930) — поэт, и его сыновья: Белоусов Иван Иванович, секретарь общества «Литературная среда», и Белоусов Евгений Иванович.

Вешнев (Пржецлавский) Владимир Георгиевич (1881 — 1932) — критик, редактор пролеткультовского журнала «Горн».

Лидин Владимир Германович (1894 — 1979) — писатель.

Насимович Александр Федорович (1880 — 1947) — писатель, член «Кузницы».

Ютанов Владимир Павлович (1876 — 1950) — писатель, редактор-издатель альманаха «Сполохи».

ТЫСЯЧЕБРАТСКОЕ

Николаю Михайловичу Мешкову

1

За бегущим народом. Страшную, страшную, неживую. В этих толчках головы, в левом плече, в окостенении всего, в мертвых ногах на подушке. Бабы пред ней расступались, сосны сходили с дороги. В шепоте до кустов, до странников, до народа. Из пыли, из толпы, из крика как икону ее поднятое лицо. Так и несли ее монахи. И рука в руке, когда ее держала, когда ее уговаривала сестра. Рукою слабой женщины в ее прекрасном платье. Усилием пальцев. Усилием такого горя. Слезы, измочившие перчатку. В тысячный раз прижавшись щекой на неотвеченное: Саша.

— Саша, Саша, разве я не была твоим другом, разве я не твоя сестра? Саша, взгляни.

Там свинцовый гроб, гроб — полоска, гроб — все в ее глазах. Так свеча и огонь, на воздухе огонь — какие похороны. Гроб уносят, и она не удержит, не удержит этих ручек, белых листьев от венка. Как она пойдет без ног, как она

пойдет, догонит. И когда качалась голова, так гнали лошадей. И везде. В небе из белых облаков, в гостиницах, в широких окнах, в коридорном тепле. Где она, где ставили тот гроб, где она кричала: «Коля!»

Слезы у нее не лились, ее держали на руках, женщины держали ее ноги.

— К батюшке несут, — женщины и все.

Через лотки, через ряды и пыль, от тени башни, от вывески «свечей», она оглянулась на святые ворота, на ужас толпы, на солнце на кудрях монаха. Когда разрыдалась:

— Саша! Саша! Не могу! Отнесите без меня.

Черный раскрытый зонтик. Так плакала под ним, чтобы не смотрели чужие. Наверх по лестнице, через оттиснутую толпу. От шума яблонь, от белых и зеленых снов. Когда прозрачная рука ложилась на перильца, когда из теса ясных стен, из зальца, из лика радужной иконы с осыпавшимся цветком. Она бы не прошла ползком по белому половичку. Она не знала. Может быть, она еще не думала, что скоро, может быть, она не ожидала. Может быть, он пришел по небу, по белой, по святой иконке. В его шепот над собой, в глаза под шапочкой, в сухие руки. От пола, у складок всей любви, от рук, от слез, от всех ночей в беспмятстве, в откинувшемся долгом («Коля») и голос:

— Зовут-то тебя как?

Она оглянулась.

— Александра.

— Имя-то у тебя какое! Мужественная ты, а плачешь!

— Мужа у меня убили.

— Ну что ты, Александра, муж у тебя живой.

Она взглянула прямо, она не крикнула, не поползла. (Душа ударилась). Трениет шел по всему ее телу. Она оттолкнула держащих. Она сказала шепотом, что-то объясняя:

— Муж мой это Коля, Коля. Он...

— Жив муж твой, воин Николай.

Сила подняла ее. Сердце ее вместило. Она топала губами, счастьем, сердцем. Она стояла на ногах.

2

— Жив он, муж твой, воин Николай.

Это можно было повторять тысячу раз, тихо задерживая в сердце, одним дыханием, светящейся радостью глаз. Не спеша, как ехал ямщик, как разворачивалась река, как поднималось небо. Солнце выливало всю свою радость. Звон шел от леса. С черных тропинок бабы со строгими глазами крести-

лись прямо на нее. Пыль в пазухах тарантаса, волосы от лошадей, мухи, потная дорога. Вдруг радость опять срывала листья, кружилась около рук, и Александра Семеновна терялась. Она прижималась к сестре. Она говорила:

— Ольга, Ольга.

Ее лицо становилось нестерпимым от света, воздух звенел, слезы лились из ее глаз. Сестры плакали, обнявшись. Мужик смотрел на них и тер за пазухой, за шапкой. Лошади стояли в тепле, в тихой жизни, рядом с рекой, с дорогой, с корнями сосен, с лугом из зеленого разлива. Александра Семеновна плакала, прижавшись к экипажу, она смотрела на траву и плакала, она отрывала эти живые листья, эти травинки, кололась о их царапающие края, клала их на руку, она говорила:

— Оля, видишь, все живое: опять трава, опять Коля, Коля жив.

В монастыре звонили. Звон был там, там в дорогом, во всем, в святых воротах с белой краской, в храмах, в золоте, в ангелах, в воздухе несущих святую икону. Сосны подымали его к небу. Он точно лился из синих колоколов, из реки, точно его рождали уши, к губам прижатая трава. Лошади пошли. Сосны выросли на горе, закрыли небо, в реку бросили черные сети, черные ветки, тьму. Вдруг птичка чиркнула, дорога задышала, пошла, в сердце запахло жизнью, ровной счастливой тревогой.

— Оля, скоро мне опять.

И опять она говорила. К ней пришли от архиерея, владыка вызывает ее. Он передал ей письмо. Письма. Их нашли на убитом. Эти письма прислали товарищи по полку. Они рассказали потом, после, у них, в доме, как они их прочли и поразились их христианским чувством. Они решили отправить их епископу того города, откуда был Гарязин. Владыка пожалел вдову и передал письма, сестра Ольга сама ездила на фронт. В беге лошадей, в ровной дороге, в легкой усталости спины, в головокружении чужого горя. Гроб вырыли из земли. В другом свинцовом завинченном гробу она привезла дорогое тело. Она вспоминала: дом, улицу, окна, толпу, фигуры офицеров, провожавших гроб, приехавших с фронта военных. Он был убит! Он был убит! Страшная рана в бинтах и марле. Те, кто его видел там. Рот, губы, нижняя часть лица, сильно заросшая бородой. Бабочка, окрашенная в цвет костра, в гниль кустов, серая ночь воды, серая, неживая. Ехали мимо имения, мимо дач, там в цветниках, в блеске стекол, чужих, без имен, без фамилий. Александра Семеновна прижалась к сестре. Щека с щекой. Ближе, чем губы. В ее

горло вошло мертвое. Она не сказала, она простучала ртом:

— Где его похоронили?

Ольга открыла глаза. Было такое ослепительное поле. Вдруг она увидела трубы завода, город, тысячи крестов, большие березы, калитку на кладбище. Она проследила по буквам, она назвала его трудно, почти мучимо:

— На Тысячебратском.

3

Тысячебратское начиналось отсюда, от белой каменной стены, от городских крестов, от городского кладбища, здесь, за стеной, за запертой калиткой. В сторону города его сквозной забор изящных летних дач, легкий вход — калитка с ореховым крестом, с художественными ангелами, с чуть бледной зеленью на тонких ликах. К Тысячебратскому забору не было. Было поле и дорога. И Шура Павильонова любила проходить по этой дороге, сидеть на песке над канавой. Вдали были Тысячебратские трубы, даль, ехали в поле телеги, паровоз медленно тянул вагоны, все было далеко, сквозь пыль и даль. Шура сидела на земле, она протянула руку и коснулась той земли кладбища, его густой травы. На Тысячебратское Шура Павильонова не ходила. Она гуляла у себя на городском. Там были могилы, там были иконы, там были надписи желтой краской, надписи белые, надписи стихами. Там молились, там плакали, там умирали, там бегали дети. На Тысячебратском не было ничего. Там были только кресты, выстроенные в ряды как солдаты. Не один человек не приходил туда. Грачи не кричали, их никто не пугал. Шура смотрела назад, ей становилось нехорошо, она вставала и уходила.

Александра Семеновна встала и посмотрела перед собой. Она ждала на Рождество. Муж не приехал. Прошла весна, прошла вторая Пасха. Утром и вечером она приходила посмотреть, горят ли печи, нет ли пыли на его столе. Она молилась о его здравии, она молилась о нем, путешествующем, о нем, без вести пропавшем. Ее руки стали листьями его молитвенника. На его святых картинках она смотрела на какую-нибудь подробность, облако или одежда, она смотрела сквозь буквы, сквозь листья. Ее платье почернело, ей были тяжелы ее тонкие башмаки. Она развернула журнал на портрете Старца, она затрепетала, она выбежала из комнаты, она искала кого-то. Потом она заперла дверь в ту комнату, где лежал журнал. Она быстро оделась, уже исполнялось ее приказание: «барышне коляску».

Александра Семеновна повернула по Никитской, вниз мимо гимназии, мимо аптеки Кана, мимо дома генерала Трупеталевского. Она не видела людей, и только улицы быстро меняли свои названия. Она сидела на подушках, одна, с темным недобрым решением. Она узнала кладбищенскую церковь, ее бледно расписанные стены. Белая каменная стена была бесконечная, как стук ее сердца. Потом начался переулочек, здесь была пыль немощной дороги, щебень, игрушки детей, их приснившиеся лица. Коляску подбросило через канаву, луг был весь выбит; березы, одна, другая вся вытянулась, в ветре, в массе повертывающихся листьев. Тонкие липы стояли за забором, на воротах был крест, ангелы, выточенные из дерева в искусном облаке, в кафельном дыме. Над входом под крестом качнулся засохший веночек. Она приподнялась с подушек бледная, закрывая сердце, ум и уши. Она сказала Георгию:

— Скорей, поезжайте скорее домой.

Шура Павильонова уронила цветок, высунулась из окна и долго смотрела, как мчалась коляска.

Шура Павильонова захлопнула окно и отбежала. Она успела. Она стояла между шкапом и столом у стены. Пальцы постучали через стекло в сердце, тук, тук. Она видела, как искали глаза, как голос позвал:

— Шура.

По ее горящим щекам текли слезы.

— Коля, Коля, — позвала она мужа, — кто у окна?

Коля прошел в одной жилетке, что-то бросив. В окно шел теплый ветер. Локоть погасил краски в воде графина.

— Эй, эй, Иван Михалыч!!

— Кто там? — сказала Шура.

— Да твой знакомый Пашков.

4

Пашкова выбрали в Совет. Он ходил в рубашке, длинной до колен, в русских сапогах. Кудри лезли из-под картуза. Его голова большая, поднятая движением больного в периоде «стойкой тревожности».

— Припомните, — говорил он себе, — что сейчас случится.

Иногда он шел по улице. В особняках лепные украшения были сброшены вниз и сорили тротуар. Красные бумажные звезды были прилеплены к лопнувшему зеркальному стеклу. Мальчишки висели на крыше, палками выкручивая кружевную тонкую жуть. Они кричали: «Пашков в саване идет», — и скатывались вниз. Он видел видения. Ехал автомо-

биль. Он не двигался, а он кричал. В его шарахающихся прыжках он распадался на свои серые ломкие части. Пáшков стоял с рукой на нагане, с бритым лицом немецкого поэта, а птица летала над ним низко, от дерева до дерева, из сада в сад, махая крыльями без жизни, как часы.

В. автомобиль валился все. Мальчишки в шинелях, вытянутых до земли, с кавалерийскими заусеницами на руках, в прилипших к низким головам фуражках, дети в майках ярких, как яд, с черной шнуровкой над грудью. Их швыряло и бросало до Тысячебратского, где в красной кирпичной церкви, похожей на тюрьму, с звонницей пустой, как П, с палкой вместо купола ждала тысячная толпа.

Пáшков с удлинненным лицом в мелких бисерных каплях ждал припадка. Он чувствовал асимметрию своих глаз, и его голос слабел. Он искал формулу закона отражения, и все его слова шли через штукатурку, через пустыню. Стены, покрытые одеждами вселенских соборов, не отражали эха. Потом люстра зажглась как «[Боже] царя» тысячебратских певчих. Столп пыли прошел по лицам и погас.

Из Тысячебратского Пáшков шел пешком. На нем была белая рубашка, длинная до колен, белый картуз. Он пересекал кладбище, не видя! Он продвигался через него. Потом он останавливался. Дом был из бревен в два окна, на стеклах был цветной узор, пыль стояла через шоссе как серая вода. Железо заржавело, как старые вывески, как старые полосы под окном. Мальчишка бил по нему палкой — точно переплывал плет. Пáшков разлагал его звук, он узнавал свою радость, она вспыхивала медленно, полоса за волосой, охватывая мир. Он звал:

— Шура!

Николай Иванович открывал окно. Он расширял его, и оно выдавливалось, точно половина его соскакивала с середины. В черное лезла голова, синий локоть рубашки. (Вы читали у Бергсона о ложном узнавании?)

— Вот так штука, — говорил Пáшков — его лицо изображало другого.

Рукой он отводил подбородок, точно отпирал кран для смеха, тянущего из глаз, над качнувшимся носом, над мертвой головой.

Шура трепетала. Шура слушала, как Коля говорит с гостем.

— Вы в город, Иван Михалыч?

Шура слышала.

— В пролеткульт.

Пáшков застревал мертвой фуражкой в небе без облаков,

в лирик Тысячебратакого, в овоей настойчивости. Он описывал пролеткульт: темно-вишневый дом. Дом бывшей Жуковой, тот, рядом. Нет, дом Гарязиной. Александра Семеновна Гарязина. У нее убили мужа на войне.

5

Александра Семеновна вышла из ворот. Может быть, она выходила так тысячи раз. Она шла как слепая. И то, что на расстоянии ее руки. Что так далеко! Окна у Салищевых. Она перешла улицу мимо церкви Покрова в Шарах. Ее черное платье, ее глубокий траур. Горе давило ее к земле. Она не видела ни бедности, ни своей обуви, ни разрушенных домов. Она шла за гробом, за гробом цвета серого неба в белых венках. Может быть, во сне когда-нибудь она прошла этот путь, и она его повторяла. Она узнавала дома, повороты улицы, где она никогда не была. Дождик начинался и кончался, она не отпрыгивала зонтика, и мокрое платье высыхало от жара ее горячих рук. Домики отходили вправо с одной стороны, забор был бесконечный. Внизу, там, в подземном ходу, рельсы уходили по железному песку, как две руки, как несчастье. Вдруг она ужаснулась. Грачи улетели, крича. Ворота были свалены, сухие венки истлели в траве. Крест был сброшен. Здесь не было дорожки, чтобы подойти по ней к памятнику, чтобы, стоя на коленях в желтом песке, прочитать надпись, напоминающую о Боге и вечной стране. Здесь был лес, редкий, как канва, с огромными кусками незакрытого неба, с пылью мертвых полей. Из земли росли сухие листья, гнезда, жучи жесткой травы. Она увидела солдата. Трость нет, у нее кружилась голова. Она не поняла, что это крест. Зачем она здесь стоит? Она побежала назад. Она остановилась у часовни и расплакалась. Двери были сорваны, окна разбиты, пол густо покрыт. Ее задушило зловоние. Она побежала, она моталась, она искала, она стала мертвой сама. Она кричала крестам: ты, ты, ты! Она бы их сломала, она бы их сбросила на землю. Она перестала их считать, они закружили ее как в полку. Тогда в гневе, как жена начальника, она крикнула одному — укажи мне дорогу к моему мужу. И тотчас же бледнее, за крестом, она увидела, она бросилась, она пошатнулась. Это такая скорбь. Вот все.

Николай Александрович Гарязин, капитан 62-го Суздальского полка, убит у фольварка Мотэлы. Это правда, это правда! Его жарточка под стеклом, выделанная в крест. И она не приносила, не носила цветов, не служила панихид. Коля,

Коля! Ты лежишь здесь в земле, и твоя жена, кого ждала она? От Рождества до Рождества. От Пасхи до Пасхи. Ветер отдавал команду. Солдаты затоптали землю, сапоги были, как грязь, дождь вдруг заливал чье-нибудь лицо. Она открывала листья склеенные, мокрые до черноты, истлевшие на крестах, прозрачные, как вечность. Сквозь их разряженную ткань, сквозь их прилипший след, она здесь ползала своей такой же мыслью. В то Рождество, когда надежда вернулась к ней, когда приехал денщик Коля Зятев. И ее криков вопрос таким большим стремительным движением, ударившись о крест. Слова солдата, что он знал! Теперь здесь с вымокшей земли она подняла край платка, она увидела стул, зеркало и бритвенный прибор. Воду принес Зятев. Он копчил бриться чистый, молодой. Он крикнул: прощай, Зятев. И она ощутила до сердца его живую свежесть. Его стеклянная щека над воротником мундира. Она оторвалась от карточки. Капитан 62-го Суздальского полка. Эти черные буквы, в которые уже легла пыль. Она встала с колен. Она сказала:

— Он сказал: ты живой, и я не приходила.

Вдруг ее сознание вернулось. Она провела руками по лицу.

— Боже мой! Боже мой! Но ведь он жив! Я поеду, я спрошу.

Она теряла рассудок. Она искала выхода. Она не находила. С детства это чувство тревоги и незащищенности одной среди мужчин. Вдруг они ее не пропустят. Так, когда она приезжала к мужу в лагерь. Эта масса солдат. Если они выйдут из рядов, если они двинутся к ней.

— Я сошла с ума, я заболела. Это кресты.

Она проходила быстро, не взглядывая, не подымая глаз, не помня. Она оглянулась на их спины: 857, 858, 859. Эта белая краска на защитном сукне, т. е. на дереве, на их зеленых крестах. Она выбежала в поле.

6

Александра Семеновна проболела всю зиму. Весной она была очень слаба. Наконец летом она поехала. На станции, где она слезла, поезда приходили из безнадежности. Сгнившее дерево платформы. Рябины в бледно-желтых листьях. Ветер приносил на станцию пыль и колосья с поля.

Шестнадцать верст пешком, круги, которые она видела в полях. Сухая кожа, жажда. В лесу она ждала темноты. В избу к бабушке она прошла в крестьянском платке, чтобы не увидели по деревне. Потом опять она ждала в узких сенях,

темных, без огня. Нет, нет, не за стаканом же молока она вошла в эту избу. Хозяин выходил к ней нерадушный, неверящий. Выходили крестьянские мальчишки, все было в них бесформенное, чужое, как черная зябь. Ее провели в избу к бабушке. Она смотрела, как бьются в стекло, как гудит ее грудь. Вошла монашенка: «пожалуйте». Она вошла в горницу с стеной в образах, с диваном, со столькими людьми. В окно не шумели яблони, не гудел монастырский колокол, слепые не пели у собора. Неужели ей все приснилось. Вдруг все встали. Сердце ее растопилось. Она опять увидела его со святой картинки, с скуфеечкой на глазах, с руками тоньше воска. Голос его был тише, чем можно было услышать. Она ничего не знала, не видела, не слышала.

— Идите, — сказали ей. — Бабушка всех благословил ехать домой.

Она проплакала всю ночь, где, она даже не понимала где. Где-то она лежала, она ничего не ела, не спала, она ничего не понимала. Она была в таком отчаянии: ехать? Зачем же ей было ехать, куда? Утром хозяин позвал ее в избу. Сквозь слезы она не видала ничего. Вошла монашенка.

— Идите. Бабушка вас примет.

Она обняла эту ряску, эти старческие ноги. Она потонула в расслабленном горе, в умилении, в своем уходящем несчастье.

— Бабушка, я не могла так уехать. Я не послушалась. Простите.

— Ну расскажи, дружок, что с тобой?

Он погладил ее по голове, и она крикнула в пол, в дерево, в бездну.

— Мужа у меня убили.

Он все гладил ее все тише, все нежнее. Она взглянула. Скуфейка закрывала по глаза. Он едва шевелил губами.

— Божья воля. Ты молись за убиенного. Милостыню подавай. Радуйся, а не плачь.

Она похолодела. Она встала от него как от врага. Она вся трепетала. Она сказала, зажимая рот кулаками:

— Вы, вы сказали, что он жив.

— Ну если это я сказал, значит, он жив.

Она закричала. Монашка выглянула в дверь. Все плыло, все падало направо. Она закричала:

— Что же вы делаете со мной. Ведь я живая. Ведь я-то живая, ведь я не могу так.

Теперь она плакала, завернувшись в свои руки, вся трепещет, вся — одна, одна, одна.

Он встал, только руки еще держались за ручки кресла.

— Ну что же ты хочешь, раба Божия, что ты спиришь с Богом?

Она сказала страстно:

— Я хочу знамения, я хочу знать, у меня нет сил больше только верить.

Он открыл глаза.

Она увидела свет, голубые лучи, целое голубое море. Он грозил ей пальцем тихо, как ребенку.

— Грешница, знамение тебе было.

Она увидела его измененное лицо, левой рукой закрытые волосы на подбородке. Другой он, чистый, безбородый.

— Тот, кто служил твоему мужу, разве не посетил тебя?

В звоне света, ясности, понимания, сознания, склоненной головой, рукою, позой она умоляла о прощении.

— Я недостойна. Вы — святой.

7

«Я грешная», — подумала Шура и посмотрела на иконы.

Пашков писал ей: «Милая Шура. Я уйду с манифестации. Видите, что я для вас делаю. Приходите же на Тысячебратское. То, что я вам там скажу, писать нельзя».

Муж начистил сапоги, приколол красный бант и ушел. Она не успела проститься. Было 10 часов.



— Ты уходишь? Саша, смотри, нынче манифестация. Ну хорошо. Только скажи: куда ты пойдешь.

— На Тысячебратское.

— На Колину могилу?

Александра Семеновна засмеялась.

— Зачем, Ольга, так? Ты ведь знаешь, Коля жив.



«Убит у фольварка Могэлы».

Александра Семеновна разбила стекло на кресте, ножом она выломала карточку. Это было так трудно. Она исцарапалась. Она отгибала гвозди. Она загрязнила свое платье землей. Потом карандашом на цинке креста она написала под буквами «убит»:

— Это неправда, он живой!

Она поклонилась до земли, она перекрестилась, она сказала:

— Спи, чужой дядя. Я больше к тебе не приду.

Теперь надо было уйти. Она побежала между крестами.

Она бежала между имен, между рук, между лиц. Она прощалась с солдатами. Она им сказала:

— Мой муж жив.

Деревья умерли, птицы улетели.

Шура бежала. Она услышала, как сердце ее остановилось, она услышала, как вздох:

— Мой муж жив.

Она закрыла глаза. Она не видала, как женщина пробежала мимо нее.

Здесь люди.

Здесь нет никого.

Нет, она видала, как женщина прошла между крестами.

Пашков понял, что все пропало. Он проиграл. Он неудачно выбрал место. Чего он хотел? Обезопасить себя от встреч? Он знал: на Тысячебратском нет никого живого. Он встретил на Шуру, что делать с ней, он не понимал. Ее лицо мертвело, ноги отнимались, она превращалась в неживую. Что тревожило ее, что пугало, неужели эти кресты? Он смотрел на их ряды, уходившие в обе стороны. Что создавало эту иллюзию живых? Кресты были все как один, плечо к плечу, ни один не выходил из ряда, ни один не был выше другого. Может быть оттого, что под ними не было ни надгробия, ни самого простого бугорка. Они поднимались с земли, из травы, плечо к плечу, бесконечные ряды, построенное войско. Доски на груди, то есть на дереве, их имена белой краской, белые номера на спине, то есть на крестах 807, 808, 809... Кресты были накрыты. Эти две доски, как шапка солдата.

— Да, я ошибся, здесь слишком много народа!

Он повел ее, грел ее ледяную руку в своих ладонях.

Он показывал ей что-нибудь, надписи, памятники из камня. Он был без картуза, в белой рубашке с ремнем, в его глазах была грусть. Он читал: «...кадет 4-го класса, старший врач, командир 4-й роты, Николай Александрович Гарязин убит у фольварка Могэлы». Он был изумлен, он прочел пониже карандашом: «Это неправда, он живой».

Он отвел свой подбородок, блеснул глазами. Он сказал:

— Вы видали, вот так штука: он живой!

Он смеялся, сужаясь книзу, точно измученный веселостью, идущей из могилы.

Шура вырвала свою руку, но он дотронул ее у солдатских крестов.

— Ну?

Она молчала. Он стал опять смеяться. Он прочел: «унтер-офицер Василий Татар».

— А что? А если и этот живой.

Вдруг она закричала:

— Не кощунствуйте, не богохульничайте!!

Он сказал ей мягко:

— Это уж не я богохульничаю. Разве это я написал: «он живой».

Он испугался ее ужаса.

— Помиримся, ну что такое? Милая Шура, я так ждал этого дня.

Она отшатнулась.

— Пустите! На людях!

— На людях?!

Теперь только злоба легла на его лицо, как желтая пыль.

— Это люди — вот эти кресты? По-вашему. Вы что, боитесь, что они оживут и вас съедят? Вот этот унтер-офицер Василий Татар махнет рукой и...

Воздух прорезал крик тысячей грудей, тысячи режущих, скребущих, взрывающих звуков. Они выли, они вылезали к небу, они разрывали землю, они не походили ни на что.

Шура шатнулась, она не успела вздохнуть. Унтер-офицер Василий Татар махнул рукой, и тогда она крикнула отчаянно, воплем до города:

— Идут.

Она бежала, как ветер, как свист. Юбка билась на ее ногах, она перепрыгивала канавы, она ударялась о то, что мелькало (Коля!), она молилась, если она не добежит.

Мы господе не молимся.

Волна прошла и ударила ее по лицу. Она опоздала. Ее тело упало как брошенное, ноги воткнулись в пыль.

Долой, долой монахов
Долой, долой попов
Мы на небо полезем
Прогоним всех богов.
Не надо вам монахов
Не надо вам попов
Мы на небо залезем
Прогоним всех богов.

Тысячи. Они проходили мимо. Тысячи поднятых знамен. Тысячи одинаковых движений. Они начинались там и кончались где? В одинаковых фуфайках, блузах, в одинаковых кепках, с одинаково раскрытыми ртами. Тысячи глаз, тысячи рук, тысячи лиц, тысячи братьев. Они шли, плечо к плечу, в бесконечных шеренгах с белыми номерами на спинах 813, 814, 815...

Шура лежала с изумленными глазами, поднятыми в небо. Ее лицо умерло. Пена вытекла из черного рта. Баба сняла свой платок, перекрестилась и покрыла.

— Милая, закричать бы мужикам, позвать бы народ.

Та прикрылась руками, простоволосая. Она сказала:

— Где же теперь народ, голубка? Где? Видишь, идет Тысячебратское.

А. Тришатов.

Москва. 13 сентября [26 н. с.] 1928 г.

(ф. 2588, оп. 1, ед. хр. 3, л. 31—36 об.).

ОЧЕРКИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ТЫЛА

(Главы из романа-хроники Г. А. Шенгели «Черный погон»)

Публикация А. В. Маньковского

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894—1956) известен современному читателю, по большей части, как адресат стихотворных нападок и эпиграмм Маяковского, вроде:

...молотобойцев
анáпестам
учит
профессор Шенгели.
Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?

(Маяковский В. В. Полн. собр. соч. М., 1958. Т. 7. С. 208).

Не оставался в долгу и Шенгели, ответив полемически заостренной статьей «Маяковский во весь рост» (1927), направленной не только против Маяковского, но и против футуризма в целом.

Между тем начало писательской деятельности самого Шенгели было связано именно с футуризмом. Приезд Игоря Северянина, В. В. Маяковского, Д. Д. Бурлюка и Вадима Баяна в 1913 году в Керчь, где Шенгели учился в гимназии, произвел на него сильное впечатление. Правда, его кумиром стал не Маяковский, а Игорь Северянин. Под влиянием его поэзии Шенгели создает первые сборники своих стихов: «Розы с кладбища» (1914), «Лебеди закатные», «Зеркала потускневшие» (оба — 1915), «Гонг» (1916) и др. В 1916—1917 годах Шенгели принимал участие в гастрольных турне Северянина по югу России, выступая с докладами на его «поэзо-вечерах».

Вскоре, однако, Шенгели изменил свою литературную ориентацию. Как пишет современный исследователь: «Поселившись в 1917 г. в Харькове и поступив на юридический факультет местного университета, Шенгели провозглашает новое направление в современной поэзии, которое в своих докладах называет «новоклассическим», «пушкинизмом», «новым пушкинством», в качестве примеров такового приводя стихи М. Волошина, О. Мандельштама и В. Ходасевича» (Коркина Е. Б. Георгий Шенгели об Игоре Северянине// Таллинн. 1987. № 3. С. 90).

В годы гражданской войны обстоятельства забросили Шенгели на территорию, занятую Добровольческой армией Деникина. Об этом периоде своей жизни он впоследствии писал Северянину 19 сентября 1927 года: «Октябрь, а затем германская оккупация Украины оторвали Харьков от Севера [...]. В начале 19 г. Харьков был занят советскими войсками; я поехал в Москву и узнал, что Вы остались за рубежом [...]. Дальше судьба меня занесла опять на Юг, где я отсиживался от добровольческих щупальцев. Окончательный переворот застал меня в Одессе, где пришлось пробыть 1 1/2 года, борясь с нуждой и холодом, — пока весной 22 г. я не выбрался в Москву» (ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 119, л. 1).

Основные свои произведения Георгий Шенгели создал после революции. В том же письме Северянину он говорит, что у него «...нашлись хорошие литературные друзья: Волошин, Мандельштам». Выходят сборники стихов Шенгели «Ракovina» (1922), «Норд» (1927); переводы из Верхарна, Гюго, Эредиа; филологические труды, такие как «Трактат о русском стихе» (1923) и «учебник» для начинающих авторов под заглавием «Как писать статьи, стихи и рассказы» (1926), который и стал причиной язвительного выпада Маяковского в процитированном выше стихотворении «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (1926).

В 1920-е годы Шенгели обращается также и к прозе. Он пишет рассказы, роман (оставшийся незаконченным), заканчивает беллетризированные мемуары о своих скитаниях по югу России во время гражданской войны под названием «Черный погон». Однако печатается Шенгели не часто, а с 1935 года, когда его оппонент Маяковский был посмертно провозглашен «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», имя Шенгели постепенно исчезает со страниц журналов и обложек новых книг. После выхода двух стихотворных сборников («Планер» — 1935 и «Избранные стихи» — 1939) оригинальные произведения Шенгели практически перестают печатать, хотя до конца своих дней (он умер в 1955 г.) писатель продолжает творческую деятельность, много переводит, работает в области стиховедения.

«Черный погон» имеет подзаголовок «роман-хроника». Это автобиографическое произведение (хотя его нельзя назвать мемуарами в полном смысле этого слова) рассказывает о пережитом автором в годы гражданской войны. У Шенгели есть две поэмы: «Поручик Мертвецов» (1922) и «Ушедшие в камень» (май 1937), — содержание которых перекликается с романом-хроникой. В них изображается жизнь Керчи, за-

пятой Добровольческой армией, борьба ушедших в каменоломни Аджимушкая подпольщиков с белогвардейцами. Обе поэмы были напечатаны в последнем прижизненном сборнике Шенгели в 1939 году. Герой поэмы «Поручик Мертвецов» упоминается и на страницах «Черного погона»; сравнение керченского подполья и добровольческого тыла с элоями и морлоками, позаимствованное из романа Уэллса «Машина времени», переходит из романа на страницы поэмы «Ушедшие в камень», где сравниваются два мира:

Один — надземный: светлые элои,
Поборники закона и культуры
(Полковники, поручики, попы,
Актеришки, мамыши, спекулянты).
Другой — подземный: черные морлоки
(Как написал в газете публицист
Из гимназистов выгнанных, — недавно
Уэллса прочитавший, но весьма
Нетвердый в проведении параллелей).
Все ж прав он был в одном: морлоков этих
Боялись очень, и никто не знал,
Как много их.

А жесткие их пальцы
Растленный город чувствовал — на горле.

(Шенгели Г. А. Избранные стихи.
М., 1939. С. 105—106).

Действие публикуемых глав романа разворачивается в Керчи. Впоследствии, спасаясь от деникинской контрразведки, герой морем перебирается в Одессу, где встречается с рядом литераторов из Москвы и Петрограда, выведенных Шенгели под вымышленными именами: академик Шевелев — И. А. Бунин, Юстиниан Хорватов — М. А. Волошин, Андрей Енот — А. Соболев, Семен Смушкевич — С. С. Юшкевич, Петр Рыльский — П. Пильский, Тарас Сагайдачный — В. М. Дорошевич. Автор «Черного погона» собственноручно оставил на машинописном тексте вписанные карандашом истинные имена персонажей.

В этой части роман-хроника распадается на ряд эпизодов, изображающих встречи с бывшими столичными знаменитостями, жизнь местной богемы. Вскоре в Одессу приезжают из Керчи друг Шурка и возлюбленная рассказчика — Зоинька. В связи с бегством добровольцев из Одессы (зимой 1920 г.) друзья становятся перед необходимостью выбора дальнейшего пути. В конце концов Шурка вместе с остатками белых переправляется в Крым, а рассказчик и его возлюбленная решают ждать прихода красных.

Опубликование романа-хроники Г. А. Шенгели в полном

объеме (можно надеяться, оно вскоре осуществится) расширит наше представление о творческом диапазоне этого одаренного автора.

Текст публикуется по авторизованной машинописи из фонда Г. А. Шенгели (ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 59, л. 2—44).

ЧЕРНЫЙ ПОГОН

(роман-хроника)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В моей комнате — кровать, стол, стул. В моей комнате — беленые стены, насвежо крашенный желтый пол; сквозь щели плохо пригнутой двери пахнет цветущей маслиной, полынью, чобром. Шумит море, свистит в иолантусах ветер, цикада стрекочет, отмеривая время. Лампа с насаженным на стекло лоскутком бумаги, уже обуглившимся от жара, слегка мигает. Ночь. Я один.

И раньше бывали бессонные, одинокие ночи, но тогда перед глазами выстраивались фразы Флобера, сверкала шпага гимназического учителя Штирнера и пасьянсом раскладывались строфы Малларме: не сходится, надо сначала (кстати, почему у меня Малларме ассоциируется с подлейшим городом Армавиром?). Во всяком случае я был молод и жаден. Но между «раньше» и «теперь» легло десять лет; золото плотно засело в зубах, и в волосах запуталось немало платины. И я сижу, ночью, один, в этой крымской деревне, в этой бедной комнате с насвежо крашенным желтым полом, и подвожу итоги. Печальное дело.

Я видал когда-то чревоуещателя. Он медленно приоткрывал крышку шкатулки, и оттуда коснеющим, возрастающим в силе до крика голосом верещал кто-то: «Закрой, закрой же, я здесь привык». Странно было слышать тоскующую пустоту... И сейчас мне кажется, что, приоткрой кто-нибудь мою дверь, я так же закричу: «Не надо, я здесь привык». И открывающий удивится, слыша пустоту. Унылое чудо — превратиться в голос чревоуещателя.

Что, собственно, случилось? Ничего! Черт побери, ничего не случилось! Ну, война произошла, ну, революция, — но я-то тут при чем? Ведь я написал только четыре тома, сказал «свое слово» о двух десятках писателей, — их осталось еще на четыреста томов. Сиди и пиши. А вот не пишу: не надо. Вот просто: не надо. А я ничего не умею, кроме «своих слов». У-у, проклятые «слова», вечное отыскивание оригинального, разглядывание писателя не с лица, а со стороны промежности

между мизинцем и безымянным на левой ноге. Рыцарство печального парадокса... Впрочем, это тоже «свое слово».

Пожалуй, именно в этом корень. Моя специальность — «на полях». Я брал Пушкина, брал Гоголя, Достоевского, Чехова и писал у каждого «на полях», — изящно округляя обороты и заостряя парадокс. Всю мою литературную жизнь я слонялся вокруг большого творчества и приколачивал «на полях» обойными гвоздочками фольговые медальончики, приспособлявая к ампиру дорику и Гегеля к романтизму. О, конечно, чтение моих книг равнялось «беседе с очень умным и интересным человеком». Мерси-с, польщен-с! Но кой дьявол убедил меня в том, что это — главное?!

Ведь и жизни-то я не видал, не делал по-настоящему. Все взрослые годы пробродил тоже около жизни, свои идеи и вожделения приспособлявая тоже у нее на полях.

Говорят, я хорош физиономией, у меня мягчайшие пеньковые усы, я речист, остроумен, зол. Бывало, мальчишки как горох сыпались от моих реплик, тарасили глаза и жевали ртом, не находя ответа. Женщины хохотали и аплодировали мне. Но целоваться уходили все-таки с этими мною посрамленными мальчишками. А я оставался смаковать мое токайское остроумие — один...

Ночь. Мой щенок завозился под кроватью. Надо его вывести погулять. Ух, ветер! Горы, днем такие мягкие; замшевые, пульсирующие в восходящих токах зноя, — теперь стали черными окаменелыми хлебами. Самую высокую царапает нижней звездой чудесный ромб Пегаса. Совсем чахлый, совсем нитевидный месяц (это, кажется, у умирающих пульс бывает нитевидным), совсем багряный месяц замахнулся над горой... «Острым серпом, безболезненно режущим, сжата с души...» — черт, и тут без цитаты не обошелся!

— Ну, идем, идем, Воронок, идем спать. Хороший песик...

Странно ведь. В глазах у него светится честная щенячья глупость, высшее для него удовольствие — обглодать мою туфлю, а по ночам, когда тухнет лампа, он тревожится, скулит, норовит поглубже забиться под кровать. Пустоты и мрака боится. А меня не боится. Неужели во мне есть еще крупица живого?

Ничего не случилось. Произошла война. Я хорошо помню девятнадцатое июля. Оркестр на бульваре после какой-то польки заиграл гимн, на ресторанной террасе жидко закричали ура, появился откуда-то флаг, возле аптеки Кизильштейна манифестация оформилась царским портретом, — и пошли, пошли в бездну, к черту, в мировую щель. Я в это время писал свое первое «на полях».

Впрочем, не стоит об этом.

Я проведу здесь два месяца. Мне хочется припомнить шаг за шагом мой роман с жизнью, мой роман с революцией, первую и последнюю мою попытку глотнуть настоящего кислорода — попытку, в результате которой я сошел на нет, как алюминиевый разрезальный нож, который попробовали отточить на оселке.

Сейчас эти годы — как сон. И странно: отрезок времени, богатый событиями, протекает быстро, но помнится большим. А у меня эти три года прошли как неделя, но и помнятся такими коротенькими, такими сморщенными — точь-в-точь воздушный шарик, из которого вытек газ. Годы эти как сон. Да, конечно, вороша в памяти пережитое, я вижу: сотни людей, множество событий, — но все отрывочно, клочковато, без стержня, в гнущейся рамке: девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый год...

Я открываю глаза и вижу: мутно-зеленые мшистые стены пещеры, сбегаящие к жерлу. В жерле — как декорация «Половецких плясок» яркий, с чистейшей волнистой линией горизонта день. Огромное сырцовое облако недвижно висит в небе. Я закрываю глаза. Долог день. В нем тысяча восемьдесят секунд, крошечных белых мурашек, и каждая возникает где-то около стертого большого пальца ноги и пробегает в пульсе, чтобы, исчезая, больно укусить височную вену. Я лежу навзничь на сыром камне, отрадно охлаждающем натруженную, гудящую спину. Перед глазами млеют и переливаются фиолетовые петухи жара. Смутно дремлет, смутно бредится то, что было. Разве не бред, разве не сон этот шестидесятиверстный переход по степи, по иступленным пескам лиманов? Разве не сон этот бесконечный лиман, эта слепая плева соленой воды, доходящей до пояса, теплый ил, обволакивающий ноги, качающиеся в воздухе плоские берега с белыми хуторами и огромное, первозданное косматое солнце? Не сон эта песчаная коса, заваленная черепами дельфинов и гниющими на сухих водорослях скатами? Эта свирепая зуботычина мальчишке-рыбаку, болтавшемуся у берега в крошечном одновесельном тузике, этот звериный прыжок в тузик, эта борьба с зыбью пролива и все время толкущийся в мозгу расчет: «До поселка час ходьбы, час туда, час обратно, успею переплыть, пока мальчишка добежит», и опять: «до поселка час ходьбы...»? Не сон эта дневка в степи у нездорового кратера сопки, откуда вытащил ногу как резиновым чулком обтянутую сиреневой грязью, эта целая вода, скопившаяся в выбоине камня, вкус сырой рыбы

во рту и громадные жирные пауки на чертополохе? И вот — последняя дневка, в пещере, в древней турецкой каменоломне, в трех верстах от родного города... Тихо-тихо. Изредка щелкает капля о камень. Шмель залетел, гудит. Что-то щечечет руку. Смотрю: мокрица, скаталась в шарик, — чего боится, глупая?.. В трех верстах от родного города. Там — друзья. Там меня знает каждый, моя фигура не привлечет ничего внимания. Там сумею достать документы, денег. А может быть, там конец: арест, побои, может быть, рудники, может быть, петля. Но все равно. Идти больше некуда.

Открываю глаза. Облако, полдня висевшее против жерла пещеры, золотится, розовеет, вишневеет. День приходит к концу. Пора.

Я со стоном сползаю с каменного ложа и раскрываю лежавший под головой прогретый вещевого мешок. Там у меня новешенький «городской» костюм, пара белья, башмаки — моя единственная зацепка, единственная надежда на спасение. Как мучил меня всю дорогу этот тяжелый, этот драгоценный мешок.

Я сбрасываю с себя свое рубище, надеваю великолепно охлаждающее полотно, натягиваю носки и мучительно начинаю вдевать распухшие саднящие ноги в тугую кожу башмаков. И вдруг застываю.

Я вижу: у внутреннего прохода каменоломни, ведущего в лабиринт десятиверстных выемок, стоит, прижавшись к выступу камня, человек. Даже сквозь сумрак пещеры я различаю, как у него бледнеет лицо и черней выступает борода. И добрых три минуты мы стоим и смотрим в упор друг на друга.

Человек отделяется от выступа и делает шаг ко мне. Хриплый его голос дрожит:

— Гуляете?

Он много выше меня. Он, конечно, сильнее меня. А у меня нет даже палки. Камень взять?

— Нет, переодеваюсь, — глупо отвечаю я.

— Из наших, что ли?

Странный вопрос. Кто это — наши? Всмотриваюсь. Оборван. Щеки втянуты. Он не из белых, во всяком случае. И я объясняю, что бежал из города Додонска, где был на советской службе и где теперь орудуют шкуринцы. А он кто?

И слышу в ответ фантастику. Было восстание. Неудачное. Повстанцы, выбитые из города, отошли в степь и втянулись в каменоломни, где и засели. Уже три недели сидят. Свыше трехсот человек. Немало женщин. Некоторые с детьми. Много раненых.

— Как же вы кормитесь?

— Рабочие с завода доставляют, жены приносят кому. С собой белый обоз увели. Но мало. Голодаем.

— А взять вас не пробовали?

— Как возьмешь? Тут один человек роту задержит. Выемки-то немереные. Измором хотят. У нас бежит кой-кто. Ночью продерется по балкам и дует. Да только все равно смерть. Куда без документов попрешь?

И пещерный житель придвигается ко мне и шепчет:

— Товарищ, будь человеком, подари документ. Ты и без него выкрутишься: руки белые, интеллигент. А мне про-падать.

Он мог бы придушить меня и взять, что надо. А он плачет. Но у меня ни одной бумажки: ни паспорта, ни метрики, ни редакционной карточки, ни даже советского удостоверения. И он верит мне. Он соглашается ждать. Я обещаю ему, что добуду в городе документы, человек на пять. Я не знаю, смогу ли. Но говорю уверенно. Он верит. Он будет меня ждать здесь же через три дня. И на прощанье спрашивает с тоской:

— А верно, что белые уже Харьков взяли?

Да, белые взяли Харьков. Белые подходят к Курску... Я никогда не забуду, как тоскливо поворачивались его черные глаза и кривился по-детски рот, когда у выхода я еще раз к нему обернулся.

Я иду. Я иду на авось: у застав патрули, проскользнуть почти невозможно. Конечно, я приготовил уже правдоподобную историю, объясняющую отсутствие документов и появление бог весть откуда. Но, быть может, история только мне кажется правдоподобной? Иду.

— Стой. Кто идет?

Отвечаю:

— Здешний.

Офицерский патруль. И — взглядевшись в меня, улыбается мне мой одноклассник, капитан Медведев.

— Здорово! Откуда ты взялся?

Я приехал вчера из Харькова. Сегодня пошел пошляться по старым местам, где мы лет пятнадцать назад с Медведевым ежей ловили.

— Ты, брат, поосторожнее с прогулками. В каменоломнях бандиты. Убьют в два счета. Злы. Мы их тут так чесанули!

И капитан Медведев рассказывает мне, как они чесанули бандитов. Голос его становится металлическим, правая рука елозит по кобуре с наганом. А в гимназии его за добродушие и мягкотелость называли пұпа-меринóса...

Я тороплюсь к ужину: отец Алексей, у которого я остановился, не любит опозданий. Мы прощаемся. И я искренно говорю:

— Рад я тебя видеть, пупа-мериноса.

Капитан Медведев смеется и хлопает меня ладонью ниже спины. Я воспринимаю этот жест как посвящение в рыцари: мне дарована свобода, я — гражданин. Углубляюсь в знакомую улицу, обсаженную акациями. Как я все-таки нервен: все тело стало мокрым.

Улица вытягивается и ломается, впадает в другую, от улицы бегут переулки и выводят меня на Старый базар. Все — как десять, как пятьдесят лет назад: греческие кофейни топорчатся круглыми столиками у входов; в больших досчатых балаганах болтаются желтые фонари, освещая бритолобые арбузы, наваленные ядерными пирамидами; татарчонок бросает пригоршни песка на широчайшую верблюжью мотню анатолийских штанов отца, наклонившегося к овощам. И как чудесно, как колониально пахнет рогожей, смолой и парусиной из запирающейся сейчас на ночь лавчонки, где продается всякая рыбацья снасть. Пятнадцать лет назад здесь я покупал барбилу, вырезая из нее модели шхун и бригов. Но хозяин уже не тот... Переулочек бежит влево. В окнах дома Андреади те же, что двадцать лет назад, единственные в городе волнистые стекла. А была война и революция. Слетели короны. Немцы протоптали литыми сапогами по этим мостовым. Умерли мои учителя. Я написал несколько книг. У меня седина. А стекла все те же. Ни одна революционная пуля не угодила в них. Старик Андреади, вероятно, умер...

Но скорей, скорей. У меня еще нет пристанища. Я еще не знаю, спасен я или нет. Некогда цепляться за вечно милые малости старого.

Вот Соборная площадь. Вот солидный драповый дом соборного протоиерея, отца Алексея, которого мы называли кардиналом Босфорским. Его сын — мой лучший друг. Когда застрелился Борис... впрочем, об этом после.

Ставни гостинной закрыты, но щели в них залиты жидким золотом. Кто-нибудь дома.

Всхожу на крыльцо и звоню. И, как пятнадцать лет назад, меня обволакивает робость: строг кардинал Босфорский, суров, вечно неодобрителен. Глупо! Ведь я писатель! Дверь открывается, пожилая женщина в белом платочке зорко всматривается в меня: чужой.

— Отец Алексей дома?

— Дома.

— А... — Голос у меня срывается. — Александр Алексеевич?

— Дома.

Ну, вывезло! Шурка, мой Шурка здесь!

— Попросите его, пожалуйста.

Дверь щелкает у меня под носом. Теперь порядки не те: незнакомого следует держать до времени на крыльце. Шаги. Дверь открывается. Шурка. На нем английский френч и черные марковские погоны.

У меня хрустят кости. У него, должно быть, тоже.

— Скотина! Я ведь думал, что ты подох!

Кто это сказал? Не знаю, должно быть, оба.

— Шурка, поведи меня куда-нибудь, дай пожрать, умыться и побриться. Потом расскажу.

Мы проходим темным кабинетом кардинала, где за фарфоровым экранчиком с головой херувима мерцает лампадка, минуем темную зимнюю столовую, выходим на стеклянную веранду. И вот — счастье: передо мной холодная телячья ножка, салат из баклажан, пушистый пшеничный хлеб. Шурка извлекает из-за сундука наполовину полную бутылку. Три звездочки. Виноградное золото ударяет в голову. И все в мире, все в мире становится золотым и чудесным.

Шурка таинственно шепчет:

— Старик припрятал, а я подглядел.

Из гостиной слышатся голоса. Шурка понимает мое непрожеванное мычание и жест указательного перста.

— Макашка. С обеда режемся.

— И... И отец Алексей?

— Ого, еще как! Он, отец Евграф, Васька Цезарев, полковник Голенищев и Федька.

— Федька? Минаев? Тащи его сюда.

Шурка морщится:

— Потом: пьян как дым. Орать будет.

Федька Минаев — наш с Шуркой друг. Чудесный парень.

Я сыт, я пьян. Я иду в Шуркину спальню, гляжу на старую этажерку с томами «Природа и люди», латинскими грамматиками, на старую двустволку, висящую в углу. Сколько лет я не ходил на охоту. Усаживаюсь перед зеркалом, намыливаю лицо и соскребаю с него восьмидневную щетину. И рассказываю. Я, стилист, какие нелепые я строю периоды, как перескакиваю от одной темы к другой, как старательно пересыпаю речь руганью, крепкой, как будто она настояна на боцмане: ах, как хорошо снова почувствовать себя простым, молодым, гимназистом!..

— Нет, не коммунист. То есть не в партии. Но по убежде-

ниями почти коммунист. Это — единственное, что сейчас возможно. Ах, что чека! Одна из форм войны. И врешь, всегда было. В семьдесят первом году как поработал Галифе! Ленин — это голова. Гений! Он знает. В него надо верить. Вся наша беда в том, что мы давно разучились в кого-нибудь верить. В кого-нибудь и во что-нибудь. Ну и работал. Заведовал в Додонске отделом искусств. Как хорошо шла работа! Понимаешь, люди впервые слышали об искусстве. И с каким вниманием, с каким жаром хватали новое. А ты почему офицер? Мобилизовали? А почему в гвардейском полку, марковец? Ладно, после расскажешь.

Я хочу спать. Но Шурка тащит меня в гостиную:

— Сыграешь с нами, на, возьми денег.

Он сует мне в руку несколько странных бумажек с крошечной картой Крыма.

— Наши, с позволения сказать, кредитки.

Входим. Матушки, что я вижу! Отец Алексей, кардинал Босфорский, без рясы, в штанах, заложенных в саногги, в расстегнутой сорочке, потрясая седыми волосами, держит банк. Отец Евграф, тоже растерзанный, крепко прижимает локтем к столу пачку бумажек: предосторожность понятная — рядом сидит Васька Цезарев, темная личность, которого отец Алексей прежде и на порог не пустил бы. По другую сторону, обнявшись, сидят полковник Голенищев, с лицом, похожим на плавательный пузырь, и Федька Минаев. В момент нашего появления отец Алексей прикупает к двум фигурам десятку и Васька Цезарев пудовой пятерней заграбастывает банк. Отец Евграф завистливо крикает, а Федька хлопает кардинала Босфорского по плечу и говорит:

— Что, Алеша, прос...?

И ввертывает желудочное словечко, знаменующее в данном обороте проигрыш.

И отец Алексей, из уст которого в прежние годы исходили только благочинные, веские словеса, покорно повторяет желудочное словцо. И, спохватившись, прикрывает седые усы ладонью.

Д-да! Метаморфоза...

Отец Алексей целует меня и дает мне благословение, отец Евграф тоже, полковник Голенищев, привстав, протягивает мне цейхгаузную ладонь, но в этот миг Федька отталкивает его и в свою очередь благословляет меня по всем правилам. Отец Алексей сердится и бормочет:

— Напился, как свинья.

А Федька его поправляет:

— И врешь, в писании сказано: яко свиния. Благочинный, а текстов не знаешь.

Через минуту я уже ставлю, открываю, прикупаю, учитываю шансы и — выигрываю, выигрываю. Перед глазами туман. Сквозь него улыбается мне Шуркина рожа, вытягивается и вот-вот лопнет пузырная физиономия полковника. Мне везет, как незаконнорожденному. Еще несколько туров, кардинал накапливает здоровый банк, я бью по банку, кардинал торжественно открывает восьмерку, я открываю девятку. Кардинал поминает почему-то чертову задницу, мнет карты и говорит:

— Ну, на сегодня будет.

А Федька ласково спрашивает:

— Что, Алеша, прос...?

У меня тысяча шестьсот рублей: целый месяц жизни.

Кардинал выгоняет Ваську Цезарева:

— Ну, уходи, уходи. Посидел в приличном обществе, поиграл и уходи. Дома поужинаешь.

Васька Цезарев удаляется, провожаемый отцом Алексеем, и из передней доносится его обиженный голос:

— Вы, отец Алексей, не выражайтесь.

Отец Евграф, видя, что настоятель сильно не в духе, свертывается и удаляется тоже. Возвратившийся отец Алексей, величественно не замечая меня, Шурку и Федьку, говорит:

— Можно, полковник, предложить вам рюмочку коньяку?

Полковник вожделенно следует за ним в столовую. Через минуту отец Алексей вылетает оттуда с пустой бутылкой в руках и вопиет:

— Шурка, это ты выпил коньяк?

— А разве у нас был коньяк? — удивляется Шурка. — Я и не знал. Если б я знал, я б его выпил, слов нет, но я не знал. Это, должно быть, Васька Цезарев нанюхал.

И отец Алексей верит и скрывается, поминая на этот раз чертову прорву.

Спать, спать! Федька, убирайся к черту! Завтра! Мне послана походная постель. Я забираюсь в полотняную нору и великолепно лечу в нежную пропасть, где еще миг мне мерещится «правильный» документ и тысяча шестьсот рублей — целый месяц жизни.

Просыпаюсь я от револьверных выстрелов. Что такое? Слышу, как Шурка вскакивает с кровати и мчится куда-то, приголубливая Ваську Цезарева и его мать. Доносится шум, грохот, крик, кого-то волокут, кого-то спускают с лестницы, хлопает дверь, и все стихает. Возвращается тяжело дышащий Шурка.

— Что случилось?

Шурка опять приголубливает Ваську Цезарева и его мать.

— Понимаешь, старик выгнал Ваську, — при тебе было, — тот ушел, напился, обиделся и пришел старика бить. С кочергой пришел. Старик отнял кочергу, побил его и выставил. Он воротился с револьвером, прошел через кухню и опять ввалился к старику. Тот убежал, заперся у себя в спальне, и оба стали друг в друга стрелять через дверь. Если б я не подошел, могло бы выйти худо. У старика револьверишко дрянной, — помнишь его Лефеше? — а у Васьки наган. Теперь он мне достанется: отнял.

Шурка помолчал и добавил сердито в пространство:

— Черт знает что! Ведь ты ж благочинный!

Я спросил:

— Шурка, что все это значит? Откуда такое безобразие?

И сквозь подступивший сон донесся его ответ:

— Что значит? Революция, брат, все с якорей сорвалось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Федька Минаев, оказывается, служит на брандвахте матросом. Черт знает что! Золотая медаль и три курса политехникума. Хорошо, однако, у белых пользуются людьми. Для нас, впрочем, такое положение вещей выгодно. Для нас... Для кого? Я разве коммунист? Ведь такой тоской обдал меня развал старого уютного быта, спокойного, как аквариум. Как хотелось бы мне воротить двенадцатый-тринадцатый годы, с «Огоньком», «Синим журналом», с первыми стихами Ахматовой, со спорами об Игоре Северяnine, с тихим и пристойным домом отца Алексея, с моей бабушкой, которой я говорил, прочитав Шопенгауэра:

— Бабушка, ты — мое представление.

Двенадцатый-тринадцатый годы с их увлечением спортом, с английской студенческой трезвостью моих товарищей, легко одолевающих зачеты в политехникумах и технологических, курящих кэпстен и обнимающих на лыжных прогулках курсисток, затянутых в пушистые латы свитеров. Не будь войны, они теперь строили бы порты, электростанции, аэропланы, у каждого в крахмальной столовой густел бы в граненых стаканах чай, сливочно морщилось бы густейшее молоко в прямолинейных белых кувшинах, шел бы разговор о Капабланке, — и хорошо умытая жизнь деловито румянилась бы и мускулилась. Ведь культура — понятие эстетическое. Грация государственного аппарата, изящество морали и гибкость знающего гимнастику тела — необходимые признаки культуры.

...Монгольский карий, хитро прищуренный глаз смотрит в меня, и хрипловатый голос ядовито вставляет:

— Буржуазной культуры. Опирающейся на угнетение масс.

Да, да, да, Владимир Ильич. Вы правы. Буржуазной культуры. И я не с нею. Я ушел. Я с вами. Мы пройдем сквозь аптекарские пайки, сквозь потоп анкет и мандатов, сквозь морозный мрак в квартирах, и наши дети увидят иную культуру, пронизанную электричеством, заостренную в кристаллический план, свободную насквозь и — данную всем. Старое — сгибло. Быть с белыми — значит: упираться локтем в пачку бумажек, стрелять сквозь дверь в Ваську Цезарева и... и ничего. Культура слезла со свиной кожи старого, и навести ее вновь — невозможно: культура, как и девственность, не восстанавливается.

И, если белые победят, — я в это не верю, не верю, — будет абсолютный тупик, потому что эта победа бесцельна. Вот самое ужасное слово, какое только есть в словаре. Бесцельна...

Шурка возвращается, вымытый и затянутый в щегольский френч.

— Вставай, идол, чай трескать.

Встаю.

— Шурка, почему ты не на фронте?

— Будет с меня. Повоевал. Проку никакого. Бесцельная война. У каждого полка — горб: штабы. Пьянство, сестроложство, спекуляция. Союзники водят за нос. В частях — ни белья, ни одежды, ни лекарств. Деникин дурак. Его министры — губернские чиновники из Новочеркаска.

— А почему боевое офицерство не расправится со штабами?

— Расправишься! Превосходство сил: в штабах народу побольше, чем в частях, и парни упитаннее.

— А почему ты думаешь, что Деникин дурак?

— Ёлька говорил: он у Деникина шофером.

Час от часу не легче. Эстет Ёлька, прекрасный шахматист, блестящий технолог, — шофер. А это интересно! Он может порассказать. Напишу ему.

— Но ведь вы сейчас побеждаете.

— Дутое, — сердится Шурка, — прем вперед, не организовав тыл, не создав базы. Тело на Кубани, а голова за Курском. Гусиная шея. И перервут ее к осени, помяни мое слово.

— Слушай, — недоумеваю я, — так какого ж ты дьявола здесь, а не там? Не с красными?

И Шурка рассказывает.

Не может он с красными. Противно ему. Эта театральщина

демонстраций, эта крикливость лозунгов. И ведь ничего не выйдет. Россия — страна крестьянская, а не пролетарская. В лучшем случае построятся тупая мужицкая торгашеская республика, как во Франции. А ему хочется заниматься химией, читать книги по оккультизму и шляться в Старый Карантин купаться. И чтобы ни один черт его не трогал.

— Шурка, но ведь это ужас. Если даже ты и сумеешь шляться в Карантин и водород добывать, то ведь из этого жизни не построишь.

— Ее проклятую вообще не построишь. Надо уткнуться головой в песок и постараться отбарабанить положенные тебе сорок-пятьдесят лет поприятнее. Все мы — обреченные.

Страшноватая философия. А ведь Шурка умен, здоров, чистен. Что же творится в мозгах прочих?

Шурка рассказывает. Он дрался на Кубани. В армию попал по мобилизации. Марковцем стал по протекции кузена. При первой возможности ушел в тыл. Дрался еще на Акманайском фронте. Тут дрался по-настоящему: в опасности был родной город. А нашему городу — две с половиной тысячи лет. О нем говорится у Страбона и Плиния. В нем таинственным образом сохранился античный дух, диктовавший херсонеситам их чудесную гражданскую присягу, ощущавший свой город как государство, как целый мир, как polis. И это ощущение подвигло многих моих товарищей идти отстаивать родную степь. Это ощущение бросило и Шурку на фронт, под пулеметы. Это — узко, но это узко по-античному, и я это понимаю. Но висеть подобно магометову гробу в прокуренной гостинной кардинала Босфорского, над картами, без малейшей надежды на победу, на то, что жизнь хоть как-нибудь наладится, — ведь это полная катастрофа.

И когда я говорю об этом Шурке, он мучительно морщится и отделяется фразой из похабного армянского анекдота:

— Нэ раздражай.

Не буду... Но я, понемножку, тебя выправлю, ты еще встряхнешься...

Отец Алексей ушел служить обедню. Он слывет в городе духовным витией, он будет говорить длинную проповедь, потом, вероятно, пойдут молебны. У нас, по крайней мере, три часа безопасности.

И мы с Шуркой пробираемся в кабинет кардинала. Ух, как тут солидно. Епископская грамота на стене в рамке, чудесная божница, обвешанная кипарисными, коралловыми, перламутровыми, аметистовыми четками, порхает перед огоньком лампадки на фарфоровом экране херувим. Письменный стол

с папками «дел», со счетами красного дерева, с линейками, с жалованным письменным прибором. Книжный шкаф. Отцы церкви, богословы, проповедники, Кант, Спенсер, Маркс, «Обличение социализма»... Солидно жил и работал кардинал.

Шурка достает из кармана многопредметный нож, всовывает крючок для застегивания обуви в замочную скважину огромного дубового шкафа, что-то щелкает, и дверца распаивается.

Полки, те же «дела», громадные шнуровые книги. На нижней полке свернутая в трубку пачка плотных листов. Шурка выволакивает эту трубку, отделяет один лист. Я сладостно гляжу: целый десяток бланков «метрических выписей». Шурка запирает шкаф и повторяет махинацию с обувным крючком у письменного стола. Из ящика извлекается жестяная коробочка из-под печенья, в коробочке лежит церковная печать.

Стук-стук, стук-стук — все десять бланков «скреплены приложением печати». Остается изготовить «подпис».

Кабинет кардинала в нерушимом порядке и молчании неодобрительно провожает нас. Мы усаживаемся в Шуркиной комнате и каллиграфически выводим на двух бланках имена моих родителей, восприемников, давно умершего священника, никогда не крестившего меня, и все, что требуется от метрики. На одном бланке проставлен мой настоящий возраст, на другом я старюсь на целых пять лет — па случай мобилизации. Третий бланк выписывается на чужое имя: может пригодиться, если меня начнут разыскивать из Додонска и придется драпать. Мы по десять раз сгибаем и разгибаем бланки, пачкаем пальцами внешние рубашки их, придавая облик бывалых и лежалых бумаг. Потом Шурка достает из своего химического шкапчика какую-то дрянь и чуть-чуть касается бумаги. Он уверяет, что после этого бумага обретет затхлый запах, что очень важно для документа. По-моему, бумага начала пахнуть куриным потрохом, — но это неважно.

Шурка собирается сжечь остальные бланки. Я его останавливаю.

— Спрячь, пригодятся.

— Зачем? Если старик найдет их у меня, будет скандал.

— Припрячь получше. Потом скажу, в чем дело.

Шурка заинтригован. Но я молчу. Я еще не отваживаюсь рассказать ему о моей подземной встрече. Кто знает, как он отнесется к моему знакомству с каменоломщиками? Черт побери, впервые в жизни я не вполне искренен с Шуркой. Проклятая баламута: она даже в дружбу вливает свою муть!

И я начинаю издалека.

— Расскажи мне про здешнее восстание.

Шурка рассказывает.

В городе, еще при вступлении немцев, осталось много красногвардейцев, не успевших перебраться на Кавказ. Голодали, прятались. Тогда и было положено начало каменоломенному сиденью. Потом пришли добровольцы. Каменоломенный кадр возрос: бежали многие рабочие с металлургического завода, почти все обитатели Нахаловки, — замечательного внегосударственного поселения у брошенных известковых печей, — изгнанные из своих досчатых хибарок шомполами добровольческой «стражи». А когда красные вели наступление на Акманай, каменоломенщики решили поддержать его с тылу. Добыли откуда-то два пулемета, винтовок и захватили было некоторые здания в городе. Перепуг у добровольцев был дьявольский. Но неожиданно прибыл из Новороссийска какой-то конный полк и подавил восстание. Силы были неравны. Что делалось. Расстреливали пачками. Поручик Мертвецов нескольких человек повесил за ноги. И к шеям казненных привязал собак. Разбитые опять ушли в каменоломни. Все.

Шурка говорит спокойно, голос его не становится металлическим, как у капитана Медведева, он не употребляет казарменно-победных словечек. Значит, можно.

Говорю:

— А я был в каменоломнях и видел людей.

Шурка мгновенно оживляется, глаза у него сияют, как бывало за чтением Стивенсона:

— Врешь! А ну расскажи.

И он прерывает мой рассказ возгласами:

— Вот здорово!

— Ах, интересно!

— Вот зачем тебе остальные бланки. Идет!

И совсем по-детски просит меня взять его с собою послезавтра.

Я отговариваю. Это опасно. Каменоломенщики могут оставить его заложником.

— И чудесно. По крайней мере настоящее приключение.

— Идиот!

И затем, если все и обойдется благополучно там, то как-нибудь может пронюхать начальство и потребовать предательства.

Шурка на добрых полминуты превращается в заправского биндюжника, наделяя матушку своего начальства икотой Моисея и сучьим чепчиком.

Я убежден. Мы отправляемся вместе.

В соседней комнате важные шаги. Это вернулся отец Алексей.

Входит служанка.

— Пожалуйте завтракать.

Мы жалуем. За столом, кроме отца Алексея, сидит старый глухой гимназический священник, отец Стратон, который, бывало, на исповеди спрашивал у нас, читали ли мы противоправительственные книги, и на утвердительный ответ вопрошал:

— Сознаешь чадо, что все это нелепо?

И мы дразнили старика, отвечая:

— А по-моему — лепо.

При виде такого неразумия он сокрушенно качал головой и говорил:

— Помолимся вместе, чадо, да просветит тебя Господь.

Отец Алексей несколько женирован. С одной стороны я — писатель, с другой — он меня приготовишкой знал. И он невятно величает меня по имени и отчеству. Я прошу его воротиться к старой титулатуре и доброму местоимению «ты», и он, помявшись, облегченно возвращается на десять лет назад.

Чудесная кефаль по-гречески освежает ему пересохшее от церковных возгласов горло. И он запеваёт:

— Что делают с церковью большевики!

Он, бесспорно, красноречив. Ему дана не логика, не риторический блеск, не страстность — ему дана интонация, обволакивающая и внушающая. Если бы он в свое время постригся в монахи — быть бы ему митрополитом. Он говорит:

— И вот затянули образ Спаса на Кремлевских воротах красною тряпкой. И вдруг тряпка истлела и осыпалась пеплом. И образ воссиял.

Ведь вздор. Я слышал об этой истории: от дождя и ветра кумачовое полотнище обмякло и обвисло. Но я — я почти готов верить. Дьявольский дар интонации...

Отец Алексей входит в азарт. Он пускается в философию истории, в историю церкви, говорит о Троице-Сергиевской Лавре, о Ермогене, о Филарете и спрашивает меня:

— Вот ты писатель. Ну скажи: может ли государство существовать без религии?

Эта фраза пробивается сквозь глухоту отца Стратона, сквозь его занятость пирожками с гречневой кашей, и он переспрашивает:

— Что?

— Я говорю, — кричит ему в ухо отец Алексей, — может ли государство существовать без религии?

И отец Стратон задумывается и произносит убежденным седым голосом:

— М-может!

Отец Алексей раскорячивает глаза, созерцает его и потом безнадежно машет рукой. Мы с Шуркой неприлично и жирно ржем. Филиппика кардинала сникла на дряблых слуховых перепонках отца Стратона.

Завтрак спешно заканчивается, и мы с Шуркой отправляемся к Федыке.

Он живет в сломе переулочка возле адмиралтейства, в полуподвальном этаже. У него очаровательные низкие прохладные комнатки, едва вместившие мебель пятикомнатной квартиры его покойных родителей. Окна, выходящие на улицу, забраны решеткой. Сквозь нее голубыми квадратиками мерцает море, видны рыбацьи лодки, стремительно раскачивающиеся на якорях. Пахнет свежестью, водорослями, слегка рыбой. Хорошо.

У нас есть время осмотреться: Федыка еще дрыхнет, одетый, на непостланной постели. Как вошел вчера, так и плюхнулся, даже входную дверь не замкнул.

— Часто это он так?

— Каждый день пьян, — отвечает Шурка, — на брандвахту почти не ездит.

— Как же это ему сходит?

— А что ж. Команда даже рада. Ведь они зарабатывают там на брандвахте. Чем меньше народу, тем больше доли.

— Как зарабатывают?

— Хабары берут с турок. Да, если хочешь, поедem сегодня с Федыкой: он собирался на судно.

Я смотрю на спящего Федыку. Совсем седая голова. Горбоносое крепкое лицо как-то оплыло, пожелтело, под глазами мешки... Фу, черт, рассматриваю его, как покойника.

— Сильно, однако, подъела его жизнь, — говорю я.

— Выхода нет, просвета. Мобилизовали парня. Третий год крутится. Что знал — перезабыл. Если красные победят — жизнь испорчена. А он убежден, что победят красные.

Федыка продирает глаза, смотрит на нас и говорит:

— Шурка, сбегай за вином. Кошелек за зеркалом.

Шурка становится в позу:

— Презренный нижний чин. Как ты дерзаешь посылать за вином кадрового офицера, перед которым ты даже сесть не смеешь?

Федыка хладнокровно обкладывает кадрового офицера. И, обложив, добавляет:

— Ну, сбегай: башка трещит. А я пока умоюсь и самовар вздую.

— Не успеешь.

— Успею, я теперь додумался — вставляю его горлом в водосточную трубу: аж гудит, в пять минут закипает.

И мне:

— Рад я тебя видеть и стыжусь: ты чистенький и линию свою угадал, а я...

Он выходит. Мы с Шуркой понимающе глядим друг на друга... Ведь «наша компания» была самой способной и крепкой среди сверстников, самой «развитой», и Федька был далеко не из последних. А теперь ему точно гипсовый корсет на душу надели.

Мы идем за вином.

Старенький грек радостно приветствует меня из-за прилавка и, сюсюкая, рассказывает, как было плохо до немцев, при большевиках:

— Последний булочка взяли, дали пощечину и плюнули. Ай-ай! А потом что было! В нашей улице война было. И теперь страшно. В каменоломнях сидят. Баскеты. Я говорил коменданту: каменоломни — гнездо для мирных жителей. Он говорит: дурак. И почему я дурак?

Возвратившись, слышим Федькин голос, прерываемый чьим-то хриплым и тягучим говором. Так. Старый знакомый: под окном стоит ветхий нищий, знаменитый в городе тем, что некогда «игумена спалил». Был он в доисторические времена монахом в местном монастыре; гульнули монахи с игуменом, опочили на сеновале, и кто-то из них огня заронил в сено. Игумен обгорел и помер. Монахов извергли из обители, и наш знакомый стал рыцарем Христова имени и сорок лет преемственно был терзаем всеми поколениями мальчишек нашего города, постоянно напоминавших ему, что он игумена спалил. Он стоит под окном и, пряча в суму краюху хлеба, пожертвованную Федькой, жалуется на тягость жизни, на дороговизну. Федька поддакивает, соглашается, соболезнает. Нищий входит в азарт:

— Нечто это по-божески? Можно сказать, на пенсии был в хороших домах. А наемни прихожу к жинке Ковромордато, а она: «Пошел, пошел, — говорит. — Самим мало». Только вот у вас, панич, и разжился хлебушка, дай вам Бог здоровьюшка, а родителям вашим...

— Все это так, дедушка, — елеиным голосом прерывает Федька. — Все это так, все это хорошо, а вот зачем ты, дедушка, игумена спалил?

Нищий давится собственным языком, пучит глаза и —

тррах, тррах палкой по решетке! Федькино коварство кажется ему низким, гнусным. Он выхватывает из сумы жалованную краюху и швыряет ее в окно. Краюха, ударяясь о решетку, упруго отскакивает. Старик подхватывает ее и швыряет снова, с тем же результатом. Бомбардировка длится минуты три, в течение которых Федька лежит поперек кресла и уже не хохочет, а жалобно повизгивает. Мы — честно признаюсь — вторим ему. Когда удается отдышаться и вытереть слезы, нищего уже нет, но в воздухе еще висит удаляющаяся ругань.

— В третий раз, — Федька опять начинает повизгивать, — в третий раз одно и то же. Сначала палкой колотит, а потом хлебом швыряется. Я вчера в пекарне нарочно поядренее горбушку выбрал, чтоб лучше прыгала. Дня через два опять придет.

Мне и смешно, и противно.

— Федька, ведь это свинство: так издеваться над человеком.

Федька становится мрачен.

— Над нами, брат, тоже издевается жизнь, и никому не смешно. А так я, по крайней мере, поржу... Да и какой он человек? Так: желудок на ногах.

...Этот желудок на ногах спустя несколько дней трагически доказал, что у него есть свое достоинство...

Мы выпиваем вина, и я начинаю рассказывать о пережитом. Потом Федька, потом Шурка. Вспоминаем молодость, гимназические годы. Хорошо и грустно проходит час и другой. Вино выпито, Шурка и Федька отправляются за второй порцией. Я думаю. Мы порядочно пили студентами. Но тут же отряхивались, как пес после купанья, и знали, что настоящее — не в этом. А теперь ясно, что для них, для моих товарищей, ничего другого нет. Странное ощущение: стол, накрытый испятнанной скатертью, становится каким-то островом, вокруг которого на миллионы верст — океан. Все тут, и отсюда — никуда. Брр...

— Федор Васильевич дома?

Входит вихлявый юноша, лет тридцати пяти, ноги затянуты в дамские лайковые сапожки с сотней пуговиц, галифе неприличных размеров, френч, обтянув талию, пучится на широком тазе. Пустые никелированные глаза.

— Сейчас придет, — отвечаю я суховаго.

Я привык, что входящий в комнату сначала здороваается.

— Если не ошибаюсь, наш известный критик, господин такой-то?

— Да, я такой-то.

— Прразрешите представиться: поэт-люминист Юрий Курицын.

Честное слово, его буква в букву предугадал Чехов, записав у себя фразу: «Моя фамилия не Курицын, а Курицын», — он ударяет на второй слог.

Но почему он «люминист»?

— Автор сборника лирики «Откликизм».

— Как? — переспрашиваю я.

— «Откликизм». Человек есть точка пересечения всех мировых кликов и откликов. Мироощущение, построенное на этом, есть откликизм.

— Понимаю.

Лирические дегенераты Москвы и Петербурга, кажется, размножаются почкованием.

Люминист садится, извлекает чудеснейшую старинную табакерочку, раскрывает, достает щепоть белого порошка и отправляет в ноздрю.

— Угодно? Настоящий, Мерковский.

— Спасибо, нет: не нюхаю.

Он приходит в изумление. Он разворачивает длинную апологию наркотикам. Он цитирует Квинси по-английски, Бодлера и Фаррера по-французски. Он ссылается на Роберта.

Меня это начинает интересовать. Роберта мало кто знает. Произношение у люминиста превосходное. Черт возьми, он хорошо знает медицинскую казуистику наркотизма. Откуда?

— Вы, по-видимому, специально изучали вопрос?

— Ведь я профессор.

Я настораживаюсь. Странно. Ни один профессор, представляясь, не умолчит о своем звании. А этот начал с идиотского «Откликизма».

— Какого университета, позвольте спросить?

— Южно-Русской Академии Разврата. Я читаю нормальный курс наркомании и нормальный курс сухого разврата.

Что, он хочет меня эпатировать или принимает за дурака?

Спрашиваю:

— Кафедра по разврату языка, вероятно, тоже за вами?

— О, это входит в мой второй курс. Знаете, трибадия...

Он просто глуп: не понять такой простой шпоры.

— И что же, у вас есть слушатели?

— Слушательницы, мой друг, слушательницы.

Мой друг? А ну-ка полегче.

Говорю:

— Как жаль, что за научными занятиями вы позабыли некоторые правила общежития: например, недопустимость фамильярных обращений.

Я вдруг весь отражаюсь в никелированных глазах. Несомненно, он зол и мстителен.

— Думаю,— цедит он,— что фамильярным обращением я только делаю честь...

Ничего себе, тон.

— А каким местом вы думаете? — ласково спрашиваю я.— Голова едва ли годится для таких мыслей.

В меня летит пепельница. Проклятый кокаинист!

Через секунду он уже лежит ничком и царапает полированными ногтями ковер. Я сижу у него на спине и вывертываю ему подбородок. Я ему сейчас оторву голову. Входят Федька и Шурка.

— Вот тебе и на,— спокойно формулирует Федька.— Марий на развалинах Карфагена. Бросьте, ребята.

Мы сидим в креслах. Курицын разглаживает помятую шею. Я щелчками выколачиваю пепел из лацкана, куда угодила пепельница. Мы обмениваемся извинениями. Вино разлито в стопки. Как будто ничего не было. Но, вглядываясь в Курицына, я твердо убеждаюсь, что наш с ним разговор не пройдет мне даром.

Курицын разливается:

— Федор Васильевич, прошу вас, займите в Академии кафедру брани. Это будет прекрасно. Ведь вы моряк. А то, знаете, когда заставляешь девочек произносить... м-м... слова,— они почти ничего не могут сказать. У них все так примитивно. И потом я для вас выдумал титул: его бескальсоние. Знаете,— поворачивается он ко мне,— у нас каждый профессор носит особый титул; я, например, называюсь: его конвульсионство, мой коллега, профессор Агамалов,— его храпоидольство. Он ведет семинарий по лапанью.

Черт знает что. Откуда этот букет эротоманов?

Федька, наглядно показав, что он достоин занять кафедру брани, категорически от этой чести отказывается. Курицын повествует, что какой-то его приятель заболел некоей болезнью и она мучительно осложнилась:

— Трехфунтовый шанглот.

Шурка спрашивает.

— А от какого слова «шанглот»?

— Вероятно, испорченное французское sanglot*,— поясню я.

Курицын приходит в восторг:

— Бедняга Верлен!

И на мой вопросительный взгляд напевает ответно:

* рыдание (фр.).

И, не прощаясь, удаляется.

Хам!

— Федька, откуда ты выкопал эту сволочь? — недоумеваю я. — И что это за Академия?

Дело простое. Курицын — москвич. Человек с большой эрудицией, с хорошей памятью, с полным отсутствием стыда, с редкими мужскими качествами: сложен как Пранцини. Шурка его называет «бином». Денег у него откуда-то много. Свел знакомство с кружком институток, ополоумевших от скуки и дортуарных шептаний. Проповедует «освобождение плоти» и прочее, давно устаревшее в Москве. В общем — сволочь.

— Зачем ты его пускаешь к себе?

— Занятный субъект. И потом, я когда-нибудь буду его с удовольствием бить. Вот и приваживаю.

— У Федьки вообще инкубатор для всякой сволочи. И каждого он в конце концов уповает бить. Должно быть, вздуют они его раньше, — задумчиво изъясняет Шурка.

— У меня руки чешутся. Вам, офицерью, хорошо: взял казачков и велел выдрать, кого хочешь, а я должен благоприятные поводы создавать.

— Зачем тебе бить?

— Противно. Такие гнусные рожи расплодились.

...Вот вторая социальная болезнь белого тыла: неврастения.

Шурка как будто читает мои мысли:

— Это хуже, чем неврастения: это мания преследования — других.

Федька допивает вино, достает веревочную кошелку и меняет разговор:

— Вот что, ребята: еду на брандвахту. Сидите тут, жрите изюм — в шкафу, — вот шахматы. Уйдете — ключ оставьте под камнем. Девочек не приводите: вши от них.

Но Шурка не хочет оставаться, не хочет изюму: надо мне показать брандвахту. Федька сначала корежится, потом уступает.

Портовой шлюпки у пристани нет. Федька нанимает байду. Старик владелец, видя марковские погоны Шурки, не решается запрашивать:

— Что пожалуете.

Шурка, понимая, свирепо говорит:

* «Долгие рыдания скрипок...» (фр.) — строки из стихотворения П. Верлена «Осенняя песня».

— Двадцать пять довольно?

Это вдвое больше, чем платят обычно.

Старик жмется: не вышло бы чего.

— Сколько пожалуете.

Мы садимся в байду. Шурка ругается. Запугали народ. Порядочному человеку за себя стыдно. Федька дает старику пятнадцать рублей. Шурка прибавляет десятку. Я тоже. Старик, получив тройную плату, решает, что мы отменные господа, и говорит:

— Если когда байдочка понадобится, меня всегда тут найдете: я — любовник.

Мы жуем губами.

— Ч-чей любовник? — растерянно спрашивает Шурка. Федька вдруг вспоминает и ржет:

— Он бычков на удочку с байдарки ловит. Таких называют любовниками. А ты думал — настоящий? Он не годится.

Старик послушно смеется и соглашается с печальной своей участью: негодностью в настоящие. Зато вот мы, должно быть...

Безмачтовый корпус старого корвета, болтающийся на мертвом якорю, уже близок. Поджарая погибь кормы, палубы и носа — изумительно стройна и закончена. Но чувствуется, что над кузовом должны взвиваться три нервные мачты и струнно вытягиваться такелаж. А так — борзая с отрубленными ногами.

Мы карабкаемся по веревочному трапу. Федька подходит к вахтенному начальнику, валяющемуся в тени рубки, и говорит:

— Честь имею явиться.

Я ожидаю, что вахтенный начальник сейчас начнет разносить Федьку за прогул, за опоздание, но Федька вдруг начинает носком башмака колупать бок начальника и приговаривать:

— Вставай, вставай, сволочь: с писателем тебя познакомлю, ты писателей не видал, писарей только знаешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Уже третью ночь я почти не сплю. Завтра надо будет купить вероналу. Не могу спать. Так вот и вижу его лицо.

Ведь это душевная слабость. Дряблость. Я кичился перед самим собою своим душевным здоровьем, уравновешенностью, ясностью идеологии. Я противопоставлял себя зашедшим в тупик товарищам. А вот Шурка прост, ясен, как будто ничего не случилось. Для него это было простым и необходимым жестом. Правда, возможно, что мастика и бес-

сонная ночь сделали свое, но я убежден, что и без них было бы то же самое.

Мы честно проболтались весь день на брандвахте. Купались, спали, опять купались. Ели чудесный матросский борщ и плацнды. Но ничего интересного не было. Я пытался наводить вахтенного начальника, пожилого флотского кондуктора, на политику, — не выходило. Часов около пяти показалась хорошо шедшая под косым парусом турецкая фелюга. Превосходные суда. В их конструкции сохранилось нечто от античной сдержанности форм. На таких судах банда Язона плыла за золотым руном... Когда фелюга сблизилась с брандвахтой, вахтенный начальник выкрикнул в рупор приказ пристать к борту. Турки не слышали или не поняли. Тогда матрос взял винтовку и выпустил в воздух всю обойму. Турки спустили парус и взялись за весла. Размахисто прыгая, фелюга привалила к борту брандвахты. Турки, великолепные полированные зноем парни, оглушительно орали что-то — песню, что ли, вроде нашей дубинушки. Их капитан поднялся на брандвахту. Показал какие-то турецкие документы, какую-то бумажку от русского консула в Трапезунде, датированную тринадцатым годом, и объяснил, что они везут изюм и орехи.

— А вино везешь? — спросил грозно вахтенный начальник.

Вина они не везут.

— Коньяк? Мастику?

Ни коньяка, ни мастики, одни орехи и изюм.

— У вас, верно, больные есть, — заявил начальник, — вас надо сначала на две недели в карантин. А то занесете холеру.

— Больной? — запротестовал турок. — Кто больной? Нет больной.

— А ну, покажи язык, — приказал вахтенный начальник.

Турок старательно и доверчиво вывалил язык.

— Вот ты и есть больной, — заключил начальник. — Ребята, погляди.

Четверо матросов, в том числе и Федька, продефилировали перед языком турка.

— Конечно, больной.

— Ясно: холера.

— Болен, слов нет.

— Не могу пропустить, — решил вахтенный начальник. — Весь город заразишь. В карантин.

— Господин начальник, — побледнел турок. — Я не боль-

ной. Не надо карантин. Две недели стоять — голодные будем. Дома жинка. Голодная будет.

— Коньяк везешь?

— Коньяк нет. Мастики одна бутылка есть.

— Ну вот, тащи сюда... — он пересчитал глазами брандвахтенное население, — семь бутылок мастики, я тебе за это лекарство дам, примешь, и в карантин не надо идти.

— Только три бутылка есть.

— За мое лекарство это мало. В карантин.

Турок наклонился через борт и что-то крикнул своим. На фелюге разворошили какие-то тряпки и подали на брандвахту семь черных бутылок. Матросы стали разглядывать водку на свет, пощелкивать по бутылкам, кто-то побежал за кружками, кок спешно начал готовить салат из помидор и соленой камсы. Покинутый турок покорно стоял у борта. Только через пять минут начальник обратил на него внимание:

— А ты чего тут стоишь? Пошел к себе. Вали в порт. Не будет карантина.

Турок спустился в фелюгу и через минуту оттуда подали корзинку молодых орехов.

— Спасибо, начальник, это тебе благодарность.

За что благодарность? Неужели за то, что, сверх грабежа, не заставили проглотить какую-нибудь дрянью в виде лекарства? Или за умеренность?

Фелюга отвалила.

И вот трое матросов, флотский кондуктор, политехник Федька, поручик гвардейского Марковского полка и неизвестный писатель сели вокруг низенького — в пол-аршина — столика пить добытую грабежом мастику. Вахтенный начальник был очень любезным хозяином: и на мою долю вытребовал бутылку. Уклониться — значило отплатить ему грубостью. И мы пили.

Бутылка мастики на человека — это очень много. Приборное, проваренное на сахаре белое питье крепче самого свирепого рома. Мастика наваливается сразу и дает жестокое опьянение. Она берет человека за шиворот, за руки, за ноги и раздергивает его по суставам — как можно раздернуть жука, полуоторвав ему голову, лапки, брюшко. Пьяный мастикой может прыгать на одной ножке, но идти прямо не в силах. Может брать одной пятерней сложнейшие аккорды на гитаре, но не в состоянии хлопать в ладоши. Каждый орган становится самостоятельным, а сотрудничество их невозможно. При этом — полная ясность мысли и ощущение жестокого напряжения, разлитого во всей вселенной. Если бы я был пьяницей, я напивался бы только мастикой. Ей одной

удается слияние сладкого покоя с ощущением силы — двух стихий, живущих в алкоголе.

Мы пили. Потом мы пели. Пели «Звон кандалный», потом какую-то песню о моряке-неудачнике:

Классы я кончил, штурманом звался,
Плывать матросом пошел...

Потом, сильно захмелев, матросы из озорства, из пьяного задора, затянули Интернационал. Мы все подпевали. Странно было: пустынный рейд, сладкий с бледными еще звездами вечер, плеск волн, запах смолы и морской свежести, сознание, что находишься на сторожевых аванпостах Доброволии, — и хрипкое напряжение революционного гимна...

Потом все залегли спать.

Я проснулся на раннем рассвете. У меня что-то кололо в ушах. Как только прояснело сознание, я понял, что слышу далекий невыносимый по отчаянию и муке мужской вопль. Чужалось, что голос кувыркается в невероятно расширенной гортани. Я вскочил. В полуверсте от брандвахты шел большой пассажирский пароход. Черная его масса опоясывалась двойным желтым пунктиром иллюминаторов, красный фонарь на боку мигал и переливался. Я точно сфотографировал его. Крик шел оттуда. Что там происходит?

Я кинулся к Федьке, к Шурке, растолкал их.

— Послушайте. Что это?

Федька сложил ладони рупором и заорал:

— Эй, пароход, в чем дело?

Ответом был тот же крик.

Вдруг лопнул характерный выстрел нагана, и крик смолк.

Шурка туго сказал:

— Сначала шомпола, а потом на мушку.

Я сел на какой-то канат: противная прохладная волна поднялась от ног к сердцу и потом отдалась в пальцы рук теплом. Я понимаю шомпола. Я понимаю на мушку. Шомполами пытаются или наказывают. Берут на мушку — казнят. Но то и другое вместе? Зачем?

Шурка сказал мне тяжелую вещь:

— Подействовало? Крик услышал? Вот так мы всегда: если бы от боли не кричали, никто не жалел бы.

Он прав. Мы равнодушны к ужасам войны, избиений, расстрелов, погромов — от недостатка воображения. Надо ткнуть носом, чтобы мы содрогнулись... Но каковы же те, кто сами исторгают такой вопль?

Утром мы воротились с Шуркой на берег и дома наткнулись опять на картеж. Я, как выигравший в прошлый раз,

не смею отказаться от участия. И впервые в жизни чувствую, что мне жаль денег, что макао — идиотская игра, что позорно мыслящему человеку ставить свое благополучие в зависимость от случайного сочетания раскрашенных и липких лоскутков бумаги. И вдруг, резко поняв, каким образом этика прорастает из экономики, успокаиваюсь — и начинаю, решив, однако, играть расчетливо и прижимисто: месяц жизни не шутка. Игра идет на редкость неровно. Час за часом счастье перепрыгивает в облик бумажек из-под одного локтя под другой. Такая игра всегда раздражает картежников. Прекратиться такая игра не может. Мы выходим на несколько минут в столовую, глотаем стоя суп и котлеты и возвращаемся. Лица у всех осунувшиеся, скучные. Воротившись к столу после двухминутной пробежки в сад — облить голову из-под крана, — я убеждаюсь, что в комнате удушливейший воздух, но не говорю ни слова: некогда. Вот из моих денег осталась половина, вот четверть, вот опятьросло, — и так далее, час за часом, до вечера, до трех стаканов крепчайшего кофе, до четырех часов утра, когда, наконец, почти все деньги переходят ко мне и отец Алексей вновь ругается и прекращает игру. У меня свыше шести тысяч — около двухсот настоящих рублей. Мы с Шуркой пытаемся заснуть, — увы: нервы, взвинченные бестолковой пульсацией картежа, не хотят успокоиться, и мы, протомившись в жарких постелях до полудня, встаем как изнасилованные и вяло плетемся в купальню. Но и морская вода, прогретая и пахнущая медузами, не освежает. Мы не знаем, чем заполнить время до вечера, когда надо идти в каменоломни. Мы шлеемся по городу, бреемся в крошечной циркульне на базаре, и нам по-старинному обмывают лица, подставив под подбородок тазик с полукруглой выемкой для шеи — точь-в-точь такой, какой Дон-Кихот употреблял взамен шлема. Мы торчим в бильярдной, где знаменитый Моня Осетин показывает невероятные удары, заставляя шар катиться чуть ли не линией вопросительного знака, где не менее знаменитый Афошка Тедеско, ублюдочный отпрыск старой итальянской семьи, засеявший некогда в своем имени поле макаронами, играет сам с собой американку и бешено ругается с претендентами на занятый им бильярд:

— Я заплатил, подите в к...

— Ты лучше доктору заплати, малахольный, чтоб он тебе мозги продул.

Хозяин бильярдной просит Афошку пожалеть публику и освободить бильярд, который есть «общественный игра». Но Афошка извлекает туго набитый бумажник и предлагает

немедленно продать ему всю бильярдную. Вид пузатого дельцовместилища в руке признанного всем городом дурака раздражает нищих аборигенов бильярдной, ругань идет крещендо, и в конце концов Афошку бьют. Население бильярдной клубком выкатывается на улицу. Вопли, гам, полицейские свистки все удаляются, и в помещении становится тихо и скучно. Мы идем искать другое занятие.

Нас заносит на раскопки.

Какие они серые, шершавые и унылые — эти почти трехтысячелетние руины славного города. Трехсаженные срезы земли, торчащие то красным черепком, то костью, то чернолиловой скорлупкой съедобной мидии, расступаются вдоль узеньких улочек акрополя с постаментами статуй, с вырубленными в скале грушевидными колодцами — хранилищами зерна, вина, масла; там — кирпичный свод хлебной общественной печи подымается над грудой древнего пепла, тщательно прикрытой черепицами, там — свинцовая труба водопровода плющится и убегает в землю, там — чудесный мраморный фриз, перевернутый, прячет в бурьяне коринфские завитки, а в выбоинах его основания зеленеет оставшаяся от последнего дождя вода. Возле — небольшая кучка черепов. Сторож, восьмидесятипятилетний старик, пытается давать нам объяснения, но нещадно врет и путает.

— А, что, дедушка, — перебивает его Шурка, — не страшно вам тут жить, одному, среди черепов?

— А чего бояться? Кость — она кость и есть. Что от человека, что от пса.

— Ну как? А Бога-то разве нет?

— Бога-то? Нет: побаски господские.

Ого. Вот так волтерьянец сыскался на развалинах Пантикапеи.

— А вы откуда сами, дедушка?

Оказывается — еще при Николае Павловиче служил.

— Вот только для него и жалко, что Бога да ада нет: пожариться бы ему. Чистый езуит был.

Спрашиваю:

— А если вот большевики придут, вы рады будете?

— Да мне помирать скоро. А то посмотрел бы, как они у господ анархичничать будут. Стоит.

И старик излагает нам стройную философию гедонизма, утверждая, что у лишенного всяких радостей человека остается все-таки одна: радость мести и разрушения.

— Он, скажем, двадцать лет сад сажил — поливал, окучивал, серой курил, а ты на него работал да портянкой слезы утирал. А вот сад загустел, сливой да грушей обвис, а ты и

обдери все деревья. Вот он и закрутится, зубом заскрипит, а тебе за все двадцать лет смеху станет.

— Жестко вы о жизни думаете, дедушка.

— А я, — скалит он сизые десны, — грубо воспитан, как воспитан, так и думаю. А вот господин профессор Курицын, так тот очень доволен моей мыслью остался.

— А вы знаете Курицына?

— Заходит сюда. Собирается какое-то древнее моление тут устраивать. Так думаю, что с якимцем он человек. Однако профессор.

Так. По-видимому, Академия Разврата собирается приобщиться античной культуре. Это надо будет поразузнать: интересно.

Старик равнодушно прячет в карман бумажку и закрывает за нами калитку.

Мы идем обедать, и нам остается еще два часа июльской скуки глубокого тыла.

Наконец солнце крепко клонится к западу. Мы запасаемся метрическими бланками и направляемся в степь.

Сколько раз мы ходили этим шоссе, этими проселками, этими тропами, мечтая о приключениях. Вот наконец...

Шурка остается в небольшом тенистом ущелье: сразу вести его в каменоломню опасно. Я осматриваюсь: степь пуста; только вдалеке на проселке маячит какая-то фигура. Иду, спускаюсь в балку, следуя ее изгибам и потом взбираюсь. Верно. В пяти шагах, в морщине земли полулежит мой подземный знакомец. Пазуха у него оттопырена: должно быть, «обрез».

— Ну, вот и я.

— Принес?

Удивительно, каким светом может наполниться землистое немывтое лицо при одном только слове.

Я излагаю мою просьбу. Мне хочется посмотреть, как они живут. И потом со мной товарищ. Офицер.

— Нет, нет, не бойтесь, — спешу я разогнать пугливый блеск его глаз и суровую морщину у рта, — он наш, он сочувствует нашему делу.

— А если продаст?

— Да что продаст? Что, разве начальник гарнизона не знает, что вы сидите здесь?

— Это так, да ведь неизвестно, кто сидит.

Но он скоро соглашается со мной: действительно, невозможно запомнить в темноте триста человек, а главное, ни к чему. Но все же он должен спросить товарищей. Я остаюсь

один. Проходит полчаса. Из черного прохода показывается мой знакомый в сопровождении еще четырех. Обыкновенные лица, каких много среди синеглазого населения нашего города, только худы очень да бледны. Меня подвергают допросу: кто я, откуда, чем занимаюсь, зачем приехал. Спрашивают, кто мой офицер. Я называю.

— А, этот. Знаем. Парень ничего. А зачем ему к нам надо?

Всякому интересно: раз в тысячу лет такое бывает. Я — писатель. Тут я беспардонно ссылаюсь на Горького, который описывал и т. д. Имя Горького здесь популярно. То, что я — писатель и «опишу», — подкупает. Но офицеру-то зачем? Для интереса? Забавного тут ничего нет. Но я прошу: мой товарищ. Да и пригодиться может, когда я уеду: может оповестить о чем-нибудь важном. Убедил. Можем войти. Только нам завяжут глаза.

Удивительно, право. Я ожидал взрыва ярости при одном слове «офицер», я ожидал сектантской непримиримости — нет: трезвый и спокойный учет реальных возможностей.

Шурка прямо истаял от нетерпения. Он спешит, спотыкается. Я боюсь, что его волнение может показаться подозрительным. Но нет, ничего.

Марковский офицер и каменоломенные изгои знакомятся, пожимают руки. Шурка благодарят за метрики. Он обещает спереть еще десяток — другой. Ну — идем. Мы завязываем собственными платками себе глаза, и вдруг нам на головы накидывают куртки. Мягкие руки подхватывают нас под локти и, слегка подталкивая, влекут куда-то. Поворот, еще поворот, еще, я уже спутался, перестал ориентироваться. Понимаю: сначала я считал завязывание глаз ненужной комедией, теперь ясно, что мы уже не сможем, если бы хотели, провести добровольческий отряд ночью по лабиринту. Но как неприятно это шествие. Хотя я ни на миг не подозреваю наших спутников в предательстве — невольно на память приходят уэллсовские морлоки, увлекающие своими мягкими ладонями несчастных элоев в свои норы. Мы больно стучаемся о кучи камня, в одном месте нам велят согнуться как можно ниже. Поворот, поворот, поворот, крутой спуск, стоп. Снимают с нас покрышки, мы сдергиваем платки.

Почти полный мрак. Коштит и моргает жалкий светильник, заставляя то сдвигаться, то отступать низкие ступенчатые своды, смутно показывая вороха тряпья, какие-то бидоны, керосинку, несколько винтовок, прислоненных к стене. Воздух sklepa. Несколько человек встают с камней и приближаются к нам. Один что-то выкрикивает в проход, ведущий еще глубже. Оттуда показывается голова, несколько человек

присоединяются к нашей группе. Вот женщина с ребенком на руках. Напряженное молчание.

— Здравствуйте, товарищи, — пытаюсь я его прорвать.

Два-три голоса сумрачно отвечают на приветствие.

А, черт! Мне удалось разговорить гораздо более мрачных людей: солдат, в семнадцатом году собиравшихся выбросить меня из вагона через окно. Правда, может быть, близость гибели вложила мне язык Цицерона. Но попробуем.

И я начинаю ораторствовать. Я говорю банальные фразы, сыплю лозунговыми выпренными оборотами, но тщательно придерживаюсь метода отца Алексея: начинать ударную фразу повышенным, возбужденным голосом, а самый важный ее отрезок произносить в упавшей, бессильной интонации. Эта манера делает речь искренней. Я говорю минут двадцать. О сотрудничестве пролетариата и революционной интеллигенции, о грядущей победе революции, взываю к мужеству и терпению. На любом митинге моя речь имела бы настоящий успех. Но тут — я ощущаю все большее нарастание холода. И когда я перехожу к вопросам, стараясь уяснить себе психологию ушедших в камень, — мне отвечают односложно, невнятно, сухо.

Я потерпел неудачу.

И вдруг Шурка вступает в разговор. Он, повертев в руках одну из винтовок и пощелкав затвором, начинает отчитывать кого-то из рабочих: зачем винтовки не в порядке держат. Он дает указания, как надо разбирать сокровенные части механизма, — сведения, которые в армии сообщались только офицерам, — как надо налаживать работу бойка. Его спрашивают о пулемете — он отвечает, объясняет, завязывается живой разговор. Кончается тем, что ему выволакивают откуда-то пулемет, и Шурка его осматривает, выверяет и снова дает объяснения.

Как странно. Я, неплохой оратор, имеющий уже революционное прошлое, прокламационный и митинговый стаж, совершенно ступался в глазах изгоев перед белогвардейским офицером, который заговорил о деле. Я, конечно, не в убытке. Я вынес очень важное наблюдение: когда людям поднесен к горлу нож — любая искренность, любой пафос, любой огонь не стоят ни гроша. Здесь надо придерживаться занесенную руку. И Шурка, увеличив на несколько долей чувство защищенности, сделал именно это. Правда, мне несколько досадно, — не потому, что я остался позади, но потому, что приравнял атмосферу митинга атмосфере подземного каземата, был настолько глуп.

Мы прощаемся. Шурке крепко жмут руку. Со мной тоже

хороши, но Шурка сразу стал «своим». И как-то само собой нам уже не завязывают глаз на обратный путь.

Ну и дорога. Я никогда не предполагал, что каменоломни так запутаны, так многоэтажны. Это поистине город морлоков. Узнаю, что некоторые коридоры уходят в недра на несколько верст. Куда делся выпиленный отсюда камень? Его хватило бы на десять Римов. Быть может, каменоломни много древнее, чем сама Пантикапея, и у Киммерийских лукоморий когда-то стояли огромные и навсегда неведомые города. Тем более что Атлантида, возможно, находилась не за Геркулесовыми столбами, а за Меотидой... Странно и сладко слышать сквозняк вечности...

Выходим в степь. Уже смерклось, бледно проступают звезды, звенит в вечернем бризе полынь. Хорошо. Мы прощаемся и, поскальзываясь о сухую траву откоса, выбираемся на дорогу.

Идем молча. Вдруг навстречу нам встает фигура. Я слегка шарахаюсь в сторону: не проследили ли нас? Посещение каменоломен — преступление. Но страх немедленно уступает удивлению: перед нами Васька Цезарев.

— Здравствуйте, Александр Алексеевич, — приветствует он Шурку.

— Убирайтесь к черту, — спокойно отвечает Шурка.

— Не выражайтесь, Александр Алексеевич, тем паче что я к вам по делу.

В голосе его что-то скользкое.

— По делу — так пришли бы на дом.

— Да уж все равно-с. Видел, как вы за город вышли, так подумал, что в степи вы подороже будете, тем паче при чрезвычайных обстоятельствах.

Шурка делает отстраняющий жест и трогается вперед.

— Повремените-с, Александр Алексеевич, — скользит голосом Васька, — вы сначала наган возвратите, который у меня взяли. Вещь ценная.

Шурка идет.

— Эй, Александр Алексеевич, как бы не пожалели. Ведь ежели я коменданту шепну — нехорошо будет.

— Для тебя нехорошо, скотина: комендант тебя научит, как с наганом в квартиру вламываться.

— Образованный человек, а не понимаете: не о нагане шепну-с, о прогулочках-с. В каменоломни-с.

Шурка круто оборачивается к нему.

— А, так? Ну ладно, получите.

И расстегивает кобуру.

Васька радостно шагает вперед с протянутой рукой, и

вдруг Шурка делает резкое движение, из револьверного дула выскакивает палочка огня, и окрестные скалы гулко отзываются выстрелу.

Васька Цезарев лежит на траве и тяжело носит животом, как запаленная лошадь. Лоб его вдруг чернеет, чернеет глаз и щека, и по земле ширится черное пятно.

— Шурка!

Шурка медленно прячет наган и ровно говорит:

— Твое добро да тебе же в чело... Знал бы, на кого налезают.

Я нагибаюсь к раненому. Лицо исходит мелкой дрожью, судорожные подъемы и опадания живота становятся все чаще, из пробитого лба слегка вытарчивается комок мозга. Еще секунда, и Васька мертв.

Мы уходим. Мы мерно шагаем по знакомой дороге, огибаем скалы, переходим балку, заброшенное полотно железнодорожной ветки. Все более густой синевой наливается небо, все ярче проступают южные звезды, начинает кричать ночная птица. Все — как десять лет назад. А в версте, в полутора верстах, в двух верстах медленно остывает труп.

...Его лицо все шевелилось мельчайшими морщинками дрожи...

— Шурка, тебе не страшно? Не противно?

Не страшно и не противно. Что он — Раскольников, что ли? По нужде убил, а не от студенческих мечтаний. И толковать не о чем.

И я вижу, что Шурка никак себя не насилует. Он действительно спокоен. И ведь это не душевная грубость, не оmozолелость фронтовика, выдавшего тысячи смертей, а великая трезвость неизбежного.

Мы молча возвращаемся домой, молча ужинаем, молча укладываемся. Шурка засыпает быстро и глубоко, а я до самого рассвета вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю, — и все кажется, что какую-то черточку я не схватил, чего-то не заметил, а в этом — самое главное, самое важное. Если бы заметил *это*, — все было бы хорошо и легко. Настоящий бред.

Наконец мне удастся заснуть. Но и во сне, сквозь какие-то смутности бегств, сусальных звезд, прикрепленных к коленям, шахматных диагоналей, — все время проступает мурашками ощущение:

— Я так бы не мог.

ЗАГРАНИЦА

(Воспоминания Г. В. Алексеева и очерк Б. А. Пильняка)

Публикация Е. И. Горской

Имя Глеба Васильевича Алексеева мало известно в широких читательских кругах. А между тем это был один из популярных писателей 20—30-х годов уходящего века. Произведения его публиковались в лучших советских журналах и альманахах: «Красной нови», «Недрах», «Новом мире», «Московских мастерах», «Октябре», «Прожекторе», издавались на немецком, английском, японском и шведском языках.

Глеб Алексеев печатался в книгоиздательстве «Круг», возглавляемом А. К. Воронским. Среди его друзей — Артем Веселый и Михаил Зощенко, Юрий Олеша и Федор Панферов, Борис Пильняк и Иван Соколов-Микитов, Алексей Толстой и Виктор Шкловский.

В ЦГАЛИ СССР хранится альбом Г. Алексеева с автографами замечательных писателей, тех, кого мы теперь называем классиками советской литературы. Давайте перелистаем страницы этого альбома (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 94).

Вот ироничная запись Исаака Бабеля: «Толкуй мне про жидов... Я жидов получше вашего знаю... Москва. 7/1. 30» (там же, л. 5).

Дальше читаем размышления Михаила Зощенко: «Жизнь не удалась! Вот дожил до 33-х лет. Что самое главное в жизни? Самое главное в жизни, я полагаю, иметь побольше всяких желаний.

В таком случае жизнь мне не удалась — так же, как и тебе, надо думать, дорогой друг Глеб Васильевич. 8 мая 29 г.» (там же, л. 8).

В «разговор» вступает Юрий Олеша: «Дорогой Глеб Алексеев, вот Мих. Мих. Зощенко пишет на предыдущей странице, что «не удалась жизнь». Черт его знает, может, и не удалась. А может, это просто литературщина — говорить о жизни, которая не удалась. Неважно. Будем делать литературу, Глеб Васильевич! Крепко приветствую тебя и жму лапу. Май, 29 г.» (там же, л. 9).

А через несколько страниц — шутливая жалоба Алексея Толстого: «Обедать-то мы пообедали в этом доме и даже очень неплохо и с изрядным шумством, но в карты в этом доме не играйте. Один из несчастных. 20 фев. 1930» (там же, л. 12).

В январе 1934 года в альбоме делает запись Артем Веселый: «Глебу. Да гремит и сверкает перо твое, как меч в руках правоверного всадника!» (там же, л. 67).

Находим здесь обращение и Ив. Соколова-Микитова: «Дорогой Глеб Васильевич! С большим удовольствием вспоминаю встречи наши, «проводы» в Берлине.— Давние дела!.. 4 авг. 1936. Москва» (там же, л. 80).

Хотелось бы обратить внимание читателя на то, что сам факт общения Г. В. Алексеева с этими людьми знаменателен и говорит о многом. Дом его был своего рода литературным салоном.

Глеб Алексеев — человек яркой и драматичной судьбы, завершившейся трагически. Как же складывалась его жизнь?

Родился писатель 6 июня 1892 года, в Москве, в семье народного учителя Василия Дмитриевича Алексеева. Мать, Варвара Архиповна Иванова, была женщиной музыкально одаренной, чуткой души. Именно она поддерживала сына в его робких литературных начинаниях.

Учеба в I московской гимназии, в отроческие годы — знаменитость с большой литературой: Бальзак, Толстой, знаменитый, уже получивший Пушкинскую премию Академии наук, Бунин.

7 июня 1909 года в газете «Копейка» был напечатан его первый рассказ. После окончания гимназии Алексеев уходит вольноопределяющимся в царскую армию, начинаются солдатские будни. Служит в Твери, одновременно (с 1910 г.) сотрудничает в «Тверской газете». Пишет фельетоны, обличая произвол местных властей.

В «Автобиографических заметках» Г. В. Алексеева упоминается «губернатор фон Бюнтинг, публично пригрозивший высечь на Соборной площади за резвость пера» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 61, л. 6). Затем — работа в нижегородской газете «Волгарь». В это время приходит увлечение русским фольклором, античными авторами. В 1912 году Алексеев становится помощником редактора провинциального отдела газеты «Русское слово» (под руководством В. М. Дорошевича), учится в Московском университете (см.: Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков/Под ред. Вл. Лидина. 2-е изд., доп. и испр. М.: Современные проблемы, 1928. С. 15).

1 августа 1914 года Россия оказалась втянутой в водоворот мировой войны. «С газетой было покончено сразу. В 1914 году, 22-х лет отроду, с чемоданом, в который мать уложила две пары белья и свои слезы, а я Пушкина и Бунина, вышел я в войну, в бездомовье, в мир, в кровь — свою и чужую, чтобы вернуться десять лет спустя [...]. За эти десять лет — прожито десять жизней [...].» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 61, л. 7).

В своей «Автобиографии» Глеб Алексеев рассказывает

о том, как, «заглушая криком смертный страх, бежал в атаку на австрийские окопы» (Писатели. С. 15), воевал в Галиции и Румынии, мотался по тылам России, бился на Украине.

Дважды раненный, он возвращается из госпиталя на фронт. Уходит из пехоты в авиационный отряд. Летал на старых «моранах» — аэропланах, поставляемых союзнической Францией. Однажды его самолет рассыпался в воздухе... Лишь чудом можно объяснить невероятное спасение летчика, получившего тяжелейшие травмы черепа.

Вспоминая о военном времени, Глеб Алексеев пишет: «Война [...] в двадцать четыре года осыпала голову сединой, научила мерить пространства самолетом и еще — жадному чтению, но осмыслить океана крови, пошедшего на землю, не смог — даже Пушкин стал лишним грузом в чемодане» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 61, л. 7).

Революция и гражданская война застали Алексеева на Украине. В декабре 1919 года он, заболевший сыпным тифом, вместе с первой женой, Л. И. Кравченко, покидает Россию на английском пароходе, уходившем из Новороссийска, в числе многих эмигрантов, спасавшихся от наступления красных войск. Позднее, в «Автобиографии» Глеб Алексеев так объяснит причины, побудившие его сделать этот шаг: «В 1918 году революция перекачивала через Украину десятки властей одну за другой, и в смене гетманов, атаманов, декретов, денежных знаков и понятий, которые, будучи честными при одной власти, оказывались преступными при другой, я потерял веру, что жизнь когда-нибудь вообще может войти в мирные берега, и не противился бешеной волне беженства, охватившей юг России» (Писатели. С. 16).

Начинаются долгие скитания по дорогам европейского континента. В Афинах он работает гидом в Акрополе. Через некоторое время с греческой шаландой прибывает из Турции его жена.

Вскоре Глеб Алексеев отправился с женой в Венгрию, где попытался организовать рыболовецкую артель. Неудача постигла его в этом предприятии — «дунайская селедка плохо шла в русские сети» (там же, с. 17). Затем он перебирается в Югославию, здесь работает чистильщиком сапог; в городах Хорватии, Сербии, Баната, Боснии и Герцеговины читает лекции о Пушкине. В поисках заработка Алексеев очутился на итальянском пароходе «Бриони», побывал в портах Африки и Малой Азии. Из его «Автобиографии» узнаем, что он едва не погиб в городе Задаре, где его приняли за далматского шпиона, когда он осматривал дворец римского императора Диоклетиана.

В Триесте Алексеев без документов бежит с корабля и... попадает к итальянским фашистам. Лишь благодаря спасительной помощи Т. Г. Галушкиной, русской эмигрантки, бывшей монахини феодосийского монастыря, он переправляется в Далмацию. Арендует там заброшенные виноградники, выращивает дыни, выпекает шведский хлеб. Становится, наконец, довольно состоятельным человеком.

Живя в Югославии, Алексеев слушал лекции в Загребском университете и, вероятно, тогда же начал заниматься переводом. Переводил хорватского поэта Ивана Гундулича (1589—1638), сербских прозаиков Лаза Лазаревича (1851—1890) и Янко Веселиновича (1862—1905), писателей Украины: Михаила Коцюбинского (1864—1913), Ивана Франко (1856—1916), Василия Стефаника (1871—1936) и других. Некоторые из этих переводов были изданы в Германии, куда Алексеев приехал в 1921 году. «В те дни, из удушающего запаха магнолий, маслин и роз, меня тянуло к снегу, на север, в Берлин, куда долетали русские ветры», — так писатель объяснит потом свой уход из недавно созданного благополучия (там же, с. 18).

Сначала он едет в Белград, затем в Вену, где теряется от присутствия в городских кафе многочисленных украинских «правительств».

Из Вены переезжает в Берлин.

В начале 20-х годов в Берлине существовало несколько десятков русских издательств. Глеб Алексеев организует «Книгоиздательство писателей в Берлине», которое одним из первых стало печатать советских авторов: Бориса Пильняка, Константина Федина, Владимира Лидина, Сергея Есенина, Всеволода Иванова и др.

Алексеев знакомится с Максимом Горьким, Иваном Соколовым-Микитовым, Сашей Черным, Андреем Белым, Алексеем Толстым, Аркадием Аверченко, Алексеем Ремизовым. Учится в Берлинском университете, читает Гете, Даля, Афанасьева, обращается к былинам, «Слову о полку Игореве», изучает труды Маркса и Ленина.

В Берлине выходят его первые произведения: «Мертвый бег. Повесть зарубежных лет» (1923), сборник рассказов «Живая тупь» (1922), «Живые встречи» (1923), где даны литературные портреты И. Бунина, А. Белого, С. Есенина и других, сборник «Деревня в русской поэзии» (1922), сказки «Бабы посиделки» (1923).

В архиве Глеба Алексеева есть фотография Аркадия Аверченко с дарственной надписью от 23 октября 1922 года, которая в шуточной форме отражает настроения многих рус-

ских эмигрантов: «От несчастного, сбитого с толку, затерянного в Берлинской пучине, не знающего ихнего языка — чужестранца Аркадия Аверченко — Глебу Алексееву на память об этом тяжелом событии...» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 105). Знакомство с М. Горьким, Б. Пильняком утвердило Алексеева в решении возвратиться на Родину.

С 7 ноября 1923 года Глеб Алексеев — в Москве. Он активно включается в литературную жизнь столицы. Много печатается. Госиздат в этом же году переиздает его книгу «Мертвый бег» — повествование о жизни белой эмиграции в одном из беженских лагерей под Берлином. Писатель рисует горькие будни тех, кто был выброшен революционной бурей на чужой, неуютный берег. С первых же страниц мы погружаемся в страшный быт изломанных судьбой людей, где на всем — печать обреченности. Сострадание вызывают духовно гибнущие герои, один из которых отзывается на смерть ребенка словами, передающими весь трагизм ситуации: «В нашем положении детей заводить — по меньшей мере подло...» (Алексеев Г. В. Мертвый бег. Повесть зарубежных лет. М.; Пг., 1923. С. 64).

Анализ произведений Глеба Алексеева требует отдельной статьи, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой написанного им.

В 1926—1928 годах выходят в свет сборники повестей и рассказов писателя: «Горькое яблоко», «Дунькино счастье», «Свет трех окон» и др. О рассказе «Иные глаза» Горький писал в письме от 12 января 1927 года, присланном Алексееву из Сорренто: «Рассказ написан очень хорошо, убедительно [...]. Можно даже сказать, что Ваш Евсей более человекоподобен, чем, например, «Мужики» Чехова или Подъячева» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 76, л. 1). Горькому импонирует правдивость Алексеева в изображении мужика: «Как всякая правда — художественная правда жестка, она даже более жестка, чем всякая иная. Это так и следует» (там же).

Издаются крупные произведения Алексеева: роман «Тени стоящего впереди» (1928), повесть «Шуба» (1928) (особенно подвергшиеся нападкам рапповской критики), «Жилой дом» (1926) и другие, в которых давались картины разрушения старого быта и становления нового сознания в русских городах и деревнях, раскрывалась психология человека в изменившихся социальных условиях.

Глеб Алексеев работал и в жанре очерка. Он много ездил по стране: побывал в Киргизии, на Алтае, Урале. Нередко сам принимал участие в работе тех, о ком писал. А. М. Горький в статье «О литературе» относит Алексеева к группе

талантливых очеркистов, которые «придают очерку формы «высокого искусства» (Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 256).

В периодике тех лет появлялись и такие отзывы, в которых указывалось, что Алексеев пытается «под флагом очерка проташить свои чуждые и враждебные пролетариату взгляды» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 100, л. 54).

Как результат поездки в Бобрики (ныне город Новомосковск) появляется роман «Роза ветров» (1930—1933) о строительстве коксохимического комбината.

Известны работы Г. В. Алексеева и в драматургическом жанре: пьесы «Макинтош», «Удар в степь», «Утро на Онеге», «Наследство героя» (по роману «Тени стоящего впереди»). По словам писателя, инсценировать этот роман для своего театра ему предложил А. Я. Таиров (см. письмо Г. В. Алексеева А. Д. Попову от 16 марта 1928 г. Ф. 2417, оп. 1, ед. хр. 495).

В 1933 году Алексеев с бригадой писателей по поручению Оргкомитета ССП отправляется на север «для участия в работах по реорганизации лит[ературного] движения, проводить краевой пленум и областной съезд писателей Севера» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 65).

Там вместе с Артемом Веселым и Иваном Молчановым он занимается сбором и изучением фольклора северных народностей: ненцев и коми.

В мае 1934 года Г. В. Алексеев был принят в члены Союза советских писателей.

В своих «Автобиографических заметках» он отмечал: «Написанное мною за эти годы пусть само отвечает о моих поисках, провалах и достижениях. Три материка земного шара, десятилетние скитания и ранние седины выучили меня честному отношению к слову — вот почему никогда ни в каких литературных группах, сообществах и конкубинатах не состоял и впредь состоять не намерен: за написанное мною отвечать (а при наличии группировок придется и впредь только отвечать) предпочитаю один» (там же, ед. хр. 61, л. 10).

С конца 20-х и в 30-е годы его творчество все чаще получает лишь негативную оценку. Строки из его письма Л. М. Кагановичу от 21 апреля 1934 года раскрывают ту обстановку, в которой приходилось работать писателю: «...за все 11 лет работы в Советском Союзе [...] я каждый день думал, что надо сложить перо, иначе его все равно вырвут группировки, любимой и испытанной мишенью которых я за все это время был.

Меня били наотмашь [...], били за то, что я посмел догадаться, и били за то, что догадаться не посмел, меня обвиняли последовательно то в правом, то в левом уклоне [...] за то, что посмел поставить проблему, а разрешить не посмел [...]. «Шубу», о которой покойный Фриче писал, что она сигнализирует* советской общественности тип нэпмана, рапповская критика была за то, что я посмел дать образ нового кулака, и его мысли привязала мне как автору [...]. Я мог бы привести примеры нечестной критики, когда выписки из моего текста коверкались нарочито с тем, чтобы в неточном этом тексте меня обвинить. А когда не за что было бить, мои произведения замалчивались или просто не пропускались, и тогда никак нельзя было отыскать причины, почему они не пропущены. Так не были пропущены мои пьесы: «Шуба», принятая к постановке художественным руководством МХТа, «Наследство героя» в театре Революции» (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 66, л. 1).

Весной 1938 года писатель был арестован по ложному обвинению. Он проходил по одному «делу» с арестованными 28 октября 1937 года Борисом Пильняком и Артемом Веселым. Дата смерти Г. В. Алексеева, указанная в справке о реабилитации от 1956 года — 1943 год, — по-видимому, является фальсифицированной. В издании «Архив А. М. Горького» (Т. 10. Горький и советская печать. Кн. 2. М., 1965. С. 386) годом смерти Алексеева назван 1938.

В 1961 году в издательстве «Советский писатель» были вновь изданы роман Алексеева «Роза ветров» и отдельные рассказы. В 1976 году это издание повторилось.

Без имени Глеба Васильевича Алексеева история советской литературы выглядит неполно, творчество писателя — одна из интересных ее страниц. В книгах Алексеева живо наше прошлое, оно волнует и вызывает неослабный интерес, потому что неразрывна нить, незримо связующая дни ушедшие и настоящие.

Публикация представляет написанные в Берлине воспоминания Глеба Алексеева о встречах с писателями русского зарубежья. Эти воспоминания составляют лишь часть мемуарных записок Г. Алексеева. Здесь же (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60) хранятся воспоминания о В. К. Винниченко, В. И. Немировиче-Данченко, А. М. Дроздове и других, оставшиеся за пределами публикации.

Г. Алексеев писал редактору выходившего в Берлине жур-

* Так в тексте.

нала «Новая русская книга» А. С. Яценко 8 февраля 1921 года: «Позвольте настоящим предложить Вам для напечатания в Вашем уважаемом журнале четыре очерка под общим названием «Живые встречи» (Ив. Бунин, Д. Ратгауз, Б. Лазаревский и Анатолий Каменский). О сущности их позволю себе сказать несколько слов. При написании их мною руководило желание отразить русского писателя в свете революции, дать его духовный облик сейчас на виду у событий в России и дать, наконец, факты, которые не могли не отразиться и отразились на духовном облике того или другого писателя [...]. Вторая группа, работу над которой я теперь заканчиваю, заключает в себе: Ев. Чирикова, Ив. Наживина, Вл. Лодыженского и Г. Вильяма. Затем я предполагаю работать над М. Волошиным, Сергеевым-Ценским, И. Эренбургом и В. Брюсовым и т. д» (Русский Берлин 1921—1923: По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Париж, 1983. С. 96). «Живые встречи» в «Новой русской книге» опубликованы не были. Отдельной книгой «Живые встречи», включавшие портреты А. Ремизова, А. Н. Толстого, И. Бунина, А. Каменского, В. Дорошевича, Б. Лазаревского, И. Наживина, А. Белого и С. Есенина, написанные в Берлине, вышли в начале 1923 года в серии «Книга для всех» берлинского издательства «Мысль». Часть очерков, как видим, так и осталась неизданной и сохранилась в архиве Алексева.

Публикуемые отрывки предварены краткими биографическими сведениями о писателях. Печатается также очерк Б. Пильняка «Заграница», написанный после возвращения писателя из Берлина. Пильняк писал А. С. Яценко в Берлин 25 апреля 1922 года*: «В Коломне же я написал очерко-рассказо-статью «Заграница», пойдет она в № 1 нашего (Зайцев, Новиков, Замятин, Чулков, Пастернак, Серационы, я) ежемесячника «Узел» [...]: в этой рассказо-статье прописано все, что подобает, про всех» (Русский Берлин 1921—1923. С. 192). Однако издание журнала «Узел» (где предполагалось также участие А. А. Ахматовой, А. Белого, М. О. Гершензона, Л. П. Гроссмана, В. Ф. Ходасевича, С. В. Шервинского и др., как было сказано в анонсе «Новой русской книги» — 1922. № 5. С. 48) не было осуществлено. «Заграница» осталась ненапечатанной.

* Письмо Пильняка датировано: «вторник Красной Горки». «Красная горка» — первое воскресенье после Пасхи, которая в 1922 г. приходилась на 16 апреля, следовательно, вторник через неделю после Пасхи — 25 апреля.

При публикации текстов неверные написания географических названий и явные опечатки исправлены без оговорок.

Итак, перед нами портреты Е. Чирикова, С. Черного, И. Соколова-Микитова и Б. Пильняка, какими их видел Г. В. Алексеев, и неопубликованный очерк Пильняка «За-граница».

Евгений Николаевич Чириков (1864—1932) — маститый прозаик и драматург. Пьесы его шли на сценах провинциальных и столичных театров в конце XIX— начале XX века. Особую известность в театральном мире Европы и США получила пьеса «Евреи» (1904) в постановке группы П. Н. Орленева, изобличавшая погромную политику русского царизма. Е. Н. Чириков входил в объединение писателей, группировавшихся вокруг горьковского издательства «Знание», он — неперемный участник сборников «Знания», в которых публиковались произведения Андреева, Бунина, Куприна, Серафимовича, Скитальца. Евгений Чириков — член знаменитого московского литературного кружка «Среда», организованного Н. Д. Телешовым.

Дореволюционное творчество Чирикова развивалось, в основном, в русле демократических тенденций. В 1911—1914 годах он пишет автобиографическую трилогию «Жизнь Тарханова», состоящую из романов: «Юность», «Изгнание», «Возвращение». (В 1925 году, уже будучи в эмиграции, он напишет четвертую часть — «Семья».) В произведении дана широкая картина жизни молодой русской интеллигенции 80-х годов XIX века. Е. Н. Чириков — мастер рассказа. В 1912—1913 годах выходят его сборники рассказов «Цветы воспоминаний» и «Ранние всходы».

Во время первой мировой войны Чириков печатался в газете «Русское слово», куда посылал с фронта свои военные корреспонденции.

Сочувственно отнесшийся к Февральской революции, он не принял Октября. В 1920 году Чириков эмигрировал в Болгарию, затем уехал в Чехословакию. Искренне любя Россию, он все же не мог согласиться с фактом существования другой, новой России. Его рассказы периода эмиграции овеяны грустной дымкой воспоминаний о России ушедшей, милой сердцу писателя уже потому, что с ней связана его юность. В 1932 году в Белграде в 35-й книжке «Русской библиотеки» вышли новеллы Е. Чирикова, объединенные под общим названием «Вечерний звон. Повести о любви» —

прекрасный образец его лирической прозы, сочетающей и трагическое, и сатирическое начала.

Резкое неприятие идей русских марксистов и революционных событий, изменивших облик России, отразилось в таких произведениях, как «Мой роман», «Зверь из бездны», «Отчий дом». В то же время картины нравственного падения представителей белого лагеря, данные в романе «Зверь из бездны», вызвали нападки на писателя со стороны правоэмигрантских кругов.

«Неохота умирать и ложиться в чужую землю...» — читаем в его письме писателю И. Ф. Наживину от 10 марта 1927 года (ф. 1115, оп. 2, ед. хр. 35).

Но вернуться на Родину не пришлось.

Умер Е. Н. Чириков в Праге 18 января 1932 года.

Из воспоминаний Г. В. Алексеева мы узнаем о сотрудничестве Е. Чирикова в Осваге — Осведомительном агентстве, учрежденном в сентябре 1918 года при правительственном аппарате Добровольческой армии, подчиненном Деникину (Осваг находился в Ростове-на-Дону, на Садовой улице. В 1919 году был переименован в Отдел пропаганды Добровольческой армии).

Осваг давал информацию командованию армии о политическом положении, проводил антибольшевистскую агитацию, был связан с контрразведкой.

Алексеев размышляет о причинах, толкнувших Е. Чирикова к сотрудничеству в этом «мрачном учреждении» белой армии. Возникновение «белого движения» Алексеев объясняет как протест против разрушения старой России, которое несла революция большевиков. И потому Чириков-писатель, недавно еще выступавший против «мерзости» и «грязи» русской жизни, — в рядах защитников этого движения. «Белое дело», считает Глеб Алексеев, провалилось потому, что участники его не представляли точно целей своей борьбы, оно было «беспочвенно».

Читая воспоминания, мы видим, как ломалась вера самого Глеба Алексеева в истинность защищаемых ценностей.

Визит Алексеева к Чирикову в Москве можно датировать лишь приблизительно, не позднее августа 1914 года, т. е. до начала первой мировой войны.

В Кривоколенном переулке, что по Арбату от трамвая заворачивает двумя* берез да осин, в домике, пропахшем студенческим жильем, кислой капустой на черных лестницах, копящими под ноги керосиновыми ночниками, над парикмахером — у которого восковую красавицу еще с прошлого года засидели мухи, а по черепу — звезданул бутылкой в Прощеное воскресенье — так и прошлась трещина от глаза к отбитому уху, если поворотить налево, да раза три оскользнуться, да еще ногой угодить в просвирник, остужающийся холодец, — снимал квартиру писатель. От клеенчатой парадной двери, мохнатой от вылезших клоков, как старая собака, скрипевшей на пятьдесят два лада, когда ее открывали, — вели двери прямо в кабинет; в нем у окна, заставленного геранями в желтых обертках, стоял письменный стол, а над ним — портрет Толстого: старик засунул за пояс два пальца и поглядывал хитренько, а еще поодаль — шкаф с клеткой от чижа, подошедшего прошлой зимой, а меж шкапом — диван. Если в него сесть — поддаст звоном непокорных пружин и весь зашевелится, как медведь под шубой, но потом ничего: пружины упрутся в бока, в ноги, в зад — каждая найдет точку приложения, и тогда сидеть на диване, поставленном прочно, на года — как шкаф, как стол, как цветочные горшки, — даже удобно.

В синее от зимних московских сумерек окно видать, как кружатся грачи над пятиглавицей Николы, что на Песках. О стекла легонько прикладываются снежинки и тают — от них на стекле ползут слезы. В кресле острым клинушкой покачивается борода писателя, непокорная прядь волос сползает ему на висок. В соседней комнате шумит самовар и вкусно позванивают стаканы. Он рассказывает о том, что вот у Андреева был гордый ум, и он заперся в нем, как в башне, а простая и понятная жизнь пробегала мимо. В комнату вошел кот и потерял мордой о колени писателя, о бахрому его брюк. Писатель нагнулся и погладил его по спине. Да, это был человек с умом холодным, как сталь, но он умел переносить сердце в мозг и вот, как с башни, бросал оттуда — из своего одиночества молитвы и проклятия. Его голос тоненько дрожал, и дрожал его профиль на сером клочке окна — на сером платке, заброшенном на черную стену. Кот выгнул спину, припал на задние ноги и вдруг — как лопнувшая тетива — бросился в угол. Нам принесли чаю с постным

* Пропуск в тексте.

сахаром и сухариками, на блюдцах было еще малиновое варенье. В отворенную дверь рванулся косой столп света, в нем закружились пылинки, как золотые веснушки, из тьмы выступил угол шкапа, а за ним — обугленная икона. Я пил чай с вареньем и думал, что вот из этой комнаты пошли в жизнь герои «Юности» — они, сидевшие, как я сейчас, на этом кожаном диване, смотревшие из этого крохотного окна, как вьется снег на мостовой, ребята, возвращаясь из школы, бьются в снежки, спешит просвирия — крохотная, метет снег подолом, когда над покоем переулка, прочно настоящим тишиной, единый гулкий расколется звук — у Николы на Песках ко всенощной, — что пошли, вот, они в жизнь с порывами светлыми, с мечтой дерзкой — опрокинуть ее, и от жажды подвига темнели их глаза, и голос молодой правды был звонок — а дойдут ли? И опрокинут ли? Иль, может быть, так же, как их отец сейчас, — когда радугой морщин затвердеют глаза, и белым инеем заплетется голова, и голос охрипнет на пепреложном ветру жизни, — одно воспоминание останется в уделе, когда подойдет чиж в клетке, застучится снег в окна, синие от зимних сумерек московских, а рядом вкусным звоном стаканов напомнит о себе жизнь такая же молодая, ах! такая же — с темными от жажды подвига глазами...

* * *

В Ростове-на Дону все-таки пытались создать нечто вроде белой беллетристики. Но из настоящих писателей там оказался только Чириков. Волошин, Шмелев, Сергеев-Ценский, Вересаев, Елпатьевский — голодали в Крыму. Была ли в этом случайность — в момент, когда гимназисты подошли к Орлу, за их спинами двинулись помещики с ингушами восстанавливать «частную собственность», — белому движению не понадобились ни старики-писатели, ни старики-общественные деятели? Нет, случайности в этом не было.

Старый русский быт лежал развалившийся. Разве литература, общественная мысль последних пятнадцати лет не добивалась упорно того же, что потом в два дня опрокинули большевики? Мерзость, грязь, малокровие русской жизни были показаны во всех классах, во всех проявлениях, во всех губерниях. Протест — стал флагом хорошего тона русской книги. И белое движение — родившееся как протест против этого разрушения — пришли оправдать и обосновать все те же люди, что еще вчера бунтовали против самого факта существования *такой* России. У молодежи, пошедшей впереди, было желание строить, но что? Родину, но какую? Старики,

оказавшиеся сзади, чтобы осмыслить, не знали сами, что нужно осмыслить? Русское вчера? Но они сами его подломили, и большевики только довершили начатую работу. Русское завтра, но какое оно?

Вот оттого-то *сзади* и было все беспочвенно. Кукольные министерства, с министрами из газетных репортеров и молодых доцентов, вчера воспаленных гневом Герцена, сегодня оказались в роли Аксаковых. Савонаролы из духовных академий и отставных семинаристов пробовали отыграться на Боге и антихристе. Писатели из ротных писарей, «Талейраны из города Винница», присяжные поверенные и зубные врачи без практики — все оказались обязанными объявить новую веру. И строить ее приходилось наспех, ибо войска освобождения уже «вышли на широкую московскую дорогу», а знамен-то, знамен и не оказалось.

Вот эту роль идейного знаменосца белых армий и выпало играть самому непонятному, самому темному и мрачному учреждению Добровольческой армии — Освагу. Когда-нибудь историк спокойно разберется и твердым пером опишет, как с головы начала тухнуть рыба. Я — современник, один из тех «детей», что всегда на протяжении русской истории платили своей кровью за ошибки «отцов», но и всегда им верили. Отчего? Ведь я все еще верил, когда в тифу, в сорокаградусном жару, по колено в грязи, уходил пешком из Ростова, когда по дороге меня обогнал поезд-люкс с освещенными вагонами — в нем ехал Осваг к пароходам в Новороссийске; когда стучался в Батайске в этот поезд и профессор, который еще вчера доказывал, что я совершаю подвиг, что имя мое будет записано золотыми буквами в истории освобождения родины, отведя подлые свои глаза, сказал, что нет места мне в вагоне, что сапоги мои и винтовка в грязи и что даже в тифу я должен сражаться. За что? Хотя бы за то, чтобы поезд успел дойти до Новороссийска и ехавшие в нем успели сесть на пароходы, чтобы уехать за границу и объяснить, почему провалилось «белое дело».

Еще и тогда мне казалось странным, непозволительным — отчего писатель Чириков служит в Осваге? Почему он, старенький, прошедший жизнь и мудрый, подчинился какому-то хаму в полковничьих погонах, который на «Ревизор» Гоголя клал резолюцию: «к представлению не допускается как развращающее нравы»? Почему плясал с винтовкой на Садовой, когда в последних своих судорогах белое командование поставило под ружье писателей, художников, врачей и повивальных бабок? Почему из быта родного и понятного ему — тихих московских сумерек, когда фиолетовые жирные тени

неторопливо ложатся по Кривоколенному переулку, что уходит с Арбата двумя шеренгами тополей и осин в хороводе глазастых домиков, низко по-старушечьи осевших в снег, прикрытых теплыми снеговыми шальями, — ушел в бой ба-рабанов, прорвавших пустое нутро, а нас — детей — толкнувших к могилам?

Послух ли он нес? За то, что вывел «юность» на новую дорогу — а какую, не знал сам?

Обманут ли вместе с нами? (Ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60, л. 22—25).

Саша Черный (1880—1932) — поэт необыкновенно яркого юмористического дарования, новатор в области русского сатирического стиха начала XX века.

«Сатиры его дышат пламенным гневом щедринской музыки, великолепным презрением к пошлости и низости, всей остротой и жгучестью меткой насмешки, которая прилипает к человеку, как клеймо», — писал о нем в 1915 году А. И. Куприн (ф. 860, оп. 1, ед. хр. 710, л. 19).

Александр Михайлович Гликберг (таковы настоящие имя и фамилия поэта) был сотрудником многих петербургских журналов, но всероссийская известность к нему пришла в 1908 году, когда он вошел в состав редакции «Сатирикона» — журнала, руководимого Арк. Аверченко. В стихах, составивших сборники «Разные мотивы» (1906), «Сатиры» (1910), «Сатиры и лирика» (1913), Саша Черный, по словам Куприна, восстал против фальши и «тихого оподления» русской жизни. Поэт «попал, так сказать, в самый нерв эпохи, и эпоха закричала о себе его голосом» (Чуковский К. Современники: Портреты и этюды. М., 1962. С. 388).

Революции 1917 года Саша Черный не принял, не сумев постичь смысла свершившегося. В 1920 году он эмигрировал в Литву, затем в Германию. Несколько лет жил в Берлине, переиздал здесь свои старые сборники, много писал для детей, выпустил новую книгу стихов, символически озаглавленную «Жажда» (1923); тоска по России, идеализация прошлого и невозможность возврата к нему — основные мотивы этой книги.

Работал некоторое время в газете «Руль», в литературно-художественных журналах «Сполохи», «Жар-птица» и др.

В 1924 году Саша Черный покидает Берлин, сначала живет в Риме, затем переезжает в Париж. Поэт страстно пропагандирует русскую культуру, русское народное творчество. В 1928 году он выпускает альманах «Русская земля», целью

которого было приобщить русских детей, выросших в эмиграции, к русской литературе, истории России.

Глеб Алексеев в своих воспоминаниях передает слова Саши Черного о необходимости для русских людей, оторванных от родины, слиться с жизнью Запада. Сам поэт этого сделать не смог, чувствуя себя бесконечно одиноким в чужих краях. Не случайны такие строки в его письме к В. И. Немировичу-Данченко, которое он пишет из Парижа 15 января 1925 года: «Личное знакомство с Вами в Берлине было для меня большой радостью в мутном эмигрантском быту» (ф. 355, оп. 2, ед. хр. 292, л. 15).

В конце 20-х годов поэт обращается к прозе, пишет рассказы, различные по своей тематике, особую группу среди которых составляют солдатские сказки, были и небылицы.

5 августа 1932 года Саша Черный, возвращаясь домой, услышал крики. Невдалеке случился пожар. Бросился на помощь, тушил, что-то таскал. А через несколько часов, дома, внезапно скончался после сердечного приступа.

9 августа в парижской газете «Возрождение» А. И. Куприн писал: «...ходят по Парижу русские люди и говорят при встречах: Саша Черный умер — неужели правда? [...] Какое несчастье, какая несправедливость! Зачем так рано? И это говорят все: бывшие политики, бывшие войны, шоферы и рабочие, женщины всех возрастов, девушки, мальчики и девочки — все!

Тихое народное горе. И рыжая девчоночка лет одиннадцати, научившаяся читать по его азбуке с картинками, спросила меня под вечер на улице:

— Скажите, это правду говорят, что моего Саши Черного больше уже нет?

И у нее задрожала нижняя губа.

— Нет, Катя, — решил я ответить. — Умирает только тело человеческое, подобно тому, как умирают листья на дереве. Человеческий же дух не умирает никогда. Поэтому-то и твой Саша Черный жив и переживет всех нас и наших внуков, и правнуков, и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия для бессмертия» (ф. 240, оп. 1, ед. хр. 96).

Г. В. Алексеев рассказывает об одной из своих встреч с Сашей Черным в Берлине. Разговор идет о судьбах русской литературы, а особенно — литературы молодой, нарождающейся в Советской России.

Я очень любил поехать к нему на Wallstrasse, засесть в едва сдерживающее тяжесть человеческого тела коварное кресло и слушать, как он говорит и «затрудняется». У него красивое, спокойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки — во время разговора он любит смахивать со стола пушинки и никогда не смотрит на собеседника: словно говорит для самого себя. Над диваном — полочка с книгами, на стенах — портреты писателей, в ящиках столов — яичница из своих и чужих рукописей. Еще: в окошко стучатся желтые кисти лип, напротив, по дорожкам, прохаживаются парами девицы в белых передничках. Он, впрочем, объясняет, что это — венерическая больница и из ста девиц шестьдесят — безносы.

Говорит он всегда об одном и том же. Будто тема эта — судьбы русской литературы — прожгла его, как раскаленная игла, и не оставила в нем ни одной капли души не кипящей. В своих суждениях он старается быть резок и прям — все приговоры он давно вынес и закрепил, но по уголкам глаз, слегка дрожащим, да по его руке, старательно выковыривающей восковое пятно на столе, я вижу, что уверить он старается скорее себя, чем меня. Для него ясно, что Россия, какой она была, погибла. Быт его сатир отошел и не вернется. В новом поднимающемся быте — что в нем хорошего, и почему старый был хуже? Он даже не хочет видеть этого нового быта. И задача — поставленная жизнью перед ним — разве не ясна?

— Всякий честный человек должен покончить с эмиграцией. Осталось два выхода: пуля в лоб или принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом. Какой еще выход вы можете предложить?

Я говорю об общем фронте. О том, что странны и неистовы судьбы русской литературы, как неистовы судьбы нашей страны. Встает в России фаланга молодых писателей, поднялись новые писатели за границей — слово молодежи резко, реально, закруглено. Оно идет в ногу с возрождением России — крепкой, мужицкой работой, сворачивает прочно, на года. Язык ее — чист, поле ее — быт, взор ее — прост и достижения — понятны. Кубизм, футуризм, имажинизм, доведенный до математической формулы 100% образа, отчеканивший русскую форму до виртуозности, — сегодня русской литературы, но это сегодня склоняется к вечеру. Молодая

поросль, что зацветет завтра, через голову своих отцов тянет руку к дедам, учится у Гоголя, Толстого и Достоевского, воспитывается на Бунине, Ремизове, Белом, взалкавшая сочной правды земли и ее крепкого слова. Я говорю ему о долге каждого старого писателя — он отец не только своих книг, но и идущих литературных поколений. Путь молодежи темен и тяжек, как плуг, взрывающий целину, — нельзя оставить их брести на ощупь. Путь старого, выбившегося из стаи мастера — путь вожака; какой вожак оставит стаю ночью в глухом, клокочущем от ветра поле?

Кто виноват в том, что писателей судьба развела на два стана? Тем легче — они на родной земле, и корни их творчества купаются в родных реках. Прикушенный язык заживет и еще скажет свое слово. Нам, выкинутым за границу, тяжелее — наш язык онемел, и все дальше и дальше с каждым днем мы уходим от родины, все туманнее образы, унесенные с собой, — жизнь и время стирают их и скоро совсем сотрут. Духовная смерть — страшнее физической. Молодые русские писатели, вставшие за границей, — одной ногой у гроба, ибо высохло воспоминание, забыт горбатый косогор родного поля и шум родного леса рассеян шумом чужих. Что ж делать им, если чужого поля полюбить нет сил?

Я рассказываю ему, что вот, может быть, потому и образовалось в Берлине содружество молодых писателей «Веретено». Как в университетах были землячества иногородних студентов. Новый город шумел и пугал, открывались другие дороги к жизни — и, робкие, приезжавшие из Тул, Орлов и Ташкентов, они шли вместе: десять плеч, одно к другому, крепче самых выносливых двух.

Внимательно прослушав, он подымал глаза и «затруднялся». В содружество русских писателей он не верил. Оно его пугало — как жупел коллективного творчества — какая в нем радость? Надо идти в одиночку, если в Россию — с открытым лицом, а не через задние двери, если здесь — о национальности надо забыть: помимо русского в каждом еще живет человек. Путь писателя — глухая, одинокая тропа, и как можно помочь и кого можно по ней вести?

Сняв пушинку с пиджака, он бережно кладет ее в пепельницу.

Вечер. Сипит проклятый газ — мертвенно-синий и жуткий. По углам возятся вспугнутые мохнатые тени. О стекла плещется ветер желтым цветением лип. Я сбоку гляжу на его лицо, наклонившееся к столу, и думаю, что он не прав и не меня, а себя убеждает. Боже мой, как тяжела доля писателя, не испившего чаши там и в неистовые годы России не средь

костров ее пылающих, а по чужому лесу идущего одинокой, глухой — и нужной ли? — тропой (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60, л. 19—21).

Глеб Алексеев прекрасно владел искусством стилизации. На страницах, посвященных Ивану Соколову-Микитову, Алексеев обращается к форме сказа. Колорит и интонации избранной манеры повествования служат созданию образа одного из истинно русских писателей.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов прожил жизнь долгую, вместившую в себя целую историческую эпоху. В письме к А. Т. Твардовскому он признавался: «А жизнью-то у меня, в сущности, было две: первая, нелегкая, еще до 1922 года, когда я как бы снова родился» (Север. 1978. № 5. С. 113). Остановимся на событиях этой, «первой», жизни.

Глеб Алексеев упоминает о следующих вехах биографии писателя: афонский послушник, моторист на «Илье Муромце-5», председатель комитета эскадры, член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; говорит о пребывании писателя в матросской армии Дыбенко, называет имена Махно, Деникина, Слащева, Врангеля, Кемалья; упоминает Крым, Ростов, Одессу, Зонгулдак, Лондон и, наконец, «берлинские горизонты». Все это требует пояснения.

Алексеев опирался не только на рассказы самого Соколова-Микитова, но и на автобиографию писателя, которую тот дал для «Новой русской книги» в начале 1922 года. На это указывают цитаты, правда, не вполне точные, которые Алексеев вкрапляет в свой текст.

Итак, представим хронику жизни И. С. Соколова-Микитова до августа 1922 года.

И. С. Соколов-Микитов родился 17 (29) мая 1892 года под Калугой в урочище Осеки в семье управляющего лесными угодьями. Детство прошло на Смоленщине. Учился в Смоленском Александровском реальном училище. Среди его учителей — знаменитый впоследствии летчик-испытатель Г. В. Алехнович. Увлекается воздухоплаванием, самостоятельно строит планер, на котором и совершает свой первый полет в окрестностях родного села Кислово.

В 18 лет едет в Петербург, там поступает на Сельскохозяйственные курсы. Осенью 1911 года пишет сказку «Соль земли» — это его первый литературный опыт, сразу получивший одобрение А. М. Ремизова.

В Петербурге знакомится с Александром Грином, Куприным, Пришвиным, Шишковым.

В феврале-марте 1913 года Соколов-Микитов работает в

Ревеле (ныне Таллинн) в газете «Ревельский листок» в качестве секретаря, печатает фельетоны, заметки, стихи и рассказы. В конце марта оформляется матросом на корабль «Могучий».

Первое морское плавание оставило огромное впечатление, и, вернувшись в Петербург, он в начале мая поступает на торговое судно «Меркурий» учеником. Так началось трудное и счастливое время морского скитальчества.

В марте 1914 года устраивается в Одессе на торгово-пассажирский пароход «Королева Ольга». Избороздил Балтийское, Средиземное, Черное моря. Где только не был! Когда пришли к Халкидонскому полуострову (Греция) на Старый Афон, решил (не имея ни гроша в кармане) покинуть корабль. «Исходил мраморную Святую Гору, был послушником...» (И. Соколов-Микитов. Автобиография//Смирнов В. Иван Соколов-Микитов. М., 1983. С. 14).

Начавшаяся война заставила его возвратиться на «Королеву Ольгу». Соколов-Микитов прибывает в Одессу. Решив отправиться на фронт, заканчивает в Петрограде курсы братьев милосердия. В апреле 1915 года уходит в действующую армию, служит в санитарно-транспортном отряде. Через год в Петрограде проходит курсы авиамотористов при эскадре воздушных кораблей. Зачисляется мотористом на бомбардировщик «Илья Муромец-5», командиром которого был Г. В. Алехнович. В это же время печатает в петроградских газетах и журналах рассказы и очерки, в которых изобличает бессмысленность и жестокость войны. В эскадре его застаёт Февральская революция. Соколова-Микитова избирают председателем комитета эскадры, делегируют в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. В Петрограде, в июле 1917 года, он переводится во 2-й Балтийский флотский экипаж матросом; в это же время постоянно встречается с Ремизовым и Пришвиным. В феврале 1918 года в связи с всеобщей демобилизацией уходит из экипажа и уезжает на родину, где учителствует до мая 1919 года.

В начале мая Соколов-Микитов отправляется с приятелем, уполномоченным представителем продовольственной делегации Западного и Северного фронтов Григорием Ивановым на юг, по маршруту Смоленск — Киев — Симферополь.

В Крыму Соколов-Микитов со своим другом побывали в районах, занятых матросами Крымской армии П. Е. Дыбенко, а потом, под Мелитополем, «чудом вырвались из лап захвативших город махновцев» (Соколов-Микитов И. С. Собр. соч.: В 4 т. М., 1965. Т. 4. С. 429). 31 августа в Киеве они были

арестованы контрразведкой деникинского генерала Бредова. «Пришлось из Киева бежать. Бежал к морю, а попал в Ростов и Крым» (И. Соколов-Микитов. Автобиография//Смирнов В. Иван Соколов-Микитов. М., 1983. С. 15). В Севастополе служит в архиве Черноморского флота. «В Крыму претерпел сидение деникинское, слащевское и врангелевское» (там же). В ноябре устраивается матросом на торговую шхуну «Дых-тау». В мае 1920 года отправляется на шхуне в Константинополь. «Ходил к Кемаль-паше в Зонгулдак с углем и живыми баранами, в Евпаторию и Смирну с ячменем» (там же. С. 15—16). В июне в Константинополе поступает рулевым на океанский пароход «Омск», который в конце года прибывает в Гуль (Англия).

В мае 1921 года перебирается в Германию, останавливается в Берлине. Печатает рассказы, очерки, статьи в журналах «Жар-птица», «Современные записки», альманахе «Грани», газетах «Голос России», «Руль», «Накануне». В Берлине и Париже выходят его сборник сказок «Кузовок», книга «Об Афоне, о море, о Фурсике и о прочем», включившая произведения разных жанров, и др. Соколов-Микитов начинает работать над книгой, которая потом будет названа «Чижикова лавра», — повестью о судьбах русских эмигрантов поневоле, единственное желание которых — вернуться в Россию, домой.

Переписывается с Буниным и Куприным, встречается с А. Толстым, А. Ремизовым, посещает приехавшего М. Горького, знакомится с Б. Пильняком.

Летом 1922 года исполнилось заветное желание писателя — на пароходе «Шлезииен» он отбыл в Петроград.

ИВ. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

У этого человека, обросшего по глаза мохнатой черной щетиной, жилистого и крепкого, как обрубок старого дуба, — еще восемь лет назад, быть может, и в мыслях не было стать русским писателем. А была пахота и жнива — сто десятин своих, кровных; удобный, на года свороченный, дом — жилье, с вениками мяты под потолком; две крепкозадые кобылы — ездил на них в портах парусиновых за водой на реку, в поле, с обернутой зубьями кверху бороной — боронить... Утирал пот рукавом кумачовой рубахи, плевал на косу — ух! как свистела она в руках, желанная, а в полдни, когда солнце подымалось, нестерпимое, бросался на землю, лицом в свежескошенное сено, храпел так, что оголтелые воробьи уноси-

лись пулями, и ветер приподымал, играючи, рубашку над пропотевшими, влипшими в поясицу портами.

А праздник подойдет — празднику свой черед. Был помоложе — дубки с корешком выворачивал — любимое занятие. В рюхи ли — фигура на биту: городки, что твои воробьи, из круга свищут. Девку за мельницей прижмет — мало душу не выдавит. А постарше стал — дело посурьезнее пошло. Раз портачу одному — с красками тоже приехал, картинки малевать — мало ногу не выдернул, насили в больнице отходили: малевать — малой, а с девками чужими не балуй. А вдругорядь тоже вот пошутил — от четверти и наперстка не оставил. Крякнул, порты подтянул да и пошел на сеновал проспаться.

Такие вот на деревне к пятидесяти годам обязательно «головачами» бывают, за все село думают, и за такой спиной жили села крепко, не думая, не печалуясь: не выдаст, нашенский он, смоленский... Ну, только и судьба на таких вот медвежатников ух как падка — что твоя баба! Выдернет от поля, швырнет, как мячик, да и почнет кружить, по свету канителить, а сама поглядывает да посмеивается: выдержит ли?

Выдержит, не бойся! Чать российский...

* * *

От войны и повелось. Стронула она матушку — русскую землю, пошли мужики по заграницам гулять, отечество от врагов внешних берданом защищать — чудес насмотрелись немало, «о всем и сказывать неудобно». А только скитания вышли сверхъестественные. От смоленской супеси да снопа жаркого угодил сначала на святую гору Афонскую — мудрость тишины послушником вкушал и школу скитского послуха сурового принять сподобился, да не выдержал. Прямо с Афона на аэроплан попал — «Илью Муромца Пятого», — на нем и летал, прислушивался, как тросы под облаком свистят, приглядывался, как бомбы, что, за борт держась, правой рукой в неприятельские города сбрасывал, белыми столбами на земле песок роют. Ух ты, мать честная! Высоко занесло.

А подошла революция — «за то, что в собрании обложил крепким словом горлана-дурака, был единогласно избран в председатели комитета эскадры и послан в Петербургский Совет». Но революционной карьеры не сделал: «за все время революции не произнес ни одной речи». А больше приглядывался: в матросской армии товарища Дыбенко, у Махна «с братвой и братишками», у Деникина, у Слащева, у Вран-

геля, у Кемаль-Паши; бежал в Крым, попадал в Ростов, в Одессу, в Зонгулдаке объявлялся, пора подступала домой возвращаться — в Лондоне очутился. Трепало здорово. Волосом оброс, постарел, разговаривать выучился словом крепким, как мухой, а не сдался.

С год назад объявился на берлинских горизонтах — в домах искусств мозоли стильным барышням отдавливает, пиво хлещет что воду, сидит где-то под Берлином в комнате с электричеством и телефоном, на мягкой софе — эрзац-плюш под бархат пущен, — молчит и млеет у окошка. А за окошком под весенней силой земля разваливается, дышит. Самая пора плугом наддать — идти сзади, покачиваться. Тогда из-под ножа пар идет — будто она, кровная, плачет... Черви, как шнуры, красные. Грачи, по весне наглые, под ногами скачут. Так бы вот этот самый эрзац-плюш ножом и полоснул — душу отвести тоже ведь не на чем!

* * *

За границей ему смерть. Будя — насмотрелся. У глаз его черных, беспокойных, как жуки на ладони, — стрельчатая вязь проступила, и кулак, что раньше в темноте слоновой костью отсвечивал, обмяк, камня теперь не раздробит. От своего — оторвался, сдавать начал. А сдавать некуда — рожь в саду за решеткой, да сосны в лесу под номером — дело не подходящее, картошку на газонах не вырастить.

Часто я думаю, почему он не остался «там», если случайность — почему еще здесь. Ведь если для писателя оторванность от родной земли — смерть, ему — первому. Годы за границей для него как писателя — прострел. Ни Гретхен, ни Маргариту он не напишет, и обратно — замуж за него Маргарита не пойдет: задавит, если неловко сожмет, обозлится — кулаком душу вышибет. А вот сидит же и у чужого берега воду пробует — еще холодная. В полках раньше такие солдаты были: облом обломом, два года молодым солдатом смотрит, правой от левой отличить не может, хоть солому и сено привязывай, а видно, что мужик хитрый, на ус многое мотаает. Мозгами, как жерновами, ворочает, а думает. А потом, глядишь, на село вернется и хоть облом по-прежнему, а образованность получил: и хомут справил по-городскому, в воскресенье в галстук выйдет, Маланью по имени и отчеству величает. Крепкие старосты, пронзительные — из таких вот выходили.

И глядя в его лицо, ошетиненное черными пучками под самую бровь, вспоминаю я вот такого молодого солдата второго взвода, что на правом фланге грудь колесом выгибал.

Не сломать его муштрой — это верно. Но домой вернется — свое возьмет. По городам, по облакам, по морям — треплет, а вода потеплеет, с гор ручьи зашумят, время пахать приступит — уйдет. И опять свистнет коса в руках — эх, ласковая, давно на нее не поплывал, спать-ночевать на дерево не вешал! И про заграничное вспоминая, с мужиками по своему, мужичьему — по-хитрому посмеиваясь, не раз прошуткует старую шутку: от четверти — ни наперстка (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60, л. 32—34).

Творчество Бориса Андреевича Пильняка (настоящая фамилия Вогау) еще только начинает получать объективную оценку советских исследователей. Самым талантливым бы тописателем революции называл его А. К. Воронский — видный советский критик 20—30-х годов. В целом же пресса тех лет была склонна отмечать лишь сумбуренность писателя в изображении революционной эпохи, модернистскую манеру письма, а критическую направленность его произведений воспринимала как вылазки классового врага.

Б. А. Пильняк известен как автор романа «Голый год» (1921), сборников «Былье» (1920) и «Смертельное манит» (1922), повестей «Третья столица» (1923), «Иван-да-Марья» (1922), «Машины и волки» (1925), «Повесть непогашенной луны» (1926), «Волга впадает в Каспийское море» (1929) «О'кей» (1933) и др.

Родился писатель 29 сентября 1894 года в Можайске. Началом своей литературной деятельности Б. Пильняк считал 1915 год, когда в журналах «Русская мысль», «Жатва», «Сплохи» были опубликованы его рассказы. В годы революции жил в Коломне. В 20-х — начале 30-х годов много путешествовал: был в Германии, Англии, Турции, Палестине, Китае, Японии, США.

В 30-е годы писатель обращается к публицистике, а также работает над романом «Соляной амбар», где уже в полной мере проявилось его зрелое мастерство художника, сумевшего от беспорядочного, калейдоскопичного показа революционного быта подняться до высот «социально-психологического раскрытия русской революции» (Андреев Ю. А. Революция и литература. Л., 1969. С. 168).

28 октября 1937 года Пильняк был арестован по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности, а 21 апреля 1938 года расстрелян (Вечерняя Москва. 1988. 19 июля).

Г. В. Алексеев вспоминает о приезде в Берлин в феврале

1922 года Бориса Пильняка и поэта Александра Кусикова. Б. Пильняк — уже получивший известность писатель большевистской России. Вечер встречи с писателями проходил в кафе «Ландграф», в котором поначалу еженедельно собирался берлинский Дом искусств под председательством Николая Максимовича Минского (1885—1937, наст. фамилия Виленкин) — поэта-символиста, писателя, переводчика и драматурга. После революции Минский жил в Берлине, работал в советском полпредстве в Лондоне, умер в Париже. Среди присутствующих — люди самые разные. Знакомить читателя с А. Белым, А. Ремизовым, И. Соколовым-Микитовым, И. Эренбургом, Л. Б. Красным нет надобности. Представим остальных, упомянутых в публикуемом отрывке.

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — юрист, публицист, политический деятель (кадет), эмигрировавший после Октябрьской революции; стоял во главе берлинского издательства «Слово» (где вышли первые романы В. Набокова), редактировал газету «Руль», издавал многотомный «Архив русской революции» (Берлин, 1921—1934).

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из лидеров партии эсеров, ее теоретик. В 1917 году — министр земледелия Временного правительства, в январе 1918 года — председатель Учредительного собрания, распущенного Советской властью. В годы второй мировой войны — участник движения Сопротивления во Франции.

Алексеев называет Чернова (очевидно, из-за внешнего сходства) двойником священника Петрова; поясним: Григорий Спиридонович Петров (псевдоним — Русский; 1868—1925) — член 2-й Государственной думы, писатель, публицист «Русского слова», профессор богословия, автор многократно переиздававшейся книги «Евангелие как основа жизни». В январе 1908 года указом Синода Петров был лишен священнического сана за свою общественную деятельность. Ему запрещалось в течение семи лет проживать в Москве и Петербурге, а также в течение двадцати лет поступать на государственную службу и избираться в Государственную думу. Умер в Париже.

Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871—1947) — активный деятель меньшевизма, в 1917 году — член исполкома Петроградского Совета, и. о. председателя Президиума ВЦИК первого созыва, был выслан из Советской России, умер в США.

Яценко Александр Семенович (1877—1934) — юрист, профессор международного права, редактор библиографического журнала «Новая русская книга», умер в Берлине.

Пуни Иван Альбертович (1894—1956) — художник, уча-

стник футуристических выставок, издатель альманаха «Рыкающий Парнас», с 1919 года — эмигрант, умер в Париже.

Коган Александр Эдуардович (1878—1949) — сотрудник газеты «Копейка», издательства «Всемирная литература», с 1920 года — эмигрант, владелец издательства «Русское искусство», издатель журнала «Жар-птица» (1921—1924), умер в Париже.

Сергей Горный (1880—1949) — псевдоним Александра Авдеевича Оцуа. Поэт-юморист, сотрудник «Сатирикона» и «Нового Сатирикона»; умер в эмиграции, в Мадриде.

Крандиевская Наталья Васильевна (1889—1963) — советская писательница, поэтесса, жена А. Н. Толстого.

Иванов Федор Владимирович — писатель, выпустивший в эмиграции сборник рассказов «Узор старинный» и книгу литературно-критических очерков «Красный Парнас». Скончался в Берлине в 1923 году в возрасте тридцати лет.

Росимов (псевдоним Офросимова Юрия Викторовича; 1894—1967) — сотрудник московских еженедельников, харьковских журналов «Колосья» и «Хоровод»; в Берлине работал в художественно-библиографическом журнале «Новая русская книга», в берлинских издательствах вышли его сборники: «Стихи об утерянном», «Горошинки», «Театр. Фельетоны», сказка «О гноме Клубнике и царевне Пионе».

Вечер Дома искусств открыл А. Б. Кусиков (1896—1977, наст. фамилия Кусикян) — поэт-имажинист, автор сборников «Зеркало Аллаха» (1918), «Сумерки» (1919), «Поэма поэм» (1919), «В Никуда» (1920) и др. В 20-е годы в произведениях поэта все больше слышится усталость, разочарованность:

И Революция устало лижет лапу.
Смирился я, скинула месть и злоба —

читаем в его поэме 1922 года «Песочные часы».

Из этой поездки Кусиков не вернулся в Россию — оставшись в Германии, он пополнил ряды русской эмиграции.

Начинает поэт свое выступление строками из поэмы «Искандер Намэ»:

Обо мне говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес...

Алексеев цитирует отсюда же (правда, неточно и не полностью) строки:

Нет, вы не знаете, как сумрак совий
Рябым пером зарю укачивает.

В «философической» части выступления Александр Кусиков, судя по приводимым цитатам, прочел свое четверостишие, написанное 18 декабря 1919 года:

Что ждет меня в нигде веков — не знаю,
Иль Аль-Хотама, иль твой Сад — не знаю.
Пророк с крестом не убивал — я знаю,
С мечом Пророк не раз казнил — я знаю.

За Кусиковым выходит Пильняк, замороживший и удививший слушателей чтением отрывков из повести «Иван-да-Марья». Алексеев передает свое впечатление следующим образом: «Не понял ничего: ни фабулы повести, ни характеров отдельных лиц, и ни один эпизод не удержался в моей памяти».

Стиль прозы Пильняка действительно сложен, причудлив: беспорядочность мыслей, перебивающих друг друга, намек, недосказанность — характерные особенности его художественного повествования.

Приехавший в Берлин Пильняк, рассказывая о состоянии современной литературы в Советской России, выделяет в ней две ветви: молодую «поросль от литературы старой» и новую, «мужицкую». К первой он относит имажинистов, презентистов, ничевоков и прочих.

Будущее, по мнению Пильняка, принадлежит литературе «мужицкой».

Алексеев выражает свое неверие в животворные силы этой поднимающейся русской литературы. И дело здесь вот в чем.

Борис Пильняк воспринял октябрьские события как разрушение всего того, что он считал навязанным России, ее народу европейской цивилизацией со времен Петра Великого. В его первых книгах о революции находим изображение революционных завоеваний как возврат к патриархальному прошлому, первобытной естественности XVI—XVII веков допетровской Руси, когда русская культура была свободна от иноземного влияния и первоосновой жизни ее народа были унаследованные от язычества верования и обряды. Б. Пильняк показывает революцию как крестьянскую, освобожденную от оков, стихию. Центральный образ его произведений — метель; революция — это метель, буря, разворотившая российскую жизнь. Для писателя очень важно то светлое, радостное, что несла в себе русская революция. Наряду с этим его произведения пронизывают и иные настроения: горькие, тоскливые, скорбные.

Алексеев потому и не верит в «державный ход носителей новой, мужицкой правды», что увидел у Пильняка, яркого

представителя новой школы, прежде всего не возрождение истинной, свободной России, а грубое опрощение жизни, убивающее культуру, и отчаяние народа русского, захваченного пучиной революционных лет и тоскующего по цветущим овсами и пшеницей полям.

БОРИС ПИЛЬНЯК

В начале революции Блок в смятении воскликнул:

— Слушайте музыку революции!

«Двенадцать» — музыка революции, а не утверждение и не отрицание ее.

«Голый год», «Иван-да-Марья», «Былье» Бориса Пильняка — музыка революции, а не искание ее смысла и даже не отдельные вехи ее пути.

Я понял это, когда услышал чтение Борисом Пильняком отрывков своей повести «Иван-да-Марья». В них на протяжении часа, пока он читал, выла вьюга полей и душ, и случилось только одна, прочно запавшая в память, художественная деталь «сделанного рассказа»: мужички на заседании исполкома жуют баранки, «пока говорят про непонятное». Другой раз, просматривая в редакции «Новой Русской Книги» тощенькие тетрадки полученных из России журналов, я прочитал такую фразу: «О Пильняке нельзя говорить, талантлив или нет, — его надо принять какой он есть, ибо он — отражение революции».

Французской революции понадобилось 60 лет, чтобы вспомнить свой быт — Анатолю Франсу.

Русской литературе — 70 лет, чтобы события 1812 года ожили под пером Льва Толстого.

Бессилие современности — закон. Быть может, только музыка — музыка революции одна и под силу сердцу, раскрытому, как окно, навстречу урагану и внемлющему его грозные звуки.

* * *

Послушать приехавших из России писателей собрался весь литературный Берлин. За сиреневыми столиками «Ландграфа» в уюте отсвечивающих ламп сидели рядом самые неожиданные люди: влево от Гессена, блестящего плешью и очками, мистер Красин в ловко сшитом — по-уайльдовски — сером костюме; за взлохмаченной головой «хозяина русской земли» — Виктора Чернова — двойника священника Петрова, поместился Дан в клинообразной ассирийской бороде. Тут же 52 молодых девушки, пишущих стихи, и 52 молодых

человека, пишущих стихи и рассказы. Из дальнего угла — горят глаза Белого, Ремизова, поодаль еще гр. Толстой, Соколов-Микитов, у стойки проф. Яценко — «Новая Русская Книга», свисающие кудри Пуни, за кудрями — трубка Эренбурга, чадающая, как паровоз. Посередине комнаты — рядом А. Э. Коган и Сергей Горный — на трех стульях «Жар-Птица». Поближе к эстраде молодежь: Росимов — задумчивый воробей, скрипящий что-то на ухо Федору Иванову. Тот краснеет и прячет манишку, вставшую из-под воротника стрелой. Прокатывается Минский — коротенький, весь на шариках. Усаживает даму в синем костюме, с барашком вокруг шеи и по рукавам. Дама оглядывается кругом с милой растерянностью: она здесь в первый раз — Наталья Крандиевская.

По залу идут двое: первый — бритый и черный, в кубанке, в ладных сапогах, в серебряном пояске — советский с головы до ног. Командир красного полка, буденновец, председатель какой-нибудь уездной чрезвычайки? Александр Кусиков. Второй — небритый и рыжий, волосы стоят, как у ежа, в сером, не по плечу, костюме, выданном в Кремле по ордеру, чтоб в Европе было не стыдно показаться. Борис Пильняк. Искусство внепартийно: приехавших писателей встречают аплодисментами. Газеты в последние дни сообщали, что «есть еще в пороховницах порох» и не в пример «цветам эмиграции» приезжают вот из России настоящий писатель и настоящий поэт.

Молодой человек в кубанке влезает на эстраду и объявляет:

— Говорят, что — я сволочь!

— Да? — не удерживается кто-то в зале.

— Да, — подтвердил молодой человек. — Что я — хитрый и злой черкес...

Когда от неожиданности в зале захлопали, Кусиков рассказал еще, что у него на Кубани имеются пень и конь. На первом он любит посидеть вечерком, когда «совий сумрак рябым пером зарю укачивает». На втором он умеет скакать сломя голову. При этом он очень обстоятельно объяснил некоторые моменты своей скачки: с уздой, без узды, с гривой, без гривы...

Сидевший рядом со мной кавалерийский поручик убежденно заметил:

— Врет.

Покончив с частью биографической, Кусиков приступил к части философической, напомнив сидящим в зале профессорам, ученым и не последним писателям земли русской о

том, что «пророк с крестом не убивал», а вот «с мечом пророк казнил не раз», что он, Кусиков, об этом знает и потому совершенно не уверен, что ждет его «в нигде веков». Я бы не сказал, что эти философические открытия кубанского черкеса произвели на слушателей большое впечатление: большинство из присутствующих интересовалось этими вопросами еще прежде — в шестом классе гимназии, и потому некоторые потянулись из зала к стойке, к приманчивым бутылкам эйеркюняков и шерри-бренди.

Когда Кусиков, наконец, ушел, на эстраду поднялся Борис Пильняк, облокотился на рояль, открыл тетрадку и громко принялся читать о том, как воют вьюги и свистит песками ветер.

— У-у-у... — представлял он.

— Ы-ы-ы... — убеждал он.

Первые полчаса мы, литературная молодежь, поднимаясь в изгнании, сидели, вообще, раскрыв рты. Возможно, что мы ничего не понимаем, что именно вот это завывание и, видимо, не случайное совместное выступление — и есть подлинное искусство. Как писать о солнце — стреляет ли оно игольчатыми и розовыми стрелами или не стреляет? — если это никому не нужно в ходе революции? Когда неосторожной ногой сворочен на сторону муравейник, муравьи не замечают дождя. И, может быть, время кропотливой выписи пейзажа, до деталей разработанных фабулы и характеров в русской литературе прошло, и подлинное творчество — вот эта, поднятая над головой, праща, мечущая камни, не поймешь куда и за что? Я слушал очень внимательно, но не понял ничего: ни фабулы повести, ни характеров отдельных лиц, и ни один отдельный эпизод не удержался в моей памяти. Как все, я пошел домой с горьким чувством не то разочарования, не то обиды. Было еще ощущение какой-то тупой сиротливости, но кто может требовать от музыканта, чтобы он играл Бетховена в доме, охваченном пожаром?

Молодой писатель, шедший со мной рядом, уныло спросил:

— Вы заметили корректурную ошибку в сегодняшних газетах?

— Какую?

— Было напечатано: Пильняк, а не Пильняк.

— Разве?

— Его сегодняшнее чтение напоминает мне именно пыль. Вздут целый столб пыли — залезает в глаза, уши, ноздри, прихватывает дыхание, гнездится в складках одежды, а самого столба не видно.

— Я бы сказал другое. Мне — сегодняшнее чтение напомнило музыку, переданную плохим фонографом.

* * *

Собрались мы — поближе присмотреться. В подходе молодых писателей друг к другу всегда есть что-то сторожкое, но нежное. Рыжий нескладный Пильняк, закапанный веснушками, в круглых роговых пенсне — подарок заграницы — пришел шумный, но очень простой и ласковый. Говорил, как Маша, жена его, ухаживает за коровой — купил корову, распродал библиотеку: на что она, раз в Москве только жить — просыпаться, глядеть и дышать — есть уже искусство. Еще о том, что надо возвращаться — жене одной в хозяйстве трудно, еще не свыклась: была до революции врачом, и есть слух, что больна тифом.

Звал в Россию. Тут писателю помирать, а в России — от Вержболова до Москвы — готовый роман. Но упреждал честно: многого там не понять тем, кто не шел в ногу, а и поймет — донести трудно.

— Мы и я, я и мы — а не я и они, я и он — она: новая тема. Песни метельные, метель бунтовщическая — содержание. Изба без «кумполо» — печь писательская, от которой пляшут по околицам до барских усадеб. Не расскажешь всего о том, как ожили сказки, приметы, поверья.

— А в России идет новый период в литературе — мужицкий. С мужицкой формой и содержанием, ибо «русская революция первым делом была революцией национальной и сняла «кумпол» с той «Академии-де-Сианс», которая была поставлена причетниками»*.

— В Москве две литературы: молодая поросль от литературы старой, литературщинная поросль, тринадцать школ (имажинисты, презентисты, ничевоки и пр. и пр.), писательское мастерство, форма — отлично, а сказать нечего, в двадцать лет рамоли, мышинные жеребчики, губы помадят и похабят. — Этим умирать. И другая поросль — без школ всяких, в лаптях, лаптем пишут, а фактура, а содержание — верстой, как аршином, откладывают, кроят революцию и Россию — новые закройщики.

Но я не верил ни одному его слову. Нет, не действие, не напряжение творческого начала несет она, эта посконная пестрядь молодой русской литературы, бьющая из лесов и

* Не совсем точная цитата из статьи Б. А. Пильняка «Заказ наш», помещенной в журнале «Новая русская книга» — 1922, № 2.

первобытных пещер, куда революция загнала жизнь. В той жизни не осталось ни сумерек, ни полутени, ни — плохое это слово — нюанса. Ночь идет за днем. Удар топора нужнее скользкого касания резца. Маки в поле — досадны: портят рожь. Над всем этим оголенным, раздетым до основного хребта бытом заправляет отчаяние, и ему служит живая тушь незастроенных русских степей, а не новой правде, потому что никакой новой правды нет! И где ж отыскать ее, если ни война, поднявшая поля к национальному подвигу, ни революция, погрозившая разгадкой человеческого счастья и справедливости, не только не отыскали ее, но даже стронуть не могли с места застывшую каменную глыбу? Свист революции — тоска, ее кровь — отчаяние, ее достижение — уход к 17-му веку, в лес, в пещеру, к лопате и дубине на голову женщины.

И тогда не державный ход носителей новой, мужицкой правды (в который раз в русской литературе!) слышится в этой новой поступи по неприбранным, звонким от безлюдья полям, а долгий одинокий крик по ночи, колотящийся о землю в предчувствии смерти своей, долгий одинокий крик человека, зовущего жизнь вернуться и зацвести поля овсами и пшеницей, одеть оголенные души, познать радость — пусть маленькую, как свеча, но необходимую (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60, л. 26—31).

Очерк «Заграница» был написан Борисом Пильняком в начале апреля 1922 года, сразу после возвращения из Берлина.

В Берлине Пильняк остановился у А. М. Ремизова, покинувшего Россию полгода назад (7 августа 1921 года, в день смерти А. А. Блока). Он пишет о скором возвращении Алексея Ремизова на Родину, но ожидания эти не оправдались — писатель, в конце жизни принявший советское подданство, умер в Париже в 1957 году.

Среди упоминаемых Пильняком лиц:

Марков 2-й — Марков Николай Евгеньевич (1866—1945) — политический деятель, крупный помещик, белоэмигрант. Один из лидеров черносотенных «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела» и крайне правого крыла в 3-й и 4-й Государственных думах. В 1918—1920 годах — в армии генерала Юденича.

Мартов Л.—Цедербаум Юлий Осипович (1873—1923) — участник русского революционного движения. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,

редакции «Искры». С 1903 года — один из лидеров меньшевизма. В 1919 году — член ВЦИК, депутат Моссовета. Эмигрировал в 1920 году, один из организаторов так называемого «2¹/₂ Интернационала».

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — один из лидеров партии эсеров, член боевой организации. В 1917 году — редактор органа эсеров — газеты «Дело народа», член исполкома Петроградского Совета. После Октябрьской революции — один из деятелей контрреволюционной «Уфимской директории», затем — эмигрант.

Постников Сергей Трофимович (1883—1965) — литератор, основатель журнала эсеровского направления «Заветы» (1912—1914). В ЦГАЛИ хранятся литературные воспоминания Постникова, переданные им в архив в 1953 году. В 1917—1918 годах он — секретарь и член редакции газеты «Дело народа». С 1921 по 1945 год — в эмиграции, один из основателей Русского заграничного исторического архива в Праге. В 1945 году он был арестован в Праге советскими органами госбезопасности и за былую принадлежность к эсеровской партии осужден на 5 лет заключения. После освобождения в 1950 году жил в городе Никополе, работал швейцаром, в начале 1960-х годов уехал к дочери в Чехословакию.

Гринберг Роман Николаевич — эмигрант, после второй мировой войны — редактор журнала «Опыты» и альманаха «Воздушные пути».

А. Ветлугин (псевдоним В. И. Рындзюна) — журналист, сопровождал Есенина и Дункан в заграничной поездке как переводчик. В 1922 году в Берлине вышла книга Ветлугина «Записки мерзавца. Моменты жизни Юрия Быстрицкого» с посвящением С. Есенину и А. Кусикову. Ветлугин рассказывает Пильняку о популярном во времена Великой французской революции генерале Лазаре Гоше, уподобляя ему полковника Каменева, т. е. Сергея Сергеевича Каменева (1881—1936), с июля 1919 по апрель 1924 года главнокомандующего вооруженными силами Советской республики.

В очерке Пильняка упоминаются также художники: Арнштам Александр Мартынович — график, автор обложек и виньеток для периодических изданий («Золотое руно», «Солнце России» и др.) и отдельных книг. Участвовал в выставках «Мира искусства» (1915—1917), после революции сотрудничал в журнале «Красноармеец». В 1922 году уехал за границу, до 1940 года жил в Берлине.

Богуславская (Пуни) Ксения Леонидовна — принимала участие в последней выставке футуристов «0,10» в конце 1915 года, в 1918 году участвовала в выставке картин «Мира

искусства» и в «Выставке современной живописи и рисунка», была одним из художественных оформителей 2-й годовщины Октябрьской революции. В начале 1920-х годов эмигрировала. В 1922 году — участница «Первой русской художественной выставки» в Берлине в галерее Ван-Димена.

Масютин Николай Васильевич (1884—1955) — офортист, киелограф, автор книги «Гравюра» (1922). Эмигрировал в начале 1920-х годов. В 1931 году оформлял спектакль М. А. Чехова «Дворец пробуждается» в театре Авеню.

Пинегин Николай Васильевич (1883—1940) — художник и писатель. Эмигрировал в 1920 году, вернулся в СССР в 1923 году. Участник экспедиции Г. Седова к Северному полюсу, автор книги «Георгий Седов».

ЗАГРАНИЦА

(Очерк)

[1]

Вы просите рассказать о моих заграничных впечатлениях. В Берлине я поселился вместе с Ремизовыми, Алексеем Михайловичем и Серафимой Павловной. Был как-то воскресный денек — там, в Берлине, в конце февраля, как у нас в начале апреля; Серафимы Павловны не было дома; Алексей Михайлович и я — в ее комнате — рылись в ее бисерах и там наткнулись на маленькую коробочку слоновой кости; Алексей Михайлович сказал, что в коробочке — *русская земля*, — я подумал, что это какая-нибудь обыкновенная — Алексея Михайловича — аллегория: я открыл коробочку — там был обыкновеннейший русский суглинок — *русская земля*. Был обыкновеннейший воскресный денек, нас было двое в доме, было очень тихо, — и я ушел из комнаты Серафимы Павловны к себе, у меня защемило сердце и навернулись слезы — в тоске по *русской* земле, по России нашей, милой, необыкновенной, несуразной. — Я свободно приехал в Германию и свободно вернулся в Россию — и: ах, какая тоска в тот вечер была у нас по русской земле, у меня и у Алексея Михайловича...

И эта вот *русская земля* связывает мне сейчас руки, когда я думаю рассказать о наших братьях, оторванных от нас враждой, политикой и глупостью: я не имею права, это нечестно — бросить в них камнем, ибо они не меньше меня любят мать свою, родину Россию. *Я видел эту скорбь по родине*, по русской земле: скорбь всегда прекрасна. История — потом — поставит всех на свое место. Экономическая

и политическая необходимости выкинули их из родины.— На канве величайшей тоски по родине ткется теперешняя эмигрантская жизнь.

И жизнь ли?— Не постепенное ли умирание. Не знаю.

Величайшая тоска по России («в Россию хочу») была канвой и моего — там — бытия.

Ослепительный день, к вечеру. Я — и навстречу мне:

— Полковник такой-то?.. — Это громчайшим «пехотным» басом, из глотки, обветренной многими и разными ветрами, по-русски, конечно.

— Нет.

— Очень жаль — очень жаль.— Хотя, впрочем, очень приятно. Я полковнику такому-то хотел дать в морду.— В морду-с. Вы на него очень похожи... С кем имею честь?— Ротмистр такой-то.— Куда изволите идти? — Дилэ?*

Очень приятно, очень.— Выпьем, конечно, ради знакомства.

А потом, после водки, очень усталыми глазами, совсем не басом:

— Ээх, коллега, какая тоска, знаете ли... Вы, конечно, за меня заплатите?..

А в дилэ, между сдвинутых столиков, под скрипки, которые кажутся голыми, извиваются полуобнаженные пары — в тустепах, фокстротах, джимми. На столиках блестят ликеры, коньяки, мокко, — голые руки и плечи женщин полу-банят (от слова «баня») мои ощущения, — обера блестят манишками. Это немецкие пять часов. Мне — приехавшему из вшивой России — невесело.

(Многие офицеры бывших белогвардейских армий, русские офицеры, служат в немецких ресторанах — лакеями, сиречь «оберами»).

И еще о ресторанах (ах, как пьянствует русская эмиграция).— Ресторан. Вечер. Коньяки, водки, виски, шницели, омлеты, спаржи. Электричество лоснится по голым женским плечам, вымазанные пудрой и подсаленные**, — и все пропахло пудрой и сигарами. Каждый джентльмен надел маску, точно он*** как сфинкс.

И тогда, из дальнего угла, где сидят четверо, — истерически:

— Встааать...—

«Боже, царя хрании.

Сиилы державной царь православный».

* Diele — зал для танцев (нем.).

** Так в тексте.

*** Пропуск в тексте.

...Но это не главное — это конец какой-то свечи Яблочкова, откуда — мне — надо выкинуться в истерику, как всем, чтобы свеча Яблочкова стала Пирром в мировой свалке.

Есть закон центробежной и центростремительной сил, — и другой закон, тот, что творящими и родящими будут лишь те, кто связан с землей; русская эмиграция существует во имя сил центробежных, и она оторвана от русской земли. Там совсем не представляют, что творится в России: не ощущают. Там, ненавидя-проклиная и приветствуя-преклоняясь (сменовеховцы, евразийцы), — одинаково и делят и зируют Россию. — Там, в среде русской эмиграции, почти нет детей, а ребенок есть связь с землей; там у каждого затеряна где-то в России — или жена, или сын, или мать, там мужья и жены перепутали своих жен и мужей, в протитутской разновидности, должно быть.

Но — по закону центробежной силы — откинута и те единицы, которые весят больше других и умеют весить. Я видел много честных людей, которыми могла бы гордиться и русская культура, и русское искусство, которые инакомыслят и которых оторвала, поэтому, от нас политика, — честных людей. Мне тяжело сознавать сейчас, что, быть может, до них дойдут эти строчки: мне думается, что они не правы, они ошибаются в оценке путей России, — но они честно верят, и я не имею права не уважать их. Они, больше, чем многие в России, готовы положить и кладут живот свой за веру свою. — И я мог привести ряд иллюстраций к тому, как много по Европе раскидано сейчас подвижников. Россия — страна необыкновенная, русская революция — необыкновенная революция: в будущем историки «Истории Великой Русской Революции» будут иметь главу «Русская эмиграция» — и в этой главе должны будут рассказать нечто, что напомним подвижничество Серафима Саровского, — пусть это и не главный колорит, и, конечно, чаще встретишь такого, который:

— Очень жаль, очень жаль. Хотя, впрочем, очень приятно. — Я хотел дать ему в морду. — В морду-с...

Политика вообще окрашивает сейчас жизнь России и русских. В эмиграции политических верований, политических течений, а поэтому и драк — очень много: начиная от монархистов такой разновидности, какую совсем забыла Россия, как, что ли, Марков II, — кончая сменовеховцами, приветствующими даже не Россию, а Российскую Советскую Власть. Сейчас идет шестой год Российской Революции, та эпоха, когда стало ясно, что Русской Революции кроить, вершить себя суждено через — Россию — Москву — Московский

Кремль; у русской эмиграции нет ничего впереди, — самым сильным, поэтому, течением является «сменовеховство» — «национал-большевизм», иначе — и напряженной, аскетичней, обреченней, поэтому — жизнь — вымирание — борьба — инакомыслящих, особенно эсеров.

2

Вы просили, собственно, рассказать о писателях. — Я нарочно употребляю слово «о писателях», а не «о русской литературе за рубежом», потому что такой там нет. Там есть много очень хороших издательств, которые переиздают впредь написанное. — Литература — это дерево, которое должно расти молодостью, молодыми новыми писателями. Литература — это дерево, которое корнями своими должно питаться от земли. Я думаю, не следует делать подразделений на эмигрантскую и неэмигрантскую литературу. Литература вне России не дает новых писателей потому, что там просто нет молодежи (и молодости), которая была бы связана с почвою, с бытом, прирав его, как кусок черного — с соломою — хлеба. — Лев Толстой — мировой писатель — и все же он семидесятник. — Валерий Брюсов — что бы ни было — русский символист девятисотых годов: молодость окрашивает бытие писателя. Это, конечно, не умаляет их ценности. И старые писатели — как в России, так и в эмиграции — молчат, потому что они оторваны, органически не приемлют нового быта, пусть они революционны: они приемлют (органически) мир глазами своей молодости. В России вообще несколько лет не было литературы, ибо уж очень перемолола быт мясорубка революции. Я верю, что революция народит новую эпоху русской литературы, которую создадут новые писатели. Конечно, нет правил без исключений.

Нет правил без исключений. И я счастлив, что сейчас могу говорить как раз об исключениях за границей. В Берлине я очень близко сошелся, дружил — с А. М. Ремизовым, Б. Н. Бугаевым (Андреем Белым), Алексеем Николаевичем Толстым и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Белому еще до революции удалось уйти от быта в быт философических правд и там провидеть новую Россию; Ремизов — не пишет, а *делает* слова (вы помните его руки, всегда красные, в карандашной пыли. — Когда смотришь на них, видишь, в них зажаты слова, и эти слова имеют все: Ремизов не пишет, а *делает*, не пером, а *руками*); Алексей Н[иколаевич] Толстой нашел в себе молодости и озорства, чтобы преломить быт (ах, какую Тамбовскую губернию раз-

водили мы — он, А. Н. Толстой — в немецких «Вайн-Штубе»* — мы, Толстой, проф. Яценко, Соколов-Микитов и я); и — четвертый — Соколов-Микитов, бывший член Петербургского Совдепа, бывший афонский монах, бывший матрос с проданного в Англии корабля «Добровольного флота», — он сумел народиться и приять быт, и таскать за собой Смоленскую свою губернию по всей Европе.

Алексей Толстой и Соколов-Микитов — сменовеховцы, оба они к июню возвращаются в Россию. Оба они много написали — и хорошо. А. Толстой — два романа: «Хождение по мукам» и «Детство Никиты», Соколов-Микитов — роман «Нил Миротворчатый». Оба они модные в эмиграции писатели, особенно Толстой — первейший. Вот слова, которые он просил передать в Россию:

— «Видел всю Европу и стал мизантропом, проклял все человечество, и теперь только одна вера, одна надежда, что Россия и русские спасут мир, — поэтому считаю себя преступником, что по слабости человеческой сижу здесь».

Это он продиктовал мне тамбовским одним днем у себя на [Kurfürstendamm] (самая русская улица). Там же у него был и Соколов-Микитов, и когда я спросил его, что передать, он молчал долго, потом сказал хмуро (вообще хмурый человек):

— В Россию хочу, домой.

И третий был с нами — А. Ветлугин, тоже сменовеховец, бывший сотрудник «Общего дела», автор «Записок мерзавца» и — как ни привести его слов, чтобы живую дать иллюстрацию настроений:

— «Когда в июне 20-го года уезжал из Крыма, сказал Врангелю: «Наполеон просил два батальона, чтоб разогнать эту сволочь, а у вас сам архангел Михаил не очистит от сволочи двух батальонов».

— «Стоял в Версале и смотрел памятник генералу Гошу (подавителю Вандеи) и думал, что буду стоять через десять лет на Красной площади перед памятником полковнику Каменеву, — с этого стал леветь».

Алексей Михайлович Ремизов. Надо знать, надо видеть его — и тогда нельзя его не любить, никому. Алексея Михайловича в Берлине чаще принимают за испанца, чем за русского, к себе домой на [Kirshstrasse] он перевез подлинную — лежаночную Россию, — и, как в Питере, на Васильевском острове, в старой его квартире, находящейся сей-

* Weinstube — винных погребках (нем.).

час под надзором Отдела по охране памятников старины и культуры, — висят у него черти и куклы и расклеены стены бумажками от шоколада — в его Обезвелволпале (Палате Обезьяньей Великой и Вольной), где он, Ремизов, «забеглый политком»...* Но он, Алексей Михайлович изучает и немецкий язык и как-то в парикмахерской (точный перевод с немецкого) просил обрезать ему голову. — Обезвелволпал — и отъезд Ремизова из России. В России совершенно неправильно распространился слух, что Ремизов бежал из России: Ремизов выехал из России с разрешением Петроградского ЧеКа, со своим собственным паспортом, только не как писатель, а как...** Обезвелволпала. — Алексей Михайлович Ремизов возвращается в Россию.

В Берлине 36 русских издательств, выходит с дюжину журналов и альманахов. Большинство издательств переходят на новую орфографию, с тем, чтобы поставлять книги в Россию. Гонорары очень невелики. Лучшими издательствами надо считать — «З. И. Гржебина», «Слово», «Геликон», «Грани», «Огоньки», «Русское творчество», «Эфрон».

В Берлине есть «Вольфила» (Вольная философская ассоциация) под председательством А. Белого.

В Берлине есть Дом искусств под председательством Н. М. Минского. Н. М. Минский — родоначальник русского символизма — очень бодр, деятелен. Меня он много расспрашивал о России — и он собирается побывать домой. Ежепятнично в Доме искусств устраиваются открытые вечера. Тут можно встретить всех литераторов, художников (Пуни, Богуславская, Пинегин, Арнштам, Масютин), общественных деятелей (Чернов, Мартов, Зензинов, Гессен, Постников, Гринберг, проф. Ященко). Вечера почему-то всегда шумны, суматошны и бестолковы.

3

Я заканчиваю мой очерк. Мне лично, как дикарю, было приятно чувствовать себя сытым, чистым, свободным от нужды. Я, как дикарь, катался на *Untergrundbahn* (под- и надземной железной дороге): мне нравилось, что меня кидает под землю, оттуда на крыши домов, оттуда перекидывает через Шпрее и опять под землю. Меня поражало, что наша прислуга, фрау Нольте, носит английское — без ободков — пенсне.

* Пропуск в тексте.

** То же.

лайковые до локтей перчатки, причесывается у парикмахера, одета как великосветская дама и что она как-то в кафе — подала мне руку, чтобы я ее поцеловал. — Мне нравилось сидеть часами по кафе и смотреть, как полуобнаженные женщины танцуют «фокстроты» и «джимми».

Но скоро я узнал, что в Европе неблагополучно. Я узнал, что эти «тустепы», «уанстепы», «джимми» — зловещи: ими проплясывается вся духовная культура Европы. Я почувал, что прав Шпенглер, что Штейнер, штейнерьянство имеет право на существование, как некогда Ян Гус и гуситство, — и не случайно, спасание от философического тупика; сотни тысяч идут к Штейнеру... Потом я заметил, что экономическая Европа неблагополучна, очень неблагополучна. Заводы Англии стоят, английский флот портится в портах, — Англия задыхается в своих фирмах*. Франция живет грабежом Германии: то несчастье, что было у Германии, самодовольство, свинская отупелость в...** отнятое у Германии войной, — передана Франции. Французская индустрия ржавеет, — а Германия задыхается от перегруженности работой, от величайшей утомленности, чтобы платить свои долги.

Эта некрасивая фраза: Россия вшивая, Россия всячески загаженная, и она на нее*** обращены сейчас взоры всего мира. И в Европе и у нас слышатся голоса, что идет новое мировое переселение народов, культур и правд. — Черт его знает, может быть, должно быть и так на самом деле.

Неблагополучно в мире.

Я знаю — видел — есть, которым скорбно в этом мире: скорбно быть пылинкой, и придут поэты, которые воспоют эту — людскую — мировую — скорбь. Я, свободно уехавший за границу, свободно бежал отсюда в Россию: мне было радостно слушать глупейшие слова на митинге в Себеже, на нашей границе.

Знаю — одним тоскливо.

Мне же — радостно, весело быть закройщиком нового.

Борис Пильняк

Коломна.

Никола-на-Посадьях

9 апреля 1922 г.

(ф. 1697, оп. 1, ед. хр. 35).

* Так в тексте.

** То же.

*** То же.

МОЙ ЧАС И МОЕ ВРЕМЯ

(Главы из воспоминаний М. М. Мелентьева)

Публикация Е. Б. Коркиной

Михаил Михайлович Мелентьев — врач-терапевт по профессии, автор двух объемистых рукописей — «Книга о Володе» и «Мой час и мое время». Обе книги были переданы автором в ЦГАЛИ, где и ждут «своего часа» в собрании дневников и воспоминаний (ф. 1337, оп. 3, ед. хр. 53 и 54).

Взяться за перо Мелентьева побудила личная утрата. В 1937 году безвременно погиб его воспитанник — художник-график, автор иллюстраций-силуэтов к произведениям Пушкина, Байрона и др. — Владимир Александрович Свигальский (1904—1937). Стремление уберечь от забвения личность этого своеобразного человека, запечатлеть подробности его короткого и трагического жизненного пути и стало поводом к созданию написанной в 1937—1939 годах «Книги о Володе».

Отзывы друзей и знакомых, которых автор познакомил со своим трудом, — среди них были художник М. В. Нестеров, искусствовед А. М. Эфрос, пианист К. Н. Игумнов и другие, — высоко оценивших «Книгу о Володе», вдохновили Мелентьева на продолжение литературного труда. Так была создана книга воспоминаний «Мой час и мое время», которая писалась с 1939 по 1960 год и представляет собой жизнеописание автора с детских до преклонных лет. Мелентьев был свидетелем многих событий нашего века и стал в своих воспоминаниях добросовестным летописцем пережитого и увиденного. Настоящая публикация представляет две главы рукописи — «Петровская больница» и «Тюрьма», которые печатаются полностью, если не считать небольшой купюры в 1-й главе, где опущены подробности семейной жизни сестры автора. Публикуется также написанный позднее «Эпилог», где говорится о реабилитации Мелентьева, последовавшей спустя тридцать без малого лет после бессудной расправы над ним. Публикация снабжена необходимыми примечаниями. Несколько слов о жизни М. М. Мелентьева до и после описываемых им событий дополняют впечатления читателей об авторе публикуемых воспоминаний.

Он родился в 1882 году в городе Острогжске, в большой патриархальной купеческой семье, где вся жизнь шла по церковному кругу. Окончив в родном городе приходскую школу и уездное училище, а затем и гимназию, Мелентьев поступил в Московский университет, в котором учился с 1905

по 1911 год, в самые «сумерки просвещения», если употребить выражение В. В. Розанова. Врачебную деятельность Мелентьев начал полковым лекарем в пехотном полку, затем стажировался в клинике московской Новоекатерининской больницы. С началом первой мировой войны он был определен в санитарное управление флота и был послан для прохождения службы в Кронштадт. Там застала его Февральская революция. В воспоминаниях Мелентьева содержатся интереснейшие подробности о «Кронштадтской республике» весной и летом 1917 года.

После Кронштадта Мелентьев работал в Петровской больнице в подмосковном Алабино. После десяти лет успешной работы и врачебной практики он был в 1933 году внезапно арестован и без суда отправлен в ссылку на Север, в Медвежьегорск. Причиной ареста стали тайные интриги тогдашнего наркома внутренних дел Ягоды, пытавшегося изолировать врачебное окружение М. Горького, в частности доктора Д. В. Никитина, а заодно и тех, кто, как Мелентьев, был с ним знаком. В конце 1930-х годов, отбыв ссылку, Мелентьеву удалось вернуться в Москву; в войну он работал врачом в эвакуации.

С 1946 года Мелентьев поселился в Тарусе. Случай свел его с дочерью основателя московских Высших женских курсов В. И. Герье Софьей Владимировной, которая свой дом в Тарусе, где она жила вместе с артисткой Малого театра Н. А. Смирновой, хотела продать человеку «преемственной культуры». Мелентьев не уронил высокую репутацию приобретенного дома и вместе с ним получил в наследство и его друзей — семейства Поленовых, Крандиевских, А. И. Цветаеву и других старых тарусян. Таруса стала для Мелентьева родным домом, той «кельей под елью», о которой он мечтал в годы скитаний.

Скончался Михаил Михайлович в 1967 году.

Одним из эпиграфов к книге своих воспоминаний М. М. Мелентьев взял слова А. И. Герцена:

«Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не нужно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать».

Думается, что М. М. Мелентьев в полной мере отвечает этим условиям.

ПЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

(1923—1933 гг.)

18 февраля 1933 г. в воскресенье, во втором часу дня я в последний раз остановился в дверях своей квартиры в Алабино и навсегда попрощался с чудесными комнатами, где прожил 10 лет. С тех пор прошло много событий и личных, и мирового масштаба, и Володи нет уже седьмой год, а Алабино все еще продолжает ныть в сердце и снится всегда как-то «обиженно». Я все еще продолжаю жить в нем, но как-то сбоку, не по праву. Часть моей квартиры уже занята другими, все вещи мои почти вывезены, а я медлю отъездом, собираюсь и знаю, что надо ехать, что достоинство не позволяет мне цепляться за то, что уже ушло, а выехать не могу. И этот сон, варьируясь в деталях, но оставаясь в основном всегда одним и тем же, не часто, но и не редко нагоняет на меня великую грусть. После этого сна я почти осязательно понимаю, что жизнь прожита, что ничего из прожитого не вернется, что —

Все это было, было,
Свершился дней круговорот...

Обычно в повседневной жизни забываешь об этом, не помнишь. И это чувство у меня от Алабина, и эти воспоминания о нем не только у меня — его хозяина. Профессор Игумнов К. Н., пианист, написал мне недавно из Эривани: «Часто вспоминаю алабинский быт. У меня здесь в архитектурном сборнике есть фотография дворца. Вообще старых друзей и старые переживания я очень оценил, особенно в эти дни изгнания».

Итак, Петровская больница в Алабино. Мне сорок лет, но я еще молод. Интересы работы и службы не стоят на первом плане: еще бурлит и занимает что-то личное. После некоторой карьеры на флоте я оказываюсь ничем и никем. Это неприятно, но не настолько, чтобы портило настроение. На первом плане Володя¹, его здоровье и почти необходимость для него покинуть Москву. На пасхальной неделе 1923 г. я забираю его и через полтора часа пути в нетопленном и переполненном вагоне оказываюсь в новом мире, с новыми людьми и с новыми интересами.

Петровская больница Московского губернского земства имела хорошее прошлое. Врач Александра Гавриловна Архангельская, умершая в 1905 г., оставила и до моих дней славу о себе. «Барыня наша», — вспоминали о ней с любовью и уважением старики. Архангельская была отличным окули-

стом и хирургом. Больница и все окрестные деревни были заполнены больными, съезжавшимися, по подсчетам заведующего губернским санитарным бюро Московского земства, д-ра И. В. Попова, к Архангельской из 26-ти окружных губерний. Больница была прекрасно обустроена. Терапевтический корпус, с центральным отоплением, проведенной холодной и горячей водой, был просторен, светел и наряден. Через дорогу от усадьбы больницы лежала знаменитая усадьба Демидовых с дворцом и флигелями, построенными Казаковым М. Ф. при Екатерине II. Парк, река Десна, чудесная церковь у парадного въезда в усадьбу. Дворец, уже без окон и дверей, восьмигранной формы, с широким куполом, благородных линий Екатерининского величия. И четыре флигеля по радиусам дворца с закругленными входами, создающими, вместе с дворцом, изумительный архитектурный ансамбль.

В Москве уже серели улицы булыжником. Здесь же лежала зима, было бело, заброшенно, пустынно. Часть флигелей также зияла слепыми глазницами своих окон. Тишина и безлюдье пугали. Москва была близка по расстоянию и далека по достижению. Поезд приходил и уходил по одному разу в сутки. Телефонной связи не существовало. Поражал разительный контраст со столицей глубокой провинции, почти со средневековым укладом жизни. Керосину не было. Горели фитильки. С едою было затруднительно. Деньги, менявшие свой курс ежедневно, были не в спросе. В жизни деревни чувствовался, еще больше, чем в городе, конфликт между старым и новым. Старое из сознания не ушло, новое еще не привилось. Получалось впечатление «всех сбитых с толку». Но обо всем этом можно было думать в сгустившихся сумерках, при плохонькой керосиновой лампе в последующий длинный вечер.

Наутро же думы эти должны были уступить свое место заботе о больном человеке. Работы было много, врачей было мало — всего два, я третий. «Размеренный труд есть главный ключ к человеческому счастью», — сказал знаменитый Вильям Мейо. Это глубокая правда. В девять часов утра я начинал обход больных своего отделения, и это было всегда настолько содержательно, интересно и нужно, что я всегда шел на него с охотой. К 11 я приходил домой к завтраку. К этому времени Володя уже, обычно, был выбрит и одет, стол накрыт и хорошо сервирован. Подавали какую-либо кашу на молоке и кофе, а по воскресеньям горячий пирог. После завтрака, неспешного, но и не длительного, я уходил принимать больных. Прием был неограничен. Обычно бывал невелик, но бывал многолюден. Приема я не любил,

а все же в нем был свой интерес. К 2—3 часам дня я был уже дома. В 3 часа подавался обед. До 5 я читал, гулял, лежал, в зависимости от погоды и настроения. В 5 часов опять шел в отделение и оставался там по потребности, но не позже 8—9 часов вечера. В 9 часов подавался ужин, так же нарядно, как и обед. Вечер до 12 проходил по-разному. Если мы были с Володей только вдвоем, мы расходились по своим комнатам и каждый занимался своим делом. Так же было и при Александре Петровне². Но часто вечер проводили все вместе, или у камина, или у рояля, или на прогулке и балконе летом.

По четвергам в больнице был неприемный день, и зимою обычно я накануне уезжал в Москву и возвращался или вечером на следующий день, или утром в пятницу. Возвращался всегда с нетерпением и радостью, глубоко вдыхая чудесный алабинский воздух — полей и леса. Володя очень часто оставался один и тогда встречал меня вместе с нашей очередной Машею или Танею, и оба наперерыв сообщали мне события прошедшего дня. И как бывали уютны эти вечера «возвращения», с московскими новостями, новыми книгами и Володею, что-либо нарисовавшим, придумавшим или напроказившим. И как часто бывал я похож на евангельского мытаря, говоря: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как москвичи: не езжу на трамваях, ругаясь и толкаясь, не стою в очередях, не злюсь на всех и на вся за тесноту, грязь в квартирах и уборных, за невозможность попасть даже в баню».

Летом, обыкновенно, с нами жила Александра Петровна, Аня³ с детьми, приезжала Любочка⁴ со своими девочками. Сообщение с Москвою с каждым годом становилось удобнее, проще и скорее, и очень многие стремились погостить в Алабино не только летом, но и зимою. А я любил Алабино осенью и зимою больше, чем летом. К 1 сентября обычно кончался «дачный сезон», пустела усадьба, квартира чистилась и приводилась в зимний порядок. Чудесные запахи и краски осени сменялись белым покровом. Сколько изумительного в этой смене времен года! Сколько радости дарует нам природа! А в квартире, заставленной массой растений, горит камин, тикают часы, лежат грудями книги и рисует или режет гравюру на дереве Володя. И никогда, никогда нам не было ни скучно, ни одиноко. С годами флигеля усадьбы были отстроены и заселены, но дворец продолжал нести наказание за свое аристократическое прошлое. Чудесные кафельные печи в нем разбили ломами. Чугунных львов и сфинксов времен Екатерины свезли в «Главметаллолом», так же как и бронзовое надгробие работы Мартоса из церкви над усыпальницей Демидовых. Э, да что говорить! Страшны

невежество и темнота населения, но еще более страшны они у властей предержавших.

Комната Володи была совсем маленькая, в одно окно на юг. В ней стоял круглый стол, мягкое кресло и кровать. Обогревалась комната лежанкой и была очень тепла. Лежанку Володя разрисовал под кафель, на стенах развесил много гравюр. Выбирал он их с большим разбором, но редко оставлял их надолго, находилось еще что-нибудь лучшее, что и сменяло прежнее. Моя комната была вместе с гостиной, в ней стоял рояль, два дивана с креслами и масса другой мебели. Комната была в 6 окон — на запад и север по 3 окна и так велика, что я устраивал в ней одно время концерты и без тесноты размещал до семидесяти человек. В этой же комнате был и камин. У среднего окна на север росла старая мощная ель, на которой часто прыгали белки. У крайнего окна на запад росло чудесное «трепетное» дерево, на которое я так часто любовался в ранние утренние часы. «Трепетное дерево» — это осина, оклеветанная и связанная с предателем Иудой, — пример того, как бывает страшна и несправедлива клевета и как она переживает века. Две остальных комнаты квартиры были заняты столовой и Александрой Петровной. Кстати, о последней. Она, вместе с Володею, с годами составила мою семью. Мы ничем не были связаны с нею, кроме дружбы. У нее была своя крепкая семья, муж и дочери, с которыми она и продолжала жить. Но она тянулась и к нам и часто подолгу жила с нами. Володя прозвал ее «мадам де Алабино», признавал ее своею, был поверенным ее огорчений и тайн. Для всех окружающих положение Александры Петровны было не совсем понятно, но все считались с ним, вообще мало разбираясь в такой «семейке», как моя. Видели только, что все мы дружны, близки друг другу, заботливы, и начинали уважать, не спрашивая.

Как дома были любовь, уют, порядок, содержательная книга, хорошее общество и музыка, так в работе было много настоящего дела, истинного добра, успеха и признания. Володя не раз говаривал, что я «развел больных». Это было неверно. Это мы, врачи Петровской больницы, развели больных — доктор Славский, Громов и я. Начав с годового приема в 15 тысяч, мы довели его до 60 тысяч в год. Это была совместная, дружная и плодотворная работа каждого по своей специальности и своим наклонностям. Наши достижения были так велики, что нас затевали одно время сделать «участковым институтом». У нас проходили практику студенты и молодые врачи. Нами были созданы прекрасная лаборатория с реакцией Вассермана, рентгеновский кабинет, хорошая

медицинская библиотека. Число врачей из трех выросло до 15. Был введен сестринский уход за больными, а наши общие обходы отделений больницы с последующими конференциями были настоящей школой не только для молодежи, но и для нас — ведущих врачей. Словом, эти годы были годами расцвета больницы, и ее значение в уездной и губернской организации было очень велико. Врачебная организация Звенигородского уезда была сплочена и сильна не только профессионально, но и духовно. Во главе ее стоял врач Дмитрий Васильевич Никитин. Он долгие годы лечил Льва Толстого, Горького, много раз был зван в Москву в клиники, но говорил: «Там и без меня много врачей, здесь я нужнее». И 25 лет оставался в Звенигороде, пользуясь громадным авторитетом и как врач, и как человек. Его квартира холостяка, заваленная книгами, служила школой поведения и работы не одному поколению молодых врачей. Здесь накануне уездных санитарных советов решались все вопросы дела и этики. Назначались кандидаты, отмечались достойные, порицались виновные, и на всем сказывалось влияние высоконастроенной личности Дмитрия Васильевича. А после заседания подавался громадный самовар, незатейливая еда, а иногда и водочка. И все молодо, весело и непринужденно заканчивали вечер, часто распевая за полночь студенческие песни.

Заседания врачей губернских лечебниц происходили в Москве и носили другой характер. И здесь не было места ни склоке, ни подсиживаниям, ни дразгам, и здесь атмосфера была деловая. Старики земские врачи держали знамя высоко. Но уже потому, что заседания эти происходили в присутственном месте и в присутственные часы, они носили хотя и товарищеский характер, но более официальный, сухой. И вот не было тогда точной регламентации рабочего дня «от и до», не было никаких законов о труде, пугающих наказаниями, не было массы начальства, которое ловило бы тебя, следило за твоей работой и обследовало бы ее раз по 15 в месяц, а работа шла. Суждение и наблюдение товарищей было такою силою и таким двигателем, которых и неммыслимо было слушаться. Несколько лет я был в организационной комиссии врачей губернских лечебниц; ездил по всем лечебницам и видел и наблюдал, что значит товарищеский контроль.

Словом, ежемесячно эти выезды в уездный центр и губернский на совещания врачей, в этот орган самоуправления, были хорошею школою общественной работы. Они всегда давали направление в работе, учили этой работе, воспитывали и вместе с тем вносили разнообразие в однотонную жизнь какого-нибудь глухого врачебного участка. С 1928 г. начался

поход против этих врачебных организаций. Во главе здравоотделов поставили товарищей от станков, он «и швец, и жнец, и на дуде игрец», и лишь только потому, что он коммунист и все может. Потом спохватились, стали требовать хотя бы фельдшерского звания, но дело было сделано и жизнь посерела, потеряла свои краски. Дмитрий Васильевич Никитин был снят с работы в Звенигороде за подпись в протесте населения против закрытия церкви. Хирург Славский, умница, оригинальный мыслитель, член правления Пироговского общества и один из редакторов «Общественного врача», ушел еще раньше после ряда неприятностей «по профсоюзной линии» и уединился в свою «келью под елью», куда и устремился к нему народ. Печкин, Николай Николаевич, отличный хирург, изумительной чистоты души человек, талантливый музыкант, которого ценило и уважало население, тоже был снят по церковным делам. Э, да что перечислять, это было время переоценки ценностей, смены старых людей на молодежь, ей верили, старикам нет, и особенно старикам-вожакам. И соответственно этому процессу замещения мельчала жизнь, мельчала работа в Алабино, и много раз подумывал я о том, что пора бы и мне вовремя подобру и поздорову убираться восвояси. Да вот жалко было бросать дело, которое так горячо строилось, жалко было бросать людей, которые пели:

Белый дом, зелена крыша,
Там живет наш доктор Миша.

А нужно было бросать, и если бы бросил, то и жизнь пошла бы, и моя, и Володина, по-иному [...].

Помню Пасху этого [1930] года. Володя, Александра Петровна, профессор Игумнов и я. Квартира полна цветущих растений. Парадный пасхальный стол. Мы с Константином Николаевичем у заутрени. Чудесная церковь, нарядные ризы духовенства, слаженный деревенский хор и толпы подростков, врывающихся в двери храма и нарушающих благочиние службы. А вскоре затем закрытие храма, разбитые стекла, поруганный алтарь и «головокружение от успеха». Жизнь после некоторого взлета жестоко серела. Шла перестройка на колхозный лад. Деревня изнемогала от усилий освоить новые формы работы, быта, отношений. Кроме того, кругом Алабина сносился ряд деревень для нужд военного ведомства, и я никогда не забуду длинного обоза крестьянских телег со скарбом, стариками и детьми, в полном молчании перебирающихся на новое местожительство. И в жизни Петровской больницы давно кончился подъем и начался спуск. В сущности, в

это время я при ней был пережитком. Но «жизнь наша вовсе не наша и все в ней делается помимо нас». В сумерки под 1 мая разразилась катастрофа с Володею. По дороге на вокзал, в Скарятинском переулке его нагнала машина: «двое молодых людей попросили меня проехаться с ними. В руках у меня была чудесная рамочка, которую мне очень хотелось подарить Вам, Михотя, и мне было досадно, что я уже не могу этого сделать. А в остальном, Вы же знаете, как я люблю приключения». Комната в Москве после обыска была опечатана. Володя в течение недели был на Лубянке. С благодарностью вспоминаю «Политический Красный Крест» на Кузнецком мосту и до сих пор не понимаю, как позволено было существовать этой человеколюбивой организации. Многим она меня утешила, во многом скрасила жизнь Володи в Бутырках. Сколько раз в течение летних месяцев поднимался я по неприглядной лестнице в 3-й этаж тоже неприглядной квартиры, где несколько женщин, возглавляемых Екатериной Павловной Пешковой, творили свое доброе дело. Это они сообщили, где он, это они пересылали в сроки и без сроков передачи в тюрьму, это они могли сообщить хоть что-нибудь о здоровье заключенного и о ходе его дела, могли передать в нужные руки ходатайства и бумаги, смягчающие его судьбу. Они же сообщили и приговор и устроили свидание с ним. Бывал я, конечно, и на передачах в самой Бутырской тюрьме. С раннего утра занималась там очередь, в определенные дни по буквам алфавита. Трепетная толпа, объединенная одним горем, толпа не рынка, не зрелища, а тюрьмы, облагороженная любовью и страданием. Там были рады уж тому, что брали передачу ему и от него передавали мешочек с грязным бельем. Значит, «он на месте еще и здоров, ибо в больницу передачи не брали». И сколько было там примет благоприятных и неблагоприятных, и сколько было там опытных и знающих толкователей этих примет! В декабре кончилось Бутырское пленение Володи и началось Кемьское. Это было на много сотен километров дальше от Бутырок, но ближе по связи, по возможности обмениваться письмами. Началось житье ими и посылками ему. В этом, по существу, и прошли два года в Алабине — 1931 и 1932 гг.

Расскажу попутно историю еще одной жизни.

«30 мая 1931 г. Многоуважаемый Михаил Михайлович! Шлю Вам привет из Наро-Фоминской больницы. Лежу в разном бараке. Чувствую себя плохо. Все болит, а особенно левый бок. Температура повышена. Просила дать мне бумагу о моей болезни и нетрудоспособности, но мне ответили — «пока полежите». Сердце мое все истерзалось. Осталась я од-

на. Дуню, наверное, пока я в больнице, угонят, как угнали уж многих. Боюсь, как бы Антонию без меня не взяли. Взойдите в мое положение! Что буду я делать одна, когда не в состоянии понести и 5 фунтов. Хотя бы Вы что-нибудь мне написали и с кем-нибудь ручно передали. Письма и посылки в больницу передают, но личного свидания не разрешают. Может быть, Вы увидите Антонию. Скажите ей, чтобы она прислала мне молитвенник и Часослов маленького формата. Неизвестность хуже всего. Буду ждать от Вас какого-нибудь слова. Не забывайте меня, находящуюся в большом горе и всегда Вас уважающую. Игуменья Афанасия».

В 1925 г. на Пасхальной неделе пришла на квартиру ко мне монашенка, низко поклонилась и передала мне просьбу от сестер Зосимова монастыря навестить их больную игуменью. Лестные слухи о ней доходили до меня давно. В 1923 г. в «Известиях» был «подвал» о ней, как о человеке, наследственно расположенном управлять и властвовать. Игуменья Афанасия была из богатой московской купеческой семьи Лепешкиных. Дед ее, Лепешкин Иван Логинович, построил Зосимов монастырь на свои средства в 40-х гг. прошлого столетия. И что скрывать, мне давно хотелось и в монастыре побывать, и игуменью повидать, так что эта просьба шла навстречу моему желанию и я охотно назначил день моего визита. Через несколько дней, у опушки леса, на уединенной платформе, ждала меня приличная пролетка со стариком кучером на козлах. Дорога по лесу, местами еще покрытая снегом, была ужасна. 5—6 верст мы ехали около двух часов. Вот уж действительно пустыня — ни пешком, ни на колесах не добраться: болота, кочки, заросли, дороги никакой. Наконец показались башни и белые стены монастыря. Подъехали к «святым воротам». Монастырский двор-кладбище был необширен, тих и пустынен. В центре стоял небольшой белый храм, окруженный надгробными крестами, кое-где с горящими лампадами. По мосткам прошли к игуменскому корпусу, где меня встретила маленькая, согбенная старая монахиня, ласковая и приветливая. В корпусе стоял какой-то давний, уютный запах древней мебели, печёного хлеба, ладана. Тикали часы, и стояла ничем не нарушимая тишина. Монахиня пригласила меня к столу откусать, а сама пошла доложить игуменье о моем приезде. Попросили меня к ней не вдруг. Я, что называется, был прилично выдержан. Ну, а затем, поднявшись во второй этаж по внутренней лестнице, я увидел на белоснежной постели, у чудесного ковра на стене, красавицу игуменью в белом апостольнике, большеглазую, черноокою, не молодую, но и не старую, нет, а очень моложавую, с

прекрасным цветом лица. Держалась она величаво-спокойно, говорила чуть-чуть нараспев, с низкими контрольными нотами. Ближайший угол и стена были заняты образами. У большого распятия горела лампада и стоял аналой. И тут я себе ясно представил сцену, о которой мне рассказывали раньше: «Игуменью Афанасию пригласили быть на заседании уездного исполнительного комитета. Происходило заседание в клубе, на сцене. Игуменья пришла в сопровождении своей келейницы, строгая, стильная в своем монашеском одеянии и красивая. Кто-то из исполкома, нарушая неловкость, внесенную ее появлением, стараясь шутить, сказал, указывая на портрет Маркса: «А вот, матушка игуменья, Маркс. Он является, собственно, учеником первого социалиста — Христа». Мать Афанасия обвела неторопливо сцену глазами и ответила: «Вот портрет ученика вы поместили здесь, а почему же нет портрета учителя?»»

Здоровье игуменьи оказалось в очень плохом состоянии. Двадцать семь лет жила она в этом монастыре, в сыром лесу, в болоте, с давней малярией, лихорадила годами, не лечилась, и это разрушило ее организм. Семнадцати лет, после института и уроков музыки у знаменитого Пабста, пришла она сюда и с тех пор почти не выезжала. Я сказал ей, не скрывая, о ее положении и предложил на ближайшее лето выехать в другое место и попытаться подлечиться там. Требование было жестоким. Обстановка с монастырем бы сложна и внешне, и внутренне. Но это нужно было сделать, если она хотела жить и работать. А она хотела и того и другого. В монастыре было до 300 человек сестер, в том числе 60 беспомощных старух. Всех их нужно было прокормить, отопить, одеть, обуть. Только последние три-четыре года монастырь, после революционных потрясений, вновь оправился и перестал голодать. Но счастье это было непрочным. Политика и в центре, и на местах клонилась к новым и новым ограничениям монастырских порядков, и нужны были бдительность, неусыпность и внимание, чтобы как-то держаться, как-то спасаться, как-то лавировать. Поплакала игуменья, погоревала, и все это сдержанно, с ясным сознанием огромной ответственности за 300 душ, и отпустила меня, не дав ответа. Однако в дальнейшем ухудшение здоровья заставило ее смириться. В Алабино было сухо, солнечно, дачу можно было снять, больница и я были рядом, и мать Афанасия решила на лето переселиться «под мою руку». А я взял на себя ответственность поднять ее на ноги. Это была трудная задача, но Бог помог мне, и моя больная к концу лета настолько поправилась и окрепла, что могла вернуться к себе и приняться за свои дела. А мы стали друзьями.

Сколько раз потом бывал я в монастыре, в его тихой ограде, на его вечерних и утренних службах. Бывал с наслаждением и уважением к женщинам, создавшим чинное благолепие церковного служения, крепкую рабочую общину, широкую благотворительность, благородное и благотворное влияние на окружающее деревенское население, но... «Монастыри должны быть разрушены».

Уж я не помню, в котором году, в 1929 ли, в 1930 ли, игуменья Афанасия должна была покинуть монастырь и переселиться в Алабино. Взяла она с собою старушку, мать Антонию, которая состояла при ней с первых дней монастырского ее жития, и послушницу Дуню — молодую крепкую женщину, очень к ней привязанную. И зажили эти три человека, уж совсем на моих глазах, крепкою жизнью верующих людей. Игуменья Афанасия правила всю дневную службу, молилась и являлась умственным центром этой маленькой общины. Она же, вместе с матерью Антонией, стегала одеяла. Дуня выполняла более тяжелую работу и служила для сношения с внешним миром. На первую и последнюю неделю Великого поста двери их жилища закрывались для всех. Это были дни молитвенного труда и молчания. Ну, зато и праздник Воскресения был праздником истинно воскресшего Христа. И на фоне общей растрепанной жизни, суеты, безверия, мечущихся и беснующихся людей их маленькая утлая община была оазисом. О всем их окружении можно было сказать словами Данте: «На Бога не восстали, но и верны ему не пребывали. Небо их отринуло и ад не принял серный, не видя чести для себя в таких». И только они одни, в поле моего зрения, были исключением из этого круга людей, и только они были мужественны. Их все побаивались, к ним ходили за помощью, за советом, за утешеньем, но ходили в сумерки, вечером, ночью, чтобы меньше видели, меньше сказали. Они же ни к кому не ходили, потому что боялись с собою принести и подозрение, и кару на ту семью, где бы они побывали. Не знаю, кто сказал, что «ошибаться заодно с большинством не оправдание, ибо умножение заблуждения еще более пагубно». Эти три женщины сумели не поддаться массе, толпе и сохранили свое лицо, свою веру до конца. Они не умножили собою заблуждений, ибо знали, что оно пагубно.

В первый день Троицы 1931 г. я пришел к игуменье Афанасии, зная, что у нее праздник, что она по-праздничному бездеятельна и что она будет рада мне. Нашел я ее в десяти шагах от ее дома в небольшом перелеске. Она только что закончила очередное воспаление легких, была слаба, и все ее радовало в ее возвращении к жизни. Стоял чудесный день,

жужжали пчелы, пахло лесом. Божий мир стоял во всей своей красе. А через час, когда я ушел, пришла грузовая машина, привезла оперативных работников НКВД, те перевернули жилище, обыскали его, ничего не нашли, конечно, и забрали игуменью Афанасию с собой в районный центр, Наро-Фоминск. Вот оттуда-то, из больницы, и послала она мне свое письмо. Развязка наступила очень скоро. Через несколько дней игуменю Афанасию выслали на поселение в Среднюю Азию. Дуня уехала с нею, так как она все эти дни не отходила от больницы, дежурила там и упросила выслать ее вместе с игуменией. На второй день по приезду на новое место жительства скончалась игуменья Афанасия. На следующий день скончалась Дуня. Их погребли в одной могиле.

Словом, нити, привязывавшие меня к Алабино, рвались одна за другой, и, относись человек вдумчивей к своей собственной судьбе, он мог бы избежать много печального, но нужны вдумчивость и сосредоточенность такие же, какими, предположим, наделены были Оптинские старцы. Они часто видели вперед, как нужно поступить и что должно сделать тому или другому человеку, и часто предостерегали от того или иного пути. Мы этого не можем, ибо знаки судьбы всегда скрыты, всегда неясны, предостережения отдаленны и нужно быть мистичным, чтобы их уметь разгадывать. В мистике есть своя истина, и ее не видят только те, кто не хочет или не может видеть.

Уж после отъезда Володи в Кемь в Алабино стали наезжать один за другим четыре брата Коншиных из известной семьи серпуховских Коншиных. Прижились и тесно вошли в круг моей жизни Сергей и Анатолий Николаевичи — два младших брата. Сергей, музыкант, милой души парень, дельный, живой и веселый, приезжал чаще всех. И вот нет Сережи неделю, нет две. Случилось это уже к концу 1932 г. Нет его и до сих пор. Николай — старший умер в Соловках. А Сережа и поныне томится в лесах за бухтой Нагаево — это за разговор и свидание с англичанином — бывшим директором Коншинской фабрики. Жутко становилось жить в Алабино. Но казалось, что и всем жутко, казалось, что:

Глухо всюду, темно всюду,
Что-то будет, что-то будет.

Так вот, с такими переживаниями потерь и утрат закапчивался 1932 г. Зимними вечерами один в своей чудесной и опустевшей квартире в Алабино сидел я или за письменным столом, пытаюсь, уже тогда, писать книгу о Володе, или у камина в большом кресле, читая «Историю народа Израиль-

ского» Ренана и книги по раннему христианству и истории религии. Уже тогда-то я ясно чувствовал назревающую перемену в моей судьбе, но заранее слепо покорялся ей. Годы по десятилетиям в моей судьбе были для меня годами перемен. Родился я в 1882 г. В 1892 г. поступил в уездное училище. В 1902 г. сдал экзамен на аптекарского помощника. В 1912 г. бросил военную службу и поехал в клинику. В 1922 г. бросил службу на флоте. Предстояла и теперь какая-то перемена в жизни. Какая только? А я и не гадал. Я не был занят собою. «Мое сердце было не здесь, мое сердце было не здесь!»

Я жил по инерции для себя и активно для помощи Володе. Так наступил 1933 г.

ТЮРЬМА

(18 февр.—4 окт. 1933 г.)

Встретили мы 1933 г. у меня в Алабине. Собрались: Аня со своими, Абрам Эфрос с женою и сыном, д-р Славский К. Г., Людмила Нифонтовна⁵ и Сережа Симонов⁶. Всего со мною 12 человек. Никто никуда не спешил, все оставались и на следующий день. После ужина засиделись допоздна у камина. Слушали игру на рояле Сережи, разговаривали. В комнатах было тепло, душисто, нарядно, и слова наши звучали в унисон с обстановкой. Все отдыхали от жизни и своих забот, все дышало миром, разнообразием интересов, достаточной культурой.

Под старый Новый год приехал К. Н. Игумнов. Кроме никого не было. Горел камин. Пустела бутылка вина. Во втором часу ночи К. Н. сел за рояль и закончил свою игру «Колыбельной песней» Чайковского: «Ветра спрашивала мать, где изволил пропадать...»

А в начале февраля стало известно, что арестован д-р Дмитрий Васильевич Никитин. Спустя неделю та же участь постигла Николая Николаевича Печкина. Я побывал у родных арестованных, ничего от них не узнал, ибо и они ничего не знали, а 18 февраля, часов в 6 утра стук в двери внизу, на лестнице и затем испуганный шепот Маши: «Милиция требует открыть двери». — «Откройте». А сам стал одеваться. Через минуту ко мне в комнату вошли два «чина» с завхозом больницы и, взглядываясь в обстановку и мое поведение, заявили о своем праве на производство у меня обыска. Продолжая одеваться и не проявляя беспокойства, я попросил показать мне ордер, а затем предложил им приступить к «делу». «Чины» слегка замялись, не зная, откуда и с чего начать, а затем «занялись». В большое удивление привел их словарь Эфрона и Брокгауза: «Неужто вы прочитали все эти книги,

Михаил Михайлович?» И начали их перелистывать. Между тем Маша подала чай. «Чиnam» очень хотелось чайку, и я предложил им его, но они, замаявшись, по долгу службы отказались. Приехали они из Нары, откуда столько больных ехало ко мне. Конечно, они знали меня, и, надо отдать им должное, им было совестно меня и неловко. А я, сидя с книжкой на диване, читал ее и не читал. Внутренне собранный, окаменевший, я наблюдал, как они перебирали мою переписку, просматривали ящик за ящиком письменного стола и, подавленные количеством книг и рукописного материала, решили забрать последний весь целиком, для чего послали завхоза за мешками. Обходя комнаты, они дошли до картины академика Бронникова «Гимн пифагорейцев». О ней в 1876 г. писал в своем «Дневнике писателя» Достоевский. Картина остановила их внимание на себе. Они смотрели, молчали, и, наконец, младший сказал: «Эх, расстрелять бы их всех, сукиных сынов!»

Найдя большую пачку квитанций на посылки и переводы Володе в Кемь, «чины» насторожились. Вот, подумалось, верно, им, «настоящее». Они ухватились за нее, перебрали, отложили отдельно в сторону и спросили объяснений. Так шло это «дело» до 12. Я позавтракал, собрал белье и необходимую еду в рюкзак и портфель. «Чины» написали протокол обыска, наполнили два больших мешка перепискою, фотографиями и книгами и затем объявили мне, что они должны на несколько дней арестовать меня и увезти в Нару. Я попросил их закрыть и опечатать квартиру. Маша вынесла несколько самых ценных растений в другое помещение. Я же, окинувши глазами комнаты, где я прожил десять лет и попрощавшись с Машей, стал спускаться по лестнице. «Чины» хотели, чтобы я помог им нести мешки, но я отказался, сказав: «Что мне нужно, я несу, что же нужно вам, уж потрудитесь сами». И они понесли.

Был воскресный день. По дороге на платформу и на платформе была масса народу, приехавшего ко мне на прием. Но никто не подошел ко мне и никто не сказал мне слова приветствия. В Наре, по дороге в районное ГПУ, навстречу мне попались: сначала женщина с полными ведрами воды, а потом несли покойника. Я счел эти две встречи хорошим предзнаменованием. В ГПУ последовала очень короткая беседа с начальником, предварительно повидавшимся с моими спутниками. Он спросил меня, как вели себя агенты, производившие обыск. Я ответил: «Отлично. Они были вежливы и лишнего ничего себе не позволили». В глазах начальника я прочел участие к себе и жалость.

Затем повели меня в узилище. Я шел впереди, за мною шел милицейский. По дороге он спросил меня тихо, не нарушая дистанции: «Батюшка, Михаил Михайлович, да за что ж это вас?» — «Не знаю, — ответил я, — еще не сказали». В узилище ввели меня в камеру № 5. В коридоре и в камере встретили меня возгласами удивления, привета и уважения. Народ оказался все знакомый — крестьяне из окружающих деревень. Это был разгул применения закона от 7 августа 1932 г. «О неприкосновенности священной социалистической собственности», когда давали по десяти лет за десяток яблок, подобранных в колхозном саду, и за килограмм манной крупы, украденной в кооперативной лавке. Отношение к наказанию, срокам и собственной вине было явно несерьезное. Проглядывала усмешка, и настроение в камере было неплохое, дружное и бодрое. Сношения с внешним миром были налажены. Под низенькое оконце камеры подходила то одна жена, то другая, выпускали повидаться и на волю. Все, и сидящие, и охраняющие, были знакомы между собою или связаны через знакомых. Конечно, некоторый осторожный этикет и режим соблюдались, но они не были страшны.

Вечером, после уборки, когда нас заперли, началась «самодеятельность» в развлечении. Я рассказал о происхождении земли и человека на ней, а старик крестьянин очень удачно рассказал сказку о том, что там, где есть Бог, там есть и черт. «Жил-был кузнец, он верил в Бога, верил и в черта. Входя по утрам в кузницу, он сначала молился на образ, а потом, оборачиваясь к двери, на которой был нарисован черт, говорил: «Здравствуй и ты, чертушка!» Так и жил он в ладу с Богом и чертом и жил хорошо. Сыну кузнеца не нравилось это, и, когда отец умер, он, молясь образу, оскорблял черта и бил по его изображению молотком. И через это стал он жить все хуже да хуже. Работы становилось меньше, работа не ладилась. И вот, как-то поутру, приходит к нему наниматься молодой парень. «Возьми да возьми меня». — «Да мне и самому делать нечего», — отвечает кузнец. «А ты возьми меня, увидишь, работа будет». Взял его кузнец. И действительно, пошла работа. И стал кузнец богатеть, и ехали к нему со всей округи. И слава о нем пошла, как о хорошем кузнеце. И вот в это время зашла в кузницу нищая старушонка милостыню попросить, а парень схватил ее, положил на горн, раздул огонь и сжег старушонку. Одни косточки остались. Испугался кузнец и говорит: «Да что же это ты наделал! Засудят нас теперь, затаскают, пропали мы». А парень в ответ: «Не бойся, хозяин, пойдя принеси по кувшину молока и воды». Принес кузнец, а парень попрыскал косточки водою,

а потом молоком, и обросли косточки мясом, и появилась пригожая молодуха, кланяется в пояс и благодарит, что ее омолодили. И пошла работа пуще прежнего, и дошла слава о кузнеце до самого царя. И привезли его к кузнецу — старого-престарого — в золотой карете, чтобы кузнец омолодил его. А кузнец испугался, руки и ноги у него задрожали, и ни за что не решается он поступить с царем, как со старушонкой. А парень отозвал кузнеца в сторонку и говорит: «Не бойся, хозяин, все будет в порядке, делай, что я тебе прикажу». И омолодили они царя. И вышел из него такой бравый молодец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. По-царски наградил царь кузнеца и отъехал к себе во дворец. А парень тут же и говорит кузнецу: «Ну, хозяин, теперь ты богат, делать мне у тебя нечего, прощай, живи хорошо». И как ни упрашивал его кузнец остаться — не остался. И исчез, как пришел, неизвестно куда, неизвестно откуда. А тем временем царь вернулся к своей царице, а она старая-престарая, не пара ему. И повезли царицу к кузнецу за молодостью. И как кузнец ни отговаривался, а пришлось ему, под угрозой смерти, положить царицу на горн, разжечь огонь, сжечь ее, а вот сколько не брызгал потом кузнец молоком и водою на кости, ничего у него не выходило. Были кости, и есть кости, а царицы нету. Тут и понял кузнец, кто таков был его работник. Подошел к двери, поклонился изображению черта в пояс и сказал: «Помоги, чертушка, вовек не забуду твоей милости». И, как из-под земли, вырос парень и говорит: «Что, испугался, хозяин? Дело поправимое». Побрызгал косточки, и появилась царица, а когда она уехала, сказал черт кузнецу: «Ну, теперь будешь знать вперед, что не только нужно жить в ладу с Богом, но и с чертом».

Утром, после уборки и чая, состоялся замечательный концерт на гребешках, в самый разгар которого меня вызвали и повезли в Москву. В вагоне мы сидели с моим провожатым, как не имеющие дела друг с другом. В Москве сели на трамвай и доехали до Лубянки, 14, где так приветливо и нарядно, в глубине усадьбы стоит двухэтажный барский особняк барочного стиля. Внутри особняка все было выложено. В верхних этажах пристроенного к нему громадного дома все поражало чистотой. Провожатый оставил меня с моими мешками в коридоре, но несомненно, что я своим видом и багажом нарушал строгий стиль этого дома и, кроме того, мог увидеть и услышать то, что мне не полагалось, и меня скоро убрали в один из многочисленных кабинетов, выходявших дверями в коридор. Просидел я там с 3 до 7 вечера, когда меня позвали к следователю. Следователь, «товарищ Гим-

мельфарб», молодой человек, начал свое дело вступительным словом «о полном моем признании и разоружении», обещающая в этом случае возможные милости и угрожая, в случае заpiresательства, тяжелыми последствиями. Я был в самом искреннем недоумении, о каком признании и каком преступлении шла речь, но Гиммельфарб не верил мне. Он дал мне бумагу и перо и настаивал на письменном изложении моего раскаяния, которое, по его мнению, должно было охватить меня, раз я попал к нему. Я же и не брался за перо, не зная, что писать и что нужно, чтобы я написал. Во время этих препирательств вошли к нам в кабинет еще двое: один похожий на Анатэму⁷, — старший следователь Рогожин, — и совсем начинающий — Оленцев. Гиммельфарб, с плохо разыгранным возмущением, обратил внимание Рогожина на мое заpiresательство, и последний обрушился на меня «матом» и кулаками. Все было рассчитано на то, чтобы оглушить, огорошить криком, угрозами, оскорблением. Первую минуту я пытался что-то сказать, остановить этот поток брани, но тут же понял, что это ни к чему, и замолчал. Набесновавшись, Рогожин ушел, и вслед за ним изящно и легко вошел старший рангом Якубович — эlegantный, вылощенный, вкрадчивый. Приемы этого были другие. Он начал с того, что, взглянув на меня, стал припоминать, где он со мною встречался. Спросил фамилию и затем рассыпался в комплиментах, говоря о моей популярности, о том, что я в Алабине «царь и бог», и закончил замечанием для Гиммельфарба, что я тонкий враг, с которым нелегко, по-видимому, будет справиться. После его ухода продолжалось наше сиденье с Гиммельфарбом. Ему явно наскучило убеждать меня. А я не ел больше суток, устал и был полон новых впечатлений и новых откровений в жизни. Мне хотелось закрыть глаза и забыть хоть на мгновение о том постыдном, чему «свидетелем Господь меня поставил». Но этого было нельзя. Гиммельфарб требовал от меня открытых глаз и признания, то уговаривая, то угрожая холодной и жаркой комнатами и еще чем-то, неведомым и страшным. И тут же звонил по телефону своей даме сердца, по-видимому машинистке, уговаривая ее никого кроме него не любить и убеждая ее в своей верности навек. Так тянулось это, нудно и трафаретно, до 2-х часов ночи, когда, наконец, Гиммельфарб при мне позвонил Рогожину и сказал ему: «Семь часов, а добиться ничего не могу». Выслушав ответ, он приказал мне идти за ним, причем в последнюю минуту разыграл ко мне, не хотящему разоружиться, чувство гадливости честного революционера к подлому «к-р»⁸. И, как ни слабо было это сделано, это не смешило тогда, а оскорбляло.

Шли мы долгими лестницами вниз до подвала, где помещался «собачник». Так называлось помещение на языке арестованных, куда приводили их с воли. Здесь Гиммельфарб сдал меня приемщику, а последний запер меня в камере, где было уже несколько человек. Все лежали в верхнем платье на асфальтовом загаженном полу. Я постлал газету и лег на нее. Не успев я задремать, как меня вызвали в коридор и приказали «раздеться, как в бане». Обыскавши белье и платье и осмотревши мое тело, приказали одеться и свели в маленькую одиночную камеру, где я тоже лег на пол и только начал дремать, как опять был позван и сведен в душ и дезинфекционную камеру. Вода, как всегда, произвела на меня отличное действие. Она вернула меня мне, успокоила и единственно была частью прежней моей жизни. «В подвал А, камера З», — услышал я, когда меня повели из душа. Прошли через маленький двор, спустились вниз, вошли в коридор, открылась и закрылась дверь камеры. Первое впечатление тепла и даже уюта. Пять человек, бывшие в камере, проснулись, перекинулись со мною несколькими словами. Я постлал свою газету на пол, лег и только что успел опять задремать, как раздался сигнал к вставанию и уборке. Было 6 часов утра 20 февраля. Дневной свет в камеру из оконца под потолком проникал очень слабо, и освещалась она непотухающим электричеством. Камера была мала, в ней стояло 4 койки; двое дополнительно помещались на полу. Матрацы на день свертывались, ложиться днем запрещалось. Ходить было совершенно негде, и все сидели на оголенных кроватях. Ни одеял, ни простынь, ни подушек не полагалось. Заключены в камере были: известный профессор церковного права Гидулянов, два агронома, из которых один подозрительно был поставлен в привилегированное положение (книги, свидания, другой стол), почтенный доктор А. Н. Краевский из областного московского института, как оказалось потом из нашего разговора с ним, привлеченный «по нашему делу», и очень вежливый, в прошлом лицеист, а теперь фотограф из Серпухова. В 10 часов утра меня вызвали к следователю. «Занимался со мною» Оленцев. Несомненно, он натаскивался на мне, приобретая профессиональные навыки. Был неловок, излишне развязен, глуп. Я не стал вовсе разговаривать с ним. И он, с плохо разыгранным гневом, отослал меня. Вернувшись в камеру, я стал расспрашивать Краевского, что значит весь этот дурной сон. И он ответил мне, что так же мало знает, как и я. Но с него требовали признания в участии «к-р» врачебной организации, и он «признался». Остальные в камере тоже подтвердили, что другого выхода нет и быть не может.

Для чего «это» нужно, никто не знает. Но что «так нужно», все знают. «Вас будут допрашивать и мучить все равно до тех пор, пока вы не признаетесь. Проще сразу написать, что им нужно. Не путайте только людей лишних в это дело, а ограничивайтесь теми, кто уже признался». А профессор Гидулянов сказал: «Я написал вчера у следователя роман и об одном просил его, чтобы никому из моих товарищей и знакомых этого романа не читали и не показывали». Я слушал все это, верил им и не верил, до того чудовищным казалось все это, и, наконец, освоил и поверил. И когда настала ночь и я только что уснул и меня вызвали к следователю, я пошел с ясным намерением — написать и признаться. Пенсне мое при обыске отобрали. Гиммельфарб достал из своего стола несколько пар пенсне и с большою услужливостью предложил выбрать подходящее. Я сел писать. Но о чем и что писать? Врачебных знакомств я никогда не поддерживал и ни у кого из врачей не бывал. У меня в Алабине кроме Печкина из врачей тоже никто не бывал, да и последний приезжал скорее не ко мне, а на могилу своей дочери. Нужно же было быть членом периферийной врачебной «к-р» организации, которой руководили д-ра Печкин и Никитин, работавшие в Москве и связанные с центральной организацией. Я написал правду о своих взглядах, о том, что я не одобрял политику Советской власти к церкви, религии и интеллигенции, и написал ложь о своем пребывании в «к-р» организации. Последняя вышла очень слаба за отсутствием какого-либо фактического материала и лиц. Гиммельфарб почитал это, поправил мой черновик, даже старался помочь мне, и к 6 часам утра на двух страницах обыкновенного писчего листа признание мое было готово. Когда я вернулся в камеру, лечь спать уже не пришлось. В 10 часов утра меня снова вызвали к следователю. Опять Оленцев. «Написали филькину грамоту, кому она нужна». Разговор был недолог. Мы разошлись на «Пушкине», и Оленцев сердито приказал отвести меня обратно. Ночью вызов к Гиммельфарбу. Он получил новое назначение и потерял всякий интерес ко мне. Но тем не менее его беспокоила моя «исповедь». По-видимому, ему попало за нее. Особый интерес на этот раз к доктору Д. В. Никитину и к его пребыванию за границей у Горького в Сорренто в зиму 1931—1932 г. и свиданию с дочерью Льва Толстого Татьяной Львовной Сухотиной в Риме. Я правдиво передал, что слышал в свое время от Дмитрия Васильевича. Все было просто, без заговора и не контрреволюционно. Привели меня обратно не в прежнюю камеру, а в четвертую, уже не в подвале, светлую, просторную, и мне стало ясно, что посадили меня в каме-

ру № 3 для «обработки» и для того, чтобы проверить мои отношения с Краевским. В камере № 4 я сутки пробыл вдвоем с ученым секретарем и библиотекарем Комиссии содействия ученым Остроуховым. Этот маленький, худенький человек, лингвист и настоящий интеллигент, начертал по камере маленькие крестики, ограждая ими себя от всякого зла. Он же читал молитву Господню по-латыни, по-гречески, по-немецки, по-французски, по-славянски и по-русски. Мы с ним отлично поговорили, и я отдохнул и отдышался с ним до того, что поплакал немного. На следующую ночь к нам подсадили инженера-поляка и помначальника пищевой группы ГПУ Алексеева. Последний, прекрасно одетый, брезгливо посмотрел на нас и наши постели без простынь и подушек. Постелил белоснежный носовой платок под голову на матрац и лег, не снимая верхнего платья. Он ждал, что его вот-вот позовут, что это недоразумение, ошибка. Но прошел день, два, три, неделя, а его все не звали. От лоска, брезгливости и самоуверенности не осталось и следа. Он оказался простым и добрым парнем, в прошлом приказчиком аптекарского магазина, знатоком церковной службы и всех московских хоров и дьяконов. Потом был артиллерийским солдатом, наконец, коммунистом и сотрудником ГПУ. Так четверо и сидели мы по 13 марта, прислушиваясь к тишине коридора, все ожидая вызова, разговаривая вполголоса. Особенно «сторожки» были ночи. Это был сон и не сон. Малейший шорох заставлял нас открывать глаза и поднимать головы. День же мы сидели на наших постелях, и я играл роль Шахерезады, нескончаемо рассказывая о прежде читанном, виданном, слышанном. За это время я получил передачу и опять всплакнул. А весна становилась все ощутимей, и хотя окно наше было закрыто снаружи щитом, но солнышко все же проникало к нам и слышны были капли и буйное щебетанье воробьев. В душе вначале жило ожидание чуда, и оно должно было совершиться вот-вот. Но проходили дни, прошла масленица, наступил Великий пост — чудо не свершалось, а нарастала усталость ожидания и досада на каждый «просроченный день». И вот 13-го вечером: «Мелентьев!» Вызов к следователю. Вместо еврея Гиммельфарба — еврейка, дама-девица, не молода и не стара, курит, суха, с дурным цветом лица, резка в движениях, в речи, неприятна. Сразу же потребовала написать, какие цели преследовала наша периферийная «к-р» группа. У меня от волнения пересохло во рту. Я сидел, молчал и чувствовал полное бессилие что-либо написать. Тогда она бойко, по готовому трафарету, набросала «о нашем недовольстве» и наших «намерениях». И так как здесь была одна фантазия и ни

одного факта и ни одного лица, я, потребовав исключения некоторых явных несообразностей, подписал ею написанное, после чего был отпущен с заявлением о предстоящей ночной беседе. В 12-м часу шепотом, как всегда: «Мелентьев, с вещами!» Ухнуло сердце. Дрожащими руками свернул узелок. Прощаюсь. Общий голос: «Домой!» А у самого надежда и сомнение. А двери не открываются и меня не зовут. Так идут часы ожидания и полудремы. И только под утро: «Давайте с вещами!» И стало почти ясно — не домой, а в Бутырки.

Вышел на воздух. Серело утро. Просыпались воробьи. От воздуха закружилась голова, а впереди раскрытые двери «черного ворона». И впервые отчаяние, безнадежное отчаяние: за что? В «вороне» отдельная каморка. Темно. Трудно и нечем дышать. Долго стояли на месте, потом трогаемся. Повороты, езда прямо. Не видно ничего. Остановились. Кого-то выводят. Открылась и моя дверь. Провели в «вокзал Бутырок». Было 6 часов утра 14 марта.

Просторный приемный зал Бутырок был полон шума и движения. Толпа женщин со швабрами, тряпками и громкими разговорами занималась уборкой. Меня заперли в маленькую боковую камеру, и я тут же уснул. Разбудил меня врач. Избегая встречаться глазами и сразу поставив перегородку между собой и мной, он посчитал мне пульс, спросил, не жалуясь ли я на свое здоровье. Я поблагодарил и сказал, что я здоров. Затем меня обыскали, и у старого простого человека, производившего это, я заметил сочувствие в глазах и деликатность в его манипуляциях. После душа меня опять заперли одного, а затем вывели с «вокзала», провели двором, ввели в неприветливый коридор с выбитым асфальтовым полом и остановили у камеры № 44. Было 4 часа вечера. Щелкнул замок. Дверь открылась, я шагнул и только что хотел с удивлением и ужасом спросить провожатого, туда ли он привел меня, как дверь уже захлопнулась, а из табачной мглы и людского месива раздалось: «Сто четвертый!» — «Здравствуйте», — сказал я громко. Мне ответили приветствием и вопросом, кто я? — «Врач!» — «А идите-ка сюда». Это позвал меня известный акушер в Москве, старик Александр Михайлович Бедняков. Камера, рассчитанная на 24 человека, была переполнена до отказа. На нарах, шедших с обеих сторон от двери до противоположной стены с двумя окнами, помещалось человек 40. Остальные толклись в проходе между нарами. Часть проводила свое время под нарами, что называлось «под юрцами». Первое впечатление было страшное. Электрическая лампочка без абажура, горевшая день и ночь, была окружена ореолом табачного дыма

от испарений громадной «параши» и человеческого дыхания. В камере стоял непрерывный гул голосов, топота ног, покрываемый руганью и «матом». Дышать еще было возможно поближе к окнам, у двери же люди задыхались и требовали держать окна открытыми. Обитавшие же под окном замерзали, боялись простуды и окна закрывали. На этой почве несколько раз в день происходили жестокие схватки. Во главе камеры был поставлен выборный староста. Власть его была неограниченна. Вся жизнь камеры регламентировалась им. Очередь на места в камере наблюдалась строго. Начинать надо было от дверей, у «параши», и, по мере выбывания кого-либо, понемногу продвигаться вперед. Средний срок достижения места на нарах ближе к окнам определялся в два месяца. Никогда и нигде раньше в жизни я не наблюдал такой власти куска хлеба, как в камере. «Пайка» в 300 грамм черного хлеба, при очень скудной остальной еде, была явно недостаточна, и те, кто получал передачи и мог отдать свою «пайку», мог купить за нее обслугу по камере, уборку и вынос «параши», купить место на нарах, купить место у окна, оплатить ею починку вашего платья, стрижку и бритье наточенной нечеловеческим упорством пряжкой от брюк.

Первые две ночи я ночевал «под юрцами». Страшна до того отчаяния была первая ночь: заплеванной и выбитый асфальтовый пол, трудность подлезания под низкие нары, невозможность там, за теснотою, лежать на спине — все было страшно. Но и это место я получил предстательством Беднякова. К третьей ночи освободилось место у стола под окнами. Его избегали из-за холода. Я не побоялся. Через три дня я лежал на столе, а на 10-й день был на нарах, недалеко от окна. Сделал я такую блестящую карьеру потому, что прочитал с успехом несколько лекций и получил передачу, вследствие чего мог устраивать комбинации со своею «пайкою».

Народ в камере, что называется, был с бору и с сосенки, и в этом состояла громадная трудность внутреннего порядка и внутренних отношений. Сидели: протоиерей, академик и археолог Борис Федорович Колесников, державшийся на высоте своего сана и служения; профессор Иван Иванович Лавров — путеец, интеллигент, вежливости не нынешней; несколько агрономов. Астроном Владимир Иванович Козлов — молодой ученый. Экономисты. Академик-дендролог, фамилию которого забыл. Студенты — молодые мальчики — террористы и диверсанты. Группа евреев, занявших отдельный угол на нарах, руководимая крупным комиссаром из Казани Левицким, чрезвычайно неприятным человеком. Простые старые люди, не то крестьяне, не то рабочие, роб-

кие и голодные, и, наконец, «свои в доску» уголовные типы — воры, растратчики и даже убийцы. Понятно, что такое смешение «чистых и нечистых» требовало твердой власти и жесткой дисциплины. Воровство в камере при мне случилось один раз. Вор был обнаружен, жестоко избит и, по требованию камеры, выведен вон. Вспоминаю старика 73-х лет, Туровского — мужа известной профессорши пения Московской консерватории. Он сам всю свою жизнь просидел в Государственном банке в Петербурге, занимая большие должности. Продолжал работать и после революции, но вполне, по-видимому, не мог освоить ее идеологии и проникнуться ее духом. И вот он за последний год, не знаю, на основании каких строк из Библии, начал предсказывать «конец большевикам в 1933 году» и попал в Бутырки. Вызванный из камеры к следователю, он стал доказывать ему правоту своего пророчества, был нами за это руган и наставляем в поведении на будущее. Он, между прочим, рассказал чудесный анекдот о Петре Великом: «Как-то Петр крестил у штурмана и спросил его, сколько взял поп за крестины. «Да дорого, ваше величество». — «Ты что ж это, Спиридон, не унимаешься, — сказал Петр попу. — Вот тебе мое последнее слово — завтра явись ко мне и скажи: сколько звезд на небе, что стоит моя царская персона и о чем я думаю. Не скажешь, голову сниму». Закручинился Спиридон. Пришел домой сам не свой. Ну разве можно сосчитать, сколько звезд на небе? Сказать, что стоит его персона? Скажешь мало — плохо, скажешь много — льстишь. А потом, что думает его величество? А у Спиридона был брат Семен — пьяница-поп. «Я, — говорит, — пойду, ты не ходи», — и пошел. «Приказали, ваше императорское величество, прибыть». — «А, ну так сколько звезд на небе?» — «Три тысячи сто сорок одна». — «Врешь, сукин сын!» — «Сам три раза считал, ваше величество, извольте проверить». — «Ну, а сколько стоит моя персона?» — «Двадцать девять серебряников, ваше величество». — «Почему так?» — «Да Господь Иисус Христос все подороже вас был, а заплатили за него тридцать». — «Ну, хорошо, а о чем я думаю?» — «А что ж, ваше величество, вы думаете, что перед вами поп Спиридон, а на самом деле я его брат Семен».

Помню, как-то утром я увидел крупного молодого мужчину, бритого, с длинными волосами. Сидит он на нарах и плачет. А мы с профессором Лавровым «держали общий чай». «Позвать его чайку попить, что ли, — сказал я, — утешить новичка». — «Позовите». Пошел я это в носках по нарам, подхожу, присаживаюсь на корточки и спрашиваю: «Ну что же вы плачете?» — «А-а, как же мне не плакать?» — «Не

плачем же мы, не плачьте и вы! Да кто вы будете?» — «Я — я бас!» — «Ну вот видите, какой солидный голос, а плачете. Пойдемте-ка лучше чай пить». На следующий день бас пел у нас на вечере.

На третий день по доставке меня в Бутырки я был позван к следователю-женщине, разговаривавшей со мною в последний раз на Лубянке. Она предложила переписать последнее вранье и внести в него ряд небезобидных поправок. Я отказался. Вначале разговор был мирен, затем она стала браниться. Я тогда посмотрел на нее и сказал: «Я сейчас в таком положении, что ничего другого не могу сказать вам, кроме следующих строк Пушкина:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись,
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет.

Она примолкла, потребовала себе завтрак и медленно стала его есть передо мною, щеголяя маникюром. А я, небритый, голодный, в неряшливом платье сидел перед нею и ждал, что она будет делать со мною дальше. Позавтракав, она позвонила кому-то по телефону и сказала о моем отказе внести добавления. Выслушав что-то в ответ, она вывела меня в коридор и приказала мне ждать, стоя в углу. Прошло 4 часа, прежде чем она вновь позвала меня и спросила, одумался ли я. «Конечно, нет, — ответил я. — Ваше «наказание» только озлило меня». Она позвонила и отправила меня в камеру. Последняя моя беседа со следователем, уже Оленцевым, была в Пасхальную ночь 1 апреля. Он спросил меня, как я себя чувствую и не расскажу ли я ему о своих занятиях гипнозом. Я улыбнулся. «Лекция в 3 часа ночи, — сказал я, — занятие столь же забавное, сколь и грустное». После этого мы мирно поговорили с час о гипнозе и о еще каких-то посторонних вещах. Провожая меня, Оленцев сказал: «Не опускайте крыльев, все будет хорошо». С этих пор в камере, где я рассказал это, да и я сам, стали верить, что меня со дня на день должны выпустить. А время подходило уже к 1 мая. Если бы первые дни кто сказал мне, что я могу просидеть месяц-два, я не поверил бы и пришел в отчаяние. Но «...всюду жизнь», как в известной картине Ярошенко. И к чему только человек ни привыкает. В камере находили, что я «рожден для нее». И мое спокойное, ровное и веселое поведение заставляло людей искать общения со мною. Мне отказали в очках и лишили меня возможности чтения, но Козлов и другие по очереди читали мне, и это было истинным удовольствием.

Вообще, хороший человек больше познается и больше ценится в несчастьи. Это давно известно. Но, должно быть, и несчастье часто выявляет в человеке хорошее, скрытое раньше. Мне везло на хороших людей в тюрьме. Шумная, гудевшая сотней голосов камера, помимо ночи затихала в двух случаях: это когда открывались двери камеры и когда с «пересылки», обыкновенно вечером, вдруг неслось: «Камера 44 — Петров на 5 лет, Иванов на 10 лет, Семенов на 3 года» и т. д. Это означало, что взятые днем из камеры, узнав в пересыльной сроки своих наказаний, доводили их до сведения оставшихся. Вечерние эти вещания производили сильнейшее впечатление: все стихали, все слушали, затаив дыхание. Это была проверка предположений, это была основа для выводов о себе. Затихала камера и во всех случаях, когда открывались ее двери и на пороге появлялся «чин». Это означало, что кого-то вызовут или к следователю, или «с вещами». А это были моменты, которых все ждали и все боялись. В камере верили, что вызовы днем никогда не приводят домой. Ночные же — очень часто. Несомненно, в этом была доля истины. А вообще же «заключений», «наблюдений», а главное, «примет» было множество. Все становились суеверными. Севшие воробьи и голуби на подоконник означали число вызванных с вещами в этот день. Гадали на спичках, гадали на картах, которые делали и берегли с величайшей осторожностью. Выпущенные домой должны были тут же, на углу тюрьмы, сломать свою ложку, чтобы не вернуться обратно. Помню одного рабочего-коммуниста, гадавшего все время и себе, и другим на картах. Его вызвали ночью с вещами. Собираясь, он в камере роздал все свое тюремное имущество и передачу, полученную им в этот день из дому. Он заявил: «Карты сегодня означили мне дорогу домой. Я иду домой». На следующий день мы увидели его, выглядывающим с третьего этажа.

Итак, дело подходило к 1 мая. Вызовы из камеры с вещами участились. Это было обычное «опорожнение» тюрьмы перед праздниками. 28 апреля, днем, появившийся в дверях «чин» стал читать фамилии по длинному списку. Камера заволновалась, засобиралась, не успели уйти вызванные, как вновь список и вновь вызовы: «Соберись с вещами!» В этот раз вызвали и меня. Дело обернулось просто: камеру 44 освобождали под женщин, а нас разводили по другим камерам. Я попал в 73-ю, в одном коридоре с камерой 78, где в свое время сидел Володя. Это явственнее напоминало мне его и сближало с ним. 73-я камера была заново отремонтирована, пол был плиточный, окна выходили на двор, где

происходила прогулка. Коридор был светлее, веселее, и народу в камере было меньше. Приняли нас «по закону», т. е. не положили от «параши», а дали нам места по стажу. Под 1 мая устроили вечер. В камере составилась недурной хор. С нами попал и наш бас. Известный искусствовед Сергей Матвеевич Ромов читал Маяковского. Он 24 года прожил безвыездно в Париже, и тоска по родине привела его в Москву. Думал он по-французски и речь свою переводил с французского на русский. Он почему-то сразу уверовал, что я выйду раньше него и непременно на волю, и шептал мне ночью: «В Чистом переулке живет моя жена, пожалуйте, пойдите к ней и скажите ей, чтобы она дала знать Ромену Роллану, что Серж Ромов сидит в тюрьме и ждет его помощи».

Первого мая вечером в камеру впустили высокого, худого, лет 33-х, наборщика в типографии Левенсона⁹. Он утром разбил окно витрины Торгсина на Арбатской площади, вовсе не преследуя грабежа, а желая лишь этим актом привлечь толпу к грабежу ненавистного Торгсина и показать иностранцам, приехавшим на торжества, «истинное состояние дел». Витрину он разбил, но толпа за ним не последовала. На него бросилась милиция, он побежал, отстреливаясь, кого-то ранил. Пробыл он в камере недолго. Он потребовал разбора своего дела без проволочки, заявив: «Я ничего не скрываю, ни от чего не отказываюсь. Морить меня голодом в тюрьме нечего. Или расстреляйте, или выпустите». Это свое требование он подкрепил голодовкой, которую тут же объявил. Через несколько дней его взяли из камеры. Насколько я припоминаю, за всю мою жизнь это был первый человек, говоривший то, что думал, и делавший то, что он находил нужным делать. Он был прост, серьезен. Насколько он был нормален, судить не берусь. Но слова его были последовательны, мышление логично, свое намерение и дело он обдумал основательно, один, никого не привлекая. А что расчеты его оказались ошибочными, это нередко бывает в жизни и в более крупных делах. Припоминаю и другого человека — профессора Искрицкого. Благородной внешности, большого достоинства. Он был взят по дороге в институт и сидел в камере без всяких вещей и передач. Кусок бумаги, нужный повседневно, он заменял куском шелка, отрываемого от подкладки пальто. Его скоро вызвали. Судьба его мне неизвестна, как и дело, по которому он сидел. Но его молчаливое гордое страдание, полное лишений, осталось в памяти.

С каждым днем весны и лета камера пустела. Казалось, можно было сделать «научный вывод», что контрреволюцией занимаются в длинные зимние вечера. Позвали как-то

ночью и Ромова. Собрали мы его, повесил он по мешку спереди и сзади и стал похож на рождественского деда. «Домой, домой», — шептали мы ему. Наконец, дверь открылась, захолоднулась, и инженер из Интуриста Минин голосом кантора возгласил: «Был человек, и не стало человека». Прошел день, наступила ночь. Вдруг открылась дверь, и в камеру Дедом Морозом вполз Ромов. «Как я устал, как я устал», — прошептал Сергей Матвеевич. Мы обступили его, сняли мешки, освободили его место на нарах, а он нам рассказал: «Друзья мои, повезли меня вовсе не домой, а на Лубянку. Привели к следователю в кабинет. Тот посмотрел на меня и говорит: «Ну что мне с вами делать?» А я ему отвечаю: «Натурально, выпустить». А он: «Вот вы все так говорите. А в самом деле, куда мне вас девать? В лагерь послать — только хлебом вас там кормить. У нас там по-французски никто не разговаривает. Здесь держать — достаточно подержали. Ну, вот что, мы вас выпустим и посмотрим, как вы будете работать. А там видно будет». «Ну, и что же, зачем же вас сюда опять привезли?» — «А я почему знаю?» В следующую ночь: «Ромов!» — «Сергей Матвеевич». — «Соберись с вещами». Больше мы его не видели.

Летом нары были сняты, натянуты холщовые мешки на металлические рамы. Получилась у каждого отдельная постель, и жить в камере стало много легче. Число заключенных дошло одно время до 20 человек. Старостой камеры был в это время старый эсер, агроном, бывший председатель Тверской земской управы Покровский Сергей Александрович — человек атлетического сложения, прямой и честный. Мы лежали с ним рядышком у самого окна и очень дружили. Другим моим соседом был инженер — строитель Турксиба, орденосец Перельман, — культурный и приятный человек. Его очки были впору по моим глазам, и это дало мне возможность обходиться без чтеца, и я за это время перечитал ряд вещей Бальзака, Флобера, Вассермана, Джека Лондона, впервые узнал и полюбил Конрада Берковича, с волнением перечитал «Доменика» Фромантена, «Анну Каренину», народные рассказы Толстого, причем наблюдал, какое громадное впечатление эти рассказы производят на простых людей, «Братьев Карамазовых», Гончарова, да и многое, многое еще, и в том числе «Евгения Онегина», кажется, впервые не торопясь и до конца. Почти каждый вечер кто-нибудь из нас выступал с тем или иным сообщением. Один студент, простой парень из-под Нижнего Новгорода, два вечера занял нас рассказом о «бойцовых петухах и гусях». Это было изумительное живое и образное изображение азартной игры, к которой готовились ме-

сяцами и на которой проигрывали сотни рублей золотом. Я выступал очень часто на самые разнообразные темы и как-то раз на тему об «искусстве жить». Поднялась жестокая дискуссия, затянувшаяся на несколько вечеров, обострившая ряд отношений. Тогда подошел ко мне худенький, углый еврей — баптист Школь — и сказал: «Тема, поднятая вами, — интересна и нужна, но должен сказать вам, что если вы хотите кого-либо чему научить, то нельзя этого делать с азартом, насмешкою и злом. Апостол Павел говорит, что учить надо всегда только со слезами». Эти замечательные слова поразили меня. Надо сказать, что в тюрьме произошло у меня изумительное обострение памяти. Я вспомнил очень многое, давно мною читанное и узнанное, и оказалось вдруг, что я как-то много знаю и о многом могу рассказать. В жизни это потом опять исчезло, и я это явление отношу за счет однообразных тюремных дней, сосредоточенности, неторопливости жизни, а также и умеренной еды. Недаром говорится: «Сытое брюхо к науке глухо».

Несколько вечеров заняло чтение вслух «Рыбаков» Григоровича. Читал Минин, и читал превосходно, сделав небольшие купюры. Вся камера слушала, затаив дыхание, и моментами едва удерживала слезы. Вот что значит подходящая обстановка и выразительность передачи.

Большое разнообразие в жизнь камеры вносили баня, обыски и прогулки. Выпускали нас гулять ежедневно на двадцать минут во внутренний двор тюрьмы, куда выходили окна многих камер, где многих можно было увидеть, многому удивиться, а иногда и кое-что узнать. Один раз нас вызвали на прогулку в проливной дождь. Кроме меня никто не пошел. Я же храбро, не торопясь делал свои круги все 20 минут и заставил мокнуть ненавидимого всеми нами стража «Вафлю», прозванного так за рябое лицо. Закончил я прогулку под аплодисмент всех камер. Вернулся к себе мокрый до нитки, но довольный и почти счастливый, конечно, не мокрым «Вафлею», а хорошим душем и взбодренностью. Обыски бывали обыкновенно ночью. Среди сна поднимали нас с вещами, выводили в нижний этаж пересыльной и здесь обыскивали и нас, и вещи, одновременно обыскивая и камеру. Эта позорная процедура озлобляла нас своею бессмысленностью и грубостью проведения. И что отбирали, и что могли отобрать? Сделанные из хлеба шахматы, карандаш, изредка колоду карт, с невероятным трудом изданную в камере и никогда не служившую азартной игре.

Жаловаться в камере на свою судьбу не было принято, и о пробегающих по камере и нервничающих говорили неодоб-

рительно: «Жареный петух в задницу его клюнул». Прекрасно держалась студенческая молодежь. Она не скулила, гордо голодала, лишнего не болтала. Сидел одно время в камере Холодовский Алексей Михайлович — мальчик лет 19, из морской среды, как водится — террорист и диверсант. Я встретил его потом на Медвежьей горе, откуда его скоро услали в спецлагерь. Так вот, им нельзя было не любоваться и не уважать его. Спокоен, ровен, знает, чего хочет, знает, что его ждет, и ни одного лишнего движения. У меня болело сердце, глядя на него, и думалось: сколько пользы и радости он мог внести в жизнь, и откуда он такой — сверхчеловечный.

Но, однако, довольно. Всему бывает конец. Пришел он и моему пребыванию в камере № 73. 11 сентября днем, когда я и не думал ни о каком вызове (ведь меня с апреля месяца никто не вызывал), открылась дверь и возглас: «Мелентьев!» Я от неожиданности и волнения неуверенно ответил: «Михаил Михайлович». — «Соберись с вещами». Камера реагировала на это общим движением. Я сжился с нею и с первых дней заведовал «культпросветом». Но увы, увы! Никто не утешил меня, что я иду домой. Всем, и мне, было ясно, что зовут меня в пересыльную. Я собрал вещи, простился со всеми. Все окружили меня, а потом открылась дверь. Я вышел. Дверь хлопнулась, и в коридоре я увидел всех своих «сообщников», знакомых и незнакомых: Д. В. Никитин, Н. Н. Печкин, профессор Холин, д-р Краевский, д-р Кайзер и другие, — всего 14 человек. Все с мешками, все взволнованы, но все «держатся» и даже стараются шутить. Нас вывели в пересыльную и, не вводя в камеру, дали прочитать каждому приговор по его делу. Все, кроме Никитина и Печкина, получили по 3 года лагерей. Первые же двое — по пяти лет. Мне был назначен город Дальний в ДВК. Как мы ни ждали этого, как ни мала была надежда на освобождение, а все она жила. Всякое несчастье, даже ожидаемое, всегда воспринимается как неожиданное. Таким неожиданным несчастьем оказались для нас всех и три года лагерей. Камера № 1 пересыльной тюрьмы — большая, с нарами в два этажа, — приняла нас радушно. Здесь обычно не задерживались. Проходил день-два, шел этап, и шла отправка. И мы ждали этого. Но дни шли, а нас не трогали. По утрам мы установили медицинские конференции, вечерами читали лекции на общие темы или устраивали чтения. От этого времени у меня сохранился листок, избежавший обыска, со следующим стихотворением, написанным молодым пареньком после одного из моих выступлений:

Я слышу, ветер как шумит
И слезы осени роняет.
Я слышу, голос как звучит,
В нем много радости играет.

Передо мною человек.
Его глаза — страницы книг,
Которых в жизни я не знал,
Он так приятен и велик.

И этот вечер пусть ушел
Своим тоскующим прощаньем.
Я слышу, голос как звучит
Строками умного молчанья.

Иван Горелов

Между прочим, Д. В. Никитин рассказал мне под большим секретом, что как-то, в самом начале лета, вызвал его к себе следователь и заявил: «Нам известно, доктор, что вы из Италии привезли сыворотку, применяемую при воспалении легких. Не могли бы вы заочно применить ее одному больному?» Дмитрий Васильевич ответил отказом. Через час вызвали опять и предложили написать записку домой, чтобы прислали новый костюм. Дмитрий Васильевич написал. Затем его отправили к парикмахеру, привели в приличный вид. Дома же у Никитина между тем никого не застали, посланный вернулся без костюма, и следователь вызвал его и предложил ему поехать домой, переодеться и ехать немедленно на консультацию. «Что же дальше скрывать, доктор, вас вызывает Горький, заболевший воспалением легких». Через час Дмитрий Васильевич входил, как ни в чем не бывало, в особняк Рябушинского у Никитских ворот, прожил там у Горького полтора месяца до его выздоровления, потом месяца два у себя дома, по выражению Лескова, «в самом неопределенном наклонении», пока, в начале сентября, не взяли его опять в Бутырки.

18 сентября нам разрешили увидеться с родными. Помещение, где происходило свидание, было мне уже знакомо по свиданию с Володей. И вообще, идя последовательно его путем в Бутырской тюрьме, я все время имел его образ перед глазами и в минуту уныния говорил себе: «Ты не лучше его. Прошел он этот путь, иди и ты». На свидание пришла, конечно, Анюшка. Она показалась мне человеком из другого мира. За 7 месяцев тюрьмы я видел всего одну женщину — это следователя. Но разве могла она идти в счет?! От Анюшки я узнал, что почти вслед за моим арестом освободили Володю и что он «по минусу»¹⁰ живет в Моршанске. Какой страшной иронией обертывался для меня мой трехгодичный

срок и как некстати, как некстати был мой арест и вся эта история со мною. А все же он на свободе! Но как будет он жить!

30-го числа свидание было повторено. Просочились какие-то слухи о пересмотре наших дел. Из Алабино все вывезено, и профессор Лавров помогал при перевозке. А 3 октября, в сумерки, открылись двери камеры, перечислены все докторские фамилии и... — «Соберись с вещами». Внизу нам передали в руки приговоры о лагерях, отправили в баню, а затем поместили в одну из боковых комнат бутырского «вокзала», отдельно от большой толпы, стоявшей в «вокзале» и ждавшей отправки этапом. Прошло два-три часа томительного ожидания и разных догадок, когда наконец нас стали вызывать по два, по три человека в совершенно неожиданных комбинациях. Дошла очередь и до меня с д-ром Печкиным, и за дверями мы узнали, что заключение в лагерь нам заменено административной высылкой — Печкину в Кемь, мне в Медвежью гору на прежние сроки. Снабдив нас черным хлебом и коробкой консервов, посадили в автомобиль и свезли на Октябрьский вокзал — людный, с массой цветов, с нарядной публикой. А мы — небритые, в одежде, на которой спали почти 8 месяцев, в зимних пальто, и ботинки мои зашнурованы веревочками. К отходу поезда «чин», сопровождавший нас, провел в вагон, пожелал нам доброго пути, поезд тронулся, и мы, ошеломленные столь разительной и быстрой переменой в нашей судьбе, не верили, что мы без стражи и на свободе. Не помню, спал ли я ночь. Должно быть, спал. А с утра мне все казалось сном. Вот-вот проснусь, и камера, и нары будут моею действительностью. И ходил, и действовал я, как лунатик.

В Ленинграде на вокзале мы с Николаем Николаевичем побрились, постриглись, немного почистились, расцеловались и поехали по своим путям. Мучительно не шли и болели ноги в икрах. Пройдешь несколько шагов, остановишься, потрешь их и потом только можешь двигаться дальше.

Иринушки¹¹ днем не было дома, и я поехал к Наталье Павловне Вревской¹². Университетский двор, знакомая квартира, сама Наталья Павловна, изумленная и обрадованная, а у меня все время чувство миража, а главное, непосвященности людей, с которыми я общаюсь, в «тюремную мистерию». Ничего они не знают, и ничего они не узнают, пока сами всего не испытают. Рассказать этого нельзя. И я таил в себе свое знание, свою мудрость. Озлобления у меня на происшедшее не было никакого. Я смотрел на него, как на очень нужное в моей жизни, без чего я оставался бы неразумен и слеп.

Вечером я был у Ирины. Ее радость и ласка тронули меня. Она рассказывала мне о пережитом за это время, о Володе, об Алабино, о квартире там, опечатанной и распечатанной, об усилиях рыжего завхоза больницы овладеть моими вещами и особенно большими зелеными рюмками для вина: «Они особенно бросились ему в голову». О слухах, легендах и впечатлении, вызванных моим арестом, и еще о многом хорошим, смешном и низком, всегда рядом идущими в жизни. И когда я, после ванны, лег в мягкую постель со свежим бельем и подушками, я почувствовал себя счастливым, как в детстве. В камере у меня учились делать мягкую подушку из грязного белья, которое я рыхло складывал в наволочку. И вот прошло и это. Я возвращаюсь к жизни. И в каких бы формах ни протекала она, жизнь — все же есть благо единственное и неповторимое. Как ни мало понимал это Володя, как он ни бросался своей жизнью и ни во что не ставил ее, а все же временами и у него было сознание ценности жизни, недаром он в своем полудетском письме ко мне приводит строки из Кузмина М. А.:

«Минута, что проходит, — никогда не вернется, и вечно помнить это бы нужно; тогда вдвое бы слаще все было, как младенцу, только что глаза открывшему, или умирающему».

Через день я уехал в Медвежью гору.

Москва, 6 декабря 1960 года

ЭПИЛОГ

В августе 1960 года, в полдень, я сидел у себя в комнате и увидел, как мимо моих окон прошел молодой человек в белом плаще. Дело было в Тарусе.

Я вышел к нему навстречу в переднюю, и он встретил меня такими словами: «Мне нужно поговорить с вами наедине».

Вошли ко мне в комнату, и он тут же показал мне книжечку, сказав при этом: «Я — следователь и приехал к вам из Москвы по делу вашего ареста».

Книжечку я не стал смотреть, а спросил: «Что же вас интересует? Ведь уже прошло двадцать семь лет со дня этого события? И сколько человек по «нашему делу» остались в живых?» — «Из 14 человек вашей группы остались в живых всего два человека, а интересует нас ход следствия над вами, причина вашего ареста, по вашему мнению, и почему вы до сих пор не подали заявления о реабилитации?..»

Началась беседа-допрос, и продолжалась она больше трех часов. Следователь исписывал лист за листом, причем ход следствия, его ведение, поведение следователей во время допросов стояли в центре его внимания: «Были ли угрозы? Побой?..»

Интересная подробность — в деле не оказалось первого протокола допроса, какой мы с таким трудом вместе со следователем Гиммельфарбом «состряпали» и какой следующий следователь — еврейка назвала «филькиной грамотой». К делу был подшит только протокол, написанный ее рукою. Следователь мне его прочитал, и мне было интересно его послушать. Это было убогое творчество общедекларативного характера, в одну страницу писчего листа бумаги. В нем не было упомянуто ни одного лица «нашей периферийной контрреволюционной ячейки», никаких ее действий по свержению существующего строя. Это был набор фраз «о возмущении и недовольстве».

Словом, мне не было стыдно увидеть свою подпись под этим протоколом. И не зря продержала меня «следовательша» четыре часа на ногах в углу коридора у своего кабинета.

Причин нашего ареста объяснить следователю я, конечно, не мог. Это было время повальных арестов и высылки в лагеря. Было ли это следствием патологической подозрительности, предательства или высших, недоступных нашему пониманию, соображений — кто мог сказать? Но я ему рассказал о том, что мне в свое время рассказал доктор Н. Н. Печкин, которому не верить было нельзя.

Николай Николаевич был выслан в Кемь. Скоро же, после его водворения в Кеми, заболела жена самого высокого лагерного начальства. Печкин определил у нее внематочную беременность. Требовалась немедленная операция. Начальство посомневалось доверять ее Печкину, но было принуждено обратиться к нему. Операция прошла благополучно. И вот, недели через две-три, начальство пригласило Печкина к себе домой на чашку чая. С чаем появилась и водочка. С водочкой у начальства появилось и доверчивое расположение к доктору, который спас жену от смерти, и вот оно, это начальство, и рассказало: «Ты думаешь, Николай Николаевич, что я не знаю настоящей причины твоего ареста и считаю тебя в чем-либо виноватым? Дело все в том, что Ягоде нужно было убрать от Горького доктора Никитина. Он и арестовал его. Но оказалось, трудно было состряпать какое-либо обвинение против него, да и защитники были у него сильные, и вот Ягода был вынужден засадить в тюрьму ближайшее к Никитину врачебное окружение. Так попал и ты. А я как раз

в это время был в Москве, и вся эта махинация проходила на моих глазах...»

Следователь писал и слушал. Слушал и писал.

А почему я до сих пор не подал заявления о реабилитации? Да потому, что судимость с меня снята и я считал, что достаточно и этого. Последние несколько лет меня уже никто не беспокоил моим прошлым, и я надеялся жить так и дальше. А вот почему, скажите мне, появился интерес к этому «нашему делу», когда при этом почти все участники его уже умерли?

«Секрета делать не стану, — ответил мне следователь. — Один из сыновей пострадавшего и уже умершего поднял вопрос о посмертной реабилитации своего отца. А в этих случаях просматривается все дело о всех участниках. Вот почему приехал я и к вам».

Все, что было записано следователем, было мне прочитано, мною подписано. Дело велось просто, по-человечески, и я предложил следователю стакан чаю, но он отказался. Его ждала машина, и он спешил вернуться в Москву.

Конечно, эта беседа взволновала меня. В ней была горечь от прошлого и радость от настоящего. Эко до чего дожили! Следователь из Москвы едет в Тарусу, чтобы не беспокоить старика. Экий «реванш»! Во время всей беседы Марианна, внучка, прильнула ухом к двери со стороны передней, и весь дом был в курсе, что ничего плохого нет, а то поднялась было тревога. Мы крепко все напуганы, и испуг пока крепко в нас держится.

.....
2 ноября мне была прислана такая бумага:

«Прокуратура Московской области. Сообщаю, что по Вашему делу, по которому Вы были осуждены в 1933 году, прокурором области внесен протест в Мособлсуд, откуда о принятом решении Вам будет сообщено дополнительно. Ст. помощник прокурора советник юстиции Яковлев».

8 декабря 1960 года

Третьего дня написал я о посещении меня в Тарусе следователем и извещении прокуратуры. А вчера получил из облсуда Московской области справку, что «...постановлением облсуда от 12 ноября 1960 года отменены постановления тройки ПП ОГПУ и дело [...] за отсутствием состава преступления производством прекращено».

Получи я такое постановление лет двадцать назад, конечно, я бы отнесся к нему по-иному, нежели как сейчас. Поздно оно пришло. Поздно. Слишком долго шло «производство». Какие выводы могу сделать я теперь: получить небольшую сумму денег в размере двухмесячного жалования.

Сделать заявку на комнату. Получить деньги за взятые при обыске книги и ружье. Вот и все. А сколько надо будет ходить и хлопотать.

Конечно, стану ходить. Сейчас, когда проходит денежная реформа и я стану получать в новой валюте 57 рублей пенсии, я боюсь настоящей бедности, как боюсь ее и все получающие мало. Положение еще осложняется тем, что по секретному письму Хрущева положение в стране с продовольствием катастрофическое, а это значит, что покупательная стоимость рубля в стране полетит к черту и рынок установит ему свою цену.

Старики склонны к мрачным мыслям. Некоторая склонность к этому появилась и у меня, хотя и в очень маленькой степени. Не радует не только «рубль», не радует общее положение в мире и мысли о будущем Родины. Они очень мрачны...

Примечания

¹ В. А. Свитальский.

² Баранова Александра Петровна, приятельница автора.

³ Долгополова Анна Михайловна, сестра автора.

⁴ Вышипан Любовь Михайловна, сестра автора.

⁵ Маслова-Стокос Людмила Нифонтовна, врач.

⁶ Симонов Сергей Михайлович, пианист.

⁷ Герой одноименной драмы Л. Н. Андреева.

⁸ «Контрреволюционер».

⁹ Ныне — типография № 7 «Искра революции» в Трехпрудном пер. в Москве.

¹⁰ То есть В. А. Свитальскому было разрешено проживание на территории СССР, «минус» столько-то городов, въезд в которые освободившимся запрещался.

¹¹ Долгополова Ирина Владимировна, племянница автора.

¹² Н. П. Вревская, ученый-химик, знакомая автора.

Михаил Алексеевич Кузмин, автор прекрасных стихов, прозы, музыкальных и драматических произведений, а также образцовых переводов античной классики, произведений французских и итальянских авторов, французских стихов В. К. Третьяковского, всегда был высоко ценим знатоками отечественной словесности. Что касается так называемого «широкого читателя», то ему еще предстоит настоящее знакомство с творчеством этого мастера, достойного стать рядом с крупнейшими поэтами России XX века, такими как Блок, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Ходасевич.

Одновременно (если такие прогнозы вообще допустимы) можно предположить, что запоздавшее на полстолетия признание Кузмина вряд ли примет формы схожие, например, с близким к обожанию почитанием Марины Цветаевой ее многочисленными поклонницами и поклонниками. Всегда стремившийся к обособленности и независимости, Кузмин и при жизни оставался первоклассным поэтом лишь для сравнительно узкого круга ценителей. Он сознательно сторонился всяких литературных школ (походя будучи зачисляем критикой то в пост-символисты, то в акмеисты, то в неоклассики). В статье «Стружки» Кузмин так излагал свое *credo*: «Нужно быть или фанатиком (т. е. человеком односторонним и ослепленным), или шарлатаном, чтобы действовать, как член школы. Впрочем, и каждое действие требует этих же свойств. Без односторонности и явной нелепости — школы ничего не достигнут и не принесут той несомненной пользы, которую могут и должны принести. Но что же делать человеку не одностороннему и правдивому? Ответ только цинический: пользоваться завоеванием школ и не вмешиваться в драку» (цит. по: Родник. 1989. № 1. С. 16. Публ. Р. Д. Тименчика).

Немалую роль в отчужденном отношении современников к творчеству Кузмина сыграли и те обстоятельства, которые, хотя и лежали вне литературы, достаточно полно отразились в его произведениях — от «Александрийских песен» (1905) до цикла «Фореель разбивает лед» (1929). Речь идет о тех отклонениях от общепринятых норм интимной жизни, которые были Кузмину органически присущи и которые он не только не таил, а наоборот, всячески поэтизировал, сделав из них один из источников своего вдохновения, пытаясь при их помощи перекинуть мостики от современности к миру Древнего Египта, античности или итальянского Возрождения. Надо

прямо сказать, что эти обстоятельства остаются до сих пор одним из главнейших препятствий на пути широкой публикации некоторых произведений Кузмина, разрабатывающих темы, традиционно запретные для русской литературы; в еще большей степени сказанное относится к его дневникам — 18 довольно толстым общим тетрадам ежедневных записей, охватывающим (с пропусками) период с конца 1905 по 1931 год и составляющим, по приблизительным подсчетам самого Кузмина, около 120 печатных листов текста.

Дневники эти, вместе с целым рядом рукописей и писем из своего архива, Кузмин продал осенью 1933 года Центральному музею художественной литературы, критики и публицистики (спустя год получившему свое современное название — Государственный литературный музей). Писатель откликнулся на обращение директора музея В. Д. Бонч-Бруевича ко многим литераторам с просьбой присылать свои архивы. Отнеся оценку рукописей и эпистолярии на усмотрение экспертной комиссии музея, Кузмин в письме к Бонч-Бруевичу от 23 ноября 1933 года особо остановился на своих дневниках, оценивая их в 20 000 рублей «...с правом обнародования после моей смерти, а если при жизни частично, то всякий раз с моего разрешения» (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 1349).

До сих пор публиковались лишь небольшие фрагменты из этого уникального в своем роде источника (назовем, например, отрывки с упоминаниями о Блоке, подготовленные К. Н. Суворовой. — Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1981. С. 143—174). Напечатанные фрагменты, естественно, не дают сколько-нибудь полного представления о содержании дневников Кузмина вдобавок действующие в течение ряда лет ограничения на выдачу их в читальный зал архива по морально-этическим соображениям привели к возникновению вокруг этого памятника разного рода легенд. Например, дневники Кузмина сравниваются по своим историко-литературным достоинствам с дневниками братьев Гонкур или А. Жида (Толмачев М. Он был поэт перворазрядный // Книжное обозрение. 1988. № 15. С. 7). На самом деле трудно представить себе что-либо более далекое от дневников братьев Гонкур, чем дневники Кузмина. В свое время составители издания «Константин Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников» (М.: Искусство. 1979) Ю. Н. Подкопаева и А. Н. Свешникова, пойдя по пути контаминационного объединения отрывков из писем с отдельными дневниковыми записями в сплошной и, следовательно, не существующий

в подобном виде у Сомова текст, сократили, по собственному признанию, главным образом повторы, перечисления прочитанных Сомовым книг и просмотренных спектаклей, сделанные без оценок, а также «подробные описания ежедневного времяпровождения чисто бытового характера». Так вот, «описания чисто бытового характера», в отличие от рассуждений о судьбах искусства, развернутой характеристики литературно-художественного мира «серебряного века» или, скажем, политических событий, — составляют главное и почти единственное содержание всех 18 томов дневников Кузмина. Причем порядок расстановки этих событий на ступеньках иерархической лестницы согласно их важности и значительности всецело определяется вкусами и волей автора.

Наибольшее значение дневники имеют для изучения биографии самого Кузмина. Он оценивал свой дневник так: «...лишенный всякого общественного и общего интереса, он занят только узко интересующимся моей личностью» (запись от 6 апреля 1906 г.). Однако это верно лишь отчасти. Когда дневники будут опубликованы, они прольют свет и на ряд весьма специфических обстоятельств жизни и быта петербургской литературной и художественной богемы того времени, разрушат некоторые устойчивые стереотипы и мифы. Вот характерная запись, сделанная Кузминым 15 сентября 1906 года: «Я спрашивал у К. А. [Сомова]: «Неужели наша жизнь не останется для потомства?» — «Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваемы, как маркизы де Сэг». — Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни».

«...читали Брюсова и письма Пушкина, — записывает Кузмин 12 июня 1907 года. — Когда-нибудь и наши письма и дневники будут иметь такую же незабываемую свежесть и жизненность, как всё живое».

Наконец, Кузмин определенно рассматривал свой дневник как особый жанр литературы — что отнюдь не означает «сочиненности» тех или иных его страниц. Судя по всему, автор был от начала до конца предельно искренен и откровенен; вместе с тем в его литературных планах одно время фигурировала и идея написания особого «апокрифического дневника» (запись от 11 ноября 1906 года). Довольно часто, особенно в 1906—1908 годах Кузмин читал свой дневник вслух гостям и на разного рода интимных литературных вечерах. После чтения в салоне Л. Н. Вилькиной, жены поэта Н. Минского, Кузмин записал: «Дневни-

ком была, кажется, несколько разочарована, ожидавши больше скабрзных подробностей, и распространялась больше о художественных достоинствах, хотя я имею смелость думать, что не в этом смысл моего дневника», а двумя днями раньше — 9 ноября 1906 года — замечал: «Сомов сказал, что на будущий сезон мне останется только читать свой дневник в общественных залах». На некоторых страницах первых томов заметны карандашные следы позднейшей стилистической правки довольно небрежного в этом отношении первоначального текста. Следы стилистической обработки (иногда, впрочем, и неверного прочтения не всегда разборчивого кузминского почерка) несет на себе и машинописная копия 1-го тома дневника (1905—1906 гг.). Экземпляры этой копии, сделанной уже после революции, хранятся в ЦГАЛИ и в РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Все это свидетельствует в пользу имеющихся упоминаний о том, что в начале 1920-х годов Кузмин намеревался, полностью или частично, издать свои дневники. Однако это не было осуществлено.

Рефлексия на страницах дневника достигает временами поразительной концентрации: иногда кажется, что в течение десятилетий Кузмин описывает не события окружающего мира, а исключительно одного человека — самого себя. Нечастые записи с попытками оценок общественных или политических событий в контексте дневника приобретают иногда чуть ли не пародийный характер. Сравним две из них, сделанные в самый разгар первой русской революции.

«Я должен быть искрен и правдив, хотя бы перед самим собою, относительно того сумбура, что царит в моей душе, но если у меня есть три лица, то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами один перекричит другого, и как я их согласую, сам не знаю? Мои же три лица до того непохожи, до того враждебны друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей, возмущающей всех, любивших какое-нибудь одно из них, суть: с длинною бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и будто доброе и какой-то подозрительной святости, будто простое, но сложное; второе, с острой бородкой — несколько фатовское, франц[узского] корреспондента, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье, самое страшное — без бороды и усов, не старое и не молодое, 50 л[етнего] старика и юноши, — Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим ртом, сухое и подозрительное» (запись от 25 октября 1905 г.)¹.

А вот размышления, так сказать, «политического» толка, записанные спустя четыре дня:

«Как царь не понимает, что прекрасно, или возможно — или продлить жизнь и власть, став демократическим, широким монархом, или — романтично стать во главе голытьбы, черносотенцев, гвардейских опричников, попов, из тех, что старого закала, с деньгами, староверов (заем правительству они не покроют, но царю лично дали бы), запереться где-нибудь в Ярославле и открыть пугачевщину по Волге, вернув на время при московских колоколах власть, погибнуть прекрасно и удивительно?»

Наивность представлений о том, что Николай II способен в 1905 году «открыть пугачевщину», в комментариях не нуждается; эти два примера весьма показательны для характеристики авторской манеры, избранной Кузминым в своих дневниках.

Дневники Кузмина, поступившие в ЦГАЛИ весной 1941 года из Гослитмузея, имеют номера от 1 до 23-го, что сразу показывает недостачу пяти томов. Они отсутствовали уже при продаже писателем своего архива в 1933 году. К. Н. Суворова выявила в дневниках лакуны за следующие периоды времени: с 29 октября 1915 по 12 октября 1917², с 28 июля 1919 по 27 февраля 1920, с 24 июня 1929 по 13 сентября 1931. Существовали дневники и за время после 1931 года.

Можно предположить, что недостающие тома дневников оставались среди тех бумаг Кузмина, которые после его смерти в марте 1936 года находились у его друга Ю. И. Юркуна. Судьба этого архива печально напоминает судьбы множества других личных архивов, пропавших в 1930—1950-е годы (о некоторых из них, как, например, об архивах О. Э. Мандельштама и Ф. Ф. Раскольниковца, нам уже приходилось писать). Часть рукописей и писем из сохранявшегося у него архива Юркус успел в июле 1936 года продать Гослитмузею, и они находятся сейчас в ЦГАЛИ. По поводу другой части подруга Юркуна Ольга Николаевна Гильдебрандт (1899—1980; по сцене Александринского театра, где она выступала, — Арбенина) сообщала 10 октября 1938 года Бонч-Бруевичу из Ленинграда: «...оставшиеся после смерти Кузмина рукописи были переданы решением суда проживавшей с ним в одной квартире В. К. Амброзевич (она была в течение многих лет его домохозяйкой и иждивенкой), а душеприказчиком был назначен ее сын, писатель Юрий Юркус [...]. Сейчас положение такое: Юркус был арестован в феврале этого года; мать его умерла; в данное время он выслан и имущество его конфисковано³ [...]. Разрешите мне перечислить хоть приблизительно то, что, по моим сведениям, было вывезено из квартиры вместе с библиотекой:

- 1) Рукопись мемуаров Кузмина.
- 2) Рукопись исторической драмы «Нерон»⁴ и целый ряд ненапечатанных стихов и прозы, и черновики.
- 3) Часть кузминского архива (письма, рецензии, фотографии).
- 4) Рукописи Юркуна (воспоминания о Маяковском, о Кузмине, романы, пьесы и рассказы).
- 5) Музыкальные произведения Кузмина, а также ряд дневников неизвестных лиц, имеющих исторически-бытовое значение.

К сожалению моему, мне неизвестно, куда все это имущество было направлено и какова будет его дальнейшая судьба [...]. Конфискация библиотеки и архива была произведена 8 октября 1938 года» (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 848).

Бонч-Бруевич обратился в НКВД Ленинграда, но никакого ответа о конфискованных рукописях не получил. Судьба их пока неизвестна, так же, как и судьба некоторых других документов, не возвращенных в Гослитмузей из НКВД уже в марте 1940 года, после того, как фонд Кузмина неожиданно был забран туда «для просмотра». Судя по сохранившейся описи, среди этих документов были рукописи Г. В. Чичерина — две записные книжки за июль 1903 года, переводы, наброски; карандашный портрет Кузмина, написанное им либретто неназванной оперы, а также деловые бумаги и фамильные документы семьи Кузминых, в том числе формулярный список его отца, метрические свидетельства сестер и брата и т. д.

Несколько страниц в дневнике Кузмина за 1906 год выбиваются из общей хронологии. Отрывок этот носит название «Histoire édifiante de mes commencements» («Поучительная история моих начинаний»). Это — конспективное изложение событий от рождения автора до начала сентября 1905 года, то есть до момента, с которого начинается первый том дневников — переселения Кузмина, вскоре после смерти матери, на квартиру сестры. По всей видимости — это написанное задним числом вступление, которое должно было открывать дневник, и одновременно — попытка хоть конспективно восстановить содержание уничтоженного Кузминым (о чем он сожалел) дневника 1894—1895 годов, где описывалось его путешествие с князем Жоржем по странам Малой Азии (Египту, Турции, Греции). Об этом же говорит и запись от 5 ноября 1906 года, когда, рассказывая о посещении его С. Ю. Судейкиным, Кузмин пишет: «Я ему прочитал вступление к дневнику, он мне рассказал свою жизнь».

Публикуемая ниже с некоторыми купюрами «Histoire



Н. И. Кульбин. Портрет М. А. Кузмина.

édifiante...» уточняет отдельные моменты биографии Кузмина, изобилующей легендами и апокрифическими сведениями (иногда восходящими к мистификациям самого Кузмина). Отрывок предельно сжат, но в то же время насыщен информацией о том, как формировался круг художественных и творческих интересов юного Кузмина. (Здесь стоит напомнить, что перед широкой публикой он дебютировал со своими музыкальными и литературными опытами достаточно поздно, уже в 33-летнем возрасте; автор «Александрийских песен», «Курантов любви», «Крыльев» был этой публикой воспринят в качестве уже сформировавшегося, зрелого мастера.)

Наиболее полная биография Кузмина на сегодняшний день принадлежит не нашему соотечественнику, а американскому ученому Джону Малмстаду; напечатана она в 3-м томе «Собрания стихов» Кузмина, уже более 10 лет назад вышедшем в Мюнхене (Malmstad John. Mixail Kuzmin. A Chronicle of his life and times//Кузмин М. Собрание стихов. Т. 3. München, 1977). Ситуация, к сожалению, ставшая привычной, своеобразно иллюстрирует то, как десятилетия косности и стагнации в издательской политике влияют на судьбу нашего национального культурного наследия, которое советские литературоведы вынуждены изучать по зарубежным изданиям. Однако в своей работе Малмстад не мог учесть публикуемый отрывок, поскольку дневники Кузмина в ЦГАЛИ были ему недоступны. Поэтому «Histoire édifiante...» и биография Кузмина, написанная американским славистом, взаимно уточняют и корректируют друг друга. Так, в биографии переезд семьи Кузминых в Петербург следует датировать не 1885 годом, а осенью 1884-го; попытка самоубийства относится ко времени после поездки в Италию, а не до того. С другой стороны, на основании изучения писем Кузмина к Г. В. Чичерину, Малмстад дает ряд более точных датировок, нежели те, что приводит по памяти Кузмин в публикуемом отрывке: так, путешествие в Египет надо отнести к маю 1895 года, а не к 1894; в Италии Кузмин был весной и летом 1897 года.

Упомянутый Кузминым «Юша» Чичерин — будущий нарком иностранных дел Георгий (или Юрий, как его называли родные и друзья) Васильевич Чичерин, с которым Кузмин поддерживал письменное общение на протяжении почти двух десятилетий. Как писал литературовед Н. А. Богомолов: «Их переписка, лишь частично опубликованная, чрезвычайно насыщена внутренними исканиями молодых людей, стремившихся познать мировую культуру во всей ее сложности, но одновременно осмыслить в ее контексте свою родную, русскую культуру» (Наше наследие. 1988. № 4.

С. 71). Подобно дневникам Кузмина, переписка с Г. В. Чичериным еще ждет своего публикатора, комментатора и исследователя. Подготовка этих объемных комплексов к печати в виде полноценного научного издания — задача, трудоемкость и сложность которой ясна тем, кто выполнял когда-либо подобную работу. Однако приступать к ней необходимо уже сейчас, ибо десятилетия пренебрежительного игнорирования (пусть и не по вине литературоведов) творчества Кузмина и его дневникового и эпистолярного наследия уже просто не оставляют времени для неторопливой «раскачки».

HISTOIRE EDIFIANTE DE MES COMMENCEMENTS

1906

Я родился 6 октября 1875 года⁵ в Ярославле и был предпоследним сыном большого семейства. Моему отцу при моем рожденье было 60 л., матери — 40⁶. Моя бабушка со стороны матери была француженка по фамилии Mongauetier и внучка франц[узского] актера при Екатерине — Оффена. Остальные — все были русские, из Яросл[авской] и Вологодской губ[ерний]. Отца я помню в детстве совсем стариком, а в городе все его принимали за моего деда, но не отца. В молодости он был очень красив красотою южного и западного человека, был моряком, потом служил по выборам, вел, говорят, бурную жизнь и к старости был человек с капризным, избалованным, тяжелым и деспотическим нравом. Мать, по природе, м. б., несколько легкомысленная, любящая танцы, перед свадьбой только что влюбившаяся в прошлого жениха, отказавшегося затем от нее, потом вся в детях, робкая, молчаливая, чуждающаяся знакомых и, в конце концов, упрямая и в любви и в непонимании чего-нибудь. В Ярославле я прожил года полтора, после чего мы все переехали в Саратов, где я и прожил до осени 1884 года, когда отец, оставленный за штатом, переехал, по просьбе матери, всегда стремящейся к своей родине — Петербургу, в Петербург. В Саратове я начал гимназию. Из первого детства я помню болезнь, долгую-долгую, помню лежанье на большой двухспальной кровати, мама смотрит на меня, и мне кажется, что в ее глазах какой-то ужас; помню бред, слабость после болезни, ходил я с палочкой. Помню, как умер мой младший брат, его в гробу, помню, как у нашей прислуги сделалась падучая, как у сестры сошел с ума муж, как у матери была оспа. Я был один, братья в Казани, в юнкерском училище, сестры в Петербурге, на курсах, потом замужем. У меня все были подруги, а не товарищи, и я любил играть в куклы, в

театр, читать или разыгрывать легкие попури старых итальянских опер, т. к. отец был их поклонником, особенно Россини. Маруся Ларионова, Зина Доброхотова, Катя Царевская были мои подруги; к товарищам я чувствовал род обожанья и, наконец, форменно влюбился в гимназиста 7-го класса Валентина Зайцева, сделавшегося потом моим учителем; впрочем, я также был влюблен и в свою тетушку. Я был страшно ревнив, как потом только в самое последнее время. Мой средний брат тогда был еще реалист, лет 16—17-ти. Это было года за 2 до отъезда, и, м. б., он был уже подпрапорщиком [...]. С братом я ссорился и дрался, т. к. тот постоянно упрекал меня, что я любимчик, тихоня и т. п. Он делал сцены отцу и матери опять-таки из-за того, что они к нему несправедливы, и до последнего времени был не в ладах с матерью. Сестры все почти поступали против воли отца, и долгими временами он не имел с ними сношений и не хотел их видеть. Я рос один и в семье недружной и несколько тяжелой и с обеих сторон самодурной и упрямой. Я учился музыке в «Муз[ыкальной] шк[оле]» и, как всегда в детстве и в провинции, считался очень успевающим. Мои любимцы первые были «Faust», Шуберт, Россини, Meyerbeer и Weber. Впрочем, это был вкус родителей. Зачитывался я Шекспиром, «Дон Кихотом» и В. Скоттом, но не путешествиями. Русского я знал очень мало, к религии был равнодушен, как и вся семья. Осенью 1884 года мы тронулись в Петербург втроем: отец, мать и я. С тех пор мы жили неразлучно с матерью до ее смерти.

1884—1894

В Петербурге было очень неуютно: маленькая квартира на дворе, болезнь отца, операция, обязательное хождение по родственникам, неудачи в гимназии, темнота, шарманки по дворам — все наводило на меня непередаваемое уныние. Жили мы первый год на Моховой, потом все время на Васильевском. Мы часто видались с Мясоедовыми, дочь которых стала теперь моей единственной подругой. Я плохо помню это время. Отец, переехавши на большую квартиру, умер, поссопившись перед смертью с тетей. Я помню, как он умирал. Мама, устав, легла соснуть; у постели сидела прислуга; я читал «Ниву», где говорилось, как самоеды приняли наружное лекарство внутрь тут же, и я громко засмеялся, Настасья сказала: «Что вы, Мишенька?» — «Так, смешное читаю». — «Ведь папаша-то помрет: слышите, хрипит; вы бы разбудили барыню». — «Он всегда хрипит, я сейчас дочитаю». Отец, действительно, тяжело дышал, хрипя. «Ми-

шенька...» — «Ну что?» — но вдруг раздался хрип громче и реже, один, другой — и стало тихо. Потом Настасья закричала громко: «Барыня, барин-то у нас помер!» Я сел на диван, мама меня обняла, заплакав. Я же все время не плакал. Тетя, не приехавшая ни разу во время болезни, громко рыдала, хватаясь за гроб. Меня на целые дни брали Мясоедовы для развлечения. Дела шли плохо, мы опять перебрались в небольшую квартиру в том же доме. Вскоре к нам приехала старшая сестра из Сибири, у которой родился Сережа⁷. Было страшно тесно, ребенок кричал, мамка занимала первые места. В гимназии я учился плохо, но любил в нее ходить, любя заниматься языками, любя своих товарищей [...]. Сестра, оставшись в городе, стала жить отдельно, давая уроки, сдавая комнаты, устраивая студенческие вечеринки с пивом, колбасою и пением студенчески-швейных песенок («Есть на Волге утес...», «Накинув плащ...»). Я посещал ее и ее вечеринки, хотя они были совсем не по мне и мне бывало скучно и тяжело. Впрочем, это было позднее. С этим же временем у меня совпадает первый приступ религиозности, направленный, главным образом, на посты, службы и обряды. Рядом же шло увлечение классиками, и я стал подводить глаза и брови, потом бросил. По летам мы жили в Сестрорецке, который тогда был диким местечком и казался моему воображению Грецией. В пятый класс к нам поступил Чичерин, вскоре со мной подружившийся и семья которого имела на меня огромное влияние. Я радовался, отдыхая в большой, «как следует», барской семье и внешних видах обеспеченного житья. Мы сошлись в обожании музыки, вместе бегали на «Беляевские концерты»⁸, изучали Моцарта, ходили на галерею в театр. Я начал писать музыку, и мы разыгрывали перед семейными наши композиции. Написав несколько ценных по мелодии, но невообразимых по остальному романсов, я приступил к операм и всё писал прологи к «Д[он] Жуану» и «Клеопатре» и, наконец, сам текст и музыку к «Королю Милло» по Гоцци. Это первое, что я рискнул в литературе. Тогда я стал безумно увлекаться романтизмом немцев и французов: Hoffmann, J.P. Richter, Фуке, Тик, Weber, Berlioz и т. д. меня увлекали страшно. Одно лето я жил в Ревеле и, как Юша вообразил, что влюблен в Мясоедову, так я себя представил влюбленным в Ксению Подгурскую, девочку лет 16, с манерами полковой дамы. Это было наиболее детское из всех приключений. Скоро мы кончили гимназию. Мое религиозное (до того, что я просился в священники [...]) настроение прошло, я был весь в новых французах, нетерпим, заносчив, груб и страстен. Летом, гос-

тя у дяди Чичерина, Б. Н. Чичерина, я готовился в консерваторию, всем грубил, говорил эпатажные вещи и старался держаться фантастично. Все меня уговаривали идти в университет, но я фыркал и говорил парадоксы. В консерв[атории] я был у Лядова на сольфеджио, у Соловьева на гармонии, у Р[имского]-Корсакова на контрап[ункте] и фуге [...]. В 1893 году я встретился с человеком, которого очень полюбил и связь с которым обещала быть прочной. Он был старше меня года на 4 и офицер конного полка [...]. Это было из счастливейших времен моей жизни, и тут я очень много писал музыки, увлекаясь Massenet, Delib'ом и Bizet. Это было очаровательное время, тем более что у меня образовался кружок веселых друзей из моей же бывшей гимназии, но моложе меня, теперь студентов: Сенявина, Гинце, Репинского. Моя жизнь не особенно одобрялась моею матерью; как это ни странно, к этому времени относится моя попытка отравиться. Я не понимаю, чем я руководствовался в этом поступке: м. б., я надеялся, что меня спасут. Я думаю, что незнание жизни, считание моего положения каким-то особенным, недовольство консерваторией, невозможность достаточно широко жить, романтизм и легкомыслие меня побудили к этому [...]. Я накупил лавро-вишн[евых] капель и, написав прощальное письмо, выпил их. Было очень приятно физически, но ужас смерти обуял меня, я разбудил маму. «Миша, зачем ты это сделал», беганье по лестнице, хлопанье дверьми, слезы, доктор; поехали на извозчике в больницу, я был как пьяный и громко говорил по-французски. В больнице мне механически делали рвоту (отвратительное впечатление) и, дав ванну, положили на кровать, на которой утром кто-то умер. Ночью кричал выпивший нашатырь, я бредил, вскакивал, сторож говорил другому: «Какого красивого положили, только не русский». Утром пришла мама, я пробыл всего несколько дней и вышел, но некоторое время занятия были мне запрещены, и я оставил консерваторию [...]. Весной [1895 года] я поехал с князем Жоржем в Египет. Мы были в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Это было сказочное путешествие по очаровательности впервые collage* и небывалости виденного. На обратном пути он должен был поехать в Вену, где была его тетка, я же вернулся один. В Вене мой друг умер от болезни сердца, я же старался в усиленных занятиях забыться. Я стал заниматься с Кюнером⁹, и каждый шаг был наблюдаем с восторгом Чичериным, дружбе с которым это был медовый год.

* Соединенного вместе, обобщенного (фр.).

Я думал, что со смертью моего друга я должен быть как бы обречен на отсутствие любви. Увлекаясь тогда уже неоплатониками и мистиками первых веков, я старался устроить так свою жизнь, строго регламентируя занятия, пищу, чтение, старался быть каким-то воздержным пифагорейцем. Юша, относившийся отрицательно к моей истории, теперь изо всех сил старался поддерживать во мне мысль о Провидении, ведущем меня к необход[имости] чувствительной верности и воздержанию. От церкви я был очень далек. Но я заболел истерией, со мной стали делаться каталептические припадки, и, пролечившись всю зиму у Клименко, я отправился в Италию. Я был в Берлине и др. городах Германии, дольше жил в Мюнхене, где тогда жил Чичерин. Рим меня опьянил [...]. Я очень стеснялся в деньгах, тратя их без счета. Я был очень весел, и все неоплатоники влияли только тем, что я считал себя чем-то демоническим. Мама в отчаянье обратилась к Чичерину. Тот неожиданно приехал во Флоренцию [...], и я охотно дал себя спасти. Юша свел меня с каноником Mogi, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением [...]. Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, но форменно я говорил, как бы я хотел «быть» католиком, но не «стать». Я бродил по церквам, по его знакомым, к его любовнице, маркизе Espinati Mogati в именье, читал жития св[ятых] в[еликомучеников], особенно St. Luigi Gonzago, и был готов сделаться духовным и монахом. Но письма мамы, поворот души, солнце, вдруг утром особенно замеченное мною однажды, возобновившиеся припадки истерии заставили меня попросить маму вытребовать меня телеграммой. Мы простились с каноником со слезами, обещая друг другу скорое свиданье; я увозил молитвенник, письма к катол[ическим] духовным в Петербурге; часто переписывались по-итальянски, но потом письма стали реже, наконец прекратились и совсем. Вернулся недовольный, более чужой маме и всем, не зная, что делать. Чичерин старался дать мне стража вместо Mogi и, после моего отказа обратиться к Пейкер¹⁰, направил меня к о. Алексею Колоколову¹¹, как светскому *conducteur d'âmes**. Но какое-то светское ханжество этого протоиерея меня оттолкнуло, и после первой исповеди я перестал к нему ходить. В это время я подружился с Костриц и стал у ней бывать¹². С этого времени до самых последних годов *en part du l'amour***

* «Водителю душ», духовному наставнику (фр.).

** По любовной части (фр.).

я ограничивался изредка посещением теплых краев, без увлечения и без привычки, т[ем] более, что тут открылось мне внезапно и неудержимо «русское» направление, временами наступающее и теперь. Теперь я вижу, что это были как бы 2 крайние точки, между которыми колеблется маятник часов, все слабее и слабее уклоняясь в те же разные стороны, перед тем как остановиться. То я ничего не хотел, кроме церковности, быта, народности, отвергал все искусство, всю современность, то только и бредил D'Annunzio, новым искусством и чувственностью. Потом, пойдя глубже в русское, я увлекся расколом и навсегда охладел к официальному православию. Войти в раскол я не хотел, а не входя, не мог пользоваться службами и всем аппаратом так, как бы я хотел. В это время я познакомился с продавцом древностей Казаковым¹³, старообрядцем моих лет, плутоватым, вечно строящим планы, бестолковым и непостоянным. Я стал изучать крюки, познакомился со Смоленским¹⁴, старался держаться как начетчик и гордился, когда меня принимали за старовера. Сестра тогда жила в Нижнем и по летам жила в его окрестностях, куда приезжал и я. Так мы прожили год в Черном, год в Юркине и два в Васильсурске. Я очень наслаждался обществом сестры моего зятя, Лидии Степановны Мошковой, гостей, вроде Марьи Ив[ановны], хозяйских дочек, бонн, видя в них типы Печерского. Особенно типично в этом отношении было первое лето в Василе [...]. Из моих бросаний, наконец, определился ряд произведений, которые я ценю всегда и во всяком виде. Это всегда почти эпос Пролога¹⁵, сказки, новеллы, *fabliaux*¹⁶; Шекспир, «Д[он] Кихот», Мольер и фр[анцузские] комедии, Пушкин, Лесков. По музыке я возвращался непременно к старым французам, итальянцам и Mozart'у. Скоро Чичерин уехал навсегда за границу, обещая устроить у Senff'a, с которым он говорил раньше, издание моей музыки. Через Верховских познакомился с «Вечерами современной музыки»¹⁷, где мои вещи и нашли себе главный приют. Один из членов, В. Ф. Нувель, сделался потом из ближайших моих друзей. Осенью мама, все слабевшая, простудилась и, наконец, слегла. Я не могу вспоминать, как она целыми днями спала, сидя со склоненной низко головой и охая. Ночью не могла встать для своей нужды и свалилась. Она противилась доктору, но я настоял; сиделка, тетя, живущая у нас, и мама, чужая, с помутившимся взглядом, невнятной речью, страшная и строгая. Она умерла без меня, когда я ездил за священником. Меня встретила тетя, растерянно рыдая. Потом пришли монаш[ки], внося определенность и печаль. Панихиды, по-

хороны. Все были очень душевны. Я остался на старой квартире, хотя боялся первое время; мне не хватало денег и недодало хозяйство, когда надо экономить. Я часто бывал у Казаковых, ездил к ним в Псков, путешествовал с ними в Олонец[кую] губернию, Повенец и вернулся через Финляндию и, наконец, переехал к ним жить со своими иконами, снявши вместе квартиру в Семеновском полку [...]. Потом я жил в Щелканове у Верховских [...]. Осенью [1905 года] я стал жить с сестрою.

Примечания

¹ По машинописной копии дневника Кузмина 1905 г. в РО ГПБ этот отрывок, с небольшими разночтениями, впервые был напечатан Г. Г. Шмаковым в его глубокой и содержательной статье «Блок и Кузмин. (Новые материалы)». — Блоковский сборник. II Тарту, 1972. С. 341—364.

² В 1920 г. дневник за эти годы находился у Кузмина, о чем говорит его запись от 19 июля 1920 г.: «Дома почитал мой дневник 16-го года».

³ Юрий Иванович Юркун получил «10 лет без права переписки», что в те годы часто означало расстрел.

⁴ Имеется в виду драма «Смерть Нерона», опубликованная в 3-м томе «Собрания стихов» Кузмина (Мюнхен, 1977).

⁵ Верная дата рождения Кузмина — 6 октября 1872 (не 1875) г. документирована К. Н. Суворовой (Архивист ищет дату // Встречи с прошлым. Вып. 2. Изд. 2-е. М., 1985, С.108). В тексте дневника «1875» написано поверх зачеркнутого «1872», а затем «5» еще исправлено карандашом на «4».

Пользуемся случаем указать также на неверную дату смерти Кузмина в «Краткой литературной энциклопедии» (3 марта 1936). Кузмин умер 1 марта 1936 г. Э. Ф. Голлербах писал о его смерти Е. Я. Архиппову 15 марта того же года: «Да, Евгений Яковлевич, — к тем «милым спутникам», о коих Жуковский завещал нам вспоминать без тоски, с нежной благодарностью, присоединился теперь и Михаил Алексеевич Кузмин.

Вы хотите, чтобы я написал Вам о его последних днях...

У М. А. была болезнь сердца. За последние годы у него бывали — то чаще, то реже — жестокие припадки. В конце января очередной припадок заставил его лечь в больницу (б. Мариинская больница на Литейном пр.). Здесь навестил я его 23-го февраля. Он заразился в больнице гриппом; высокая температура еще более ослабила его. Он говорил очень тихим, но внятным голосом; задавал вопросы, но казалось, что все время он думает о чем-то другом. Я ушел от него с тяжелым чувством: не было сомнения, что дни его сочтены. Вскоре грипп осложнился воспалением легких. 1-го марта, в 12 ч. ночи М. А. скончался, не теряя сознания, но утратив возможность говорить (его мучило удушье, он дышал кислородом). По словам Ю. И. Юркуна, агонии не было, смерть подошла тихо, почти незаметно. Незадолго до кончины М. А. говорил, что чувствует себя абсолютно хорошо, что у него на

душе легко и спокойно. Грозившей ему опасности он не сознавал. Беседовал о текущих делах, о разных бытовых мелочах, собирался пойти в балет. В его умирании было свойственное ему легкое, ироническое отношение к событиям, отношение жизнелюбивое, но не жадное к жизни.

5-го марта я стоял у гроба М. А., смотрел в строгое, восковое лицо (оно напомнило мне чем-то посмертную маску Бодлэра), которое когда-то освещали чуть лукавые, а иногда чуть сонные глаза, — и думал о том, какое своеобразное, неповторимое явление литературы воплощал этот исключительный человек, мало понятый и недооцененный.

Мы были знакомы на протяжении почти двадцати лет, встречались в самой различной обстановке — и в домашней, и в деловой, и в «салонной», и в театральной. И мне кажется, что эта дружба не кончилась и не может кончиться: *ушел человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чье благоволение, ироническая мудрость и удивительная душевная грация* (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы.

Литературных людей на похоронах было меньше, чем «полагается», но, может быть, больше, чем хотелось бы видеть... Вспомните, что за гробом Уайльда шли семь человек, и то не все дошли до конца.

В этот день я мог думать только о М. А. и ни с кем не разговаривал, — я не помню даже, кто, кроме меня, выносил гроб (я нес его, идя впереди, «в ногах», и не видя, кто идет за мною).

...Был сырой, теплый зимний день, все время шел крупный мокрый снег. Печально и нестройно пели трубы оркестра.

И мне вспомнился точно такой же день, когда «талый снег налетал и слетал» и была такая же тоска, такая же предвесенняя оттепель: день похорон Иннокентия Федоровича Анненского, 27 лет тому назад...

Есть много общего, если не в судьбе, то в обособленности, в утонченности обоих поэтов. В известном смысле — есть нечто общее и в судьбе. Но об этом говорить не будем.

Грустно, невыразимо грустно...» (ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 65).

⁶ Дж. Малмстад приводит даты жизни родителей Кузмина: отца Алексея Алексеевича (1812—1886) и матери Надежды Дмитриевны, урожденной Федоровой (1834—1904), так что при рождении М. А. Кузмина ей было не 40, а 38 лет.

⁷ Сергей Абрамович Ауслендер (1888—1943), будущий писатель, сын родной сестры Кузмина Варвары Алексеевны (по второму браку — Мошковой). Отец Ауслендера, Абрам Яковлевич, был арестован в 1883 г. в Херсоне по делу о народофильской типографии и отбывал ссылку в Сибири, в Тобольской губернии.

⁸ «Беляевские концерты» — учрежденные известным музыкальным деятелем М. П. Беляевым (1836—1903) общедоступные «Русские симфонические концерты» для пропаганды творчества русских композиторов, которые проводились в Петербурге до лета 1918 г.

⁹ Кюнер Василий Васильевич — композитор, пианист, скрипач и педагог. В 1882 г. переселился из Германии в Россию, имел частную музыкальную школу в Петербурге.

¹⁰ Пейкер Александра Ивановна — дочь Марии Григорьевны Пейкер, сторонницы религиозной секты «пашковцев», издательницы выходившего в Петербурге с 1875 г. религиозного журнала «Русский рабочий»; после смерти М. Г. Пейкер в 1881 г. продолжала до 1886 г. издание журнала.

¹¹ Колоколов Алексей Петрович — настоятель церкви Св. Георгия Велikomученика в Петербурге, популярный в кругах интеллигенции 1880—1890-х гг. священник. Его, как и другого знаменитого проповедника того времени, о. Григория Петрова, упоминает Кузмин в одном из писем к Чичерину, где речь идет об отношении к вере и к религии: «Не об общем чувстве веры, присущем и язычникам, и мусульманам, я говорил: не об общем христианстве и церкви, растяжимых и бесформенных, вмещающих и Толстого, и Розанова, и от. Петрова, и отца Алексея Колоколова, и светских дам. Такой веры, такой церкви (лучше такого отсутствия церкви) мне не надо, не хочу их, плюю на них, вот! [...] Я беру то, что обязательно и нужно для меня, а не общеобязательно, ибо общее может быть только самым широким, теоретическим, неприменимым и ненужным. А раз делается прилагательным, сейчас же делается частным, плотским, личным. А до общего мне дела нет» (цит. по публ. Н. А. Богомолова. — Наше наследие. 1988. № 4. С. 72).

¹² Костриц Лидия Михайловна — художница.

¹³ Казаков Г. М. — владелец магазина по продаже икон и церковной утвари.

¹⁴ Смоленский Степан Васильевич (1848—1909) — знаток православного церковного пения, музыковед, палеограф и хоровой дирижер. В 1888 г. разработал систему перевода крюков на линейные ноты.

¹⁵ «Пролог» — сборник кратких житий святых, патериковых легенд, поучений и назидательных рассказов, расположенных по месяцам и дням года; его сюжеты использовались А. И. Герценом, Л. Н. Толстым, Н. С. Лесковым и др.

¹⁶ Фаблио — короткая стихотворная повесть комического или сатирического содержания, получившая распространение во Франции в XII—XIV вв.

¹⁷ «Вечера современной музыки» — музыкальный кружок, существовавший в Петербурге в 1901—1911 гг. Устраивал концерты, на которых исполнялись произведения русских и западноевропейских композиторов (Ж. Дебюсси, С. Прокофьева, И. Стравинского и др.).

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Сообщение И. Э. Бердан

В 1956 году началась и более четырех лет продолжалась упорная борьба вдовы А. С. Грина Нины Николаевны за «домик Грина», как она называла дом в Старом Крыму, где писатель провел последние месяцы своей жизни и где он умер в июле 1932 года. Восстановление «домика Грина» в первозданном виде Нина Николаевна считала своим долгом перед памятью мужа, своей обязанностью перед почитателями его замечательного таланта.

Борьба велась с бюрократами и перестраховщиками, которые в то время, сообразуясь с «мнением свыше», угрюмо-подозрительно относились к творчеству Грина и его личности. Высказанная, например, в Большой Советской Энциклопедии (1952 г. издания) оценка творчества Грина, где, в частности, говорилось: «Воспевая «сверхчеловека» нищезанского типа, Г. тенденциозно противопоставляет своих героев — «аристократов духа», людей без родины — народу, к-рый предстает в его произведениях в виде темной, тупой и жестокой массы», в наши дни воспринимается как нелепо-невежественная, по недоразумению попавшая на страницы энциклопедии, но тогда считалась чем-то вроде «официальной установки». И лишь благодаря своей настойчивости и преданности памяти Грина, благодаря помощи друзей и людей, любивших книги Грина, Нине Николаевне удалось не только восстановить «домик Грина», но и добиться создания в нем музея.

В этом благородном деле большая заслуга принадлежала другу Н. Н. Грин и почитателю творчества Александра Грина, киевскому писателю Николаю Ивановичу Дубову. В его архивном фонде в ЦГАЛИ хранятся письма к нему Н. Н. Грин за период с сентября 1957 года по декабрь 1966 года, отражающие перипетии борьбы вдовы писателя за «домик Грина» как с тогдашним руководством Союза писателей, так и с местными райкомовскими и райисполкомовскими чиновниками. Приведем выдержки из этих писем (ф. 2880, оп.1, ед. хр. 306).

«Москва, 8.XII.57.

[...] Во вторник, т. е. 10.XII, должна получить в СП ответ, — что предпримут они, чтобы закончить эту издевательскую старо-крымскую историю с восстановлением домика Александра Степановича [...]. И тоска, тоска — когда же все

это кончится [...]. Но все, конечно, упирается в беззастенчивую наглость первого секретаря и предгорсовета Дацко, не выражающих перед начальством отрицательного отношения к восстановлению домика А. С., а вместе с тем всячески тормозящих его» [...].

«Москва, 17.XII.57.

[...] Что же касается старо-крымских помпадуров и их подхалимов, то честью своей буду считать заставить их хотя под насилием свыше понять, что то, что они проделывают с восстановлением домика А. С. Грина, есть поступок антисоветский, антиобщественный, вульгарно-мещанский» [...].

«Москва, 7.IV.58.

[...] Домик А. С. в том виде, как он есть, это моя самая большая боль. Я уже не чувствую себя сильной и здоровой; в 65 лет нельзя думать о десятилетиях впереди; можно думать о считанных месяцах, и без помощи писателей мне было бы не одолеть косность Ст.-Крым. администрации» [...].

«7.VI.58.

[...] СП через Совет Министров будет хлопотать о признании домика А. С. Грина мемориальным. Несколько ранее этого этим же делом заинтересовался Московский СП. К. А. Федин подал Н. П. Бажану заявление, что имя А. С. достаточно значимо, чтобы домик его мог стать мемориальным, что отношение к домику неправильно равнодушное, а посему он просит Н. П., как писатель и депутат Верховного Совета, принять соответствующие меры к тому, чтобы домик был мемориальным [...]. Спасибо всем вам, писателям, приложившим руку к этому доброму, справедливому делу» [...].

«Москва, 31.V.59.

Не пишу, потому что мне очень тяжело. Писала ли я Вам, что, получив приказ ЦК Украины и фельетон, наши помпадуры вынуждены начать восстановление домика. Через два месяца после фельетона, понуждаемые запросами о восстановлении, они приступили к этому делу, не пригласив для консультации ни из СП, ни меня. Порешили: удлинить домик Грина, повесить на нем мемориальную доску, устроить в нем библиотеку или другое культурное учреждение, или поселить *знатного пенсионера* [...]. В Ст. Крыму у меня и друзья есть, которые смотрят, что делается с домиком [...]. Бой идет — явный у меня с райкомом и райисполкомом. И тайный — у райкома с интеллигентной общественностью города и даже с партийцами» [...].

«Старый Крым, 4.III.60.

27.II я получила ордер и ключ от домика Александра Степановича. До сих пор еще не верю в свое счастье [...].

В октябре было решение о передаче домика мне, а осуществилось только теперь [...]. Домик А. С., несмотря на то, что 1/2 года как восстановлен, загажен [...]. Пока живу на старом месте. Но он, дорогой мой домик, уже мой угол до конца дней. Результат 3-х 1/2 лет борьбы — иссякли физические силы, частые приступы грудной жабы. И усталость, мучительнейшая усталость» [...].

«Старый Крым, 4.IV.60.

[...] И я счастлива всем своим существом, как не была так давно, что уже и забыла, что такое счастье. Теперь знаю снова и благодарю судьбу и Александра Степановича.

«Старый Крым, 22.VIII.61.

[...] со всем справляюсь одна — и садик (ежедневно не менее 2-х часов), и уборка дома, стирка, уход за могилой, стряпня, добыча продуктов, письма — и люди. И я тону, тону в делах. Ежедневно от 10—20 человек до 60 и последние 2 дня 200 и 110 в день [...]. Только мысль, что сама этого хотела и, следовательно, получила желанное, удерживает меня от крика Союзу писателей — «Что же вы думаете, товарищи, о домике Грина?!» [...].

«Старый Крым, 7.VII.64.

[...] с 18.III. с. г. домик — филиал краеведческого, но радости от этого пока никакой. И заботы — тоже. А мне уже не на что его содержать. И чувство безвыходности от незнания — куда обратиться» [...].

«Старый Крым, 19.XII.66.

[...] Бесприютность домика меня угнетает [...]. Показалось мне, что все высокие пороги перешагнуты, — как же иначе думать, — домик стал «филиалом Феодосийского краеведческого музея»! Но, увы, — на бумаге стал, а фактически?.. — он беспризорен» [...].

Озабоченность и сердечная боль за судьбу дома Грина соседствуют в этих письмах с чувством огромной благодарности к тем, кто помог отстоять и восстановить его. Знаком дружбы и доверия к Н. И. Дубову и его семье являются машинописные копии рассказов Грина «Посидели на берегу», «Қолосья», «Пахучий кустарник» и др., которые Н. Н. Грин посылала ему в Киев (ф. 2880, оп. 1, ед. хр. 551, 552). Среди материалов Александра Грина — записанный Н. Н. Грин незадолго до смерти писателя сюжет рассказа, который Грин написать уже не успел. В небольшом вступлении Нина Николаевна рассказывает об обстоятельствах, при которых этот сюжет был ею записан. Предлагаем вниманию читателей это свидетельство того, что и в тяжелые месяцы неизлечимой болезни А. С. Грин продолжал творить.

СЮЖЕТ РАССКАЗА, ПРОДИКТОВАННЫЙ А. ГРИНОМ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Уже много месяцев болел Александр Степанович. Болел и слабел, а творческие мысли все еще не оставляли его. Писать он не мог — рука уставала держать карандаш. Рассказал мне сюжет, волновавший его воображение. Я предложила записать. Он охотно согласился. «Теперь я спокоен, что не забуду его, а то память у меня стала отвратительная», — сказал А. С., когда я прочла ему записанное. Было это в апреле 1932 г. ...

Н. Грин

Молодой писатель неожиданно прославился легко написанным романом. За первым следуют другие, так же легко написанные. Слава его растет. Издания расходятся в течение нескольких дней. Критика славословит. Но слава не приносит ему полной радости. Все так легко и не по-настоящему дается, что нет чувства заслуженности этой славы, так как он требователен к себе. Проходят годы и годы.

Он богат и знаменит, он кумир читающей публики и критики, но червь неудовлетворенности собой гложет его. Он знает, что может дать прекрасное и дает лишь общеупотребительное. Никто не подозревает его терзаний. Он принимается за работу, какая, по его мнению, должна показать его настоящее лицо.

Работа захватывает его глубоко, по-настоящему. Все творческие силы своей души, весь блеск большого ума он отдает ей. Она окончена, и писатель чувствует, что он иссяк, что, отдав себя целиком, он никогда не сможет быть прежним. Предчувствие новой настоящей славы глубоко волнует его. Новое произведение его, никому не известное (ему хотелось видеть силу удара неожиданным и блестящим), выходит в свет, возбуждая до появления своей таинственностью бесконечные разговоры, шум и предположения как среди критиков, так и среди читающей публики, с восторгом ждущих новую книгу великого. И — ужас! — все удивлены новой книгой. Она чужда и непонятна. Читатель, по привычке жадно кинувшийся к ней, отступает недовольный. Критика обрушивает на нее громы. Издатель, выпустивший книгу в надежде на обычное отношение читателя и критики, терпит большие убытки. Словами «исписался» и даже «свихнулся» — пестрят газетные рецензии. Это крах. И хуже всего, что это и душевный крах. В писателе не может совместиться ощущение нужности и красоты своего нового произведения

со злой травлей, возникшей вокруг этой новой книги.

Он скупает все издание, сваливает его в своем кабинете, замыкает кабинет, решает никогда больше не писать.

Быть теперь прежним он не может. Быть новым — тоже не может. Он уезжает в далекое путешествие; возвращается лишь через несколько лет. За это время он забыт. Вернувшись на родину, ведет жизнь рантье, не вспоминает свое прошлое.

Проходит 20 лет. Все давно перегорело в его душе, но ни разу за все эти годы он не раскрыл дверь своего кабинета. Однажды он это делает. Обросший пылью кабинет набит экземплярами последней книги. На полках красуются дорогие издания «ненужных», но принесших славу книг. Часто за последние годы у него, примирившегося со всем, умудренного, мелькала мысль, что, возможно, критики правы в своем негодовании на книгу. Ведь как-никак, а масса имеет чутье.

Он берет книгу и начинает читать ее с ощущением читателя, так как давно это произведение стало чужим ему. Он захвачен, взволнован и потрясен. Это, действительно, великое произведение высокой культуры и ума. Очарованный, он вновь и вновь перечитывает ее. Теперь, уже старик, хладнокровный и спокойный, он, читая, превращается в юношу. Не веря силе своего впечатления, он собирает своих друзей — не литературных. Литературных нет, так как он, закрывая свой кабинет, поклялся навсегда покончить с литературными друзьями и знакомыми. Он читает друзьям свою книгу, не говоря, чья она. Все потрясены. Он посылает ее в виде рукописи одному видному молодому издателю, большому ценителю настоящего искусства, и получает восторженный отзыв с предложением издать в каком угодно количестве.

Книга издается. Десять изданий ее расходятся в три месяца. Имя писателя не сходит со страниц газет и журналов. Вспоминают его прошлую славу. Он же знает, что вот теперь пришла та настоящая и весомая слава, которой он ждал с такой страстью двадцать лет. Но — не приносит она ему, к его удивлению, радости. Каждый шаг ее остро напоминает ему боль прошлого, бесплодно прожитые десятилетия, искусственное заглушение в себе писательских инстинктов. И все это из-за неверной, изменчивой души читателя.

Он кончает жизнь самоубийством.

СУДЬБА АРХИВА Ф. И. ШАЛЯПИНА

Сообщение К. Н. Кириленко и Н. А. Коробовой

Москва, Петербург, Нижний Новгород, Милан, Рим, Берлин, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Лондон, Ницца, Монте-Карло, Париж, Казань, Орехово-Зуево, Пекин, Рига, Каир, Гавайские острова... и везде спектакли, концерты, встречи, письма, фотографии, автографы, автографы, тысячи автографов. Такие условия жизни абсолютно противоречили условиям собирания и сохранения архива. Да и семейные обстоятельства не способствовали этому. С 1910 года существовало фактически две семьи, два дома — в Москве и Петербурге. Теперь в этих домах созданы музеи Ф. И. Шаляпина.

В Москве на Новинском бульваре в доме 113 (теперь ул. Чайковского, 25) жила первая жена Шаляпина — Иола Игнатьевна и пять его старших детей. В этом доме тщательно собирали и хранили письма, программы и афиши, деловые бумаги Шаляпина, вырезки из газет и журналов наклеивали на специальные листы с печатью «библиотека Ф. И. Шаляпина». И. И. Шаляпина и старшая дочь Ирина вели особую хозяйственную книгу, куда записывали подношения Шаляпину от публики и почитателей таланта. В книге помечено, от кого и когда получены подарки, и приводятся тексты дарственных надписей на них. И. И. и И. Ф. Шаляпины жили в доме на Новинском бульваре до 1952 года. Им мы обязаны сохранностью большей части архива.

Эти материалы составили основную часть фонда Шаляпина в ЦГАЛИ СССР.

А началось все с 13 документов (автографов Шаляпина), поступивших из Государственного Литературного музея в августе 1941 года в наш, тогда еще Литературный архив (ЦГЛА) через пять месяцев после его основания. Сама жизнь, ее логика уже тогда подсказали, что вновь созданному архиву необходимо собирать документы не только литературного профиля, а значительно шире — собирать в одном хранилище фонды деятелей всех видов искусств — театра, музыки, кино, изобразительного искусства.

Вскоре к 13 документам присоединились еще несколько, и в таком составе пока еще очень маленький фонд Ф. И. Шаляпина был отправлен вместе со всеми документами ЦГЛА в эвакуацию (в Саратов, а затем в Барнаул).

Сразу же после возвращения из эвакуации архив продолжил пополнение фонда Шаляпина поступлениями от частных

лиц, из Книжной лавки писателей, из родственных архивных учреждений — Центрального государственного архива древних актов, Центрального государственного исторического архива. Буквально все приобретенные или полученные в дар документы были ценными и интересными, будь то рисунки Шаляпина, его переписка, фотографии в жизни и ролях, зачастую с автографами, афиши и программы спектаклей, письма Конторы императорских театров о его службе, наградах, званиях, письма и телеграммы антрепренеров, благотворительных обществ, охранное удостоверение на имущество Шаляпина, подписанное народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским, свидетельства о рождении и смерти Шаляпина, его бракосочетании, чековые книжки, счета магазинов и пр. Каждый документ был свидетельством того или другого эпизода жизни великого певца. Собирали и воспоминания о нем.

За всеми принятыми на государственное хранение документами тщательно следили, проверяли их состояние, в случае необходимости реставрировали.

В 1960 году были получены шесть больших альбомов с фотографиями Шаляпина в жизни, в группах с известными писателями, актерами, композиторами, художниками и во всех ролях его основного репертуара. Многие из них — фотокопии, но если нет оригиналов — их ценность несомненна.

С 1970 года наступил новый этап в комплектовании фонда Шаляпина ЦГАЛИ СССР. Были установлены прочные контакты с И. Ф. Шаляпиной. 2 июля 1970 года она составила завещание, по которому после ее смерти весь семейный архив Шаляпиных должен был перейти в ЦГАЛИ. С 1973 года началось интенсивное пополнение фонда первоклассными документами. Архив приобрел у Ирины Федоровны письма Шаляпина детям, письма и телеграммы писателей, артистов, антрепренеров к Шаляпину (338 документов) за 1909—1938 годы. В 1977 году И. Ф. Шаляпина передала архиву около 2000 документов — большую семейную переписку и письма к ней В. И. Качалова, А. А. Фадеева, Н. Д. Телешова, П. А. Бакшеева, Н. П. Баталова, М. А. Чехова, В. П. Марецкой и др.

После смерти И. Ф. Шаляпиной в октябре 1978 года по ее завещанию ЦГАЛИ получил все оставшиеся у нее дома документы Шаляпина, а также большие архивы Иолы Игнатьевны и самой Ирины Федоровны. Всего 5250 документов — ценнейшее дополнение к фонду.

Таким образом, вся московская часть архива Шаляпина была бы собрана в ЦГАЛИ, но получилось так, что И. Ф. Ша-

ляпина переписку Шаляпина с А. М. Горьким передала в Архив Горького, ноты с пометками Шаляпина — в Музей музыкальной культуры, а часть иконографического материала — в Театральный музей им. Бахрушина.

Как жаль бывает, что многие родственники фондообразователя не знают золотого правила, к которому стремятся архивисты, — бороться за неделимость, недробимость фонда крупного деятеля литературы или искусства. Если архив находится в одном хранилище, исследователям гораздо легче работать над ним. Материалы фонда, находящиеся в любом Центральном государственном архиве, в целях сохранности будут отстранированы, микрофильмованы.

Поистине трагической оказалась судьба части архива, которая отложилась в Петербурге, в доме № 2 на Пермской улице (теперь ул. Графтио). Там жила вторая жена Шаляпина Мария Валентиновна Элухен (1883—1964), по первому мужу Петцольд (официально ее брак с Шаляпиным был оформлен в 1927 году уже в Париже) и его младшие дочери — Марфа (р. 1910 г.), Марина (р. 1912 г.) и Дассия (1921—1977). В 1922 году Шаляпин со второй семьей уехал за границу. Архив и имущество остались в Петрограде. Хранил их артист и режиссер Государственного Театра оперы и балета, секретарь Шаляпина Исай Григорьевич Дворищин. Он ревностно исполнял порученное ему дело, но в тяжелом блокадном 1942 году он умер, и архив оказался фактически бесхозным. Многие документы попали в чужие, корыстные руки и были безвозвратно утрачены. Остатки этой части архива в настоящее время хранятся в Ленинградском театральном музее.

Живя во Франции, Шаляпин очень много гастролировал по странам Европы, Америки, Азии. Немногие материалы собирались в Париже, в собственном доме Шаляпина. После его смерти в 1938 году его дом перестал существовать — дети разъехались в разные страны, а их переписка с отцом за 1920—1930-е годы, к сожалению, расплылась, как не сохранился единым комплексом и парижский архив Шаляпина. Правда, в последние годы некоторые документы и мемориальные вещи, принадлежавшие Федору Ивановичу, вернулись на Родину, благодаря доброй воле живущего в Италии Федора Федоровича Шаляпина.

Из всего наследия Ф. И. Шаляпина мы выбрали и предлагаем читателю письма Шаляпина жене и дочери Ирине. Письма, почти за 40 лет, представляют собой колоссальную историко-культурную ценность. Этот богатейший фактический материал — неисчерпаемый источник сведений о жизни

и творчестве великого певца. Письма рассказывают о самом Федоре Ивановиче полнее и лучше, чем десятки воспоминаний современников, в них проходит масса тем, они показывают Шаляпина в разных аспектах и дают материал для научных исследований музыковедам, театроведам, киноведам, педагогам и даже психологам. Совершенно особой, отдельной темой исследования может быть тема «Шаляпин-отец». Его письма детям полны нежностью и любовью, со смешными рисунками и стихами, но в то же время он стремится приобщить их к своей взрослой, творческой жизни начиная с раннего их возраста. В письмах к детям 1900—1910-х годов Шаляпин всегда рассказывал о своих выступлениях, успехах, о городах и странах, в которых бывал, они полны постоянной заботой об их учебе, художественном развитии, их развлечениях, играх, здоровье и пр.

Если письма Шаляпина к детям уже вошли в научный оборот, то его письма к жене — Иоле Игнатьевне Шаляпиной — мало известны читателям.

Иола Игнатьевна Шаляпина — сценическая фамилия Торнаги — итальянская балерина, родилась в Риме в 1873 году, окончив балетную школу в миланском театре Ла-Скала, танцевала на его сцене, много гастролировала в других городах Италии, во Франции, Америке. В 1896 году Иола Торнаги была приглашена в Россию, в частную оперу С. И. Мамонтова, где она и встретилась с Шаляпиным. Выйдя замуж в 1898 году, она оставила сцену. У Шаляпиных было шестеро детей: Игорь (1899—1903), Ирина (1900—1978), Лидия (1901—1975), Борис (1904—1979), близнецы Татьяна и Федор (р. 1905). И. И. Шаляпина постоянно жила в Москве. В 1960 году она уехала в Италию к сыну Федору. Умерла она в Риме в возрасте 92 лет.

В архиве сохранилась большая переписка Шаляпиных — более 200 писем и 194 телеграммы Шаляпина к жене и 132 ее письма за 1896—1927 годы.

Шаляпин писал домой во время своих многочисленных гастрольных поездок. По письмам легко прослеживаются маршруты и хронология его выступлений в Петербурге, Одессе, Казани, миланском театре Ла-Скала, в оперных театрах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса, Монте-Карло и др. Он рассказывал, как проходили репетиции и спектакли, как он играл, как звучал голос, как принимали спектакли публика и пресса. Он неизменно сообщал о начале спектаклей или концертов даже в самых небольших городах, откуда невозможно получить ни программ, ни афиш, ни газет. В своих поездках Шаляпин встречался с А. М. Горь-

ким, К. А. Қоровиным, В. А. Серовым, Н. А. Римским-Корсаковым, В. В. Стасовым, Э. Қарузо, С. П. Дягилевым, М. В. Дальским, С. В. Рахманиновым и др.

Много места Шаляпин уделяет в письмах детям, их здоровью, воспитанию, в них также затронуты бытовые вопросы, денежные дела, личные взаимоотношения...

Переписка прекратилась в 1927 году, после их развода, но И. И. Шаляпина бережно сохранила письма. Большинство писем Шаляпина написаны по-итальянски. Перевод сделан И. М. Лебле и Н. В. Снытко. Письма приводятся с сокращениями. Ранее они лишь цитировались в «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» (Л., 1988—1989).

1

18 марта 1899 г., Петербург

Петербург 18/III 99.

Радость моя, красавица, сейчас, слава богу, чувствую себя лучше и все время пою с большим успехом. Сегодня вечером, когда я получил твое дорогое письмо, я пел в «Русалке» и получил красивейший венок с двумя лентами — одна красная и другая белая, — где вышиты ноты «Русалки» вместе с аккомпанементом. Увидишь, какой он красивый, но я так и не знаю, кто сделал мне этот подарок.

Потом пел в «Фаусте», в спектакле участвовала примадонна императорского театра. Пела также мадам Литвин, сказавшая мне, что никогда не видела такого Мефистофеля, как я.

Вчера пел Ивана Грозного, также с величайшим успехом и получил венок.

У меня большой успех здесь, в Петербурге.

Был в императорском театре и слушал оперу «Юдифь», в которой Олоферна пел французский бас, Дельмас, пел неплохо, но играл чистокровного французского джентльмена и больше ничего. Мне кажется, что я исполнил эту партию в 100 тысяч раз лучше, чем он, да и Володя Стюарт, видевший его в Мефистофеле, сказал мне, что он не может сравниться со мной в этой партии, и мне только остается удивляться той сумме, которую платят этому Дельмасу (1500 рублей за спектакль). Вот что значит быть иностранным артистом.

Дорогая Иолинка, я, конечно, хочу сделать карьеру за границей и сделаю, сделаю!.. Чувствую, что смогу сделать.

Милая моя радость, прошу тебя написать мне, как вы оба

себя чувствуете с моим Игрушкой, и сказать, в котором часу ты можешь быть свободна, чтобы поговорить со мной по телефону. Я боюсь, что, когда попрошу тебя к телефону, ты оставишь нашего ангела Игоря, а потому ты должна написать мне, в котором часу ты будешь свободна.

Ты не можешь себе представить, дорогая Иолинка, как я скучаю в Петербурге, не знаю почему, но ничего меня не интересует, и я жду с восторгом дня, когда смогу увидеть тебя и целовать без конца.

Радость моя, очень-очень хочу тебя обнять. Ты далеко от моего сердца, но оно бьется и будет биться только для тебя и для моего дорогого Игрушки.

Надеюсь увидеть тебя вскоре.

Твой навсегда

Федор

Р. С. Кланяются тебе Стюарты и все, кто тебя знает в Петербурге (ф. 912, оп.4, ед. хр. 26, л. 6—7 об.).

2

17 июня 1899 г., Одесса

Одесса. 17/VI 99.

Дорогая Иолинка!

Если бы ты могла знать, как я скучаю здесь, в Одессе. Святая мадонна!! Ты не представляешь себе. Пел 4 раза, завтра пою в «Фаусте». Будет 5 спектаклей. 2 раза пел Бориса и, естественно, имел большой успех, но меня огорчает, что Мусоргский, написавший эту оперу, не имел успеха и опера не понравилась. Говоря по правде, артисты в этой труппе глупы и тривиальны и не могут понять, что это за опера. Боюсь, что я не спою 10 раз, но кто знает... (там же, л. 26).

3

18 апреля 1902 г., Одесса

Одесса. 18/IV 902.

...Сегодня начинаются мои выступления в «Фаусте». Что-то будет? Я не знаю почему, но петь в провинции немного боюсь. Публика здесь очень глупа, они думают, что Шаляпин должен иметь трубный голос, которого у меня нет.

А в Киеве поняли, что я прежде всего артист, трогающий души. Не знаю, что будет здесь... (там же, ед. хр. 27, л. 20 и об.).

$\frac{18}{31}$ марта — $\frac{21}{3}$ марта 1903 г., Каир

Каир
18/31 — 903
III

Радость моя Иолинушка!

Наконец-то мы в Египте. Накануне вечером приехали в Александрию и вчера сюда.

Сегодня были на пирамидах. Это нечто грандиозное и очень интересное. Я хотел забраться наверх, на пирамиду, но, поднявшись до середины, должен был спуститься, так как закружилась голова. Жаль, что не могу переносить высоты, а то залез бы на самую вершину... (там же, ед. хр. 28, л. 14).

5

26 апреля 1903 г., Киев

Киев
26/IV 903.

Дорогая моя Иолинушка!

Я очень на себя зол, что несколько дней не писал тебе, моя радость, моя богиня, моя дорогая любовь! Ты подумаешь дурно обо мне, но, моя радость, право, у меня не было времени, сейчас объясню почему.

Приехав в Москву, у меня оказалось много дел в связи с подготовкой к отъезду в Киев. Я должен был отыскать Гаврилу, приготовить костюмы, парики и т. д. и т. д. и уехал только 22 апреля, а по приезде в Киев 23 должен был петь Фауста, которого спел великолепно (как я тебе телеграфировал) и потом, на следующий день, пел Сальери и Игоря — тоже прекрасно.

...Все, все идет хорошо, но только нет около меня моих настоящих и искренних друзей, моей Иоле и моих пузранчиков Игрушки, Рины и Лидушки... О, как хотел бы я прижать вас к своему сердцу, которое вас всех обожает. Без вас я нахожусь в унынии, скучаю, одним словом, несчастлив [...].

Жаль, что упущу Сан-Карло, т. к. не будет времени там выступить. Мне неприятно также не петь с г-ном Муньоне, который был со мной так любезен. Посмотри, он прислал мне свою фотографию с такой надписью: «Федору Шаляпину,

славному имени в оперном искусстве, настоящему законченному артисту с большой нежностью и неописуемым энтузиазмом дарит эту фотографию друг души его и поклонник. Леопольдо Муньоне».

Видишь, что написал мне этот большой дирижер и большой артист; это меня окрыляет, потому что я придаю большее значение словам больших артистов, нежели аплодисментам публики, которая иной раз ничего не понимает.

. Дорогая моя радость, крошка! Знаешь, я только что получил часы с орлом, украшенные бриллиантами, из кабинета его величества русского царя. Подарок недурен и нравится мне, потому что изящен. Когда будешь в объятиях твоего Феденьки — расскажу тебе много-много, а сейчас прими мои горячие, горячие поцелуи и знай, что нет на свете другой души, которая любила бы тебя так сильно, как я. Целую, целую, целую, целую, целую. Твой навеки Федя.

P. S. Дорогая моя, прошу, не забудь мои камни с Везувия и булавку, которую я, вероятно, оставил в Неаполе. Думаю, что после этих спектаклей выступлю в нескольких концертах в трех или четырех городах, поэтому приеду в Россию к 20—22 мая русского стиля. И напиши мне, как обещала, поедешь в Москву или в Харьков? Уже прошло три дня, а я ничего не получил от тебя. Это меня огорчает. Поцелуй детям. Привет всем и поцелуй маме.

Твой бедный Федюшка (там же, л. 22—24 об.).

6

19 июля 1904 г., Кисловодск

Дорогая моя Иолинетта, маленькая моя женушка! Уже три дня, как я приехал в Кисловодск, и, сказать по правде, эти три дня мне показались месяцами. Ты не можешь представить себе, как я ненавижу эту толпу дураков, которые переодеваются три раза в день, прогуливаются по парку и, кажется, тоже умирают от скуки. Видно, я с каждым днем все старею и старею. Мне совсем теперь не нравится толпа. Мне не хочется больше ужинать, пить с ними, глядеть на них. Я только ночами катаюсь на лошади в горах. Вот и все. Это мне доставляет удовольствие, но когда я возвращаюсь домой, мне не хватает моей дорогой России с ее лесами и туманами. Мне не хватает еще и моих дорогих детей и моей радости женушки, которая, кажется мне, любит меня немного... (там же, ед. хр. 30, л. 8 и об.).

2 ноября 1904 г., Петербург

2/XI 904. Спб.

...Была репетиция «Бориса», и я увидел на репетиции, что артисты не симпатизируют мне и здесь тоже. О зависть, зависть — она не дает никому спать, мне кажется.

Когда я показал Шуйскому, как нужно воплощать этот персонаж, остальные артисты говорили между собой: «Шаляпин приехал сюда, чтобы давать нам уроки...» Какие дураки!!!

Мне, естественно, ничего не говорят, так как, наверно, боятся. Все ничтожные выскочки кусаются, когда никто не видит... (там же, ед. хр. 31, л. 1 об.—2).

$\frac{15}{28}$ июля 1905 г., Лондон

$\frac{15/28}{VII}$ 905. Лондон

...Слушай, что я тебе расскажу про Лондон. Тоска здесь, милая Iole, невыносимая. Город хотя и огромный, однако скука живет во всех углах. Остановился я в Carlton Hotel. Жизнь, конечно, стоит ужасно дорого, слава богу, что есть некоторые люди, которые говорят по-французски и по-итальянски. Я встретил здесь Ricordi, и он познакомил меня с одной здешней аристократкой Lady de Grey, у которой мы вчера обедали в ее villa в деревне Vicino a Londra. Очень милые люди, и мы провели время очень весело. Муж ее — один из директоров здешнего Ковент-Гарденского театра и очень приглашал меня в будущем году в июне приехать спеть несколько спектаклей, но так как я спросил 5000 франков за спектакль, то они сказали, что платить так дорого не могут и что могут заплатить максимум 3000, на это я ответил, что едва ли я смогу приехать и что я сообщу после. Словом, приехав в Россию, мы с тобой поговорим об этом.

Пел я у m-me Palmers очень хорошо, и Lady de Grey, которая была у Palmers, сказала мне вчера, что королева Англии хочет меня слушать у себя во дворце. Я, конечно, согласился и завтра в 5—6 часов вечера должен буду петь, но, однако, не знаю, что такое, я чувствую себя без голоса, должно быть, простудился и, может быть, завтра вынужден буду отказаться — в воскресенье еду в Париж, остановлюсь

в Гранд-Отеле (Grand Hôtel) и пробуду в Париже, должно быть, всего два дня, потом еду в Orange... (там же, ед. хр. 33, л. 9 об.—11).

9

31 августа 1906 г., Петербург

Спб. 31/VIII 906.

...3 числа иду к Стасову. 4 — уезжаю в Москву, я хотел уехать сразу, но милый Стасов так стар (83 года), что вот-вот умрет. Я хочу устроить ему праздник. Он будет так рад, а в другой день, раньше 3 сентября, он не сможет устроить этот вечер... (там же, ед. хр. 35, л. 12).

10

3 сентября 1906 г., Петербург

3/X 906. Спб.*

Дорогая моя, обожаемая Иолинушка!

Добрый день, как поживаешь, дорогая моя? Я, слава богу, чувствую себя хорошо. Сегодня вечером иду к Стасову, чтобы провести вечер, где буду немного петь и прочту новые вещи, написанные Горьким.

Здесь, в Петербурге, все хорошо и спокойно. Не знаю, что буду делать дальше. Хотел поехать в деревню, посмотреть, как там дела, но не знаю, найду ли время, так как меня просят поехать в Гельсингфорс (в Финляндию), чтобы петь в концерте. До сих пор я ничего не решил. Завтра решу, что делать: ехать ли в Москву или в Гельсингфорс. Вчера вечером ужинали у Контана вместе с Дальским, так как был день его ангела... (там же, л. 18 и об.).

11

$\frac{4}{17}$ сентября 1906 г., Петербург

Спб. 4/IX 906.

...Вчера вечером был у Стасова. Пели и читали новые вещи Горького. Здесь все идет по-прежнему. Нет никаких новостей. Сегодня вечером иду к Теляковскому... (там же, л. 21 об.).

* Ошибка в датировке; на конверте стоит: «3 settembre».

$\frac{1}{14}$ октября 1906 г., Москва

Москва. I/X 906.

...Ну вот, Иолина моя, что могу сказать тебе о жизни здесь, в России, особенно в Москве. До сих пор не случилось ничего ни хорошего, ни плохого. Кажется, что все спят или, может быть, устали от этой дурацкой, несносной политики. На улицах, как и раньше, городские стоят с ружьями с примкнутыми штыками. Не чувствуется никаких беспорядков, как-то говорили, что 17 октября будет забастовка и беспорядки, но я думаю, что все обойдется спокойно, так как сила на стороне правительства, все революционеры в тюрьме, и, в общем, думаю, что еще много времени пройдет, пока получим хоть какую-то свободу... (там же, ед. хр. 36, л. 15 и об.).

$\frac{11}{24}$ октября 1906 г., Москва

*Москва.
II/X 906.*

...сегодня получил телеграмму из Петербурга, что мой дорогой старик, который меня так любил, мой Стасов умер. Умер от паралича. Кровь прилила к мозгу — в общем, он умер от той же болезни, что и детский врач Филатов. Помнишь? Мне это было очень горько. Сегодня посылаю венок из цветов дорогому Стасову... (там же, л. 24).

$\frac{28 \text{ ноября}}{11 \text{ декабря}}$ 1906 г., Петербург

*28/XI 906.
Спб.*

Дорогая моя Иолинка!

Пишу тебе после спектакля, в котором пел сегодня. Давали «Лакме» — пел с большим успехом, но сам я не нахожу, что пел очень-очень хорошо, пел так себе. Не знаю сам, какого

черта я очень нервничаю, даже не могу спать ночью. Я понимаю, что при той жизни, которую приходится вести здесь, в России, среди этой банды мерзавцев, встречающихся на каждом шагу, естественно, что нервы шалят, да и тоска по моим дорогим детишкам дает себя знать [...].

Позавчера провел вечер у Римского-Корсакова. Пел ему его вещи. Мы хотим поставить памятник Стасову. Напиши мне, ходила ли ты в Ла-Скала, есть ли там хорошие артисты и что там интересное ставят (там же, ед. хр. 38, л. 13—14).

15

6 августа 1907 г., Капри

6/VIII 907.

Дорогая Иолина!

Наконец, пишу тебе две строчки. Уже три дня, как приехал на Капри. Каждый день с утра до завтрака мы на море. Потом, после завтрака, идем снова к морю удить рыбу и купаться. Были в гротах и т. д. Здесь, на Капри, прекрасно, но очень жарко. Сейчас здесь нет никого. Горький чувствует себя хорошо и очень весел. Он очень рад был нашей встрече и каждый день не перестает радоваться. Все это меня бесконечно трогает [...]. Максим сейчас подошел ко мне и просит передать тебе большой привет и поцеловать детей.

Напишу тебе завтра, сейчас хватит, идем на море... (там же, ед. хр. 39, л. 26—27).

16

10 августа 1907 г., Капри

Капри. 10/VIII 907.

...Здесь ужасно жарко, позавчера провели весь день на море, лова рыбу, а потом завтракали и обедали в гроте. Было красиво неопишимо... (там же, л. 31, 32).

17

$\frac{18}{31}$ августа 1907 г., Петербург

Петербург. 18/VIII 907.

Дорогая моя Иолина!

Приехал в Петербург 16 числа по русскому стилю и 17 числа пел «Фауста» в переполненном театре с большим

успехом. Голос звучал чисто и сильно, но не знаю, какого черта я до сих пор немного простужен, у меня «грипп». Завтра пою «Русалку», а во вторник пою Бориса Годунова. Костюмы мне прислали из Москвы [...]. Прошу тебя написать верный адрес Паоло Трубецкого. Через несколько дней он будет в Милане. Я должен буду написать ему письмо, чтобы просить его послать мне и Макс[иму] Горькому мою статуэтку... (там же, л. 36—37).

18

13 января 1908 г., Нью-Йорк

...Боже мой, я прямо-таки жду не дождусь часа, когда уеду из этой проклятой Америки. Видно, и здесь в театре есть люди, которые из зависти желают мне зла. Например: помнишь портрет, который я нарисовал на стене моей артистической? Через два дня после твоего отъезда, когда я вошел в артистическую, то увидел, что кто-то испортил его перочинным ножом. Служащие театра чуть не плачут и уверяют меня, что это вина не их, а какого-нибудь моего коллеги — кто знает! Это, естественно, немного меня взволновало, но ничего!!! Второй случай таков: я один раз не пошел на репетицию, почувствовав себя немного больным, это был первый день премьеры «Фауста». И тогда дирекция так рассвирепела, что я почувствовал, что они готовы отдать меня под суд. До сих пор не знаю, правда это или нет. Но, тем не менее, «Фауста» я спел с большим успехом и думаю, что с большим успехом, чем Карузо. Недурно? Теперь каждый день репетируем «Дон Жуана». Этот новый дирижер Малер — отличный. Было уже 6—7 репетиций, и еще будет 12. Числа 23 или 26 января будет премьеры «Дон Жуана»... (там же, ед. хр. 40, л. 1 и об.).

19

$\frac{16}{29}$ июля 1908 г. Буэнос-Айрес

29 июля 1908.

...В общем, время идет, я уже спел 6 спектаклей и сегодня иду петь 7-ой, из них 5 раз — «Мефистофель» и сегодня во второй раз — «Цирюльник». Видишь, как идут здесь мои дни. Должен сказать тебе, что успех я имею большой, но всегда найдутся критики: почему играю так, а не так, как они привыкли видеть. Здесь, в Аргентине, как и в Северной Америке, — невежество полное. Эта публика ничего

не понимает. Они привыкли к итальянским артистам, которые, конечно, превосходнейшие певцы, но как актеры стоят немного и вкуса имеют на два чентезимо, к чему и приучили эту публику. Но для меня все это ничего не значит. Я делаю то, что я думаю... (там же, л. 35—36).

20

Около $\frac{6}{12}$ февраля 1910 г., Монте-Карло

...Мое здоровье немного лучше, но, однако, доктор и массажист советуют мне не ходить много, поэтому я провожу дни дома и если иду в парк, то больше сижу. В понедельник еду репетировать Дон Кихота, мне говорят, что предварительная продажа билетов идет очень хорошо. Я рад, слава богу, чувствую себя в голосе и надеюсь спеть хорошо. Встретил Коровина, он уже давно лечится здесь и через несколько дней уезжает. Он мне сказал, что от вод ему стало много лучше и что наверное мне они тоже пойдут на пользу. Он весел и играет каждый день в баккара, и играет удачно, выигрывает почти все время... (там же, ед. хр. 39, л. 28—29).

21

$\frac{11}{24}$ февраля 1910 г., Монте-Карло

11—24 февраля 910.

Дорогая Иола.

Редакция «Русского слова» прислала мне любезную телеграмму, поздравляя с успехом, который я имел в «Дон Кихоте», и просила послать им мои фотографии в этой партии. Фотографии, которые я тебе шлю, не очень хороши, так как были сделаны в театре после генеральной репетиции с магниевой вспышкой, а так как фотограф был неумелый, то оставил их без ретуши, поэтому естественно, что эти фотографии выглядят прескверно. Я сам отретушировал их чернилами. На днях к тебе придут из «Русского слова» просить разрешения напечатать фотографии в журнале; прошу тебя отдать их и объяснить то, что я тебе сказал. Может быть, они найдут, что фотографии неудачны и не будут печатать. Скажи им, что, приехав в Россию, я сделаю те же снимки у хорошего фотографа. Может быть, они захотят подождать, а если нет, тогда дай им эти. Посылаю тебе еще вырезки из журналов, если они заинтересуются, то смогут переснять их и поместить в журнале.

Хочу тебе сказать, что я имел в «Дон Кихоте» невероятно большой успех. Все сошли с ума от того, как я сыграл эту роль. В последнем акте в театре плакали о смерти Дон Кихота.

Мой выезд в первой сцене на Росинанте был так хорош и правдив, что весь театр разразился долгими рукоплесканиями.

Сегодня пою третий вечер «Дон Кихота», а в воскресенье днем — четвертый и последний раз в этом сезоне. В общем, я очень доволен большим успехом. Все удивлены моим произношением. Пою,— говорят мне,— как француз... (там же, ед. хр. 43, л. 13—14 об.).

22

21 февраля 1910.
6 марта

21 февраля 1910 г., Монте-Карло
6 марта

Дорогая Иола,

Как поживаешь? Уже несколько дней не получал ничего от тебя. Вчера послал письма детям. Я и вправду очень соскучился без тебя. Теперь покончил со своим Дон Кихотом и послезавтра пою Мефистофеля. В пятницу уезжаю в Берлин, буду петь в одном из 2-х симфонических концертов с Кусевицким. По правде сказать, я очень боюсь петь в Берлине в концертах, так как рискую быть не понятым, когда пою по-русски. Потому и пребываю в ужасном волнении [...].

Вчера я подписал контракт с Гинсбургом на следующий год. Я не хотел этого делать, но он попросил меня оказать ему услугу, так как написал новую оперу, которая называется «Иван Грозный», и обязательно хочет, чтобы я спел партию Ивана. Сказал мне о количестве спектаклей в следующем году; еду петь двадцать спектаклей. Теперь у меня есть также предложение ехать в Париж на декабрь и январь петь у братьев Изола 20—25 вечеров «Дон Кихота», «Мефистофеля» и «Цирюльника»; надеюсь, что тогда мне заплатят по 6000 франков за каждый спектакль. Думаю, что это выгоднее, чем оставаться в императорских театрах, а поэтому, может быть, соглашусь. В России тогда спою только десять спектаклей в будущем сезоне. Что ты об этом думаешь?

Привет всем от меня и целую малышей, целую тебя и шлю тебе мои сердечные приветы.

Твой Федор (там же, л. 16—17 об.).

$\frac{5}{18}$ марта 1910 г., Монте-Карло

М. Карло.
18 марта 1910.

...Я еду на Капри, чтобы говорить с Горьким по поводу книги, которую он хочет написать к моему 20-летнему юбилею [...].

Жаль, что я не получил «Русское слово» с моими фотографиями, не знаю, куда ты его послала.

До свидания, дорогая Иола, целую тебя и целую также дорогих детей, которых сильно и бесконечно люблю (там же, л. 21 об., 24 и об.).

17 сентября 1910 г., Владикавказ

Шлю тебе привет, милая Иоле, с Военно-Гр[узинской] дороги. Красота удивительная.

Твой Федор (там же, ед. хр. 44, л. 23).

9 января 1911 г., Петербург

...Пел я великолепно. Успех колоссальный — был принят на первом представл[ении] «Бориса Годунова» государем в ложе у него. С ним разговаривал. Он был весел и, между прочим, очень рекомендовал мне петь больше в России, чем за границей... (там же, ед. хр. 45, л. 1).

$\frac{20 \text{ января}}{2 \text{ февраля}}$ 1911 г., Монте-Карло

М. Карло 2/II 911.

Дорогая Иолинка,
пишу тебе две строчки, чтобы сообщить, что, слава богу, все до сих пор идет прекрасно. Почти каждый день мы с Базилио совершаем прогулки по 8—10 километров. С голосом все очень хорошо, я спел два раза «Мефистофеля» так, как первый раз в Ла-Скала. Я получил письмо от Д'Ормевиля, в

котором он меня просит снова приехать петь в Скала. Но я до сих пор ничего не ответил, так как не очень хочу ехать петь туда из-за людей, которые приходят надоедать (журналисты и клака) [...].

Теперь расскажу тебе эту жалкую и рабскую историю о национальном гимне, спетом на коленях. Было так: хористов оштрафовала дирекция, и они нашли, что дирекция слишком строго отнеслась к ним. Тогда они договорились петь национальный гимн на коленях перед царем, присутствовавшим в театре. Но так как публика не аплодировала до моей сцены (в доме Бориса) и занавес не поднимали, то хор не мог сделать этого. А вот когда я спел свою сцену (и скажу, с большим успехом, т. к. чувствовал себя очень хорошо) и когда вся публика встала, крича «браво, Шаляпин», тогда хор вышел из-за двери (единственной в этой декорации) и, к моему удивлению и удивлению всего театра, встал на колени. Так как я не мог уйти со сцены (дверь была загорожена), я был также вынужден встать на колени, иначе я мог бы иметь неприятности, и прежде всего это было бы неделикатной демонстрацией с моей стороны, так как царь приехал специально из-за меня в театр. Но поскольку (ты знаешь) журналы и многие люди, распускающие слухи в обществе, не любят меня, скажу больше, ненавидят меня, то понятно, что пишут и говорят обо мне всякое.

Естественно, что, если бы не этот случай, я никогда бы не вздумал вставать на колени, потому что отлично понимаю, что можно петь гимн и выказывать уважение, не будучи смиренным рабом.

Эта история вызвала у меня настоящее отвращение. Я еще раз убедился, что в России люди скорее рабы, что нагайка или кнут для них, может быть, необходимы.

Я знаю, что многие плохо говорят обо мне, но я чувствую, что моя совесть чиста, и потому мне все равно, что там толкуют... (там же, л. 6—8 об.).

27

31 января 1911 г., Монте-Карло
13 февраля

*М. Карло, 31 янв. 911.
13 февр.*

Дорогая Иолина, прошу тебя писать мне как можно чаще. И прошу писать все, что слышишь обо мне. Думаю, что люди, которые меня ненавидят, теперь всячески используют

историю с гимном и моим коленопреклонением, мне сказали, что в «Русском слове» поместили рисунок, где я стою на коленях впереди всех. Какие свиньи, какие канальи!

Все это меня огорчает, и я начинаю думать, что людское коварство доведет меня до того, что мне против воли придется оставить свою карьеру, по крайней мере, в России. Это будет мне тяжело, но постараюсь пересилить себя.

Потом в одном московском журнале написали, что я сам по поводу этого спектакля сказал, что я как «мужик» не мог поступить иначе и потому встал впереди хора перед своим императором. Какое свинство они говорят, эти канальи... Но мне наплевать! Пусть делают, что хотят, посмотрим, что будет дальше. Я только боюсь, что Максим Горький может поверить в эти рассказы. Это неприятно, так как я очень уважаю этого человека. Мне так кажется потому, что Серов написал мне несколько строк, посмеялся надо мной и сказал, что то, что я сделал, *«некрасиво»*. А что я сделал? Ничего я не сделал. Если ты увидишь Серова, скажи ему, что его письмо меня огорчило и что я удивлен, что он мог поверить тому, что я встал на колени по своему желанию. В таком случае он плохо думает обо мне.

Почти каждый день мы с Базилио гуляем, и, кроме того, я начал брать уроки физкультуры, так как сильно полнею. Уже 4 дня идет дождь и очень сыро... (там же, л. 11—12 об.).

28

$\frac{10}{23}$ февраля 1911 г., Монте-Карло

М. Карло. 23 февраля 911.

Милая Иолина.

Я получил твое последнее письмо, в котором ты сетуешь на мое долгое молчание... Извини меня, но я в последнее время со всякими подлостями людскими совершенно растерялся и потерял всякую энергию, и, кажется, всякие желания. Совершенно никуда не хожу и совершенно ничего не делаю — и если пою спектакль, то это делаю в силу какой-то инерции.

Этот последний месяц до такой степени разочаровал меня в жизни, что у меня совершенно пропадает охота что-нибудь делать. Думаю я только о том, что жить в России становится для меня совершенно невозможным. Не дай бог какое-нибудь волнение — меня убьют. Мои враги и завист-

ники, с одной стороны, и полные круглые идиоты и фанатики, безрассудно считающие меня каким[-то] изменником, Азефом, — с другой, поставили, наконец, меня в такую позицию, какую именно желали мои ненавистники. Россия, хотя и родина моя, хотя я и люблю ее, однако жизнь среди русской интеллигенции в последнее время становится прямо невозможной, всякая личность, носящая жакет и галстук, уже считает себя интеллигентом и судит и рядит, как ей угодно. Воспитание абсолютно отсутствует, так же и резон — это последнее уже отсутствует и у высшей интеллигенции, как, напр[имер], Амфитеатров. Этот милый господин, так же, как и многие жалкие либералы, стоящие якобы за свободу, сразу по собств[енному] желанию решил, что я сообщник реакции и противник свободы и написал мне совсем *не дружеское* письмо, отказывая мне в своей *дружбе* (?). Ужас меня охватывает, когда я подумаю о нынешних временах и этих благородных людях, лицемерно защищающих идеи свободы, и мне хочется бежать от них и от всего этого далеко-далеко. Ведь это же ужасно: я [за] двадцать один год кровью и потом заработал свое честное имя, прославившее отчасти также и мою родину по всему миру, и что же?.. Совершенно невинное обстоятельство, далекое от моего существа, от моих идей, от всего того, что когда бы то ни было думал и делал, обстоятельство вынужденности встать на колени, когда встали 100 с лишним людей, и встать просто из вежливости, как это сделал бы всякий, вставший просто на ноги, потому что встают все, во время гимна — иностранец — повторяю — такое обстоятельство уже решило сразу смарать на нет мое честное имя, — что же это за страна и что это за люди?.. Нет, это ужасно, и из такой страны нужно бежать без оглядки [...]. Конечно, это задача очень трудная, в особенности из-за детей, но что же делать. Думаю, что, поселившись во Франции, мы так же сумеем воспитать и образовать моих дорогих, ненаглядных малышей, а главное, я смею думать, что здесь они меньше рискуют испортиться, чем опять-таки между собственными компатриотами.

Одно только тебе скажу, что хотя мне и делают всякие козни и хотя меня и заставляют насильно быть «политиком», однако я по-прежнему знаю, люблю и понимаю только мое дорогое искусство, и все до сих пор, даже и такая мерзость, как композиция Рауля Гинсбурга «Ivan le Terrible», и та прошла у меня хорошо, и из роли Грозного я сделал все для меня возможное.

Милая Иолина, скажу тебе два слова по поводу нападения на меня каких-то хулиганов, также защищающих свободу.

Эти хулиганы желали, видишь ли ты, устроить мне манифестацию по поводу встав[ания] на колени, и в Ницце, пока они мне свистали, я не обращал на них никакого внимания, но на ст[анции] Вильфранш эти господа позволили себе нанести мне оскорбление, наклеив на дверцы вагона плакат, на котор[ом] написали карандашом: «Холоп». Я думаю, что всякий, если и в самом деле считающий меня сообщником реакции, да если бы я и в самом деле был таковым, едва ли имеет право наносить мне оскорбление!..

Считая поступок хулиганов низкою наглостью, я вышел из вагона и вздул их моей тяжелой палкой так, что они быстро разбежались все, правда, мне помог также немного мой приятель Д. Ознобишин — вот и всё. Конечно, если бы я был послабее, может быть, они бы меня и одолели. Но... этого не случилось.

Скажи Пеняеву, что я прошу его сделать так, как он мне писал, и купить для библиотеки все, что недостает, т. е. то, о чем он мне писал... (там же, л. 14—17 об.).

29

4 сентября 1911 г., Аккуи-терм

Понедельник, 4

Дорогая Иолина,

я получил телеграмму Шкафера и письмо Горького, отсюда поеду на Капри и в Петербурге буду с 10—15 сентября (по стар[ому] стилю).

Горький просил меня ехать на Капри. Естественно, я очень рад этому. Прошу тебя послать мне все ноты концерта, которые находятся в красной папке. Мне будет необходима вся эта музыка, т. к. я надеюсь спеть что-нибудь Горькому (там же, л. 33).

30

30 марта 1913 г., Петербург

Спб. 30 марта 913.

Моя милая Иолинушка.

Прошу тебя не поставить мне в вину мое длинное молчание.

Все это время у меня столько бывает разного народу, что

буквально некогдадохнуть, на четвертой неделе великого поста я хотел поехать отдохнуть в Финляндию к художнику Репину и оттуда хотел тебе писать, но, к несчастью, опять заболели глаза, и мне пришлось вместо отдыха промаяться целых 9 дней — подумай — было 4 нарыва. Слава богу, что к концерту кое-как оправился, а то думал, что концерт опять придется отменять. Но, слава богу, все обошлось хорошо и концерт прошел блестяще. Все очень довольны, доволен и я. Сейчас я пою в Народном Доме 5 спектаклей у Фигнера, и один из них уже спел третьего дня. Шел «Борис Годунов», встретили меня замечательно, оркестр играл туш, и публика вся стояла на ногах, много аплодируя. Сегодня пою «Русалку», и пятого апреля заканчиваю работу. Шестого вечером еду в Москву и седьмого, наконец, приеду к милым нашим детишкам... Я думаю на пасху с детишками, если будет хорошая погода, съездить или к нам в деревню, или на Волгу, или же к Троице-Сергиевской Лавре (монастырь по Ярославской дороге). Хочется их прокатить. Как думаешь? Можно это или нет? С детишками я пробуду до 24 нашего апреля. Потом же нужно будет ехать в Париж... (там же, ед. хр. 47, л. 11—12).

31

11 апреля 1913 г., Москва

*Москва.
11 апр. 1913 г.*

...Все мои спектакли в Петерб[урге] прошли с огромнейшим успехом, и общество благотворительное для бедных детей заработало на них 22 тысячи рублей чистых. Я этому очень рад... (там же, л. 20 об.).

32

$\frac{11}{24}$ мая 1913 г., Париж

11/24 Май 1913.

Милая моя Иолина,
вот уже дней шесть, как я приехал в Париж. Третьего дня давали первый раз «Бориса Годунова», слава богу, я был в голосе и пел хорошо. На первом представлении был что называется «весь Париж», зал был блестящий. Сегодня пою второй спектакль, тоже «Бориса Год[унова]», хотя все хо-

рошо, но все-таки в Grand Opéra спектакли были лучше. Самый театр, несмотря на изящный зрительный зал, имеет очень плохо оборудованную сцену, и играть на ней не так удобно... (там же, л. 30).

33

19 апреля 1916 г., Петроград

...Максим Горький предложил мне серьезно отдать ему один мой месяц отдыха для того, чтобы я написал с ним вместе, т. е. под его редакцией, мои воспоминания. Я нахожу, что ни при каких других обстоятельствах мне книги моей не написать, а между тем это все же нужно сделать, поэтому я ему обещал это, и мы решили сейчас же, когда я кончу работу в Народном Доме, поехать вместе куда-нибудь на юг (думаю, в Крым), там уединиться и проработать месяц (нужно, конечно, будет взять с собой стенографистку), попробовать, потом, осенью, уже печатать... (там же, ед. хр. 51, л. 7 и об.).

34

29 июня 1916 г., Форос

*29 июня 1916 г.
Форос.*

Милая моя Иолина.

Вот уже несколько дней, как я в Форосе, здесь поистине очаровательно и, действительно, уединенно. Работа моя идет пока успешно, хотя должна считаться только сбором материала. Самое трудное будет потом. Горький говорит, что все очень интересно и что он думает, что книга будет очень интересна, но едва ли мы сумеем управиться, чтобы ее печатать раньше декабря месяца.

Ну, что же! Лишь бы вышло хорошо, а для этого поработать можно и больше... (там же, л. 17 и об.).

5 сентября 1916 г., Сочи

Сочи. 5 сент.
им[ение] Стаховича.

Дорогая Иолина!

Вот уже неделя прошла, как я приехал в Сочи. Здесь очень хорошо. Весь берег покрыт огромными лесами сплошь. И горы, горы без конца. Огромные дубы, охватить которые могут только три таких длинных человека, как я. Рядом с имением Стаховича находится источник серной воды, где я сейчас беру ванны. Этот источник целебный и очень помогает от ревматизма и подагры. Здесь сейчас ведется по берегу железная дорога, которая, говорят, будет готова в январе. Это очень будет удобно, и, конечно, край этот, сейчас довольно пустынный, заживет, думается мне, очень бойко. Хотя здесь и прекрасно, но все же в сравнении с Крымом довольно сыро и есть лихорадки [...].

Я, слава богу, здоров, все еще вожусь с переводом «Дон Карлоса». Очень трудно... (там же, л. 20—21).

12 марта 1917 г., Петроград

12 марта
1917.

...Я, слава богу, жив, здоров и думаю на днях начать петь в театре. Однако в Народном Доме едва ли придется начать скоро, так как там стоит сейчас войско, а когда освободит здание — не знаю. Придется, вероятно, петь в Мариинском театре, и думаю, что эти спектакли будут тоже благотворительными. Подробно напишу потом.

Конечно, здесь пришлось пережить кое-какие тревоги, но, слава богу, все кончилось пока благополучно. — Теперь дела всякие уже налаживаются, и мы скоро заработаем снова. Надолго или нет — не знаю.

Я получил письма милых детишек — очень им рад. Радуюсь также, что они бегали с красными флагами. Это великие и великолепные дни. Поцелуй их всех за меня и скажи, что я напишу им отдельно. Сейчас я занят всякими заседаниями в комиссиях. Это мы, т. е. наша комиссия, отвоевали похороны жертв революции на Дворцовой площади. — Будут хоронить на Марсовом поле [...].

До свидания, милая Иолина, скоро буду в Москве. Целую тебя и всех детишек.— Любящий всех вас Федор (там же, ед. хр. 52, л. 5—6 об.).

37

27 апреля 1918 г., Петроград

14/27 апрель
1918

Милая моя Иолина.

Я не писал вам совершенно ничего все время, оттого что писать, говоря откровенно, было нечего. Все идет в том же порядке, как шло и раньше.

Единственная новость — это мое возвращение в Мариинский театр.

Дней десять тому назад, а может быть две недели, ко мне пришли сначала хористы, а потом один из комиссаров некий г-н Экскузович и очень упрашивали вступить к ним в театр и как артиста и как духовного руководителя художественной частью. На все условия мои согласились беспрекословно, и я поэтому принципиально дал им мое согласие. Взвесив также предложение московское от г-жи Малиновской взять в свои руки Большой театр, я предпочел все-таки остаться здесь, в Петрограде, потому что, откровенно говоря, боюсь очень всяких московских пройдох и тамошних интриг. Интриги, конечно, будут и здесь, но мне думается, что здесь мне будет несравненно легче с ними справиться, чем в Москве.

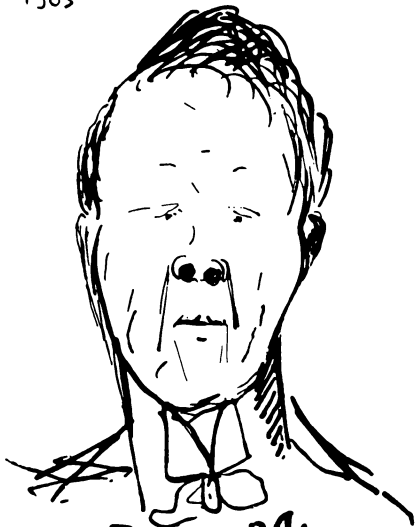
В Мариинском театре встретили меня речами и хлебом-солью. Я в свою очередь сказал им, чему и как должны мы служить, и все пока разрешили к общему благополучию.

Сейчас сидит у меня Трезвинский, он приехал приглашать меня петь в «Эрмитаже» в Москве летом, в июне м[еся]це, и предлагает 10 спектаклей по 10 000 руб. Подумаю и, обсудив хорошенько, дам ему ответ на днях. Возможно, что предложение приму, работать буду здесь до конца мая (нов[ого] стиля) в Мариинском театре.

Очень хотелось бы поехать в Москву. И если б не затруднения с разными разрешениями, то на страстную неделю приехал бы. Однако этот вопрос открытый, и весьма возможно, что на этих днях все-таки приеду.

Здесь, в Питере, жизнь сейчас совершенно спокойная, и меня никто не трогает. Конечно, немцы или белогвардейцы финские сейчас близко от Петрограда, но придут они

1905



Этo папа.



Этo Аришка.



Этo Лидка.



Этo Гюльска.

сюда или нет, никто не знает. Во всяком случае всех вас прошу не беспокоиться обо мне. Если что-нибудь и случится в этом смысле, то я всегда найду возможность удрать отсюда, или вернее от немцев, в Москву... (там же, ед. хр. 53, л. 10—11).

38

14—22 сентября 1918 г., Петроград

1/14 сентября 1918.

Милая Иолина. Я не писал вам ничего так долго, потому что, во-1-х, не имелось okazji послать письмо, а во-2-х, здесь столько разных непредвиденных дел и случаев. Вот напр[имер], 9 дней тому назад в 4 час. утра у меня был произведен обыск в моей квартире по ордеру местного районного совдепа. Конечно, у меня ничего не нашли, потому что ничего и не было, но взяли у меня 12 бут[ылок] вина, старые игральные карты и револьвер — несмотря на то, что я имел на него разрешение (оказавшееся недействительным). По этому и по поводу других всяких обстоятельств приходится все время хлопотать, ездить по разным учреждениям и проводить там немалое время — вот и сейчас я сижу и сдаю свой дом комиссару — дом мой конфискуется, кажется, так же, как и твой московский. Мне предложено было заплатить 18 000 руб., которые я не заплатил, потому что откуда же их взять, — все же отняли. Конечно, это все меня мало беспокоит — ведь я жил и без домов, но что меня угнетает, так это шатанье по разным совдепам с разными заявлениями и всякими хлопотами — я этого терпеть не могу. Работы у меня и без этого масса. Театр меня очень занимает и очень интересуется работа, но и там работать тяжело и приходится больше быть огорченным, нежели удовлетворенным. Как ни тяжело было, но мы все-таки 14, сегодня, открываем сезон «Русланом и Людмилой». Я участвую — пою Фарлафа. В общем, я чувствую себя хорошо, т. е. здоров и имею все-таки достаточно продовольствия. Очень волнуюсь за вас за всех. Как-то вы там живете?

22 сентября 1918.

Вот видишь, писал тебе письмо 14-го, а продолжаю сегодня. Все время вожусь с разными арестованными, приходится ездить хлопотать то за того, то за другого. На днях арестовали Теляковского, и вот пришлось хлопотать об его освобождении — слава богу, выпустили, и вчера я его видел у себя. Вообще жизнь очень тяжелая, но я не унываю и в сущ-

ности не обвиняю никого. Революция — революция и есть! Конечно, есть масса невежества, но идеи мне кажутся светлыми и прекрасными, и если их будут со временем осуществлять хорошим и здоровым способом, то можно думать, что все человечество заживет когда-нибудь действительно прекрасной жизнью. Дай бог! При всех нелепостях, которые сейчас творятся, я все-таки отдаю должное большевикам. У них есть какая-то живая сила и масса энергии. Если бы массы были более облагорожены, то дело пошло бы, конечно, и лучше и целесообразнее. Беда, что интеллигентное правительство задавило совсем душу народа, и теперь, конечно, пожинается то, что посеяно за несколько сотен лет. Так что вы, пожалуйста, не очень огорчайтесь тому, что происходит, и памятуя, что бог не без милости, во-1-х, а во-2-х, что самое главное в жизни человека это здоровье, ни дома, ни золото, ни бриллианты не стоят ровно ничего в сравнении с здоровьем, а потому плюньте на все и берегите здоровье. — Я, по крайней мере, делаю так. — Одно, конечно, беспокоит меня — это дети. Им нужно учиться, а учиться теперь очень трудно, но надо употребить все силы к тому, чтобы они во что бы то ни стало все же учились.

На днях я был в Смольном институте и познакомился с Зиновьевым — он лично произвел на меня очень хорошее впечатление. Довольно часто бываю у Алекс[ея] Максимовича. Он все хворает. Но сейчас приободрился и начинает работать по изданиям книг и вообще литературы вместе с Советской властью. Если б ты знала, сколько народа через его просьбы сейчас освобождено от тюрьмы. Хороший он человек. Я видел, как он принимал у себя и разговаривал с людьми, которые раньше были попросту его врагами. Разные князья и графы и графини, а он так сердечно к ним ко всем относится — это очень хорошо и приятно видеть. Милая Иола, как вы там живете в Москве? Как насчет продовольствия? Я слышу, что в Москве сейчас так же плохо, как здесь, в Питере, а может быть, даже и еще хуже!.. Напишите мне.

Я очень жалею, что [по] беспамятству забыл о дне рождения Лидуси. Поцелуй ее за меня и поздравь, а также скажи, что за мной ей есть подарок. Я не знаю, когда я приеду в Москву, но думаю, что в конце октября или в начале ноября сумею вырваться и приеду.

Особенных каких-нибудь новостей нет, а потому я кончаю мои писания.

Целую тебя крепко и прошу перецеловать всех моих дорогих ненаглядных детишек.

Меня все приглашают поехать петь в Швецию, в Норве-

гию, в Данию и особенно в Германию, но мне отчего-то не хочется никуда двигаться. С семьей проехать страшно затруднительно, а одному противно — как можно сейчас уезжать куда-нибудь далеко — нет! уж лучше останусь здесь.

До свидания! Еще раз целую.

Твой Федор.

Привет всем от меня сердечный (там же, л. 17—18).

Не менее интересны письма Шаляпина к дочери Ирине. Ирина Федоровна, старшая дочь Шаляпиных, родилась 23 февраля 1900 года, училась в театральной школе 2-й студии МХАТ и на драматических курсах Ю. А. Завадского, принимала активное участие, вместе с другими детьми, в создании и работе Шаляпинской студии (Театр-студия им. Шаляпина). И. Ф. Шаляпина много работала в периферийных и московских театрах, снималась в кино.

Она была неутомимым собирателем материалов отца и пропагандистом его творчества. Часто выступала с лекциями об отце в Москве и других городах, принимала участие в теле- и радиопередачах о нем, в издании книг и сборников. Ею написаны воспоминания — «Федор Иванович Шаляпин. Рассказ об отце». Ирина Федоровна была отцу самой близкой из детей, письма к ней — единственная ниточка, связывающая Шаляпина с Россией, о которой он так тосковал. Их отличает особая доверительность, любовь, заинтересованность. Шаляпин переписывался с ней до последних дней своей жизни. Письма 1920 — 1930-х годов — один из немногочисленных источников сведений о жизни и творчестве Шаляпина за границей. Его непрерывные гастроли по многим странам мира, особенно в США, с плохими актерами, наспех набранными труппами, неудовлетворенность, усталость, ухудшение здоровья и, несмотря на все, огромный успех у публики — вот основное содержание этих писем. С большой любовью и тоской он пишет о России, радуется ее успехам, восторгается папанинцами, мечтает вернуться на Родину. В письмах отражены его колебания, сомнения, причины невозвращения.

В 1922—1924 годах два сына и дочери Шаляпина Лидия и Татьяна уехали за границу продолжать учебу и по разным причинам на Родину не вернулись. Об их дальнейшей судьбе, о своей помощи им, о своих огорчениях в связи с неустроенностью их жизни и работы пишет Шаляпин:

В письмах (как и письма к И. И. Шаляпиной, они

ранее цитировались в «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина») упоминаются: П. П. Пашков (первый муж И. Ф. Шаляпиной), Эрметте Либерати (муж Т. Ф. Шаляпиной), управляющий академическими театрами Москвы и Ленинграда И. В. Экскузович; дирижер и композитор Р. Дриго; пианист и импресарио Шаляпина — М. Э. Кашук; антрепренер — А. А. Церетели, учительница детей Ф. И. Шаляпина — Л. В. Соколова.

1

24 ноября 1909 г., Петербург

Спб.

24 ноября 909.

Моя милая, дорогая, любимая дочурка Аришка, я получил твое письмо, которое меня, по обыкновению, страшно обрадовало. Ты не можешь себе представить, какое чувство удовольствия испытываю я, когда вижу, что моя маленькая Ариша уже может писать письма своему папе. Это удовольствие тем больше чувствую я, что мне пришлось довольно долго его дожидаться, а именно целых семь лет. Ведь ты на 8-м году только стала уметь писать.

Ну, спасибо тебе, моя касатушка.

Я здесь живу уже вторую неделю, а сегодня только пою второй спектакль. Сегодня идет опера «Юдифь», в которой я играю храброго и могучего Олоферна, которому во время его сна Юдифь отрубает голову. Спроси Любовь Васильевну, она тебе расскажет эту грустную историю подробно.

Сижу все время дома, погода ужасно скверная, занимаюсь изучением «Дон Кихота Ламанчского».

Живу я на Крюковом канале, № 10, квартира Животовских — имею отличные 3 мебелированных комнаты. Ну, моя дорогая, до свидания, скоро я приеду к Вам в Москву.

Это будет к рождеству.

Очень мне досадно, что в телефон было слышно плохо и нам пришлось поболтать мало.

Поцелуй крепко мамочку, Бориску, Лиду, Таньку и Федьку и поклонись от меня всем.

Целую тебя так же крепко, как люблю.

Твой папа Федя (ф. 912, оп. 4, ед. хр. 56, л. 24—25 об.).

7 ноября 1922 г., Нью-Йорк

7 ноября
922.

[...] Аришка! Я 1 ноября приехал в Нью-Йорк. 5-го пел исключительно хорошо. Американцев, кажется, здорово ударило по лбу. (У них, имей в виду, не медный, а золотой лоб, этот мягче.)...

Эх, Аринка! Как жаль, что тебя здесь нет со мной — какие тут театры, какие обстановки — прямо ахнуть! Но все это мюзик-холл и легкая комедия, главное, конечно, мюзик-холл!.. Роскошь невероятная. Ну да и понятно — затрачивается, например, на постановку «дурацкой пьесы» до 200 000 долларов... а? Каково? Я думаю, что будет хорошо!! В театрах у них очень весело и играют недурные актеры, а уж танцуют... отдай все, и мало. Замечательно, черт возьми!!

Дорогая, довольно, кажется, я расписался, пора целоваться!

Целую тебя крепко, крепко, тоже Пашу, тоже его отца и мать, крестную, Борьку, Федьку, и всем знакомым и друзьям поклон.

Тебя любящий твой
Папуля (там же, ед. хр. 60, л. 27, 28 и об.).

3 января 1923 г., Вилинг

3 янв. 923.

Моя милая, дорогулька, моя Аринушка! Я получил твои два письма, одно со смертью Монахова, другое с его воскресением. Рад я был этим письмам несказанно. В Америке я, как нигде, чувствую одиночество, и поэтому всякая строчка даже от знакомого человека — уже праздник. Письма твои получил я, будучи в Чикаго. Пел там пять спектаклей «Мефистофеля» Бойто, и должен сознаться, что публику привел в состояние обалдения. Там, кажется, сейчас происходят какие-то специальные заседания по трактованию моего таланта. Во как!.. Ну, пускай их. Это занятие хорошее, а то они все здесь такие бизнесмены, что просто в горле першит, того и гляди вырвать может.

1 января уже пел в гор. Питсбурге, а сегодня лежу в постели в Вилинге накануне концерта. Завтра «отхватываю» восемнадцатый вечер, признаться, маловато за два месяца, но что же делать. Сам виноват — прошлогодняя болезнь напугала — вот и расставил вечера далеко друг от друга, а впрочем и ничего!

Наверное, когда придет это письмо, мать будет уже в Москве. [...] Насчет Татьяны ты ей скажи. Я не понимаю, почему все мои дети должны учиться драматич[ескому] искусству. Почему? Ведь на сцену нужно идти людям с талантом, а не просто так себе. Неужели кроме драматического искусства учиться нечему и делать нечего? Не понимаю! Вот тебе пример — Лидия. Ну что она? Где она и что она играет и кому нужны ее услуги? Вы же все видите, что она из сил просится то в один, то в другой театр и не имеет успеха на службе. Да вот хоть ты? Аринушка, не сердись на меня — ведь все-таки твои занятия актерством не так серьезны, как это требуется от профессионалов. Не правда ли? Я, конечно, понимаю, что можно в этом роде позабавить себя, ибо это забава высокого порядка, но думать, что все это серьезно... Не знаю! Кажется, напрасно!.. А потом история с Лидиной поездкой (она не могла ехать с матерью в Италию и не может, кажется, ехать в Россию). Мне это кажется странным. Мне кажется просто, что Лидии очень вкусно и приятно *жить одной*, без криков и замечаний матери и, может быть, без косых взглядов отца. Вообще этот брак и этот развод и последующее положение *моей* дочери, признаться, мне очень неприятны. Говоря откровенно, от дочерей моих я ожидал более серьезного поведения и более серьезного отношения к жизни и окружающему. Если бы я был другого мнения, то, может быть, я не позволил бы ей выйти замуж за мальчишку, да еще «из ранних», «будущего». Теперь мать оставила Татьяну в Италии. Что это? Я понимаю, что тут ничего нет дурного и Татьяна сидит у прекрасного родственника, котор[ого] я очень люблю, но... все-таки мне кажется, что мать сделала это напрасно. А главное, видите ли, учиться драматическому искусству!!!?.. А по-моему, всех вас надо было обучать домашнему хозяйству и, в особенности, искусству быть хорошей женой и доброй матерью. Ты уж не злилась на меня, моя ненаглядная душка — ты же знаешь, как я тебя да и всех вас люблю, поэтому ты поймешь, что мне очень тяжело видеть мою дочь (как, напр[имер], Лидия), таскающуюся по ресторанам в гор. Берлине. Я понимаю, что Лидия честная и милая креатура, но кругом разная сволочь — плетет всякие пакости и обертыв-

вает ее, как пауки муху, — стыдно и обидно. Ну, да будет (прочитай эти мои кляузы матери — я хочу, чтобы она знала), и финиш.

Моя душечка! Я здоров. Слава богу, в голосе, пою, как могу — недурно, успех большущий [...].

Целую тебя, дорогая, и Павла твоего, и мать его, и отца его, и сынов моих во св[ятом] крещении Бориса и Феодора, и целую, и целую, и целую всех вас любовно. Aggivederci.

Твой наусягда

Папуля (там же, ед. хр. 61, л. 2—3 об.).

4

4 мая 1923 г., Лос-Анджелес

4-го

мая

1923. Лос-Анджелес.

...в течение этих двух-трех месяцев я обдумал и написал стихи и музыку к ним. Да, да, да! Не удивляйся и не смейся! На-пи-сал! Нужно тебе сказать, что сейчас здесь, в Америке и в Англии, идет с огромнейшим успехом мой граммофонный диск «Эй, ухнем» [...]. И вот я, поощренный этим успехом, с одной стороны, и чувствуя некоторую, так сказать, близость старости, с другой, написал следующее:

I

Эх вы, песни, мои песни!
Вы родились в сердце, песни,
Вы облились моей кровью,
И пою я вас с любовью
Всему миру, песни —
мои песни!

(Припев к каждому куплету)

Эй, эй! Вы песни, песни-птицы,
Рассказы-небылицы,
Летайте соловьями,
а я с вами.

II

Эй вы, песни, песни-звоны,
Эй вы, сердца мово стоны!
Вы летайте соколами,
Разливайтесь соловьями,
А я с вами, песни. С вами.
Мои песни.

Припев: и т. д.

III

Вы слетайте в ту сторонку,
Где живет моя девчонка,
Там во зеленом садочке
На ракиновом кусточке
Ей пропойте о дружочке,
Мои песни!

Припев: Эй..... и т. д.

IV

Если смерть придет, то знайте!
Вы меня не покидайте!
Вместе с звоном колокольным
Вы неситесь вихрем вольным
По полям и по сугробам
За моим сосновым гробом
На мою могилу, песни!
Мои песни!
Эй, эй, вы песни, песни-птицы!
Рассказы-небылицы!
Летайте соловьями,
а я с вами.

Ты вот видишь, милашка, какими глупостями занимается твой папаша! Уверю тебя, что это с музыкой (она в виде русских песен) выходит так здорово, что я уверен иметь огромный успех в будущем сезоне. Когда напечатают, пришлю вместе с нотами. Уверен, что вся Москва будет горланить всюду эту песню [...] (там же, л. 7, 8—9 об.).

5

18 апреля 1925 г., Чикаго

18 апр. 25.

Милая Аринушка моя,
получил все твои письма уж давно, да все был адски занят и не уллучил минутку тебе написать — разъезды проклятые заели совершенно.

Приятно было мне читать, как прошел праздник столетия Большого театра, и печально было сознавать далекое отсутствие мое от родных пенат. Однако что ж поделатъ? Так уж, видно, на роду написано. Устал я вообще ужасно, а от Америки в особенности, а тут еще беда — подходит старость, и хоть и чувствую себя в силах, однако пропадает уже прежняя выносливость — нет-нет да и прихворну. Впрочем, на физику я не могу жаловаться, все-таки я из старых слонов и работаю не хуже любого негра, а вот мо-

ральная сторона дела обстоит гораздо хуже, в артистическом смысле варюсь, так сказать, в своем соку, и пока этот сок еще есть, живу «курилкой», а дальше уж не знаю как и что. Американские аллигаторы толстокожи. Мало чего смыслят, и я здесь иду за «стара» (в переводе «звезда»). Звезд здесь много из разных стран Европы. Звезды, хотя и тусклые, но для рогатых богачей все же звезды. Успех имею я огромный, но очень сомневаюсь, чтобы был оценен по-настоящему.

С одной оперой, а именно чикагской, уже покончил — обманули, каналы, и не заплатили всех денег за этот сезон. Подал в суд. Если тут есть справедливость — получу, нет — плакали денежки. Метрополитанская опера снова заключила со мной контракт и в будущем сезоне ставит для меня «Дон Кихота».

Конечно, я рад был бы увидеть тебя в Париже. Еду я туда 16 мая и буду петь три-четыре «Бориса» в Гранд Опера.

Вот тебе на всякий случай мой адрес: F. Chaliapine, 22 avenue d'Eylan, Paris.

Как живет Паша? Что работает? А Борис? Так я от него и не получил за 1½ года ни одного письма (впрочем, кажется, одно получил). Не ожидал я от него таких аттракционов. Конечно, все сваливается на почту, но однако твои письма и других получаю, а его нет и нет. Свинство это большое. Завтра хочу послать тебе деньжонок немного. Не знаю, удастся ли, потому что уезжаем рано утром. От мамы получаю письма. Она все собирается в Москву. А Таня сделалась тоже «актрисой».

Говоря по совести, мне это актерство моих детей не очень нравится. Что это за актеры вдруг все?! В театре и без того много «актеров» — актеры эти все дрянь и все голодают. По нынешним временам нужно просто приниматься за настоящую, как говорится, работу и выбросить из головы все высокие мечтанья. Ведь, по совести сказать, театр — это место всех лентяев и бездельников, будто бы занимающихся каким-то искусством, а уж если в театре случается быть какому-нибудь актеру настоящему, то это просто сама судьба за него, и она, наградив его действительными, настоящими данными, ухаживает и балует его всю жизнь. Это, однако, бывает очень редко и примером для всех служить не может, все другие суть — лишние в театре. Оттого и театр падает, оттого и актерам жрать нечего. Жаль, конечно, что все вы воспитаны на актерскую ногу и теперь уж, конечно, поздно и ничего не поделать, чтобы изменить положение.

Очень боюсь я, моя милая Аринушка, что тяжело при-

дется вам всем, детям моим, жить в будущем, когда меня не станет в живых. Очень меня это огорчает. Ну, да будь, что будет. До свидания, моя дорогая. Целую тебя и всех, да и то «Христос воскрес». Завтра пасха, я и позабыл. Передай всем мои самые горячие поздравления и пожелания (там же, ед. хр. 62, л. 2—3 об).

6

20 марта 1928 г., Нью-Йорк

20 марта 28 г.

...Вчера как раз смотрел фильму «Иван Грозный» с Леонидовым. Оно, конечно, хорошо, но и царь и другие, одетые подобно, все в одной линии — не видал, так сказать, «классов» — грозный, м[ожет] б[ыть], но едва ли «царь». Курьезно! Мне казалось целый вечер, что это Луначарский оделся монахом и свирепствует, а так как Луначарского я не привык видеть столь отвратительно свирепым, то и Грозный этот не оставил у меня настоящего впечатления. Конечно, все это *между нами*, я не хочу, чтоб кому-нибудь было обидно мое мнение. Хоть Леонидов все же прекрасный актер и это все знают... (там же, л. 39 и об.).

7

7 апреля 1930 г., Цюрих

Цюрих

7 апреля. 30

Дорогая моя Иринushка.

Сиюю сейчас в Hotel e и жду поезда, чтобы ехать дальше. Был только что в Милане, пропел два спектакля в Scala «Бориса Годун[ова]». Было так радостно для меня после двадцатилетней паузы снова выступить в Scala. Приняли меня восторженно. Могу сказать, что это был триумф.

Вчера пел концерт в Лозанне, а 10-го буду петь в Вене (тоже концерт). Потом 13-го — в Загребе, 17-го — в Белграде, а там поеду в Варшаву, Ригу, Стокгольм и Oslo (Христиания). 31 мая буду петь обычный мой концерт в Париже, а 20 июня сажусь на пароход в дальнейшее путешествие. Еду в Буэнос-Айрес на целое лето. Возвращусь только в начале октября. Конечно, это все было бы хорошо, если бы не приходилось потерять лето. Жалко солнышка. В особенности мне. Не много времени, пожалуй, придется радоваться ему. Здоровье мое, хоть и недурное в общем, но начал скорее уставать. И часто страдаю насморками. Это для певца дело, конечно, неподходя-

щее. Но пока, хвала богам, ничего себе пою, еще по-серьезному хорошо [...].

Сейчас смотрю с балкона какие-то торжества. Шествие прямо как в театре, народищу видимо и невидимо. Оказывается, это какой-то народный праздник. «Сожжение зимы». И действительно, сейчас слышал хлопущки фейерверков, орут, играют сразу 20 оркестров, ни черта понять невозможно... но — весело.

Я нарочно наставил тебе даты до 17 апреля (но забыл сказать, что 20-го снова буду в Milane — очень просили спеть еще один спектакль «Бориса»), а 24-го буду уже в Варшаве — это для того, чтобы ты, если захочешь написать, знала, где я нахожусь. Будучи в Милане, заезжал в Монца. Там немного изменился сад, но горки все те же, в доме очень грязно. Было приятно взглянуть на старое пепелище и вспомнить всех вас малышами, как вы резвились, радовались и по-детски огорчались. В Милан из Парижа я ехал на автомобиле и из Милана в Лозанну тоже, но из Лозанны отпустил его и теперь уж буду ездить в поездах.

Ну, дорогая моя, целую тебя крепко и люблю. Федька работает в кино. Боря пишет красками натуру и работает, учится всерьез. Надеюсь, что будет художник. Лида живет по-прежнему. Марфа ждет дитё, Маринка сходит с ума по балету и по Бенвенуто Челлини, а Даська на днях выступала на каком-то детском ученическом концерте и что-то играла на фортепиано. (Я прочитал об этом в газетах.) Танюшу хоть и не видал, но из Милана говорил с ней по телефону. Она, слава богу, здорова и кормит свою Лидку-дочуру. Видел у Эрметки фотографии. Девка чудная. Радуется сердце. Бедная Танька с месяц тому назад перенесла операцию аппендицита, но все благополучно. Еще раз обнимаю тебя сердечно и еще раз целую. И люблю, люблю.

Папуля.

Забыл сказать — умерла Тина Ди Лоренцо (там же, ед. хр. 63, л. 17—18 об.).

8

30 ноября 1930 г., Манчестер

30 ноября
1930

Моя ненаглядная, дорогая, любимая
Аринушка,

что-то очень взгрустнулось мне сегодня, и взгрустнулось о те-

бе, моя дорогая. Что-то ты поделываешь? Работает ли? Есть ли у тебя радости в твоей работе?

Я вот тут, в Англии, сейчас делаю небольшое турне. У меня есть 9 концертов. Из них 23-го спел в Лондоне, 25-го — в Ливерпуле, вчера — здесь, в Манчестере. 1-го пою в Hull e, 3-го — в Berrnamouth, 6-го — в Эдинбурге, 8-го — в Глазго, 11-го в Tounguan и 13-го — в Brighton e, 14-го уже еду в Париж, где и буду петь в Русской опере — у Церетели (так сказать). Конечно, они уже два сезона ладили дело без меня, и кажется, это было не очень удачно. Сейчас же пришли ко мне с просьбой им наладить. Как мог, сделал (пока очень мало), но успех был огромный. Надеюсь, что впереди сумеем поставить дело *хорошо*. Вижу я сейчас очень ясно, что театр вообще и везде переполнен или мошенниками, или совершенными ослими, не требующими «опровержения». Последние, конечно, существовали всегда, но мошенники — это дело последних лет. Толпа стала такая невежественная и убогая, что на ее капусте-голове помещается со всякими удобствами различный паразит. Это ужасно жалко, но это таки — так!!!

Нынешнее лето, как ты знаешь, мне не пришлось отдыхать, я ездил в Южную Америку и пел: в Буэнос-Айресе 10 вечеров, в Чили — 5, в Парагвае — 3 и в Бразилии (Rio de Janeiro) — 1, хотя на пароходе — туда 16 дней и назад 16 дней — отдохнул и даже немного растолстел.

Сейчас, конечно, имею опять много работы. После Англии Русская опера (наверное, 15 вечеров), потом 3 вечера в Милане в Scala. А потом, в середине февраля и до середины марта — Монте-Карло, снова, как прежде, тот же милый Рауль Гинсбург, а там Скандинавия и проч. до 10 мая.

Но что смешнее всего, это то, что с первых чисел мая, кажется, начинаю работать говорящий фильм. Это будет «Борис Годунов», но, конечно, не «оперный» — вот тебе пока что и все, что придется мне проделать [...] (там же, л. 22—23 об.).

9

11 июля 1933 г., Париж

11 июля 33

...В Париже в театре Chatelet у нас был российский оперный сезон под импрезой М. Э. Кашука и, к удивлению и зависти всех, прошел весьма недурно. В качестве «наших достижений» посылаю тебе фотографию *моего* Хана Кончака из оп[еры] «Кн[язь] Игорь». Успех в этой небольшой роли я имел колоссальный (чуть ли не больший, чем в Борисе Году-

нове). Понаторел в театре. Первые сорок лет всегда труднее, чем вторые — а ныне я уже кончаю 43-й год, если проживу еще 7 годов, устрою 50-летний юбилей — где? Вероятнее, в Париже, а может быть, и в Лондоне, но насчет прожитья столь долгих годов сомневаюсь [...].

P. S. Может быть, буду крутить новый фильм. Мой «D[on] Quichotte» всем понимающим людям нравится. Пресса восхитительная, но фильм оказался, как говорят (это ново для меня), малокоммерческим. Улица будто бы мало им интересуется. Оно и понятно: толпе показывают уж давно одни мордобития, пошлые поцелуи и грабежи. Она привыкла к детективам, где же им интересоваться бедным D[on] Quichot om.

Ну, будь здорова.

Люблю тебя.

Папуля

(там же, ед. хр. 64, л. 19, 20 об.).

10

2 марта 1935 г., Нью-Йорк

2 марта

Дорогая моя дочура.

Завтра здесь концерт. Все время был в разъездах. Спасибо тебе за телеграмму. Мне всегда делается жалко денег, которые ты тратишь на них, поэтому я прошу тебя, в будущем пиши лучше открытки.

Я пока чувствую себя хорошо. Сахар все так же, то много, то почти нет, все зависит, конечно, от того, что пью и что ем. Недавно пел здесь в радио. Успех имел колоссальный, пел «Эй, ухнем», арию из «Сев[ильского] цир[юльника]», «Клевета» и потом 1-ю и последнюю картину Бориса с хором. Несмотря на то, что здесь, в Америке, дела очень плохи и депрессия тяжела, я все-таки делаю хорошие сборы. Хотя, по правде сказать, пора уже было бы им всем надоесть.

Начинаю думать о школе. Хочу устроить нечто в виде Академии, где можно было обучать молодежь *всем* театральным и музыкально-певческим премудростям. Не знаю, даст ли натура мне разума и силы, а рассказать и показать есть что.

Мы живем скромно, сами себе готовим завтраки и обеды. Здесь со мной Боря. 7-го устраиваю reception* для него, будет чай в Hotel Plaza, и он развесит там свои лучшие работы. Это, так сказать, как бы однодневная выставка.

* Прием (фр.).

Милейшему Аллому.



Они нас
слезами рожь
погубят и провайт.

Надеюсь, что он будет иметь успех и, может быть, начнет что-нибудь зарабатывать сам. Пока же, конечно, это стоит больших расходов.

Ну вот — новостей особых нет. Желаю тебе всего наилучшего.

Целую и люблю
Папуля... (там же, ед. хр. 65, л. 1 и об.).

11

2 июня 1935 г., Париж

2 июнь 35

Аринка моя милая.

Спасибо за письмо и за афишу. Конечно, много народу у вас меня любит, но русская любовь (за исключением очень малым) — вещь весьма утомительная и неверная. В течение долгих лет моей жизни и общения с русскими на разных почвах я это, к сожалению, заметил.

Видишь ли, я слушаю довольно часто в радио Москву. Вот поет какой-то местный король певцов, скажем, «Старого капрала» и поет: «Ты, землячок, поскорее к нашим стадам воротись. Нивы у нас зеленее, легче дышать. Поклонись... нашим зеленым дубравам»??? Почему? «зеленым дубравам», а не «храмам селенья родного»? Разве в этом заключается «безбожничество» или поддержка религии — странное манталите*. Я вот тоже не религиозный, но из песни слова выкинуть не могу. Приеду, а меня заставят. Я не послушаюсь, и пожалте в Соловки. А? Не так?.. А как?

Так вот слушаю я радио третьего дня. Какие-то весьма *выученные* декламанты (актеры, вероятно) читали вновь аранжированного «Дубровского» Пушкина (аранжировал какой-то Канцель). Оно, конечно, для удобопонятного разъяснения положительного и отрицательного в произведении для малообразованных людей, может быть, и хорошо, но в общем на меня произвело это — и колокол, и лай гончих собак, и проч. выдумки — просто-напросто впечатление «раздракования» собств[енных] авторских самолюбий (самовлюбленности, вернее) всяких там Канцелей и проч. любителей представлений. А уж читали!.. Из всего чтения только и было заметно — «вот, мол, видите, как надо читать, а для этого надо знать приемы и методы. Я их знаю и потому читаю с редким выражением!..»

* от фр. mentalite — склад ума, направление мыслей.

Отвратительно, фальшиво, ни одной просто сказанной фразы — дрянь — мне жалко было слышать новых, молодых, таких плохих, без всякого чувства простоты актеров. Кто это их научил? Все это я написал тебе для того, чтобы ты не полагалась на мудреную выучку, а говорила на сцене проще и искреннее.

Напиши мне, Арина, знаешь ли ты, где находится панно «Мефистофель», писанное с меня Головиным, — то, что было у меня дома в Ленинграде, а также и портрет «Голый с обезьянами» раб[оты] худож[ника] Яковлева. Если это у Советов, м[ожет] б[ыть], можно приобрести через Внешторг?

Я уже выхожу гулять почти как совсем здоровый. Но болят руки от плеча до локтя — ревматизм! Числа 20 июня думаю уже начать петь. Пока что я хорошо в голосе, хотел бы поехать за границу. Куда-нибудь в Швейцарию или в Австрию, да машина моя не совсем здорова, а ехать в поезде опротивело, особенно после американск[ого] турне. Подумай, сделал около 50 000 километров — устал!

Ну, целую тебя, милая моя Аринка.
Будь здорова, не унывай.
Целую тебя еще и еще.

Папуля (там же, л. 16—17 об.).

12

30 ноября 1937 г., Париж

30/XI 37.

...Мне несколько лучше, т. е. малость-малость, и сегодня как раз я выехал на автомобиле в Булонский лес на 40 минут. Доктора это позволили, но предупредили, что я еще, вероятно, 1½ или 2 м[еся]ца должен также провести в постели и в *Cheze longue*.

Насчет писем Стасова и проч. я тебе скажу вот что: в 1939 году я спраздную мой 50-летний юбилей. Слышал я, что французы хотят устроить здесь, в Париже, мой музей, т. е. музей всего, по возможности, что касается моей театральной карьеры.

У меня имеются разные разности, как-то: письма разных великих людей, мои театральн[ые] костюмы, разные рисунки к ролям и операм и мои, и разных художников, а также и мои заметки насчет актеров и театра, и проч., и проч., поэтому я считаю наиболее целесообразным иметь письма и др. какие-либо документы здесь, у меня, в Париже — ибо что я Гекубе? Кому это там будет интересно иметь всякую ерунду относи-

тельно «врага» народа? Поэтому будь добра и пришли мне эти письма. Я буду им рад.

Надеюсь, что я выздоровлю и в состоянии буду пропеть еще 38 и 39 годы, а там уж переберусь в деревню на «жалкий старческий покой». Конечно, я мог бы давать уроки или читать лекции, но... я так разочаровался в* театре, его уже давно не существует, что при всяких обстоятельствах буду счастлив забыть о его существовании, а также забыть и самого себя.

Уехав в деревню, буду называться Прозоровым (по маме): а Шаляпина не надо.

Был, *да сплыл*.

[...] обо мне не беспокойся, ибо «Tout passe, tout lasse et tout casse»**.

Целую.

Папуля... (там же, ед. хр. 67, л. 9—10 об.).

13

6 декабря 1937 г., Париж

6/XII 37.

Как раз, несмотря на запрещение докторов выходить, я отправился на фильм «Петр I» и получил удовольствие. В прошлом году я читал 1-ю книжку, т. е. 1 и 2-й тома Толстого, и, скажу откровенно, был в восторге, превосходно написано. Все актеры в фильме играют очень хорошо. Хорош и Петр, у Алексея груб голос для персонажа, но плоха Екатерина — Тарасова. Очень уж «играет». Перед картиной показывали Эрмитаж, Третьяковск[ую] галер[ею], Музей Ленина и, главное, канал Волга — Москва — *раздавительно!!!* Словом, с фильма я ушел так, как давно уж не уходил ни из театра, ни из концерта. По уши переполненный гордостью за Русь.

Вчера же по радио слушал декламацию. Какой-то будто бы «лауреат» Аксенов читал, т. е. орал в одну дудку, Пушкина «Я памятник воздвиг себе...» и т. д. и «Буревестника». В наше время таких лауреатов пускали только в Свияжск да и то того и гляди оглоблей по животу ахали. Этакий бездарный и, вероятно, развязный «лауреат». Охальник!!! Пела Нежданова хорошо, но какой-то тоже «лауреатский» хлам.

Очень приятно отметить перемену в настроении российском. Приблизительно на 5-м году революции за мои патриотические чувства даже Алексей Максимыч орал на меня: «Вы

* Зачеркнуто «настоящем».

** «Все проходит, все забывается, все рушится» (*фр.*).

все хотите мир по домострою, как при Грозном!!!», а вот сейчас все читаю: «*Родина, отечество, гордимся русским человеком!*» Еще недавно слышал по радио тоже, как какая-то колхозница отчитывала Пушкина: «Что это он за ерунду нам показывает — Татьяна — кто это такая Татьяна — балласт, ничтожество жизни, вот почему есть возражения на определение «Гений» и т. д. и т. п. (ей, конечно, лучше знать) — а вот теперь уже не только что — а лауреаты громким голосом выкрикивают: «Я памятник...» и т. д. Я рад, что в чувствах моих никогда не ошибался и всегда любил мою *родину*, хотя я и *бродяга* и в отдалении от нее тоской по родине не страдаю.

Много, много напутешествовался, видел разные страны, а наше Старово и дом вспоминаю всегда. Вспоминаю плотника Чеснокова с сыновьями, вспоминаю, как я, Коровин и мой несравненный и незабвенный В. Серов сидели и чертили план. Вспоминаю и Руслана (он теперь небось слывет в кулаках), а какое дерево он тогда привез на постройку, и какой был смышленный мужик.

Лежу сейчас то в кровати, то в кресле, читаю книжки и вспоминаю прошлое: театры, города, лишения и успехи. Да! Вот-вот уж пятьдесят лет (шутка ли?), как пел и играл.

В одних казенных театрах прослужил 28 лет. И сколько ролей сыграл! И кажется, недурно. Вот тебе и вятский мужичонко.

Страшно злюсь: Как это я, я! И вдруг зубы шатаются и сердце захворало. Удивительно! Н... да! Законов природы не преjdeши!

Ну, довольно об этом. Мне все-таки каплю лучше. Сегодня доктор был и разрешил ежедневно 1 час прогулки на автомобиле по Булонск[ому] лесу, а на снег или куда-нибудь из Парижа не пустил. Еще, говорит, 1½ месяца, а там посмотрим... Пусть будет по его.

До свиданья, дорогая [...]. Карточку пригласит[ельную] на вечер Горького получил, как и вообще все твои письма и твою фотогр[афию] тоже.

Целую твой Папуля (там же, л. 12—13 об.).

Сообщение С. Д. Воронина

В ночь на 5 марта 1936 года сотрудниками НКВД на одной из ленинградских квартир был произведен обыск. Квартира эта принадлежала известному в прошлом издателю — Константину Петровичу Пятницкому. Тому самому Пятницкому, который с 1902 по 1912 год вместе с А. М. Горьким возглавлял книгоиздательство «Знание».

На следующий день Пятницкий телеграммой известил о случившемся директора Гослитмузея В. Д. Бонч-Бруевича. Более подробно о последствиях ночного визита Пятницкий сообщил Бонч-Бруевичу спустя две недели: «Большая часть взятых у меня писем Горького относится к 1901 г. [...]. Взяли два громадных, старинных регистратора, наполненных сотнями писем в контору «Знания». В эти же две коробки вложили без описи письма иностранных переводчиков Горького и бумаги из моего письменного стола. Старые бумаги. Я не работаю за этим столом с тех пор, как ослеп. Все это без описи и без контроля; я едва держался на ногах; кроме того, как следить за ходом обыска при полной слепоте. Окружающие были перепуганы и ничего не понимали.

Я просил выдать мне протокол обыска. Мне отказали...» (ОР ГБЛ, ф. 369, карт. 322, ед. хр. 37, л. 4).

Апелляция к директору Гослитмузея была вызвана тем, что Бонч-Бруевич самым непосредственным образом был заинтересован в документах, которые были изъяты в ту ночь. Дело в том, что во время поездки Бонч-Бруевича в Ленинград в марте 1934 года в поисках архивных материалов между ним и Пятницким была достигнута договоренность о передаче в Гослитмузей документов из архива издательства «Знание», который был сохранен благодаря самоотверженным усилиям его владельца.

21 марта 1936 года Бонч-Бруевич пишет начальнику НКВД по Ленинграду Л. М. Заковскому: «К. П. Пятницкого я знаю с 1905 года, когда еще ездил нелегальным в Россию по делам нашего III партсъезда. У него я останавливался, и он всячески и тогда и после помогал нам в делах нашей партии. Он в то же время стоял во главе громадного культурного издательства «Знание», был одним из его основателей и директоров [...]. Теперь Константин Петрович очень больной человек и к тому же совершенно слепой; ослеп он после сыпного тифа. Когда мы организовали наш Государственный литературный музей, я к нему обратился с просьбой, чтобы

он начал пересылать нам те литературные материалы, которые у него накопились. Он охотно на это откликнулся и передал нам на льготных условиях очень много материалов и намеревался это делать в дальнейшем. Теперь у него изъяли целый ряд этих материалов и меня очень беспокоит участь этого ценнейшего архива. Если нет по этому поводу каких-либо особых распоряжений, то я очень просил бы Вас все эти материалы препроводить в наш Государственный литературный музей...»

5 апреля того же года Л. М. Заковский отвечал: «К сожалению, вопрос о документах, изъятых у ПЯТНИЦКОГО, мною в настоящее время уже не решается. Все документы нами отправлены в Москву» (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 3258, л. 6,15). 8 апреля Бонч-Бруевич пишет наркому внутренних дел Ягоде: «Дорогой Генрих Григорьевич, Екатерина Павловна Пешкова звонила мне и передала, что Вы ей сказали, что за письма А. М. Горького к К. П. Пятницкому, изъятые у него 5-го марта с. г., а также за другие бумаги его архива можно уплатить по государственной оценке, приняв все к нам в музей.

Я, на основании этого сообщения, сейчас же телеграфировал в Ленинград тов. Заковскому и просил выслать к нам в Государственный литературный музей [...] все эти материалы. Я только что получил ответ от тов. Заковского, что все эти материалы отправлены уже в Москву.

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой сделать распоряжение передать все эти материалы к нам в Государственный литературный музей» (там же, ед. хр. 3339, л. 71).

Но, несмотря на эти обращения и ходатайство Е. П. Пешковой, «органы» не спешили с передачей в Гослитмузей захваченных материалов. В письме к Пятницкому 29 апреля Бонч-Бруевич писал: «Что касается той выемки, которая у Вас была произведена, то Вы знаете, что я хлопотал и хлопочу изо всех сил, чтобы все это осталось цело и чтобы Вы имели возможность все эти материалы получить обратно. Екатерина Павловна писала Вам подробное письмо и сообщила мне об этом по телефону. К сожалению, она уехала за границу, и до последнего момента она не получила надлежащего ответа о передаче этих фондов в наш Государственный литературный музей, который должен был Вам оплатить эти материалы. Она просила меня продолжать эти хлопоты, но по сей день я не имею еще ответа» (там же, ед. хр. 1871, л. 79).

18 июня 1936 года скончался А. М. Горький, а 14 февраля 1937 года постановлением Президиума ЦИК СССР при Институте мировой литературы был образован Архив А. М. Горь-

кого, куда и поступили все его рукописи и письма из прочих хранилищ, в том числе и письма, изъятые НКВД у Пятницкого.

К началу 1936 года Пятницкий передал в Гослитмузей около 40 рукописей, которые в разное время вышли в свет под маркой издательства «Знание». Среди них были рукописи Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, А. М. Горького, А. И. Куприна, А. С. Серафимовича, Н. Д. Телешова, Е. И. Чирикова и других писателей-знаньевцев.

Желая сосредоточить в Гослитмузее архив издательства, Бонч-Бруевич не раз обращался к Пятницкому с просьбой присылать не только рукописи, но и эпистолярный материал, а также делопроизводственную документацию издательства. «Было бы очень хорошо, — писал он 29 октября 1934 года, — если все эти материалы постепенно передвинулись бы к нам. Почем знать, может быть, удалось бы собрать весь архив «Знания», а ведь этот архив имеет колоссальное значение для исследователей нашего передового книгопечатания, сделавшего целую эпоху в литературе и в общественной жизни нашей страны» (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 1871, л. 8). Обращение к истории издательства свидетельствует о том, что прозвучавшая в письме высокая оценка деятельности «Знания» имеет самые серьезные основания.

Договор об организации книгоиздательского товарищества «Знание» был подписан его учредителями в конторе петербургского нотариуса Т. Д. Андреева 15 мая 1898 года. С самого начала существования в основу организации издательства легли демократические принципы полного равенства всех участников в правах независимо от размеров денежного вклада и одинаковой ответственности за общее дело. В отличие от большинства издательских предприятий, существовавших в то время в России, «Знание» в своей деятельности преследовало общественно-просветительские, а не коммерческие цели.

Инициаторами создания нового издательства были члены «Кружка сотрудников при издательстве О. Н. Поповой», куда входили В. А. Поссе, В. Д. и Д. Д. Протопоповы, К. П. Пятницкий, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуцкий. Идею поддержала издательница О. Н. Попова, которая на первых порах финансировала новое предприятие. В соответствии с намеченным планом работа в издательстве распределилась следующим образом: В. А. Поссе было поручено ведение отдела истории, К. П. Пятницкому — естествознания, В. Д. Протопопову — истории искусств, Д. Д. Протопопову — общественных наук, Г. А. Фальборку и В. И. Чарнолуцкому — народ-

ного образования. Намеченные к изданию книги обсуждались на общих собраниях участников товарищества. Вся работа по подготовке книги возлагалась на того, кто ее предложил. В свою очередь прибыль от продажи издания шла тому, кто его готовил.

В сентябре 1900 года в члены книгоиздательского товарищества был принят Горький, четырехтомник которого незадолго перед этим был выпущен «Знанием». Вступив в члены товарищества, Горький приступил к реализации своей идеи, которая заключалась в том, чтобы собрать и сплотить вокруг издательства наиболее даровитых, по его мнению, писателей-реалистов.

Постепенно «Знание» сворачивает выпуск книг по другим отделам и почти целиком переключается на производство художественной литературы. В издательстве вышли, например, произведения А. М. Горького, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, Н. Г. Гарина-Михайловского, А. И. Куприна, А. С. Серафимовича, Н. Д. Телешова, Е. И. Чирикова. Неудачная организационная деятельность Горького вскоре превратила «Знание» в оплот демократических сил русской литературы, но одновременно вызвала неудовольствие у большинства участников товарищества, и к осени 1902 года шесть его членов вышли из состава «Знания». В результате в издательстве осталось только два полноправных члена — Горький и Пятницкий.

Если раньше товарищество представляло собой кооператив, где каждый участник обязан был нести все хлопоты, связанные с производством предложенных им к изданию книг, то теперь, несмотря на то, что прежний договор, регулировавший взаимоотношения участников товарищества, остался в силе, внутренняя организация издательства существенно изменилась. Горький, осуществлявший литературную политику издательства, стал фактически главным редактором издательства. Пятницкий, имевший определенный опыт в издательских делах, взял на себя все вопросы, касающиеся организации работы конторы товарищества, производства и распространения книг, разработки и заключения договоров с авторами, проведения рукописей через цензуру и пр. Ведущая роль Горького в создании литературно-общественного мнения, сложившегося вокруг «Знания», общепризнана, но стоит отметить также и то, что вряд ли многие начинания издательства были бы столь успешны, если бы выдающийся талант Горького-писателя и организатора писательских сил не был подкреплен профессиональными качествами Пятницкого-издателя.

Сам Горький высоко ценил не только предприимчивость и деловые качества своего компаньона, но и его художественный вкус. Пятницкий был одним из тех, кому Горький присылал на прочтение свои произведения и с мнением которого считался. «Дорогой друг, — читаем в письме от 18 октября 1903 года, — посылаю вам моего «Человека» и очень прошу вас внимательно, не однажды, прочитать его. Затем сообщите мне, как это звучит и где я наврал... Вообще — посмотрите. Потом возвратите рукопись вместе с теми примечаниями и указаниями, которые найдете нужным сделать» (Архив А. М. Горького. М., 1954. Т. IV. С. 141).

Из переписки Горького с Пятницким видно, что руководители «Знания» продолжительное время связывали не только интересы дела, но и довольно тесные дружеские отношения. Первые признаки охлаждения в отношениях проявились в 1907 году. Они были связаны с различием взглядов на дальнейшую судьбу издательства, в деятельности которого наметился кризис.

Поражение революции 1905 года самым тяжелым образом отозвалось на работе издательства. Наступившая реакция наложила отпечаток на творчество большинства писателей-знамьевцев. Идеологические разногласия привели к расколу основного авторского коллектива. Внутренний разлад в среде участников «Знания» усугубился тяжелым финансовым положением, куда издательство попало в результате осуществления горьковского плана издания дешевых книг для народа и брошюр по общественно-политическим вопросам. Для выполнения этого плана «Знанию» пришлось израсходовать весь свой основной капитал. В итоге касса оказалась пустой. Это обстоятельство сыграло, безусловно, не последнюю роль в уходе из издательства ряда писателей.

Литературные сборники, выпускаемые «Знанием», остались единственным источником для добывания средств, но этот источник был под угрозой в связи с вынужденным отъездом за границу сначала Горького, а затем и Пятницкого. Отъезд руководителей «Знания» значительно затруднил управление издательством, а также усложнил отбор и редактирование произведений. Все это отрицательно сказалось на сроках выхода сборников. Кривая популярности издательства неуклонно падала.

Совокупность этих и многих других событий привела руководство издательства в 1907 году к мысли о привлечении к редактированию сборников Л. Н. Андреева, литературная репутация которого в это время была очень высока. В начале 1907 года Андреев прибыл на Капри, где в это время находи-

лись Горький и Пятницкий. Он согласился принять на себя редактирование сборников, рассчитывая вернуть им былую популярность. Однако к окончательному решению не пришли. Судя по переписке Горького с Андреевым, вопрос о редактировании сборников оставался открытым вплоть до августа 1907 года.

Высказанные Андреевым соображения относительно реорганизации литературных сборников были поддержаны Пятницким, но не были одобрены Горьким. Предложение Андреева свести на нет демократическую тенденцию в издательской политике «Знания» и войти в блок с символистами фактически означало отойти от тех краеугольных принципов, которым издательство следовало столько лет. «Сборники «Знания», — писал Горький Андрееву, — сборники литературы демократической и для демократии — только с ней и ее силою человек будет освобожден. Истинный, достойный человека индивидуализм, единственно способный освободить личность от зависимости и плена общества, государства, будет достигнут лишь через социализм, то есть через демократию. Ей-то и должны мы служить, вооружая ее нашей дерзостью думать обо всем без страха, говорить без боязни» (Литературное наследство. Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965. С. 288).

Публикуемые ниже пять писем Андреева к писателю Виктору Васильевичу Муйжелю (1880—1924) имеют прямое отношение к той драматической ситуации, которая сложилась в «Знании» в рассматриваемый период. Предполагая осенью 1907 года приступить к редактированию сборников, Л. Н. Андреев летом того же года обратился к некоторым писателям с просьбой прислать ему свои новые произведения. Среди них был и Муйжель, чьи рассказы о жизни русской деревни, опубликованные в периодической печати, обратили на себя внимание читателей.

В письмах Андреева упоминаются писатели Б. К. Зайцев, Г. И. Чулков, А. С. Серафимович; владелец издательства «Шиповник» З. И. Гржебин; соседи Андреева по даче в Финляндии Фальковские. Упомянут также автор скандально известного романа «Санин» М. П. Арцыбашев, который был одним из ведущих сотрудников альманаха «Жизнь».

Вполне понятно, что Горький не мог относиться с симпатией как к литераторам, печатавшимся в подобных сборниках, так и к самим сборникам, которые не ставили перед собой высоких общественных задач. Ясно и то, что Горького не могла устроить предполагаемая Андреевым реорганизация сборников издательства, так как это низвело бы «Знание» до

уровня обычного коммерческого издательства, с чем автор «Матери» примириться не мог. Выявившиеся разногласия между Горьким и Андреевым привели к тому, что последний в письме к Горькому от 18 августа 1907 года отказался от редактирования сборников, а некоторое время спустя вообще порвал с издательством. Один за одним «Знание» оставили и другие писатели, некогда составлявшие его ядро. Все усиливавшиеся противоречия между руководителями «Знания» повлекли за собой уход в 1912 году и самого Горького. С этого момента издательство фактически перестало существовать.

Предлагаемые вниманию читателей письма Андреева хранятся в ЦГАЛИ СССР в фонде известного литературоведа и коллекционера Ю. Г. Оксмана (ф. 2567, оп. 2, ед. хр. 168). Письма от 17 января и 28 февраля частично опубликованы в сборнике «Литературное наследство». (Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965. С. 522—523).

1

17 января 1907 г.

Милостивый Государь г. Муйжель!

С осени текущего года я вступаю в заведывание редакцией «Сборников Знания». С большим интересом следя в журналах за Вашими произведениями, я очень просил бы Вас дать какую-нибудь из Ваших вещей для первого осеннего сборника. Единственное обязательное условие — вещь должна быть художественна. Делаю это напоминание — для Вас, впрочем, совершенно лишнее, — потому что некоторые из товарищей писателей считают сборники «Знания» тенденциозными.

Уважающий Вас Леонид Андреев.

Италия. Napoli. Capri. Leonid Andreieff.

2

28 февраля 1907 г.

Простите, что замедлил с ответом. Но то разъезжал, то нездоров был, и трудно было писать.

В редактирование сборниками я вступаю только с осени; теперешние же сборники составляются Горьким и Пятницким, и кажется, материал набран вплоть до осени. Если Вы не особенно торопитесь печатать Вашу большую вещь и согласны подождать до сентября-октября, то, конечно, очень буду рад. Присылайте тогда ее ко мне, и я немедленно прочту, поговорю с товарищами и дам ответ. Не задержу. Некоторое,

хотя и не существенное препятствие может представить размер. У нас на каждый сборник в распоряжении листов 20—22, и было бы желательно дать место большему количеству авторов.

Во всяком случае будьте добры, ответьте, как решите. И сообщите Ваше имя-отчество. Очень рад, что Вы будете работать с нами.

Леонид Андреев.

3

18 августа 1907 г.

Дорогой Виктор Васильевич! Напрасно Вы все это пишете. Не забывайте, что я не издатель, а только и просто писатель, как и Вы, и поэтому — Ваш естественный друг и союзник, а их враг, как бы они ни назывались: Гржебин, Пятницкий и другие. И всегда, без всяких разговоров и объяснений и извинений я буду на Вашей стороне.

Но только как устроить, вот вопрос. Никаких полномочий от Пятницкого насчет денег я не имею. И все же я ухитрился выдать авансы Зайцеву, Чулкову, Серафимовичу. Но теперь, особенно после отказа от редактирования, чувствую полную невозможность продолжать узурпаторскую деятельность.

Устроим так. Я Вам посылаю из своих денег 100 р. (к сожалению, больше нет сейчас), а когда придет Пятницкий (говорят, скоро), я скажу, что выдал Вам аванс из своих и сдеру с него. И еще сдеру для Вас.

А с Гржебиным я поговорю. Что-то уж очень сильно начинает пахнуть от него «хозяином». Необходимо сократить его.

Ваш Леонид Андреев.

Пишите мне на Куоккала.

4

31 октября 1908 г.

Дорогой Виктор Васильевич!

Только что получил Ваше письмо — и обрадовало оно меня, и опечалило немного. По существу, я никогда не менял к Вам моего отношения, оставшегося неизменно дружеским, и был уверен, что Вы неизбежно выйдете из того неловкого положения, неопределенного и тягостного, в какое временно поставила Вас судьба. И то, что Вы крепко засели в Пскове и так волеете к работе, очень радует меня.

А огорчает меня то, что Вы слишком тяжело переживаете происшедшее. Обиженным себя я ни капельки не чувствовал, т. к. никогда не предполагал за Вами желания оби-

деть меня и был уверен, что у Вас есть достаточные основания поступать так, а не иначе. И о деньгах Вы совершенно не заботьтесь, так как «Знанием» Ваш аванс перечислен на меня и, стало быть, по отношению к «Знанию» Вы совершенно чисты. Для меня же, при моем огромном долге товариществу, лишняя сотня рублей ничего не составляет.

Повторяю, милый Виктор Васильевич, что и относился и отношусь я к Вам очень хорошо, просто был рад получить весточку от Вас. Сейчас я занят, как черт, и не могу много писать — только очень крепко и очень дружески жму руку. Работайте, вот главное, а остальное все — ерунда.

Ответ Горького мне не нравится, но и на это не обращайтесь серьезного внимания. Причину нерасположения к Вам Горького я лично вижу в том, что Вы близкий к Арцыбашеву человек и участник «Жизни».

Привет жене Вашей. Любящий Вас Леонид Андреев.

5

14 ноября 1913 г.

Дорогой Виктор Васильевич!

Простите, что замедлил с ответом: был отчаянно занят — как никогда, кажется. Сейчас работа отошла, отдыхаю перед новой.

Вас видеть буду очень рад, приезжайте. День — любой на той неделе, кроме среды, когда у меня назначено свидание; а хотелось бы поговорить спокойно. Выезжайте поездом около 10 утра, точно не знаю; если накануне скажете по телефону, то вышлю лошадь. По телефону же говорить нужно через Фальковских (Евгению Алексеевну), она мне передаст.

Псков прозевал и пишу на всякий случай на Пале-Рояль, надеюсь, что дойдет.

Жму Вашу руку и жду.

Леонид Андреев.

Вернемся к истории архива издательства «Знание». Этот архив, насчитывавший тысячи документов, был собран Пятницким у себя на квартире. В его состав входила самая разнообразная документация: бухгалтерские документы, издательские договоры с авторами, переписка с писателями, переводчиками, русскими и иностранными фирмами, рукописи произведений и пр. Значение этого складававшегося почти два десятилетия архива неопределимо как для исследователей ис-

тории издательского дела в России, так и для изучения творчества отдельных писателей.

Насколько было сложно Пятницкому сохранить архив «Знания», можно судить по его письмам к Бонч-Бруевичу. Приведем выдержку из его письма от 23 апреля 1936 года: «Я потратил годы жизни, много средств и массу энергии, чтобы сохранить и привести архив «Знания» в порядок. Когда-нибудь я расскажу, как меня выживали из комнат бывшей конторы, как мне приходилось отбиваться от налетов и грабежей, как я перевозил части архива на тележке, а потом, несмотря на болезнь, поднимал их на пятый этаж. Это — целая эпопея...» Смерть К. П. Пятницкого в январе 1938 года прервала работу Гослитмузея по собиранию документов «Знания». Основной комплекс материалов издательства был приобретен у вдовы Пятницкого Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1938—1942 годах, в 1950 году фонд «Знания» был передан в Архив А. М. Горького, где и находится в настоящее время.

Всего Пятницкий успел передать в Гослитмузей около 60 рукописей. Оригиналы произведений, переданные им в Гослитмузей, давно известны исследователям. Кажется, что, прослеживая «архивный путь» хорошо известных произведений, нельзя рассчитывать на какие-либо неожиданности. Но это оказалось не так. Архивной находкой стал перевод статьи швейцарского астронома Вильгельма Мейера «В разрушенной Мессине». История этого перевода такова.

15 декабря 1908 года в Италии произошло сильное землетрясение, опустошившее южные области — Калабрию и Сицилию. Горький, живший в это время на Капри, приехал на несколько дней на место катастрофы. Вскоре после землетрясения в русских газетах появилось воззвание, в котором он призвал своих русских сограждан оказать посильную помощь пострадавшему населению. Сам Горький решил написать книгу о постигшем итальянский народ бедствии и в спешном порядке напечатать ее, чтобы вырученные деньги передать в пользу пострадавших.

К 12 января 1909 года работа над книгой была завершена. В эту же книгу писатель решил поместить статью известного швейцарского астронома Вильгельма Мейера (1853—1910), который тоже был очевидцем землетрясения. Книгу решено было издать сразу в двух издательствах: в издательстве И. Ладыжникова в Берлине на немецком языке и в издательстве «Знание» на русском. Первой вышла книга на немецком языке: «Im zerstorten Messina von Dr. Wilhelm Meyer und Maxim Gorki» (Berlin, Verlag I. Ladyshnikow,

1909). Вслед за берлинским изданием книга была выпущена издательством «Знание» (Горький М. и Мейер В. Землетрясение в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1908 г. Спб.: изд. т-ва «Знание»). Книга включала «Землетрясение в Калабрии и Сицилии» Горького и статью Мейера «В разрушенной Мессине». На вкладном листе книги был помещен текст: «Весь доход с настоящего издания поступает в пользу пострадавших от землетрясения». Деньги, собранные в России, а также полученные от продажи книги, Горький передал на постройку детского приюта в Калабрии.

Появление книги было отмечено в русской печати. Положительная оценка была дана книге А. А. Блоком в газете «Речь» от 26 октября 1909 года: «Максим Горький и профессор Вильгельм Мейер написали очень неприятную книгу, посвященную, главным образом, живому описанию всего виденного и слышанного в Мессине и Калабрии в несчастный канун этого года. Любой факт, сообщаемый этой книгой, производит впечатление неизгладимое и безмерно превосходящее все выдуманные ужасы современных беллетристов, которыми питаемся преимущественно мы, жители столиц; как бы, при внезапной вспышке подземного огня, явилось лицо человечества...»

В октябре 1909 года экземпляры книги, вышедшей в России, были присланы на Капри. В письме к заведующему конторой издательства «Знание» С. П. Боголюбову Пятницкий, живший тогда на Капри, писал: «Получены экземпляры «Мессины»: 5 для Ал[ексея] Макс[имовича] и 3 для меня. Книжка вышла красивая и чистая [...]. Я боялся за корректуру, потому что оригинал был пачканный. Но, кажется, обошлось хорошо. Кстати, оригинал Мейера следует сохранить...» (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 36-1-26).

Обращаясь к С. П. Боголюбову с просьбой сохранить «оригинал Мейера», Пятницкий имеет в виду текст перевода, отредактированный им совместно с Горьким. Упомянув в письме о своих опасениях «за корректуру» книги, Пятницкий отмечает, что «оригинал был пачканный». Наборным же оригиналом книги послужил машинописный текст Горького (хранится в Архиве А. М. Горького) и рукописный текст перевода статьи В. Мейера.

Требуется в этом письме объяснения и сама просьба Пятницкого о сохранении «оригинала Мейера». Необычность этой просьбы заключается в том, что издательства того времени, как правило, не хранили рукописи опубликованных произведений. Не хранило рукописи и издательство «Знание». Мысль собирать рукописи пришла Пятницкому на Капри. В одном

из писем Бонч-Бруевичу Пятницкий писал: «В Пестуме и других местах южной Италии я собрал коллекцию древних греческих монет. Она невелика, но все-таки дает понятие, какая высокая культура процветала в таких городах, как Пестум, Локры, Кротон, Тарент, Метапонт, Сиракузы, Агригент,— вообще в городах «Великой Греции», как называли тогда южную Италию.

В России я собрал коллекцию русских медалей, освещающих два последние века русской истории. Потом — коллекцию гравюр...

Вот мне и пришло в голову, — к сожалению, слишком поздно, — собирать коллекцию *отработанных* оригиналов, с которых печатались сборники и другие книги «Знания».

Ни одно издательство этих отработанных оригиналов не собирало [...]. «Знание» также не собирало отработанных оригиналов [...]. Я же спохватился слишком поздно, уже после возвращения из Италии» (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 1871, л. 75 об.—76). Среди поступивших в Гослитмузей рукописей был и перевод статьи Вильгельма Мейера. Однако после того, как материалы Гослитмузея были переданы в 1941 году в созданный тогда Центральный государственный литературный архив, рукописи были рассредоточены по разным фондам. Сама же история получения в 1930-е годы части архива издательства «Знание» Гослитмузеем была забыта.

Лишь недавно обнаруженная переписка Пятницкого с Бонч-Бруевичем позволила восстановить судьбу этих рукописей. Письма Пятницкого содержат интересные сведения, связанные с изданием той или иной рукописи. Вот что сообщает он о рукописи перевода статьи Вильгельма Мейера «В разрушенной Мессине»: «Рукопись, 60 страниц; из них только несколько страниц переписаны на машинке. Статью Мейера переводил Л. Б. Красин, в то время нуждавшийся в средствах. Но [им] ли написан текст перевода — сказать не могу. Поправки синим сделаны Горьким» (там же, л. 83 об.). Поиски рукописи увенчались успехом. Приведенные в письме сведения соответствуют внешнему виду рукописи. Только одну, но очень существенную деталь не упомянул Пятницкий: Горький, редактируя текст перевода, зачеркнул первое предложение: «Такова была Мессина» и сверху написал свой вариант: «Красивый, богатый город».

Как указывает Пятницкий, статью Вильгельма Мейера переводил Красин. О привлечении к работе над переводом Красина идет речь и в письме Горького к И. П. Ладыжникову. Письмо датируется началом января 1909 года. «О Мейере сообщу на днях; его статья листа 1 1/2—2, он дает ее в соб-

ственность. Статью его я пошлю Вам в подлиннике, а Вы, как советует Ал. Ал. Богданов, — передайте ее Никитичу для перевода на русский язык и немедля пошлите мне» (Архив А. М. Горького. М., 1959. Т. VII. С. 185). «Никитич» — партийная кличка Красина. Таким образом, есть веские основания предполагать, что перевод принадлежит Красину. Но в цитированном выше отрывке Пятницкий высказывает сомнение относительно принадлежности данного перевода Красину, поэтому вопрос об авторстве перевода остается пока открытым. Окончательное его решение требует привлечения дополнительных источников.

**«МНЕ... НЕОБХОДИМО ВАМ СКАЗАТЬ,
ЧТО ВЫ СОВЕРШЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЭТ...»**

(Из парижского архива Дон-Аминадо)

Публикация Н. Б. Волковой

Имя Аминада Петровича Шполянского, писавшего под псевдонимом Дон-Аминадо, пока еще мало известно в нашей стране.

Он родился в 1888 году в Херсонской губернии, в Елизаветграде (ныне — Кировоград). По окончании гимназии поступил на юридический факультет университета в Одессе, но завершил свое образование уже в Киевском университете. Переехав в Москву, занялся преимущественно литературой. Был корреспондентом газет «Киевская мысль», «Одесские новости», «Голос юга», «Раннее утро». Его фельетоны, эпиграммы, пародии печатались в «Новом Сатириконе» А. Т. Аверченко. В 1914 году, будучи призван в армию, находился на фронте. После Октябрьской революции писатель выехал на юг, жил в Киеве, затем Одессе и в 1920 году покинул Россию. Обосновавшись в Париже, Дон-Аминадо в 1920—1921 годах был редактором журнала для детей «Зеленая палочка», постоянно сотрудничал в газете П. Н. Милюкова «Последние новости», печатался в журналах «Иллюстрированная Россия» и возрожденном в 1931 году в Париже (впрочем, в том же году и закрывшемся) «Сатириконе», а также других многочисленных изданиях. В Париже выходят и сборники произведений Дон-Аминадо: «Дым без отечества» (1921), «Наша маленькая жизнь» (1927), «Накинув плащ» (1928), «Нескучный сад» (1935), «В те баснословные года» (1951). В 1954 году в Нью-Йорке была издана книга его воспоминаний «Поезд на третьем пути».

В эмигрантской литературе творчеству Дон-Аминадо принадлежит заметное место. Его первый вышедший за рубежом сборник лирико-сатирических стихотворений «Дым без отечества» был отмечен рядом положительных отзывов, в том числе такого взыскательного критика, как И. А. Бунин, который в 1921 году писал: «Вышли две книжки: «Авантюристы гражданской войны» А. Ветлугина и «Дым без отечества» Дон-Аминадо. Прочитал, и радуясь, и томясь. Радуясь потому, что оба истинно талантливые люди, не просто способные, т. е. умеющие приспособляться, а именно талантливые. А томясь в силу того, что обе книжки истинно эмигрантские, послереволюционные и вызывающие при чтении много побочных чувств, дум, воспоминаний».

Разобрав книгу Ветлугина, Бунин продолжает: «Аминадо — человек иной формации. Но и его насквозь пропитала горечь, едкость — следы того, что пережили мы...

Прошлое? «Декламировали, — говорит он, —

Пили красное вино
И искали Незнакомок,
Возносились в облака,
Пережевывали стили...

Потом:

Жили как свиньи, дрожали как мыши,
Грызлись, как злые, голодные псы...

Сегодня нам остается одно: «будем жить и будем ждать...»
А чего же мы дождемся? Аминадо и насчет будущего улыбается очень едко и горько:
опять, опять —

Вокруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик,
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг...

И убеждает самого себя:

Хорошо бы в море бросить
Всех, кто что-то проповедует...
Не ходить встречать мессию
И его не рекламировать...
Не скулить о власти твердой
С жалким видом меланхолика,
Вообще, не шляться с мордой
Освежеванного кролика...

Но, повторяю, главное и в его книжке, поминутно озаряемой умом, тонким юмором, талантом — едкий и холодный «дым без отечества», дым нашего пепелища. Только Ветлугин больше приобвык (не слишком ли?) к этому дыму. Аминадо он ест глаза, иногда до слез» (ф. 2257, оп. 1, ед. хр. 8, л. 14).

А в рецензии на сборник рассказов Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь», посвященных изображению различных сторон быта «русских парижан», Бунин вновь отмечает, что «Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах) и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту — художественному, а не только газетному, злободневному» (там же, л. 8. — Современные записки. Париж, 1927. № 33).

Большим успехом пользовались афоризмы Дон-Аминадо,

которые печатались как изречения «Нового Козьмы Пруткова». Многие из них отличаются глубокой человечностью, подлинным остроумием, представляют собой блестящие каламбуры на уровне лучших образцов XIX века. В своей рецензии на сборник «Нескучный сад», где часть этих афоризмов была напечатана, Г. Адамович писал: «Напрасно — замечу мимоходом — Дон-Аминадо скромничает и притворяется учеником Пруткова. Тот не писал так. У Козьмы Пруткова было не только меньше словесной находчивости, но и самый юмор его был площе, грубее, без щемяще-печального отзвука той «суеты сует», которая одна только и облагораживает смех [...]. Дон-Аминадо прикидывается весельчаком и под шумок протаскивает такую тоску, такое сердечное опустошение, такое отчаяние, что нетронутым в мире не остается почти ничего».

Не менее высоко оценивает Адамович и литературное мастерство писателя. «Чуть ли не в каждой фразе «Нового Козьмы Пруткова» можно найти эту удивительную способность использовать структуру речи для того, чтобы высечь из нее мысль, — и как ни толкает на крайности профессиональная обязанность общественного увеселителя, все же натура художника берет свое» (там же, л. 35).

Основной темой творчества Дон-Аминадо являлось изображение эмигрантского быта, жизни русской колонии в Париже, отклики на политические и другие происходящие события. Вместе с тем писатель все время обращается к образам дореволюционной России, к ее прошлому, овеянному ностальгической тоской, к временам, которые по названию одного из его сборников стали называть «те баснословные года».

Скончался Дон-Аминадо в 1957 году.

Материалы личного архива писателя были получены И. С. Зильберштейном в 1966 году в Париже у его вдовы Н. М. Шполянской и поступили в ЦГАЛИ. Архив (ф. 2257, оп. 1 и 2) состоит из десяти альбомов вырезок из журналов и газет, где печатались произведения Дон-Аминадо, рецензий и отзывов на них и небольшого количества писем (преимущественно в фотокопиях). По словам И. С. Зильберштейна, ему удалось, уже буквально накануне своего отъезда, уговорить Н. М. Шполянскую присоединить к этим материалам еще один поистине бесценный дар — письмо М. И. Цветаевой к Дон-Аминадо, содержащее развернутую, блестящую характеристику его таланта. Поскольку это письмо было полностью опубликовано в № 4 журнала «Новый мир» за 1969 год, приведем из него лишь отрывок, свидетельствующий как о на-

правленности творчества Дон-Аминадо, так и о глубоком постижении его сути М. И. Цветаевой.

Vanves, 31-го мая 1938 г.

Милый Дон-Аминадо,

Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. [...] и куда больше — поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше *лирической жилы*, чем во всем «на серьезе».

Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал по проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где всё не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат.

Но помимо акробатизма, т. е. непрерывной и неизменной *удачи*, у Вас просто — поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли, но и пренебрега которой Вы — больший поэт, чем те, которые на нее (в себе) молятся [...] — А дяди! А дамы! Любящие Вас, потому что невинно убеждены, что это вы «Марию Ивановну» и «Ивана Петровича» описываете. А редактора! Не понимающие, что Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию! Что Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судья. Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой.

Уверяю Вас, что (статьи Милюкова пройдут, а...) это останется...» (ф. 2257, оп. 2, ед. хр. 8, л. 1—2 об. — Новый мир. 1969. № 4. С. 211—212).

Письмо было вложено в конверт, на котором сохранилась надпись рукой Дон-Аминадо: «Марина Ивановна Цветаева. Письмо (31 мая 1938), которым я очень дорожу». Судя по поставленному крестику, запись сделана уже после смерти М. И. Цветаевой.

Ниже публикуется подборка произведений Дон-Аминадо, извлеченных из его архива или зарубежных изданий.

СВЕРШИТЕЛИ

Расточали каждый час,
Жили скверно и убого.
И никто, никто из нас
Никогда не верил в Бога.
Ах, как было все равно
Сердцу — в царствии потемок!

Пили красное вино
И искали Незнакомок.

Возносились в облака.
Пережевывали стили.
Да про душу мужика
Столько слов наворотили,

Что теперь еще саднит,
При одном воспоминаньи.
О, Россия! О, гранит,
Распылившийся в изгнаньи!

Ты была и будешь вновь.
Только мы уже не будем.
Про свою к тебе любовь
Мы чужим расскажем людям.

И, прияв пожатые плеч
Как ответ и как расплату,
При неверном блеске свеч
Отойдем к Иосафату.
И потомкам в глубь веков
Предадим свой жребий русский:
Прах ненужных дневников
И Гарнье — словарь французский.

(Дым без отечества. Париж, 1921. С. 23.)

ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ...

Ну, слава Богу!..

Теперь, как в пожарной команде, можно устроить сбор всех частей.

Последний пробел восполнен, последняя дырка заткнута, недостававшая часть — налицо.

В противодействие Союзу Советских Республик в Париже образовался Союз Русских Дворян. Там — С. С. Р., здесь — С.Р.Д.

Приятно отметить, что дворяне организовались не с кондачка и не экспромтом, а на десятый год со дня революции и, так сказать, накануне юбилея.

Значит, все эти девять лет люди о чем-то все-таки думали.

После того, как разные средства спасения Родины были испробованы, стало ясно, что путем политическим в Москву не войдешь.

Оставалось только одно: ведение родословных книг и честная метрика.

Когда черные тучи обволакивают черный горизонт и на

душе черно, как в черном желудке упившегося чернилами негра, «Союз дворян» кажется каким-то ярким пятном, какой-то светлой точкой на безрадостном фоне нашей эмигрантской жизни!

Пусть борзописцы и построчные зоилы негодуют и надрываются изо всех сил.

Пусть эти кухаркины дети и либералы неизвестного и, может быть, даже внебрачного происхождения вопят и сатапеют по поводу нового мощного объединения.

Пусть!

Человек, происходящий по прямой линии от Руслана и Людмилы, имеющий в качестве одной бабушки Пиковую даму, а в качестве другой бабушки Аскольдову могилу, такой человек только презрительно пожмет плечами и закажет себе кофе-натюр, и выпьет его за здоровье своих предков!

Что может быть общего у прямого потомка Бахчисарайского фонтана с каким-то постным разночинцем, у которого, может быть, и совсем не было никаких родителей?!

Когда у человека весь спинной хребет сделан из белой слоновой кости, а в жилах течет даже не голубая кровь, а сплошная ляпис-лазурь, то не ясно ли, что такой человек не может удовлетвориться каким-то мещанским Нансеновским паспортом, где вся геральдика сводится к нумизматике, а вся нумизматика — к пятифранковой монете, хотя бы и золотой?..

Но теперь, слава Богу, мучаться уже не долго.

С понятным нетерпением ожидает исстрадавшаяся эмиграция новой жалованной грамоты заграничному дворянству с предоставлением оному законно выстрадавших льгот, коих артикулы тому следуют:

1. Дворянское дите, хотя бы и родившееся за рубежом, но от двух потомственных дворян разного пола, уже на основании самого факта рождения считается членом Благородного собрания с музыкой и танцами.

2. Всякий зарубежный дворянин, приобретший на правах собственности три аршина зарубежной земли в департаменте Сены и Уазы, считается однодворцем и освобождается от телесных наказаний.

Лица же, имеющие латифундии в виде целого семейного склепа, почитаются феодалами, причём все наличное население вышеупомянутого склепа прикрепляется к земле на вечные времена.

3. В каждом доме, где имеют жительство господ дворяне, в количестве более, чем два, надлежит выбирать уездного предводителя дворянства, утверждаемого в сей должности консьержкой.

4. Все уездные предводители ежегодно собираются на свой зарубежный съезд, на каком-то и избирается губернский предводитель всего как мелкопоместного, так и многосклепного дворянства.

Означенный предводитель ведает городом Парижем наравне с генералом Гуро.

5. Что же касается дворянских недорослей, равно как и перерослей, то сим, купно собравшись, образовать «Союз Объединенных Митрофанов» под кратким и живорыбным названием «Сом»!

И поступить сему «Сому» на казенный кошт купеческого сословия первой и второй гильдии, понеже не перевелись в заграницах честные давальцы, не щадящие для блага отечества ни звонкой разменной монеты, ни ассигнаций.

Дано в Пассях, на Сене и Уззе, в лето от российской революсьон десятое, аминь (ф. 2257, оп. 2, ед. хр. 1, л. 190).

ВЫБОРЫ КОРОЛЕВЫ

Перевороты происходят внезапно. Привычки возникают постепенно. Нравы слагаются медленно. Быт нарастает десятилетиями...

Десять лет назад мы были, всего-навсего, беглецами. Потом мы стали беженцами. Потом — скороходами. И наконец — эмигрантами.

Десять лет назад у нас не было никаких привычек. Наоборот, мы только и делали, что отвыкали. И нравов у нас тоже никаких не было. Ибо какие могут быть нравы у общества, которое чудом уцепилось за буфер паровоза и так висит?

И разумеется, никакого такого быта у нас тоже и в помине не было. Да и какой тут может быть быт, когда человек бежит, как заяц, и даже не оглядывается?

Однако прошли годы. Мы остановились, перевели дух, оглянулись и к немалому своему удивлению увидели, что мы не только живы, но и живем, и не только живем, а живем по-своему, так, как никто ни при нас, ни после нас жить уже не будет...

Короче говоря, мы создали: свои привычки, свои нравы, свою особую жизнь, мир, быт, порядок, законы, обычаи, партии и учреждения. В политике мы твердо стоим за объединение. Поэтому мы все и разъединились на ряд объединений, и каждый за свое объединение и держится. Святцы мы тоже завели свои собственные: с Розалией, с Варварой, с Онуфрием и с Антоном. Поэтому мы и празднуем и по новому стилю, и по старому стилю, и новый Новый — год, и старый Новый —

год, и раз — Рождество, и два — Рождество. Думаем мы по-русски. Говорим по-французски. А Пасси и просто склоняем во множественном числе.

Домашний врач у нас — Нансен, репетитор — Берлиц, убийца Распутина — Юсупов и конференсье — Балиев. Земли у нас ни километра, землячеств тысячи. Судебного ведомства никакого, третейских судей сколько угодно. Автомобилей нет, шоферов тьма. В Женеву не приглашают — в синема ходим. Ллойд-Джордж не отвечает, мы все равно ему открытые письма пишем. И при всей этой лихорадочной и напряженной деятельности мы еще успеваем: жениться, разводиться, размножаться, писать мемуары, перелицовывать пиджаки и выбирать королеву русской колонии! [...] (там же, л. 271).

КУПРИН

В России было так:

Приезжал в Гатчину бойкий интервьюер и почтительно справлялся:

— Как себя Александр Иванович чувствовать изволят, правда ли, что они пишут повесть из жизни крымских рыбаков и, кстати, что изволят думать о разведении шелковичных червей в Самаркандском округе, потому, дескать, публика житья не дает, все до мельчайших подробностей знать желает...

Александр Иванович добродушно отбивался, давал честное слово, что он и не прима-балерина, и не профессор Дуайен, и что все это не столь уже существенно, как молодой человек полагает.

Потом брал молодого человека за руку, водил его по чудесному парку, показывал небольшой домик, построенный на свои собственные, купринские строчки, заставлял любоваться желтыми настурциями и синими Анютиными глазками и с гордостью демонстрировал своего огромного пса Медеяна, страшного, могучего и доброго.

Интервьюер почтительно глотал слюну, десять раз шаркал ногой и, безжалостно комкая ни в чем не повинную шляпу, только то и делал, что повторял: мерси! мерси! мерси!..

А на следующий день вся Россия, захлебываясь, читала:

«Нам сообщают по телеграфу от наших собственных корреспондентов, что знаменитый писатель А. И. Куприн готовит к печати сенсационный роман из жизни Анютиных глазок.

Как нам из совершенно безукоризненного источника удалось узнать, начало романа происходит в унылых степях

Башкирии, между тем как конец захватывает эпоху падения Римской империи и невольно переносит читателя на арену ликующих гладиаторов.

Название нового произведения держится пока в строгой тайне, но, конечно, ни для кого не секрет, что роман явится четвертой частью трилогии Медеяна...»

Да, все это было.

Так, или приблизительно так.

Но с той поры иной пошел у нас счет, иная хронология, иное летосчисление.

День — за месяц, месяц — за год, год — за десятилетие.

Не скажут в Гатчину бойкие интервьюеры, не сообщают безобидного вздора о ликующих гладиаторах, не телеграфируют на всю Россию.

Круг сузился, замкнулся, и в этом нашем обесцвечивающем приближении всех ко всем и друг к другу, в будничной скученности нашего маленького уезда даже самые крупные имена постепенно лишаются столь законно принадлежащего им обаяния перспективы, отдаленности, расстояния и тайны.

Слишком мал переулочек. Обыкновенны встречи. Привычны рукопожатия.

Да не поймут меня дурно, но есть какое-то особое, еле уловимое и досадное амикошонство и небрежение в этом ежедневном эмигрантском смещении и общении многих с немногими, всех с избранными.

Уж если правду говорить, много ли у нас Куприных, в самом деле?..

Жить бы ему, Александру Ивановичу, в отдалении, в Гатчине, глядеть бы на старый парк, на милые настурции и писать как Бог ему на купринскую его, на душу положить.

А он вот ходит бочком по рю-де-Пасси, тут же рядом, да еще и вечера устраивает.

А перспективы-то и нет...

Поэтому я, господа, и говорю:

— Уж если приглашает вас сам А. И. Куприн на именины к себе, на маленький литературный праздник, на вечер, на скромное, совсем скромное свое торжество, то поймите это, и поймите, как следует.

Ведь вы же, можно сказать, сливки пятидесяти двух губерний!

Так неужели, ежели без телеграфа и без гладиаторов, так уж вам и смак не тот?..

Оно, конечно, русских Анютиных глазок здесь и в помине

нету, но Куприн-то, хоть и близко, и в переулке, и совсем рядом, а все тот же он:

— Куприн!

И надо к нему в Пасси, как в Гатчину, приехать, почтительно шляпу снять и сердечно справиться:

— А как, мол, себя Александр Иванович чувствовать изволит... (там же, ед. хр. 5, л. 265).

НОВЫЙ КОЗЬМА ПРУТКОВ

Шаромыжник — это человек, у которого много шарма.

«Женщина есть книга за семью печатями». Но какая именно, книга доходов или книга расходов, это уже дело экспертов.

Зачем изменять идеалам, когда можно перейти в оппозицию?

Из чувства взаимности может родиться и любовь, и кооператив.

Без царя в голове и республиканцам плохо.

Если уж необходимо рассказать свое прошлое, то лучше рассказать его любимой женщине, чем судебному следователю.

Раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно и опоздать.

Эмиграция стареет оптом, а умнеет в розницу.

Ничто так не портит семейную жизнь, как личная секретарша.

Лучше пропасть без вести, чем кануть в вечность.

Чуткие натуры всем сострадают, но всех переживают.

Отказывать легче всего по телефону. Помогать — тоже.

Когда женщина падает в обморок, она знает, что она делает.

Предложить вместо любви дружбу — все равно что заменить кудри париком.

Когда люди не сходятся в главном, они расходятся из-за пустяков.

Не так опасна преждевременная старость, как запоздалая молодость.

Насчет женихов пусто, а невеста идет густо.

Лучше вовремя отступить, чем не вовремя оступиться.

Скажи мне, с кем ты раззнакомился, и я скажу тебе, кто ты таков.

Легче быть рабом идеи, чем господином слова.

Честный ребенок любит не папу с мамой, а трубочки с кремом.

Одна точка зрения может закрыть весь горизонт.

Прописными истинами легко жонглировать; настоящую — надо выстрадать.

Осторожные лгуны лгут устно.

Цитаты не только выражают чужую мысль, но и прикрывают наготу собственной.

Когда нечего сказать, можно говорить безостановочно.

Нет ничего труднее, как выйти в люди и остаться человеком.

Друг, который взял книгу и зачитал ее, — это и есть друг-читатель.

Прежде чем сойти с пути, постой все-таки на распутье.

За женатого дурака краснеет его жена, за холостого — все общество.

Когда у женщины такой возраст, когда она всех критикует, то это значит, что у нее наступил критический возраст.

Если не быть фаталистом, можно остаться холостяком.

Из двух злюк выбирают меньшую.

Всякий дурак считает, что он анонимный.

Мужчины лгут просто, женщины — со слезами на глазах.

Пожилое декольте — это цитата из прошлого.

Вдова старого режима просит откликнуться до востребования.

Самый опасный вид рассказчиков — очевидцы.

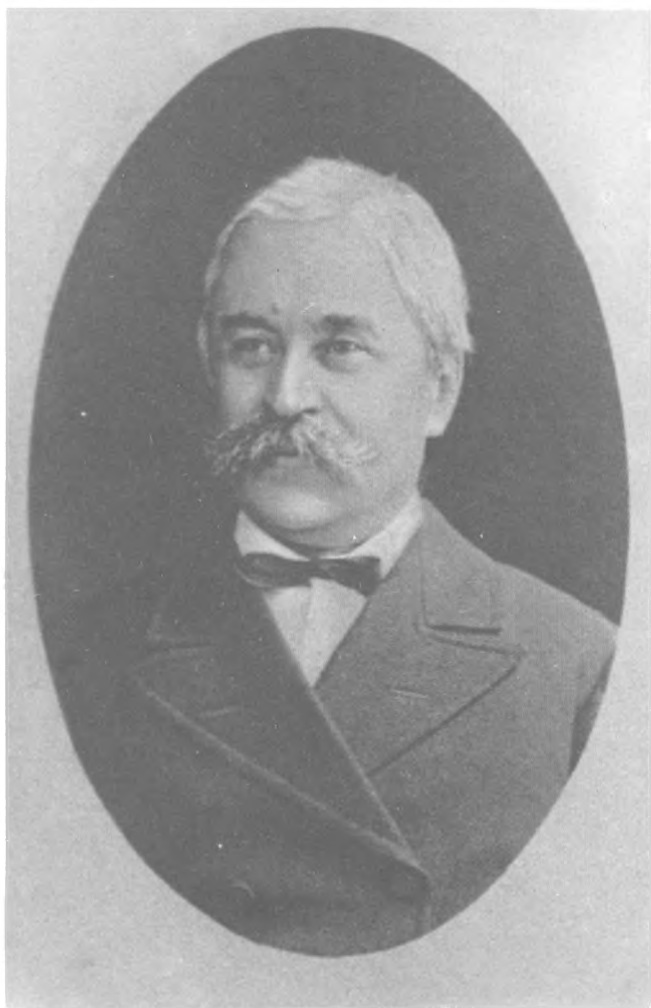
Счастливым называется такой брак, в котором одна половина храпит, а другая не слышит.

Наступить на истеричку — страшнее, чем на змею.

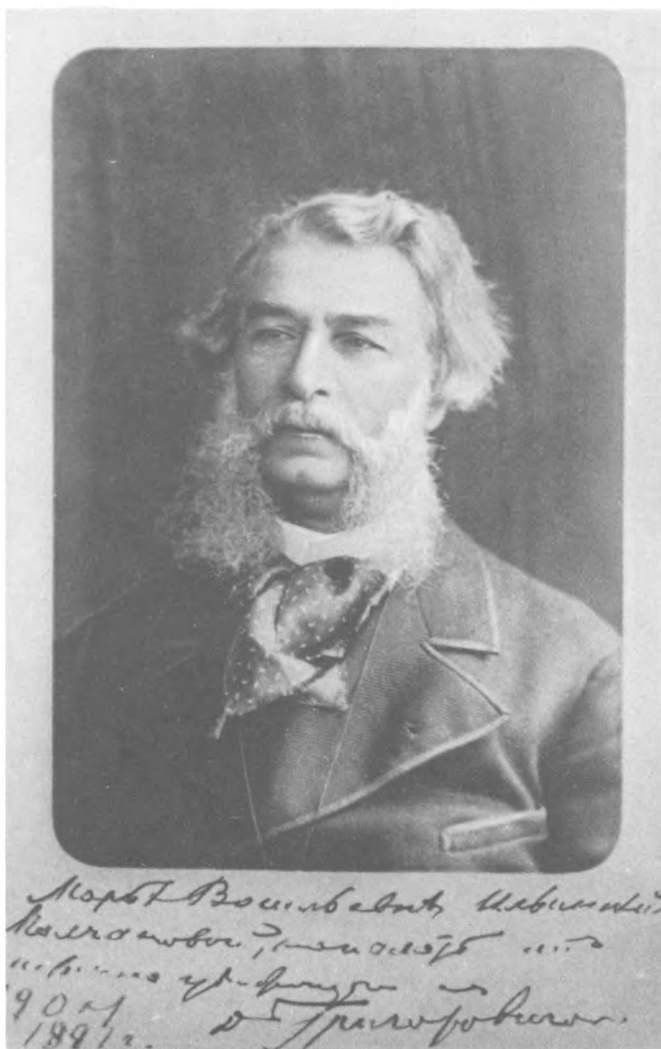
От аппендицита можно избавиться сразу, от родственников только постепенно.



П. П. Вяземский. Конец 1870-х — 1880-е годы



Г. П. Данилевский



Д. В. Григорович. 1880-е годы. На фотографии дарственная надпись актрисе М. В. Ильинской (Молчановой)



Е. С. Дёлер. 1850-е годы



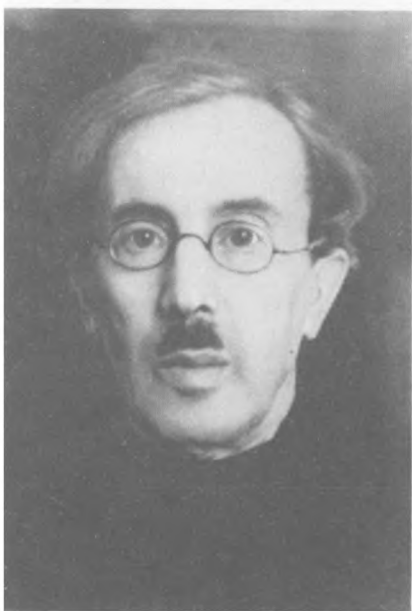
Е. П. Шереметева. 1868 год



С. Д. Кржижановский. 1930-е
годы



**Ю. И. Айхенвальд. 10 сентября
1913 года**



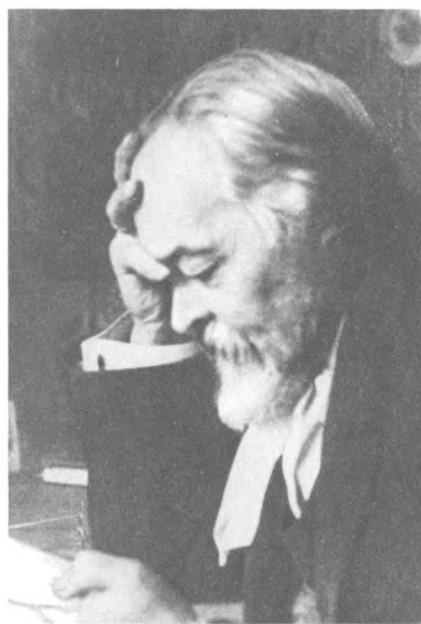
А. А. Тришатов. 1950—60-е годы



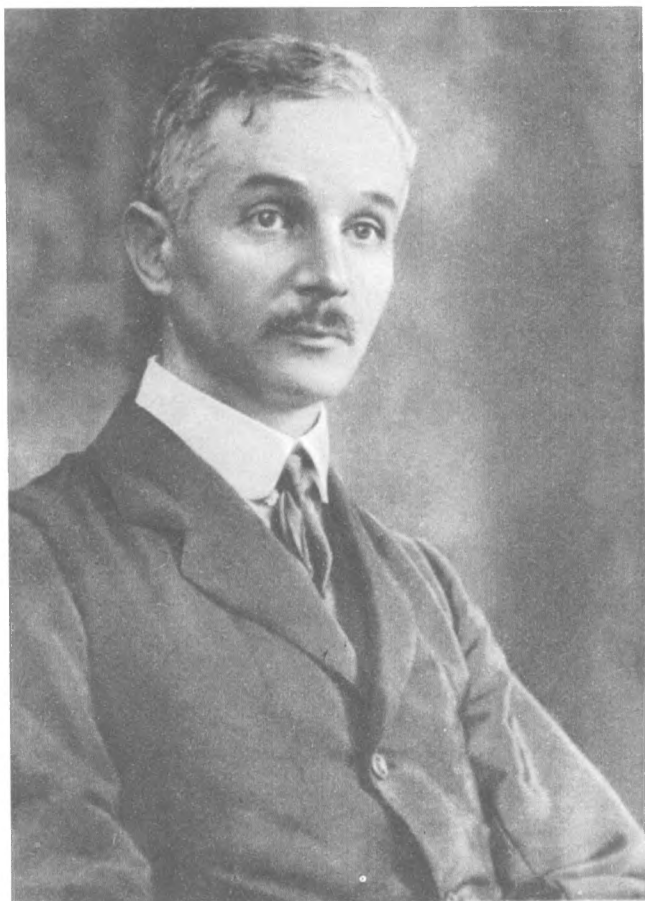
Г. А. Шенгели. 1910-е годы



Г. В. Алексеев. 19 июня 1928 года



Е. Н. Чириков. Прага, 1931 год



Саша Черный.

Саша Черный. 1920 год



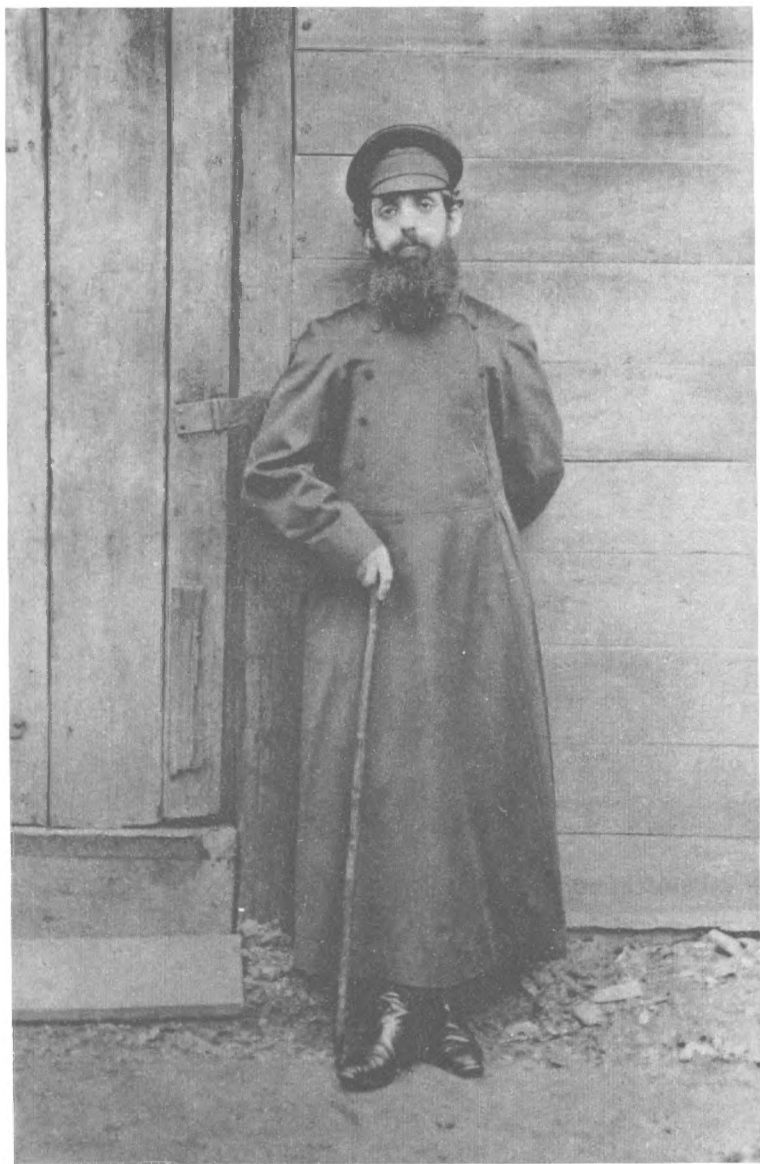
**И. С. Соколов — Микитов. 1935
год**



Б. А. Пильняк. 1927 год



М. М. Мелентьев и В. А. Свительский. Медвежья Гора, 1936 год



М. А. Кузмин в облике «старовера». Около 1902 года



На обороте фотографии автограф М. А. Кузмина из его оперы «Грех да беда на ком не живет».



А. С. Грин. Старый Крым, 24 июня 1932 года



Н. Н. Грин на могиле мужа. Старый Крым, 10 сентября 1956 года



Ф. И. Шаляпин и И. И. Торнаги. Нижний Новгород, 1896 год



Ф. И. Шаляпин и И. И. Шаляпина (Торнаги) с детьми. Слева направо: Лидя, Таня, Боря, Федя, Ира. Конец 1900-х годов.

Легче остановить неоседланного арабского коня, нежели ограниченного пятью минутами оратора.

Из двух зол принято выбирать меньшее, но уничтожать предпочтительно — большее.

Не зарывайте чужой талант в землю.

Вождь выходит из народа, но обратно не возвращается.

От одной ягоды сыт не будешь, а от одного Ягоды — вполне.

Когда братская могила роется в длину, она называется каналом.

Причин войны не бывает, бывают только последствия.

На вопрос, чем вы занимаетесь, — Франко ответил: «Вращаюсь вокруг оси».

Германия вооружается до зубов, а зубы кладет на полку.

Примечание к Майн Риду: Гитлер начал как «Охотник за черепами», а кончит как «Всадник без головы».

Богатые уезжают легко, бедные — налегке.

Когда дружеская беседа начинается распивочно, она всегда кончается навывнос.

Святые люди склонны к усашке, а мошенники — к утешке.

Когда хотят дать взятку, то лучше всего объясняться знаками, и лучше всего денежными.

Бухгалтерия двойная, а камера одиночная.

Прошлое принадлежит археологам, настоящее — спекулянтам, будущее — химикам.

(там же, ед. хр. 1, 6, 7).

УЕЗДНАЯ СИРЕНЬ

Как рассказать минувшую весну,
Забывшую, далекую, иную,
Твое лицо, прильпнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?

Была весна, которой не вернуть...
Коричневые, голые деревья.
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.

Апрельский холод. Серость. Облака.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный и косящий.

О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна
И пыльною, уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Прирученная к позднему цветенью.

224

БАБЬЕ ЛЕТО

Нет даже слова такого
В толстых чужих словарях.
Август. Ущерб. Увяданье.
Милый, единственный прах.

Русское лето в России.
Запахи пыльной травы.
Небо какой-то старинной
Темной, густой синевы.

Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец...

(В те баснословные года.
Париж, 1951. С. 71, 75).

СОВРЕМЕННОКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Воспоминания о В. В. Маяковском

Публикация **И. И. Аброскиной**

«... пожалуйста, не сплетничайте».

«Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом».

Сколько людей, даже самых близких, нарушило это не однажды произнесенное требование Маяковского к современникам. И сегодня мы — обратившись к воспоминаниям о поэте — в их числе. Но хотим верить, что не обратим во зло те немногие из воспоминаний, которые приведем здесь.

Вспоминать о Маяковском стали буквально на другой день после его смерти. 15—17 апреля 1930 года номера газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», посвященные памяти поэта, публиковали воспоминания о нем.

Встречались среди авторов и литературные фарисеи, ненавидевшие Маяковского при жизни и спешившие теперь расписаться в своей преданности и любви к нему. Но они чаще всего себя обнаруживали.

В ЦГАЛИ хранится около сотни воспоминаний как близких Маяковскому людей, так и просто его знакомых, многочисленных слушателей его лекций и поэтических выступлений. Среди авторов — Д. Д. и М. Н. Бурлюки, В. В. Каменский, Н. Н. Асеев, А. Е. Крученых, Л. Ю. Брик, В. А. и Г. Д. Катанян, А. М. Родченко, С. И. Кирсанов, В. Б. Шкловский, Л. В. Никулин, Ю. К. Олеша, В. П. Катаев, К. Л. Зелинский, Н. С. Тихонов, Л. В. Кулешов, А. С. Хохлова и многие другие. Одни писали сразу после смерти Маяковского, другие — десятилетиями позже. Большинство этих воспоминаний уже давно стало достоянием читателей, но есть и некоторые неопубликованные до сих пор.

Конечно, любые воспоминания — это очень специфический источник информации, и рассчитывать на их полную беспристрастность, достоверность, точность и объективность приходится далеко не всегда. Авторам со временем может изменять память, им трудно, если не невозможно, освободиться от личных пристрастий и субъективности при самых объективных намерениях пишущего, наконец — и это происходит чаще всего — восприятие автора неадекватно изображаемому обстоятельству.

Всего лишь два примера. 1 декабря 1915 года Маяков-

ский делал доклад о футуризме. Л. Ю. Брик записала: «...перед публикой появился оратор. Он стал в позу и произнес слишком громко: «Милостивые государи и милостивые государыни», все улыбнулись. Володя выкрикнул несколько громящих фраз [...]. Сгоряча он не рассчитал, что соберутся друзья, что оратор не на кого и не за что, что придется делать доклад в небольшой комнате, а не агитировать на площади» (Альманах с Маяковским. М., 1934. С. 77). Горький вспоминает этот эпизод совсем иначе: «...Он глухо, торопливо и невнятно произнес несколько строк, махнул рукой, круто повернулся и скрылся...» (Бялик Б. О Горьком. М., 1947. С. 226).

Второй пример. В некоторых воспоминаниях говорится, что грузовик, на который был установлен гроб с телом Маяковского, вел М. Е. Кольцов. В то же время В. А. Катамян в беседе с автором этой публикации утверждал, что весь путь от улицы Воровского, где в здании Федерации объединений советских писателей шла гражданская панихида, до крематория они с Кольцовым шли рядом.

Но в то же время воспоминания можно сопоставлять друг с другом, с другими документами, в них — разное видение личности поэта и в той или иной степени присутствует время, эпоха.

Может быть, то, что не «отстоялось словом» в биографии поэта, помогут нам понять его современники?

Из автобиографии Маяковского «Я сам»: «Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. [...] Все это территория старой грузинской крепости под Багдадами».

А Левон Константинович Кучухидзе, выросший в Багдади, в 1936 году вспоминал другой, самый первый, дом в жизни Маяковского: «Отца [...] Вл. Маяковского назначили лесничим Багдадского лесничества в 1889 г. [...]. Маяковский приехал из Кутаиса прямо к нам. Семья его состояла из пяти душ [...], все они не могли поместиться в одной комнате [...], лесничий попросил моего отца уступить ему еще две комнаты. Отец мой, Константин Кучухидзе, согласился и сдал внаем Маяковскому одну залу и две комнаты за 10 руб. в месяц с обстановкой, т. к. семья Маяковских привезла в Багдади только 4—5 пар одеял, одну или две старые корзины, старый полинялый самовар, одну или две кастрюли и простую жестяную лампу, которая ежеминутно коптила [...].

В 1893 г. родился у Маяковских сын [...]. Я хорошо помню то июльское раннее утро. Семья Маяковских, и вместе с ней моя семья, ликовала по случаю рождения мальчика. Здесь я должен отметить маленький эпизод, сам по себе неважный, но я, будучи студентом, читая заметки о Маяковском, всегда вспоминал пророчество лесничего Маяковского. Дело в том, что под утро в день рождения Володи Маяковского почему-то взбесилась большая дворовая собака Маяковского. Эту собаку звали Барс. Лесничий его любил очень. Бешенство этой собаки в день рождения сына чуть омрачило его лицо. Он приказал объездчику, татарину Идрису убить во что бы то ни стало собаку, так как бешеная собака может принести вред населению. Идрис погнался за собакой и скоро подстрелил ее. Тогда лицо лесничего прояснилось, и он весело сказал моему деду: «Нико, я чувствую, что мой новорожденный ребенок будет великим человеком. Моя любимая собака взбесилась, но никому вреда не принесла». Дед мой ответил: «Пожелаю, чтоб он был ревизором». На это лесничий сказал: «Нет, Нико, ревизор — это ничего. Он будет больше ревизора. Он будет очень большой-большой человек» (ф. 336, оп. 5, ед. хр. 159, л. 5—7).

Осенью 1911 года Маяковский поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. В первых числах сентября он познакомился со студентом училища — художником и поэтом Д. Д. Бурлюком. Маяковский писал в автобиографии: «Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».

Бурлюк был на 11 лет старше Маяковского, участвовал в выставках как профессиональный художник с 1904 года. К этому времени у него уже была семья. Прочтя автобиографию Маяковского, Бурлюк записал в своих воспоминаниях о нем: «Надо отметить величие души Маяковского в этом упоминании. Другой умолчал бы об этом. Гордость не позволила бы сказать. Владимир Владимирович был бесовски гордым человеком, и, когда он написал эти добрые ко мне строки, он хотел показать, как один бедняк преданно, бескорыстно любил другого. Он показал, что наша дружба стала братством неразрывным...» (ф. 2577, новое поступление).

Жена Бурлюка, Мария Никифоровна, вспоминала: «С лю

бовью старшего брата удивлялся Бурлюк одаренности безмерной, без берегов возможностям; хлопал дружески Маяковского после чтения по молодой, костлявой от недоедания, опять сутулившейся спине. Володя Маяковский и во вторую осень нашего знакомства был плохо одет. А, между тем, начались холода. Увидев Маяковского без пальто, Бурлюк в конце сентября 1912 года, в той же «Романовке», в темноте осенней на Маяковского, собиравшегося уже шагать домой (на Большую Пресню), надел зимнее ватное пальто своего отца. «Гляди, впору... — Оправляя по бокам, обошел кругом Маяковского и застегнул заботливо крючок у ворота и все пуговицы. — Ты прости за мохнатые петли, но зато тепло и в грудь не будет дуть...» Маяковский улыбался [...]. С Маяковским мы ходили вдвоем весной 1912 г. в консерваторию слушать концерт Собинова, который пел ученикам романсы Чайковского [...]. Музыку Маяковский любил [...]. Бурлюк, как украинец, любил пение, и я начала учить его [...]. Увидя успехи Давида Давидовича, Маяковский скоро и сам басом изъявил желание пройти со мной несколько романсов, но у моего нового ученика абсолютно не было музыкального слуха, а одолеть ритмическую работу упорным трудом у Владимира Владимировича не было охоты. Все же оказалось, что он знает несколько тактов арии Варяжского гостя из оперы «Садко» [...]. Маяковский пел с увлечением [...], и в арии этой он выдерживать умел все паузы, показывая красоту и силу звука, рожденного молодым богатырством [...].

В этой самой «Романовке», в номере Бурлюка, в конце ноября 1912 года и был написан Бурлюком, Маяковским, Хлебниковым и Крученых знаменитый манифест «Пощечина общественному вкусу» [...].

[1914 г.]. Теперь уже Маяковский старался помогать Бурлюкам! Как-то он привел в мастерскую покупателя. Одетый, как денди, Маяковский был жизнерадостен. Громким голосом растолковывал он меценату достоинства каждой картины.

Затем, отбивая чечетку по лоснящемуся паркету, он приближался ко мне (я сидела в кресле спиной к ним) и шепотом спрашивал: «Он предлагает двести... Как вы думаете? Цена, по-моему, неплохая».

Тогда же Маяковский подарил моему сыну Додику большого деревянного белого коня.

Весь январь и февраль 1915 года Бурлюк, Маяковский и Каменский жили в Петербурге. Бурлюк и Каменский провели два дня у Горького в Петербурге и в его финской вилле. Они повели Горького в «Бродячую собаку», где Горький

сказал несколько слов в их защиту после того, как футуристы прочитали свои стихи. Но только в 1916 г. пригласил Горький Маяковского печататься у него.

Весной 1915 г. в Москве Маяковский жил напротив нас, в доме Нирензее [по Бол. Гнездииковскому пер.], и мы без телефона — по свету в окошке — всегда знали, дома ли он. Он жил в мастерской приятельницы его матери, которая уехала на юг, предоставив Маяковскому бесплатно пользоваться ее мастерской. Тогда Маяковский имел обыкновение каждое утро стучаться к нам и узнавать: «что нового?» Спрашивал: «Почему вы запираетесь? Бойтесь, что ваши дети сбегут?» (там же).

Прокомментируем и уточним рассказ М. Н. Бурлюк другими свидетельствами. В начале февраля 1915 года Д. Д. Бурлюк и художник И. И. Бродский посетили Горького на его даче в Мустамяках, где хозяин записал Бурлюку в книгу автографов: «Они — свое, а мы — свое» (Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 2. М., 1958. С. 479). 25 февраля Горький присутствовал в литературно-художественном кафе «Бродячая собака» на вечере футуристов, посвященном выходу альманаха «Стрелец», где были опубликованы отрывки из поэмы «Облако в штанах». Горький поддержал футуристов, а о Маяковском сказал: «Зря разоряется по пустыкам! [...] Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости. Знаю по себе. Надо бы с ним познакомиться поближе» (Серебров Н. О Маяковском // Красная новь. 1940. № 7—8. С. 163). 1 декабря 1915 года Горький присутствовал на чтении Маяковским поэмы «Флейта-позвоночник» и, по записи Б. Юрковского, сказал: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт, большой поэт». Но, восторгаясь им, Алексей Максимович отмечает и отрицательные стороны последнего: «Маяковский хулиган. Но хулиган от застенчивости. Представьте себе, что это так. Он болезненно чуток, самолюбив, а потому и хочет прикрыться своими дикими выходками» (Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. С. 115). В конце 1915 года вышел № 1 журнала «Летопись» под редакцией Горького, и Маяковский был приглашен им в число постоянных сотрудников. В 1916 году в руководимом Горьким издательстве «Парус» вышел сборник стихов Маяковского «Простое как мычание».

Поэт-футурист Аристарх Михайлович Гришечко-Климов не был особенно близок к Маяковскому, но написанные им в 1959 году воспоминания обращают на себя внимание, так как рассказывают о сравнительно малоизвестном периоде в жизни Маяковского. Гришечко-Климов встречал Маяковского в открывшемся на рубеже 1917—1918 годов в помещении бывшей прачечной «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке в Москве.

«В скучное время пустых вечеров Маяковский с Бурлюком, вооружившись карандашами, дружно работали над портретами гостей. Оба кита хорошо рисовали, почему и я, поддаваясь общему соблазну, служил им натурой с остановившимися глазами безропотной жертвы, смирившей в себе бешеную скуку добровольного самоистязания [...].

Маяковский, снимая нас иногда с места обычной работы здесь, брал с собой на свои выступления в Политехническом музее [...], где мы показывались перед большой публикой в то время, как Маяковский, выступая обычно первым, стоял впереди нас, мы же, подобно цыганскому хору, размещались за его спиной на стульях, а Долидзе, его молчаливый импресарио, терпеливо дожидаясь окончания нашего утренника, сидел в соседней с аудиторией комнате [...].

Однажды [...] Маяковский, сообщая с Каменским и Бурлюком, притащили в кафе две тяжелые связки каких-то книг. Это и были только что отпечатанные тогда две поэмы Маяковского «Человек» и «Облако в штанах». С довольным выражением на разгоряченном лице поэт не спеша освобождал от веревок, как от свивальника, своего первенца. Но вид у литературы был, однако, настолько жалкий, что вызывал у нас молчаливую обиду за поэта. Линялые цвета обложек — зеленоватый и желтый — казались наивными, а грубая на ощупь, тяжелая бумага — наждачной. Печать, однако, была ясной и грамотной — единственное, что примиряло с таким изданием в то исключительно тяжелое для страны время. Для нас, дружески обступивших поэта, это было семейным событием, и Маяковский тут же предложил нам сделать копии на его книжки по цене в три рубля. Прочно усевшись за стол, он охотно писал карандашом — к сожалению, на лицевой стороне книжки — свои, может быть, первые автографы² [...].

Это было короткое, но горячее время для всех [...]. Маяковский метался между Москвой и Петроградом. Возбужденный и потный, всегда в одной пиджачной паре, не снимая с головы поношенной кепки, едва не касавшийся потолка на нашей сцене, с кастетом в правом кулаке³, он все громче и

вызывающе читал свои баррикадно-громоздкие стихи, возбужденно вступал в ожесточенные споры с возражавшими ему из публики. Политически зоркий и прямолинейный в целеустремленности энтузиаста революции, он часто ставил в очередной просак обывателя своей издевательски прямой и остроумной логикой рифмованных выражений. Не всем, однако, был понятен в то время и правился этот поэт [...]. Тогда уже Маяковский все дальше и заметнее уходил от футуризма в противоположность Каменскому и Бурлюку, развивавших в то время бешеную скорость на футуристической карусели [...].

Теперь «Кафе поэтов» походило на «Пассаж» с его многолюдной сутолокой, шумом и духотой. На сцене появилось сверкавшее новизною пианино [...], старательно обработанное на другой же день близким к Маяковскому Сергеем Прокофьевым, совсем еще тогда юношей, учеником консерватории; освободив до неузнаваемости инструмент от футляра — для звука, — будущий композитор долго искушал наш слух и долготерпение исполнением произведения «Баба-Яга»⁴ [...].

Под Новый год на елке у футуристов была вся Москва [...]. На дворе морозило, а здесь было жарко, как в бане. Первое, на что обращалось жадное внимание гостей, была, разумеется, елка, свежая и душистая, она была убрана одними картонными шишками: выглядывая из здоровенных розовых кулаков, они весьма красноречиво говорили о новой затее футуристов, инициатором которой и ближайшим участником выполнения этой идеи был сам Маяковский; пужно было видеть, с каким злорадным удовольствием в глазах он вырезал и развешивал эти символические картонажи с фигами [...].

Через два месяца посещаемость «Кафе поэтов» резко понизилась [...], и все поэты скоро разошлись по своим дорогам» (ф. 336, оп. 6, ед. хр. 13, л. 8—10, 12, 14).

Рабочий поэт Михаил Парамонович Юрин оставил очень теплые и добрые воспоминания о Маяковском, проникнутые большим уважением к поэту. Кое-что вошло в его книгу воспоминаний (Юрин М. Записки подававшего надежды. М., 1931), часть, написанная позже — в 1946—1947 годах, осталась в архиве и не публиковалась:

«...1924 год. В тифлисской газете «Заря Востока» напечатаны стихи о Пушкине Владимира Маяковского, Сергея

Есенина и мои. Мы, молодые пролетарские поэты, в то время меньше занимались повышением своей общей культуры [...] и поэтического мастерства, больше гордились своим пролетарским происхождением. А я уже заведовал отделом печати Закавказского краевого комитета ВЛКСМ, был секретарем и фактическим руководителем ежемесячного комсомольского журнала «Красные всходы». В ту пору для нас не было [поэтических] авторитетов, и поэтому, увлекшись полемикой Маяковского и Есенина, я также свои стихи о Пушкине начал задорно и полемически:

Мой век не тот, к чему тайть,
Покрой есенинский мне узок...

Но когда в редакции «Зари Востока» меня представили Маяковскому как молодого и способного поэта, мне было не по себе. Я чувствовал, как краснели мои уши, словно Маяковский меня только что отодрал за уши, как выступал пот на лбу и язык отказывался подчиняться. Владимир Владимирович торопился, но на ходу сказал, что стихи мои он прочитал, что стихи неплохие, только длинные, и заметил: «Вам надо учиться писать короче» [...]. Это была моя первая и мимолетная встреча с Владимиром Маяковским [...].

В начале 1926 года, вскоре после смерти Сергея Есенина, Маяковский приехал в Тифлис [...]. И вот самый большой зал Дворца искусств набит до отказа⁵ [...]. Член русской секции [Ассоциации пролетарских писателей Грузии] читает стихи, посвященные Есенину [...]. Владимир Владимирович с исключительной мягкостью, по-товарищески, говорит: «О поэте так писать нельзя. О поэте надо писать теплее, взволнованнее. А о Есенине надо писать стихи лучше, чем писал сам Есенин». Владимир Маяковский подробно рассказал нам, как мучительно трудно писать стихи о Есенине, поэтому он и не мог дать еще ни строчки, хотя эта тема неотступно следует за ним. Об этом он подробно рассказал в статье «Как делать стихи?» [...]» (ф. 1360, оп. 2, ед. хр. 14, л. 8—9).

Рассказывая о своей последней встрече с Маяковским — 12 апреля 1930 года, — Юрин называет этот день (субботу) выходным. Возможно, что этот день был нерабочим в РАППе. В публикуемом ниже отрывке говорится также о лозунге Маяковского, вывешенном в зале Государственного театра им. Вс. Мейерхольда во время премьеры «Бани». Лозунг гласил: «А еще бюрократам помогает перо критиков вроде Ермилова». В. В. Ермилов в то время был одним из самых

яростных противников Маяковского и его пьесы (впоследствии этот критик, не лишенный способностей, но не обремененный моральными принципами, писал о Маяковском хвалебные статьи). Но Юрин ошибается, когда пишет, что члены правления РАПП именно 13 апреля 1930 года убеждали Маяковского снять лозунг, ибо последнее письмо Маяковского (написанное за два дня до самоубийства — 12 апреля) заканчивалось словами: «Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться».

«Незабываемая встреча с Маяковским у меня была 12 апреля 1930 г. в Москве, в Доме Герцена. Я работал в секретариате РАПП инструктором-массовиком. В выходной день я пришел рано утром, чтобы перепечатать на машинке мою новую поэму. Во всем здании не было никого, кроме дежурного внизу. Примерно в 1 час дня мне показалось, что кто-то постучал в дверь. Я не обратил внимания. Постучали сильнее, я открыл дверь и удивился — передо мной стоял Маяковский. Мы поздоровались, и Владимир Владимирович спросил:

— Сутырин еще не приходил?

— Нет, Владимир Владимирович.

— Он мне назначил встречу в час дня. У нас должен быть разговор.

— Нет, не был, да сегодня выходной день, Владимир Владимирович, навряд ли он придет.

— Почему же он назначил мне свидание?— удивился Маяковский.

Я пожал плечами и ничего не мог ответить, но как-то неожиданно для себя механически повернулся, думая о своей поэме, хлопнул дверью, английский замок щелкнул, и Владимир Владимирович остался за дверью, в коридоре. Я даже испугался «щелка» замка и, не пройдя трех шагов, быстро вернулся и открыл дверь. Маяковский стоял против двери, прислонясь спиной к стене. В узком и темном коридоре Дома Герцена стоял молчаливый и большой Маяковский.

В то время никто из нас не знал и не думал о планах поэта, но когда я открыл дверь и увидел Маяковского, стоящего молча в коридоре, я почувствовал, что человеку тяжело, и даже подумал: «В ближайшие дни обязательно нужно поговорить об этом с товарищами». Между нами произошел короткий разговор:

— Извините, Владимир Владимирович.

— Ну, что вы, Юрин!

— Заходите, пожалуйста, в комнату, может быть, Сутырин придет.

— Нет, я пойду.

— Мы можем Сутырину позвонить, Владимир Владимирович.

— Не нужно, если придет, скажите, что я зайду завтра.

Маяковский повернулся и грузно зашагал по коридору. Я проводил его до лестницы, простился с ним за руку, но мое лицо горело от стыда за поступок.

Днем 13 апреля Маяковский зашел в РАПП. У меня была молодежь с производства. Владимир Владимирович прошел мимо моего стола и сел на подоконник. Кто-то из членов секретариата говорил с ним о снятии плаката, вывешенного в театре Мейерхольда, где шла его пьеса «Баня». На плакате Маяковский дал лозунг, в котором высмеивал критика т. Ермилова. Владимира Маяковского просили, увещевали, ему доказывали, что он теперь член РАПП⁶ и ему неудобно высмеивать своих товарищей. Владимир Владимирович не сразу согласился с доводами, но потом подошел к телефону, позвонил в театр и распорядился лозунг снять. Очевидно, об этом Маяковский писал в предсмертном письме: «Жалею, что не доругался с Ермиловым».

14 апреля между 10—11 часами в РАПП позвонили. Я взял трубку, и чей-то взволнованный голос сообщил о смерти Маяковского» (там же, л. 15—16).

Наталья Федоровна Рябова познакомилась с Маяковским в Киеве в 1924 году на одном из его выступлений. В 1940 году она написала небольшие воспоминания о поэте (см. ф. 336, оп. 8, ед. хр. 15), не содержащие каких-либо значительных фактических или психологических наблюдений. Но в них есть новая, ранее не известная, дата выступления Маяковского в Киеве — 30 января 1926 года, что подтверждается датированной запиской Маяковского Рябовой (там же, ед. хр. 10, л. 5).

Наталья Борисовна Хмельницкая — автор воспоминаний, написанных уже в 1940-е годы. В них рассказывается о дружбе с Маяковским в период 1926—1929 годов, о выступлениях поэта в Харькове, на которых Хмельницкая присутствовала — сначала школьницей, позднее студенткой. Есть в ее воспоминаниях и некоторые бытовые подробности, не лишённые интереса, но это и пример той возможной субъективности, пристрастности автора, о которой мы говорили выше. Например, Хмельницкая вспоминает: «После одного из своих выступлений Владимир Владимирович вернулся домой поздно.

Был час, когда отдыхающие, равно как и администрация гостиницы, погружены в сон и ворота на запоре. Владимир Владимирович постучался несколько раз, никто не открывал. Тогда, не желая поднимать шум, Владимир Владимирович перелез через забор, что при его росте не было слишком затруднительным, прошел тихо к себе. Каким-то образом этот случай сразу стал известен на «Ривьере». Назавтра мне несколько раз пришлось слышать злорадные смешки: «Маяковского-то домой не пускали, пришлось через забор лезть». Я рассказала об этих разговорах Владимиру Владимировичу и сразу же об этом пожалела. Он очень остро реагировал на каждое проявление неприязненного, недружелюбного отношения к себе» (там же, ед. хр. 16, л. 27).

Запись в жалобной книге гостиницы «Ривьера», что хранится в Музее Маяковского в Москве, уточняет воспоминания Хмельницкой. Маяковский записал 27 июля 1929 года: «Вчера, 26-го июля, я возвратился из Гагр с лекции в 2 ч. ночи. Стучал до 3-х часов настолько громко, что приехал конный милиционер от моста, а также проснулись едва ли не все жильцы, кроме служебного персонала и администрации. Милиционер и я влезли через балкон чужого номера и продолжали поиски по гостинице [...]» (Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М., 1985. С. 585).

А вот как будто совсем неожиданное: Нина Николаевна Грин, вдова А. С. Грина, записала по памяти в 1954 году высказывания Александра Грина о Маяковском:

«Черт знает! Непонятен мне этот молодой человек. Начал с футуризма, ходил в желтой кофте с деревянной ложкой в петлице. Это желание прежде всего привлечь к себе широкое внимание, хотя бы и скандальное. Умеет, видимо, из всего извлечь материальную выгоду, даже из рекламы обыкновенной. Стихи сильны, грубы, завоевывает генеральский чин. Не моего представления об искусстве человек. Демагог, политик, — да, сильный и смелый. Нечист в любви, вернее не брезглив. Брак втроем... брр...» Как-то, побывав у Асеева, рассказывает: «Вошел громогласно Маяковский, схватил жену Асеева на руки и носит ее. Меня покорило. Никакому другу не позволил бы этого с тобой, да и ты не допустила бы». После самоубийства Маяковского: «Что-то просмотрел я в этом человеке. Тот извозчик в поэзии, который виделся мне в его лице, не мог бы покончить самоубийством. Значит, была в душе рана, боль, скрывал ее под буйством слов и не выдержал борьбы этой...» (ф. 127, оп. 3, ед. хр. 17, л. 12—13).

В декабре 1923 года заместитель директора тифлисского издательства «Закнига» Василий Абгарович Катанян, приехав в Москву, познакомился с Маяковским. «Бритая голова, очень внимательные умные глаза. Общее впечатление от всего облика — величественное ощущение силы и простоты [...]. Я рассказал Маяковскому, что его переводят и собираются переводить на грузинский и армянский языки» (ф. 2577, новое поступление). С 1926 года между Маяковским и «Закнигой» устанавливаются деловые отношения: заключаются договоры, на страницах газеты «Заря Востока» и отдельными книжками появляются стихи «Сергею Есенину», «Что ни страна, то слон, то львица», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сифилис» и др. В феврале 1926 года Маяковский приезжает в Тифлис, где знакомится с женою В. А. Катаняна — Галиною Дмитриевной. Она страстно любила поэзию, сама писала стихи и одновременно работала журналисткой. Последние четыре года жизни Маяковского прошли в близкой дружбе с семьей Катанян.

В 1962 году Галина Дмитриевна написала воспоминания под названием «Азорские острова», в которых много внимания уделяется Маяковскому. К. И. Чуковский так оценил их: «Пишете ли Вы о светлом и радостном, [...] пишете ли Вы о трагически-мрачном, Вы всюду изящны, умны, поэтичны. Вы были достойной его современницей...» (ф. 2577, новое поступление).

Воспоминания затрагивают очень трудный период в жизни и творчестве Маяковского, в его взаимоотношениях со своей семьей, с близкими. О Маяковском пишет друг, и мы все время это чувствуем.

Вот некоторые фрагменты этих неопубликованных мемуаров.

1 марта 1926 года в Тифлисе в театре им. Руставели состоялось второе выступление Маяковского. Он делал доклад «Лицо литературы СССР». Г. Д. Катанян вспоминает:

«Он читает много, долго. Публика требует, просит. После «Левого марша», который он читает напоследок, шум, крики, аплодисменты сливаются в какой-то невероятный рев. Только когда погашены все огни в зале, темпераментные тифлисцы начинают расходиться.

После театра целой компанией, на фаэтонах, едем ужинать к художнику Кириллу Зданевичу.

За столом я сижу рядом с Владимиром Владимировичем. Он устал, молчалив, больше слушает, чем говорит. Лицо

его бледно. Грустный жираф смотрит на нас со стены, увешанной картинами Нико Пирсманишвили.

Молодой красивый Николай Шенгелая произносит горячий тост. Он говорит о поэзии, читает стихи, пьет за «сына Грузии Владимира Маяковского».

Маяковский слушает серьезно. Медленно наклонив голову благодарит:

— Мадлобс... Мадлобели вар...

...Утомленная этим длинным, сияющим, полным таких ошеломляющих впечатлений днем, я не принимаю участия в шуме, который царит за столом.

— О чем вы думаете, Галенька? — внезапно спрашивает меня Маяковский.

Я думаю о том, что последние строки стихотворения «Домой», которые еще звучат у меня в ушах, какой-то своей безнадежностью, грустью перекликаются с поэзией Есенина⁷.

Я говорю ему это.

Он долго молчит, глядя перед собой, поворачивая своей большой рукой граненый стакан с красным вином. Потом говорит очень тихо, скорее себе, чем мне:

...и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза⁸.

— Вот с чем перекликаются эти строки, детка [...].

26 декабря 1928 г.

МЕЙЕРХОЛЬД СЛУШАЕТ «КЛОПА»

В маленькой столовой на Гендриковом переулке происходит чтение «Клопа». Владимир Владимирович читает в первый раз пьесу Мейерхольду.

Маяковский сидит за обеденным столом, спиной к буфетнику, разложив перед собою рукопись. Мейерхольд — рядом с дверью в Володину комнату, на банкеточке. Народу немного — Зинаида Райх, Сема с Клавой⁹, Женя¹⁰, Жемчужный, мы с Катаняном, Лиля и Ося.

Маяковский кончает читать. Он не успевает закрыть рукопись, как Мейерхольд срывается с банкетки и бросается на колени перед Маяковским.

— Гений! Мольер! Мольер! Какая драматургия!

И гладит плечи и руки наклонившегося к нему Маяковского, целует его.

Театр Мейерхольда находился под угрозой закрытия из-за отсутствия в его репертуаре современных пьес. В одном из юмористических журналов вскоре — я помню — появилась карикатура — громадный клоп открывает ключом замок на двери театра Мейерхольда.

30 декабря 1929 г.

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Афиши выступлений Маяковского за двадцать лет расклеены даже на потолке в столовой — не поместились на стенах комнат. Обеденный стол куда-то вытащен.

Друзья празднуют двадцатилетний юбилей [работы] Владимира Маяковского.

Пришли Штеренберги, Денисовский, Асеевы, Кирсановы, Жемчужные, Незнамов, Каменский, Степанова, Родченко, Яншин с Полонской, Наташа, Горожанин, Назым Хикмет, Гринкруг, Кассиль¹¹... Народу человек сорок, просто непонятно, как мы все помещаемся в маленьких комнатках.

Приезжают Мейерхольд с Зинаидой Райх. До этого он прислал две корзины театральных костюмов и париков. Мы все наряжаемся кто во что горазд. Всеволод Эмильевич легко движется среди костюмированных. Клаvoyчка Кирсанова из стриженной блондинки превращается в длиннокосую брюнетку. Я щеголяю в белокуром парике.

— О, что вы, — огорченно говорит Мейерхольд, глядя на меня. Его узкие сухие руки летают вокруг моей головы. Он снимает парик и украшает меня зеленой шелковой чалмой с длинным хвостом.

— Тициан! — говорит он удовлетворенно и отходит.

...Юбиляра вводят в столовую и усаживают посреди комнаты. Он немедленно переворачивает стул спинкой к себе и садится верхом. Лицо у него насмешливо-выжидающее.

Хор исполняет кантату с припевом:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора,
От всех друзей московских
Ура! Ура! Ура!

Произносится несколько торжественно-шутливых речей. Под аккомпанемент баяна, на котором играет Вася Каменский, я пою специально сочиненные Кирсановым частушки:

1

Кантаты нашей строем крик,
Кантаты нашей строем крик,
Наш запеваля Ося Брик,
Наш запеваля Ося Брик!

Рефрен:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора,
От всех друзей московских
Ура! Ура! Ура!

2

И Лиля Юрьевна у нас,
И Лиля Юрьевна у нас
Одновременно альт и бас,
Одновременно альт и бас!

Рефрен

3

Асеев Коля, пой со мной,
Асеев Коля, пой со мной:
«Оксана кузлик записной,
Оксана кузлик записной»*.

Рефрен

4

Здесь Мейерхольд и не один,
Здесь Мейерхольд и не один,
С ним костюмерный магазин,
С ним костюмерный магазин!

Рефрен

5

Варвара с Родченкой поет,
Варвара с Родченкой поет,
Она как флейта, он — фагот,
Она как флейта, он — фагот.

Рефрен

Затем Фиалка Штеренберг¹² в коротеньком платьице, с бантом в волосах, подносит свиток поздравительных стихов, перевязанный ленточкой, — от подрастающего поколения. Разыгрываются шарады из Володиных стихов.

Выходят Асеев с Ксаной и усаживаются рядом.

«Маленькая, но семья».

Наташа вносит из передней ботики и делает вид, что снимает с них что-то. Никто не может догадаться. Оказывається:

* «Кузлик» — шутовское прозвище Оксаны Асеевой. (Примеч. авт.)

— Ну, это что-то глубоко личное, — говорит Лиля.

Она сидит на банкеточке рядом с человеком, который всем чужой в этой толпе друзей. Это Юсуп — казах с красивым, но неприятным лицом, какой-то крупный партийный работник из Казахстана. Он курит маленькую трубочку, и Лиля изредка вынимает трубочку у него изо рта, обтерев черенок платочком, делает несколько затяжек. Юсуп принес в подарок Володе деревянную игрушку — овцу, на шее которой висит записочка с просьбой писать об овцах, на которых зиждется благополучие его республики. Маяковский берет ее не глядя и кладет отдельно от кучи подарков, которыми завален маленький стол в углу комнаты.

Очень пестро, шумно, весело. Толкаясь, мы танцуем во всех комнатах и даже на лестничной площадке.

Веселятся все, кроме самого юбиляра. Маяковский мрачен, очень мрачен. Лиля говорит вполголоса:

— У Володи сегодня *le vin triste**.

Лицо его мрачно даже когда он танцует с ослепительной Полонской в красном платье, с Наташей, со мною... Видно, что ему не по себе.

Невесел и Яншин. Он как стал с самого начала вечера спиной к печи, так и стоит все время угрюмо, не двигаясь, с бокалом в руках.

Уже много выпито шампанского, веселье достигает апогея. Володя сидит один около стола с подарками и молчаливо пьет вино. На минуту у меня возникает ощущение, что он какой-то очень одинокий, отдельный от всех, что все мы ему чужие.

Кто-то просит его прочесть стихи, мы все присоединяемся к этой просьбе. Он встает нехотя, задумывается. Читает «Хорошее отношение к лошадям». Потом начинает «Историю про бублики», но на половине стихотворения бросает.

И больше ничего не хочет читать.

...Сон сваливает меня на тахте в Осинной комнате, куда я забежала на минутку отдохнуть.

Когда я просыпаюсь — ночь прошла, уже светает, тихо, часть гостей, должно быть, разъехалась. Выйдя из Осинной комнаты, я вдруг сталкиваюсь с Пастернаком, который вы-

* Грустное вино (фр.).

скакивает из столовой с отчаянным, растерянным лицом. Его не было среди приглашенных, очевидно, он приехал под утро, когда я спала. Он смотрит на меня невидящими глазами и выбегает без шапки, в распахнутой шубе в раскрытую дверь передней. За ним устремляется Шкловский, которого тоже не было в начале вечера и который, как выяснилось, приехал вместе с Пастернаком.

В столовой странная тишина, все молчат. Володя стоит в воинственной позе, наклонившись вперед, засунув руки в карманы, с закушенным окурком.

Я понимаю, что произошла ссора.

Вот список гостей, которые были на вечере. Часть народу помню я, часть напомнила Н. Брюханенко, кого-то я нашла в списке, составленном Лилей Юрьевной.

Л. и О. Брик, Брюханенко, Г. и В. Катанян, Н. и О. Асеевы, С. и К. Кирсановы, Мейерхольд и Зинаида Райх, Давид, Надя и Фиалка Штеренберг, Л. Гринкруг, П. Незнамов, Е. и В. Жемчужные, Степанова и Родченко, Юсуп, В. Полонская, Яншин, З. и Б. Свешниковы, В. Каменский, С. и О. Третьяковы, Назым Хикмет, Кассиль, Л. Краснощёкова, Л. Кулешов, А. Хохлова, Горожанин, Я. и В. Аграновы, Н. Денисовский, А. Кручёных, Лавут с женой, Малкин.

Под утро приехали Пастернак и Шкловский» (ф. 2577, новое поступление).

В. А. Катанян в своих мемуарах «Не только воспоминания» пишет о вечере 30 декабря 1929 года в доме на Гендриковом: «И вот поздно, совсем уже поздно, появляется вдруг Пастернак. Многие уже разошлись. Уехали Мейерхольды, Асеевы... Я ничего не помню — ни спора, ни ухода, ни самого появления [...]. По словам Кассиля, Маяковский будто бы сказал: «Нет, пусть он уйдет. Так ничего и не понял...» (ф. 2577, новое поступление).

Там же Василий Абгарович Катанян рассказал о конфликте В. Б. Шкловского с левовцами на одном из «вторников» в Гендриковом переулке: «Говорили о каком-то игровом фильме, Жемчужный и Осип Максимович довольно резко критиковали его. И вдруг выяснилось, что Шкловский принимал участие в сценарии этой картины [...]. Он стал грубо огрызаться. Тихий и скромный Виталий [Жемчужный] удивился и промолчал. Тогда Лиля Юрьевна предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой игровой сценарий. Шкловский неожиданно подскочил, как ужаленный, и закричал: «Пусть хозяйка занимается своим делом — разливает чай, а не рассуждает об искусстве!»

Одна из глав посвящена В. А. Катаняном сложным, противоречивым отношениям Пастернака и Маяковского, Пастернака и Лефа.

«Начало отношений двух поэтов описано блистательной прозой «Охранной грамоты». Яркость восторгов и продуманность запечатленных деталей первых встреч в ретроспективном описании, сделанном уже после Маяковского, утверждает сегодня не увидевшая тогда света рецензия Пастернака на «Простое как мычание»¹³. Она начиналась словами: «Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский...» — и кончалась такой картиной (за месяц до революции!): «Он подходит к поэзии все проще и все уверенней, как врач к утопленнице, заставляя одним уже появлением своим расступиться толпу на берегу. По его движениям я вижу, он живо, как хирург, знает, где у ней сердце, где легкие; знает, что надо сделать с ней, чтобы заставить ее дышать. Простота таких движений восхищает. Не верить в них нельзя».

Влюбленность не была односторонней. «Прочтя ему первую стихи из «Сестры»¹⁴, я услышал от него вдсятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать». Эту книгу Маяковский хотел выпустить в издательстве ИМО — «Искусство молодых» в 1919 году, за три года до ее выхода. Он называл Пастернака среди образцов «новой поэзии, великолепно чувствующей современность»*.

«В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, — вспоминала Лиля Юрьевна, — не переставал говорить о том, какой он изумительный «заморский» поэт. С Асеевым Маяковский был близок. Мы часто читали его стихи друг другу вслух. В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблен, он знал его наизусть».

Но, как говорит та же «Грамота», — «любви без рубцов и жертв не бывает». Борис Леонидович вспоминает, как он в тесном кругу услышал прочитанные Маяковским «150 000 000». «И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего понимания».

Что же произошло? Конечно, поэма «150 000 000» могла и совсем не понравиться. Не нравилась она, как известно, Ленину («Вздор, глупо, махровая глупость и претенциоз-

* Театральная Москва. — 1921. — № 8 [С. 6.] (Примеч. авт.)

ность»)*¹⁵. И рапповцы считали, что это не наш, не диалектико-материалистический показ коллектива**.

У Пастернака, разумеется, были другие претензии к первой революционной поэме Маяковского [...].

Будем искать причины в глубоком различии мироощущений, приводящем одного к активной безоговорочной рукопашной готовности, другого к рефлексивной, созерцательной, внимающей, воспринимающей надмирности [...].

— Ваши стихи все-таки еще стихи, — сказал как-то Маяковский Пастернаку. Он хотел большего. Он был уверен, что делать нужно так, как раньше не знали, не могли, не умели.

Эти новаторские устремления при всей исключительной оригинальности раннего Пастернака были далеки от него [...].

Антиноваторские вкусы Пастернака ограничивали его интересы, скажем, в музыке — Скрябиным, в живописи — Серовым и Леонидом Пастернаком. Все дальнейшее — он считал — кривлянье и шарлатанство. Маяковский был целиком повернут к искусству сегодняшнего и завтрашнего дня «И только у этого новизна времен была климатически в крови», — как удивительно сказал о Маяковском не кто другой, как Пастернак.

Противопоставлений может быть очень много, в разных плоскостях. Я перечел замечательную статью Марины Цветаевой о двух поэтах, где они в сравнении противопоставляются друг другу десятки раз и ни разу не сближаются (если не считать, что тот и другой являют собой, по выражению Цветаевой, «цельное, полное чудо поэта»¹⁶).

И все-таки они любили друг друга!

После первой встречи, как говорит «Охранная грамота»: «Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем». И дальше: «Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт».

Магнетическое поле поэзии и личности Маяковского, широкий мир современных интересов, который кипел вокруг него, притягивал к себе и после того, как, по словам Бориса Леонидовича, ему нечего было сказать Маяковскому, слушая его стихи. Встречи продолжались (что-то он, очевидно, все же говорил!) и в Полуэктовом переулке на Остоженке, и в Водошняном переулке на Мясницкой, и в Гендриковом на Таганке.

Содружество поэтов, литераторов, художников, о кото-

* Записка Ленина Луначарскому. (Примеч. авт.)

** Творческая дискуссия в РАППе. — 1930. (Примеч. авт.)

ром Шкловский когда-то сказал: «Нас складывать нельзя — мы числа именованные», — все-таки от сложения выигрывало, оно числило в себе и Пастернака.

Есть фотография, где локоть тяжелой руки стоящего Маяковского лежит на плече Пастернака. И есть фотография, где Пастернак обнимает Осипа Максимовича.

Есть рукопись «Сестра моя жизнь», от первой до последней строчки переписанная Борисом Леонидовичем для Лили Юрьевны. Она, конечно, сохранилась. И еще были хранимы стихи и отрывки «Спекторского» — напечатанные и не напечатанные¹⁷...

Не сохранился, но известен экземпляр «Сестры» со стихотворением Пастернака, обращенным к Маяковскому¹⁸:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над трапом любого стиха.

Холщовая буря палаток
Раздулась гудящей Двиной
Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен.
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Это, разумеется, не лефовская точка зрения, не первое и не последнее высказывание в этом роде против Маяковского, и все же это можно считать — внутри Лефа.

В небольшом декларативном сочинении «Наша словесная работа»¹⁹ Маяковский и Брик характеризовали Пастернака в «Лефе»: «Применение динамического синтаксиса к революционному заданию». С. Третьяков был более ироничен, говоря о «комнатном воздухоплавании на фок-рее синтаксиса».

Пастернак сотрудничал в «Лефе» и «Новом Лефе» — до середины 1927 года. И вряд ли случайно, что «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» относятся именно к этому

времени. «На этой вещи учиться надо,— говорил Маяковский о «Шмидте». — Это тоже завоевание Лефа»²⁰.

Помню, как в начале 1927 года на одном из лефовских собраний Борис Леонидович появился с пачкой книг, которые он отнес в каяту Осипа Максимовича.

— Вот!

У него был довольный вид, как у студента, который, закончив семестр, может подальше отодвинуть книги, те, что больше не понадобятся. Это были разные материалы о 1905 годе, начиная с писем П. П. Шмидта...

Вообще в 1926 году Борис Леонидович был частым гостем на Гендриковом. Помню его и на учредительном собрании «Нового Лефа» в сентябре, и на менее многолюдных собраниях [...].

В середине 1927 года имя Пастернака перестало появляться в списке сотрудников «Нового Лефа». Стереотипно повторяющееся объявление о подписке... под редакцией... при участии... впервые в № 6 вышло без Б. Л. Пастернака.

Сейчас многое прояснилось в истории его выхода из «Лефа», хотя еще не все и не до конца. Так, например, где письмо Бориса Леонидовича в редакцию «Лефа», написанное летом 1927 года? Не уточнено — какое отношение к этому делу имел В. П. Полонский, обрушивший на «Новый Леф» серию статей в «Известиях» и «Новом мире» как раз в это время²¹. Статьи были очень грубые, заушательские. Приложив последовательно всех лефовцев, Полонский сделал исключение для одного Пастернака — «но какой же Пастернак футурист?!»

Вспыхнула жестокая полемика, в которой у сторон были далеко не равные возможности. Помню рассказ Маяковского, как, будучи в Одессе, он поинтересовался у одного местного книжника — как реагирует публика на эту дискуссию, — и тот, не зная, с кем говорит, равнодушно резюмировал:

— Что вы, гражданин, какая у нас может быть дискуссия? Это все одна лавочка...

Но дискуссия все-таки была, и стоила она Маяковскому порядком и времени, и нервов.

Несколько лет назад было опубликовано письмо Пастернака Полонскому от 1 июня 1927 года*. Оно показывает, что в этой дискуссии Пастернак был целиком на стороне нападавшего и даже предварительно сообщал ему о содержании письма, с которым собирался обратиться к Маяковскому.

«...Таким, каким Вы получились у Полонского,— писал (или собирался писать) Пастернак Маяковскому,— и должен

* Новый мир.— 1964.— № 10.— С. 195[—196]. (Примеч. авт.)

выйти поэт, если принять к руководству лефовскую эстетику, лефовскую роль на диспутах о Есенине, полемические приемы Лефа, больше же и прежде всего лефовские художественные перспективы и идеалы. Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существование Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестаю интересоваться».

Не стоит сегодня гадать — как эмоционально реагировали бы тогда лефовцы, получив такое письмо. Прочитанное сегодня, оно прежде всего удивляет.

Неужели для того, чтобы один большой поэт мог объясниться с другим, нужен был такой ничтожный толмач, как В. Полонский?! Что Борис Леонидович приветствовал и поддерживал? Какой «метод доказательства»? Что Полонский доказал?

Никаких «лефовских теоретических положений» и «лефовской эстетики» Полонский не исследовал и считал своей главной задачей ударить по «разнузданности» и «самомнению», которые, как он думает, в литературе «должны быть выжжены каленым железом».

И он ударял по «краеугольному» Маяковскому — не как поэту, который сделался жертвой неких лефовских теорий и идеалов, а просто по Маяковскому, по всему его творчеству, начиная с самых первых строк, не стесняясь в выражениях, не лазая в карман за грубым словом.

«...Гениальничанье, бахвальство, пристрастие к «буму», болезненная страсть привлекать внимание преимущественно скандальными средствами, беззастенчивость, наигранный титанизм, постоянная ходульность, желание поместиться на головах своих ближних, попирая их сапожищами...»

О книге «Все сочиненное Маяковским», то есть о всем, сочиненном Маяковским с 1912 по 1919 год, кончая «Левым маршем», — «литературный памятник, воздвигнутый богемой. Наша литература не имеет другого образца, в котором столь же пышно был бы отражен облик гениальничавшего богемца, крикуна и нигилиста»²².

Речь идет о том самом Маяковском, о тех самых стихах, которые Пастернак (как говорит «Охранная грамота») «слушал не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание...», «был без ума...», «боготворил...» и т. д. [...]

Вот таким получился поэт Маяковский у Полонского, но не в проекции, «если принять к руководству лефовскую

эстетику», как говорит в письме Борис Леонидович, а в ретроспекции — до появления на свете какого бы то ни было Лефа.

Легко представить себе степень раздражения и отталкивания Пастернака от лефовских теорий и публицистических лозунгов. Но не до такой же степени, чтобы обниматься с Полонским! Чтобы одобрить его «метод доказательств» в этой свалке-полюемике, далекой от всякой поэзии [...].

Полно! Да посылал ли Борис Леонидович это письмо Владимиру Владимировичу? Может быть, мы читаем сегодня тот вариант, который был послан В. Полонскому, а Маяковскому пошел на размышлениям совсем другой?

Конечно! Конечно! Именно так и было. Письмо, посланное почти через два месяца, носит совсем другой характер*. Там уже нет ни слова о Полонском и адресовано оно не Маяковскому, а

«Редакционному коллективу Лефа.

Несмотря на мое устное заявление об окончательном выходе из Лефа, сделанное на одном из майских собраний, продолжается печатание моего имени в списке сотрудников. Такая забывчивость предосудительна. Вашему коллективу прекрасно известно, что это было расставание бесповоротное и без оговорок. В отличие от зимнего тотчас по моем ознакомлении с первым номером, когда собранию удалось уговорить меня воздержаться от открытого разрыва и удовольствоваться безмолвной безучастностью к условной видимости моего участия. Благоволите поместить целиком настоящее заявление в вашем журнале.

Борис Пастернак.

26.7.27 г.».

Нет, Леф не «благоволил поместить»... По всей видимости, по той простой причине, что не хотел вступать в полемику с Пастернаком применительно к этому недружественному письму. А напечатать его и оставить без возражений толкование товарищеских разговоров на редакционном собрании как чуть не насилие, совершенное над ним («удалось уговорить...»), — тоже, думаю, не хотел. Леф был свободным содружеством людей искусства, сбитым не организационными обручами, а прежде всего общими взглядами в искусстве, которые взаимно познаются, изменяются и шлифуются в

* Письмо это существует в виде списка, сделанного сотрудником Библиотечно-музей Маяковского с оригинала, бывшего когда-то в музее (?) и потом исчезнувшего (?). Я его никогда не видел. [Опубли.: Литературное наследство. Т. 93. С. 697]. (Примеч. авт.)

разговорах (уговорах?). В тесном переплетении с этими взглядами обсуждались, конечно, и вопросы политической и идейной ориентации. В какой-то момент эти взгляды в сумме или в частностях перестали устраивать Пастернака.

История повторяется: «Я еще раз сегодня с полнейшим дружелюбием буду находить у нас в редакции пути для уговора Вас», — писал когда-то Маяковский Чужаку²³. Нет и нет! — сердился Пастернак. — И напрасно уговаривали!

Может быть, и напрасно... Но ни Маяковский, ни его друзья по Лефу тем не менее не хотели полемикой углублять ров, который старательно рыл Пастернак, желая отделиться от них.

И хотя в поздней своей автобиографии Пастернак говорит: «Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его»²⁴, — думаю, что в действительности это письмо не вызвало со стороны Маяковского такой реакции. Никакого взрыва не последовало.

Об этом можно судить хотя бы по распространенной дружелюбной, можно сказать, декларативно дружелюбной надписи Пастернаку на первом издании поэмы «Хорошо!» (т. е. не раньше октября): «Борису Вол с дружбой, нежностью, любовью, уважением, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и пр., и пр., и пр.»²⁵.

Эта надпись говорила о многом. Она как бы подытоживала отношения за полтора десятка лет, может быть для какого-то объяснения, за которым начнутся новые. Она говорила о готовности продолжать их, о наибольшем благоприятствовании, которое неизменно, о том, какими преимуществами авансом располагает высокая договаривающаяся сторона в предстоящих переговорах.

Но готов ли был Пастернак тем же встретить своего друга-противника?

Встреча эта была в первых числах апреля 1928 года. Видимо, о ней речь идет в той же автобиографии Бориса Леонидовича: «Однажды во время обострения наших разногласий у Асева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге» [...].

После этой встречи Борис Леонидович написал письмо, адресованное: «В. В. Маяковскому (лично). Таганка, Воронцовская, Гендриков пер., д. 15, кв. 5. Здесь». Вот оно целиком:

«4. [IV]. 28.

Наш разговор не был обиден ни для Вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку (и ее за Вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход — переход и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете?!), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знания трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня?

— Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда на приснившейся позиции. —

Я сделал эту попытку заговорить с Вами потому, что все эти дни думал о Вас. Зачем Вы выдумали, что летнее письмо я писал Вам? Вам? Вы его держите у себя, как получатель? И я Вам поверю? Нет, простите меня, Вы сами давно доказали мне, что с адресатами не произошло недоразумения. Если бы Вы хоть минуту считали, что оно обращено к Вам, Вы бы его напечатали, как я об этом просил. Вы бы это сделали из гордости. Но Вы прекрасно знаете, что это не Вы его скрыли и о нем умолчали, как и получали его не Вы.

Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год.

— И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? При том как похоже на меня, не правда ли? Ведь у Вас люди с общественной жилкой, бывают на собраниях, в театрах, издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Леф, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять.

Б. П.»

Атмосфера и результаты «объяснения» возникают из письма достаточно отчетливо. То, что предлагал Маяковский Пастернаку, мы знаем. Но что хотел Пастернак, противопоставляя себя обществу, которое окружало и притягивалось Маяковским? Отвергнуть всех и не поссориться с од-

ним Маяковским? Но, вероятно, он и сам понимал, что такое быть не может, что тем самым он отталкивается и от Маяковского и что так выбирать нельзя [...].

Пастернак же в одной анкете 1928 года так объяснил свое отношение к Лефу, с которым, по его словам, «никогда ничего не имел общего». «Леф удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, т. е. угнетающим сервизмом, т. е. склонностью к буйствам с официальным мандатом на буйство в руках»²⁶.

И тут же приписал *Post scriptum*: «Я написал это с налета и не для цитат».

Прошло сорок лет, и что же теперь с этим делать, как не напечатать?..»

Вернемся к воспоминаниям Г. Д. Катанян «Азорские острова».

«8 апреля 1930

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Последний раз я видела Владимира Владимировича 8 апреля в клубе писателей, на просмотре «Земли» Довженко.

Стоя у стены рядом с Клавой Кирсановой, заложив руки за спину, он хмуро слушал оживленно-говорливую Клаву.

Мы с Васей уходили и подошли попрощаться. Держа мою руку в своей, он попросил:

— Приехали бы с Катаняном завтра ко мне обедать...

Почему-то мы не могли, поблагодарили, отказались. Он вздохнул и выпустил мою руку:

— Ну, что ж, прощайте.

Больше живым я его не видела.

ЛИЛЯ

Когда меня спрашивают о Лиле Юрьевне — хороший она или плохой человек, я всегда отвечаю — разный.

Глупо изображать ее злодейкой, хищницей, ловкой интриганкой, как это делают многие мемуаристы, не понимая, что этим они унижают Маяковского. Она сложный, противоречивый и, когда захочет, обаятельный человек. В чем-то она была вровень с Маяковским — по уму во всяком случае. Я не слыхала от нее ни одного банального слова, и с нею всегда было интересно.

Она очень щедрый и широкий человек. У нее безукоризненный вкус в искусстве, всегда свое собственное, самостоятельное, ни у кого не взятое и не вычитанное мнение обо всем,

необычайное чутье на все новое и талантливое. Недаром даже сейчас, в ее 80 с лишним лет, ей приносят на суд свои стихи такие поэты, как Слуцкий, Вознесенский, Соснора... Она безошибочно угадала в молодой дебютантке великую балерину Плисецкую, а после первых же кадров все поняла о Параджанове... До конца дней в ее доме бывали талантливые, остроумные люди — и наши, и со всего света.

У нее ироничный и скептический ум. Очень мало кого из людей она уважает.

Мне было двадцать три года, когда я увидела ее впервые. Ей — тридцать шесть.

В этот день у нее был такой тик, что она держала во рту костяную ложечку, чтобы не стучали зубы.

Первое впечатление — очень эксцентрична и в то же время очень «дама», холеная, светская и — Боже мой! — да ведь она же некрасива. Слишком большая для маленькой фигуры голова, сутулая спина и этот ужасный тик...

Но уже через секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась мне. Все лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с крупными, миндалевидными зубами, сияющие, теплые, ореховые глаза. Маленькие ножки, изящной формы руки. Вся какая-то золотистая и бело-розовая.

В ней была «прелесть, привязывающая с первого раза», как писал Лев Толстой о ком-то в одном из своих писем.

Если она хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого очень легко. А нравиться она хотела всем — молодым, старым, женщинам, детям... Это было у нее в крови.

И нравилась.

Власть Лили над Маяковским всегда поражала меня. Она говорила мне, что из пятнадцати лет, прожитых вместе, пять последних лет они не были близки.

В архиве Маяковского, что я перепечатывала, была записка Лили, в которой Лиля писала Володе, что, когда они сходились, они обещали сказать друг другу, когда разлюбят. Лиля пишет, что она больше не любит его. И прибавляет, что едва ли это признание заставит его страдать, так как и он сам остыл к ней.

Вероятно, это так и было, потому что на моих глазах он был дважды влюблен, и влюблен сильно. Тем не менее я сама слышала, как он говорил: «Если Лилечка скажет, что нужно почью, на цыпочках, босиком по снегу идти через весь город в Большой театр, значит, так и надо».

Шкловский был изгнан из дома за то, что осмелился сказать Лиле на редакционном совещании Лефа, которое прохо

дило в Гендриковом: «Я просил бы хозяйку дома не вмешиваться в редакционные дела».

Только его и видели.

Власть Лили над Маяковским... Летом 1927 года Владимир Владимирович был в Крыму и на Кавказе с Н. Брюханенко. Это были отношения обнародованные; и все были убеждены, что они поженятся.

Они не поженились.

Объяснение этому я нашла в 1930 году, когда разбирала архив Маяковского. С дачи в Пушкино, в разгар своего романа с одним известным кинорежиссером, Лиля писала:

«Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого [...]».

Фраза так поразила меня, что я запомнила ее почти дословно. (А недавно я прочла это письмо опубликованным в полной «Переписке В. Маяковского и Л. Брик» [Стокгольм. 1982] и поняла, что запомнила я эту фразу не «почти» дословно, а дословно.)»

Вот запись Г. Д. Катанян об одном дне лета 1927 года в Пушкино:

«На даче тихо, очень тихо. «Никого нет дома, — думаю я, — Владимир Владимирович забыл, что я должна приехать». Но я ошибаюсь. Поднимаясь на террасу, я вижу Владимира Владимировича. Он сидит за столом, на котором кипит самовар и расставлена всякая снедь. Рядом с ним девушка, моя ровесница.

Маяковский поднимается мне навстречу.

— А, Галенька...

Здороваясь с ним, я не свожу глаз с девушки. Такой красавицы я еще не видала. Она высокая, крупная, с гордо посаженной маленькой головкой. От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, румяная, белозубая улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блуза с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой. Этакая Юнона в комсомольском обличье.

— Красивая? — спрашивает Владимир Владимирович, заметив мой взгляд.

Я молча киваю. Девушка вспыхивает и делается еще краше.

Маяковский знакомит меня с Наташей Брюханенко и вопросительно смотрит на меня.

Чувствуя, что приехала не вовремя, я начинаю бормотать, что приехала снять дачу...

— Вася говорил, чтоб зайти к вам...

— А, да, да... Сейчас вызову кого-нибудь из хозяев. Садитесь, пейте чай.

Он наливает мне чай, пододвигает хлеб, масло, варенье, но все это делается машинально. По лицу его бродит улыбка, он рассеян, и, выполнив свои хозяйские обязанности, он снова садится рядом с Наташей. И тотчас же забывает обо мне.

На террасе опять воцаряется тишина, в которой слышно жужжание пчел. Пахнет липой, тени от листьев падают на нас. Сначала мне немного неловко, но потом я понимаю, что я не мешаю им, так они поглощены друг другом и тем, что происходит в них.

Я тоже погружаюсь в ленивую тишину этого подмосковного полдня. Мне хорошо опять здесь с ними, смотреть на их красивые, встревоженно счастливые лица. Изредка он спрашивает ее о чем-нибудь, она односложно отвечает... Папироса в углу его рта перестала дымиться, он не замечает этого и так и сидит с потухшей папиросой.

Покрытые легким загаром девичьи руки спокойно сложены на столе. Они нежные и сильные — и добрая, большая, более светлая рука Маяковского ласково гладит их, перебирает длинные пальцы. Бережным плавным движением он поднимает Наташину руку и прижимает ее ладонь к своей щеке.

...По-моему, они даже не заметили, что я ушла.

Пора покончить с легендой о том, что женщины, которых любил Маяковский, не любили его. Любовная переписка Маяковского опровергает это утверждение. Я читала письма Элли Джонс, Т. Яковлевой, Щаденко (М. Денисовой), которые хранил Владимир Владимирович. Часть из них сдана теперь в ЦГАЛИ, часть сожжена Лилей. Откуда взялась эта легенда?

Вот, например, Эренбург в своих воспоминаниях о Яковлевой берет под сомнение ее любовь к Маяковскому. Он пишет, что она отдала ему подаренную ей автором рукопись «Клопа»²⁷.

Если это и было так, то ровно ничего не доказывает.

Маяковский был жив, его рукописи не были редкостью, и сам он настолько не ценил их, что, по напечатании вещи, как правило, уничтожал рукопись. Три варианта «Про это» уцелели случайно. Лиля сидела в столовой, когда услышала, что в комнате Володи что-то тяжело плюхнулось в корзину для бумаг.

— Что это, Володя?

Узнав, что он собирается сжечь рукопись «Про это», Лиля отобрала ее, сказав, что если вещь посвящена ей, то и рукопись также принадлежит ей. Это вовсе не значит, что Лиля любила Маяковского, а Татьяна нет. (Кстати, Яковлева сохранила все письма, записочки и телеграммы Маяковского.)

Просто Лиля понимала, что такое рукопись Маяковского. К любви это не имеет никакого отношения».

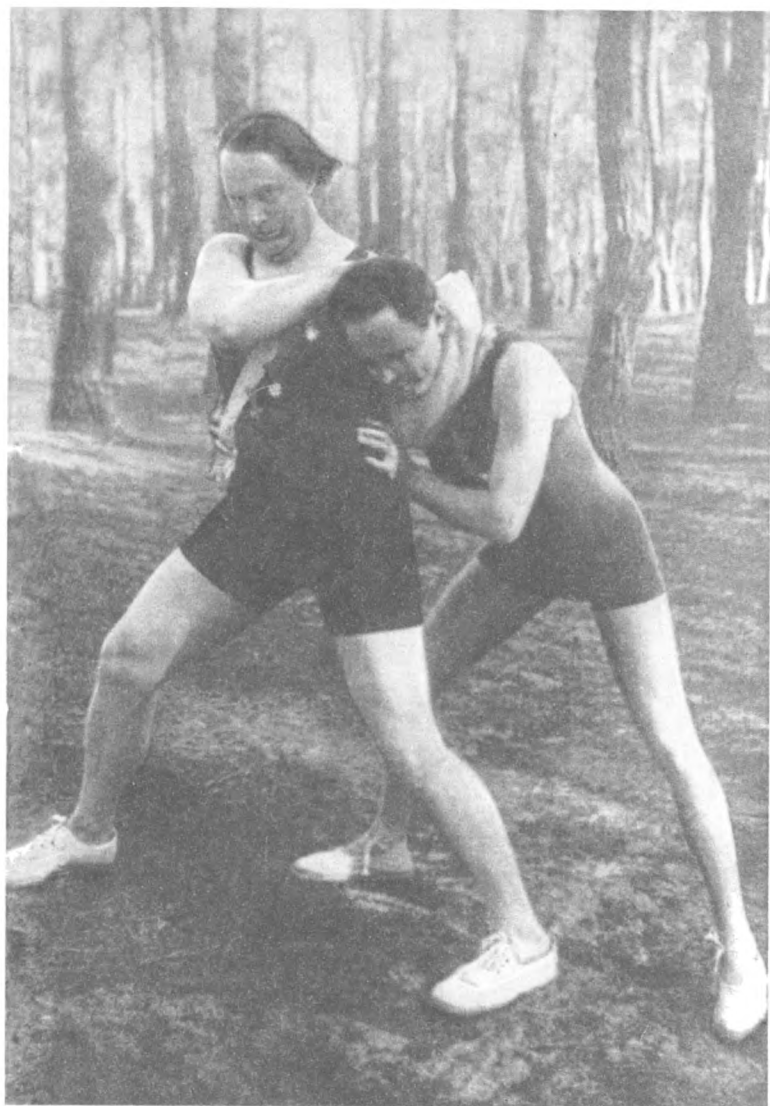
Наверное, объяснение подобным «легендам» о Маяковском нужно искать в его психологическом складе. О. М. Брик, размышляя о Маяковском, говорил: «Не тот человек богат, у которого денег много, и не тот беден, у кого их мало. Богач тот, у кого денег больше, чем ему нужно (нужно три, а есть пять рублей), и нищий тот, у кого их меньше, чем нужно (есть три тысячи, а нужно десять)». У него же записано: «Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мною, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня, как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за меня. Малейшее отклонение, малейшее колебание — уже измена. Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений [...]. По Маяковскому, любовь не акт волевой, а состояние организма, как тяжесть, как тяготение. Были ли женщины, которые его так любили? Были. Любил ли он их? Нет! Он их принимал к сведению. Любил ли он сам так? Да. Но он был гениален...» (по воспоминаниям Л. Ю. Брик — ф. 2577, новое поступление).

А Л. Ю. Брик, человек, прекрасно знавший, понимавший, чувствовавший Маяковского, писала: «Маяковский был ~~одиноком не оттого, что он~~ был нелюбим, непризнан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы домились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого «ненасытный вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит. Ничего не поделаешь!» (там же).

Г. Д. Катанян продолжает:



Ф. И. Шаляпин. Конец 1910-х годов



А. Н. Толстой и Дон-Аминадо. Sables d'Ologne, Франция, 1922 год.



В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Петроград, 1915 год

«Сюжет для снимков выдумывал, конечно, Алексей Николаевич.

— Ты,— обращался он ко мне,— будешь изображать циркового борца легкого веса <...>. Называться ты будешь Джон Пульман, и приехал ты только что из Ирландии. А я нацеплю одиннадцать медалей, золотых и серебряных <...> — и буду называться борец тяжелого веса Иван Дуголомов, чемпион мира и Калужской губернии, понял?..

По ходу действия мы должны были изобразить предельный момент борьбы. Иван Дуголомов пыхтел, сопел, надувался и железным кольцом обхватывал борца легкого веса» (Дон-Аминадо). Поезд на третьем пути. Нью-Йорк: изд. им. Чехова, 1954. С. 268—269)



О. М. Брик и В. М. Примаков. 1930-е годы



Г. Д. Катанян



С. Н. Дурылин. 1920-е годы.

Сегодня мы исполним грусть его
Тем ветром вьветен од мат ссазан
Тасон дон лавон сураа, тавон
Оно с меридот суряккоо асалин

Тавон нодотон дон, тавон другон
Тон сурин нонери доня рашон
Одон тагичутая доня мон
Тоня вурден нодот тавон

Доня к нонесаа, нунитон аванлард
Доня - висатра на горногад верерин
А к дорат - нонон нахотуня нуберин
Ресон со вломон - и нононон мерд

О. лот земля, как нодонне сходен
Под друсти нуня, нонон огранит
О горонд мон, все ден, все ден ссиди
Ке сходит с уст донот негас мон.

Тора Пастернак.

Март 1911.

А. КРУЧЕНЫХ



**Разбойник ВАНЬКА-КАИН
и СОНЬКА МАНИКЮРЩИЦА**

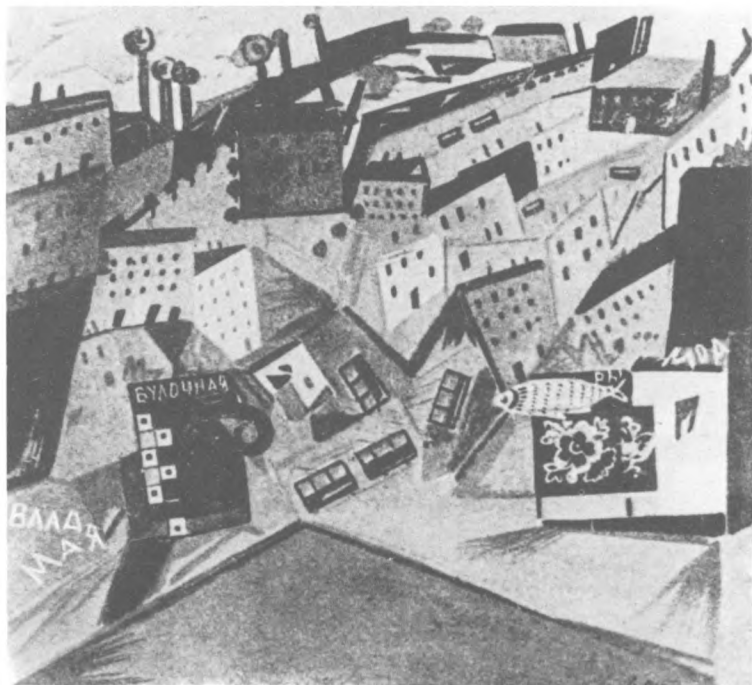
— Издание Всероссийского Союза Поэтов

Москва — 1926

Обложка «Фонетического романа» А. Е. Крученых. Рисунок М. Синяковой



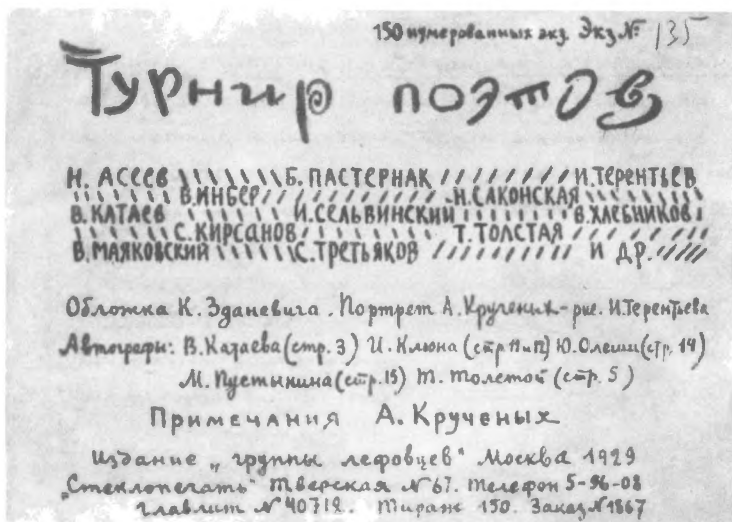
Д. Д. Бурлюк. 1912 год



И. Школьник. Декорация к трагедии «Владимир Маяковский». 1913 год



Слева направо: И. С. Школьник, К. С. Малевич, А. Е. Крученых, М. В. Матюшин, П. Н. Филонов. 1913 год. Сзади — декорация К. Малевича к постановке оперы «Победа над солнцем»



Первая страница брошюры «Турнир поэтов» (Издание «Группы левовцев». М., 1929)

Б. Л. Пастернак. 1946 год



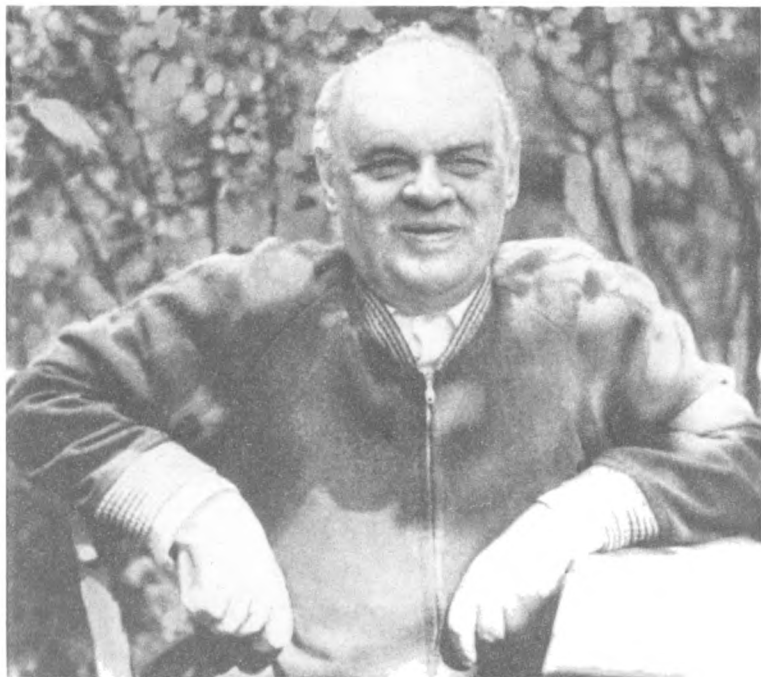
Слева направо: Б. Л. Пастернак, И. Тауфер, А. Е. Крученых. Переделькино, 1948 год



А. Е. Крученых в гостях у В. Б. Шкловского. 1961 год



А. А. Ахматова. Конец 1950-х годов



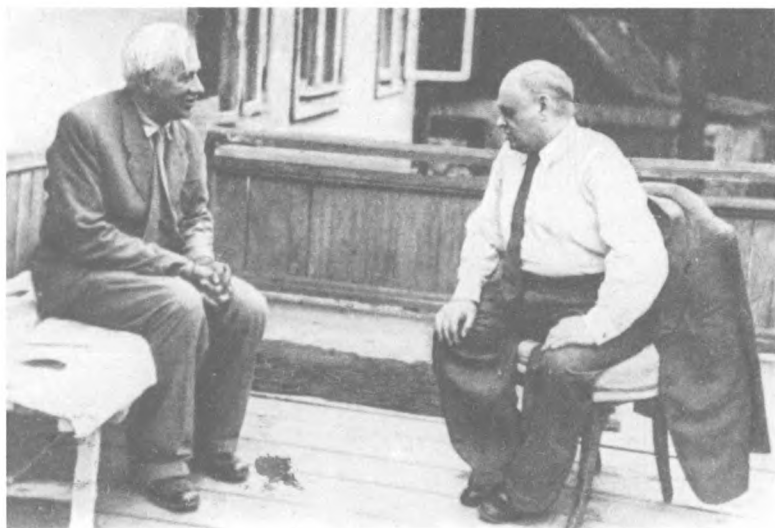
Ю. Г. Оксман. Август 1968 года



М. Л. Слонимский, Ю. Г. Оксман (*сидит второй слева*), во втором ряду М. К. Клеман, С. М. Бонди среди сотрудниц 4-й секции Единого государственного архивного фонда. 1918—1919-е годы



Ю. Г. Оксман с женой, Антониной Петровной, и Т. Г. Сундукян. Лето 1968 года



К. И. Чуковский и Ю. Г. Оксман. Конец 1950-х годов

— Катаняна! Скорее! Скорее!

В истерическом захлебывающемся голосе я с трудом узнаю голос Ольги Третьяковой. Қидаюсь будить Васю. Сонный, он берет трубку. И вдруг я вижу, как с лица его отливает кровь. Серое лицо смотрит на меня остановившимися глазами.

— Что? Боже мой! Что!— в предчувствии какого-то неизмеримого ужаса спрашиваю я, падая на колени.

Вася садится в постели, лицо его кривит похожая на улыбку гримаса. Взявшись обеими руками за ворот, он каким-то нереальным, как в замедленной съемке движением разрывает на себе рубашку.

— Володя застрелился...

Торопясь, плача, он одевается. У нас обоих так трясутся руки, что мы никак не можем завязать на нем галстук. Володя по полу пальто, на ходу натягивая его, бежит он по коридору.

И сейчас же начинает звонить телефон. С непостижимой быстротой разнеслась по городу страшная вестъ. Звонят из редакций, из клубов, звонят знакомые и совсем незнакомые... Чей-то мужской голос торопливо спрашивает:

— Это правда?

И я говорю всем:

— Не знаю...

Я не верю, что он умер. Какая-то слабая надежда на то, что это дикий первоапрельский розыгрыш, еще теплится во мне.

В два часа я еду в Гендриков, куда перевезли его с Политехнического проезда. Дверь открыта настежь, в передней зеркало завешено черным. Хозяев нет: Лиля и Ося за границей, сейчас они в Берлине.

Чужие, совершенно неожиданные люди толпятся в квартире. На подоконнике в Осиной комнате сидит знакомый мне по Тифлису журналист Қара-Мурза, никогда не бывавший в этом доме.

— А у РАППов-то какая паника! С утра заседают. Подумайте — не успел вступить и уже застрелился,— говорит он, подходя ко мне.

Я молча толкаю его в грудь и, ни на кого не глядя, иду в Володину комнату. Он лежит на тахте, прикрытый до пояса пледом, в голубой рубашке с расстегнутым воротом. Ясный свет апрельского дня льется на него.

«Значит, это правда,— думаю я, глядя на молодое, прек-

расное, важное лицо, слегка повернутое к стене.— Это правда. Он умер».

...В распахнутом пальто, в шарфе, сбившемся с волос, стремительно бегает в комнату и падает у его ног Ольга Владимировна.

— Володя! А-а-а-х, что ты сделал, Володя!

Со стоном припадает к брату Людмила Владимировна. Она целует родное лицо, и ее слезы катятся по мертвому лицу Маяковского. Стиснув руки, плача, стоит она над своими младшими. Наклонившись, пытается поднять сестру:

— Оленька, милая, встань... Оленька, подумай о маме...

Но Ольга Владимировна бьется, кричит голосом, так жутко похожим на голос брата.

А я не могу заплакать.

Я сижу там целый день, до вечера, не могу уйти, не отвечаю на уговоры Катаняна. Впрочем, он и сам не в силах уйти отсюда. Приходят, уходят, разговаривают вполголоса люди, а я все смотрю и смотрю на это, уже потустороннее лицо...

Смертельно бледный, слишком спокойный Лэв Гринкруг ходит по комнатам, успокаивает перепуганную, рыдающую Пашу²⁸. Он закрывает входную дверь и вежливо, но твердо останавливает поток случайных, любопытствующих людей:

— Завтра, в Союзе писателей.

Сгорбленный, страшный, сразу состарившийся Асеев сидит неподвижно в углу. Рядом кроткий, маленький Незнамов, не вытирающий слез. Прислонясь к стене, беззвучно плачет Кирсанов. Стоит Олеша с потрясенным лицом. Окаменевший Третьяков сидит, опустив голову на руки.

В девятом часу появляется рослый, широкоплечий человек, директор Института мозга. Приехали взять мозг Маяковского.

Тихим голосом директор говорит, что грипп очень подавляюще действует на психику. Володя болел гриппом почти месяц. Столпившись вокруг, мы слушаем его объяснения. Потом, оглянувшись, он понижает голос:

— Уведите близких.

Двое служителей в белом проходят в комнату Володи. Пронесут таз, какие-то инструменты.

Меня вдруг начинает бить дрожь, зуб на зуб не попадает, и Катанян увозит меня домой.

Не было в моей жизни более черного, более тяжкого дня, чем это четырнадцатое апреля».

Л. Ю. Брик писала: «Почему же застрелился Володя?»

В Маяковском была иступленная любовь к жизни, любовь ко всем ее проявлениям — к революции, к искусству, к работе, ко мне, к женщинам, к азарту, к воздуху, которым он дышал. Его удивительная энергия преодолевала все препятствия. Но он знал, что не сможет победить старость и с болезненным ужасом ждал ее с самых молодых лет.

Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве! Это был террор. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». Я крикнула: «Подожди меня!» — что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: «Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя». Я была в неопишемом ужасе, не могла прийти в себя [...].

Когда в 1956 году в Москву приезжал Роман Якобсон, он напомнил мне мой разговор с ним в 1920 году. Мы шли вдоль Охотного ряда, он сказал: «Не представляю себе Володю старого, в морщинах». А я ответила ему: «Он ни за что не будет старым, он обязательно застрелится. Он уже стрелялся — была осечка. Но ведь осечка случается не каждый раз!» [...]

Перед тем, как покончить с собой, Маяковский вынул обойму из пистолета и оставил только один патрон в стволе. Зная его, я убеждена, что он доверился судьбе, думал — если не судьба, опять будет осечка, и он поживет еще.

Как часто я слышала от Маяковского слово «самоубийство». Чуть что — покончу с собой. 35 лет — старость! До тридцати лет доживу. Дальше не стану. — Сколько раз я мучительно старалась его убедить в том, что *ему* старость не страшна, что он не балерина. Лев Толстой, Гете были не «молодой» и не «старый», а Лев Толстой, Гете. Так же и он, Володя, — в любом возрасте Владимир Маяковский. Разве я могла бы разлюбить его из-за морщин? Когда у него будут мешки под глазами и морщины по всей щеке, я буду обожать их. Но он упрямо твердил, что не хочет дожить ни до своей, ни до моей старости. Не действовали и мои уверения, что «благоразумие», которого он так боится, конечно, отвратительное, но не обязательное же свойство старости. Толстой не поддался ему. Ушел. Глупо ушел, по-молодому [...].

Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях. Конечно, разговоры и мысли о самоубийстве не всегда одинаково пугали меня, а то и

жить было бы невозможно. Кто-то опаздывал па партию в карты — он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал, — никто его не любит. А если так, значит — жить бессмысленно» (ф. 2577; новое поступление).

Из воспоминаний В. А. Қатаняна:

«Утром 15-го.

Возвращение от ночных кошмаров к кошмару действительности.

Разбудил вбежавший Васька:

— Ну что, умер твой Маяковский?

Разнимает руки, не понимает, что же это со мной.

И весь этот день, начавшийся слезами, прошедший в суете и маете, замирал и прерывался всхлипами или беззвучными каплями, которые бесстыдно и неудержимо бежали и бежали из глаз [...].

...Разговор по телефону с Аграновым. Звонила из Берлина Лиля, они сегодня выезжают. Просит встретить на границе, отложить похороны до четверга. Поезжайте в Госиздат, говорит Агранов, там сейчас заседает комиссия. Надо предупредить...

В Госиздате в кабинете Халатова заседает комиссия. Там уже все знают. Похороны будут в четверг 17-го [...].

Утром 15 апреля гроб с телом Маяковского стоял на сдвинутых столах в конференц-зале Клуба писателей. В большом зале клуба убирали кресла, стучали молотками, строили помост, художники Татлин, Левин, Денисовский поднимали над помостом большое черное крыло, под которым будет лежать Маяковский... Огромная толпа заполняла двор клуба, росла и росла за воротами.

В 12 часов приехал в клуб Бухарин, еле-еле пробился к подъезду. Его повели раздеться в одну из дальних комнат клуба. Потом он вошел в конференц-зал и долго стоял перед гробом.

Что он думал? Какими словами?

«Так странно больно видеть этого большого, сильного, угловатого человека, необузданного бунтаря, воплощенное движение — тихо лежащим с сомкнутыми устами на смертном ложе. Да ну же вставайте, Владимир Владимирович! Неужели вы в самом деле отгремели? Бросьте шутить!.. Увы, это не шутка. Это трагедия. Великий поэтический трибун революции отгремел и умолк. Навсегда...» (Бухарин Н. Этюды. М., 1932. С. 192).

Я стоял сбоку и пытался вспомнить, как Маяковский писал о Бухарине — в стихотворении о VI Конгрессе Комин-

терна. Летом позапрошлого года... Колонный зал Дома Союзов...

Товарищ Бухарин

из-под замызганных пальм
говорит — потеряли кого...

И зал

отзывается:

«Вы жертвою пали...
Вы жертвою пали в борьбе роковой».

Здесь нет замызганных пальм, но как ужасно сегодняшнее «потеряли кого...».

«...Он недооценивал Рафаэлей и Пушкиных. Но у него было органическое сродство с эпохой: это сама история рычала через него на свои консервативные, еще живые силы [...] Эта гибель парадоксальна. Она вопиюще нелепа. Она кричаще трагична, Владимир Владимирович, зачем, зачем вы это сделали?!» (там же. С. 197—198).

Его повели потом одеваться в ту же дальнюю комнату, а через некоторое время ко мне подошел директор клуба Борис Киреев и сказал, что Бухарин не уходит... Давайте пойдём предложим ему выступить...

— Давайте...

Да, мы были так наивны. Мы рассуждали просто: есть люди, которых привела сюда дикая непонятная весть, — томящаяся во дворе толпа, есть балкон, с которого можно говорить, и есть оратор, один из лучших ораторов партии...

Правый уклон? Ну да. Он уже не редактор «Правды». И не член Политбюро. Ну и что?

Бухарин ходил взад и вперед по комнате, накинув кашне и в шапке, остановился, направил на нас сверлящие голубые глаза и коротко отрезал: «Нет...» Он надел пальто, и мы с Киреевым проводили его черным ходом на улицу Герцена» (ф. 2577, новое поступление).

Вспоминает Г. Д. Катанян:

«17 апреля 1930

ХОРОНЯТ МАЯКОВСКОГО

Седьмой час.

Освещенная косыми, дымно-красными лучами, ползет через Каменный мост шевелящаяся змея похоронной процессии. Сразу впритык за грузовиком, обитым железом, на котором стоит гроб и лежит единственный венок из каких-то болтов и гаек (на нем лента с надписью «Железному поэту — железный венок»), движется маленький «Рено», который Маяковский привез из Парижа. В нем Лиля, Ося, кто-то еще²⁹.

Я смотрю на процессию с Москворецкого моста, из машины Горожанина. Он прилетел на похороны из Харькова.

...Брики узнали о смерти Владимира Владимировича в Берлине, куда им была послана телеграмма:

Segodnia utrom Volodia pokontschil soboi

Lewa Jiania*

Они выехали немедленно. Похороны задержали до их приезда. Катанян ездил встречать их на границу в Негорелое, по пропуску, выданному Аграновым. Рассказывал, что при встрече Лиля очень плакала, Ося же был сдержан.

По обе стороны Донской улицы, на всем ее протяжении, молчаливо и неподвижно стоят делегации фабрик и заводов, с приспущенными траурными знаменами.

Москва провожает Маяковского.

Мы приезжаем раньше, чем прибывает процессия. Отряд конной милиции строится у ворот кладбища, на асфальтовой полосе, между могилами. Двойной ряд пеших милиционеров опоясывает приземистое здание крематория. Горожанин угрюмо говорит: «К большой свалке готовятся».

...Толпа рвется в ворота. Встают на дыбы, ржут, вертятся среди надгробий лошади, осипшие от крика милиционеры стреляют в воздух. С трудом оттесняют толпу к выходу.

Людской волной я отброшена к стене крематория, сбоку крыльца. Я упала, ушибла ногу, разорвала чулок. В страхе прижавшись к парапету, стою с Олей Третьяковой и Наташей [Брюханенко]. Толпа оторвала нас от друзей, и мы не попали в крематорий.

Толстый важный человек в кожаной куртке неторопливо следует по опустевшему асфальту. Поднявшись на ступени, он пытается пройти, величественным жестом отстраняя милиционера. Я узнаю Халатова³⁰.

...Халатов возглавлял Госиздат. Он неприязненно относился к Маяковскому. К двадцатилетнему юбилею Владимира Владимировича журнал «Печать и революция» в очередном номере на первой странице поместил портрет Маяковского, о чем редакция сообщила поэту, поздравляя его.

Халатов распорядился вырвать портрет из всего тиража!

Халатов славился тем, что никогда и нигде не снимал шапки — ни дома, ни на работе, ни в театре. Острили, что даже в ванне он сидит в шапке. Сейчас он в шапке направляется в крематорий.

С наслаждением я вижу, как разъяренный милиционер срывает с его головы шапку и, схватив его за шиворот, пинками спускает с крыльца. Круглая каракулевая шапка ка-

* Лев Гринкруг, Яков Агранов. (Примеч. авт.)

тится по асфальту, и, качая тучным брюхом, мелкой рысцой бежит за ней бородатый, неопрятный человек с развевающимися кудельками.

...Наше отсутствие обнаружили, и Третьяков выбегает на поиски. Он помогает нам взобраться сбоку на парапет. Задыхаясь, бежим мы, держась друг за друга, и тяжелые двери крематория закрываются за нами.

Сквозь торжественные звуки «Интернационала» до нас доносятся конское ржанье и гул толпы. Как в осажденной крепости, стоит жалкая кучка измученных людей и смотрит, как медленно опускается в ничто, в никуда все, что осталось от великолепного человека, от блистательной, короткой, так рано отгремевшей жизни.

Все кончено...

Открываются двери, и стоящие в цепи милиционеры снимают фуражки. В суровом молчании стоит в весенних сумерках громадная толпа с обнаженными головами.

...Уже темно, когда мы добираемся домой.

В ярко освещенной комнате Васька деловито прыгает на одной ножке вокруг стола. Остановившись, спрашивает сочувственно:

— Ну что, похоронили его?

Вот когда, наконец, я кричу, плачу, бьюсь в рыданиях так, что сбегается весь дом [...]

ЛУЧШИЙ, ТАЛАНТЛИВЕЙШИЙ

Шел декабрь 1935 года.

Прошло пять с лишним лет после смерти Маяковского. Это были тяжелые для нас годы. Люди, которые при жизни ненавидели его, сидели на тех же местах, что и прежде, и как могли старались, чтобы исчезла сама память о поэте. Книжки его не переиздавались. Полное собрание сочинений выходило очень медленно и в маленьком тираже. Статей о Маяковском не печатали, вечеров его памяти не устраивали, чтение его стихов с эстрады не поощрялось.

Конечно, для всех, кто знал и любил Маяковского, все это было очень горько.

Мы с трудом перебивались. Катанян с головой ушел в редактуру и изучение наследия Маяковского. Я перепечатывала материалы для Полного собрания. Почти все первое посмертное издание было перепечатано моими руками, на моей портативной машинке. И хотя мой труд оплачивался очень скудно, я никому бы не уступила этой чести.

Последней каплей, переполнившей чашу, было распоря-

жение Наркомпроса об изъятии из учебников литературы на 1935 год поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

Необходимо было что-то предпринять. И Лиля Юрьевна решила написать Сталину, в те годы больше никто не мог помочь.

Письмо было написано.

Вот оно:

«После смерти Маяковского,— писала Л. Ю. Брик,— все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями.

Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтоб вещи сохранились и чтоб все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.

Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции. Но далеко не все это понимают. Скоро шесть лет со дня смерти, а Полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров.

Уже больше года ведутся разговоры об одиотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.

Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.

После смерти Маяковского в постановлении правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Цомакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Материалы разбросаны. Часть находится в Московском Литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея имя Маяковского почти не упоминается.

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский

Совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков переулок, 15). Одна квартира Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался расселить.

Квартира очень характерна для быта Маяковского. Простая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через пять лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы быта и рабочей обстановки великого поэта революции, не лучше ли восстановить все это, пока мы живы.

Благодарны же мы за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского, то и это не осуществлено.

Это основное. Не говоря о ряде мелких фактов, как, например: по распоряжению Наркомпроса из учебников современной литературы на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо!». О них и не упоминается.

Все это вместе взятое указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности.

Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы — пока они не затеряны — собрать все относящиеся к нему материалы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающего поколения.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованности и сопротивление — и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского.

Л. Брик

Мой адрес: Ленинград, ул. Рылеева 11, кв. 5.

Телефоны: коммутатор Смольного, 35—39 и Некрасовская АТС 2—99—69».

Мы все, т. е. все друзья, знали об этом письме. Написать письмо было нетрудно — трудно было доставить его адресату.

Миллионы писем посылались в те годы Сталину. Прочитывались им единицы.

Надеялись на помощь В. М. Примакова. Он командовал тогда Ленинградским военным округом и был непосредственно связан с секретариатом Сталина.

В. Примаков был крупной фигурой. С ним считались. Усилия его увенчались успехом — Сталин прочел письмо и написал свою резолюцию прямо на письме. В тот же день письмо было доставлено Ежову, который тогда работал в ЦК.

Лиля Юрьевна и Примаков жили в Ленинграде. Ей позвонили из ЦК, чтобы она немедленно выехала в Москву, но Лиля в тот вечер была в театре, вернулась поздно, все поезда уже ушли, и она выехала на следующий день.

В день приезда утром она позвонила нам и сказала, чтобы мы ехали на Спасопесковский, что есть новости. Мы поняли, что речь шла о письме.

Примчавшись на Спасопесковский, мы застали там Жемчужных, Осю, Наташу, Леву Гринкруга. Лиля была у Ежова.

Ждали мы довольно долго. Волновались ужасно.

Лиля приехала на машине ЦК. Взволнованная, розовая, запыхавшаяся, она влетела в переднюю. Мы окружили ее. Тут же в передней, не раздеваясь, она прочла резолюцию Сталина, которую ей дали списать. Вот эта резолюция:

«Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик, по моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится — я готов. Привет! И. Сталин»³¹.

Мы были просто потрясены. Такого полного свершения наших надежд и желаний мы не ждали. Мы орали, обнимались, целовали Лилю, бесновались.

По словам Лили, Ежов был сама любезность. Он предложил немедленно разработать план мероприятий, необходимых для скорейшего проведения в жизнь всего, что она считает нужным. Ей была открыта зеленая улица.

Те немногие одиночки, которые в те годы самоотверженно занимались творчеством Маяковского, оказались заваленными работой. Статьи и исследования, которые до того возвращались с кислыми улыбочками, лежавшие без движения годы, теперь печатали нарасхват. Катанян не успевал писать, я — перепечатывать и развозить рукописи по редакциям.

Так началось посмертное признание Маяковского» (ф. 2577, новое поступление).

Мы надеемся, что были правы, призвав сюда тех, кто искренне рассказал о Маяковском.

Примечания

¹ Номера, где жили студенты консерватории и Училища живописи, ваяния и зодчества.

² В ЦГАЛИ хранится экземпляр «Облака в штанах» с дарственной надписью Маяковского: «Другу по кафе милому Климову нежно — Маяковский» (ф. 336, оп. 5, ед. хр. 49, л. 33). Дарственные надписи на книгах «Человек», «Облако в штанах» (1918) были сделаны Маяковским также Л. Ю. Брик, Г. Б. Городецкому, А. М. Горькому, Н. И. Кульбину, Г. А. Сидорову, Б. В. Шувалову и др.

³ О кастете, который постоянно носил в те годы Маяковский, см.: Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 147.

⁴ Пьеса «Баба-Яга» принадлежит композитору А. К. Лядову, а не Прокофьеву, как ошибочно сказано в воспоминаниях Климova. Можно предполагать, что Прокофьев играл наиболее часто им в то время исполняемую свою пьесу «Наваждение» (см. также: Каменский В. В. Путь энтузиаста. М., 1931. С. 257—258). Свидетельством расположения Маяковского к С. С. Прокофьеву является запись Маяковского в альбоме Прокофьева: «От Вас, // которые влюбленностью мокли, // от которых в столетия слеза // лилась, // уйду я, // Солнце моноклем // Вставлю в широко растопыренный // глаз! (Облако в штанах) Москва. 22 марта 1918 г. Москва, Кафе поэтов» (ЦГАЛИ, ф. 1929, оп. 1, ед. хр. 1050, л. 19).

⁵ Юрий вводит новую, третью, аудиторию выступления Маяковского. До сих пор было известно, что в начале 1926 года Маяковский выступал в Тифлисе дважды и оба раза в Театре Руставели — с докладами «Мое открытие Америки» (26 февраля) и «Лицо литературы СССР» (1 марта).

⁶ Маяковский вступил в РАПП 6 февраля 1930 г. В своем заявлении от 3 февраля он написал: «В осуществление лозунга консолидации всех сил пролетарской литературы прошу меня принять в РАПП [...]» (Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 13. С. 134). 8 февраля на страницах «Вечерней Москвы» один из руководителей РАПП А. Фадеев писал: «В смысле своих политических взглядов он (Маяковский) доказал свою близость к пролетариату. Это, однако, не значит, что мы принимаем Маяковского со всем его теоретическим багажом. Мы будем принимать его в той мере, в какой он будет от этого багажа отказываться».

⁷ 14-я строфа из стихотворения «Домой» после первых прижизненных публикаций на долгое время из этого стихотворения была изъята; ее, вероятно, и имела в виду Г. Д. Катанян:

Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —

что ж,

по родной стране
пройду стороной,
как проходит

косой дождь.

⁸ Из пролога трагедии «Владимир Маяковский».

⁹ Сема с Клавой — С. И. и К. К. Кирсановы.

¹⁰ Женя — Е. Г. Соколова, жена кинорежиссера В. Л. Жемчужного.

¹¹ Среди перечисленных гостей — художник Н. Ф. Денисовский; поэт П. В. Незнамов; художница, жена А. М. Родченко — В. Ф. Степанова; актриса МХАТ, жена М. М. Яншина В. В. Полонская; подруга Маяковского, издательский работник Н. А. Брюханенко.

¹² Дочь художника Д. П. Штеренберга, В. Д. Штеренберг.

¹³ Пастернак Б. Л. Владимир Маяковский. «Простое как мычание». (Рецензия) // Литературная Россия. 1965. 19 марта.

¹⁴ Первое издание: Сестра моя жизнь. Лето 1917 года. М.: Изд. З. И. Гржебина. 1922.

¹⁵ Левин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 179.

¹⁶ См.: Цветаева М. И. Эпос и лирика современной России.

¹⁷ См.: личный архив В. В. Катаняна.

¹⁸ Посвящение Маяковскому см.: Литературное наследство. Т. 93. С. 685. Сохранилось два варианта посвящения Маяковскому, написанных Пастернаком, — для Г. О. Винокура и для Г. В. Бебутова. В автобиографический очерк «Люди и положения» Пастернак включил две строфы этого стихотворения.

¹⁹ В журнале «Лэф» (1923. № 1) в отделе «Практика» опубликована статья «Наша словесная работа», написанная Маяковским совместно с О. М. Бриком.

²⁰ Выступая на диспуте «Лэф или блеф?» 23 марта 1927 г., Маяковский сказал, что Пастернак «написал революционную вещь «Шмидт» — на этой вещи учиться надо. Это тоже завоевания Лефа» (Полн. собр. соч. Т. 12. С. 343). Однако в очерке «Люди и положения» Пастернак писал, что Маяковский «не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою».

²¹ См. статьи В. П. Полонского «Лэф или блеф» (Известия. 1927. 25 и 27 февр.) и «Критические заметки. Блеф продолжается» (Новый мир. 1927. № 5. С. 147—167).

²² Однако в статье «Блеф продолжается» Полонский писал: «Я не хочу сказать, будто Маяковский — Хлестаков русской поэзии. Это было бы чудовищной недооценкой поэтической роли, сыгранной Маяковским. Я несколько ее не преуменьшаю, она была велика. «Облако в штанах» оставило большой и неизгладимый след на развитии молодой русской поэзии [...]. Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то, что есть в ней лучшего и настоящего, от «маяковщины», т. е. от всех тех отвратительных и смешных богемских черт, о которых говорил выше (Новый мир. 1927. № 5. С. 154).

²³ Письмо Маяковского Н. Ф. Чужаку 22 января 1923 г. см.: Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 13. 1969. С. 60—61.

²⁴ См.: Пастернак Б. Л. Люди и положения.

²⁵ О. М. Брик купил в букинистическом магазине одновременно с названной поэмой «Хорошо!» 5-й том Собрания сочинений Маяковского с дарственной надписью: «Дорогому Боре Вол 20 декабря 1927 г.» По мнению В. А. Катаняна, последняя цитированная надпись могла быть адресована и не Пастернаку (например, Борису Кушнеру), в отношении первой у автора воспоминаний сомнений не было — книга подарена только Пастернаку. Но сам Борис Леонидович в разговоре с В. А. Катаняном в 1958 г. отрицал, что получал когда-нибудь эту книгу. А может быть, действительно Маяковский послал ее Пастернаку через кого-то и этот «кто-то» подарок не передал? А может быть, дарственная надпись обращена не к Пастернаку, а к кому-то еще, например к Борису Арватову?

²⁶ Ф. 379, оп. 1, ед. хр. 24, л. 2 об.

²⁷ По словам Л. Ю. Брик, она вернула Татьяне Яковлевой все ее письма к Маяковскому. Письма Э. Джонс (Елизаветы Петровны Зиберт) и М. Денисовой-Щаденко поступили в ЦГАЛИ (ф. 2577, новое поступление). Рукопись пьесы Маяковского «Клоп» была подарена Маяковским Т. А. Яковлевой в 1929 г. с надписью на титульном листе: «Танику — Волище». В настоящее время рукопись хранится в домашнем архиве И. Г. Эренбурга. В ЦГАЛИ — фотокопия титульного листа (ф. 336, оп. 5, ед. хр. 79, л. 105).

²⁸ Паша — домработница в квартире Бриков и Маяковского.

²⁹ Приведем для сравнения запись В. А. Катаняна: «Уже на Донской улице, недалеко от крематория, я добрался до серой «реношки», по Лили Юрьевны и Осипа Максимовича в ней не было, и Гамазин [шофер Маяковского] ничего о них не знал. Остаток пути я шел, держась за ее крыло, и был втолкнут вместе с машиной в ворота крематория [...]. Лили Юрьевна и Осип Максимович проделали весь путь пешком...» (ф. 2577, новое поступление).

³⁰ А. Б. Халатов был назначен председателем комиссии по организации похорон Маяковского.

³¹ Н. И. Ежов, впоследствии нарком внутренних дел, был в 1935 г. секретарем ЦК ВКП(б). Б. М. Таль — заведующий Отделом печати ЦК ВКП(б), Л. З. Мехлис — кандидат в члены ЦК ВКП(б), член редакции «Правды», впоследствии — начальник Главпура РККА. В передовой статье «Правды» от 5 декабря 1935 г., автором которой, очевидно, был Мехлис, без указания на источник были процитированы ставшие широко известными две фразы из резолюции Сталина: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление».

Музей и библиотека В. В. Маяковского в Москве, в б. Гендриковом пер. (ныне пер. Маяковского) были открыты в 1937 г. Триумфальная пл. в Москве и Надеждинская ул. в Ленинграде были переименованы в площадь и улицу Маяковского в 1935 г. Постановлением Совнаркома СССР от 1935 г. труды Маяковского были признаны государственным достоянием

ДВЕ СУДЬБЫ

(Б. Л. Пастернак и С. Н. Дурылин. Переписка)

Публикация М. А. Рашковской

История дружбы и творческого общения Бориса Леонидовича Пастернака и Сергея Николаевича Дурылина представляет интерес не только как часть биографии поэта, но и как страница истории русской культуры первой половины XX века.

Напомним основные вехи жизни С. Н. Дурылина, даровитого русского писателя и ученого. Он родился в 1886 году, в состоятельной семье. В раннем детстве лишился отца, после смерти которого семья осталась почти без всяких средств. Сергею Николаевичу пришлось рано начать зарабатывать на жизнь, в основном уроками. Возможно, чтобы успешнее заниматься этим, он прибавил себе возраст и по официальным документам стал старше на 9 лет.

Человек глубоких интеллектуальных и духовных запросов, Дурылин прошел чуть ли не через все увлечения своих современников. Воспитанный глубоко верующей матерью, в ранней юности он разделял нигилизм своих сверстников, затем увлекся толстовством, работал в издательстве «Посредник» и в журнале «Свободное воспитание». Рано начал писать стихи и прозу. Печатался под псевдонимом «С. Раевский». Первая печатная работа в духе толстовских идей — «В школьной тюрьме» — вышла в 1906 году.

Затем Дурылин сближается с поэтом Эллисом, музыковедом и критиком Эмилием Карловичем Метнером (братом композитора Николая Метнера), сотрудничает в издательстве «Мусагет», в журнале «Труды и дни», работает в молодежных околосимволистских кружках Андрея Белого и скульптора Константина Крахта. Разочаровавшись в характерных для некоторой части околосимволистской среды оккультнистских идеях, Дурылин приходит к православию и становится священником. В середине 20-х годов он потерял возможность священнослужения, дважды арестовывался и высылался (в Челябинск, затем в Томск и Киржач). Но даже в столь неблагоприятных условиях он находил в себе силы для интенсивных занятий историей мировой и русской культуры. Область его интересов чрезвычайно широка. Он автор работ о Гете, Гоголе, Гаршине, Репине, Нестерове, статей по археологии и этнографии Русского Севера. Последние 20 лет жизни Дурылин больше всего занимался театро-

ведческими и историко-театральными исследованиями. Они признаны и общеизвестны.

Пастернака познакомил с Дурылиным, вероятно, отец поэта, Леонид Осипович, знавший его по «Посреднику». Произошло это знакомство в 1908 году, то есть в то время, когда музыка, прощанье с которой Пастернак, по его словам, только откладывал, переплелась уже с литературой: «В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим ободреньем. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью» (Охранная грамота. Ч. I, гл. 7).

Эти несколько фраз из «Охранной грамоты» Дурылин прочел в письме Веры Клавдиевны Звягинцевой, полученном им в томской ссылке в октябре 1929 года. Эти слова послужили толчком для воспоминаний о дружбе с Пастернаком. Их Дурылин записал в дневнике: «Я встретился с ним в 1908 г., когда он был еще гимназистом 5-й гимназии (вполне классической, с греческим), но уже старшего класса. И впервые Борины стихи открылись мне не как стихи [...]. Он писал мне длиннейшие письма, исполненные тоскующей мятежности, какого-то одоления несбыточностью, несказанностью, заранее объявленной невозможностью лирического исхода в мир, в бытие, в восторг, каким-то голым отчаяньем. Это бросался ему в голову лирический хмель. Вячеслав Иванов сказал бы, что он одержим Дионисом. И это было бы верно. И вот в Сокольниках, однажды, среди древних сосен он остановил меня и сказал: «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен...» Это было сказано про огромное, тяжелое облако. «Кит дышит, умирая на верхушках сосен...» Но через минуту, куда-то взглядевшись: «Нет, это не то». И образ за образом потекли от Бори из его души» (ф. 2980, новое поступление. В дальнейшем ссылки на этот фонд опускаются).

В архиве семьи Пастернака сохранился черновик одного из писем Пастернака к Дурылину лета 1910 года в Пирогово, где Дурылин учительствовал в семье Чернышевых (один из членов этой семьи, будущий оригинальный художник Николай Михайлович Чернышев, стал близким другом Дурылина на долгие годы). Содержание и форма сохранившегося письма Пастернака действительно близки к тому, что вспоминает Сергей Николаевич. Вот отрывки из него: «Ну, как Ваше здоровье, дорогой Сережа? Вчера я лег спать с воскресеньем над Клязьмой, у Вашего дивана, в ухабы которого падает столько чудных вещей, ритмов и даже босой

доктор Кноп; и потом представились жасминовые детки на крокете за окном, и всевозможные теории. Вот видите, я хотел повторения. Но это не выйдет, я не могу поехать к Вам [...]. Когда я шагал от Вас в Тарасовку, я и не знал, что ташу через этот грустный вечер какую-то вершу за собой. Наверное, я загреб много-много грусти по Клязьме в кустах; потом попался вывод из этих воспаленных туманом лесов — подавляющих посылок; и этот мгновенный вывод оказался встречей с белыми спорящими девушками, которых я расспрашивал с трогательным многословием об этой вечерней Тарасовке [...]. Я теперь люблю невозможности, потому что знаю, что творчество это в [корне своего возникновения?] — отрицательное и в своей цели положительное — творчество какая-то вечная пенка вокруг этого невозможного. Но это неважно. Тарасовка, Тарасовка. Вот фланелевые люди и сенбернар идут по полю, под салатистые облачка.

А за мной все та же верша, и уже тяжелая. И вдруг попало село туда, вечернее и праздничное [...]. И эта людная грусть на дороге, жилеты и целая Лета подсолнуховой шелухи, забвение и покинутые сараи и калитки. Иногда косынки и возгласы — потом снова ухаает полями вечер. И уже мускулы дрожат, потому что верша оттягивает и, наверное, в костях жужжит такое певучее утомление. При первой встрече с женственным — опять желание опрокинуть к ним весь этот путевой улов, как вывод из лирических заводов.

Все это, конечно, совсем не нужно, а есть что-то нужное (и я уже догадываюсь об этом), которое бесконечно более ново для меня и интересно, чем все эти наблюдения, которые я даже развез по стихам. Это — теория творчества, чистого творчества, кажется новая, для которой как примеры (даже сокращенные: напр.) понадобится то, чем мы питаем лирику.

Эстетическое, религиозное, эротическое (платоновски) — все это придет только «например». Как теория. Но я хочу облечь ее в жизнь. И это будет один человек, и один день, рассвет, прогулки и город, — но сильная эссенция, что-то вроде иода, окрашивающего микроскопическое; один только день и много страниц; для этого целые охапки дней будут положены под пресс, я мечтаю об этой эссенции.

Я хочу писать летом большой рассказ, мне кажется, я могу».

Об одном из таких рассказов, герой которого звался Реликвимини, вспоминает Дурылин: «Реликвимини бродил по улицам — и таял на закате и искал китов, осевших грузно на иглах сокольнических сосен. В сущности, в этих отрывках, как и теперь в повестях и рассказах, «героя» не было. Был

Боря Пастернак. И Реликвимини сливался для меня с письмами ко мне: такими же «словами» к неопределимой музыке, слышанной Борисом [...]. Помню, меня поразила тогда одна сцена в этом хаосе «Реликвимини». Реликвимини идет по Никольской. Угол Казанского собора. Весна, но он не замечает весны. Тепло и солнечно, но у него в душе не тепло и не солнечно, и может быть месячно, а может ветрено, а может быть тучно. Шумит улица, вливаясь в площадь. Реликвимини бредет, опустив голову. И вдруг — на сыром асфальте тротуара видит маленькую живую зеленую ящерицу; она извивается, шевелит хвостиком, змеится, ящерится, — и солнце перебирает лучами ее алмазы и изумруды. И Реликвимини увидел по ящерице, что весна. Он солнце увидел на ее спинке — и поднял голову: Весна!

А ящерицу пускал по тротуару на бечевке мальчишка, продавец игрушек. Ящерица была из жести и стояла гривенник».

Эта ящерица из ранних прозаических опытов Пастернака попала затем в «Белые стихи», написанные в 1918 году:

Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.

* * *

Впервые в печати стихи Пастернака появились в альманахе «Лирика» (апрель 1913 г.). Финансировали издание Юлиан Павлович Анисимов, Алексей Алексеевич Сидоров и Сергей Николаевич Дурылин. Технической стороной издания занимался, в основном, Сергей Павлович Бобров. На одном из его писем Дурылину того времени штамп «Кн-во «Лирика»». Главнейшее участие принимают Ю. П. Анисимов, С. П. Бобров, С. Н. Дурылин». Стихи Пастернака в сборник рекомендовал Дурылин. Там были напечатаны: «Я в мысль глухую о себе», «Февраль! Достать чернил и плакать...», «Сумерки... словно оруженосцы роз...», «Сегодня мы исполним грусть его...», «Как бронзовой золой жаровен...». В альбоме С. Н. Дурылина есть автограф раннего стихотворения Пастернака, впервые напечатанного в «Лирике», — «Сегодня мы исполним грусть его...». Эта запись особенно ценна тем, что под ней стоит авторская дата — «март 1911». Отбору стихотворений для «Лирики» посвящено (к сожалению, не полностью сохранившееся) письмо поэта к Дурылину от на-

чала февраля 1913 года. Речь в нем идет в основном о стихотворениях, написанных Пастернаком в Марбурге, где он летом 1912 года занимался в семинаре знаменитого главы Марбургской неокантианской философской школы Германа Когена. Он вспоминал об этом в «Охранной грамоте»: «Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца» (ч. 2, гл. 8). Большая часть упомянутых в письме стихов не раз публиковалась, но есть упоминания и о неизвестных нам сейчас — «Утро», где «кареты рельеф...» и «...жизнь неслышная».

Раскол «Лирики» и образование «Центрифуги» зимой 1914 года, с одной стороны, а с другой — возможно, усилившаяся тяга Дурылина к мистицизму и антропософии (в переписке близких в тот момент Пастернаку Боброва и Асева много недовольных высказываний именно по этому поводу) надолго ослабили связи между Пастернаком и Дурылиным. Две военные зимы (1916—1917 гг.) Пастернак служит на Урале и в Прикамье на химических заводах. Его стихи публикуются в изданиях «Центрифуги» и в других футуристских сборниках. Дурылин оканчивает Археологический институт, ездит в этнографические экспедиции, становится священником. В его сохранившихся дневниках за 1917—1926 годы мы не встретили упоминаний о Пастернаке и общих друзьях юности.

В томской ссылке Дурылин вплотную занялся историко-литературными работами. Вдали от близких, от родного города, он много думает о прошлом, о людях, с которыми его сводила судьба. «К моей — нашей молодости я ближе теперь, чем был к ней 10 лет назад, — пишет он Пастернаку. — Я могу сказать, как Вы: я то же и никуда от себя не ушел и знаю теперь, после множества опытов и перемен, ничего во мне не переменявших, что уходить — не значит уйти» (письмо от 26 ноября 1929 г.). Переписка между ними возобновилась естественно, несмотря на чувство связанности, о котором писал Пастернак. Им было что сказать друг другу. Всего за это время мы располагаем 4 письмами Пастернака к Дурылину в Томск и Киржач 1929—1931 годов и 2 письмами Дурылина к Пастернаку 1929 года. Дурылин проникновенно пишет о присланных Пастернаком его переводах стихотворений Р.-М. Рильке «Реквием» и «По одной подруге реквием». Он связывает смысл и темы этих произведений — и оригинала, и перевода — с жизнью и автора, и переводчика, и читателей, в том числе со своей судьбой. Рассуждение

о реквиемах, пожалуй, помогает понять и внутренние побуждения, которые, кроме внешнего давления, заставили Дурылина отказаться от священнослужения:

«Есть между жизнью и большой работой старинная какая-то вражда.

Большая работа для Бытия — уходит от нас, а малая — для бывания — томит как праздный труд, как косматая кудель. И постепенно, и постоянно

...ты теряешь вечности кусок
На вылазки сюда...

В том, чем я был совсем недавно, я постоянно испытывал это. И вижу, что и Вы, Боря, испытываете это в творчестве и во всем, что не только творите Вы, но и, что главное! — творит Вас» (письмо от 26 ноября 1929 г.).

Для Пастернака время «Охранной грамоты», прозаической «Повести», переработки для переиздания стихов ранних сборников — тоже время возврата к темам юности. Переписка с Дурылиным органически входит в круг его работ. Так, в письме 7 ноября 1929 года он развивает мысли о биографии гения, легшие в основу «Охранной грамоты». Письмо Пастернака, отправленное из Москвы 24 февраля 1930 года, интересно не только как комментарий к его переводческой деятельности, но и как свидетельство характерного для Пастернака во все времена самоотождествления с гонимыми и страдающими, чувства ответственности за все происходящее с его соотечественниками на его Родине. Поразительна по обнаженности этого чувства запись его в альбоме А. Е. Крученых под фотографией друга поэтической юности Н. Н. Асеева 13 декабря 1932 года: «Он так много сделал для меня, что может быть даже меня и создал, — и теперь с основаньем в этом раскаивается. Как же сожалею обо всем этом я сам! Но все это совершенные пустяки в наше время нескольких сытых (в том числе и меня) среди поголовного голода. Перед этим стыдом все бледнеет. Оттенков за этим контрастом я уже не вижу, а Коля их различает» (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 49). Сохранилось извещение о денежном переводе, который Пастернак отправил другу вслед за письмом 15 марта 1930 года:

«Дорогой Сережа!

От В[еры] Кл[авдиевны] узнал, что Вы нездоровы. От души желаю Вам скорейшей поправки. Мне страшно стыдно, что я развожу такую канитель и что это так ничтожно. Простите.
Ваш Б.»

В 1931 году Пастернак с писательской бригадой ездил на строительство Магнитки. Письмо 28 мая 1931 года (публикуется ниже под № 7) написано как раз перед отъездом на Урал.

В 1933 году Дурылин возвратился в Москву. С 1934 года — он член Союза советских писателей. В его архиве сохранилась записка Пастернака, вероятно, имеющая отношение к приему Дурылина в союз: «Горячо поддерживаю ходатайство, как свидетель этой деятельности, в начале испытанный на себе непосредственную ее пользу. Уверен, что С. Н. Дурылина надо перечислить из кандидатов в действительные члены.

Привет, товарищи.

Б. Пастернак.

Обязательно переведите».

* * *

Судя по материалам архива, следующий период дружеского и делового общения Пастернака и Дурылина — середина 1940-х годов. Поводом для оживленного обмена письмами в это время послужила просьба Пастернака к Дурылину быть редактором и автором предисловия к его сборнику шекспировских переводов, предполагавшемуся в Гослитиздате. Кроме того, он просил Дурылина написать статью для «Литературной газеты» о его последнем сборнике «Земной простор».

То, что поэт обратился с просьбой о рецензии и предисловии именно к Дурылину, стоящему в стороне и от современной авторитетной литературной критики, и от специальных шекспироведческих штудий, — симптоматично. «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, — писал он в 1943 году редактору А. О. Наумовой. — Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим» (Мастерство перевода. Сб. 6. М., 1970). Стремление сделать переводимое произведение живым фактом современной русской литературы лежало в основе полемики Пастернака с известным шекспироведом М. М. Морозовым, отголоски которой слышны в его письмах к Дурылину. Интересно и его признание о влиянии толстовской критики Шекспира на принципы его переводов, предопределившем их «реалистическую, упрощающую тенденцию».

Письма лета 1945 года (публикуются ниже под № 9—15) относятся к тому времени, о котором Пастернак писал в эпилоге «Доктора Живаго»: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Это особое время не только общенародной жизни, но и жизни самого Пастернака; время особого внутреннего подъема и самососредоточения и вместе с тем обостренного неприятия конформизма официальных литературных кругов. Для Пастернака было радостным открытием, что он нужен своим соотечественникам, нужен людям, прошедшим через опыт и страдания освободительной войны. Как раз в это время с неожиданным для поэта успехом прошли его публичные выступления в МГУ, а затем в Доме писателя и Политехническом музее. Об этом успехе Пастернак пишет другу.

Радостно было и то, что к его творчеству тянутся лучшие представители зарубежной культуры. Не случайно в письме 29 июня 1945 года упоминается имя английского поэта и философа Херберта Рида. Согласно идеям Рида, смысл искусства заключается не только в выявлении подспудных и бессознательных сил человеческой души, но и в просветлении этих сил работой человеческого самосознания и правдоискания.

После войны Пастернак приступил к работе над романом «Доктор Живаго». О начале работы над ним он сообщил Дурылину 27 января 1946 года. Лестное для адресата утверждение, что Дурылин входит в число тех немногих, для кого он пишет свою новую вещь, не было простой любезностью со стороны автора. Пастернак знал, что в Дурылине он найдет не только высокопрофессионального, но и по-настоящему заинтересованного читателя. Известные суждения Дурылина о работах Пастернака отличаются глубиной проникновения в замысел автора и особой теплотой и неординарностью взгляда на его творчество. В этом плане интересно письмо Дурылина Пастернаку по поводу статьи о Шопене и стихотворения «Памяти Марины Цветаевой». Дурылин пишет о реализме в искусстве, о реализме подлинном и мнимом. Он использует формулу Вяч. Иванова «*A realibus ad realiora*» (От реального к реальнейшему) из его статьи «Два течения в современном символизме». Дурылин говорит о своем понимании реализма, требующем от каждого произведения искусства внутреннего события. Подлинное искусство стремится к «реальнейшему», к бесконечности, к бессмертию, в отличие от

рассудочного, преследующего сиюминутные цели, того, что, как говорит Дурылин, Верлен называл «литературой». (Напомним строки из «Искусства поэзии» Верлена в переводе Пастернака:

Так музыки же вновь и вновь!
Пушай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.

Пушай он выболтаёт сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.)

Утверждение Дурылина перекликается с высказыванием Пастернака о задачах, которые он ставил перед собой во время работы над стихами: «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину» (Люди и положение. Перед первой мировой войною, гл. 2).

В конце лета 1945 года Дурылин написал статью о творчестве Пастернака под названием «Земной простор». Она была посвящена и переводам, и последним стихам поэта. Проанализировав шекспировские переводы Пастернака, Дурылин показал внутреннее единство Пастернака — переводчика и оригинального поэта: «Пастернак обладает превосходным филологическим и философским образованием, но встречается он с Шекспиром не как стихотворец, сгибающийся под филологическим грузом, а как поэт, подающий руку поэту, чтобы перевести его через «реку времен», на прекрасный берег другой культуры, другого, но дружественного языка [...]. Метод его перевода до очевидности прост и до недоступности труден для других переводчиков: у переводчика душа стесняется тем же волнением бытия, каким она стеснилась некогда у поэта Офелии и Джульетты [...]. Это — не перевод, это — перетворение, это новое произрастание из старого зерна, перенесенного в новую почву». Этот текст Дурылина поражает точным смысловым совпадением с пассажем из статьи молодого Пастернака «Несколько положений» об английской поэзии и ее переводах, о том, что разные языковые стихии, разные эпохи объемлются «единством и тождественностью жизни».

Вторая половина статьи Дурылина посвящена стихам «Земного простора». «Никто, никогда не мог продиктовать Пастернаку ни строки — ни люди, ни события, ни идеи —

всегда его стихи были свободным «вздохом-выдохом», — утверждает автор. Для него Пастернак — прямой наследник Тютчева и Фета: «Надо было миновать много путей и перепутий, надо было побороть много застав, на которых поэты задерживаются соблазнами словесных потех и «изысков», чтобы обрести ту теплую зоркость к родной природе, ту ласковую внимательность взора, которая ощущается во всем, что открывает Пастернак в русской природе». Дурылин пишет о радостном приятии поэтом и родной природы, и соотечественника в его «трудах и днях», в его повседневности, в дни забот, думе и мечте. В стихах о войне он видит суровую сдержанность, целомудренность пастернаковской музыки. Речь поэта лишена малейшей приукрашенности и риторики.

Статья Дурылина не увидела света. С осени 1946 года, после печально известного августовского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», в печати начали появляться выпады и против Пастернака, в частности со стороны Фадеева и Суркова. Возможность добросовестного анализа творчества поэта в печати была надолго закрыта. Дурылин же продолжал оставаться в курсе работ своего друга. Он получал от поэта рукописи его стихов и статей, первые части романа. В архиве семьи Пастернака сохранилось письмо Дурылина с содержательным отзывом о первой части «Доктора Живаго». Ответом на него служит письмо Бориса Леонидовича 23 февраля 1952 года (публикуется ниже под № 22). Полного текста романа Дурылин не увидел. Он умер 14 декабря 1954 года.

Дружба и знакомство Пастернака и Дурылина продолжались 46 лет. Из них наиболее интенсивное общение занимает приблизительно 17 лет — 1908—1914, 1929—1931, 1944—1953 годы. Их переписка — свидетельство пересечения двух неординарных человеческих судеб — замечательного ученого-гуманитария Сергея Дурылина и великого поэта Бориса Пастернака. Документы свидетельствуют об аналитической тонкости и зоркости дурылинского взгляда на искусство, о характере художнического самосознания Пастернака.

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

Такова одна из лучших поэтических самооценок Пастернака. Его жизнь — постоянное становление, постоянная динамика исканий сокровенной «сути» бытия, истории, слова, поэзии и места поэта на земле.

Настоящая публикация основана на материалах фонда С. Н. Дурылина, которые на протяжении последних лет поступают в ЦГАЛИ СССР (ф. 2980, новое поступление). Письма Пастернака печатаются по беловикам, письма Дурылина по сохранившимся в фонде черновикам. Письмо Дурылина 1 ноября 1929 года печатается по авторской копии в его дневнике. При отсутствии авторской даты письма датировались по почтовым штемпелям или исходя из содержания.

В конце публикации помещены два письма Б. Л. Пастернака к вдове С. Н. Дурылина — Ирине Алексеевне Комиссаровой-Дурылиной. Они интересны и емкой, содержательной и благодарной характеристикой покойного друга, и некоторыми сведениями об обстоятельствах жизни поэта в его последние годы.

1

Пастернак — Дурылину

Начало февраля 1913 г. Москва

...лежит во мне. Никто не говорит, и всего менее я сам, чтобы эта особность была счастливою моею чертой. Гораздо вероятнее то, что она приведет меня к дилетантскому прозябанию среднего порядка. Правда это или нет, — но в настоящую минуту я хотел бы только поскорее освободиться от университета и воинской повинности — чтобы работать потом, работать впервые полно, серьезно и по-своему. И конечно, эти желанья ничуть и ни в чем не зависят от того или другого исхода моих недавних маленьких выступлений. Если я спрашивал и спрашиваю о согласии Метнера, — то не потому, что полагаю свою судьбу в этом. Недостатки же свои я и сам очень сознаю, и мне больно, когда близкие хотят сыграть в их мнимое отсутствие. Я бы и сам обратился к Эмилию Карловичу, да это, кажется, не принято. Вы не встречаетесь с ним? Вы прочтете все это, и от вас, может быть, ускользнет главное: простая моя благодарность за вашу заботливость относительно меня. Если же вы ее отыщете, то вы услышите в ней признательность и за то, что в вас осталась нетронутую верность тому миру и времени, которые свели нас.

Может быть, все это патетично. Не знаю. Все это печально, во всяком случае.

Что мне выбрать из Марбургского хлама? Я согласен с

«...жизнью неслышной»; она относится к небольшому циклу, носящему [заглавие] «Покой песков». Пусть это обозначение перейдет к стихотворению.

«Февраль» тоже близок мне, «там, над чернилами, навзрыд» — поправка, которую я охотно принимаю; в таком случае не надо точки после «изрыт»:

доколе песнь не заснует
там, над чернилами, навзрыд.

«Сегодня мы исполним...» тоже можно печатать, хоть оно слишком элементарно и беспомощно до степени лепета в нескольких местах. Обработка стихов, ставших уже прошлым, как-то неприятна и не дается вообще. Но я не согласен с «Дождем» и «Глухою мыслью о себе», где я для устранения хореймба поставил бы:

И это — смерть; застыть в судьбе
Судьбе — формовщика повязке.

Не заменить ли этих двух стихотворением, кот [орое] начинается: «Как бронзовой золой жаровень» и т. д. или «Розами» (где «сумерки»), или «Утром», где «Кареты рель [еф?]». Вообще, я против «Мысли о себе» ввиду ее сухости и против «Дождя» ввиду того, что в последнем стихотворении не сохранился тот живой и непосредственный образ сплошного, стершегося безземелья, которое свелось только к дару песен, сумеречных песен без слов, который вызвал во мне один неизлечимый, трехдневный дождь в Марбурге и которому я посвятил стихотворение. Что он не выдержан в стихотворении, лишенном без этого всякой цены, — ясно без доказательств.

Любящий вас Боря.

Первая строчка (в черновике) была:

«О дождь, обезземеливший патриций,
Чье сердце смерклось в даре повестей!»

2

Дурылин — Пастернаку

1 ноября 1929 г. Томск¹

Журнала указанного я доселе не видал, его негде здесь достать, но эта выписка Звягинцевой, это дружеское указание из Иркутска доставили мне, Боря, радость, которую я, — и не я, а сердце, сразу же причислило к самым боль-

шим радостям моей жизни (я здесь уже 3-й год, и только через 9 месяцев может появиться надежда, что я буду вправу уехать отсюда). Эта радость, поистине «нечаянная», особенно радостна.

Я ничего не забыл из своего прошлого. Наоборот, оно мне ближе теперь, чем еще было недавно. И я помню, благодарно и прочно, юношу, который в тоске и лирической смуте однажды сказал мне: «Мир — это музыка, к которой надо найти слова». Юноша этот занимался тогда музыкой. Все знали и одобряли это и видели в юноше будущего талантливого композитора, ученика Скрябина. И, услышав эти слова от него, я сначала удивился: музыкант должен был бы сказать наоборот: мир — это слова, к которым надо написать музыку, но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал тогда этот юноша. И я поверил, что он — поэт. Что он — поэт, теперь это знают все, читающие книги. Тогда, пожалуй, знал это, действительно, один я.

Я все это вспомнил, Боря, когда прочел письмо Звягинцевой. Но я никогда и не забывал этого юношу. После нашей встречи в 1927 г. на концерте Метнера мне хотелось зайти к Вам, я все это откладывал, с весны 27 г. я уже не мог ни зайти, ни откладывать, — и вдруг эти Ваши слова!

Эта дружеская признательность (не забывайте, что я знаю только две строки, а там, пишут, целая страница!) — признательность с открытым забралом, до слез тронула меня.

И мне захотелось Вам сказать об этом. Я просил Звягинцеву (она печаталась в «Узле», где и Ваша книжка вышла², единственная, которая у меня здесь есть, присланная в подарок Максом Волошиным) узнать Ваш адрес. Он оказался тот же.

Сообщаю Вам мой. Может быть, Вы захотите встретиться со мной письмом. Если захотите, то пришлите мне «Охранную грамоту», я хочу, чтобы у меня была она со страницей, дорогою мне больше тысяч страниц других книг. Я занимаюсь здесь истор[ико]-литер[атурными] работами. Кое-что издано или издается, 4/5 не издано и не издается. Написал воспоминания о Л. Н. Толстом. Собирался писать воспоминания о Брюсове, но как-то расхотелось. Не совсем забыла меня и моя, забытая мною, муза. А так как когда-то и я писал стихи и Вы когда-то их слушали, то перепишу Вам один разговор с моим alter ego, томский разговор, в деревянном доме, с тонкими перегородками, со снегами, сузившими улицу до ущелья, и, конечно, разговор под гитару, ибо здесь, если есть сосед, то есть и гитара. Итак: «Под гитару»³.

Я ее — молодость — сгоняю со двора, а она возвращает-

ся, и все шепчет: «Разве ты — не я?» И нечего ей возразить, и когда в редчайшие минуты среди годов прочтешь если такие строки, которые прислала мне Звягинцева, мне и не хочется, я и не могу ей возражать.

К моей (нашей) молодости я ближе теперь, чем был к ней 10 лет назад. Еще раз, милый старый Боря, спасибо!

Целую Вас. Ответьте мне, порадуйте. Здоровы ли, бодры ли?

3

Пастернак — Дурылину

7 ноября 1929 г. Москва

7 ноября 29 г.

Дорогой мой Сережа!

Какая неожиданность! А ведь знаете, я Вашу руку узнал сразу, до вскрытого конверта, хотя и не сразу с первого взгляда, а только после того, как был смутно откинут в то самое прошлое, о котором речь у нас у обоих (в Вашем письме и в моем отрывке) и благодаря кот[орому] мы нашли друг друга на таком расстоянии.

Тут ничего словом не передашь, и потому чудесности происшедшего не буду касаться. Но и о себе ничего не скажу. Вы меня знали; как ни старался я всю жизнь измениться (потому что был всегда в тягость себе) — ничего из этого не вышло, я тот же. Я тот же, и потому Вы легко догадаетесь о моем преимущественном, чтобы не сказать — постоянном, самочувствии последних лет. И, разумеется, я не исключенье. Разумеется, мы увидимся. И если даже это произойдет не завтра, Вы-то ничего от этого не потеряете. В первую минуту мне захотелось написать Вам большое письмо и о многом. Но теперь вижу, что это трудно и ни к чему: как бы мрачный мой тон не омрачил и без того, вероятно, невеселого Вашего настроенья. Вот видите, по какому пустому поводу возникают уже затрудненья. Что же сказать о главном. «Охранная грамота», т. е. № 8 журнала «Звезда», придет к Вам обязательно, но с некоторым запозданием: у меня этого №-ра нет, и я сегодня же напишу в редакцию, чтобы мне выслали давно испрошенные оттиски. Однако, чтобы предохранить Вас от неизбежного разочарованья, тут же скажу: иркутские Ваши знакомые указали Вам страницу для нахождения строк, приведенных Звягинцевой. И Вы их знаете. Понятно, и контекст, в котором Вы названы, думается, местами будет близок Вам. Вы вправе были бы оскорбиться скупостью моей памяти

и неблагодарностью только в том случае, если бы «Охр[анная] гр[амота]» была рядом воспоминаний в прямом и собственном смысле слова. Однако это не так, и вот какое убеждение легло в ее основание. В конце 26-го года в Швейцарии скончался R.-M. Rilke. Мне так и не удалось написать о нем статью в ближайшие к его смерти месяцы. Самую мысль о ней отклоняли, даже и в предположеньи, намечая для нее людей надежнейших и официальных. Но дело не в том. Пожив в кругу размышлений, такой замысел предваряющих, я подивился тому, насколько не рвусь я узнать его биографию, или лучше сказать, насколько не от нее жду решающих указаний для работы. И тут то самое, что я чувствовал всю жизнь, я впервые понял очень отчетливо. Что истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его пережившими и на нем сложившимися, и поняв свою жизнь, как часть его сборной, темной и бесконечной биографии, я и принялся ее излагать в этом духе, посвятив свою запись его памяти. Она не кончена еще, мне пришлось работу бросить на первой трети или на половине. Мне пришлось ее упрощать. Так, например, соображение, легшее в основу этой вещи, было на своем месте выражено лучше и осязательнее, чем тут в письме. И я его вымарал, из боязни, что эта мысль покажется сложной и ее не поймут. Были и курьезы. Страница о Когене и Марб[ургской] философии вызвала такое осуждение, что мне ради ее сохранения пришлось сделать сноску в самом начале «Охр[анной] гр[амоты]», где в дальнейшем обещается переоценка всего высказанного.

Дорогой Сережа, я не могу отделаться от чувства связанности, когда пишу Вам, и как это несправедливо и печально. И это почти вошло в привычку, эта связанность, эта осужденность на ложное толкованье, почти на каждом шагу вероятное, сковала все, что нуждается в дыханьи, чтобы существовать, — жизнь, работу и все прочее.

Благодарю Вас за присланные стихи. Сильно состарился и я. И я рад старости: в моих обстоятельствах это возраст уместный и подходящий.

Еще раз горячо благодарю Вас за письмо и обнимаю Вас.
Ваш Боря.

Дурылин — Пастернаку

26 ноября 1929 г. Томск

26 ноября

Дорогой мой Боря!

Письмо Ваше я получил одновременно с двумя книгами «Нового мира», с Вашей «Повестью» и Requiem om Rilke. Вышло так, будто Вы пришли ко мне и, как много лет назад, прочли с о е и побеседовали, как когда-то мы беседовали с Вами, сидя на подоконнике Живописи и Ваяния⁴, летом, над грохочущей Мясницкой... Пусть «связанность». Связывается лишь то, что может быть связано. Есть и несвязуемое. Как все странно — и какая у «странного» нестранная логика! Вы писали мне о Rilke (я от Вас только узнал, что он умер, и от Вас же узнал, что это почти нельзя было узнать: «связанность!»), — я припомнил маленькие готические книжечки еще у Юлиана Анисимова, вспомнил «Книгу часов»⁵ (и улыбнулся на нашу тогда простоту: ведь надо было перевести просто «Часослов!»), вспомнил какое-то глубокое вхождение Rilke в Вашу поэзию, вспомнил, как он любил «Слово о полку Игореве», — и вдруг... Requiem его в Вашем переводе. Конечно, для меня это был Requiem по нем самом. И связанность оказалась преодоленной. Не странно ли?

Вещи приходят, когда что-то вызывает их в нас. И «Повесть» Ваша, конечно, вся «скована», «связана», — но мне было нетрудно ее «расковать», и опять там Вы, и текущие вокруг Вас и в Вас вещи, явления, сознания, состояния. Достаточно прочесть это, чтобы сказать, что Вы тот же. И «преимущественное Ваше» — то же. И что значит «измениться»? На это так же трудно, а м. б., и невозможно ответить, как на то, что значит «все течет»? Что, в самом деле, это значит? протекает? в-текает? ис-текает или вы-текает? или у-текает? Тут сотни возможных состояний — умилений, одержаний — все в одном Паута ρε̂ς*. И текучесть нас и мира (то, что так постоянно чувствуется в Ваших стихах и прозе и что есть лучшее в них) — ощущаешь непрерывно, но ощущаешь то — как ущерб, то — как разлив, то — как исток, то — как впадение куда-то, то — как неостановимую, широкую «реку времен». И сам — то тонешь, то выплываешь, то вьешься спирально в омутной водоверти... Я могу сказать, как Вы: я тот же и никуда от себя не ушел, и знаю теперь, после множества

* Все течет (греч.).

опытов и перемен, ничего во мне не переживших, что уходит — не значит уйти... И куда уйти? Можно слышать мир — и искать слова к этой музыке, как когда-то хотели Вы, или наоборот, можно читать, как рукопись, мир и искать музыку к этим словам (без нее они страшны), но и то и другое деяние сомкнется в одном и разницы не будет. Когда-то поразили меня строки Случевского:

Как же мир не распадется,
Если он возник случайно?

Лирическое крепление или метафизическое цементирование сущего — не истребляют ли они тоску бывания, разрушают это тихое, хроническое затмение бытия?

Мы все, как свет отбрасываем внутрь
Из бытия, когда мы познаем.

Но свет этот остается в нас почти как [смутное?] обетование, как темный намек на непонятном языке — и

Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда.

«Большая работа» — для Бытия — уходит от нас, а малая — для бывания — томит как праздный труд, спутывая, как косматая кудель. И постепенно, и постоянно

...ты теряешь вечности кусок
На вылазки сюда...

В том, чем я был еще недавно, я постоянно испытывал это. И вижу, что и Вы, Боря, испытываете это в творчестве и во всем, что не только творите Вы, но и что (главное) творит Вас.

Полгода назад я получил письмо от Н. Метнера⁶. Ему предшествовало мое письмо о его последних песнях, которое он получил в то время, когда писал музыку на «Безумных лет угасшее веселье...» и думал, что музыка никому не нужна, ибо все в мире и у всех уходит на «вылазки сюда» — только сюда. Письмо мое обрадовало его своей вылазкой не «сюда», а в тот «вечности кусок», который есть музыка. Меня эта радость ужасно огорчила: мало же у него радостей, если и такого письма достаточно для обрадования!

Значит, не Вы, не мы одни. Что же! Будем жить, будем делать «вылазки» друг в друга и в нашу былую молодость, а умрем — постараемся помянуть друг друга, как Rilke помянул «одну подругу»: с тою же приверженной скорбью, если не с тою же глубиной и силой. Буду ждать «Охранную гра-

моту». Есть у меня и просьба к Вам, милый Боря. Вы пришлите мне Ваше последнее стихотворение, а если не последнее, то самое любимое. Rilke вышел у Вас превосходно. Есть ли у Вас еще переводы из него? Спасибо Вам сердечное за письмо. Я с ним жил почти две недели и только теперь [оторвавшись?] от него, от «Повести» и от Requiem а, сел отвечать Вам. Обнимаю Вас и радуюсь, что Вы у меня есть. А мысль, что «истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его переживавшими и на нем сложившими себя», так верна, так крепка своей свежестью и правдой, что хотелось бы, чтобы появились п о д о б н ы е биографии Пушкина, Лермонтова, Тютчева. М. б., каждый из нас, обязанный этим поэтам собою, должен был бы писать такие биографии — и этим хоть несколько устыдилось бы рвение пушкинистов и прочих «истов» истории литературы, кроющих их биографии, как «френчи» или «толстовки».

5

Пастернак — Дурылину

24 февраля 1930 г. Москва

Дорогой мой Сережа!

Как мне Вас благодарить! Вы и короткой открыткой сумели взволновать меня и прийти на помощь. Ваше большое письмо было п о р а з и т е л ь н о. Вы, вероятно, и не догадываетесь, как много значит и какую гордостью за Вас преисполнило меня то, что Вы из реквиема процитировали строчки для всей вещи и ее смысла — вершинные и которые так легко не заметить, потому что их драгоценность в том и состоит, что даже и эта высота взята с природы и в природе оставлена; что она не теряется в прозаической простоте дневника; что она не задогматизирована и не выделена никаким голосовым курсивом.

«Есть между жизнью и большой работой...» и т. д.

Ах, ах, Сережа — с чудом Вашего понимания ничто не может идти в сравнение, и всего менее — я сам. И я ведь с н и з у, а не на одном уровне обсуждаю Вашу проникновенность и дивлюсь ей. Сами посудите, разница не мала! Передо мной был подлинник, я жил с ним, у меня было время; я мог по двадцать раз проворонивать н е з а м е т н у ю п о р а з и т е л ь н о с т ь каждой строчки, прежде чем она мне открывалась в двадцать первый. С этого двадцать первого раза и двинут перевод. И он дан Вам разом. Вот пропорция

наших шансов. При всем высказанном, Вы верно догадались, что главной трудностью задачи было сохранение т о н а подлинника.

И такое-то письмо я оставил без ответа! Не догадаетесь ли Вы и тут, как это могло случиться?

Дорогой мой друг, вот я допишу две-три вещи и, как говорится, — сложу оружие. Дело — тупик, дольше обманывать себя я не в состояньи. Как рассказать, до чего мне трудно! Мне, может, было бы легче, если бы я был связан с каким-нибудь одним из реальных установлений духа, а не с воздушными следами лучших из них, и со всеми сразу; не с местом их в истории и в душе. Я понес бы одну осязательную утрату, меня постигло бы горé определенное. Я в рассужденьи начинал бы с себя, а не кончал собою. А так мне жизнь не мила лишь в последнем счете: т. е. надо вперед пропитать ядом мир и время, чтобы отравить меня. И я думаю: как должен быть несчастен свет, если мне так тоскливо!

Лично мне, на п е р в ы й в з г л я д, жаловаться не на что. Напротив того, я неоплатный должник очень многих, давших мне доказательство любви незаслуженной, причинно неисследимой, дареной.

Я несколько раз принимался вслед за этими строками описывать Вам свой «*curriculum vitae*»* и теперь махнул на это дело рукой. Этого не сделать по причинам техническим. Не сердитесь на меня за мои неполные, недоговоренные письма. Я готов всю силу нынешней подозрительности, видящей часто то, чего нет, целиком принять на себя. Но мысль, что каким-либо своим движеньем я могу привлечь ее на Вас, меня парализует.

Сейчас кончу. Вам, наверное, живется трудно в самом простом, житейском смысле. Мне стыдно, что я в этом отношении ничего пока не сделал и в самое ближайшее время не сделаю; что вместо стоящего и должного я высылаю Вам новые «Поверх барьеров». Они Вам не понравятся, и Вы будете правы.

У меня зачитали, т. е. вернее, увезли в другой город и утериали единственный номер «Звезды» с «Охр[анной] грамотой». На что она Вам в ее неоконченном виде, притом далеко отставшем от Ваших представлений, выращенных упоминаньями преданных Вам людей, которые справедливо радуются встрече с Вашим именем? Но если не уступите, я вышлю Вам истрепанный и истлевший до полной неотчетли

* Краткое жизнеописание (лат.).

востии ремингтонный список, с кот[орого] ее набирали. Мука будет читать. Обнимаю Вас. Ваш Боря.

Р. С. Список прилагаю к «Барьерам». Известите о получении.

6

Пастернак — Дурылину

5 апреля 1931 г. Москва

5 апреля 1931 г.

Дорогой мой Сережа! Свинство на такие письма, как Ваше, отвечать открыткой. Я Вам напишу по-настоящему. Я молчал все время не из счетов с Вашим молчаньем, конечно. Знаю, что и Вы этой мысли, верно, не допускали. Но у меня был довольно сложный, по-живому сложный, год. Этому можно было бы радоваться, если бы только жизнь не была заколдованным кругом, где нельзя ступить шагу без того, чтобы не доставить им страдания близким, которые часто лучше и достойнее тебя. Торопливость неурочного моего ответа вызвана словами Вашими о болезни. Горячо желаю Вам скорейшего выздоровления — пожеланья этого не хочу откладывать. Надо бы Вас как-нибудь навестить. Мечтаю об этом, — весной, как-нибудь посуху. Желаю Вам от всей души бодрости, притока сил, успеха в работе. Истекшей зимой кончил две вещи (между ними «Охр[анную] гр[амоту]») ⁷. Встречают преувеличенно тепло. Еще и еще раз всего и всего лучшего, здоровья и счастья. Сделался у меня вчера флюс, — раздуло. Вот гадость.

Б.

7

Пастернак — Дурылину

28 мая 1931 г. Москва

28 мая 31 г.

Дорогой, дорогой мой Сережа!

Что я за свинья, и когда вздумал поправлять это дело! Через час еду в Магнитогорск и только что из Киева. Зачем писать такие хорошие стихи людям, которые их не заслужили!! Как благодарить мне Вас за них!

О книжке ⁸ на другой же день по получении был разговор с дочерью С[урикова], О. В. Кончаловской. Как знают они Вас, оказывается, и любят! Ведь мне надо Вам по-настоящему

написать, Сережа, и — поневоле — о себе. Как это все неза-
служенно, и сколько всего, если бы Вы знали, — и все вдруг, —
начиная с этой зимы!

Сейчас мне, правда, собираться, и это безрассудство, что
я пишу Вам. Но через 3 нед[ели] я вернусь, и тогда отведу с
Вами душу, и заглажу все мои промахи перед Вами, если
они загладимы. И я, может быть, попробую что-то сделать для
Вас. А теперь позвольте крепко, крепко обнять Вас.

Ваш Боря.

8

Пастернак — Дурылину

19 декабря 1944 г. Переделкино

19 декабря 44 г.

Дорогой Сережа!

Горячо и сердечно благодарю тебя за твою книгу о Ка-
чалове⁹, которую, собираясь сегодня в город, рассчитываю
получить.

Мои Шекспиры пока еще не посягают на твоё время. Они
на случай, что МХАТ с Божьей помощью покажет когда-
нибудь «Гамлета»¹⁰ и в обсуждении спектакля ты пожелаешь,
может быть, строчкою-двумя коснуться текста и общего ду-
ха постановки, как он сложился из моего пониманья. Завет-
ное желание мое, чтобы тогда у тебя было некоторое пред-
ставление об общем направлении этих работ, взятом в «Гам-
лете» еще очень осторожно и робко, а потом смелее, и всего
успешнее в «Отелло», рукопись которого будет лежать для
тебя в «Литературной газете» и выдана по первому тре-
бованью.

Детгизовский «Гамлет», которого я тебе посылаю, худ-
ший из появившихся. Вообще, собственный мой пересмотр
«Гамлета» еще впереди. Те же спорные, поспешные и мелкие
измененья, которые по разным побуждениям я в него вно-
сил эти годы (и кот[орые], может быть, портили его) —
непродуманные и полусонные уступки, которым я настолько
не придаю значенья, что во МХАТе, где я всегда к ним готов
на ходу, я их даже не записываю и надеюсь получить когда-
ниб[удь] в собранном виде от суфлера.

Какие обстоятельные оправданья, как, следовательно, я
тебя высоко ставлю и боюсь.

Крепко обнимаю тебя и желаю радости, счастья в насту-
пающем нов[ом] году.

Твой Боря.

Пастернак — Дурылину

20 июня 1945 г. Переделкино

20 июня 1945 г.

Дорогой Сережа!

Больше трех месяцев у меня воспаление нерва правой руки и частые конъюнктивиты (болезнь глаза). Мне временно запретили писать правой рукой, но левой у меня такой неразборчивый почерк, что я решил лучше немного помучиться, но написать тебе вкратце то, что давно хочу тебе сказать и о чем хочу попросить.

Во-первых, огромное тебе спасибо за «Качалова», который меня очень захватил, особенно своим началом, приходящимся на молодую, жанрово богатую пору биографии, так ярко схваченную тобою.

Могу не верить тебя в искренности моего восхищения и того, как я отношусь к мыслям твоих статей, к тому, как они написаны, к твоей начитанности и авторитету. Всему этому я сейчас дам корыстнейшие доказательства.

У меня к тебе две просьбы, одинаково нескромные. Как ни велико мое желание получить от тебя согласие, будь совершенно свободен в ответ: в твоих добрых чувствах ко мне я так же уверен, как в моих собственных к тебе, и можешь не бояться меня обидеть.

1. Будь редактором однотомного собрания моих шекспировских переводов. Чагина¹¹, которому я тебя назвал, приводит в восхищение твоя кандидатура. Задача твоя сведется к тому, чтобы труд прошел через твои руки и вышел из них с твоим благословением. Разумеется, для нас будет подарком каждая строчка, которую ты бы задумал написать к нему, и, наоборот, я намеренно назвал тебе наименьшее из того, что от тебя потребуется. Но если бы ты даже все-таки отказался, мы и в этом случае не обратились бы ни к кому из шекспирологов, британистов и т. д. Том идет под общечеловеческой, русской, творческой, театрально-сценической, содержательно-сюжетной маркой, и все «переводческое», протезно-ортопедическое будет в нем отсутствовать сознательно подчеркнуто. Переводы, каждый порознь (это «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Отелло» и «Генрих IV» (обе части)) в свое время прошли с успехом наш лингвистический таможенный досмотр и в дальнейшем внутреннем продвижении могут больше ему не подвергаться. Еще большее признание получили работы в Англии, где среди ста-

рых переводчиков Тургенева, Чехова, Толстого есть много людей, отлично читающих по-русски. В 22-м № «Британского союзника» от 3 июня напечатана большая и очень одобрительная статья некоего проф[ессора] Ренна (Ch. Wrenn) об этих переводах¹². Если тебе не удастся ее достать, я тебе ее пришло с кем-ниб[удь] из скрябинских девочек¹³. Одним словом, об английской стороне дела ты не беспокойся. Но кто, кроме тебя, может с такой силой и правом судить о тексте в его собственном самостоятельном качестве, с его поэтической стороны и театральности. Любая твоя статья к тому, как бы то ни было с ним связанная, о Шекспире ли на русской сцене или о Ш[експире] в русской литературе, или истории нравов, или просто о русском театре без Шекспира будет принята с восторгом. Может быть, что-нибудь вступительное, но на каких-ниб[удь] самых общих основаниях, напишу и я. Ответь, пожалуйста, не очень задумываясь, потому что договор мы будем заключать на днях.

Другая просьба того же порядка, но гораздо более бессовестная, почти неприличная. В «Лит[ературной] газете», органе, кот[орый] я считаю полицейскими ведомостями в руках трех древних граций и абсолютно враждебным мне¹⁴, целый год собираются дать то рецензию на «Ромео» и «Антония», то статью о моем последнем сборнике, и нарочно мудрят и манежат, чтобы ничего не дать. То заказывают они это Зелинскому, и он им пишет какой-то иезуитский вздор, то бестактнейше собираются обратиться с этим к Ахматовой, моей статьи о которой они же не печатают¹⁵.

Надо ли говорить тебе, что для меня будет торжество и праздник даже если ты выругаешь меня, столько интересного ты скажешь сверх расставленья баллов. На твоём бы месте я сразу написал бы и о Шекспире и о самостоятельных стихах, как-то бы это связав. Если тебе это как-нибудь улыбается, я даю знать в «Лит[ературную] газ[ету]», что написал тебе. Прости, что так много написал тебе однообразно-эгоистического. Как твоё здоровье? Ответь мне, пожалуйста, по почте в город. Ещё раз прости. Бросаю — болит рука. Обнимаю тебя.

Твой Боря.

31 мая в Оксфорде умер мой отец. Это — левой. Я стал стар и забывчив. Сейчас меня преследует ощущение, будто я такое же точно письмо уже раз отправил тебе. Если это правда, прости и не смейся надо мной.

Дурылин — Пастернаку

27 июня 1945 г. Болшево

27.7*.1945 г.

Милый Боря!

Твое письмо было для меня и воскресшею молодостью, и радостью, и скорбью, и призывом к жизни, которая лишь условно междуется на молодость и старость.

«Писано левой рукою!..»

Я горько вздрогнул: ведь я все еще думаю, что ты молод, молод, молод. А «левая рука» — это, говорят, старость. И ты употребляешь это слово. Но в почерке, в ритме стремительном, вешнем потоке твоей речи нет ни одного признака старости. И пусть ее не будет. Пусть будет просто: Боря Пастернак, как было всегда.

С первого же слова скажу тебе, что я счастлив в твоей просьбой написать о тебе. Счастлив. Все напишу, что ты хочешь.

Ведь когда-то, больше 30 лет назад, я радовался твоим первым строкам, еще никому неизвестным, я первый мечтал увидеть их в печати — и увидел первый.

Когда я прочел первые твои переводы из Шекспира, я почувствовал, что в русской поэзии и в 1940 году повторилось то, что было 120 лет назад: когда Жуковский напечатал «Шильонского узника», никто не говорил: «Появился перевод поэмы Байрона», все понимали: в русской поэзии совершилось новое чудо: явилась новая поэма неслыханной красоты и силы.

То же самое произошло, когда появился твой «Гамлет». Русской поэзии пришло, в русской поэзии совершилась новая тайна рождений.

И снова будут чисты розы,
И первой первая любовь.

Суди сам, рад ли я писать об этой радости, что Шекспир наконец-то причалил к берегам русской поэзии и что ты — кормщик на его корабле.

С радостью принимаю оба твои предложения: редакционное предисловие к сборнику Шекспира и статью в «Литер[атурную] газету». Но очень буду нуждаться в твоей помощи.

* Дата ошибочна; по содержанию следует — 27 июня.

I. По Шекспиру.

1). У меня есть «Ромео», «Антоний», «Отелло» и нет «Гамлета» и «Генриха». Я получил от «скрябинских девочек» «Ромео» и «Антония» с немалым запозданием, а адреса твоего они так и не могли мне сообщить: «живет в Переделкине, вот и все». Я не отвечал тебе на эти книги, но сердечно был тронут их присылкой и отзывом о моем «Качалове». Где бы и как достать «Гамлета» и «Генриха»?

2). «Гамлет» издавался трижды — с изменениями. Нельзя ли мне прочесть все три редакции?

3). Мне нужно бы прочесть какую-нибудь свержавторитетную статью советского «лингвиста» о твоих переводах, чтоб, при случае, отсылать к ней читателя, мучимого лингвистической совестью. У меня есть только статья Морозова в сборнике «Театр» (М., 1944)¹⁶.

4). «Брит[анского] союзника» с нужн[ой] статьей у меня нет. Он необходим.

II. По статье.

Я о ней напишу тебе подробнее, т. к. спешу отослать тебе это письмо, но мне надо бы иметь твой последний сборник, изданный во время войны («На ранних поездах»), и знать, как и где сборники твои и книги я должен иметь в виду в своей статье.

Все это — указания, книги, статьи — ты можешь оставить на мое имя у себя на квартире, за всем этим зайдет моя жена, — или можно направить через Ирину из Скрябинского музея с наказом, чтобы она действительно спешно все это доставила мне. Не посылай книг и статей по почте — все пропадет.

Еще один вопрос: а не думаешь ли ты, что шекспироеды и гамлетоглоты нападут на тебя за оскорбление их шекспироведческого величества, что ты поручаешь предисловие и редактуру мне, не принадлежащему к их династии?

Я часто спрашивал себя во время войны о двух дорогих мне по воспоминаниям юности людях — о Н. К. Метнере и о твоём отце: где они, что с ними на Британском острове во время огненной бури. И кто-то с метнеровской стороны сообщил мне, что он в Оксфорде. Вот и Леонид Осипович в Оксфорде и там остался навсегда!

Я окончил книгу о Нестерове¹⁷ — в ней приведены его письма, где он так тепло отзывается о Леониде Осиповиче. Они жили в одних и тех же меблир[ованных] комнатах и оба ждали к себе П. М. Третьякова, и у обоих он купил по первой картине, у Н[естерова] — «Пустынника», у Л[еонида] О[сиповича] — «Вести с родины». А совсем недавно я смотрел фо-

то с картины Л[еонида] О[сипови]ча «Чижик», где он изобразил себя у рояля, а на коленях у него ты — маленький мальчуган. Это первое твое изображение в живописи?

У меня на стене висит «Толстой» Леонида Осиповича — с его ласковой надписью.

Я всегда вспоминаю его, думая о тебе и о нашей юности, и всегда в моей душе есть благодарность к нему.

Горячо тебя обнимаю и целую, милый Боря.

Твой Сережа.

Было бы чудесно, если бы ты собрался ко мне с ночевкой. Мы обо всем поговорили бы как следует — и о предисловии, и о статье.

11

Пастернак — Дурылину

29 июня 1945 г. Переделкино

29 июня 1945 г.

Дорогой Сережа!

Горячо, горячо благодарю тебя за согласие и скорый ответ. Чагину сказал. Он в восхищении. Вот тебе дополнительные сведения. Договор со мной собираются заключить в августе, том приготовить надо будет к концу года, чтобы с божьей помощью выпускать в начале 46-го. Но это не исключает возможности или надобности для тебя сговориться с ними уже и теперь, потому что все надо торопить и подталкивать. Впрочем, они, конечно, обратятся к тебе сами.

«Генриха IV-го» первую часть тебе пришлю — вторую дописываю (ее-то и дописываю вчерне левою рукою, а тебе писал и пишу правою), всего «Генриха» надеюсь кончить через месяц. Окончательной ступенью отделки для меня давно стал процесс корректуры, так что, например, «Отелло» в отдельном издании, которого они скоро выпустят, чуть-чуть иной, нежели у тебя в рукописи. Это же повторится, наверное, и с «Генрихом». Возни текстовой в томе у меня никакой не будет, кроме «Гамлета», с которым слишком нянчились, да вдобавок еще семь няnek пословицы. Половины своих разночтений я не помню. Интересом для тебя будут обладать только две его редакции: первая, самая свежая и, как некоторым показалось, «дерзкая», напечатанная в журнале «Молодая гвардия» летом 1940 г. (у меня самого ее нет, надо будет достать), и та окончательная, которую я сделаю для тома по первой, частью ее восстанавливая, частью сглаживая ее резкости.

У тебя (но я уже писал тебе об этом и повторяюсь) с то-мод будут две заботы. 1. Присмотреть за мною по всему тому, что с точки зрения твоего собственного вкуса и только в отношении свободы, естественности и выразительности речи, как в оригинальном произведении, а не в смысле соответствия чему бы то ни было, что уже однажды преодолено и теперь предусмотрено. 2. Написать что-нибудь к тому, если бы ты захотел, и то именно, что бы тебе заблагорассудилось. Ты, именно, мог бы вслед за Пушкиным и Гете опять сказать о Шекспире или о чем-нибудь около него с их широтой и непредвзятостью, где-то в соседстве с толстовскою полемикой, наполовину справедливой (и сильно предопределившей главную, реалистическую, упрощающую тенденцию моих переводов). Между прочим (но ты, наверное, это знаешь и я «ломлюсь в открытую дверь»), если бы тебе потребовался косвенный «витамин» или «возбудитель», вроде чая, мандарин [овой] кожуры и т. п., есть у Гюго книга о Шекспире. Ее очень любил Ап[оллон] Григорьев и ссылался на нее, как на прообраз того «цветного, органического» и пр[очего] искусства, с мечтою о котором он носился. Она имеется в ВТО, я ее читал. (V. Hugo. William Shakespeare.) На 300 страниц глупости и трескотни, как всегда у Гюго, десятка полтора стр[аниц] действительно поразительных, и, по счастью, в начале. Он писал ее в эмиграции, на Гернсее, попеременно с «Тружениками моря», и веянье политического изгнания и близкого моря хорошо чувствуется и прямо названы в ней. Я ею пользовался как такую вкусовую затравку для переводов и только для такого посасыванья за работой и привожу тебе. Итак, Шекспир и Чагин дело решенное и радостное, за меру радости которого еще раз огромное спасибо тебе от всего сердца.

Но насколько мне все близко и ясно у Петра Ивановича, настолько сомнительна и вызывает опасения обстановка в «Лит[ературной] газ[ете]», так далеко и враждебно мне все у них, так при всех своих увереньях в преданности они скорее готовы меня в ложке утопить, чем поступить со мною благожелательно и справедливо. Хотя они, действительно, забрались ввысь, приискивая автора статьи обо мне, хотя, действительно, я указал им на тебя в этом их взлете, и Ковальчик¹⁸ должна позвонить тебе, но они, наверное, разгадали, каким безмерным счастьем для меня было бы наше сотрудничество, а так как целые десятилетия они сквозь завесу любезностей делали мне только гадости, то и на этот раз, я уверен, они откажут мне в этой радости, и наоборот, торжествуют, найдя новый случай чувствительно огорчить меня. Од-

нако рано отчаиваться. А вдруг и правда на этот раз они будут верны слову! Надо ли говорить тебе, о чем я мечтал в этом случае и почему к тебе обращался? Во-первых, подарком было бы, что статья была бы т в о я и что она была бы (как и в отн[ошении] Шекспира) на широкую т е м у, в каком-то смысле (неспециальном, человеческом) о творческом мире поэзии, о стихии писательства и только в каком-то последнем счете о частном случае общей темы, о предмете разбора. К похвалам, по-аптекаарски с предустановленной достодолжностью каждому отвешиваемых, мы все привыкли, и они втройне опротивели: оскорбительным фактом развески, бессодержательностью и пустотой и тем, что от этих похвал всегда воняет. Чудом и невидалью была бы статья с твоими м ы с л я м и, статья по современному поводу, которую интересно было бы читать.

Свой последний сборник (наверное, о нем и будет речь) я послал тебе. Не обременяй себя лишним материалом. Со дня на день в Гослитиздате должен выйти мой последний, скупой и удобообозримый отбор сделанного в небольшом томике¹⁹. Я достану его тебе. О его содержании можно спорить, может быть, там и не самое лучшее, но на принципе отбора я стою и в нем уверен. Я там отобрал самое выпуклое, сосредоточенно-образное, осязательное и живое в ущерб отвлеченным притязаньям и тому прутковскому ложному глубокомыслию, к которому всегда приходит невольная, политически вынужденная бессюжетность нынешней литературы, — я старался в нем избежать ложной глубины и схемы. Однако довольно, я замучил тебя.

Что бы ни вышло из наших предположений (особенно из последнего), я уже и сейчас в выигрыше. Мы перекинулись с тобой письмами, и, как мне кажется, в самом широком, ни к чему не обязывающем и ничего не меняющем смысле ты мне позволил надеяться, что мы союзники. Это значит вот что. Только в самое последнее время, отчасти из-за болезни руки, отчасти под давлением обозначившегося возраста, я почувствовал, что только мириться с административною росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени, попробовал выйти на публику. «Рискованной» я сказал в том смысле, что я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас

дома было для меня открытием. Вот другое. За последние два года я, поначалу отрицательными путями, из нападок (здешних), на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем что бы то ни было другое. Они выпускают альманахи «Transformation», нечто среднее между «превращением», «перерождением» и «преображением». Им пишут статьи мыслящие представители англиканской церкви. Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма, Прусту, Рильке, Блоку. Сомовским портретом Блока открывался их первый альманах! Во втором они дали «Цикад» Бунина. Они зачислили меня в свое братство, поместили «Детство Люверс» в 1-м альманахе, и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи. Их вожак — драматург и поэт Герберт Рид²⁰, и надо, наверное, знать несравненно лучше язык и, кроме того, жить в их условиях, чтобы правильно судить об их деятельности, но насколько захватывают близостью и глубиной содержания их критическая и мировоззрительная часть, настолько бледными показались мне их художественные отрывки. Впрочем, я никогда не понимал неконкретного, отвлеченного *vers libre* а, и он казался мне водянистым и бессильным не только у Рукавишникова и Дюамеля, но иногда, страшно сказать, и у Гете.

Все это я рассказываю тебе, чтобы ты понял, в каком отношении радостен мне твой отклик. Это тот поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веянием единенья, без которого нет бессмертия. На одном из вечеров я прочел пустяк, которым пока отделяюсь впредь до написания чего-нибудь настоящего памяти Цветаевой²¹. Он произвел впечатление. Я его тебе посылаю. Спасибо!! Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Сердечный привет твоей милой жене.

Дурылин — Пастернаку

Конец июня 1945 г. Болшево

Дорогой Боря!

Я пишу только полслова. Я крепко, крепко жму твою руку, старую, верную, дружескую руку — и чувствую твое письмо, как радостное рукопожатие на общую работу.

Все сделано, о чем ты пишешь. С наслаждением буду писать о твоём Шекспире — первом Шекспире, который захотел жить в России, и о твоих книгах. Для статьи, очевидно, нужно дождаться выхода твоего сборника. Не надивлюсь, в каком виде я получил книжку твоих стихов. Кто был сей любитель автографов и отчего он любит их собирать?

Пожалуйста, напиши мне то, что отнял у меня этот любитель автографов, — и верни книжку²².

На большое твое письмо буду отвечать большим письмом. А пока ограничиваюсь этими строками и обнимаю тебя крепко.

Цветы Марине Цветаевой чудесны.

Сереза.

Пастернак — Дурылину

3 июля 1945 г. Переделкино

3 июля 1945 г.

Дорогой Сереза!

На этот раз это действительно левою, но ты не огорчайся, я, Бог даст, двадцать раз вылечусь.

Видишь, как часто я стал надоедать тебе. Зимой исполнилось 135 лет со дня рождения Шопена, и «Сов[етское] иск[усство]» спешно, за два дня до даты, заказало мне статью, месяцы восхищалось ею, восхищалось и не напечатало²³. Мне жалко этих мыслей, я хочу, чтоб ты их прочел. По ознакомлении передай статью (как, может быть, и стихи о Марине) в Скрябинский музей, ему в собственность. Если они захотят для кого-нибудь переписать ее, то только с абсолютной, абсолютнейшей выверкой до последней запятой, — скажи это, пожалуйста, девочкам.

Это не напоминания, не способы тормозить тебя и отвлекать. Если ты вздумаешь написать мне, я решу, что ты меня в

этом заподозрил, и обижусь. Так что лучше забудь обо мне.
Сердечный привет Ирине Алексеевне.

Твой Боря.

14

Дурылин — Пастернаку

Июль 1945 г. Болшево

Дорогой Боря!

С истинным увлечением прочел твою статью о Шопене. Слово «реализм» — сейчас одно из самых усталых, перегруженных, ослабевших слов. В се в искусстве оказалось «реализмом»: и Данте, и Бальзак, и Бетховен, и Рафаэль, и Байрон, и Мусоргский, и Тютчев, и Золя, — все реализм.

Получилась какая-то «мала-куча» из поэтов, композиторов, живописцев всех веков и народов, которая будто бы и есть некий пан-реализм звука, краски, слова. В действительности, потеряно самое отношение к *res** в искусстве, и чтобы выбраться из этой «мала-куча», надлежит вернуть себе обоняние, слух, зрение на создания искусства.

У тебя слово «реализм» в приложении к Шопену опять освежает, начинает пахнуть бытием, а не затхлою комнатой в современной редакции.

Слыша толки о том, что Мусоргский — реалист, а Чайковский — нет, Шалапин как-то сказал: «Не в том дело, что музыка Мусоргского есть реализм, а в том, что его реализм — есть Музыка». Он произнес это слово с большой буквы, с очень большой.

Вот так произносится это слово у тебя в статье о Шопене.

Когда говорят о реализме, я всегда вспоминаю Вячеслава Иванова с его излюбленной формулой: «*A realibus ad realio-ga*». «Реальное» всегда понимается как покорно и покойно пребывающее в своей раз и навсегда отмеренной и измеренной области: отсюда и досюда. А между тем, оно неизмеримо, это «реальное», и несовместимо ни с какою исчерпанностью и ограниченностью пределов. «Реальное» всегда со знаком бесконечности, неисчерпаемости, продолжаемости *ad infinitum***. И в этом смысле музыка, а не архитектура, не скульптура, не живопись, как принято думать, есть реальнейшее из искусств, ибо музыка только потому и музыка, что она не может бытийствовать иначе, чем под знаком *ad infinitum*.

* Вещь, предмет (лат.).

** До бесконечности, беспредельности (лат.).

В этом смысле, продолжая думать, — Шопен несравненно «реальнее» Мусоргского, а «Дон-Жуан» Моцарта с его устремленностью к извечному ритму любви-страсти несравненно реальнее пресловутого «Каменного гостя» Даргомыжского, с его слепую прикованностью к слову, — а в сущности, — к рационалистическому мирозерцанию 60-х годов.

В Шопене есть то — в каждом его opus e, — что Гете требовал от каждого стихотворения: есть внутреннее событие, есть неразложимый (и неисповедимый!) факт бытия (н е бытования, н е бывания, а б ы т и я!), который и порождает музыку э т о г о этюда или э т о й мазурки.

А вот в музыке Прокофьева нет «внутреннего события», нет вовсе «ges» бытия. А потому его музыка — чисто формальная, а вовсе не реальна. Оттого она и внутренне ничтожна, а внешне представляет собою лишь формальную «звукопись».

Ключом, которым ты отпираешь уединенную старинную комнату Шопена, можно отпереть, мне кажется, и любую комнату современного поэта или музыканта. Мне давно сдается, что у 99/100 современных поэтов нет никаких gealia, — и они даже не подозревают, что могут быть еще realiora.

В этом смысле ты — великое исключение.

Стихи твои к Марине Цветаевой — в сопоставлении с лучшими твоими стихами былых годов — это стихи с realiora, а не только с gealia.

Они прорывают всяческие «бытования» и «бывания», жизненные и условно поэтические (то, что Верлен называл «литературой»). Они заставляют трепетать скорбью, гневом — и вместе великим утешением подлинного «бытия». Это и элегия, и дифирамб, — и со времен лермонтовской «Смерти поэта» не было в нашей поэзии таких звуков и скорбно-элегических, и грозно-дифирамбических одновременно.

Это у тебя что-то новое, высоко-смелое, глубокое и проникновенное, — и произнесенное так, как Пушкин писал про Мицкевича: «он с высоты взирал на жизнь»²⁴. Только я прибавлю: и на смерть. А сколько укоров совести, горечи и слез, это труднее, вольются в твои стихи, — и уже влились. Как всякий истинный дифирамб и настоящая элегия-эпитафия, твои стихи дают исход нашим чувствам, вызванным этою смертью.

Я помню Марину, когда она еще почти ребенок, печатала первые стихи в «Антологии Мусагета» и Эллис говорил о ней как о ребенке, для которого жизнь — «волшебный фонарь» (каково и было название ее книги стихов). О ее смерти я узнал от В. К. Звягинцевой. Это была одна из самых

тяжелых вестей, которую мне пришлось услышать за все время войны.

И вот всю эту тяжесть, всю эту память о «Волшебном фонаре», этой прекрасной жизни и поэзии, всю благодарность за свет и тень этого фонаря, всю скорбь и горечь за эту смерть — все выразили твои стихи.

Они твои и не твои: твои потому, что это лучшие твои стихи, не твои потому, что их всяк возьмет в свою душу, в свою совесть и оставит их там навсегда.

Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть! А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет среди дня.

Лев Толстой плакал над этими стихами Фета²⁵. Вот так легко плакать и над твоими стихами о Марине. И плачут над ними.

Обнимаю тебя крепко и сердечно. Большая радость — читать твои работы, думать о тебе и копить эти думы для статей, посвященных твоей правдивой и чистой музе.

Твой С.

P. S. В статье английского профессора о тебе меня поразило и утешило то, что он горячо хвалит твой перевод «Быть или не быть», тогда как Морозов ругает его. За что ругает? В сущности, за то, что в нем нет трафарета «монолога», что в нем чувствуются не театральные мысли вслух для зрителя, а подлинное, жизненное дыхание живого человека, простой вздох-выдох его сердечных раздумий и мыслительной тревоги.

Я просто был счастлив, что шекспировед-англичанин подтвердил мое собственное отношение к этому куску трагедии в твоём переводе.

PP. S. Спасибо за книжку и за чудесный автограф

Сереза.

15

Пастернак — Дурылину

10 сентября 1945 г. Переделкино

10 сентября 1945 г.

Дорогой Сереза!

До меня дошли слухи, что твоя статья в редакции. Вместе с тем она не появляется. Значит, и с тобою, как всегда со мною, там что-то неладное. Одинаковая гордость и за тебя и за себя не позволяет мне наводить справки. Но что бы там

ни было, прости, что я оказался несчастною или неустойчивой темой и не по своей вине (это ведь все страшные мерзавцы и обманщики!) обманул тебя как возможность. Мне страшно обидно и совестно, что ты потратил на меня время, которое еще не окупилось. Не уничтожай, пожалуйста, статьи, она когда-нибудь понадобится. Я ее не видел и не имею понятия о ней. Несмотря на эту задержку, я всегда буду называть тебя как ближайший мне авторитет (как остается с Шекспиром), пока ты мне этого не запретишь.

Целую тебя.

Твой Б.

Дорогой мой друг. Прости за спешку и скороговорку Строчу как каторжный. Рука прошла.

16

Дурылин — Пастернаку

После 10 сентября 1945 г. Болшево

Милый Боря!

Пишу полслова. Статья давно в редакции. С нею очень торопили, но не печатают. Ирине сказали: «Мы ожидали, что это будет статья, а это — литературный портрет».

Но, впрочем, ее-де кто-то еще не читал, от кого все зависит. А я рад, что ее написал, и очень рад, что это — «портрет», а не карикатура, которой, может быть, им хотелось бы. О Шекспире рад писать в любое время.

Обнимаю тебя.

С.

У меня есть 2 экземпляра статьи. Один для тебя.

17

Пастернак — Дурылину

25 сентября 1945 г. Переделкино

Дорогой Сережа!

Спасибо тебе за письмо. Прочитать твою статью было бы для меня истинным наслаждением. Если бы Ирина Алексеевна как-нибудь оказалась в наших краях и могла бы занести ее в домоуправление, это в придачу ко всему прежнему обязало бы меня еще больше по отношению к ней и к тебе.

Целую тебя.

Твой Б. П.

Пастернак — Дурылину

27 января 1946 г. Переделкино

27 января 1946 г.

Дорогой Сережа!

У меня сейчас возможность два-три месяца потрудиться над чем-нибудь своим. Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от «Мусажета» до последней войны, опять мир «Охранной грамоты», но без теоретизирования, в форме романа, шире и таинственнее, с жизненными событиями и драмами, ближе к сути, к миру Блока и направлению моих стихов к Марине. Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах.

Если ты меня любишь, знай и помни, что на какие бы сроки без следа ни проваливался я, это не значит, что я забыл тебя, что в вещах, о которых я писал тебе летом, могло что-нибудь измениться. Если я не сказал, что в числе немногих, для кого я в данные дни пишу свою вещь, я пишу ее для тебя, то только оттого, что это, верно, выше моих сил и я этого сказать не смею.

Мою поспешность довершает то обстоятельство, что досуг, завоеванный мною для моей собственной работы, поддерживается усердием на посторонние темы, переводами, вводными статьями к ним и пр., и это отрывает от своего, нарушает сосредоточенность и сокращает время. Все, в чем признавался я тебе летом, только выросло и усилилось. Единственная цель письма, обнять и пожелать тебе счастья, здоровья и плодотворности. И чтобы ты не судил по видимости, чтобы не сожалел, не обвинял.

Я говорю это с тем большим поводом, что все время нас разлучали с тобой, по статье в «Лит[ературной] газете», по Шекспиру, который все время стоял на точке замерзания, по всему. Что я ни предпринимал, не в моих силах было противостать этому разъединенью, именно потому такому упорному, что так откровенно велико было мое желание работать вместе с тобой.

Теперь Чагин ушел из Гослитиздата и Шекспира согласно издать «Искусство». Конечно, я и у них назвал тебя. Там ты в страшном почете, но от тебя, как редактора собрания, они отказались под тем предлогом, будто скажут, что они («Искусство») и я спрятались за тебя от лингвистов и текстоло-

гов*. Я отказался от М[ихаила] М[ихайловича]²⁶. Нам надо будет прийти к какому-то соглашению. Сколько я ни просил в «Лит[ературной] газ[ете]» показать мне твою статью, я по сей день так ее и не видел. Они врут, будто они ее затеряли. Я слышал, будто они опять заказали кому-то новую статью о моей несчастной книжке, кажется снова Зелинскому, первую статью которого они тоже забраковали. Мне страшно обидно за тебя и горько, что все это благодаря мне. Будет ли оправданием, т. е. будет ли тебе легче, если я скажу, что все время исправно глотаю во сто раз худшие обиды? Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Сердечный привет Ирине Алексеевне.

19

Пастернак — Дурылину

24 марта 1946 г. Переделкино

Дорогой золотой мой Сережа!

Все эти дни рвусь расцеловать тебя за твою поразительную статью. Дело не в том, что ты так без меры расхвалил меня в ней, и не в том, что она бьет не в бровь, а в глаз и так прекрасно написана. Больше всего взволновала она меня тем, что ты так живо, свободно и благородно веришь мне. Милый Сережа, знай, что, хотя я еще не заслужил этой веры, я ее оправдаю. Нам надо еще пожить с тобой, мы должны пожелать этого друг другу. Сейчас больше ничего не хочется говорить. Без конца благодарю тебя.

Твой Боря.

Кланяйся, пожалуйста, Ирине Алексеевне.

20

Дурылин — Пастернаку

7 апреля 1946 г. Болшево

7 апреля

Милый Боря!

Оба твои письма были для меня праздником, весенним праздником старой любви и нового братства по мысли, по сердцу. Но я из-за болезни, преследующей меня в этом году,

* Чагинская и моя точка зрения, что лингвисты, текстологи в этом вопросе величины несуществующие или которыми можно пренебречь, до них не доходит. (Примеч. Б. Л. Пастернака.)

ничем еще не отозвался на эти письма! Моя Ирина послала тебе мою статью вместо ответного письма на первое твое письмо. Больной я ничего не написал. Прости меня за это. Возвращая статью, Ирине прямо сказали в редакции (уплатив за статью деньги): «Мы ожидали от С[ергея] Н[иколаевича] к р и т и ч е с к о й (подчеркнуто!) статьи, а это совсем не то: это портрет поэта». Я пришел в восторг от этой правды поневоле. Если это, действительно, портрет поэта, — то я ничего другого и не желал бы. Портрет? Ну, и хорошо, что портрет: всякий портрет ценен прежде всего своим сходством с оригиналом. А желали, очевидно, получить от меня нечто, построенное именно на утверждении «несходства» — ведь всегда «к р и т и к а» (как ее обычно понимают теперь) — это прилежное отыскание в поэте (или художнике) н е с х о д с т в а с тем, что почитается образцовой моделью поэта-современника, моделью, сделанной по специальному заказу, по кем-то утвержденным чертежам.

А вся мысль моя в том и состоит, что ты никогда не был похож ни на кого, кроме самого себя, — и никакие чужие бытованья, ничьи чужие быванья никогда не затмевали твоего бытия, подлинного, кровного, высоко-независимого и никем не подавленного.

Как трудно кому-то понять, что руду свою ты добываешь не из «заарендованного» чужого участка, а из родового, глубокого рудника, из собственного сердца, и как не хочется кому-то понять, что эта руда — з о л о т а я!

Вот только это я и сказал в моей статье, — и мне даже не предложили, как часто бывает, ее исправить или изменить; отлично знали, что ничего не изменю, в каждом слове останется одна и та же мысль и уверенность — Борис Пастернак — поэт милостию Музы, а не произволом молвы или прихотью моды.

Да, поживем еще, Боря, — и еще повоюем!

Обнимаю тебя крепко и сердечно.

Твой Сережа.

Меня дважды звал А. Н. Глумов²⁷ на чтение твоего «Гамлета» — и дважды я по болезни не мог быть на этих чтениях. Я писал ему на Филармонию о своем искреннем сожалении; не знаю, дошло ли до него это письмо! При случае засвидетельствуй ему мои благодарность и сожаление.

Пастернак — Дурылину

1949 г. Переделкино

Дорогой мой Сережа!

Я пишу это, чтобы при твоём недосуге заблаговременно уберечь тебя от писанья мне письма о начале романа. Не делай, ради Бога, этого; если бы даже мы были свободнее, это всегда так мучительно для пишущего, даже в наилучших случаях: пишешь, пишешь, говоришь самые страшные восклицательные слова, и все мало, и все мало: и твой незримый адресат в отдалении (всегда кажется, что он должен быть ненасытен, как Минотавр) постепенно становится твоим проклятием.

Катя Крашенинникова сказала мне по телефону, что он тебе понравился. Как ни любят преувеличивать женщины и добрые люди, мне ясно, что ты его не осудил, и я ликую, и с меня довольно.

Ничего не рассказываю и ни о чем не расспрашиваю: все нужное мы друг о друге знаем. И это не напоминание о рукописи. Никто тебя ни в каком отношении не торопит. Ты уже написал мне.

Обнимаю тебя. Привет Ирине Алексеевне.

Твой Б.

Пастернак — Дурылину

23 февраля 1952 г. Переделкино

23 февраля 1952 г.

Дорогой Сережа!

Я тебя не поблагодарил вовремя за твоё замечательное письмо, доставившее мне такую большую и неожиданную радость. Около месяца я провозился с врачами, рентгенами и пр., после двух припадков острой, таинственной и так и оставшейся невыясненной боли в левой нижней части живота. Пока все обошлось, и я с твоего незримого благословения, каковым явилось твоё письмо, снова возьмусь за роман, в своё время доведённый до 18 года (во второй тетради), а потом оставленный для «Фауста», обе части которого я перевёл, и теперь требующий давно задуманного окончания.

Когда я читал твоё письмо, я тебе мысленно направлял ответное послание, ни малейшей доли которого не хочу тут

воспроизводить, чтобы не поставить под угрозу то небольшое, что я хотел бы сказать тебе поскорее.

Что я от души желаю тебе скорейшего выздоровления; что твое письмо заключало в себе редкий подарок и было тоже своего рода романом по целому миру высказанных в нем мыслей; особенно фантастическим было для меня твое сообщение о действительном, невымышленном докторе Живаго, существование которого было для меня неведомо.

Крепко целую тебя.

Любящий тебя

Б. П.

23

Дурылин — Пастернаку

10 марта 1953 г. Болшево

10 марта 1953 г.

Милый Боря!

Неожиданной весенней ласточкой залетел ко мне твой привет, переданный М. С. Так близко ты от меня, но я не могу навестить тебя: я недавно еще из [больницы?] АН СССР, где мне лечили сердце и дыхание.

От всей души радуюсь, что тебе лучше, что светом и теплом веет от тебя, так сужу по М. С. и ее рассказу о тебе. Целую тебя крепко, обнимаю сердечно. Мой телефон:*

И[рина] А[лексеевна] шлет тебе искренний привет.

24

Пастернак — Комиссаровой-Дурылиной

15 ноября 1955 г. Переделкино

15 ноября 1955 г.

Дорогая Ирина Алексеевна!

Я узнал о смерти Сергея Николаевича с большим опозданием.

Я живу в большом отъединении от города и городского общества; из газет читаю только «Правду» и очень редко; иногда мою подпись ставят под коллективными некрологами и обращениями, а сам я об этом ничего не знаю.

Я очень любил Сережу и в далеком прошлом, а когда закладывались основания нашей будущей жизни, многим

* Пропуск в тексте.

обязан ему. Я любил в нем соединение дарованья, способности до страсти служить и быть верным проявлениям творческого начала со скромностью и трудолюбием, позднее обеспечившими ему его огромные познания. Свой высокий вкус, который не был редкостью в наши молодые годы, он сохранил на протяжении всех последующих лет, полных испытаний.

Мне очень легко и отраднo будет присоединить свои воспоминания к составляемым Вами. Но, наверное, еще месяца три или больше я буду занят до крайности и совершенно неопи-суемо, точно так же, как в настоящее время.

Я совсем недавно в чернильной рукописи кончил свой роман, вторую книгу, очень большую. Его окончание перебили мне одним театральным предложением²⁸. Я на месяц с чем-то отложил работу, не имевши случая перечесть и просмотреть, что я написал. Теперь надо это сделать. Мне не терпится привести это в форму, пригодную для перепечатки на машинке и чтения для друзей, очень многочисленных. Это живая внутренняя потребность, в которой я не могу отказать себе. Эту возможность можно отвоевать только силой, ценой насильственного разобщения со знакомыми и отказа от переписки и многого другого.

Вот причина, почему и не смогу я участвовать в вечере, о котором Вы пишете. Я нигде не выступаю и по другим соображениям, но сейчас главное препятствие к этому — отсутствие времени и напряженная работа. Так же точно пришлось мне отказаться от выступления на вечере памяти Есенина и от участия в предполагающемся вечере, посвященном Блоку, память которых так же близка и дорога мне, как и Сережина.

Мне очень дорого Ваше письмо. Это нескромно и очень далекие догадки, но мне кажется, что в жизни Сергея Николаевича, истонченной и одухотворенной до хрупкости, Вы были добрым гением, веянием и дуновением радости и здоровья. Как таковой, как большому другу большого человека я и выражаю Вам свое глубокое сочувствие и уважение. Все, что Вы перечисляете в письме, все Ваши замыслы и предположения — прекрасны, дай Вам Бог удачи в них.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

Пастернак — Комиссаровой-Дурылиной

1 октября 1958 г. Переделкино

1 октября 1958 г.

Дорогая Ирина Алексеевна (простите, если Вы Александровна, я забыл и не уверен) —

мне хочется похвалить Вас за горячую, деятельную заботу о сохранении в свежести и силе памяти Сергея Николаевича. Я так же тронут и благодарю Вас за то, что Вы снова обратились ко мне со своею приятною и лестною просьбой. Я, наверное, напишу что-нибудь о С[ергее] Н[иколаевиче]. Я не столько обещаю Вам это, сколько сам этого хочу и в это верю. Но, наверное, я примусь за это не раньше весны, если доживу. Меня отвлекает от чего бы то ни было радостный, счастливый недосуг, который создает мне переписка на трех иностр[анных] языках с читателями и разными лицами, пишущими мне по поводу романа «Докт[ор] Живаго», но когда-нибудь этот угар и праздник кончится, и тогда в числе серьезных трудов и работ, к которым я вернусь, будут на первом месте те несколько живых страниц, посвященных С[ергею] Н[иколаевичу] годам в десятых, которые мне уже и сейчас заманчиво рисуются.

Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак.

Не беспокойтесь, пожалуйста, о состоянии и сохранности моих писем и сверх того попутного и минутного интереса, который может представить для Вас их использование, совсем не думайте о них. Я знаю, Вы не поверите, но у меня нет ничего похожего на архив или библиотеку, или что-нибудь подобное, все пропадало при переездах и семейных перемещениях, а черновики, остававшиеся от больших работ, я, по изготовлении их беловиков, уничтожал. Даже то, чем я дорожил и что старался беречь (как, например, письма родителей или Мар[ины] Цветаевой) — пропадали. Конечно, письма С[ергея] Н[иколаевича] ко мне где-то есть в какой-нибудь из забытых корзин, но где? — у меня никогда нет ни минуты времени все это разобрать и привести в порядок.

Примечания

¹ Копия письма в дневнике Дурылина предварена следующей записью: «1 ноября по н[овому] с[тилю] я написал Боре. Выписал начала Звягинцевой и Виноградова (об упоминании Дурылина в «Охранной грамоте») и пишу дальше».

² Пастернак Б. Избранные стихи. М: Узел. 1926.

³ Стихотворение было записано С. Н. Дурылиным в дневник в мае 1928 г.

⁴ В квартире Пастернаков в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице.

⁵ «Книга часов» — сборник стихотворений Р.-М. Рильке в переводе Ю. П. Анисимова. (Рильке Р. М. Книга часов. Ч. 1. М., 1913).

⁶ Письмо Н. К. Метнера скопировано Дурылиным в своем дневнике.

⁷ Кроме «Охранной грамоты» зимой 1930/31 г. был окончен роман в стихах «Спекторский».

⁸ Дурылин С. Н. Сибирь в творчестве В. И. Сурикова. М., 1930.

⁹ Дурылин С. Н. Василий Иванович Качалов. М.; Л.: Искусство, 1944.

¹⁰ «Гамлет» в переводе Пастернака во МХАТе поставлен не был.

¹¹ Петр Иванович Чагин был в то время директором Гослитиздата.

¹² Ренн К.-Л. Шекспир в переводах Пастернака//Британский союзник. 1945. № 22.

¹³ Екатерина Александровна Крашенинникова, Ирина Ивановна Софроничья, Ольга Николаевна Сетницкая.

¹⁴ Редактором «Литературной газеты» в 1945 г. был А. А. Сурков. Он же автор разносной статьи «О поэзии Б. Пастернака» (Культура и жизнь. 1947. 21 марта).

¹⁵ Пастернак написал рецензию на «Избранное» А. А. Ахматовой 1943 г.

¹⁶ Морозов М. М. Шекспир в переводе Бориса Пастернака//Театр. М.: ВТО, 1944.

¹⁷ Дурылин С. Н. Нестеров-портретист. М.; Л.: Искусство, 1949.

¹⁸ Критик Евгения Ивановна Ковальчик была заместителем редактора «Литературной газеты» по разделу литературы и искусства.

¹⁹ Пастернак Б. Л. Избранные стихи и поэмы. М., 1945.

²⁰ Рид Херберт — английский поэт, критик, искусствовед.

²¹ Стихотворение «Памяти Марины Цветаевой».

²² Вероятно, лист с дарственной надписью Пастернака был вырван из посланной книги. Пастернак сопроводил повторную присылку книги с дарственной надписью следующей запиской: «Пустяковая надпись, не стоящая восстановления. Но странно, не правда ли? Вероятно, «энкавидимка», как говаривал покойный Б. Корнилов. Целую тебя. Твой Б.»

²³ Статья «Шопен» была опубликована в № 15—16 журнала «Ленинград» за 1945 год.

²⁴ У Пушкина: «И свысока взирал на жизнь».

²⁵ Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета. «А. Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыдания...»).

²⁶ М. М. Морозов, шекспировед (см. примеч. 16).

²⁷ Александр Николаевич Глумов — писатель, актер, музыковед.

²⁸ Перевод «Марии Стюарт» Шиллера для МХАТа.

ПИСЬМА С. С. НАРОВЧАТОВА К О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ

Публикация Н. Г. Королевой

Недавно фонды ЦГАЛИ пополнились архивом советской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц (1910—1975).

Имя Ольги Берггольц навсегда связано с Ленинградом. Ее слова «Никто не забыт, и ничто не забыто», высеченные на мемориале Пискаревского кладбища, знают все. Они звучат как Вечная Память не только жертвам жестокой блокады Ленинграда, но и всем погибшим в страшной войне с фашизмом.

Наряду с творческими материалами О. Ф. Берггольц значительную часть архива составляет переписка поэтессы с видными деятелями литературы и искусства, читателями, начинающими авторами, а также с фронтовиками: писателями и журналистами, бойцами и командирами Советской Армии. Среди них особое место занимают письма поэта Сергея Сергеевича Наровчатова (1919—1981).

Они познакомились в июне 1940 года в Коктебеле, в доме поэта М. А. Волошина.

Ей — 30 лет. Она — автор нескольких стихотворных сборников и книг для детей. За ее плечами большой опыт журналистской работы сначала в Казахстане, в краевой газете «Советская степь» в качестве разъездного корреспондента газеты, а затем в заводской многотиражке на ленинградском заводе «Электросила». И удары судьбы: арест и расстрел первого мужа, поэта Бориса Корнилова, смерть дочерей, 171 день в тюремной камере*...

Ему — 21 год. Он — недавний студент Московского института истории, философии и литературы, начинающий поэт. В войне с Финляндией, куда он пошел добровольцем, принял боевое крещение.

И вот — лето в Коктебеле.

«У незнакомки были светло-льняные волосы, показавшиеся мне выгоревшими, но лицо ее еще не тронул южный загар, и, значит, она привезла их такими с севера. И уж конечно с севера привезла она свои глаза, тоже лен, но не желтый, а голубой. Впрочем, это было впечатлением лишь от цвета глаз, а так они были прозрачны до самого дна. Взгляд их был прям, обнажен и бесстрашен до отчаянья». Такой была Ольга Берггольц в то лето, такой запомнил ее Сергей На-

* О. Ф. Берггольц была арестована 13 декабря 1938 г., освобождена 3 июля 1939 г.

ровчатова (См.: Наровчатова С. Мы входим в жизнь. М., 1978. С. 188).

Впечатления и ощущения этого лета Ольга Берггольц выразила в стихотворении «Ласточки над обрывом»:

Как обрадовалась я
твоему прикосновенью,
ласточка, судьба моя,
трепет, дерзость, искушенья!

Точно встала я с земли,
снова миру улыбнулась.
Точно крылья проросли
там, где ты крылом коснулась.

(Берггольц О. Собр. соч.: В 3 т.
Л., 1972. Т. 1. С. 105).

«И вот грянуло 22 июня, рассекшее жизнь каждого из нас на две части. Долго спустя мы будем мерить назначенный нам путь бытия двумя мерками «до» и «после». Наши дочери и сыновья не знают этого деления и, даст бог, не узнают его никогда. Война разметала всех нас в разные стороны», — напишет через много лет в своих воспоминаниях С. С. Наровчатова (Мы входим в жизнь. С. 192).

Ольга Берггольц осталась в осажденном Ленинграде. И все 900 дней блокады голос Ольги Берггольц звучал по ленинградскому радио, возвещая на весь мир, что Город жив и борется.

Сергей Наровчатова с июля 1941 года находился в Московском истребительном батальоне, а с октября — он уже на Брянском фронте в армейской газете «Сын Родины». Попадал в окружение и выходил из него вместе со своим другом, поэтом Михаилом Кузьмичом Лукониным. Затем воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, работал в газете «Отвага». Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Прибалтику, Польшу. Закончил войну С. С. Наровчатова в Германии, в звании капитана, имея награды Родины: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».

На фронте С. Наровчатова пытается связаться с О. Берггольц. «Зимой 1942 года из-под Ливен я послал наудачу письмо в блокированный Ленинград. В него я вложил стихи, написанные незадолго перед тем. «Запоминал над деревнями пламя, и ветер, разносивший жаркий прах, и девушек, библейскими гвоздями распятых на райкомовских дверях». Все это действительно было пережито нами, когда мы вместе с Михаилом Лукониным выходили из окружения Брянскими лесами. Письмо пересекло блокаду — чудо, но это так! — и я

получил ответ, положивший начало переписке» (там же. С. 193).

Не зимой 1942 года, как пишет в воспоминаниях Наровчатова, а весной, 25 апреля 1942 года им было послано это письмо.

Переписка выдержала испытание войной и временем. Она продолжалась до 1970 года.

В настоящую публикацию включено 17 писем С. С. Наровчатова к О. Ф. Берггольц с 25 апреля 1942 года по 5 марта 1945 года и письмо от 4 июля 1970 года из фонда № 2888 — О. Ф. Берггольц.

Некоторые из них воспроизводятся с незначительными купюрами. Переписка 1940-х годов охватывает небольшой временной период — три военных года. И это не просто письма, а письма с фронта, в которых факты, мысли и чувства сконцентрированы до предела, потому что автор их всегда помнил, что следующего письма может и не быть, а также знал, что они не всегда доходят до адресата, тем более если идут через блокадное кольцо. Поэтому в письмах случаются и повторы, поэтому в них сразу обо всем: о военных буднях, скудные сведения о себе и много поэзии. Письма Сергея Наровчатова переполнены стихами, рожденными сразу после боев. На фронте он формировался как поэт и стал им. Здесь были созданы его лучшие стихи о войне. И в письмах к Ольге Берггольц они представлены в своем первоизданном виде, только что вышедшие из-под пера, первые их варианты. В них боль за родную поруганную землю, за нечеловеческие страдания народные, ненависть к фашистским оккупантам и неиссякаемая вера в победу.

В письмах много размышлений о поэзии вообще и о поэзии Ольги Берггольц в частности, дается высокая оценка ее поэме «Февральский дневник». Ольга Берггольц писала ее в самое тяжелое блокадное время — в январе-феврале 1942 года. Весной этого же года, когда Берггольц удалось прилететь в Москву из осажденного Ленинграда, она передала поэму родителям С. С. Наровчатова, не рискуя пересылать ее почтой на фронт.

Наровчатову по долгу службы также приходилось наездами бывать в столице. И каждый раз, попадая в Москву, он старался показать свои стихи кому-нибудь из поэтов. Так, в один из своих приездов ему посчастливилось встретиться с Н. Н. Асеевым, К. М. Симоновым, О. М. и Л. Ю. Бриками, которым Наровчатов читал свои стихи и получил их полное одобрение. Н. Н. Асееву, И. Г. Эренбургу, Д. Самойлову Сергей Наровчатов также посылал письма и стихи с фронта (ф. 28,

оп. 1, ед. хр. 241; ф. 1465, оп. 1, ед. хр. 11; ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 1957).

В письмах Сергея Наровчатова ощущается постоянная жажда познания, общения с творчеством больших писателей. В условиях фронта в свободные часы Наровчатову удается перечитать роман Л. Н. Толстого «Война и мир», познакомиться с творчеством Ш. Руставели. Ольгу Федоровну он просит прислать на фронт книги его любимых поэтов М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, Б. Л. Пастернака, Р. Киплинга, а также последний сборник ее стихов, очевидно, имея в виду «Ленинградскую тетрадь» (М.: Советский писатель, 1942).

Письма Наровчатова передают непреходящую потребность автора завязать спор о поэзии, читать окружающим свои стихи и чужие. Его слушателями были бойцы и коллеги по фронтовым газетам «Сын Родины», «Отвага», «На страже Родины»: С. С. Кара-Дэмур, Абрам Маграчев и другие. Особенно горячо принимали бойцы стихотворение Н. С. Тихонова «Перекоп». В письмах Наровчатова много цитат из своих стихотворений, стихов Ольги Берггольц и других поэтов.

Сергей Наровчатов неравнодушен к произведениям своих товарищей. Очень доброжелательно и тепло отозвался он о стихотворении «Листопад» Галины Шерговой, теперь известного критика и публициста.

В преданности Сергея Наровчатова поэзии, склонности к критическому анализу и сравнению творчества разных поэтов чувствуется не только будущий большой поэт, но и страстный литературный критик. В письмах его упоминаются имена Хлебникова, Маяковского, Цветаевой.

После прорыва блокады в феврале 1943 года Наровчатову несколько раз удалось побывать в Ленинграде. Здесь он знакомится с ленинградскими поэтами Н. С. Тихоновым (который впоследствии, в 1968 году, напишет предисловие к книге стихов Сергея Наровчатова «Через войну») и В. М. Инбер. Читает ее поэму «Пулковский меридиан», написанную в Ленинграде в 1942 году. Не раз Наровчатов встречался и беседовал с О. Ф. Берггольц и литературоведом Г. П. Макогоненко (в письмах назван Юрой), который в годы войны был редактором литературного отдела Ленинградского радиокомитета.

На фронте происходит важное событие в жизни Наровчатова. В 1943 году он был принят в ряды Коммунистической партии (кандидатом в партию он стал, как пишет в письме от 25 апреля 1942 года, уже в первые месяцы войны). Рекомендацию в партию Наровчатову прислала на фронт О. Ф. Берггольц по его просьбе.

В письмах Сергей Наровчатов предстает перед читателем

не только как поэт — защитник Родины, но и как поэт-интернационалист, освобождающий народы Прибалтики, Польши, Германии от фашизма.

Наровчатов сострадает и сочувствует полякам, поднявшим 1 августа 1944 года антифашистское восстание в Варшаве. В нем участвовало все население города от мала до велика. Восстание было жестоко подавлено немецко-фашистскими войсками 2 октября 1944 года.

Наровчатов верил в победу демократических сил Польши, которые тогда спланировались вокруг Польской рабочей партии и Польского Комитета национального освобождения, находящегося в Люблине. В письме от 25 июня 1943 года упоминается о Союзе польских патриотов в СССР. Эта массовая антифашистская организация была создана в 1943 году при содействии польской писательницы Ванды Василевской.

Завершает публикацию письмо, хронологически выходящее из общего ряда военных писем. Оно послано Наровчатовым О. Ф. Берггольц 4 июля 1970 года в связи с ее 60-летним юбилеем, который широко отмечался в Ленинграде. Это — своего рода постскрипtum, подводящий итог их многолетнего диалога. В нем пережито поэтом заново все, что так волновало и было так близко и дорого ему в те далекие незабываемые годы. Сопоставление творчества О. Ф. Берггольц со стихами своего самого близкого друга, замечательного русского поэта Ярослава Смелякова еще раз свидетельствует о том, как высоко ценил Наровчатов поэтический талант и человеческие качества О. Ф. Берггольц.

Письма Сергея Наровчатова к Ольге Берггольц — это целая жизнь одного поэта, открыто и честно доверенная другому поэту.

1

25 апреля 1942 г.

Действ. армия 25/IV — 1942 г.

Оленька!

Писал тебе. Получила ли ты мою открытку? Я седьмой месяц на фронте. Видел столько, что на 20 лет вперед хватит. Вот один месяц, из прожитых мной:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казенных городов,
Сквозь черный плен земли своей родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал: над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

Запоминал: как грабили, как били,
Глумились как, громили второпях,
Как наши семьи в рабство уводили
И наши книги жгли на площадях.

И был разор. И все бесчинства метил
Паучий извивающийся знак.
И виселицы высились. И дети
Повешенных старели на глазах.

Старухи застывали на порогах
И вглядывались тёмны и строги —
Российские исконные дороги
Немецкие топтали сапоги.

В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославу,
Во всех ручьях Непрядву узнавал,

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный!
Которой мезтью мстить мне за тебя?!

Все написанное здесь — сам видел и пережил. Немцев мало сказать — ненавижу, когда думаю или говорю о них, руки трясутся от злобы. Я их трижды ненавижу — как русский, как коммунист и как человек.

Еще в начале войны — вступил [кандидатом] в партию. Вне ее в эти дни я себя не мыслю.

В первые же дни подал добровольцем, но меня направили в московский истреб[ительный] батальон, где я пробыл отсеком комсомола 3 месяца, пока Главпур меня не взял оттуда и не направил в редакцию военной газеты литсотрудником. В этой газете я работаю и сейчас. Вместе со мной, с первых дней войны мой старый товарищ — Михаил Луконин, человек смелости безупречной и прекрасного и возвышенного образа мыслей, как выразились бы наши прадеды. Из серьезных боев, которые я прошел, назову бои под Брянском и под Ельцом.

Тебя я помню и люблю неизменно. Помню тебя —

Где солнце в полнеба, где воздух как брага,
Где врезались в солнце зубцы Кара-Дага,
Где море легендой Гомеровой брошено,
Ковром киммерийским у дома Волошина!

Милое твое лицо и сейчас передо мной. Сколько я хорошего у тебя взял, Оленька!

Большая война идет. Россию отстаиваем, коммунизм утверждаем... Мы победим, во что бы то ни стало. В войне с саламандрами победят люди. Тогда мы снова вернемся в свои освещенные праздничные города и... Тогда мы встретимся, Оленька, и многое-премногое расскажем друг другу.

Пиши мне. Я знаю, как трудно вам в осажденном городе. Но ленинградцы становятся легендой и о вас уже сейчас слагают песни. Я верю и знаю свою Ольгу. Оставайся такой же, какой я тебя знал, моя чудесная.

Целую тебя горячо

Сергей.

2

29 апреля 1942 г.

29/IV — 42 г.

Оленька!

Твое письмо потрясло меня. Земной поклон тебе и твоему Городу. Мне трудно писать — так я ошеломлен тобой. Знаешь ли сама — что ты?

Ты снова уехала туда. Я руку закусил, когда прочел, в глазах темно стало. И все-таки это правильно, справедливо. Красивая ты моя!

Сейчас, что ни день — то лист из книги Бытия. Всю меру древнего горя испытали мы и прибавили к нему свое.

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казенных городов...*

Здесь нет ни одной строки — заживо не виденной, не пережитой. В октябре прошлого года, одетый в рубище, обросший, преследуемый, идя по земле, опустошенной немцами, я вспоминал себя в предках времен «Слова» и набега Батыева. В селе Хасунь, где немцы перебили все население 312 человек от грудных младенцев до стариков только за то, что они русские (об этом было в газетах), где они распяли, да, распяли учительницу и где смерть миновала меня с Лукониным чудом необъяснимым, я узнал настоящую горе и настоящую ненависть.

Что мне сказать о себе сейчас — я живу, я работаю, я на войне, я в партии.

* Полностью повторено стихотворение из письма № 1.

О смерти мужа — знаю, что все слова сочувствия будут легковесны и ненужны. Если бы мы встретились — я бы поцеловал тебя и промолчал бы с тобой ночь. Одно скажу — жалею тебя, Оленька, всем своим сердцем.

Я рад, что ты была у родителей и вы понравились друг другу. Они действительно очень хорошие и простые люди и любят меня не меньше, чем я их. Они написали мне, что ты была у них, и добрыми словами говорили о тебе.

Я действительно женился, и у жены недавно родилась дочь. Ее назвали Ольгой.

Последние дни в ушах звенит одна старая песенка, которую ты как-то напела мне. «Трансваль» — она сейчас снова живет, простенькая и горестная.

Сейчас трудно писать о своем — происходящее таково, что вся наша жизнь и жизнь нескольких поколений после нас будет определяться им. Больше этого, что мы узнали за год и узнаем еще в предстоящие год-два, — на наших глазах не произойдет...

Я хочу, чтобы ты писала мне. Я люблю тебя, Оля. Люблю.

Жду твоих писем.

Целую тебя.

Сергей.

Я послал письмо и открытку по твоему старому адресу — мама мне его выслала, — т. к. записную книжку я потерял в одной из передряг, со мной случившихся. Письма эти, наверно, не дошли.

Поздравляю тебя с праздником нашим — 1-м мая.

С.
Адрес — Действ[ующая] армия. 442 полевая почта. Редакция газеты «Сын Родины». Мне.

3

15 августа 1942 г.

15/VIII—42 г.

Оля!

Хочу поговорить с тобой. Я тебе писал, но неожиданно для себя переменял адрес и ответных строк от тебя не дождался. А мне хочется говорить с тобой. Твое апрельское письмо — со мной: это самое сильное из твоих стихотворений. «Февральский дневник» по-настоящему хорош, и я видел, какое впечатление он производит на самых простых людей, и переживал и радовался за него, как за свои стихи. Но пись-

мо твое — это бессонные ночи, неде[ли], или не помню сколько — поэтому я так о нем говорю.

Я многое хочу сказать тебе, но мысли мешаются — всегда когда слишком долго не выделись и не говорили, трудно выбрать главное и необходимое.

Я знаю, что тебя интересует, что я и как я? И хоть я сам и не считаю это тем, с чего бы следовало начать разговор, я вкратце расскажу тебе все, что произошло со мной за последние месяцы.

Я работал литсотрудником армейской газеты на Брянском фронте. Осенью прошлой я прошел через одно серьезное испытание, зимой же на нашем фронте было относительно спокойно, исключая действий отдельных отрядов, я работал в меру сил и вряд ли в меру способностей и целиком ушел в армейские будни, со всеми их горестями и радостями. В начале мая я был по разверстке Главпурка командирован на курсы усовершенств[ования] газ[етных] работников в Иваново, пробыл в этом городе два месяца, много читал за это время, отдохнул от корреспондентской [...] * несколько рассеялся и, еще не успев кончить [...] * был срочно вызван в Москву за новым назначением.

Я прожил в Москве 10 дней, безудержно радовался ей, радовался маме. Впервые увидел дочь, родившуюся без меня. Ее назвали Ольгой. У нее синие глаза, как у меня.

Родные мои живут бедно и трудно — они хорошо помнят тебя и еще лучше говорят о тебе.

Назначение я получил на Север; придет время, и я в числе первых войду в твой город. Верю в это.

Работы пока немного — в газете мы занимаемся описаниями боевой учебы, а это не самое трудное в профессии военного журналиста.

Стихи я пишу редко, и большей частью они мне кажутся слишком бедными и недостаточными. Хорошо ли это? Вряд ли.

Вот все, или почти все, что следовало бы сказать о себе.

Сейчас, в дни самых тяжелых испытаний для России, в самые трудные ее дни, мне хочется сказать тебе, что я еще сильнее верю в то, во что всегда верил, — в свободу, в счастье людское, в страну свою.

Я хочу сейчас услышать и почувствовать с собою рядом тех, кого я любил и в кого я верил и кто дарил меня тем же.

* Текст утрачен; угол письма оторван.

Тебя я любил и продолжаю любить, тебе я верил и верю, я помню тебя все время, и я хочу говорить с тобой.

Напиши мне.

Целую тебя, Оля. Жду письма.

Сергей.

Адрес: Действ[ующая] армия. 1571 полевая почта. Редакция газеты «Отвага» — мне.

Оля, милая! Страшно жду письма. Скорее пиши его.

4

4 сентября 1942 г.

4/IX—42 г.

Оля, милая!

Пользуясь неожиданным случаем — наш корректор, мой хороший знакомый А. Маграчев едет в Ленинград. Он передаст тебе это письмо.

Я нахожусь в армии, которая штурмует Мгу и Синявино. От Невы нас отделяет 14 км. Я верю, что мы скоро с тобой встретимся. Это было бы фантастически хорошо, хотя уж и слишком, до неправдоподобности, красиво.

Вчера получил сразу два твои письма. Одно недавнее — от 20/VIII, другое мне переслали из «Сына Родины» — июльское. Рад был им — просто по-детски.

Хорошо ты пишешь о Ленинграде. Только с твоими письмами я и ощутил, до какой-то степени, крестность пути его и жизненную силу, заложенную в ленинградцах. Если бы прорвать блокаду! Мы должны ее прорвать, мы прорвем ее, снова соединим Ленинград, Питер, Петров град с Россией, с «Большой землей», как вы ее зовете.

Здесь сейчас — северная осень, лес светится насквозь — желтые березы, желтые мхи, седая паутина летает, черные пруды, зеленой ряской подернутые. Несмотря на все вокруг происходящее — не в силах не впитывать в себя это, не любить этого.

Весь август мы жили очень спокойно — вдали фронта. Работы было мало, деревня ладная — ягодная и молочная — мы попросту отдыхали. Отдыху я был рад — все-таки устаешь, что ни говори, а зима меня порядком измотала. За этот месяц я поправился как на дрожжах. Выгляжу сейчас не хуже, чем в Коктебеле. Теперь сызнава в бои. Настроение ясное и ровное. Но близость к Ленинграду волнует донельзя, временами.

Когда думаю о Коктебеле — зубами скриплю от смертной

досады и обиды. Месяц я шел по оккупированной* и воочию узнал, что такое немцы. Они не только уничтожили дом наш, но и наглумились над ним, сукины дети, наверняка**. Счастье старика Волошина, что он не дожил до этих дней. Старый гуманист, и величественный и смешной в одно и то же время, увидел бы гибель приюта «философов, богословов и поэтов» и сам погиб бы в его развалинах. Это был островок мира и старых надежд...

Его должно было захлестнуть неизбежно.

...нет ответа —
Кругом война на много лет,
Как будто нет на свете света
И в мире мира больше нет.

Что же еще о себе? Дома у меня все живы и здоровы. Часто получаю письма от мамы. Моя царевна уже сидит и улыбается. В особенности меня радует последнее — я думал, что наших детей придется специально обучать этому.

Перечитал «Войну и мир». Несколько дней и ночей, по студенческой привычке, спорил о ней с одним своим новым другом. Впервые прочел Руставели.

Очень недостает Мишки Луконина, с которым я расстался, уехав из «Сына Родины». Я с ним сроднился слишком и уж очень много вместе с ним горя перемыкал, чтобы забыть его. Он очень хороший человек...

Через час я еду в командировку, на передовую — надо заканчивать письмо.

Целую тебя крепко, Оленька.

До счастливой и, даст бог, скорой встречи. Счастья тебе желаю. Пиши мне и обязательно пришли стихи. Жду.

Сергей.

Р. С. Рекомендую тебе подателя сего письма. Я его знал еще по Москве (ИФЛИ).

С.
5

7 октября 1942 г.

7/Х—42 г.

Оля!

Со времени моего последнего письма к тебе воды не много утекло, а перемен много. Наша встреча, которая была тогда почти реальностью, отодвинулась на неопределенное время. От Абрама я узнал о серьезных переменах и в твоей жизни.

* Так в тексте.

** Дом М. Волошина в Коктебеле уцелел.

Я рад за тебя — видимо, это хороший человек, очень хороший, раз ты вышла за него замуж. Большого тебе счастья, Оля, желаю и ясного сердца. Что ж только ты писать-то мне бросила? Не во времени тут дело и не в командировках — у меня сейчас 19 часов в сутки один за другой забегают, о разъездах и говорить нечего, так они часты, а я сейчас сжуж далеко за полночь и пишу тебе. Захочется — напишешь.

Живу я, как жил. Последние мои выезды на передовую были нелегкими: бои шли круглые сутки.

У меня есть к тебе один разговор, Оля. Я хочу вступать в члены партии. Я уже писал тебе раз, чем стала для меня в этой войне коммунистическая партия. Это все для меня. Без России мне не жить, а Россия — это коммунизм. Из тех, кто мог бы дать мне рекомендацию, я верю больше всех тебе. Думаю, что и ты мне веришь. Если ты считаешь возможным дать мне ее — вышли. Напиши, что знаешь меня по работе в Союзе писателей — ты слышала не раз мои стихи, знаешь мою лит[ературную] жизнь — это будет соответствовать и действительности и Уставу. Если решишь дать мне рекомендацию — несмотря на занятость, выбери время и заверь ее в райкоме. И вышли. Как только я получу ее — так подам заявление — остальные рекомендации у меня есть. Буду ждать ответа.

Стихи твои я еще не прочитал — сегодня я вернулся из командировки и встретил Абрама, возвратившегося на днях из Ленинграда. Он мне передал письмо и рассказал о встрече с тобой. Стихи завтра возьму у секретаря — они хранятся у него и, видимо, скоро пойдут в набор. Я сегодня грустный, Оля.

Еще раз желаю тебе большого счастья.

Пиши мне.

Сергей.

Наш новый адрес:

1571 полевая почта

часть 110

Наровчатову С. С.

Пиши по нему.

6

28 февраля 1943 г.

28/II—43 г.

Оля, милая!

Долго не писал тебе — прости. Получил твое ласковое и беспокойное письмо — и стало мне нехорошо и неловко

за свое молчание. Не спрашивай, почему оно, — лучше прости.

Я жив-здоров, и судьба бережет меня. Самое большое, что было за все это время, — встреча с ленинградцами. Горящий поселок, выстрелы на окраинах, люди в дымных халатах бегут навстречу друг другу — все это вместе называлось счастьем.

После сентября мне было стыдно перед тобой — я обещал, что это будет, а этого не было. Теперь — есть. Наивно? Нет. Тысячу раз нет. Я — русский.

Горькой, но блистательной жизнью мы живем, Оля. И ведь, черт побери, во сне не могло присниться и в стихах надумать тогда в Коктебеле, что в большую войну ты будешь в осажденном городе, а я в числе тех, кто пробьет к нему дорогу. Если улыбнуться — то это Вальтер Скотт, если же принять так, как это есть на самом деле, — это наше поколение. Наше — не оговорка; мне сейчас представляется нелепым и удивительным, как мы могли с тобой когда-то спорить об этом. Мы люди одного поколения, это сейчас совершенно ясно. У меня есть твердое убеждение, что талантливый человек должен и жить талантливо. Он и сам делает свою биографию, его и судьба дарит вдесятеро щедрее и горем и счастьем, чем других людей, беспощадно его испытывает. За примерами недалеко ходить.

Живу я остро и бурно. В самой гуще событий. Вижу — уйму, только бы переварить. Работа нелегкая — и больше ногами, чем головой. 20—30—40 км в сутки в любую погоду. Об опасности и риске говорить не хочется — это входит в условия работы. Стал вынослив, как буйвол, и солдатски опытен до неправдоподобности.

За это время пережил одну горесть — мы с женой потеряли друг друга. Разлука сделала свое дело. Это шло от письма к письму и наконец оборвалось. Больно. Пишу стихи об этом — одно из них шлю. Лирика. В остальном — все хорошо. Работаю много и взапой. Рекомендацию твою получил, хоть и с большим запозданием по вине почты — сердечное спасибо за нее. Хочется сказать тебе много хороших и добрых слов, милая Оленька, — когда-нибудь я еще скажу их тебе. Одно знай — у меня сейчас два человека, два друга, которых нет дороже на белом свете и которым я верю, как самому себе, а иногда и больше — это Мишка Луконин и ты. С Мишкой меня связывает очень многое — мы вместе с ним прошли 600 км по вражеским тылам — это изумительный человек: широкий, веселый, сильный — мы прились с ним плечо к плечу. А о тебе тебе же разве нужно рассказывать?

Пиши мне, Оля, чаще. Я подробно буду отвечать тебе.
Целую тебя, милая.

Сергей.

Р. С. Обязательно пришли сборник. Это раз. А два — фото. И чтоб ты была на нем красивая и хорошая, как на самом деле. В следующем же письме. Слышишь? Жду. Оч-чень. Если бы приехала к нам — хорошо! Но поедешь ли?

Прости за бензин на письме — копилка взбунтовалась.

Смелая

Как прошла ты сюда,—
Смелая! —
В босоножках легких своих.
Прямо по полю помертвелому,
Снегу белому напрямик.
Снегу белому, снегу черному,
Изувеченному, иссечённому.
По полям, по притихшим, минным,
По не терпящим пришлеца,
Мимо в клочья рвущего дыма,
Мимо пристального свинца.

Как прошла ты сюда,—
Смелая! —
Никогда понять не смогу —
В маскхалате,
Как кипень, белом,
Я торчал на черном снегу.
Пули всхлипывают. —
Прицельным! —
Шевельнись — и в кусты голова...
Как сумела ты,—
Чтоб раздельно
И чтоб слышно,
И чтоб слова
Все бесстрастные,
Словно на смех,
Все пристрастные,
Как на грех,
Все ненастные из ненастных,
Все напрасные изо всех,
Все упреки твои,
И попреки,—
Неурочные,
Не у дня,
Не у правды,—
В чужие сроки,
Приуроченные для меня.
.....
Смелая!

11 марта 1943 г.

11.3.43.

Оля!

Пользуюсь случаем, чтобы передать тебе привет и лучшие пожелания. Буду рад узнать, что ты здорова, счастлива (насколько можно быть счастливым в наши трудные дни) и помнишь меня. Не так давно я послал тебе письмо, в котором просил извинить мое трехмесячное молчание и рассказал кое-что о себе. Не знаю, успела ли ты получить его... В этом письме я просил тебя прислать мне сборник твоих стихов и твоё фото. Ещё раз напоминаю и прошу тебя об этом. Вышли, и поскорее...

Если возможно — выполни ещё одну мою просьбу. Я чертовски соскучился по стихам. Здесь нет ничего. Был бы обязан тебе, если бы ты прислала с Абрамом («подателем сего письма») несколько книжек хороших поэтов. Блока, Лермонтова, Пастернака, Киплинга. Или других по твоему вкусу и усмотрению. Не с Маграчевым — так по почте. Если не трудно — сделай. Обрадуешь. Я жив-здоров. Жду твоих писем. Пиши, Оля.

Неизменно помнящий тебя —

С.

Р. С. Прости за похабный вид письма — пишу второпях, на дежурстве, и руки заляпаны краской.

Передавал тебе на днях привет с Франтишевым из «На страже Родины». Он мне понравился. Мы с ним вместе встречали 8 марта. Надеюсь, что и этот привет дойдет до тебя. Итак — жду вестей и писем. Большущих-пребольшущих.

25 июня 1943 г.

25.VI.43.

Оленька, милая и хорошая!

Сажусь за письмо виноватым школьником. Вспоминаю себя первокурсником, когда, объевшись невымытых слив, я, боясь нагоняя, уверял свою бедную маму, что мрачная рожа у меня от мировой скорби, а потом расхохотался и повинился во всем. Я безобразно ленив, хоть и полон всяких наилучших побуждений — я действительно 3 месяца собирался написать тебе письмо, придумывая всякие разности, почему я не пишу его немедленно. Но факт остается фактом, и я сознаюсь, что причиной была не мировая скорбь, а сливы.

Что же касается вежливости и прочих альтруистических качеств, то моей вечной трагедией будет то, что я и не замечаю за собой всех этих грехов и кажусь себе отменно деликатным и выдержанным молодым человеком и лишь когда меня тычут носом в содеянное, я чешу в затылке, виноватуюсь и, как с гуся вода, остаюсь тем же. Правда, переходя от вежливости, альтруизма, etc на другие высокоморальные качества, я мог бы вспомнить, как одна почтенная светская дама выгоняла пинком в тыловую часть одного теперешнего члена Союза молодых патриотов, упившегося до изумления. Комната, из к[ото]рой он изгонялся, характерный жест ноги и мое сочувствие к освобожденному брату живо вспомнились мне при упоминании о Коктебеле.

Кара-Дэмур сейчас у нас, и я зачитываю его стихами, своими и чужими, с жадностью изголодавшегося. О стихах я способен говорить 24 часа в сутки, и двухлетнее молчанье по фронтовым дорогам не истребило во мне сего свойства. Я не говорю о них лишь в силу необходимости, когда твердо знаю, что меня слушать не будут. В иных случаях — говорю. Однажды я даже в боевом охранении в 60 м от немцев читал бойцам «Перекоп» и другое, чем так поразил наивную душу замполита этой роты, что он даже в политдонесении в бабелевских красках описал сей факт. Если даже я никогда не выплеснусь в поэты Всея Руси, я пройду жизнь как хороший миссионер Поэзии во всех смыслах этого слова (беру на себя смелость). Миссионер — неудачно — тут нужно более воинствующее слово — поджигатель, что ли.

О твоих стихах нужно много говорить и еще будем. Надеюсь на встречу в Ленинграде. Блестящие строки часто повторяю и пропагандирую:

Верю — смерти нет. Не подкрадется,
Не задушит медленно она.
Просто жизнь сверкнет и оборвется,
Точно песней полная струна...

Цитирую на память и за знаки препинания не ручаюсь. Четверостишие всероссийской силы — раньше ты никогда так не писала.

За это время у меня было много разных разностей. Можешь поздравить — приняли в члены партии. Принимали по боевой характеристике, со всеми вытекающими из нее льготами, но одну рекомендацию я оставил, не армейскую — твою, и она лежит в моем деле. Принимали хорошо — услышал о себе много всяких хорошествей даже от таких бурбонов, от к[ото]рых не ожидал (они, конечно, чисто по-солдатски

меня оценивали, но это как раз хорошо). Это было все — еще в марте.

Из тяжелых вещей — пережитых за это время — разрыв с женой. Пережил это необычайно остро, никогда даже не предполагал, что может нахлынуть такое. Тут все перехлестнулось — и любовь, и впервые осознанная враждебная чудовищность быта, сила его, и разодранные алые паруса юношеских бредней и сказок, которым я по-прежнему, смеясь и вышучивая их, по-прежнему нелепо верен и изменить себя не в силах; перехлестнулось и обожгло. Много здесь и от неизбежного — хоть обухом по голове бей, но фронтовики хотят видеть родные города такими, какими они их оставляли, уходя на фронт. Из писем, из газет, из рассказов — знают, что не так, другие они — талоны, затемнение, — но лишь прищурь глаза, и снова возникает ослепительное сияние довоенного города. Изменившись сами, мы не хотим, чтоб менялись те, кто у нас за плечами, а они меняются, как города. Понимаешь это и против воли возвращаешься к старому. Придет время, мы снова сделаем города праздничными, снова населим их вином и песнями, но отстраивать заново людей будет труднее. У меня самого — нечто вроде природного иммунитета ко всей сволочности и пакостности, встречающейся на жизненной дороге, с цыганским своим характером я легко переношу беды и неурюстройства и быстро забываю о них, но то, что хорошо для меня, — не применимо к другому, и в правило себя не берусь возводить.

В остальном — все хорошо. Живу небезынтересно. Пишу стихи. Последнее время часто. Одно время не писал с полгода. Пишу и лирику. Вот:

После всего

Покой, как рассвет, наступил сплошняком,
Рассвет, как покой, был прожит,
И только одно просквозило мельком
Спокойное, что быть может

Сорокалетним, у последней межи,
Воспоминания теребя,
Итог подчеркнув, проиграю жизнь,
Как сейчас проиграл тебя.

Погиб один из лучших моих друзей — предтеча поэзии 3-го поколения — талантливый поэт с неудачной судьбой. Со временем о нем узнают. Твои стихи — сейчас уже знаю наизусть. Хороший материал для спора, благо в них много настоящего сильного и распроталантливого, но не моей линии. Спасибо за них и присылай еще.

Напиши мне о Москве — все подробно. Думаю, что к приходу письма ты уже возвратишься. Письмо шло невероятно долго — вышло оно 1. VI., а пришло 22.VI. Срок не по расстоянию. Постараюсь побывать в Л[енингра]де. Очень хочется видеть тебя. О многом нужно переговорить.

Крепко целую тебя, милая. Пиши мне.

С.

P. S. На днях напишу еще. Да-да!

9

26 июня 1943 г.

26.VI.

Оленька!

Хорошая моя!

После того, как я очистился от греха молчания, меня потянуло писать к тебе на другой же день. Хочу говорить с тобой и ждать твоих писем. Последнее время много пишу — прорвало после полугодового молчания. Некому читать, а хочется — это как запой. Тебе известно это ощущение. Читал Қаре — он хвалит, но не знаю, насколько ему можно в этом верить, я, по-моему, ему просто нравлюсь. Тебе больших стихов слать не буду — приеду сам прочту. Буду посылать дневниковые — ежедневные.

С тех пор, как мы расстались, много воды утекло. Изменился ли я — не знаю, но кое-какие качества прибавились, а основные — дурные и хорошие — обострились. Много было поводов с тех пор, как время и война стали идти параллельно друг другу (без перекрещивания в ближайшем будущем), для того, чтобы жизнь разонравилась, но нет — она хороша, горькая и жестокая — все равно хороша. Помнишь строки:

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью

И дальше...

Много встречаю и вижу интересного — мне везет на хороших людей. Как-нибудь опишу тебе одну из рядовых поездок, чтоб знала, как я и что я. Небезынтересно живу. Напиши мне большое и ласковое письмо. Расскажи, что пишешь. Расскажи о Москве. Буду ждать.

Целую тебя много, милая.

Сергей.

На обороте стихи.

Ночные сентименты

Разрыв. Письмо напрямик. Без окольных.
Простое, как раз-два-три.
Заново перечитал, спокойный...
— Ты говоришь, Грин?

Все это верно. Но ночью длинной
Белой, как стираное белье,
Я б запросто отдал звучного Грина
За сердце глухое твое...

10

1 сентября 1943 г.

1.IX.43.

Оленька, милая!

Рад твоему письму — оно дошло через три дня. Досадую, что мы разминулись, — хотелось бы с тобой поговорить по душам о разных разностях. Но еще поговорим — в Л[енингра]де я буду и, быть может, вскоре. На этой неделе я думаю получить, наконец, отпуск в Москву. Перед тем постараюсь заехать на день в Л[енингра]д, попробовать устроить себе дорогу самолетом.

Спасибо, что зашла к старикам — они у меня хорошие и души во мне не чают, что я по-настоящему сумел оценить лишь здесь. У меня все без видимых перемен. Первое знакомство с Городом было удачливо — Л[енингра]д меня принял хорошо. Жалел, что не было тебя, — к Тихонову я хотел пойти именно с тобой. Сопевание, действительно, произвело на меня неважное впечатление — люди то ли разучились, то ли и не умели никогда думать. Даже Инбер раздосадовала меня — я просидел у нее вечер и убедился, что в своей глуши я перехватил за рога такие вопросы, о которых она и не задумывалась. И не то что я копнул черт знает какие глыбы и глубины — нет, все это лежит на поверхности — только подними и взглядишь, а не проходи мимо. Впрочем, об этом я после тебе расскажу.

Стихов написал много — пишу почти каждый день, хотелось бы почитать тебе. Присылать не буду — трудно выбрать. Буду скопом читать. Лирика преимущественно.

Ты, наверно, обиделась за мое омалчивание твоих стихов. Не хотел бы этого — я полкнижки твоей помню наизусть, но есть у меня к тебе и счет — о нем поговорим. Из ленинградских поэтов пора расти во всероссийские, Оленька, — потенция это позволяет и диктует. Встретимся — расшифрую.

Встречей твоей с Воркуновой — удивлен. Я не думал, что

ее может интересовать что-либо, касающееся меня. Впрочем, вряд ли тут дело в этом. Ты все договариваешь? Дочка у меня хорошая — видел фото. Хочется воочию увидеть — в прошлом году она была еще слишком мала.

Большого письма, рассчитывая на встречу, — не пишу. Но так или иначе ответь на него сразу — вдруг мне не удастся уехать ни в Москву, ни в Ленинград, а говорить с тобой хочется часто и по-хорошему.

Целую тебя, милая.

Сергей.

11

22 сентября 1943 г.

22.IX.43.

Оленька, милая!

Вчера — из Москвы. На столе твое письмо. Спасибо. Прочитал его по строкам. Спорить нам не о чем — согласен с тобой во всем. Напрасно оговариваешься, боясь обидеть меня «поучениями». Ты умница, и тебе я верю до чрезвычайности и всегда прислушивался и буду прислушиваться к твоим словам. Мы часто спорили с тобой, но тут я даже удивился, насколько я согласен с тобой. Головокружения от успехов — не бойся. Я не из тех. Цену себе знаю, но что бы я ни делал, у меня ощущение того, что это лишь сотая часть, чего я могу. Тщеславен я по-мальчишески, но серьезных вещей это не касается, а поэзии и тем более. О Инбер говоришь очень точно — именно «материальная часть эпохи», реквизит ее, не хватает только нумерации. Отсюда при всей сделанности мастерской «Пулк[овского] меридиана» — его холодное спокойствие, отталкивающее подчас. Рост поэта (в развитие твоей мысли) от меньшей к большей и наконец стоящей на грани патологии откровенности. Сила Маяковского и Блока, Цветаевой и Хлебникова — в этой чудовищной и непонятной для простого смертного откровенности. Через себя — мир. В этом лирика. Отсюда неизбежная гиперболизация своего. Для тебя это не гипербола, для читателя. Но гипербола лишь тогда удачна и соответственна, когда читатель не в силах счесть ее таковой, а принимает на веру, как поэтову сущность. «Гипербола» употребляется мной не в шенгелиевско-томашевском смысле. Всякая лирика в какой-то степени гиперболична, хотя бы в силу сконцентрированности в одной строке сложнейших человеческих чувств. О «пройденных этапах» — тоже не спорю. Но тут ты права в динамике и не права в ста-

тике, так сказать. Тема блокадного Ленинграда и через 1000 лет будет волновать поэта, говорить, что она «отшумела», — нелепо. Если же взять *сегодняшнее* — то что *сейчас* необходимо — ты не права. Ленинград 43 г. — уже далеко не Ленинград 41 г. Он не только перенес, он перерос свои страдания. Об этом сейчас нужно писать. Так по-моему. «Статика» мной употреблена тоже не совсем точно. Тема Ленинграда 41 года — из ряда *вечных*, она уже стала такой. Но «с точки зрения сегодняшнего военного дня» нужно говорить о том, как город перерос, а не только перенес муку свою. Он приобрел какие-то новые качества. Город наш — надо взглядеться и рассказать людям и заново взволновать их этим... Это верно, Оля. Пиши о том же, но новые стороны разгляди, они есть. Говоря о всероссийских стихах, я не имел в виду географии. Можно писать о неизвестной деревне и быть всероссийским поэтом. И дело не в реквизите и не в «уральских кузнецах». Я и не мыслю иначе, чтобы ты стала всероссийской без Л[енингра]да. Только через Л[енингра]д — это твое. Но для меня всероссийские поэты — Блок, Маяковский, Хлебников, Цветаева. Упаси меня Бог бросить тебе тупое: «Шекспир писал лучше». Нет, у тебя еще откровенность не всероссийская, а это штука сложная, ты сама знаешь. Откровенность «Февр[альского] дневника» ленинградская. Ты через Л[енингра]д еще не преломила Россию, а это нужно сделать. Еще нужно сердце сильнее разодрать, до конца. И раздарить его. И еще больше о себе писать. О пережитом и перечувствованном. У тебя тоже много описаний, Оля, и это от прозы, а не от поэзии. Но боюсь, что сумбурно пишу — лучше скажу при встрече.

А простоты как цели, заранее поставленной, — бойся. Она должна быть случайна. И чем случайней, тем сильнее получается, как у Пастернака и Маяковского. Применяться к пониманию читателя, заранее ставя это перед собой, — гибель для поэта. Пиши, как выговаривается, и не бойся быть непонятой. Поэзия на грани музыки — и сильный нагрев и накал всегда передается по какой-то часто даже не видимой глазу цепи. Когда пишешь (ты права в этом абсолютно), нельзя и не надо думать ни о ком — ни о Тихонове, ни Надире Хамидулине.

В Москве — все было хорошо. Старики мои — чудесные и встретили меня замечательно. Постарели они только, больно глядеть.

Был у Асеева, Бриков, Симонова и др. Наговорили такого, что и пересказывать неловко. Сам не ожидал, что так примут стиховое мое [...].

Сам эти дни не писал. Сейчас снова начну.

В Л[енингра]де вряд ли буду вскоре. Поэтому пиши.
Очень хочу тебя видеть, Оленька. Надо говорить. О многом
и главном. Назрело.

Целую крепко
Сергей.

12

1 декабря 1943 г.

1.XII.43.

Оленька!

Я снова потерял возможность бывать в городе, и нам, видимо, нескоро придется встретиться. Мне бы не хотелось терять с тобой связь — ты многое для меня значила и значишь. Если я и спорил с тобой, то, право, мне самому трудно разобраться, сколько здесь было от озорства и сколько от серьеза. Прости мне за себя и за Юру — я люблю слушать противоположные мнения. Я знаю, что порядком надоел вам и моя баснословная бесцеремонность грозила стать в тягость. Но злоупотребляя твоим терпением, я знал, что нескоро представится случай столько раз подряд видеть тебя, и это в какой-то мере извиняет меня.

Нового у меня немного [...]. Написал несколько стихов. Посылаю их тебе. Писал их попросту, даже слишком, кажется, попросту.

Мама в каждом письме передает тебе приветы — передаю их тебе все сразу.

Работы много, и пестрое однообразие ее, временами, утомляет. В остальном все у меня хорошо и жаловаться на фортуны причин особых нет [...].

А пока слушай стихи:

Стихи о дружбе

У заваленной трупами щели,
Еле свыкшись, что бой затих,
Отереть о полу шинели
Порыжелый от крови штык

И с бойцом из соседней части,
С кем бок о бок биться пришлось,
Перекинуться словом о счастье,
О солдатском, что с гибелью врозь.

Севши рядом на пень обомшелый —
Как на фронте принято встарь,

Разделить на двоих зачерствелый,
Припасенный на случай сухарь.

Помолчать. И впервые за сутки
Скучно вспомнить в рассказе простом
Под раздумчивый дым самокрутки
Об оставленном доме своем.

Когда час придет расставаться,
Встать — и прозвища не спросив, —
На прощанье расцеловаться
Так, как водится на Руси.

Будет время — не раз припомнишь
Закрепленные кровью права
Этой дружбы, щедрой на помощь
И скупой, как кремён, на слова.

Скажи, как они тебе?

В следующем письме пришлю еще. Жду твоих писем и стихов. Сердечный привет Юре.

Целую тебя

Сергей.

13

2—8 мая 1944 г.

2.V.44.

Оля!

Запоздало поздравляю с праздником. Шлю новые стихи.

Царь-девицей я звал Анфису.
И казалось, волжанка кругом.
Песня-птица про царь-девицу
Режет ветер цветным крылом.

У подковы на стертом пороге,
На краю нежилой земли
С ней меня фронтовые дороги,
Не успев свести, развели.

Я слышал, что у проруби рваной,
Год спустя, у врагов на виду,
Залегла ее рота под Нарвой
На речном, на расклевстанном льду.

И тогда, словно вызов и заповедь
Тем, кто в лед под пулями врос,
Северянка поднялась на запад
Над притихшею цепью в рост.

И на жизнь и на смерть солдаты
За волжанкой встали с земли,
Но на берег, у немца взятый,
Только память ее принесли.

Вот, что слышал я. Может статься,
Застыв белый и милый свет,
Через десять ли, через двадцать
Долгих дней иль коротких лет.

Мои судьбам веселым пазло,
Если случай накличет беду,
Перед черной не брошусь наземь,
В полный рост на нее пойду.

Не с того ли, что, сблизив сроки,
Словно оклик далекой земли,
Трех фронтов столбовые дороги
Буйным маревом встанут вдали.

И как заповедь и как вызов,
Как старинный узор на клинке
Староверское имя Анфиса
Встанет, гордое, вдалеке!

Напиши, как они тебе?

К сожалению не удалось поговорить «за жизнь» в эту встречу. А хотелось. Чтой-то одиноко в последнее время...

Из Москвы шлют много писем. Там все в порядке — дочь растет красавицей, старики на нее не нарадуются.

Вокруг — новостей нет.

Целую, желаю счастья.

Привет Юре.

Сергей.

8.V.

Р. С. Прислала из Москвы стихи Галка Шергова. Очень хорошие. Эта девочка из моей компании. Прочитал их, и стало неловко за свои сомнения в правильности того, что делаю. Поэзия, дорогие мои, все-таки не формулировка, а образ. Я просто не могу не вымышлять, не сравнивать, не преувеличивать — это мое сердешное, а не разумное свойство. И это и отличает поэзию от зарифмованной прозы.

Но — цитирую стихи. «Листопад».

А осень по следу идет, как погоня,
Кленовым бураном полощет Задонье,
Метет листопад, разноперый и дикий,
Лохмотьями жгучих цыганских одежд,
Как будто бы флаги в порту стоязыком
Под ветром — ничком! — присягают воде.

Полощет над гарью бураном кленовым
Российский червленый размахистый флаг.
В нем цвет листопада, огня и отваги
И пятен кровавых в пыли на Дону,
За флагом кленовым заморские флаги
Расстелятся ниц и ему присягнут.

Начало и концовка связаны интересно и неожиданно, не привожу всего стиха из-за отсутствия места. Вот это — настоящие стихи.

14

25 декабря 1944 г.

25.XII.44 г.

Оленька, родная моя!

Твое чудесное письмо было для меня новогодним подарком. Ты так долго не отвечала, что я уж не знал, что подумать — было и больно и слегка обидно... Ты прочно вошла в мою жизнь, твоя нежная дружба стала необходимой мне, я верю тебе так, как никому, пожалуй, не верю. Чем старше становишься, тем пристальнее начинаешь вглядываться в людей, строже отделять поддельное от настоящего. И тем сильнее учишься ценить такие простые и редкостные вещи, как настоящую любовь, настоящую дружбу, настоящую человечность. Прежде они воспринимались как что-то само собой разумеющееся, сейчас их принимаешь как подарок. И я рад, что твое письмо подтвердило все то хорошее, что лежит между нами и из-за чего — по совести говоря — светлее жить на нашей «мало оборудованной для веселья» планете. Твой рассказ о севастопольской трагедии вызывает у меня желание рассказать тебе о трагедии другого города, перед которым — или вернее, над которым — тоже нужно снимать шапку. До тебя, наверно, дошли отголоски Варшавского восстания. Два с половиной месяца продолжалась неравная борьба полубезоружных горожан с вооруженными до зубов негодьями. В восстании принимали участие все, без различия возраста и сословия. Богословы дрались рядом с железнодорожниками, адвокаты рядом с слесарями. Дети бросались с гранатами под танки, актрисы — перевязывали раненых. Из канализационных катакомб вышли евреи и встали на баррикады рядом с поляками. Они скрывались там 2¹/₂ года — морлоки Уэллса и отверженные Гюго! — уйдя под землю после гибели гетто. О восстании еврейских кварталов тоже можно проговорить ночь — тогда полтора месяца шли бои, немцы уничтожили

гетто, часть евреев ушла в канализацию, где были подготовлены многолетние запасы. Они вышли из нее, чтобы погибнуть на сентябрьских баррикадах. Исход трагедии тебе известен. Лондонцы капитулировали, остатки Армии Людовой и коммунисты с боями перебрались на другой берег реки. Варшава превращена в развалины. Старое Место — которое для варшавян то же самое, что Кремль для москвичей — сравнено с землей. К полякам многие относятся с предубеждением, возникшим еще во времена Паскевичей и Муравьевых. В их характере действительно много женского, но если продолжать сравнение, то эта женщина на баррикадах Варшавы была похожа на Жанну д'Арк на костре...

Время, которое переживает эта страна, весьма многозначително. Споры лондонцев и люблинцев не просто споры двух политических группировок, но споры двух исторических тенденций. Переворот в национальном сознании, свидетелями которого мы являемся, происходит бурно и, видимо, завершится в желательном направлении. Они, правда, до сих пор смотрят на нас скорее как на союзников, чем на старших братьев, но это еще не худший вариант, на мой взгляд. Польская интеллигенция лишь в гипертрофированном виде повторяет все достоинства и недостатки своего народа. Святая их черта — свободолюбие. Из характерных же особенностей, к[ото]рые бросаются в глаза, нельзя не сказать о наивно-романтическом увлечении своей стариной — в таких размерах оно, пожалуй, не свойственно ни одному народу. Тени Пястов и Ягеллонов сопровождают их всюду, исторические аналогии сопутствуют каждому суждению. Иногда это бывает интересно и занятно, иногда же вызывает раздражение. Так с досадой смотришь на красивую женщину, рядящуюся в старомодные одежды.

Язык этой страны близок нашему, и я уже научился понимать их речь и хоть и с трудом, но разбираю в подлиннике стихи Словацкого — какой чудесный поэт! — и новейших польских сочинителей. Молодая поэзия Польши развивалась под влиянием Маяковского — его, кстати говоря, здесь хорошо знают и любят. Тувим — исключение, он тяготеет к классике.

Жизнь моя течет своим чередом. Вызывая удивление своих собратьев, я вечерами штудирую историю философии, в которой я куда как слаб. В одном из походов я нашел в трофейном мусоре стихи Рильке в оригинале и прощупываю по ним истоки Пастернака. Сам пишу стихи... Вот краткий доклад о своем самоусовершенствовании, за который ты можешь милостиво меня похвалить. Если же я добавлю к этому, что сегодня я сдал на пятерку экзамен по боевому уставу и мате-

риальной части оружия, то из этих строк вырисуеться такой светлый образ передового офицера, что и в сказке не сказать, и пером не описать...

Настроение у меня чудесное. Только что окончился очаровательный роман с одной милой девушкой из ближнего госпиталя. Он развивался бурно и весело — судьба щедро рассыпала препятствия, которые она обычно ставит на пути влюбленных и которые существуют лишь для того, чтобы было радостней вспоминать об удачах. Я никогда не думал, что в наши дни возможны ситуации Гольдони и Гоцци, но тут было все — и монахы, и игумен, и подкупленный страж, и если не веревочная, то деревянная лестница. Начгоспиталя — мрачный мерзавец — установил монастырский режим в своем заведении. Больше того, он обнес колючей изгородью территорию госпиталя, не отпуская ни на шаг за его пределы бедных девушек и не подпуская к его воротам никого из нашей братии. Но добрые старые комедии всегда кончаются одинаково — игумен остается с носом, а влюбленные торжествуют. Так случилось и на этот раз. Мы проявили чудеса изобретательности, использовав весь арсенал старых любовных хитростей применительно к обстановке и придумав добрый десяток новых... Все это чертовски весело вспоминать, несмотря на легкую грусть, вызванную расставанием — они уехали от нас. Не гневайся на меня за все эти легкомысленности, о которых я тебе запросто болтаю. Дистанция от Варшавского восстания до госпиталя, от истории философии до карих глаз моей смуглянки велика, как это письмо, но всем этим я жил это время и мне хотелось выболтаться.

Скоро Новый год. Поздравляю тебя с ним. Желаю большого счастья, чудесных стихов, исполнения желаний и других хорошестей, которые только есть на белом свете. Пусть все у тебя будет хорошо, родная моя и милая женщина, пусть судьба бережет тебя и дарит удачами, радостями и добрыми людьми.

Нежно, крепко, много целую тебя

твой Сергей Наровчатов.

P. S. Поздравляю тебя президиумом и правлением — это тоже хорошо.

Сердечный привет Юре.

И еще одно — я уже который год прошу прислать тебя свою карточку. Пришли, наконец!..

C.

17 февраля 1945 г.

17.II.45 г.

Родная моя Оленька!

Этот год я вовсе оторвался от своих близких и друзей, я давно никому не пишу и не получаю ни от кого писем. Тому виной, верно, я сам... Твое письмо меня тронуло до щемной сердешной. Ты один из самых близких для меня людей, и мое молчание вызвано было не забывчивостью...

Уже полтора года, как я скитаюсь по заграницам. Обездрил и видел страшно много — от Мазовии до Дании, — и обилие впечатлений превратилось в свою крайность. Осторожилось мне все это донельзя. Заграница, улыбающаяся нам когда-то с обложек привозных журналов, пестрившая детству страницами марочных альбомов, оказалась и беднее и скучнее, чем можно было предполагать. Дело не в материальных ценностях, так сказать — я живу здесь так, как никогда не жил, — дело в духовном убожестве. Любопытная штука — где бы я ни скитался здесь, меня не столько удручало то, что я торчу на чужбине, но то, что я в провинции. Москва представлялась мне не только милой моему сердцу родной столицей, но столицей мира. В этом, Оля, суть. Недооценивали мы самих себя. Все эти Варшавы, Берлины, Праги и Копенгагены — ныне просто провинция и таковой стали, судя по всему, не в результате этой страшной войны, а задолго до оной. Конечно, не скинешь со счетов стрельчатые окна старых польских костелов, не пройдешь мимо горбчатых домов, словно взятых с иллюстраций к сказкам братьев Гримм, не забудешь славянского гостеприимства и галльской веселости — но все это либо память старины, либо черты народных характеров, которые меня всегда живо трогали и интересовали еще по интернационалистской традиции. Если же говорить о новом, о действительно новом, то здесь Европа еще учится ходьбе. Когда-то Запад снисходительно посмеивался над нами, занятно, мол, наблюдать первые шаги ребенка, но трудно разделить его восторги по поводу того, что он впервые встал на ноги. Так было лет пятнадцать назад. Но ребенок вырос и стал великаном. Мы учились и научились — и строить, и работать, а после и воевать. Все это было производным от того, что мы были людьми нового общества. И вот Европа — ошеломленная нашим примером — сейчас учится ходьбе в вещах, давно ставших для нас элементарными. Ну, вот хотя бы эта пресловутая земельная реформа. Это же азы, давным-давно пройденные нами. Ребенку ясно, что анекдотично положение, ког-

да у одного — 500 га земли, а у его соседа — 5. И в Польше, и в Чехии, и здесь в Германии, когда им подсказывали эту вещь, они все время смотрели на нас искоса — что, мол, это за коммунистические штуки. А когда уразумели, то ахнули — до чего, мол, верно, а главное, просто. И у крестьянина сейчас ни паны, ни бароны, ни юнкера — с руками эту землю обратно не оторвут. И так во всем... И в общественной жизни, и в экономической. Учатся ходить. И чем скорее выучатся, тем лучше, в первую голову, для них самих. Есть здесь, конечно, и другая поверхность. О ней, верно, чаще всего рассказывают приезжающие в отпуск офицеры. Много о ней наболтано и в невыносимых, по легкомысленности и поспешности выводов, очерках Агапова и других, что я прочитал как-то в одном из московских журналов, о черном рынке, варьете, улыбчивых домохозяйках, по которым пролетный путешественник заключает о характере целой нации, — достаточно много пересказано. К сожалению, этими местами обычно и ограничивается район интересов ряда наших журналистов...

В одном письме не расскажешь о годе перевиданного и передуманного. Тебя интересует, верно, что я и как я. Живу хорошо, работаю там же. Войну закончил неплохо — семь планок. Преимущество их перед маграчевскими — то, что не липовые. Собираюсь в Россию, и насовсем. Возможно ли что-либо предпринять с окончательным моим переходом в штатское состояние? Меня это сейчас более всего занимает.

Написал немало стихов. Писать стал по-иному, чем писал, но даже и не знаю — хорошо это или плохо. В Россию постараюсь привезти сборник.

Посылаю тебе одно из своих «польских ст[ихотворе]ний». Расскажешь, как оно тебе понравилось.

Письмо из Млавы

Десятый день, как нет вестей от Вас.
Вы иногда жестки ко мне без нужды,
Без повода... Наверно в этот час
Вы у себя, пришли домой со службы.

И стоя у замерзшего окна,
Глядите на привычнейшее чудо,
Как за стеклом светлеет вышина
В цветных огнях московского салюта.

Так Млаву взяли? Вам и невдогад,
Что это нам Россия дарит славу
И что я тоже был среди солдат,
Что в этот вечер штурмом брали Млаву.

Порой в обход, а чаще напролом
Мы шли вперед, но на плацу широком

Нас из костела встретили огнем
Из узких, занесенных снегом окон.

Но я не буду повторяться вновь.
Про эти схватки Вам читать не ново,
За эти годы надоела кровь
И стали тошны описанья крови.

Скажу лишь, что к исходу дня костел
Был нами взят, а немцы — перебиты,
И я через пролом в стене взшел
На Ягеллонов помнящие плиты.

И надо мной прозрачный мрак навис,
А к горлу подступили, как рыданье,
И муки камня, рвущегося ввысь,
И статуй безъязыкое страданье.

А дальше, где печаль не улеглась
И словно тень мятется по приделам,
Увидел я сиянье темных глаз,
Старинный лик в окладе потускнелом.

Но словно перед смертной крутизной
Я вдруг остановился, обессилев...
Черты живые женщины земной
Сквозь древний облик властно проступили.
И жаркий рот, и глазыньки в размет,
И белы руки... Рученьки родные...
Нахлынуло. Как на душе метет...
Как мир велик... Как далека Россия!

Желанная, родная красота,
Глаз не свести, вовек не наглядеться,
Терзает память каждая черта,
И никуда от памяти не деться.

Как гулко сердце бьется в тишине.
И нету слов... И только чувство — голо...
Спасибо Вам, что Вы явились мне,
Как Богоматерь старого костела.

Спасибо Вам, печальница моя,
За встречу эту, за любовь живу...
Вам шлют привет далекие края,
Где я сейчас с полком своим кочую,

Где день и ночь я Ваших писем жду
И, смертные встречая раздорожья,
Я Ваше имя гордое твержу,
Как в старину твердили имя Божье.

Млава. Январь-45.

Пиши мне.

Целую крепко.
Счастья и хороших стихов!

Сергей.

5 марта 1945 г.

5.III.45.

Я обижен на тебя, Оля. Ты ничего мне не пишешь. Даже на новогоднее письмо не ответила. В чем же дело-то?

Все эти месяцы — непрерывные бои. Польша позади, воюем в Германии. Я передавал тебе польские наблюдения — об этой стране я сохранил хорошие воспоминания. Германия — новый Вавилон. Я встречал здесь чехов, голландцев, парижан, итальянцев, англичан — вся Европа была согнана сюда. наших невольников тоже тысячи. О встречах и впечатлениях можно было бы многое порассказать, но я не могу говорить, не ощущая собеседника. Ты молчишь, и разговор повисает в воздухе. Написал десятка два стихов. Одну вещь посылаю — скажешь, как она тебе пришлась. Вот и все. Я сердит на тебя.

Хмуро целую.

Сергей.

Рассказ о восьми землях

Восемь стран прошел я вдоль и поперек,
 Был мой след чужими судьбами повит,
 И забыл я имена своих тревог,
 Позабыл я имена твоих обид.

Если б снова повстречались мы с тобой,
 Ты ни клятв не услышала б, ни божбы,
 Я б иной с тобой занялся ворожкой,
 Расплетая нити песен и судьбы.

Не про взгляд бы рассказал я, но про взор,
 Как глядят в глухих урочищах Литвы
 Темно-синие глаза лесных озер
 На языческие гульбища листвы.

Рассказал бы, как валил хмельной ячмень
 Рослых эстов у полночного костра
 Там, где Калева неистовая тень
 С нами вровень пировала до утра.

Глазоемом я назвал бы окоем,
 Рассказав, как синевою светит высь,
 Где Земгалия с Латгалней вдвоем
 Над Даугавой словно сестры обнялись.

Рассказал бы про солдатский перекур
 У часовни, где ни сесть, ни отдохнуть,

Где пророчет, по словам седых мазур,
Матка Бозка Ченстоховска добрый путь.

Новизну раскрыв в присловьях старины,
Я бы спел в одну стоцветную канву
И поверья Мазовецкой стороны
И Полесья златоустую молву.

Семь земель с тобой припомнив наизусть,
Я ни слова не сказал бы о восьмой,
Потому что ошибиться может грусть,
Может лишнее сказать о ней порой.

Я прошел ее сто тысяч раз подряд,
Все пути ее на память разучил,
Без нее бы я и жизни был не рад,
Без нее бы белый свет мне был не мил.

С ней мой жребий, как с судьбой, неразделим,
В ней начало и печали и любви,
Ту страну нарек я именем твоим,
Дал приметы ей и прозвища твои.

С.

17

4 июля 1970 г.

4.VII—70.

Дорогая Оля!

Вместе со всеми я тебя поздравил, а сейчас, когда смолк хор торжественных голосов (по собственному твоему выражению), поздравляю отдельно.

Мне так же диковинно, как и тебе меня, представить коктейльскую белоснежку в столь почтенном возрасте.

Очень хороша ты была собой и совсем напрасно умаляла на два года свой тридцатилетний возраст [...].

Оглядываясь назад, я за многое и многое благодарен тебе, Оля. И за ласточек над Кара-Дагом, на которых я оглядывался всю войну. И за партийную рекомендацию, посланную через блокадное кольцо, — она для тебя была первой и символической, а для меня она значила еще больше. И за твой голос, который мы ловили по походной рации и отождествлявшийся нами с голосом всего Ленинграда. И за приют и беседы на улице Рубинштейна: «Такой свободой дикою дышали...» И за разговор, в котором светились будущие «Дневные звезды» (помнишь, на бревне у флигеля Боткинской больницы). И за стихи, которые я не сразу, щенок эдакий, оценил, но зато, оценив, полюбил до конца. И за многое, многое другое. Это

многое в твоей непохожести, незаурядности, исключительности. Именно, исключительности [...]. Из мужчин более всего соответствий тебе я находил у Смелякова, с которым мы последнее время пришлось как-то друг другу по душе. А из женщин и соответствий нет. Сложный, ломаный, интересный, милый ты человек, Оля. Люблю тебя.

После этих слов ничего не остается, как заканчивать письмо. Лучше и больше не скажешь.

Целую, обнимаю, поздравляю и — счастья в том виде и облике, в котором ты его себе представляешь и желаешь.

Сергей.

ВОКРУГ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

(Письма читателей в редакцию «Нового мира»)

Публикация Л. Л. Родионова

11-й номер журнала «Новый мир» за 1962 год был распродан в киосках «Союзпечати» за считанные часы. В библиотеках за ним образовались очереди по сотне и больше читателей; хотя номер выдавался всего на один-два дня, записавшиеся последними могли рассчитывать получить его не ранее весны следующего года. Тех, кто получал «Новый мир» по подписке, одолевали знакомые и знакомые их знакомых, вымаливая журнал хотя бы на одну ночь.

Столь необычный всплеск всеобщего интереса вызвала напечатанная в журнале небольшая, всего в 66 страниц, повесть «Один день Ивана Денисовича». Автором ее был никому до того неизвестный школьный учитель из Рязани Александр Солженицын. Главный редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский в предисловии к повести писал: «Я не хочу предвосхищать оценку читателями этого небольшого по объему произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера». И действительно, о повести Солженицына заговорили сразу и повсюду. Впечатление, произведенное ею на общество, без преувеличения можно назвать потрясающим. И дело было не только в теме, хотя она для 1962 года была совершенно необычной — впервые, пожалуй, со времен «Воскресения» и «Острова Сахалин» отечественная литература во весь голос заговорила о многомиллионном племени заключенных. В «официальной» литературе до того времени обитателей ГУЛага как бы и не существовало вовсе; если об этих людях и говорили, то лишь полупшепотом, в доверительных беседах. Несмотря на то что прошел XXII съезд КПСС, на котором была предпринята куда более радикальная атака на культ личности Сталина, чем на XX съезде, правда о жизни лагерей все еще оставалась покрыта мраком секретности. Поэтому повесть Солженицына смогла быть опубликована лишь одиннадцать месяцев спустя после того, как она поступила в редакцию, и только в результате громадных усилий и хитроумных тактических ходов Твардовского. Но не только и не столько тема, сколько уровень абсолютной, бескомпромиссной правдивости и честности автора сделали повесть выдающимся явлением литературной и общественной жизни.

Литературная критика единодушно приветствовала появ-

ление повести; даже знаменитый своей беспринципностью В. Ермилов расхваливал на страницах «Правды» дебют Солженицына, в который раз показывая редкостное умение «держать нос по ветру». Мнения читателей, письма которых хлынули в редакцию сразу же после выхода журнала, подобным монолитным единством, однако, не отличались.

Своими впечатлениями от «Ивана Денисовича» спешили поделиться люди всех возрастов, всех социальных слоев и профессий: писали никогда в заключении не бывшие и те, кто прошел все круги гугаговского ада; те, кто в тот момент находился в заключении, и те, кто их охранял и охраняет; писали рабочие и пенсионеры, учителя и военные, врачи и библиотекари, школьники и домохозяйки. Спектр оценок колебался от выдвижения повести на Ленинскую премию до требования немедленного изъятия ее из библиотек (знали бы авторы таких писем, что десять лет спустя их пожелание будет исполнено с удручающей буквальностью!).

Хранящиеся в фонде редакции «Нового мира» в ЦГАЛИ читательские письма составляют 12 единиц хранения общим объемом почти полторы тысячи листов (ф. 1702, оп. 10, ед. хр. 1—3, 73—79, 166, 397). Письма адресованы, в основном, автору — А. И. Солженицыну или же редактору «Нового мира» — А. Т. Твардовскому. Судя по тому, что некоторые письма перепечатаны редакционными машинистками и расположение материала носит следы начальной систематизации, можно предположить, что в редакции в свое время велась какая-то предварительная работа по подготовке публикации этих откликов, но работа эта была приостановлена. Весь этот комплекс документов — ценный источник для изучения социальной психологии «оттепели» 1956—1964 годов. Настоящая публикация, в силу своего небольшого объема и специфики нашего издания, не претендует на полное и всестороннее изучение и разработку этого источника. Но публикуемые фрагменты читательских писем дают представление о мыслях и чувствах, которые вызвала у людей повесть Солженицына, позволяют увидеть, чем думы и чаяния той эпохи созвучны духовным и нравственным проблемам нашего времени.

Огромное большинство авторов писем в «Новый мир» чрезвычайно высоко оценивали как литературное дарование автора «Ивана Денисовича», так и гражданское мужество редактора «Нового мира». Читатель из Вильнюса писал 12 декабря 1962 года: «Глубокоуважаемый тов. Солженицын! Хочется выразить Вам большую читательскую благодарность за Ваш изумительный рассказ. Таковы были дебюты Короленко, Успенского, Гаршина [...]. Позвольте, пожалуйста, видеть

в Вас Короленко наших дней. Позвольте ждать с нетерпением следующих Ваших рассказов, повестей».

Произведение Солженицына стало своего рода тестом на проверку отношения к переменам, принесенным в общество XX и XXII съездами КПСС. Так, читательница из Киева, врач по специальности, писала автору 6 июня 1963 года: «Желание написать Вам появилось у меня не тогда, когда я прочла о Иване Денисовиче. В то время мне казалось, что всякий, прочитавший о нем, станет до конца своих дней безоговорочным поклонником Вашего необыкновенного дарования. Но проходили месяцы, и я убедилась, что далеко не каждый Вас понял. Теперь у нас, Ваших почитателей, есть даже «проба» на новых людей — их отношение к Вам. С людьми, которые не оценили, — нет настоящего контакта».

Обращает на себя внимание, что в письмах тех, кто в 1960-е годы не принял повесть, нет ни прямой защиты культа личности, ни попыток обелить личность Сталина. Здесь — одно из существенных различий общественного умонастроения в 1962—1963 годы и в наши дни. Критики повести, не решаясь тогда защищать Сталина как деятеля и сталинизм как систему, преимущественно сконцентрировали свой гнев на языке повести. Напомним, что язык «Ивана Денисовича» сам по себе стал литературным событием: не столь уж часто прежде в художественном произведении народ говорил не заимствованным голосом и как бы от себя, а не по воле автора. Одновременно Солженицын впервые ввел в литературный обиход целый ряд специфических лагерных «словечек и речений», сделав это, как отмечал в своем предисловии Твардовский, «с большим тактом и умеренностью». Не все поняли это; были такие читатели, которые обвиняли Солженицына в «грубости, похабщине, вульгарности, непристойности», даже, как ни странно это звучит, «порнографии» (очевидно, не вполне понимая значение этого слова). Пенсионер республиканского значения из Орла прислал открытое письмо-трактат (9 страниц машинописи через один интервал) с выразительным заглавием «Против пошлости и тарабарщины в литературе». Опираясь, как он пишет, «на требования В. И. Ленина и Н. С. Хрущева беречь чистоту родного языка», автор заявлял очень решительно: «В борьбе за чистоту и красоту великого и могучего русского языка против всяческих коверканий, опозлений и извращений не может быть никакой половинчатости, ни малейшей сентиментальности, никакого сюлтяйства [...]. И в этой борьбе как читатель я готов, образно выражаясь, вцепиться в глотку любому хулителю русского языка, кто бы ни был этот хулитель...»

Особую группу противников повести составили работники МВД, лагерной охраны — как находящиеся к тому времени на заслуженной пенсии, так и продолжающие службу. Узнав себя в описанных Солженицыным представителях лагерной администрации, они бурно протестовали, защищая «честь мундира». Один заместитель начальника лагеря, имеющий опыт литературной работы («...в печати закрытой, а иногда и в областной партийной выступаю регулярно», — сообщал о себе он), решил даже ответить Солженицыну собственным произведением — небольшим этюдом «Одна ночь Дениса Ивановича», где описал радостные хлопоты воспитателя ИТЛ Дениса Ивановича, провождающего одиннадцать досрочно освобожденных своих подопечных. Пишется о лагере в таком тоне: «Сами освобождающиеся с раннего утра были поглощены радостной предотъездовской суетой. Надо было обежать с «бегунком» (как здесь ласково называют обходной лист) все службы, от библиотеки до бухгалтерии [...]. У заключенных есть свой совет, или, как его здесь любовно называют, «профсоюз» [...]. После проводов были обычные дела вечером: инструктаж заступающей на дежурство секции внутреннего порядка, подведение итогов рабочего дня и разрядка на следующий, контроль за вечерней средней школой и курсами профтехобразования...» и т. д. Резким контрастом этим картинкам лагерного благополучия служат письма из мест заключения; так, заключенный пишет из колонии в Коми АССР: «Никто с нами никакой работы не ведет — пущено на самотек [...]. Начальника лагерпункта и заместителя по политчасти вообще не видим [...]. Администрация наша вся до одного работает со времен Берии и Вышинского». В другом письме рассказывается о лагерьном «воспитателе», который не смог ответить на вопросы, заданные заключенными — учениками вечерней школы, и заявил в духе щедринских градоначальников: «Не моя власть, я бы давно эту школу сжег, а на ее месте построил бы штрафной изолятор».

Письма сумевших выжить в лагерях жертв сталинского террора зачастую рисуют картины лагерной жизни, иногда очень выразительные, хотя и неполные и отрывочные, поскольку ограниченный объем письма не позволял дать подробный и связный рассказ о пережитом. Многие сообщают о том, что у них хранятся написанные, без всяких надежд на опубликование, воспоминания о своей жизни. Внимательное изучение этого разряда писем может пролить свет на некоторые конкретные факты истории 30—50-х годов. Так, в письме москвича Ю. А. Фридмана есть сведения о судьбе Манфреда Штерна («генерала Клебера»), героя гражданской

войны в Испании. Поэт А. Жигулин, встречавшийся со Штерном в 1950 году в Озерлаге (Тайшет), упомянул о нем в своей автобиографической повести «Черные камни» (Знамя. 1988. № 8. С. 58—61). Дальнейшая судьба Штерна и год его смерти остались Жигулину неизвестными; скудные сведения, сообщаемые Фридманом о «Стерне» (так автор письма передает фамилию австрийского интернационалиста — Stern), — представляют несомненный интерес, в связи с отсутствием пока более подробных и документированных свидетельств: «...В 1938 году его вызвали в Москву для объяснений — он позволил себе не очень лестно отозваться о Сталине — и арестовали. В лагере на Колыме ему «пришили» новое дело и приговорили к новому сроку. С надорванным здоровьем, будучи уже инвалидом, он был переброшен в особый лагерь в Восточной Сибири, где я, знавший его с двадцатых годов, и встретился с ним. Этого бесстрашного коммуниста, не раз смотревшего смерти в глаза, убили не физические лишения, не тяжелый труд, а моральные муки. Он беспрестанно терзался вопросом, кому и для чего было нужно репрессировать его и таких, как он. «Не может быть, — говорил он, — что все это делается с ведома Сталина! Если бы хоть одна из многих десятков жалоб, адресованных мной Сталину, попала к нему на стол, я бы не сидел в лагере, а воевал против немецких фашистов». Только несколько лет спустя, когда было объявлено о деле врачей, обвинявшихся в попытках отравить Сталина и других руководителей страны, он, наконец, понял, что без согласия Сталина ничего не делалось, что и его арест был санкционирован Сталиным. Такого удара он не перенес и вскоре скончался. Сейчас, задним числом, можно сказать: медленно думал Клебер-Стерн, если, даже пройдя муки следствия и 12-летней отсидки в заключении, он все еще верил Сталину».

Первое по времени письмо поступило в редакцию «Нового мира» уже 29 ноября 1962 года. Затем в течение декабря 1962 и первой половины 1963 года письма шли мощным потоком. К концу 1963 года этот поток несколько схлынул, но в 1964 году, когда был поднят вопрос о выдвижении повести Солженицына на Ленинскую премию в области литературы и искусства, количество писем снова резко возросло. В более поздний период все чаще выражается озабоченность читателей судьбой писателя, задаются вопросы, почему перестали публиковаться его новые, уже объявленные журналом произведения. Это продолжалось до того времени, пока против Солженицына не была развернута беспрецедентная даже по сравнению с печально знаменитыми «проработками» Ахматовой,

Зоценко, Пастернака кампания клеветы, окончившаяся исключением его из Союза писателей (1969 г.) и изъятием всех его произведений из библиотек. Затем от редактирования «Новым миром» был отстранен Твардовский; наконец, в 1974 году последовала, может быть, одна из самых вопиющих несправедливостей «застойного времени» — замечательный русский писатель, ставший к тому времени Нобелевским лауреатом, был лишен советского гражданства по ст. 64 УК РСФСР («измена Родине») и, вопреки действующему законодательству, выслан из своей страны.

Перейдем к краткому обзору читательских писем, которые, хоть и стали уже историческим фактом, в наши дни, когда мы возвращаемся к творчеству Солженицына, приобретают самое злободневное звучание. «Иван Денисович» — это встреча с нашим прошлым — и с эпохой сталинизма, и со временем XX и XXII съездов, наконец, с не столь давним постыдным периодом, получившим название «годы застоя», но это и встреча с нашим настоящим — пример писательской честности, бескомпромиссности и незаурядного мужества, пример, ко многому обязывающий современную литературу.

Письмо из Ленинграда. Три подписи:

«Дорогой товарищ Солженицын! Низко-низко кланяемся Вам за Ваше свидетельство перед потомками, свидетельство нашей боли и стыда. Было страшно, что все это утонет в бесстыдстве и будет заглушено газетным треском. После Вас писать как-нибудь на эту тему будет стыдно. Большое спасибо Твардовскому — его безошибочный вкус большого художника и убежденного коммуниста так высоко поднял журнал! Если искусство — память человечества, то Вы обогатили память будущих поколений. Спасибо. Спасибо Вам еще и еще раз!»

Медицинская сестра из Мурманска:

«Здравствуйте, товарищ А. Солженицын! [...] Очень боюсь, что будет длинно и восторженно-сентиментально, а поэтому сделаю все, чтобы быть краткой. Хочется сказать Вам о впечатлении разном. Во-первых, как бывший политзаключенный, я приняла Вашу вещь, даже боюсь назвать ее литературным произведением. Мне кажется — это кусок души. Я вновь перечувствовала все эти годы. Я всегда гордилась и своей биографией в этом смысле. Но Вы вновь поставили меня в положение зэка. Шаг за шагом я перечувствовала свою жизнь там. Это и больно и радостно. Тогда говорят «сладкая

боль». И эта магара, и дым, и тепло самокрутки, и подача раствора, и весь наш язык, господи, я даже не могу сказать, как это Вы выразили жизнь лагеря! [...] Это сама правда, сама жизнь и душа тех дней и лет! Если мне начать говорить об этой стороне Вашей повести — я боюсь, что не смогу остановиться. Это настолько жизнь, настолько боль, что кажется, остановится на минуту сердце! Я даже не могу сказать Вам спасибо. За это нельзя благодарить. Можно только стиснуть зубы и молчать или сказать совсем сторонние слова [...]. Я не могла говорить со всеми о своем впечатлении. Я же говорю, что это нельзя обсуждать. Разве можно холодно разбирать часть твоего сердца, твою боль, твою радость. А это именно то, что я перенесла и сейчас чувствую после Вашей повести. Но я спрашиваю мнение не нас, а людей, не бывших там. О Вашей вещи говорят, ее читают. Ахают, что так было. Даже говорят, что нужно арестовать всех, кто доносил на людей. Это наивно, но мне было легче видеть, что наконец эти люди начинают проникаться хоть малепьким сочувствием к тем, кто погиб и выдержал те годы. Вот Вам вторая сторона Вашей повести. Хотите Вы этого или нет, но Вы написали публицистическую вещь. Она заставляет людей думать, чувствовать, скорбеть. И я рада за нас, за тех, кого нет. Наконец растапливается холод отчуждения. Вот и к нам, ко всем тем, обращается человеческое сочувствие. Конечно, нам это не поможет, мертвых не воскресить... Но, может быть, живых сделает чуточку лучше. А сделать это может только талантливая вещь. Не так важно, что сказать. Вы сказали талантливо, это дошло, это заставляет их задуматься и даже подумать. И вот за это я могу сказать Вам спасибо. За Ваш талант, за гражданское мужество, за то, что Вы показали всем, там не бывшим и до кого не доходили решения ЦК о критике тех лет, показали им правду, как она была».

Читатель из Харьковской области, гор. Мерефа:

«Дорогой товарищ А. Солженицын! [...] Все интересуются Вашей оригинальной повестью [...] в Харькове я, слава богу, видывал всякие очереди: когда шла кинокартина «Тарзан», за сливочным маслом, за женскими панталонами, куриными потрошками и даже за конской колбасой. Но такой большой очереди, какая появилась за Вашей повестью в библиотеках, я и не припомню. Разница лишь в том: за товаром стояли потребители на улице или на задворке, а за Вашей повестью записываются в список. За товарами простаивали «в один присест» по два-три, а самое большее, четыре-пять часов. А

вот за Вашей повестью я лично ожидал без малого полгода, и все впустую. Повесть я заимел, если правду сказать, по древнейшей букве карточной системы — по букве «за», да и то по договору: на срок сорок восемь часов».

Пенсионерка из Иркутской области:

«Уважаемый тов. Солженицын! [...] Я отбыла срок 8 лет на Дальнем Востоке и Колыме. Много чего пришлось пови-
дать. И как же часто я думала о том, что вот бы кто-нибудь
взял да и описал все это или бы вдруг увидеть в кино. Даже
по молодости собирала кое-что в записную книжку, все мне
мечталось, что когда-то и кому-то это может пригодиться. Но
после того, как записи мои попали к оперуполномоченному
и отсидела в карцере, то мечты мои поостыли. Очень мне
было интересно, как же люди реагируют на Вашу книгу. Я
давала читать ее многим. Например, воспитательница детско-
го сада прочла запоем и была поражена, потрясена и все про-
чее. А вот зав. детсадом, пожилой партийный человек, прочла
и сказала: «...Ну и ну! Одна матерщина». А больше она ниче-
го в этой книге не увидела. Молодежь тоже реагирует по-
разному. Комсомольский секретарь, этаким передовой юноша,
сказал, что он не любит такие книги, а многие из молодых
рабочих, особенно из тех, которые учатся в вечерней школе,
читали просто нарасхват. А мой сосед, когда-то отбывший
большой срок, прочел и запил, и пил целую неделю, так взбу-
доражила книга его, сердешного. А некоторые совсем рав-
нодушны, даже не дочитывают. Я бы их с удовольствием при-
била».

Писатель Валентин Иванов:
«Москва 29.11.62.

Уважаемый Александр Исаевич, попытаюсь быть кратким.
Прочел я рецензию Симонова в «Известиях» и съезжился,
насторожился: ибо тут же у меня появилось скверное подо-
зрение.

Но не стоит об этом говорить, так как Вы полностью все
опровергли.

Не знаю, сколько мучений Вы понесли от редакторов и что
Вы сами испытали, когда вышел одиннадцатый номер «Ново-
го мира». Но пусть, так как для читателя все напечатанное
великолепно. Именно великолепно в полном значении этого
нашего слова. Оно ведь двойное и в переводе со старорусского
значит — **во**ликая красота.

И не в целом только, как излишне скромно оговаривается Твардовский, но в любой строке и в каждом слове Ваш «День» великолепен. Вкус же у меня более чем привередливый.

Как видно, придется Вам претерпеть нечистые объятья некоторых наших критиков. Иная хвала горче хулы. Один товарищ меня предупредил, чтобы я не читал ермиловских рассуждений. Статью же в «Л[итературе] и ж[изни]» за двадцать восьмое ноября я, к сожаленью, прочел. Эх, нечисть! Не обращайтесь на них вниманья.

Вам будет благодарна сама земля наша. За все, за все. Так же и за то, что Вы буквально первым заговорили о той втихомолку, в темноте загубленной безымянной, но подлинной силе, о тех, которых у нас по дикому лицемерию и до сих пор называют «простыми людьми». Безвинно загубленной силе.

А все эти «комполки и комиссары» из рассказа Вашего Тюриня, как ни крути, как ни верти, хочешь, не хочешь, а договор с дьяволом подписали. И нечего им было особо пенять, когда дьявол им скручивал шеи. Он ведь, дьявол-то, сам назначает срок платежа.

Все. Обещал же быть кратким. Еще чуть-чуть. Осенью прошлого года вышел мой роман «Русь изначальная». Получил сколько-то добрых писем от читателей, из которых некоторые говорили, что ранее никогда литераторам не писали. Я не старый литератор, но читатель старый, и тоже никогда писателям не писал. Вам пишу первому.

Мне очень хотелось бы, чтобы Вы прочли мою «Русь». Думаю, что в самохвальстве Вы меня не заподозрите. В «Руси» я пишу о том, о чем еще никто не говорил, и только.

Если Вы захотите, я эту книгу Вам доставлю.

Искренне Ваш

Валентин Дмитриевич Иванов».

Учительница:

«Дорогой Александр Трифонович! Честь Вам и слава и хвала, как первооткрывателю большого, замечательного таланта! [...] Какое колоссальное событие в нашей литературе! [...] Итак, Вам спасибо, а Солженицыну — поклон до земли. Если он даже ничего не напишет больше, он сделал очень много. Как яркая индивидуальность, он создал собственный стиль. А сколько такта! Чувства меры! А язык? В сложном музыкальном аккорде одаренный человек берет по чувству, а музыкант komponует по законам гармонии. Здесь же и чувство, и огромная культура, и знания — поэтому ни тени

фальши. Скупое. Лаконично, на палитре — три-четыре краски, а сила впечатления — колоссальная».

Военнослужащий из Лиепаи, Латвийская ССР:

«Своеобразен язык автора, то есть лагеря. Мне удалось насчитать три десятка слов, применимых только «за колючкой» [...] Эти слова довольно ярко характеризуют отношения людей, сложившиеся в лагерях. И пусть некоторые читатели не морщатся, прочтя эти слова и выражения. Лучше один раз прочесть их, чем сотни и тысячи раз услышать...»

Служащий из Барнаула:

«...не могу мириться с тем, что считаю отрицательным явлением в нашей жизни. Таким явлением, на мой взгляд, является опубликованная в вашем журнале [...] повесть Солженицына [...]. Прочтя эти строки, Вы, наверное, подумаете: для меня-то этот вопрос решен и ясен. Повесть похвалили Косолапов, Кружков, наконец, Ильичев, да еще на таком авторитетном совещании, как деятели культуры и искусства и от имени ЦК КПСС [...]. Моя невестка, библиотекарь краевой библиотеки, не прочла и 10 страниц. Ей стало противно, гадко ее читать. Такое же мнение мне высказывали продавцы киосков «Союзпечати» в Москве, Киеве, Ялте, Симферополе, в которых я спрашивал журнал [...]. Пошлый, блатной язык теперь, как никогда, получил распространение и пропаганду. За это преступники вам спасибо скажут — это верно. Но история вас покарает. Это факт».

Читательница из Елгавы, Латвийская ССР:

«Я бы не напечатала. Да, да! Даже несмотря на красивое предисловие т. Твардовского. Я прекрасно знаю, что это не выдумка, что это все жуткая правда, что в печати это освещено еще мало. Я была и в лагере, и в качестве ссыльной на Дальнем Севере, поэтому все хорошо знаю [...]. Как правило, имея тот или другой недостаток или изъян на собственном теле, стремишься его как-нибудь и чем-нибудь прикрыть, а не выставлять напоказ. В данном случае мы имели жуткую язву на теле нашей Родины. Так не лучше ли ее несколько прикрыть, а не выставлять всем на обозрение в самом жутком виде. Так только в старое время поступали калеки-уроды.

Они выставляли свои раны и уродства, надеясь этим вызвать сочувствие и получить побольше подаяния. Нам сочувствия не надо, тем более подаяния. Все давно прошло. Люди выстоявшие вернулись к творческому труду, к семьям, у кого такие сохранились. При встречах с друзьями по несчастью могут и будут вспоминать не один день, проведенный вместе. Но зачем же молодежь на этом учить? Зачем оглашать в печати набор никому не нужных словечек из лексикона опустившихся людей, которые пошли на поводу «урок». Настоящая 58-я, 58-я 1937 года, была не такая. А у автора все смешалось вместе. У него жертв 1937 г. фактически и нет, а там больше всего было безвинных. Тов. Твардовский приводит выдержку из заключительного слова т. Хрущева на XXII съезде, где сказано: «Наш долг — тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных с злоупотреблением властью». Да, безусловно, разобраться. Разобраться с теми, кто еще до сих пор продолжает незаконно пребывать в черных списках, их надо реабилитировать, хотя бы посмертно. Для потомков это будет иметь большее значение, чем один день, проведенный в лагере по Солженицыну».

Читатель из города Камень-на-Оби, Алтайский край:

«Наш долг — тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных с злоупотреблением властью...» Так говорим, говорим с высоких трибун. А как делаем? Ко всем без исключения процессам и явлениям нашей действительности подходим поверхностно и односторонне, догматически или эмпирически. В стиле и методах марксистско-ленинского подхода к действительности творчески, критически не разобрались, в шаблонах до того натасканы, что уже на людей не походим, а больше на попугаев смахиваем. [...] Дел, связанных со злоупотреблением властью, и сегодня более, чем достаточно. Злоупотребляют властью руководители ЦК КПСС, а за ними и руководители всех степеней. А почему бы и нет? Ведь если руководство ЦК грешно, то «мелкой сошке», как говорят, и сам бог велел грешить! Поэтому Н. С. Хрущев расправу с тремя молодыми учеными, с которыми он «по душам» говорил на последнем банкете в честь деятелей советской культуры, объяснил довольно просто и прямолинейно по-собакевичевски: «Нас могут спросить, почему мы, собственно, так поступаем? На это надо ответить: по праву руководства». Что это за «право» такое? Это именно и есть «право» худших времен культа личности, это буржуазное, а не советское право на безоговорочное мне-

ше всех вышестоящих по отношению ко всем нижестоящим [...]. Как учит Маркс, «право на безоговорочное мнение есть право на произвол». Вот что означает на деле пресловутое «право руководства» [...]. Так что еще рано говорить о том, что с культом личности и его последствиями все «окончательно и бесповоротно» покончено. Это легко сказать, как и не так уж трудно написать соответствующее постановление, резолюцию съезда КПСС или написать это в Программе КПСС. Труднее, гораздо труднее в действительности избавить общество от тех объективных отношений общественных, которые были созданы в обществе СССР после Владимира Ильича Ленина. Историю движут и делают не постановления и резолюции, а люди. Но из вышеизложенного мы видим, что люди делают не то, что от них требуют постановления и резолюции. Вот какие мысли пришли мне после прочтения повести «Один день Ивана Денисовича».

Бухгалтер из Москвы:

«Многоуважаемый Александр Исаевич! [...] Вы описали один день «зэка» Ивана Денисовича, понятно, что это день тысяч и сотен тысяч таких же «зэков», причем день этот не такой уж плохой, Иван Денисович, подводя итоги дня, во всяком случае доволен. А вот такие морозные дни, когда к разводу на вахту дневальные спосят из бараков умерших и складывают в штабель (но были и такие, что не приносили мертвеца сразу, а получали на них паек несколько дней), а мы, несчастные «зэки», 58-я, окутанные всякими мыслимыми и немыслимыми тряпками, стояли в строю по пять, ждали вывода за зону, а баянист, обеспечивающий мероприятия КВЧ, играет «Катюшу». Крики нарядчиков: «В консервные банки обую, а пойдешь на работу!» и пр., и пр. Потом 7—8 километров в лес, норма заготовки 5 кубометров. Надо утоптать почти метровый слой снега, свалить дерево, обрубить сучья, снести в кучу и сжечь их, а они, сволочи, не горят — только дымят, распилить дерево на размеры, заштабелевать — а день зимний короткий, скоро уже в зону, а до нормы далеко, мы же «опытные» лесорубы — бывшие командиры, журналисты, научные работники, инженеры — многие лес-то видели только на прогулке в Подмосковье. Вечером на вахте — невыполнившие несколько дней нормы — в «кондей» (изолятор), а там блатные — «друзья народа», а капитан-фашист: «На отдых пришел? Под нары лезь!» Это тоже был обыкновенный день. Дорогой Иван Исаевич! Я не соби-

* Так в тексте.

раюсь описывать все, что Вы и так хорошо знаете. Я хочу просить Вас от имени тысяч и тысяч, живых и мертвых, напишите, напишите не об одном дне, а о жизни хорошего, честного человека, его жизни дома, на работе, потом все, чем благодарил «усатый батько», — арест, тюрьма, пытки, лагерь. Материала для этого больше, чем достаточно».

Читатель из Киева:

«Уважаемый товарищ Твардовский! Очень здорово и правильно вы сделали, опубликовав повесть «Один день Ивана Денисовича». Вот именно так следует разоблачать культ личности Сталина, все ужасы, порожденные им. Правда, есть люди, которые «возмущаются» тем, что эта повесть опубликована. Но это люди, находящиеся под гипнозом культа. На словах они за разоблачение, а на деле, когда вот так, как в повести, *выворачивается* все и показывается, до какой степени в период культа дошло издевательство над человеком, сколько горя, слез, вдов, сирот, невинных смертей принес культ, как он разлагал душу людей, раздваивал ее и отравлял — начинают ворчать».

Работник лагерной администрации (письмо переслано в «Новый мир» из редакции «Правды»):

«Хорошо зная истинное положение в лагерях, отношение к осужденным, их обеспечение, я глубоко возмущен искажением советской исправительно-трудовой деятельности, которое изложено в повести «Один день Ивана Денисовича» [...]. Надо сказать, что жизнь заключенных в лагере, режим, их обеспечение и т. д. Солженицыным описано правдиво, но только так преподнесено читателю, так все утрировано, что создается впечатление — в лагерях творился полный произвол и беззаконие [...]. А как же! Вы думали, Солженицын, что лагерь для осужденных — это дом отдыха или что-то в этом роде? Совершив тягчайшее преступление перед государством, Вы хотите содержаться в тепле, сытно поесть, прилично одеться, не работать и так отбывать срок? Нет, таких лагерей для преступников в Советском государстве и не может быть [...]. Шухов Солженицына спит 7—8 часов, одет в валенки, ватные брюки, телогрейку и бушлат, шапку-ушанку, рукавицы. Вышел на работу в 27° мороза и говорит — холодно. Надо Солженицыну сходить на стройку сей-

час и посмотреть, как и в чем работают строители в такой же и больший мороз [...]. Накормлен Шухов за день три раза горячей пищей, а завтрак даже из трех блюд [...]. Солженицын пишет, что заключенные были настолько голодны, что даже вылизывали чужие миски. Это просто смехотворно. Что же вылизывать, если каждый свою вылизал? [...] У автора также ненависть и презрение к таким же как он заключенным, но работающим в службе лагеря. Обычно в службу лагеря берут из числа лучших заключенных [...]. Вот их-то автор и ненавидит, обзывая «стукачами» и «суками», что они якобы помогают администрации лагеря бороться с нарушениями и преступлениями среди заключенных. Эту категорию заключенных часто убивали в лагере, что автор одобряет [...]. Автор пишет, что в жилых бараках было невыносимо холодно, даже иней на потолке [...]. Однако, Шухов шел на проверку в коридор босиком, поленившись одеть валенки. Видимо, если можно было стоять 15-20 минут босиком в коридоре барака, то в бараке было очень тепло. Вот правдивость автора.

На производстве Шухов только и стремился, как бы не работать, уничтожить стройматериал, украсть толь, выбросить раствор. Это явное вредительство Шухов делает с удовольствием [...]. Опубликование этой повести, как видно, допущено с легкой руки А. Твардовского [...]. Непонятно, какие факты жестокости и произвола и какие нарушения соц. законности видит Твардовский в повести. О том, что заключенных содержали под усиленной охраной, что их обязывали работать, одевали по сезону, кормили по норме, требовали соблюдения распорядка дня, злостных нарушителей водворяли в карцер? [...] Я бы порекомендовал тов. Твардовскому познакомиться с положением о лагерях и деятельностью наших исправительно-трудовых лагерей в настоящее время. В настоящее время заключенный гораздо больше ограничен, чем в те времена, режим строже. Но эта необходимость продиктована жизнью и духом нашего социалистического государства, уверенно вставшего на путь построения коммунистического общества [...]. Вы, тов. Твардовский, наверное, не знаете, что в настоящее время некоторой категории заключенных вообще или почти запрещено пользоваться деньгами, заработанными или присланными. Одежда только лагерного образца или только полосатая — специальная. Посылки и передачи некоторым вообще запрещены или выдаются с большим ограничением. На ночь заключенные закрываются в бараки под замок. Кормят строго по принципу «кто не работает, тот не ест», т. е. не выполнил норму выработки — питание снижено. Это, пожалуй, строже, чем было Сол-

женицыну [...]. Кроме всего этого, Солженицын верит в бога (думаю, что не ошибусь, что в лице И. Д. Шухова автор описывает себя), по всей повести он обращается к его, бога, помощи [...]. Я не могу без боли в душе допустить, чтобы в нашей советской печати была такая ересь. Я считаю, что эта повесть не должна быть в пользовании».

Заключенные, всего — 5 подписей:

«Здравствуйте, Александр Исаевич! С глубоким вниманием прочли Вашу повесть [...], все, что описано в ней, пережито нами. Нас в зоне 300 человек, журналов с повестью два-три, несмотря на это, повесть была прочитана в течение трех дней, ее по собственной инициативе з/к читали вслух [...]. Большое Вам спасибо! Хороший Вы человек, что донесли до народа правду о муках, через которые мы с Вами прошли. А нам еще приходится идти [...]. После амнистии 1953 года жизнь в лагере наладилась, прекратилась вражда, произвольщики прижали хвосты. У людей появилась тяга к знаниям, к книгам, стали выписывать газеты, журналы. Не пропало это и до сих пор. За период с 1953 года по июнь 1961 многие ходили без конвоя, часть пошла на проживание за зоной, им разрешили вызвать жен, понаделать детей. Некоторые были шоферами, возили государственные грузы Усть-Нера — Магадан, им доверяли. Другие были передовиками производства. И вдруг, в июне 1961 г., как снег на голову постановление Верховного Суда СССР сделать четыре вида режима — общий, усиленный, строгий и особый [...]. Забыто было все — хорошее поведение, добросовестный труд, здоровье, которое мы отдали на косберитовых рудниках, золотых шахтах и строительстве дорог Колымы. Нас использовали, выжали все, здоровье и молодость, пришла техника, мы больше не нужны. В «благодарность» за труд нас одели во все полосатое, отобрав все, кроме нательного белья. Сверх белья — китель х/б, телогрейка, бушлат, шапка «сталинка» без меха. И это здесь, на Индигирке, в Оймяконском районе, который является полюсом холода. Но если бы только это, хотя здесь активированный день — 51°. Дело гораздо хуже, нас *морят голодом*, посылки и бандероли нам совершенно запрещены, с заработанных денег на 3 руб. дают только курево, зубной порошок, мыло и конверты, хотя последние не нужны, нам разрешено одно письмо в месяц. Гарантийное питание — хлеба 700 гр., сахар 15 гр., жиры 19 гр., мясо 50 гр., рыба 35 гр. И баланда, или, вернее, пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть. И больше ниоткуда ничего;

бывают, правда, случаи, что вольные передадут кусок хлеба или сахара, но тут не зевай, ибо не успеешь съесть — отберет надзиратель или солдат, кинет в грязь или затопчет сапогами, а раба божьего — в изолятор [...]. Больных в зоне очень много, с 300 человек; неделю назад было 190 человек цинготников, что же будет весной? Ляжет вся зона [...]. Радио включают 2—3 часа в сутки, хотя передают не «Голос Америки» и не Би-Би-Си, боятся, видно, что мы услышим много хорошего. Картина одна в месяц. Одно письмо, одна кинокартина, 2—3 часа радио в сутки, не поймем, в какой степени это нужно для перевоспитания з/к? Маркс сказал, быт определяет сознание, что даст нашему сознанию наш быт?»

Инженер из Ленинграда:

«...Может быть, мы и ошибаемся, но ничего подобного по силе эмоционального воздействия еще не было. «Записки из Мертвого дома» Достоевского меркнут по сравнению с этой повестью [...]. Даже такой необычный для той обстановки эпизод, как радость труда, у Солженицына непревзойден: эти строки захватывают так, что хочется бежать к строителям ТЭЦ и помогать доставлять шлакоблоки...»

Учитель средней школы:

«Миллионы подобных арестов, следовательно, столько же доносов и чуть меньшее число доносчиков. Кто они? Большею частью друзья или знакомые пострадавших, которые из низменных побуждений, а иногда и под угрозами шли на предательство. Как надо было развратить людей, чтобы сделать из них миллионы провокаторов и предателей. Они не преследуются, живут вполне благополучно, многие из них готовы продолжить свою прежнюю деятельность — только свистни! [...] А помните, в двадцатых годах разыскали и расстреляли темных мужиков, за сорок лет до этого приведших в исполнение приговор царского суда над народовольцами? В то время выплыли дела провокаторов Серебряковой, Лавриненко и других, также расстрелянных. Разве тогда были менее гуманные законы, чем сейчас? [...] По решению XXII съезда партии жертвам Сталина будет установлен монумент. Это замечательное решение! Но самый великий памятник, самый значительный, мы ждем от вас — замечательных советских художников [...]. Художник, чье сердце по-настоящему волнуют события времен сталинской дикта-

туры, сумеющий воплотить это волнение в художественных образах, — заслужит бессмертие».

Научный работник из Москвы:

«Многоуважаемый г. А. Т. Твардовский! И в наше время требуется известная доля мужества, чтобы вытаскивать на свет божий скрытое от света дневного недавнее страшное для того, чтобы люди знали о нем и задумались. Вот и я задумался, и не потому, что неведомо оно мне было, и не потому, что примирился с ним, а потому, что при моей жизни печать — действительно острое и могучее оружие, когда направлено на подвиги или на возбуждение низменных инстинктов, заложенных в каждом человеке. Эта самая печать и ее творцы что-то робко мямлят, когда надо бороться со злом настоящим. Где же, скажите, эти «не советские люди», где же эти «не коммунисты», где те многочисленные опричники, следователи, истязатели, тюремщики, мракобесы, имеющие с человеком лишь наружное сходство. Ведь они живы, они исправно платят членские взносы и называют себя коммунистами. Ведь при этом отравляют окружающее своим глетворным влиянием, отравляют подрастающее поколение цинизмом, шовинизмом и пышно расцветшим в их пустых сердцах. Я встречаю их часто в общественных местах. Они наглы, вследствие уверенности в своей безнаказанности и круговой поруке, у них пустые глаза. Но их много, и они представляют несомненно большую социальную опасность. Повесть — крик души — дойдет и до значительной части интеллигенции, а дальше? Пройдет время, и горечь пройдет и забудется, а жизнь время от времени каждому будет напоминать — они живы, они ждут своего часа. Зло не вырвано с корнем, оно не объявлено вне закона даже чисто формально. Опасность существует. Я не политик и не психолог, не знаю, что надо делать конкретно, но уверен, что со злом надо бороться более решительно. Оно не должно повторяться. Ни наш народ, ни человечество не заслужили этого».

Врач из Москвы:

«Дорогой тов. Солженицын! С волнением прочитала Вашу повесть о страшных днях Ивана Денисовича и его товарищей. Тяжко было читать, особенно то место, где Вы говорите, как капитан 2-го ранга, изъездивший половину Европы, был счастлив съесть еще одну миску овсяной каши... Страшно,

как можно унижить там человека... Но у меня вопрос к Вам: я слышала, что и там были люди, которые, исполненные веры в правду, организовывали подпольные организации партийные. Это — сильные духом. А слабые становились баптистами или, вообще, потеряв веру в человека, обращались к богу. И так было и с коммунистами... Может быть, потому, что вы показали один день и день глазами простого человека Ивана Денисовича, Вы не смогли этого сделать? Или действительно все духовное умирало в этой страшной обстановке, задавленное издевательством, голодом и холодом? Но Вы же остались человеком, человеком с большой буквы! В Иване Денисовиче Вы хорошо показали хорошего человека, но я имею в виду и другое. Как выживали там люди не только физически, но и *духовно*? О чем думали? О чем говорили? Или действительно было так тяжело, что уже ни о чем не говорили? [...] Кроме фразы о «бабьке усатом», очень выразительной, там нет разговоров... Вы хорошо изобразили там и условия работы, и роль посылок, и значение лишней миски в этой страшной обстановке, и силу товарищества, и разных людей — Фетюкова, кинорежиссера, баптиста и этого старого заключенного, проведшего там столько лет... Мне как-то пришлось встретить в санатории одного инженера (бывшего), который провел там 25 (!) лет. Это был совершенно больной, разрушенный человек, к тому же страдавший страстью к вину, совершенно разломанный весь. Это был уже *бывший человек*. Может быть, даже наверное, Вы будете писать большую вещь на эту тему. Материала много у Вас... Расскажите об этом. Как люди оставались там людьми и как другие переставали ими быть...»

Читатель Волгоградской областной библиотеки им. Горького:

«...каково же было мое разочарование, когда я, начав читать, не мог понять смысла написанного. Я в отчаянии бросал читать, но потом вновь заставлял себя продолжать чтение повести. Я напрягал свое мышление, чтобы понять как отдельные словечки и речения, так и, в конечном счете, смысл всей повести в целом. Обилие в повести этих непонятных словечек, искаженное произношение обыденных разговорных слов, а также и весь странный стиль языка, очень тяжелы для восприятия, запутывают смысл произведения и снижают его познавательную ценность [...]. Легче понимать смысл при чтении такого философского произведения Ленина, как

«Империализм и эмпириокритицизм»* (хотя оно и очень тяжело для восприятия), чем эта повесть Солженицына».

Кочегар из Риги:

«Еще до присылки журнала в Ригу стало известно, что в свободной продаже 11-го номера не будет. Во время посещения Публичной библиотеки, где бываю довольно часто, я спросил у сотрудницы: «Получили 11-й номер «Нового мира»? Мне ответили: «Единственный экземпляр забрали в ЦК для ознакомления». Только через 2 дня, с большим трудом, мне удалось в одной библиотеке получить журнал, вне очереди, на один вечер.

Я не сентиментальная девица. Но когда начал читать, как железным обручем что-то схватило сердце, сжало его в комок и на глаза навернулись непрошеные слезы. Заглотив валидол, несколько минут сидел с закрытыми глазами. В моей памяти возникли страшные картины прошлого, навеянные первыми прочитанными страницами. Едва оправившись от волнения, вновь продолжил прерванное чтение. Этого волнующего документа равнодушно читать нельзя. Нужно либо отвергнуть все написанное, либо принять полностью.

Я принимаю его полностью и беру на себя смелость сказать, что все изображенное А. Солженицыным описано честно, правдиво, как было в действительности. Что же касается необычного языка героев, то нужно сказать прямо — строгорезимный спецлагерь — не пансион для благородных девиц...»

Читательница из г. Подпорожье:

«Я не была в тех ужасных условиях спецлагеря, но была свидетелем не менее страшных картин за 18 лет оскорблений и унижений... Что только не делалось для того, чтобы вытравить в человеке все человеческое и оставить только личный номер! [...] Об этом еще никто не рассказал, а надо рассказать ясно и правдиво все в тех же целях воспитания молодежи [...]. Мне хочется рассказать о нескольких спутницах, которые показывали образцы твердости и веры в свою правоту.

Рафа Блюхер — жена Василия Константиновича Блюхера; она никогда не уронила чести его имени, не отрелась

* Так в тексте.

от своего мужа, всегда верила в его невиновность и не скрывала этого. Она приобрела в лагере специальность зоотехника.

Женя Комиссаржевская — племянница Веры Федоровны Комиссаржевской, жена профессора. Она приняла запущенную столовую и в лагерных условиях привела ее в такое состояние, когда украсть из котла заключенного считалось позором, на столах стояли цветы, на окнах — вышитые марлевые занавески.

Катя Перкина, жена военного работника из Киева, в условиях лагеря, когда нас водили в клуб, скверно ругаясь, грубые и невежественные охранники, ставила оперные спектакли и шила костюмы из актированных тряпок.

Вера Франчук — дочь хабаровского машиниста, в 18 лет признанная певица, постоянно участвовала в спектаклях. Она 10 лет возила воду в лагерях и потеряла свой прекрасный голос.

Варя Петрова, журналистка, жена наркома земледелия Таджикской ССР, постоянно поднимала дух заключенных, исполняя по памяти партитуры многих опер.

Все эти женщины работали по 10 часов в день на тяжелых физических работах [...]. Когда же появится книга о многих героических жизнях?»

«В Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР от студентов и аспирантов филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, членов литературного кружка.

Обсудив произведения, выдвинутые на соискание Ленинской премии, считаем достойной такой большой награды повесть «Один день Ивана Денисовича». Книга Солженицына несомненно принадлежит к этапным произведениям русской советской литературы, созвучным тем великим историческим сдвигам, которые произошли в сознании нашего общества после XX и XXII съездов Коммунистической партии. Этот этапный характер книги состоит прежде всего в беспощадной ленинской правдивости. Сила повести Солженицына в том, что суровый трагизм обстоятельств, изображенных в ней, не заслоняет большой правды о народных основах социалистического строя, мировоззрения и морали. Выражая искреннюю солидарность с высокой оценкой повести Солженицына на страницах «Нового мира» (В. Лакшин. «Иван Денисович, его друзья и недруги»), мы считаем необходимым подчерк-

нуть и особое философское звучание сцены кладки здания ТЭЦ, которая перерастает в гимн неистребимости человеческого духа, апофеоз творческого труда как подлинно коллективного начала, составляющего сущность советского человека. Лагерная тематика оказалась в руках Солженицына могущественным средством анализа человеческой психики, поставленной в самые бесчеловечные условия и выдержавшей это испытание на прочность. В широком теоретическом смысле Солженицын опровергает буржуазно-индивидуалистические концепции жизни и человеческой природы, в том числе и многочисленные современные спекуляции на противоречиях творчества Достоевского. Повесть Солженицына, как подлинно художественная, высокая трагедия, внушает настоящую веру в человека. Это не тот суетно-показной оптимизм, каким отличается, например, произведение А. Чаковского «Свет далекой звезды», но выстраданная убежденность мыслителя, проникшего своими художественными обобщениями в сокровенные глубины жизни и диалектического, марксистского понимания ее. Шухов — не безмолвный свидетель умных разговоров Цезаря Марковича и др. Переноса действие от рассуждений об Эйзенштейне и судьбах искусства на обледеневшую стену ТЭЦ, где происходит не просто кладка здания, а *кладка нового человека*, Солженицын демонстрирует действительное место народа в истории, который делает ее своими руками. Развивая лучшие традиции прогрессивного искусства, Солженицын обогащает понимание принципа народности не только с точки зрения ее социально-философского и нравственно-психологического содержания, но и в смысле оценки, критерия в изображении сложной противоречивости человеческих отношений. Повесть «Один день Ивана Денисовича» заставляет думать об ответственности перед народом, открывает новые горизонты в наших представлениях о гуманизме, демократизме, соотношении этического и эстетического, обращает к раздумьям о чистоте нравственного чувства и совести. Словом, именно эта книга убеждает, что литература действительно становится у нас «нравственным обеспечением коммунизма».

22 подписи.

Телеграмма:

«Дорогой А. Солженицын! Большое спасибо. Здорово и без б...ства. Эх, да и о чем говорить!

Ленинград. Бывший А-468».

«Я не литературный критик и не могу проанализировать ткань повести, ее сюжет, язык, не могу объяснить, какими средствами достигнута огромная сила художественного воздействия повести, вызывающей у читателя чувство естественной и законной ненависти к антиленинской, антисоветской системе беззакония и произвола, организованной Сталиным. Но, пробывши в заключении 15 лет «от звонка до звонка», загнанный, подобно Ивану Денисовичу, в особый лагерь, носивший номера на коленях брюк, на головном уборе и на бушлате, сидевший в БУРах и «кондеях», с выводом и без оного, я, вместе с десятками и сотнями тысяч других «зэков», могу засвидетельствовать, что А. Солженицын ничуть не стусил краски. Все написанное им — правда, каждая деталь, каждая мелочь — правда. Впрочем, период следствия и этапов был, пожалуй, еще страшнее, еще трагичнее, чем период пребывания в лагере. И есть обнадеживающая историческая справедливость, что первым во весь голос сказал правду о сталинских лагерях человек, только что пришедший в литературу и сам прошедший через все ужасы лагерного быта. Жизнь не стала ждать, пока писатели ознакомятся с архивами. Жизнь выдвинула нового талантливого писателя, который своею книгой оказал подлинную помощь партии. И все же у меня есть претензия к автору, претензия, поднимающаяся из самой глубины сердца. И, хотя ее очень трудно сформулировать, хотя она может показаться несправедливой, я все же попытаюсь ее изложить. Да, все, что написал Солженицын, — правда: жизненная, художественная, политическая. Но это — не вся правда! Знаю, мне могут возразить — и это будет справедливо! — что ни одно художественное произведение, самое талантливое, взятое само по себе, не выражает всей правды. Мне могут сказать — и это тоже будет правильно! — что нельзя предъявить счет художнику за то, чего *нет* в его книге. Слишком часто, увы, именно в период культа личности такие иезуитские требования убивали литературные произведения, а подчас и его автора. Все это верно. И все же я не могу не выразить своего удивления и огорчения, что такой талантливый писатель, как А. Солженицын, сумевший увидеть и так мастерски, с почти гениальной скупостью изобразить Ивана Денисовича, кавторанга Буйновского, Сеню Клевшина, Алешу-баптиста, Цезаря Марковича и других, не увидел, так-таки совсем не увидел своим острым художественным глазом ни одного человека из другой категории заключенных — партийных, советских, военных и хозяйственных работников, арестованных в 1937—1940 годах [...]. Не потому ли не выведены в повести за-

ключенные из числа старых большевиков, что герой повести Шухов считает их ответственными за сталинскую политику, за существование тех самых лагерей, в которых незаконно томится он и другие честные люди, а автор не хочет сосредоточивать на этом внимание читателей? Или, быть может, наоборот, Шухов, Клевшин и другие бывшие фронтовики знают, что они, проливавшие кровь за Родину, ни в чем не повинны, но отнюдь не уверены в тех, кто арестован до войны и занимал ранее большие посты? Шут его знает, может, они в самом деле — «враги народа», могли думать Шухов и другие. Их психология — следствие периода культа личности, их психология — результат отравления ядом недоверия и подозрительности к товарищу, ближнему, всех ко всем... Ибо ведь с 1937 г. вдалбливали в головы советских людей, что «враги народа» повинны во всех наших трудностях. Может быть, именно они — арестованные до войны — виноваты в нашем отступлении, плене и т. п.? [...] Вот этой стороны дела не показал Солженицын. Его герой Иван Денисович — простой, честный работяга, обладающий чувством собственного достоинства, понимает, что в лагере основное — это выжить. Стремление выжить — это его примитивный протест против обрушившейся на него репрессии. Чтобы выжить — надо приспособляться, и он «шестерит», готов постоять в очереди за Цезаря, подсобить при раздаче обеда, чтобы «закосить» миску каши. Конечно, он не уважает «придурков» и ненавидит «стукачей», но это, пожалуй, и весь его моральный кодекс. Из моего 15-летнего пребывания в заключении мне известно, что многие такие, как Шухов — бывшие рабочие, колхозники, красноармейцы, присоединялись к коммунистам, помогали смелым, мужественным борцам против произвола, которые находились в каждом лагере. Между тем, в «Одном дне» все «зэки» какие-то пришибленные, без ответные [...]. Будем надеяться, что «Один день» — это только начало, что вслед за А. Солженицыным и другие писатели выполнят свой долг и создадут литературный памятник, увековечивающий память жертв периода культа личности Сталина. В заключение обращаюсь через вашу газету с призывом ко всем оставшимся в живых реабилитированным писать воспоминания о тех страшных годах, постараться изложить характерные эпизоды из периода следствия, этапов и лагерной жизни и направить все эти материалы в особую комиссию, которая, надеюсь, будет создана при Союзе советских писателей. Эти материалы помогут писателям отобразить в своих будущих произведениях всеобъемлющую правду

о беззаконии периода культа личности, о трагедии честных советских людей, томившихся в сталинских лагерях.

Ю. А. Фридман, Москва».

Читатель из Кургана:

«Здравствуйте, Александр Исаевич! [...] Большое спасибо Вам за книгу! Я давно мечтал увидеть в художественной литературе то, о чем говорят шепотом, в интимном близком кругу друзей и родных, о чем говорят с болью и горечью, от чего пьют залпами стаканы водки, от чего берутся у нас скептики, неверие в правоту дела партии, от чего такая пассивность и придавленность кругом, от чего молодежь, получившая высшее образование, говорит, что нет сейчас настоящих коммунистов и что в партию люди идут ради карьеры. Я видел много лагерей (издали), разговаривал с заключенными, слышал много рассказов и анекдотов, но не мог представить в полном объеме то, что показали Вы в своей повести [...]. Я очень хотел бы почитать документальные сборники томах в десяти, наподобие «Нюрнбергского процесса» или «Истории царской тюрьмы», рассказывающие об истории заключенных, невинно томившихся десятки лет в советских тюрьмах. Лет через 10—15 такие сборники, вероятно, будут [...]. Коротко о себе. Мне 27 лет, закончил военное училище, уволен в запас, учусь на шестом курсе заочного факультета журналистики, работаю на заводе «Уралсельмаш».

«Уважаемый т. А. Т. Твардовский!

Прошу извинения, что я оторву Вас от работы своим коротким письмом. Дело в том, что в журнале «Новый мир» № 11 за 1962 год напечатана повесть «Один день И. Д.», автор ее А. Солженицын.

О данной повести судить не буду, но скажу несколько слов.

В этой повести описаны мучения и издевательства над лучшими людьми нашего народа. Нам, живым, стыдно перед ними — живыми и мертвыми.

Но речь идет о т. Солженицыне. Я с одним Солженицыным Александром прошел путь от Орловско-Курской дуги до Восточной Пруссии в период Отечественной войны, и в марте или феврале 1944 г.* он был арестован (на фронте) на

* Это произошло в феврале 1945 г. Автор письма — командир артдивизиона, где служил Солженицын.

моих глазах. Хотя он был боевой командир, я и мои подчиненные не знали, за что он был арестован, и до сих пор о нем ничего не знаю. Знаю, что он до войны окончил госуниверситет, литфак. Поэтому прошу Вас, передайте ему, пусть он напишет мне о себе, я буду очень ждать ответа. О себе писать не буду. Даже если это однофамилец, пусть найдет несколько минут и даст мне ответ, я буду ждать.

Е. Ф. Пшеченко. Харьков».

Читательница из Москвы:

«В этой капле-повести, в этом сгустке событий одного дня выражена, до возможного предела видимости, как в волшебном «блюдечке с наливным яблочком», вся эпоха. Без криков, знаков восклицания, без раздирающих душу сцен садизма, вот она, как на ладони живое сердце, трепещет жизнь того времени [...]. *Такая капля-повесть должна быть выдвинута на соискание Ленинской премии* (пока за рубежом — спаси, аллах! — не додумались присудить ей Нобелевскую) [...]. Так *кратко* сказать, как сказал Солженицын в своем «Одном дне», никто не скажет, так как тут уже *сказано все*. В этом — сила повести».

Читатель из Казахстана:

«Если уж редакция решила акцентировать внимание читателей на последствиях культа личности, то надо было эту сложную тему дать хорошему писателю, а таких у нас много [...]. Союз советских писателей располагает неограниченными возможностями создать высокохудожественное произведение, которое с интересом будут читать наши люди [...]. То, что описывает Солженицын, это значительно мрачнее, чем описывал Ф. М. Достоевский царскую Россию в «Записках из Мертвого дома» или Т. Драйзер смертников электрического стула в США [...]. Если эту повесть отправить в США или в Англию, там удостоят ее высокой премии, как «Доктора Живаго» Б. Пастернака, а судя по рецензиям А. Твардовского и К. Симонова, можно удостоить Ленинской премии в нашей стране».

Инженер из Латвии:

«Прочитал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». На меня она произвела большое впечатление, хотя ничего неожиданного и не открыла. Вещи похожие, а по-

рой еще хуже, я уже слышал от людей, подобно Ивану Денисовичу, побывавших в лагерях. Важно, что, наконец, об этом заговорили во всеуслышание [...].

Я полагаю, что Иван Денисович отбыл свои 3563 дня в лагере благополучно и теперь живет вместе со своей семьей и работает в колхозе или на стройке. Его ценят, как хорошего специалиста, и уважают, как человека. На работу он устроился без особых затруднений. Его товарищам по заключению — кинорежиссерам, инженерам, учителям и военным — после освобождения везло не так хорошо. Вряд ли они устроились без значительных затруднений на работу по специальности [...]. Вопрос возникает о другом. Интересно, чем в настоящее время занимается лейтенант Волковой? Тот самый Волковой, который избивал заключенных плеткой, заставлял их раздеваться на морозе, а может, совершал вещи еще страшней? Что делают сейчас остальные надзиратели, лжесвидетели, юристы, строившие ложные обвинения? Понесли ли они наказание за свои преступления? Я подозреваю, что не понесли и что Волковой работает сейчас в каком-нибудь учреждении и на него смотрят без подозрения, благожелательней, чем на бывших зэков. Когда будут наказаны все эти люди? Ведь их преступления ничуть не меньше, чем преступления надзирателей немецких концлагерей, а наоборот, должны расцениваться строже, с большей пристрастностью, так как этих людей не породила чуждая нам идеология».

Медсестра из Москвы:

«...Я восемь лет пробыла «там». Мой отец был наркомом совхозов Украины до 1937 года. Потом вся жизнь пошла кувирком. Я встречалась там со Светланой Тухачевской, Володи Постышевым и др. Я вернулась домой в 1955 г. и с тех пор старалась не вспоминать прошлого. И знаете — почти удалось! Но Ваша книга так живо напомнила мне все эти годы [...]. Вы сделали большое, доброе дело, написав Ваш рассказ, каждая строчка, каждая фраза которого — ПРАВДА! [...] Большое Вам человеческое спасибо».

Читательница из Киева:

«Дорогой Александр Исаевич, я прочла Вашу повесть «Один день Ивана Денисовича». Все очень хорошо написано. Я от всей души рада огромному успеху Вашей повести. Вчера я была в Доме офицеров на встрече украинских писателей

с войнами Советской Армии, каждый выступающий говорил о Вашей повести.

Как хорошо, что мы дожили до того времени, когда можно высказаться.

Желаю Вам написать «Большую книгу», о которой мечтает каждый писатель. Обязательно напишите, пусть она будет «осиновым колом» в вопросах, о которых даже вспоминать тяжело.

Я работаю секретарем (к сожалению, не ученым) в Институте археологии АН УССР. Каждый день наши научные сотрудники спрашивают меня: неужели все это правда, о чем написано в Вашей повести. Я говорю, что повесть правдива на 101%. Жалко, что Вы не сводили своего героя в банку с дезкамерой.

Желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в литературе.

Бывшая ЗЭКа № 256 789».

Читатель из Москвы:

«Вы очень одаренный человек. Материал знаете превосходно, излагаете его хорошо. Интересно написана повесть — это действительно так. Но прочитаешь ее, и какой-то странный осадок остается на душе — я говорю о своем впечатлении. Люди выведены такими, какими они могли быть. И лагерь показан таким, каким он [был] в действительности. В это веришь. И все же остается чувство неудовлетворенности. Что-то в повести передернуто [...]. Много ошибок допустил Сталин, много вреда он принес. И надо вскрыть все то плохое, что было сделано при нем. Хотя бы для того, чтобы это плохое не повторялось. Но нельзя же, в самом деле, прикрываясь щитом борьбы с культом личности, бранить и очернять все, что было в ту пору, когда Сталин стоял у власти. Нельзя же, прикрываясь фразой о борьбе с культом личности, оправдывать мелких людишек и прямых преступников только за то, что они пострадали в период жизни Сталина. Преступники в любой период истории были, есть и будут врагами общества. Это непреложный факт, и никуда от этого не уйти. Вы со знанием дела показываете все то мерзкое, что было в лагерях, выворачиваете наизнанку всю грязь. Это помогает Вам создать абсолютно черный фон. А когда заходит речь о «зэках», Вы слишком часто и довольно тонко используете так называемый «прием умолчания». Вы повернули «зэков» к читателю только одной стороной и сосредоточиваете на этой стороне все внимание. Складывается мнение, будто Вы всеми си-

лами стремитесь оправдать тезис, вложенный Вами в уста кавторанга: охранники, надзиратели, конвойные — это не коммунисты, не советские люди. Правильно, назвать их коммунистами язык не поворачивается. Считать их людьми с большой буквы тоже как-то не хочется. Но кого Вы считаете настоящими людьми? Судя по авторской интонации, по выбору материала — «зэков». Но ведь они, ваши «зэки», по своему внутреннему облику совсем недалеко ушли от надзирателей, от конвоиров, от Волковых. Ведь среди выведенных Вами заключенных почти нет тех людей, которых упрятала за решетку злая воля Сталина и его приспешников. Нет тех принципиальных большевиков, которые мешали Сталину и его приспешникам, которые оказались в лагерях именно в то время *не случайно, а закономерно*. У Вас показан Особлаг, лагерь для политзаключенных, для «врагов парода». Но по сути дела ни одного политического заключенного в повести нет. У Вас действуют персонажи, либо случайно угодившие за решетку, либо явные преступники, которых просто необходимо держать за колючей проволокой, может быть, только не в лагерях для политзаключенных, а в лагерях для уголовников [...]. Вот главный персонаж Иван Денисович Шухов. На первый взгляд, вроде бы ничего мужик, а? Иной раз и поработать может. Ну, не так, конечно, как на воле, на производстве, а половину дня — от обеда до раннего январского вечера. А вот если суммировать поведение Шухова за день, суммировать все его мысли, то предстанет перед нами не кто иной, как законченный эгоист, типичнейший себялюбец. По-умному хитрый, живущий только ради своего брюха. Если Фетюков — просто «шакал», просто опустившийся несчастный человек, то Шухов — «шакал» квалифицированный, изворотливый, безжалостный. Такой зверь без зазрения совести вырвет кусок изо рта другого, более слабого, зверя. Шухов вроде бы презирает «шестерок». А сам он кто, ежели не квалифицированная «шестерка»? Он везде работает «на подхвате» [...]. Думаю о его прошлом, и как-то не верится, что по пустому обвинению угодил он в лагерь. Шухов Ваш за здоровьишко свое, за свой живот пуще всего трясется. Холодно на улице — к фельдшеру побежал. Даже сам себя убедил, что болен. А на деле-то оказался совершенно здоровым. Он и в бою-то, наверно, первым руки поднял, чтобы шкуру свою сберечь. А может, он нарочно на себя наговорил у следователя? Или обвинение не отрицал. Знал, что отсидит десять лет, поработает в лагере, зато живой останется. А на фронте, в стрелковой части, смерть почти верная... На все способен этот Ваш Шухов. И в хорошее будущее его поверить трудно.

Что станет делать этот беспринципный приспособленец на воле? Где он сейчас? Частным порядком печи кладет, деньги заколачивает? Или бизнесом занялся, пресловутые ковры разрисовывает? Ничего, доходное дело. Он уж небось немало новых рублей впрок засолил [...]. В повести подробно описывается «шмон» или, выражаясь общепринятым языком, досмотр, проверка. В подтексте сквозит авторская интонация: «ах, бедные преступнички, им холодно, их обыскивают... ножички у них отбирают, ах, ах!» [...] Нет уж, эту гоп-компанию политических уголовников действительно надо было осматривать как следует. Чтобы своих не резали. Невинных людей, которым тоже жить хочется. У Вас, Солженицын, есть редкостная способность походя мазать черным то одно, то другое, да так мазать, что след остается вполне заметный [...]. Самому тяжелому и неблагодарному объекту, на который посылали «эзков», Вы дали название «Соцгородок». Разрешите спросить, мыслящий Вы человек, воспринимать ли это как случайность, или как символику? Строят Соцгородок в открытом поле, на ледяном ветру, плохо одетые и полуголодные люди. А главное, они сперва обносят это поле колючей проволокой, делают вышки для часовых, и только потом, создав себе эту тюрьму, приступают к закладке фундамента... Надеюсь, что тут символикой и не пахнет. Иначе я вообще не стал бы писать Вам это письмо. Почему? Да потому, что горбатого не исправишь [...]. Герой повести, Иван Денисович, благополучно пронес через «шмон» пилу-ножовку. Сделает из нее ножичек. Потом продаст. А этим ножичком какой-нибудь бандюга Павло прикончит человека. Может, виновного, а может быть, просто так, «по ошибке». Простите меня за сравнение, но оно напрашивается. Выражаясь Вашим языком, Вы удачно пронесли свою рукопись через «шмон», отточили ее и пустили гулять по свету литературный ножичек. И не один, а десятки тысяч ножей. И если эти ножи морально прикончат или ранят кого-нибудь, то это останется на Вашей совести. Людям сейчас все еще нелегко разобраться в сложных вопросах, связанных с культом личности Сталина. Говорить об этих вопросах надо по большому счету, принципиально. А Вы, по моему, взявшись обелить своей повестью всех без разбора, и правых и виноватых, только излишне запутываете это дело. Вот такая она, значит, получилась фуевина! (Думаю, Вам приятно будет еще раз прочитать одно из своих любимых словечек!)

Читатель из Новосибирска:

«Здравствуйте, т. Солженицын!

Прочел Ваши повести. Возможно, Вам покажется странным, но у меня имеется к Вам просьба. Напишите большое произведение, многоплановое, охватывающее довоенный, военный и послевоенный периоды жизни нашей страны. В этом произведении глубоко, с философских позиций рассмотрите вопрос культа личности. Рассмотрите в широком плане все стороны этого явления. Напишите академическое произведение. Вы, наверное, сможете это сделать.

Почему я прошу писать с философских позиций (хотя это, возможно, и звучит претенциозно)? Потому что вред этого явления, на мой взгляд, гораздо глубже и ядовитей, чем представляется [...]. С 1950 г. я работаю геологом. До этого был на практике. Приходилось бывать во многих районах Алтайского края и Новосибирской области. Так вот, бывая в деревнях, селах, поселках, я обратил внимание на кладбища. Везде наблюдалось полнейшее к ним пренебрежение. Все они были запущены, разгорожены, по ним бродил скот, свиньи. Не знаю, как кого, но меня это сильно затрагивало. Ведь там лежали близкие люди, деды, отцы, матери. Неужели у людей не было ничего душевного, святого? [...] Ведь должны быть память, уважение к своим предкам, близким, уважение к себе, наконец. Но факт был фактом. Объяснить это национальным характером? Нет, нет. Народ всегда уважал могилы предков. Ведь был же родительский день. Я пришел к выводу, что здесь сказалось разлагающее влияние культа личности (в широком понятии этого явления)».

«Здравствуйте, Александр Исаевич!

Простите за беспокойство, но, прочитав Ваше произведение, меня обдало прошлым, пережитым. Вы описываете Экибастузский лагерь 1951 г. Написано хорошо, ничего нельзя добавить и выкинуть, так это хорошо написано. Но только один день, а у меня было 15 лет. Это 36 015 дней, а сколько этапов, изоляторов, судов, тюрем. Изнурительный труд [...]. Быть может, Вы меня забыли. Я хочу Вам напомнить. Вы ходили на работу на ТЭЦ, а потом в 1952 году Вы ходили в мехмастерские в бригаде Александровского. Александровский сейчас работает в Экибастузе. Я же был в бригаде Белова, ходил тоже в мехмастерские. Моя фамилия Тихонов, Павел Гаврилович.

Караганда».

Читатель из Владивостока:

«...прежде всего повесть меня поразила своей правдивостью! [...] Мне удивительно до непонятного, откуда у автора такое абсолютное знание вещей чрезмерно конспиративных? [...] И паоборот, мне очень ясно, почему автором описан именно «один день» из жизни Ивана Денисовича. Ибо абсолютно верно, что 10 лет — это один день, правда, не по времени, а по однообразию. Причем автором не без основания взят местом действия лагерь, где содержались политические заключенные, ибо это более приемлемо для опубликования, чем, скажем, лагерь «бытовиков», т. е. уголовников. Это, пожалуй, единственная возможность не поднимать из мрака тех лет то, чему трудно было бы поверить. [...] Что же касается начальника режима Волкового, Татарина и «партнеров по пашкам», так это еще «ягнята».

И все-таки поразительна реалистичность описания в повести всех образов, без исключения! Даже мне и то не удалось подметить ни в чем-либо чего-нибудь придуманного».

Инженер из Москвы:

«Уважаемый товарищ! Вынудила обратиться к Вам глубокая тревога и досада, которую вызвала статья в газете «Правда» от 11 апреля с. г. [1964] «Высокая требовательность», посвященная обзору редакционной почты по поводу повести А. Солженицына [...]. Среди моих друзей, коллег, знакомых, представляющих рядовую интеллигенцию, давно идут споры о том, дадут или не дадут Солженицыну премию. При этом никто не сомневается, что дать премию следует, но большинство считает, что не дадут и лучше бы не представляли, дабы не позорить отказом комитет по премиям. Я проявлял оптимизм, однако в душе был далек от уверенности, что повесть получит Ленинскую премию. Лишала меня такой уверенности, в частности, и печальной памяти полемика журнала «Новый мир» с «Литературной газетой», полная недобросовестных передержек и искажений со стороны представителей последней. И вот появилась упомянутая статья в газете «Правда», аргументация которой одновременно и возмущает, и забавляет. За объективное читательское мнение о повести А. Солженицына выдается «самая большая группа писем», где содержится «глубокий и беспристрастный анализ произведений» и т. д. Собраны высказывания и доцента (ученый человек), и слесаря (рабочий человек), и старого большевика-еврея (мудрый человек), и вдовы безвинно по-

гибшего. И повторяют они за недобросовестными критиками неправды о том, что «автор не различает благородных и жуликов, хороших и плохих людей», о воспетом им «праведничестве страдальцев», о «добренском жалостливом гуманизме», чепуху о «примитивном внутреннем мире героя повести» и т. д. и т. п. [...] Недобросовестная ссылка «Литературной газеты» на «глас народа» уже была разоблачена в печати. Но появление подобной тенденциознейшей подборки в «Правде» накануне присуждения премий может означать только одно: премии Солженицыну не видать».

Читательница из Пскова:

«Вероятно, на Ваш взгляд, это очень талантливое произведение. Но я тоже хочу задать вопрос. Для меня ясно, что культ Сталина — это наш позор, черные страницы нашей истории. Черные — это мне очень понятно — мой отец был репрессирован. Мне уже 25 лет. На многие вещи я имею свой взгляд, многое стараюсь понять. А сейчас я задаю Вам вопрос: зачем печатать такие произведения? Не надо! Мне кажется, что все люди имеют представление о быте наших заключенных и сейчас. Так, скажите, зачем же, как хоругви, разворачивать перед миром свои грязные портки? Я не прошу прощения за выражения — просто не собираюсь их выбирать. Печатая такое произведение, Вы заботились о том, чтобы читатель был солидарен с Вами в восприятии, в оценке этого произведения. Не могу воспринимать это произведение, потому что оно унижает мое достоинство советского человека. Вспоминая черные дни нашей истории, мы говорим — это не должно повториться! Наше дело общее, чтобы такое не повторилось. Но такие произведения не помогают нам, а вредят. Да, да — вредят. Разоблачение? Нет — плевок в адрес того, что было [...]. Не нужно возводить на щит то, что было. Ведь мы живем ради будущего. Так что не щекочите наши умы таким мусором, как «Один день Ивана Денисовича».

Пенсионер. Татарская АССР:

«Мое мнение о повести «Один день Ивана Денисовича»:

1) Сказать А. Солженицыну большое советское спасибо за искреннюю и правдивую картину жизни в сталинских лагерях смерти.

2) Саму повесть немедленно изъять из дальнейшего употребления. Держать ее только в известных отделах центральных библиотек. Наши дети и внуки не должны знать об этом глубоко трагическом периоде в жизни нашей партии, в жизни нашего государства».

«Уважаемый Александр Трифонович! Пишу Вам, потому что уважаю Вас, и надеюсь, что Вы ответите мне прямо. Вы не кривили душой, когда многие шли на сделку с совестью. Ни Вы, ни Паустовский, ни Каверин и некоторые другие. Правда, немногие устояли, молчали, когда не могли говорить то, что хотели. И вот теперь лед тронулся! Тронулся! Тронулся! А тронулся ли? [...] Давайте говорить прямо. Сталина критикуют, потому что он мертв. Сталин повинен во многих преступлениях. Но при жизни никто не заикнулся о его недостатках, не говоря о преступлениях. Мы знаем, почему. Те, кто пытался, — тех уж нет. Теперь, значит, все иначе. Иначе. При всем уважении к человеку, который с риском для жизни повернул руль истории, хотя это и было трудно, нельзя не отметить сходства черт в обстановке. Опять «ура!», опять «ценнейшие указания», опять нет недостатков! Опять! Но ведь всякий нормально мыслящий человек понимает: без ошибок и недостатков нет никого. Почему же о них молчат? Почему опять внимают коленопреклоненно? Вспомните: кто-нибудь где-нибудь возразил? Кто-нибудь не согласился, отстаивая свое мнение? Нет! Опять есть только два мнения: одно — Никиты Сергеевича, а второе — неправильное [...]. Слишком велика инерция, слишком силен шок страха, чтобы кто-то выступил с критикой. А она нужна, чтобы преодолеть рабский страх, рабскую психологию, которыми заражены массы [...]. Почему же так: честность — наполовину, искренность — не до конца? Сталин был преступником, но «...дай бог нам всем быть такими коммунистами, как товарищ Сталин!». Как это понимать, Александр Трифонович? Вот почему я сижу за письмом и боюсь? Знаю, что говорю правду, а боюсь? А ведь я не трус, у меня пять правительственных наград. И не за хлебозаготовки — за уничтожение в честном бою фрицев!»

Пенсионерка, 68 лет:

«Уважаемый г. Солженицын! Прочитала Вашу повесть «Один день Ивана Денисовича». Повесть эта произвела на меня потрясающее впечатление. Журнал я достала с большим трудом и на короткий срок. Когда начала читать, то я поняла, что расстаться, только прочитав эту повесть, я не смогу. Решила ее переписать, хотя знала, что это большой и очень тяжелый труд [...]. Стала читать и писать одновременно, писала по многу часов подряд, заплачу, вытру слезы, успокоюсь — и опять писать [...]. Есть книги, которые прочтешь и забудешь: есть книги, которые вовсе с первых страниц не

хочется читать, а Вашу повесть я даже переписала, т. к. мне показалось, что если я ее только прочитаю и верну журнал, то как будто оторву что-то от сердца».

Читатель из Тбилиси. 26 марта 1967 г.:

«Прошло всего песколько лет [...], когда на страницах «Нового мира» появилось замечательное произведение А. Солженицына, вызвавшее столько спору и толкований в литературном мире, что нам, читателям, казалось, открылась новая веха в литературе нашего современника [...]. Тогда же я считал, что тема ареста, раскрывая правду пережитых лет, только разворачивалась и будет многие годы, но прошло несколько лет, и оказалось, что, за исключением нескольких произведений, тема исчерпана и, если можно так выразиться, — законсервирована [...]. Но ведь много пишут о том, чтобы знать будущее, надо знать правду о прошлом, всю, а не ее верхушки. Воспитание правдой — лучшее воспитание. А нам нужно воспитывать морально здоровое поколение, не знающее страха, тревоги перед будущим, неуверенности в завтрашнем дне, горьких сомнений, разочарований и т. д. И вот появляется пекая тень страха [...] — неужто «запрет» темы или сильное ограничение, как бы прекрасно она ни была воспроизведена?»

Письмо от 2 июня 1967 г.:

«В редакцию «Нового мира».

Я Ваш многолетний читатель [...]. Поэтому считаю себя вправе задать Вам вопрос и получить на него ответ. Вопрос следующий. Почему перестал печататься А. Солженицын? Почему он не был в составе членов съезда писателей? Для меня А. И. Солженицын дорог не только как автор «Ивана Денисовича» и «Матренина двора», но и как гражданин, истинный поборник справедливости, человек высочайшего мужества, коммунист в ленинском смысле этого слова. Так почему же он замолчал? Я попрошу Вас дать мне не стандартный ответ на заранее заготовленном бланке, а обстоятельный и правдивый».

Читатель. 11 июня 1967 г.:

«Уважаемая редакция! Прошу сообщить, будут ли в Вашем журнале печататься новые произведения А. Солженицына, а если нет, то по какой причине. Мне кажется, что все читатели Вашего журнала хотели бы познакомиться с новыми произведениями этого честного и талантливого писателя».

КОНТРАПУНКТ РЕЖИССЕРА

(Письмо В. Ардова С. Юткевичу)

Публикация М. В. Криштофовой

В феврале 1962 года писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов отправил своему другу, кинорежиссеру Сергею Иосифовичу Юткевичу, большое (27 страниц машинописного текста) письмо, где поделился мыслями, возникшими у него при чтении сборника статей и воспоминаний Юткевича «Контрапункт режиссера» (М.: Искусство, 1960).

Форма дружеского письма вместила в себя настоящую статью-рецензию, перемежающуюся воспоминаниями, размышлениями о природе творчества, как его понимал Ардов, о работе актера и режиссера в театре и кино. «Вообще я не любитель писать бесплатно (особенно так длинно), — заканчивал свое послание Ардов, — но твоя книга меня, как видишь, воодушевила. Да и мне самому надо где-то высказать мысли, которые естественно воцли сюда. Я не рассчитываю на опубликование этих строк. Но написать все вышеизложенное мне необходимо».

В марте того же года Ардов получил от Юткевича ответ на свое письмо. «Больше всего я боялся допустить в свое сердце, — писал Юткевич, — бациллу цинизма и трусости, и, может быть, поэтому я и решился, в конце концов, написать эту книгу. Я счастлив, что она вызвала в тебе такие отзвуки. Уже одним этим оправдано ее появление на свет, и, может быть, кое-что из нее западет в сердце кого-то из талантливой молодого поколения» (ф. 1822, оп. 1, ед. хр. 511, л. 1—5).

Публикуемое письмо расширяет наши представления о диапазоне духовных и эстетических интересов В. Ардова — известного писателя-сатирика, эстрадного скетчиста, мемуариста. Среди упоминаемых в письме имен и реалий — фильмы С. И. Юткевича «Великий воин Албании Скандербег» (1954) и «Отелло» (1955). Упомянут театральный режиссер Н. М. Фореггер (1892—1939), в театре которого «Мастфор» С. Юткевич и С. М. Эйзенштейн в 1921 году занимались художественным оформлением спектакля «Хорошее отношение к лошадям». Ардов в том же 1921 году стал актером «Мастфора» и был занят в этом спектакле.

Ардов пишет о Константине Александровиче Марджанове (Котэ Марджанишвили — 1872—1933), который в 1910—1913 годах был актером и одним из режиссеров МХТ, в 1922—1933 годах работал в театрах Грузии.

Упоминается также ОПОЯЗ — Общество изучения

поэтического языка — одна из разновидностей русской формальной школы в литературоведении (предшественницы современной семиотической школы), куда входили Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон, О. М. Брик, Б. М. Эйхенбаум и другие.

Письмо Ардова публикуется по авторизованной машинописной копии из его фонда (ф. 1822, оп. 1, ед. хр. 285).

Февраль 1962 г.

Дорогой Сережа!

Стало уже общим местом в нашей литературе (особенно — в эпистолярной) жаловаться на то, что суета, свойственная современности, разлучает людей, не дает нам возможности встречаться друг с другом в той мере, в какой это хочется, а иногда — и необходимо...

Вот и мы с тобой после 1924 года, когда сочиняли первый в твоей и в моей жизни киносценарий, как-то обреченно отходили в разные стороны, ничуть не теряя взаимных симпатий и общих интересов. Встретишься где-нибудь в Доме кино или литераторов, потолкуешь с бешеной жадностью редкого свидания о многом и опять расстаешься на месяцы, а то и на годы...

А годов этих накопилось уже столько, что они стали переходить из количества в качество (прости за корявое применение цитаты). И вероятно от того, что мне уже стукнуло 60, а ты — «на ближних подступах» к такой дате, сигналы из юности воспринимать начинаешь со вниманием и волнением, в средние годы не столь уже частыми...

Так и я воспринял твою книгу «Контрапункт режиссера», которую ты мне послал с ласковой надписью. За книгу благодарю, а за надпись о веселой нашей юности — особенно... И взялся я читать этот фолиант уже не так, как мы с тобой теперь проглядываем многочисленные книги, попадающие в орбиту нашего внимания в количестве и ассортименте столь широком, что даже физически невозможно всё штудировать. А ведь в двадцатых годах выпивали мы даже с остервенением страницы под любым переплетом, рассчитывая почерпнуть что-нибудь такое, чего мы доселе не знали, пропустили, не заметили... Помнишь ли ты эту нашу жадность?

Теперь она не в моде: удалось уже отучить молодежь от стремления постигнуть возможно больше. Нынешний деятель в начале третьего десятка своих лет полагает, что эрудиция только обременяет его память. Он и так все знает по конспектам или брошюрам. А то еще, не дай бог, впадешь в уклон, а за это по головке не погладят...

А наш брат — старик — чего греха таить — больше *дегустирует* новые книги, как это делают специалисты винного или табачного производства: отхлебнул вина из свежей бутылки, пополоскал рот и выплюнул. И уже резолюция готова: «мускат белый засушливого 1945-го года». Да и в самом деле: что принципиально нового может нашему возрасту расказать книга? Всего мы нахлебались, всего повидали...

А вот твой «Контрапункт» я прочитал серьезно и внимательно. Почему? Разумеется, не только потому, что это — настоящий труд, лишенный поспешных выводов и стремления отписаться ото всего, от чего удастся уклониться (увы! сколько мы знаем таких сочинений теперь!). А еще и потому, что я сам присутствую в этой книге. Нет, я не намерен вчинить тебе иск о моем соавторстве. Речь пойдет о том, что я, как твой современник, узнаю в книге мою — нашу — эпоху, описанную честно и памятно. И оттого-то у меня такое впечатление: если не я это писал, так, по крайней мере, и про меня здесь написано. Нужды нет, что не названо мое имя: оно было бы здесь некстати. Дороги наши в искусстве и литературе разошлись в соответствии с нашими индивидуальностями. Я как личность в твоей книге ни при чем. А я как человек данного поколения очень при чем. И обобщенного себя узнал и растрогался по сему поводу.

Вот за это тоже спасибо.

И еще спасибо за то, что книга эта необыкновенно широка. Она касается целого ряда проблем и отраслей человеческой деятельности. Она включает в себя от мемуаров до теоретических гипотез очень многое. Чтобы выдержать такой конгломерат, надо крепко строить фундамент книги и высоко вознести ее свод. Тебе это удалось, на мой взгляд. Это — книга, выражающая твою незаурядную индивидуальность в искусстве, в литературе, и даже — я сказал бы шире — в культуре вообще. Она — итог жизни и деятельности человека, которого зовут Сергей Юткевич. Не подумай, что я тем хочу сказать, будто ты кончился и уже больше ничего не «додашь». В тебе нет старости, как покоя подступающей смерти. Ты и физически, и творчески еще «в соку». Это видно даже из самой книги, не говоря уже о том, что общение с тобой в жизни постоянно обнаруживает твою активность и твоя работа во многих областях одновременно говорит о сем ясно и недвусмысленно. Но все-таки «Контрапункт режиссера» — некий значительный итог более чем сорокалетней деятельности. Никто же не виноват, что ты начал так рано. Помню, художник Юлий Ганф острил еще в двадцатых годах: «Се-режу Юткевича его мама за ручку водила в театр подписывать

договор на декорации к очередному спектаклю». Ганф тебя знал в Харькове. А я помню твою маму, которая тебя называла Гулинькой, когда мы с тобою трудились по договору с каким-то «Иксигрекино» над комедией для Игоря Ильинского (кажется, эта комедия называлась «Карьера Капитона Шлепок»); так она и не вышла на экраны, ибо и мы написали плохо, и режиссер снял полную галиматью; впрочем, это было неизбежно в те годы — чересчур мало все разбирались тогда в кино; а что касается комедий, так и сегодня в этой области царствует полная и почти безнадежная путаница и неразбериха).

Но вернемся к книге. Да, очень трудно под одним переплетом свести столь разносторонние материалы, как в твоём «Контрапункте». И самое название потому и хорошо, что помимо всего прочего декларирует это многотемье.

К тому же трудно найти более удачное определение для творчества режиссера, чем это привнесенное тобою из теории музыки слово. Да, режиссер воистину должен овладеть контрапунктом спектакля или фильма. Дирижер имеет обычно две-три репетиции с оркестром для самой трудной симфонии. А сколько раз приходится постановщику собирать артистов и художников, музыкантов и бутафоров и прочих и прочих участников спектакля?.. В фильме трудности вырастают против театра namного. Тут без контрапункта — то есть без умения слить во времени несколько тем, несколько мелодий, несколько замыслов — нельзя. Ты не думай, Сергей, что я намерен тебе пересказывать своими случайными словами содержание твоей книги, столь убедительно и талантливо продуманной и написанной тобою. Нет, разговор дальше пойдет о другом. Но этот тезис я должен был изложить: он чересчур важен для всего тома твоих сочинений, для гигантского ее разнотемья.

Меня радует первая статья твоей книги тем, что в ней я обнаружил давно исчезнувшие в наших высказываниях о театре и кино мысли о сути и масштабах профессии режиссера. Теперь, когда пишут о театре или кино, всё больше жуют систему Станиславского (а чего ее жевать? — старик сам все объяснил) либо рассуждают впустую: каков должен быть сценический герой. Особенно я обожаю, когда мне в печати или на диспутах рассказывают про положительного героя: что он смеет делать, а чего не смеет. Этот дикий талмуд печатается в кусках всё больших по размеру, и пустословие столичных и периферийных болтунов занимает иной раз три четверти номера газеты или журнала.

А ведь для молодежи, например, нужны сведения объективно ценные. Я в твоей статье увидел важное пособие для начинающего режиссера. Не знаю, как дрессируют режиссеров во ВГИКе, но «выход продукции», как принято говорить в столовых, там ужасно мал. Ну, Чухрай, ну еще двое или четверо... А куда девать десятки молодых неинтеллигентных людей обоего пола, коим присваивается звание режиссера за отсутствие крамольных замыслов и собственной индивидуальности? От них гибнет половина нашей кинопродукции.

Конечно, изучение твоей статьи им не возместит шести лет деятельности компрачиков в вузе: изуродованы эти бедняги очень сильно. Но пусть люди задумаются над тем: что же такое есть кинорежиссер, если говорить об этом всерьез!..

Также и вопрос о мизансценах. Заметил ты, что в иных наших фильмах и спектаклях действующие лица, по причине беззаботности постановщика к проблемам мизансценировки, стучаются задами при перемещении, словно идет партия «карамболь» на бильярде?.. А ведь когда-то у нас строили мизансцены Мейерхольд, Эйзенштейн и, как говорят в отчетах, «ряд других товарищей». К их числу охотно отнесу и некоего С. Юткевича, ибо сей последний не только в теории, но и на практике любит, ценит и умеет творчески рожать мизансцены.

Очень хорошо, что ты в соавторы своих высказываний о режиссуре и мизансценах вовлек также некоего А. С. Пушкина: всегда убедительнее, если положения автора иллюстрируются на конкретном материале. А такой неожиданный единомышленник, как Пушкин, убедителен донельзя.

«Отелло, каким я его увидел». — Сперва я скажу, каким я увидел твоего «Отелло» на экране. Я увидел прежде всего безмерный труд режиссера, заметный, как на экране — в решениях сцен и кадров, в декорациях, трактовках образов и действия, в малых, но бесчисленных и очень выразительных паходках каждого кадра и т. д. и т. п.; так и труд, вложенный в этот фильм в порядке предварительной работы и работы за кадром режиссера во все время течения картины. Поистине это — подвиг!

Мне-то ясно, что каждая мельчайшая (часто даже незаметная зрителям) деталь фильма требовала от тебя гигантских усилий — и творческих, и поисков, и эрудиции, и силы

воли в борьбе со всеми теми, кто сопротивляется постановке вольно или невольно. А мы знаем, что иной раз легче преодолеть злую волю или точку зрения явного противника постановки, нежели уговорить человека, который полагает, что он лучше тебя разбирается в каком-то, пусть очень мелком, но потребном деле или хотя бы в своей роли... А косность стихии — погоды, качества строительных и декоративных материалов, света, транспорта, инструкций и законов!

Словом, я, привыкший к тому, что, главным образом, я воюю за письменным столом со своей машинкой или бумагой, ужаснулся безмерности твоего труда. Взяться за постановку «Отелло» — уже подвиг. А благополучно завершить такое предприятие — эпопея — то есть ряд подвигов.

Я не во всех решениях фильма согласен с тобой. Например, мне хотелось, чтобы Отелло не был столь курнос, как украинец Бондарчук, и обладал бы более глубоким, но более открытым темпераментом. От Яго я тоже ждал бы большего темперамента, чем тот, каким располагает прохладный житель XX века Андрей Попов. И Дездемона рисуется мне не такой бельфамистой, как Скобцева (хотя эта артистка очень красива и одарена). Но здесь я пишу не рецензию на фильм, а письмо автору статьи, опубликованной после выхода картины на экран. И к моему восхищению твоими сложными трудами ради постановки знаменитой трагедии я хочу добавить, что эта статья напомнила мне высказывания Мейерхольда. Помнишь, как он сочетал бешеную фантазию с основательным знанием предмета, с эрудицией и прочим таким?.. Да, не балуют нас современные режиссеры обилием мыслей по поводу своих постановок. Мне приходилось сталкиваться уже с такими серыми деятелями — и в театре, и в кино, — что я как изголодавшийся путник припал к рассуждениям С. И. Юткевича на темы шекспирологии и обоснования решений в «Отелло». На моей памяти из Художественного театра (из Художественного!) режиссеры во главе с Кедровым выгнали М. О. Кнебель за что? — за интеллигентность... Правда, ее через несколько лет специальным посланием, подписанным всею труппой, просили вернуться обратно, но это уже — другое дело. Тем более она и не пошла к ним.

Твоей картины о Скандербеге я не видел. Но твоя статья мне объяснила, что было нелегкое дело создать картину эпического характера. Одной экзотикой здесь не обойтись. Это ясно. И в статье об албанском герое, как и в предыдущих главах, я констатировал у автора прекрасный покой творческой

зрелости. Ты не торопиться излагать свои мысли, не нервничаешь, не суетишься. Тебе есть что сказать, и ты находишь достойный тон для изложения своей концепции во всех случаях. Как я уже говорил, не слишком часто мы теперь встречаем концепции в высказываниях и режиссеров, и драматургов, и критиков. И конечно: гораздо легче спрятаться за готовые формулы, чем подставлять голову под эвентуальные удары, создавая свою точку зрения на что-то в искусстве или в литературе, критике и т. д.

И потом: чтобы что-то высказать, надо это «что-то» иметь в голове. Но теперь люди, как я уже сказал выше, приучены не обременять свои мозги излишними, как они полагают, мыслями. Нивелировка режиссеров в вузах дает себя знать. И, наверное, у людей мало остается времени, чтобы читать и думать: программы теперь в вузах огромные, и всё — обязательно...

Впрочем, последние рассуждения не относятся к твоей статье о Скандербеге...

Переписка твоя со Штраухом о фильме про Ленина хороша тем, что ставит важный вопрос: как сделать, чтобы Ленин вышел бы живым человеком. Я давно заметил, что 95% воспоминаний о Ленине не дают ни малейшего представления о человеке, которого звали Владимир Ильич Ульянов. Когда автор воспоминаний — не профессиональный литератор, то и спросу нет. Но даже те, кто берется за беллетристику с описанием Ленина, стараются обойтись без малейшей черты вождя. А ведь Ленин был колоритнейшей фигурой! В нем всякий штрих был неповторим и характерен. Его быстрота реакции и остроумие, своеобразный ход мыслей, наконец, свойственные ему манеры, жесты, повадки — это сокровищница для художника. И очень хорошо вы с Максимом Максимовичем об этом толкуете. И играет Ленина Штраух лучше всех. Недаром в свое время Н. К. Крупская признала, что именно Штраух больше всех похож на Ильича. — Кстати, тебе бы надо о сем сказать в твоей книге.

Глава «Работа над Маяковским» на меня произвела наибольшее впечатление, ибо тут я ощущаю себя в какой-то мере соучастником событий. Целиком подписываюсь под твоим определением значения Маяковского в жизни нашего поколения — особенно в молодости. Твои воспоминания или совпадают с моими, или тянут за собою собственные впечатления тех лет. А у Фореггера, как ты помнишь, я и сам рабо-

тал. Правда — недолго. И привел меня к Фореггеру Матвей Блантер. Там я и с тобою познакомился...

И с Бриками я сдружился с того же времени. Самого Маяковского я побаивался, хотя еще тогда — в начале 20-х годов — утверждал, что это великий поэт и классик, чем я вызывал ярость у мецан в те дни.

Но обо всем этом я напишу уже в своих воспоминаниях. А по поводу твоей постановки двух комедий Владимира Владимировича в Театре Сатиры скажу вот что: я с беспокойством шел на «Баню», ибо боялся, что мне не поправится. Тревожился я и за Маяковского — в 30-м году пьеса ведь провалилась у Мейерхольда, и за театр опасался: играть Маяковского трудно и т. д. и т. п. А произвел на меня спектакль впечатление потрясающее. Почему? Поразительным воспроизведением эпохи. Это твоя заслуга, Сергей. Играли актеры по-разному. Победоносиков не очень тянул. И разноречивой в манере игры, в характерах, неумение режиссуры собрать всё воедино сильно портит спектакль. Но оказалось, что это — неважно. Редчайший случай: оказалось, что главное всего — оформление пьесы, инспирированное (в буквальном смысле) тобою. Да, дыхание двадцатых годов пахло на зрительный зал. Спасибо за это, старый друг! Тем более, что ты повторил тот же «фокус» в «Клопе»: и там заговорила наша молодость...

Не стану длить рецензию. Я радовался за тебя и за Маяковского. Честно говоря, старик дождался признания, как драматург, именно теперь. Его пьесы (не считая «Мистерии-буфф») проваливались в свое время не случайно: он не умел быть злободневным по мелкому счету. За это мы его попрекали немного и при жизни. Если захочешь, погляди в журнале «Чудак» в 29-м году мою рецензию на «Клопа» в постановке Мейерхольда. Я снисходительно отзывался об этой встрече «чемпиона поэзии с чемпионом режиссуры». (Подписывал я тогда свои сатирические рецензии «Иван Дитя»). А суть была в том, что Владимир Владимирович со своим гиперболическим мышлением не умел сочинять «деловые», обтекаемые комедии. Его Присыпкин и судьба прочих персонажей казались в те дни чем-то нарочитым, громыхающим и неубедительным. О будущем трудно было думать так, как предлагал автор, и т. д. Разумеется, правым оказался Маяковский. Но для того, чтобы понять сие, надо было дать пройти четверти века...

Да, спасибо тебе за драматургию Маяковского, старик! (Помнишь: мы друг друга называли стариками еще в 1924 году...)

К. А. Марджанова я знал мало. Но и по личным впечатлениям и по тому, что мне о нем рассказывали другие, всегда думал, что это был человек поразительный по щедрой доброте, обаянию, таланту и даже — по внешности. Его огромные, лучистые, ласковые и все на свете сразу вбирающие в себя черные глаза стоят особого описания. Глаза! А что же тогда сказать о его деятельности режиссера? К сожалению, у нас нет настоящей — то есть глубокой и талантливой монографии о Марджанове. Он ее заслужил всячески. И вот одно (только одно!) из признаний большого дарования Константина Александровича: Станиславский и Немирович в годы своего расцвета пригласили Марджанова на постановку во МХТ (тогда еще буква «А» не украшала название театра). Во МХТ варяга — со стороны! Мне посчастливилось из уст самого Константина Александровича услышать, как проходила его беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским о том, что ему поручается постановка «Гамлета» в Камергерском переулке. Марджанов рассказывал об этом весело, с анекдотическими подробностями...

Воистину в те годы, щедрые на режиссерские имена, Марджанов стоял в первом ряду. Из его спектаклей мне удалось увидеть только «Уриэля Акосту» в том грузинском театре, который из-за каких-то склок был вытеснен впоследствии в Кутаиси из Тбилиси. Разумеется, я не знаю грузинского языка. Но в начале тридцатых годов на фоне стандартизации, охватившей уже наши театры, меня поразила удивительная человечность в трактовке пьесы. Уриэля играл рано сошедший со сцены актер Ушанг Чхеидзе. Играл интересно. Но дело было не в нем. Несмотря на повышенную темпераментность исполнителей, несмотря на приподнятость всего текста пьесы и сюжета, через рампу перелетала такая мягкость и задушевность человеческой трагедии молодого еврейского мыслителя, какую мог создать только Марджанов. Он как бы уговаривал нас, зрителей-современников, быть добрее по отношению к инакомыслящим... И когда? — в годы коллективизации, становления многомиллионных лагерей, ловли лишенцев и т. д. и т. п. Нет, Марджанов был действительно рыцарь человечности и доброты. Так и сказал над его могилой А. В. Луначарский, ненадолго переживший великого грузинского режиссера...

А я с Эйзенштейном познакомился, когда служил в Режиссерских мастерских Мейерхольда. (Игорь Ильинский забавно написал о сем эпизоде из моей жизни в своих воспоми-

нениях.) Сергей Михайлович был самым нерадивым и самостоятельным студентом. И «Мастер», как мы все называли Всеволода Эмильевича, за это его недолюбливал. Впрочем, Мастер заслуживает отдельного описания: этой фигуры нельзя касаться походя, одним штрихом. Воспоминания о Мейерхольде мною уже написаны.

Потом Эйзенштейн затеял ставить спектакль своего театра «Пролеткульт» в цехах Московского Газового завода. И я пошел туда, как очеркист и рецензент журнала «Зрелища»... Помнишь это издание, созданное журналистом Л. В. Колпакчи?.. Написал я о пьесе Э. Толлера «Газ» в трактовке Эйзенштейна с любовью, и Сергей остался доволен... Я ведь был тогда одним из «левтерцев» — левых театральных рецензентов, как назвал нас Л. Троцкий... Помню только, что меня заставили на заводе нюхать нашатырь после репетиции, иначе с непривычки меня ожидало отравление газом, который свирепствует в цехах...

А помнишь, как мы с тобой сидели рядом на одной из генеральных репетиций «На всякого мудреца довольно простоты» в Пролеткульте (ныне это — ул. Калинина, д. 16, Дом дружбы — бывший ВОКС)?.. Ты глядел на сцену, как бегун, следящий за движениями другого бегуна, у коего ему (то есть — бегуну наблюдающему) предстоит через минуту перенять эстафету... Никогда не забуду твоего делового вида на спектакле; того, как ты вертел голову, чтобы ничего не пропустить, все оценить... А что творилось на сцене и в зале и даже — над залом! Гриша Александров, играя Глумова, вышел в зал по канату и прошел так через весь купол. У Штрауха, игравшего роль Мамаева, был клоунский костюм и сзади из штанов валил дым... Да что говорить: Ильф и Петров отлично спародировали в «Двенадцати стульях» этот спектакль (театр ФОРТИНБРАС при УМСЛОПОГАСЛЕ на пароходе). Только там вместо пьесы Островского взята комедия Гоголя «Женитьба»...

Сергей Михайлович был на 2 года старше меня. Но помимо огромного дарования была у него еще какая-то удивительная творческая хватка. Он сразу стал взрослым. В хорошем смысле. Он был в искусстве вождем с самого начала своей деятельности. Точность в нем какая-то была. Ясность. Своя позиция. Он знал, что — надо, а что — нет. И это — в годы, когда обычно молодые люди мечутся и ищут себя. Кстати — такие поиски простым смертным полезны. Но Эйзенштейн, очевидно, был сделан из другого материала. И очень обидно, что мы еще до его смерти совсем было отдали его Западу. Нам даже стали привозить открытия Эйзенштейна

в итальянских фильмах, а мы принялись восторгаться этим... И по сей день еще выставку рисунков Эйзенштейна можно увидеть в Париже или Брюсселе, а в Москве — дудки...

Почему мы так расточительны, хотелось бы знать?! То ставим на попу и продаем за мировое достижение какую-нибудь провинциальную ерунду полусамостоятельного характера, а то пренебрегаем богатством *своим*, неотъемлемым, общепризнанным... Каких только нет музеев в Москве! Не нашлось только места для уголка Эйзенштейна с его рисунками и фильмами, книгами и макетами... Ладно, будем надеяться на светлое будущее.

О Хмелеве Н. П. мне хочется сказать вот что: я не во всех ролях видел его в театре и в кино. В кино он вообще не производил на меня особенного впечатления. Разумеется, видно было, что актер — сильный: тонкий, умный, взыскательный и талантливый. Но в театре я остался недоволен им в трех ролях, которые полагаются его достижениями. Алексея Турбина, на мой взгляд, Хмелев играл неверно. Его Турбин был чересчур «офицеристый» какой-то. Не из этой семьи был старший брат Николки и Лёли. Вспомним, что в романе «Белая гвардия», который был самым автором превращен в пьесу о Турбиных, полковник Турбин был написан врачом, а не строевым офицером. Да, непосредственно это не имеет значения. Но и без влияния на образ такой факт оставить нельзя. Хмелев в «Днях Турбиных» поддавался соблазну сыграть «блестящего офицера». Он был резок, злоупотреблял внешней стороной выправки и т. д. А хотелось бы видеть обреченного интеллигента. Так задумал М. А. Булгаков.

В «Дядюшкином сне» я не верил тому, что передо мною — дряхлый селадон. Это была фигура из оперетты. А между тем вокруг ходили более, чем реалистические персонажи. Нет, я ему не верил. Правда, тут, может быть, виноват я. Но импрессии зрителя нельзя опровергать. Я имею право на свое мнение.

Говорят, что в роли А. А. Каренина Хмелев подчинился указаниям Немировича-Данченко, который боялся, что зрители почувствуют симпатию к обманутому мужу, и потому играл Каренина очень необаятельным. Но это — противно всей системе МХАТ!.. Вот уж где надо было идти за Толстым и сообщить Каренину ту человечность, в которой автор не отказывал этому нелюбимому им герою. А так получилось, что знаменитая сцена после родов Анны сделалась не-

обоснованной: заплакавший у постели жены Каренин вел себя иначе, чем до и после этой сцены. Впрочем, я вообще считал, что «Анна Каренина» неудачный спектакль.

И все это я написал для того, чтобы сказать, что в «Горячем сердце» Хмелев играл гениально. Я думаю, что он в этом блистательном спектакле, который вызывал, между прочим, восторг В. Э. Мейерхольда, шел первым номером. Отлично играл неврастеника Хлынова И. М. Москвин. В. Ф. Грибунин в первом акте (до появления на сцене Москвина: он всегда так делал — играл только, если рядом не было Москвина, который забивал своей яркостью акварельную манеру Грибунина) был удивительным Курослеповым. Добронравов редко что играл так хорошо, как он играл приказчика Наркиса. Тарханов цвел в роли городничего. Шевченко была бесподобна... Словом, это был праздник искусства.

И вот на этом-то фоне молодой актер (Хмелеву было около 30 лет) исполнил роль дряхлого дворника Силантия так, что не только стал вровень с помянутыми корифеями, но и переиграл их в роли неяркой, лишенной эффектных мест... Как же это случилось?

Объяснить не могу. Могу только посылно описать, что я видел в том спектакле. Итак, уже в первом акте появился на сцене старик дворник в доме купца Курослепова — Силантий. Лысый череп Сократа, сократовский же вздернутый нос и плохо прибранная длинная почти вовсе седая борода. Обычный костюм простолюдина той эпохи: фартук поверх рубахи. Метла в руках и темные, печально-мудрые, широко расставленные глаза Хмелева... И в движениях и в речи — удивительный покой. Покой именно мудрости. Покой старого человека, который немногого добился в жизни, но и не ищет для себя ничего. Он находится в услужении у своего младшего родственника — богатого и глупого купца. Купец ничего не замечает у себя под носом. Его обворовывает жена для того, чтобы вознаграждать любовь тупого приказчика Наркиса.

Курослепов вызвал городничего искать вора. А чего искать? Старый дворник и без того все знает...

Знает, но молчит. Только смотрит с затаенной насмешкой на хозяина, на хозяйку и даже на городничего, который по своему равен Силану: хитер бестия и тоже догадался, что происходит в доме... Во втором акте дуэт городничего (Тарханов) с дворником вызывал овации зала. Но у Тарханова роль была выигрышнее: автор дал ему остроты. А вот Силан говорил, казалось бы, нейтральные слова. Но он переигрывал городничего великой правдой своего образа. Хмелев умел

показать самую суть дряхлого человека, которого ни бедность, ни старость не заставили согнуться. Подобное величие в лохмотьях, говоря пышно, было чисто национальным. Свойства русского народа — его высокие этические качества, умение отрешиться от всего суетного — такая мудрость приходит вместе со зрелостью — широкий ум и отсутствие предвзятых мнений, отсутствие раболепия, свойственного буржуазным цивилизациям Запада, — все это читалось в ироническом лаконизме старого дворника. Он, которому на социальной лестнице уготовано было самое нижнее место, в силу своего философского величия как бы судьбою надо всеми «вышестоящими» персонажами пьесы. Даже когда Силан говорил городничему: «Ну, посеки меня», — то и тут сквозило его моральное превосходство над чиновником. Дворник этим сообщал «его благородию», что и телесное наказание ему нестрашно. А что с таким сделаешь тогда?!

Городничий отвечал с бесподобной интонацией М. М. Тарханова: «Зачем тебя сечь? — я тебя лаской, лаской!» И слово «лаской» артист выговаривал так, словно эта его ласка для людей куда страшнее порки. Два слога, повторяемые без паузы, свистели в воздухе, как розги... Да, достойный партнер был у Хмелева...

А вскоре после того оба старика шепотом делились друг с другом сведениями и соображениями о том, что же происходит в доме у Курослепова, и делались просто друзьями. Превосходное завершение сцены!

Конечно, мое описание еще менее впечатляет, чем «бледное зарево искусства», коему не под силу передать пожар жизни, по меткому слову А. Блока. И тем не менее я не мог отказаться от этих строк, ибо давно уже хотелось мне где-нибудь сказать о Хмелеве и роли дворника...

Теперь твоя статья о Чаплине и Фальстафе. Прекрасное сопоставление. Тем более прекрасное, что оно неожиданно, хотя очень органично: не надуманно. Но меня более интересует Чаплин — ниже ты поймешь, почему это так. А сперва мне хочется сказать тебе, что статья о Чаплине одна из самых глубоких в твоей книге. Вообще-то о Чаплине можно говорить только глубоко: это великое явление искусства и философии нашего времени. Остроумные пустяки лучше посвящать другим темам. А про Чарли надо говорить, имея за душою нечто. Тем и хороша твоя статья, что ты имеешь что предъявить читателям. Я с тобою согласен почти во всем. Я хочу только дополнить твои мысли о Чаплине вот чем:

В Древней Греции первым искусством полагалась тра-

гедия. Почему? Грамотность была в зачатке. Книг не было. А на спектакле в амфитеатре собирался весь народ — т. е. население полиса — города-государства. Тут и была возможность говорить о самом важном.

Когда изобрели книгопечатание и грамотные стали исчисляться миллионами, литература стала главнее. Но вот возникло кино. Оно не требует грамотности. А немое кино не требовало даже знания языка той страны, где создан фильм. Ясно, что приоритет и гегемонию во всем мире обрело именно кино. Это уже — XX век. И наиболее популярным артистом (и сценаристом, и режиссером, и композитором) стал Чаплин. Значит, уже это одно выдвигает его на первое место. Но еще не все я сказал!

Последние два века наиболее важным для человечества оказались две системы идей: первая — социальное неравенство, проблема богатства и нищеты, классовая борьба, переустройство общества политическое и экономическое; и вторая система — гипертрофия цивилизации — то есть тот комплекс бед, несчастий, несправедливостей и ущербов, которые наносят человечеству, казалось бы, положительные явления: мораль и культура, жертвенность в пользу общества и т. д. Но именно на этой основе возникают бесчисленные *неэкономические* травмы в отношениях между людьми! В сущности, все великие мыслители и художники XIX и XX веков заняты этими двумя системами общественных и личных бедствий. Они думают о том и о другом. Но, скажем, Толстого тревожили больше мысли, относящиеся к бедности, а Достоевского — то, как люди ранят друг друга помимо классовых отношений и политического строя. На Западе, где гипертрофия цивилизации дошла до степеней, в России даже непонятных, ибо характер народа и ход развития общества у нас совсем другие, — на Западе Ницше и Фрейд, Ибсен и Гамсун, Шоу и Кафка и множество «меньших богов» трактуют вторую гигантскую тему...

Так вот Чаплин умеет говорить на темы двух этих великих комплексов таким образом, что его понимают не одни только читатели философских книг и беллетристики, а простые люди и цивилизованных и диких стран. Он продолжает творчество Диккенса и Толстого, Достоевского и Гамсуна, но для всего человечества — даже для неграмотных. Думаю, наше время в искусстве есть эпоха Чаплина. Не случайно он высмеял и Гитлера. Кафка, который предсказал ужасы тоталитарного режима, не испытав их на деле, тоже выходит из творчества Чаплина.

Конечно, нельзя ждать от западных критиков, чтобы они

полностью оценили эту социальную сторону деятельности Чаплина. А наши искусствоведы больше напуганы ужасами капитализма. Но к этим ужасам необходимо добавить и внеэкономические и внеполитические травмы современника нашего, которые гениально выражает Чаплин.

И добавь к сему тот факт, что сам-то Чаплин вышел из низменного жанра мюзик-холльной буффонады. Да и не вышел, а остался в ней, трактуя такие важные и серьезные темы! Кстати ты сам, Сергей, принадлежишь к числу немногих деятелей, которые по хорошей формалистической традиции 20-х годов не боятся смещения жанров. ОПОЯЗОВЦЫ, которых принято теперь поносить, принесли много полезного в наше искусство и литературоведение. В частности, табель о рангах искусства они разрушили с пользой для дела. Но потом — во время культа личности одическое (грузинское) направление возобладало, и стали «поднимать на щит» оды, эпопеи, мадригалы и прочее. Подняли на щит и забыли там, как это у нас часто бывает. Даже сегодня не всё еще спустили «со щита» вниз...

А вот клоун Чаплин доказал, что его искусство глубже и величественнее всяких од и эпопей...

Не знаю: не покажется ли тебе нескромным, если я приведу здесь 3 страницы из моей работы о разговорных жанрах нашей эстрады и цирка. В этом сравнительно объемном исследовании, толкуя об основах стойкого (одного на всю жизнь) образа исполнителя в малых жанрах, я написал: как я понимаю облик и суть чаплинской маски. Вот эти строки:

«Великий артист (и драматург, и режиссер, и композитор) Чаплин отработал весь свой артистический образ с удивительным талантом, вдумчивостью, точностью и последовательностью. В свое время маска Чаплина завоевала весь мир и вызвала бесконечное количество подражаний.

Прежде всего — о сути образа, о характере человека, которого играл Чаплин. Это — меланхолик. Он застенчив. Угловат в движениях (хотя Чаплин с необыкновенным ритмом передает эту угловатость). Крайне неуверен в себе — важное свойство для «маленького человека» в капиталистическом мире: все шатко для бедняка там, где царит безработица и звериная борьба за существование. Чаплин — неудачник по профессии, если можно так выразиться, — тоже существенная деталь: она роднит его с миллионами зрителей, которые десятками лет труда и стараний не могут добиться терпимого положения в капиталистическом обществе.

Как видите, незаметно мы перешли от психофизической конституции обсуждаемого нами образа к его социальной сути. Мы уже говорили, что эти две стороны личности неразрывно связаны для каждого человека не только в искусстве, а и в жизни. Но Чаплин сумел убедительно соединить в своем экранном творческом образе эти две главные стороны всякой индивидуальности: он — меланхолик, и зрителим понятно, почему пессимистически глядит на мир неудачливый бродяга.

Человечек, которого изображал на экране Чаплин (теперь он оставил эту маску из-за возраста), старается и из самолюбия и из расчета издать впечатление у окружающих, что у него «все в порядке», что он вполне подходит к категории «порядочных людей». Иначе трудно получить работу. Иначе — человек расписывается в том, что он — на дне общества — буржуазного, конечно...

Чаплин пишет, что за основу своих манер и повадок он взял движения и мимику субъекта, который слегка выпил, но желает показать окружающим, будто это не так. Удивительно тонкое и верное решение! Отметим: здесь нет игры на довольно обширной клавиатуре «пьяного юмора». Нет и следов действительного опьянения. А вот эти подчеркнутые уверенные движения, которые на деле воспринимаются как жалкие и даже производимые в состоянии страха, — они наилучшим способом выражают *социальную* неуверенность того «маленького человека», которого хочет нам представить Чаплин. Надо подчеркивать мнимую уверенность, чтобы скрыть действительную неуверенность, может быть, отчаяние безработного бродяги...

И костюм помогает артисту в его замысле: на Чаплине — так называемая «визитка». Этот вид платья у богатых людей принят в известных случаях так же, как в других случаях — фрак, а еще в других — смокинг. Словом, человек, обладающий визиткой, должен иметь, по крайней мере, десять других одеяний для различных ритуалов великосветской жизни. Чаплин же спит на сеновале или под мостом в своей визитке, в непомерно широких жеваных штанах, в подобии белья из лохмотьев. Он почти не снимает с головы котелка, по качеству не отличающегося от прочих частей костюма (а котелок — головной убор, также принятый в определенных обстоятельствах, но далеко не всегда, в буржуазных кругах). Бамбуковая тросточка, с которой Чаплин обращается, как богатый бездельник-фланер, дополняет костюм бродяги.

Зрителям жалко горемыку Чаплина. А в то же время он

возбуждает в них смех своими бессмысленными и обреченными потугами иметь вид человека «комильфо».

Нам кажется, что опыт Чаплина на редкость поучителен.

Вот случай, когда все компоненты образа артиста-комика продуманы до конца и сведены воедино с неслыханной силой, творческой и идейной. Не надо забывать, что за буффонно-смешными сюжетами чаплинских фильмов скрывается резкая критика строя, при котором человека постигает судьба бродяги Чарли. Его неудачи обусловлены, более того: они predeterminedены устройством общества, в котором живет этот трогательный и добрый, очень смешной человек — прямой потомок героев Диккенса. Но сто лет назад у великого английского писателя были счастливые концы для его персонажей. А Чаплин всегда проигрывает, ему ничего не удастся и не может удасться. Каждая комедия Чаплина завершается крахом героя. И в том сказывается разница между XIX веком — веком надежд для буржуазии — и нашим столетием, в котором иллюзии правящих на Западе классов уже утрачены.

Когда-то Маркс сказал, что романы Бальзака дают представление о Франции первой половины XIX века лучше, нежели многие тома ученых исследователей этой эпохи. Перефразируя это изречение, мы можем сказать, что комик Чаплин рассказывает нам о всей мерзости капиталистического строя лучше, чем тысячи томов буржуазных публицистов и ученых, стремящихся восхвалить «мир свободного предпринимательства».

Очень хорошо ты написал о Пикассо. И это крайне полезно, ибо отношение к сему великому художнику у нас неправильное. Говорят, Александр Герасимов, ныне уволенный без мундира от руководства живописью, в свое время принес в «Правду» статью, где утверждал, что немецкие фашисты поступили правильно, уничтожив картины на выставке Пикассо. Он рассчитывал, что Ц. О. партии напечатает такое высказывание!.. Конечно, статья света не увидела. Но эта боязнь искусства Пикассо и по сей день живет.

И. Г. Эренбург рассказал мне, что когда к нему пришел молодой репортер ТАСС и увидел на стене в столовой Эренбурга рисунок углем Пикассо, изображающий некое чудовище, то репортер вздрогнул от ужаса перед «формалистической разнузданностью» этого рисунка и спросил: «Что это? что это?» А Эренбург ответил: «Пикассо нарисовал здесь гидру контрреволюции». Улыбка озарила нахмуренное лицо

репортера, и он радостно сказал: «А вы знаете? — похоже, очень похоже!..»

А если говорить серьезно, то в Пикассо поражает редчайшее соединение огромного реалистического таланта с умением полностью отдаваться иррациональным импульсам, которые только и могут привести к абстрактной живописи. Но дело-то в том, что человечеству нужны обе эти стороны изобразительного искусства. В живописи всегда было, есть и будет органически слито воспроизведение действительности с декоративным и ритмическим началом. И забвение этого синтеза, отказ художника от любой из этих сторон, ущерб, наносимый той или другой грани, всегда губителен для искусства.

Величие Пикассо состоит также в том, что обе стороны у него развиты гармонично: они отлично сливаются и разливаются по воле мастера, сообразно поставленной им себе цели. И каждая из его способностей — быть реалистом и быть декоратором — необыкновенно обаятельны сами по себе. Для сравнения возьми Ф. Леже. Талант его несомненен. Но какая-то есть тяжесть, заземленность в его композициях. Они не прозрачны, с ними не во всем соглашаешься из-за какой-то их натужности. Леже расцветает в коврах (гобеленах) и фарфоре. А Пикассо парит и звенит даже тогда, когда пользуется темными и плотными красками. А как он умеет оставаться реалистом, выворачивая, смещая, разбрасывая формы вещей и живых существ, пейзажей и интерьеров!..

Я очень завидую твоему знакомству с этим гением. И портрет твой работы Пикассо в начале книги освещает весь том...

С интересом прочитал я твою статью о китайском театре. Очень приятно, что теперь у нас есть описание этой системы, правдивое и исполненное знатоком зрелищных искусств, ибо много глупостей и пошлостей валили и валят на театр Китая. В свое время Мейерхольд умел щедрой рукою брать из театрального искусства других народов. А теперь, например, советский театр побаивается даже драм Бертольта Брехта, поскольку они не похожи на обыденщину наших пьес. Ведь это кому сказать: в мире есть драматург-коммунист, самый талантливый, которому равного после Шоу и не было, его играют во всем мире, он защищает наши воззрения, а в СССР его почти не исполняют. Почему?! Да по тому, что он не похож на серятину Софронова и других тиранов конъюнктуры...

Так вот и с китайским театром. Его приемы надо использовать не только в драме, но и — в балете, в мюзик-холле, в опере. Надо освоить как можно больше эту сокровищницу культуры великого народа. Но кто это будет делать? Нет таких режиссеров, балетмейстеров, художников. Из тебя выдоили две постановки китайских пьес, и на том кончилось. А надо бы пригоршнями брать из китайских театров все, что возможно к перенесению сюда...

Сандро Моисси я тоже видел в 24-м году. Только я не согласен с С. Э. Радловым, что будто бы этот актер в «Живом трупe» был самым русским — более русским, чем русские исполнители. Радлов умер уже, и не стоит его критиковать. Но вообще-то говоря, он был крайне поверхностным человеком. И его трактовки Шекспира были пустые. Он бил всегда на эффект. Помню, когда Радлов поставил в Малом театре в Москве «Отелло», где замечательно играл Остужев, а прочие исполнители и весь спектакль не очень тянули, ходил анекдот: «Конечно, Остужеву легко было играть Отелло — ведь он глухой и указаний режиссера не слышал...»

А меня в «Живом трупe» поразила у Моисси непохожая на Толстого и несвойственная Достоевскому («князь Мышкин» — говорит Радлов!) нескромность в изъятии эмоций. А между тем полная и беспощадная откровенность в выражении себя героями, свойственная русской классике, всегда и непременно сочетается с отсутствием приподнятости и напыщенности, которая так естественна, скажем, для французов. Моисси замечательно играл Гамлета. Он был не только умен, но и органически изящен, как принц. Важное качество для данной роли: зритель видит, что Гамлет неповторимо грациозен во всяком своем движении, в каждом звуке своей речи, но сам принц и не думает о сем: изящество ему свойственно так же, как другим свойствен музыкальный слух. Кстати и музыкальность у Моисси была поразительная. Мы — молодые люди, завсегда таи кулис, начинающие актеры и журналисты, придумали в 24-м году пародию на диалог Моисси-Гамлета с не слишком одаренными артистами Малого театра, составлявшими его антураж: Гамлет говорит по-немецки, модулируя словно певец:

— Nein, gnädige Frau, das werd'ich nie vergessen!..*

А ему отвечал Полоний с грубой бытовой интонацией:

— Ды нет, прынц, ну шшо вы?..

Да, Гамлет был удивительный. А в Протасове у Моисси

* Нет, уважаемая сударыня, я этого не забуду! (нем.)

не хватило покою и скромности — человеческой скромности, а не артистической. Вкус и такт у него были грандиозные, и я не намерен обвинять этого замечательного актера в неумении себя держать, в гастролерстве. Но это совсем не просто человеку, не рожденному и не жившему в России, попасть «в тон» Толстому, Чехову или Достоевскому. Непременно скатишься в общеневрастенический тон. Ведь недаром возникло в начале нашего века новое амплуа «героя-неврастеника», в какое амплуа входили роли Протасова и Раскольниковы, Михаэля Крамера и Лорензаччо, царя Федора и Освальда Альвинга и прочие тому подобные. То есть существовала уже международная драматургия для таких образов. Наш Орленев, скажем, играл и отечественные и западные пьесы с подобными ролями. Ну и Моисси делал то же... Нет надобности упрекать его в том, что он не до конца постиг так называемую «русскую душу»: это для европейца почти невозможно. Но сказать о том надо.

Ты хорошо придумал, Сережа, вспомнить про французские письма Гейне, описывая поездку свою во Францию. Письма из Парижа — вообще традиционный жанр немецкой публицистики. До Гейне их не хуже его писал Людвиг Берне. А сколько еще корреспондентов держали в «Вавилоне XIX века» германские и австрийские издания?! Но если упомянут Гейне, надо бы и тебе резвее излагать свои впечатления. Понимаю, что нет смысла конкурировать с самим Гейне. И все-таки я ждал более фельетонного изложения. Кстати: где печаталась эта статья? Неужели она не была опубликована в 56-м году?..

Жаль, если так. Я бы тебя послал «собкором» или «спецкором» в Париж и заставил тебя отчитываться в фельетонах. Впрочем, для того я не располагаю печатным органом...

Ну вот и приходит к концу это неимоверно разросшееся письмо. В нем — больше печатного листа. Наверное, тебе и читать-то его надоест. К тому же здесь — много стариковской ворчли. Вообще я не любитель писать бесплатно (особенно — так длинно), но твоя книга меня, как видишь, воодушевила. Да и мне самому надо где-то высказать мысли, которые естественно вошли сюда. Я не рассчитываю на опубликование этих строк. Но написать все вышеизложенное мне необходимо. Поэтому ты и пострадал: получил сию пухлую писанину. Прости уж по старой дружбе. Целую тебя.

В. Ардов.

**ОБЗОРЫ
ФОНДОВ**

«МИРСКОНЦА»

(Из архива А. Е. Крученых:
стихи, воспоминания, письма Б. Л. Пастернака)

Обзор А. К. Пушкина

«А. Крученых в лаборатории слова занимает целый угол — он злобен и безмерно ядовит... Это он плескал с эстрады опивками своего чая в первые ряды... Это он утверждал, что лучшая рифма к слову «театр» — «корова». А если он читал стихи, то шокировал публику «грубыми» народными словами», — писал Давид Бурлюк, как и Крученых — один из «отцов-основателей» российского футуризма, в очерке «Ядополный» (Бука русской литературы. М., 1923. С. 18).

Молодость художника и поэта Алексея Елисеевича Крученых (1886—1968) хронологически совпала с одним из самых интересных и насыщенных периодов в истории русской литературы. Громко возвестил о себе и был явлен миру отечественный литературный, художественный, театральный и др. авангард, — как становится ясно сейчас, отнюдь не бездумное копирование аналогичных западных исканий, а самостоятельное, чрезвычайно разнообразное по формам явление, предвосхитившее множество позднейших открытий и идей современных авангардистов.

«При этом каждый из нас, будучи безудержно молодым, горячим, ретивым в битвах, старался показать себя самым левым, отчаянным изобретателем, невзирая на последствия.

Тут рекорд остался, конечно, за Крученых с его «заумным языком», с его бесконечными брошюрами кустарного производства.

Этот крайний анархист Крученых «наводил страх на население» своими всяческими вариациями «вселенского языка», — вспоминал поэт В. Каменский (Каменский В. Путь энтузиаста. М., 1931. С. 197).

Таких литографированных и печатных брошюр Крученых выпустил около сотни различных названий — стихи, прозу, критические статьи, эссе, сборники. Его книги-автографы положили, как отмечается в библиографии произведений Крученых, начало новому типу литографированных изданий, не имевшему аналогов в западноевропейском искусстве (Русские советские писатели. Поэты: Библиографический указатель. Т. 11. М., 1988. С. 379).

Названия? — Разумеется, «эпатажные»: «Мирсконца» (1912; в книгу были также включены стихи В. Хлебникова),

«Взорваль» (1913), «Утиное гнездышко... дурных слов» (1913), «Тайные пороки академиков» (1916), «Заумная гнига» (1916), «Ожирение роз» (1918), «Лакированное трико» (1919), «Зудесник. Зудутные зудеса» (1920) и другие. Литографированные книги-автографы Крученых иллюстрировались ведущими художниками-авангардистами начала века — Н. Гончаровой, М. Ларионовым, Н. Кулбиным, К. Малевичем, М. Сивяковой, И. Клюном, О. Розановой.

Расцвет литературно-издательской деятельности Крученых приходится на 1920-е — начало 1930-х годов. Он публикует книжки с задиристыми полемическими статьями: «Сдвигология русского языка. Трахтат обижальный» (1922) и др.; продолжает экспериментировать, создавая «фонетические романы»: «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица» (1926), «Дунька-Рубиха» (1926) и др.; пытается ввести в поэзию джазовые ритмы в сборнике «Ирониада» (1930); выпускает стеклографированные сборники «Неизданный Хлебников» и «Живой Маяковский», борется с «есенинщиной» (не останавливаясь перед несправедливыми выпадами и прямыми оскорблениями ушедшего из жизни поэта). «Дурно пахнущие книжонки» Крученых о Сергее Есенине, как назвал их Маяковский (сам противник Есенина в поэзии, но противник честный и принципиальный), где были смешаны обвинения в «кулацкой идеологии», «реакционной поповщине» и «хулиганстве» с наивными претензиями на то, что Есенин заимствовал поэтические образы и отдельные рифмы у... Крученых, не сделали чести их автору. Вышедшие тогда, когда Есенин уже не мог ответить их автору-издателю, эти брошюры («Гибель Есенина», «Есенин и Москва кабацкая», «Лики Есенина. От херувима до хулигана», «Хулиган Есенин», «Черная тайна Есенина» и др.) до сих пор заслоняют для многих остальное творчество Крученых. Вместе с тем это творчество было куда более разнообразно и интересно, нежели унылые подсчеты, сколько раз восклицает Есенин в стихах «Господи», с соответствующими «оргвыводами».

Проявил себя Крученых и как коллекционер автографов и библиофил. Уже в 1920-е годы создаются первые главы многоальбомной «Крученыхиады»: Крученых начинает собирать редкие книги и автографы советских писателей, проявляя при этом неиссякаемую энергию энтузиаста.

В письме от 13 марта 1943 года К. А. Федин писал Крученых: «...восхищаюсь Вашей преданностью литературе — именно *всей* литературе, преданностью библиографа, со-

бирателя документов, книгочех и хроникера письменности» (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 215, л. 3).

Сохранив широкую сеть литературных знакомств и дружбу со многими ведущими писателями, Крученых, тем не менее, — с середины 1930-х и до своей смерти, — оказался на обочине «магистрального пути» советской литературы. В обстановке утвердившегося негативного отношения к отечественному авангарду (на «особом положении» был оставлен один Маяковский, да и то все его раннее творчество, даже чисто футуристическое, рассматривалось исключительно как «преодоление» футуризма), по-видимому, решающую роль сыграл устоявшийся стереотип представлений о Крученых как об авторе знаменитого «Дыр-бул-щыл», ставшего хрестоматийным образцом «заумного языка».

В последние годы в нашей стране и за рубежом появились публикации, расширяющие представление о творчестве Крученых, как одного из виднейших представителей российского футуризма. Назовем воспоминания А. Вознесенского «Мне 14 лет...», статью Н. И. Харджиева «Полемичное имя» (Памир. 1987. № 2), публикацию А. Парнисом главы из воспоминаний Крученых «Наш выход» о П. Н. Филонове (Творчество. 1988. № 11); за границей вышел сборник стихотворений Крученых (под ред. В. Маркова), репринтное издание «Победы над солнцем» (Лозанна, 1976; текст параллельно на рус. и фр. языках, послесловие Ж.-К. Марказе), ряд работ славистки Р. Циглер (ФРГ), в том числе и составленная ею библиография материалов Крученых в архивах Советского Союза. Довольно скромно, но все же было отмечено 100-летие со дня рождения А. Крученых: вечера его памяти прошли в Государственном музее В. В. Маяковского в Москве и на родине Крученых — в Херсоне.

Хранящаяся в ЦГАЛИ коллекция Крученых включает в себя значительные комплексы архивных материалов: В. В. Хлебникова, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой и др., а также альбомы с автографами, рисунками и фотографиями писателей, художников, композиторов, режиссеров, артистов театра и кино. Об альбомах из коллекции Крученых было рассказано в сообщении Н. Г. Королевой (Встречи с прошлым. Вып. 3. М., 1986. С. 274—284). Приведем одну запись, сделанную К. А. Фединым в альбоме «60-летие и 40 лет работы А. Е. Крученых» (1946): «Дорогой Алексей Елисеевич! Вы — самый деятельный памятник самой деятельной эпохи новейшей русской поэзии. Для увековечения ее Вам надлежало бы писать историю футуризма.

То, что Вы занимаетесь всей и всякой литературой, я рассматриваю, как хитрость: Вам нужен пьедестал» (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 309, л. 3).

Вместе с коллекцией, собранной Крученых, в его фонде хранятся неопубликованные машинописные и рукописные сборники его стихов за 1920 — 1950-е годы, кпига его воспоминаний «Наш выход» (1932), из которой опубликованы только отдельные отрывки, и другие произведения. Публикуемые ниже стихотворения из неизданных сборников Крученых могут служить в известной степени опровержением распространенного мнения о поэзии Крученых как о явлении крайне эксцентричном.

Во «Вступлении» к сборникам «Ирина в снегу», «Книга ирианная», «Турнир иринный» (1932—1935) Крученых создает целый ряд фонетических производных от имени героини стихов — своей возлюбленной Ирины Смирновой. Об имени «Ирина» Крученых пишет так:

«Оно взято темой эзерцисов, как весьма гибкое, несущее в себе множество вариантов и оттенков, вызывающих массу бытовых, литературных и исторических ассоциаций; фонетически в нем привлекает мощный и резкий визг сирены.

Разумеется, что было бы наивностью искать здесь чей-нибудь индивидуальный портрет. Парфюмерная пани Ирена даже незнакома с простоволосой Аришкой. Еще более далека от них обеих саломеистая Ирианна древних кровавых сказаний.

Но даже в своих литературных опытах современный мастер не может не дать всем этим образам новых оценок, — отсюда ирония и сознательное преодоление рудиментарно-эстетных представлений и переживаний:

Оставим от старого мира
только папиросы «Ира»

(там же, ед. хр. 12, л. 2).

Итак, познакомимся с поэтическими опытами А. Крученых за пределами «Дыр-бул-щыл».

Из сборника «Ирина в снегу» (1931—1933)

ИРИНА ЗИМНЯЯ

Сквозь призму хрустких гор
слепящую волною
сияет солнце снежное.
Прошедшее, исчезни!
В прорубь мрака
исчезни тяжкий призрак
с разбухшей головой

в слюне
 ослино-челюстной,
 брюхатый ящиком, —
 навек, навек исчезни!
 Я помню только солнце смежное
 Ирины,
 нетерпеливо золотой!
 И вот она
 скользящей восхищенной
 в такси летит
 по площади Дзержинского
 снежком
 хохочет
 во весь рост
 пешком
 по улице Воровского,
 горящею восторженной
 на лыжах брызжет по Остоженке.
 И под конец —
 упала
 навзничь в небо,
 сигнальной ракетой,
 россыпью сердечной
 за-ка-ты-ва-ясь за го-ри-зонт...

(там же, л. 57).

Из сборника «Шатры звучарей» (1932)

Зачем езда в далекие края,
 когда Иран миров,
 чудес Арина здесь?
 Ее витринно-гордые глаза
 настороженнее,
 чем первой осени
 в тигриных пятнах
 лес.

И там она —
 дремучий чукча,
 самум-араб
 и могикиан айнос!..
 Это не сахар и не картошка:
 на целый мир —
 одна Ирина!
 Какое ж к черту
 тут планирование!
 На талон не достанется!
 и одного
 завиточка.

Взревела вся очередь:
 — Ира
 брюхатому жиру
 бронирована!

(там же, ед. хр. 6, л. 44—45).

Стихотворения из сборников 1948—1950 годов, публикуемые ниже, тематически связаны друг с другом сказочно-фантастическим сюжетом: автор рассказывает историю любви «лирического героя» и... некоей колдуньи. При этом Крученых снова использует художественный прием раскрытия «слова-образа»: «прототипом» Танахары была подруга поэта — Татьяна Захарова. Заметим, что «литературной моделью» в данном случае послужил причудливо-барочный образ ведьмы из поэмы «Игра в аду», написанной Крученых в соавторстве с В. В. Хлебниковым и вышедшей двумя литографированными изданиями в 1912 и 1913 годах.

РАЗЛУКА

Ледяные почти-разлучницы
страшно близки —
я получаю уже не поцелуй, не письма,
а одни отписки.
Еще вчера —
был Круч
гремуч,
кипуч бураном,
теперь
топу
в дыму махры,
колючках задыханья,
от Танахары — не вижу даже
то-нень-кой те-ни я...
На темном дне пруда
не шелестят
недвижные и скользкие растения...
Зову:
— Дай вволю выплакаться
на твоём плече,
мне будет пусто,
но не помочь —
ничем...
Чу!.. Что это?
Будто листьев дрожанье...
Знакомый шепот:
— А я помогла!
Таня.
Не скули, Алексеенка,
словно зайчика сережский...
Когда по темным морям
ледяными материками
сгинут облака, —
быть может, сама приду к тебе
беспутную душу свою
отрыдать...

(там же, ед. хр. 21, л. 39—40).

неприступное гнездышко,
тебя овевают внимапьем, цветами,
причудой-метафорой
(заботы — угроблены!).
Ты здесь — смеюнья,
снежная молния,
желаний капризных владычица,
хотя бы — покамест! —
в книжнической трущобе.

Ничего! И Ван-Гог — не Ватто,
а режет так мощно, упрямо,
багровыми креслами, кривыми столами,
а сколько в небе раскосых кругов —
тут видно наш «потолок»
и наши

целебные ямы.

Приходи ж к нам почаще
и ужинай с нами.
На сладкость — сочавые груши,
курчавые гроздья винограда.
Когда ж ты уходишь —
в хмурых покоях
обескровлены известко-синие астры,
беспокойная дверь —
в простуде настезь

(там же, л. 54—55).

ПИДЖАЧКАМ-ТРУХЛЯЧКАМ

Актеришки-халтурщики,
ваша горечь — не горечь,
только горчица и рыжая редька,
не кровь, не злые напасти, —
дешевка подделки, пестрядь расцветки.

Вы бережетесь в жестах, словах,
но — знайте! — без риска,
над пропастью поворота, —
весь ваш театрик давно позачах,
жиденько все, тошно и криворото.

Нет, не такие...

Я видел трагическую —
не было горше и краше девичьего рта, —
настезь глазища,
сердце — навывлет —
воплъ, чернословие!..

А полночь

все громче и громче
в чугунную доску
колотит —
п о б е р е г и с ь!

На нас

*обрушилось
исчадие ада
в белой рубашке!*

Стремглавно,

в грязи, в распятиях,
билась впотьмах,
косы — разметаны...

В исступлении грызлась на плахе,

головую касаясь земли
вся в позвонках,
пружинах, винтах,
гибче и крепче змеи,

отчаявшаяся нагота!..

И, под конец,

взорвалась надзвездной гранатой,
да так,
что весь театр
замертво ахнул...

(там же, ед. хр. 24, л. 49—50).

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Сатана, отец и пращур лжи —
сгинь!

Чур-перечур,
муку — в муку,
во имя мое —
аминь!

Известно: халтура — бич божий,
видимая чехарда,
но это, как будто, нас уже не тревожит,
не соблазняет сия белиберда.

Но если честнее, чем Чехов в работе,
и все же — обман,

Если солжет световая душа Катерины,
летописца перо соскользнет,
насмешкою каменный лик Велимира
если усумнится в себе

неподкупный и высший судия,
неведомо сгинет твердыня-подруга,
сугробы февральские —

сплошная гримаса и ругань, —
закрой глазища,

вырви язык,
сожги свои излишки,
меха из ломбарда,

а заодно —
картины Рембрандта
и свой последний рюкзак

(там же, ед. хр. 23, л. 4).

Обратимся теперь к книге воспоминаний Крученых «Наш выход». В главе «Знакомство с Бурлюками» автор повествует о событиях, предшествовавших появлению в свет литературной группы «будетлян»: о знакомстве в 1907 году с семьей Бурлюков и посещении имения графа Мордвинова «Черная долина» около Херсона, где отец семейства — Д. Ф. Бурлюк служил управляющим.

«16-ти лет поступил в Одесское художественное училище, каковое и окончил в 1906 году,— писал Крученых в «Автобиографии дичайшего». — В 1907-8 годах я начал работать с многочисленными Бурлюками и Бурлючихами, пропагандируя живописный кубизм в южной прессе» (15 лет русского футуризма. М., 1928. С. 57—58). В том же художественном училище Одесского общества изящных искусств в 1899—1901 годах учился Д. Д. Бурлюк. Крученых познакомился с семьей Бурлюков: отцом Давидом Федоровичем, матерью Людмилой Иосифовной, сыновьями: Давидом (поэтом и художником), Николаем (художником и поэтом), Владимиром (художником), дочерьми: Людмилой (художницей), Надеждой и Марианной. Строки Брюсова, которые в воспоминаниях Крученых произносит Д. Д. Бурлюк, взяты из поэмы «Конь Блед»; точный текст таков:

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались omnibusы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток

(Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 442).

ЗНАКОМСТВО С БУРЛЮКАМИ

Познакомился я с Бурлюками еще в Одессе. Насколько я помню, в 1904—05 гг. существовавшее там общество искусств устроило очередную выставку, на которой всех поразили цветные картины Бурлюков.

Им пришлось выступить среди серовато-бесцветных холстов подражателей передвижникам. Картины Бурлюков горели и светились ярчайшими: ультрамарином, кобальтом, светлой и изумрудной зеленью и золотом крона. Это все были plain air ы, написанные пуантелью.

Помню одну такую картину. Сад, пропитанный летним светом и воздухом, и старуха в ярко-синем платье. Первое впечатление от картины было похоже на ощущение чело-

века, вырвавшегося из темного подвала: глаз ослеплен могуществом света.

Фигуры, писанные Бурлюками, были несколько утрированы и схематичны, чтобы подчеркнуть то или иное движение или композицию картины. Бурлюки срезали линию плеча, ноги и т. д. Подчеркивание это необычайно поражало глаз.

Впоследствии, когда я увидел Гогена, Сезанна, Матисса, — я понял, что утрирование, подчеркивание, предельное насыщение светом, золотом, синькой и т. п., — все эти новые элементы, канонизированные теорией неоимпрессионизма, на самом деле были переходом к новым формам, подготовившим в свою очередь переход к кубо-футуризму.

Кроме красочной нисобузданности, у Бурлюков был еще трюк: их картины, вместо тяжелых багетов или золоченых рам, тогда модных, окаймлялись веревками и канатами, выкрашенными в светлую краску. Это казалось мне шедевром выдумки. Публика приходила в ярость, ругала Бурлюков всю и за капаты, и за краски. Меня ругань эта возбуждала.

Конечно, я познакомился с бывшим на выставке Владимиром Бурлюком. Атлетического сложения, он был одет спортсменом и ходил в черном берете. В то время подобный костюм казался вызовом для всех.

В нашем живописном кругу трех братьев Бурлюков различали несколько своеобразно: Владимира звали «атлетом», младшего — Николая — «студентом», а «самого главного» — Давидом Давидовичем. Не знаю, что было бы, если бы я сразу встретился с Давидом Давидовичем, но, знакомясь с Владимиром, я не предчувствовал, что мы будем так близки во времена футуризма. Нечего говорить, что самую выставку Бурлюков и их картины я считал «своим» кровным.

Один из моих товарищей советовал мне ближе узнать этих художников. Я ухватился за эту мысль и еще до поездки в Москву собрался к Бурлюкам. Они жили в огромном имении графа Мордвинова Чернянках, где их отец был управляющим. Я предупредил телеграммой о своем визите. Но это оказалось лишним. У Бурлюков все было поставлено на такую широкую ногу, что моя ничтожная личность пропадала в общем хаосе. К управляющему сходилось множество народу, стол трещал от яств.

Давид Давидович встретил меня ласково. Он ходил в парусиновом балахоне, и его грузная фигура напоминала роденовского Бальзака. Крупный, сутулый, несмотря на свою молодость, расположенный к полноте, — Давид Давидович выглядел медведеобразным мастером. Он казался мне столь

исключительным человеком, что его ласковость сначала была понята мною как снисходительность и я приготовился было фыркать и дерзить. Однако недоразумение скоро растаяло.

Правильно, по-настоящему оценить Давида Давидовича на первых порах мешает его искусственный стеклянный глаз. У слепых вообще лица деревянные и почему-то плохо отображают внутренние движения. Давид Давидович, конечно, не слепой, но полужряч, и асимметричное лицо его одухотворено вполовину. При недостаточном знакомстве эта дисгармония принимается обыкновенно за грубость натуры, но в отношении Давида Давидовича это, конечно, ошибочно. Более тонкого, задушевного и обаятельного человека едва ли можно встретить.

Этот толстяк, вечно погруженный в какие-то искания, в какую-то работу, вечно суетящийся, полный грандиозных проектов, — заметно ребячлив. Он игрив, жизнерадостен, а порою и... простоват.

Давид Давидович очень разговорчив. Обыкновенно он сыплет словами — образными и яркими. Он умеет говорить так, что его собеседнику интересно и весело. Записывать свои мысли он не любит, и мне кажется, что все записанное не может сравниться с его живым словом. Это — замечательный мастер разговора.

К завтракам и обедам сходилась большая семья, масса знакомых, гостивших здесь, и все, кто имел дело к управляющему: врач, контрагенты. Стол накрывался человек на сорок. Думается, что и у графа Мордвинова не было такого приема. Кроме троих братьев Бурлюков было еще три сестры. Старшая Людмила — тоже художница, две другие — подростки.

За обедом Давид Давидович много болтал. Между прочим, мне памятен рассказ про каменную бабу, недавно открытую им где-то в курганах. У бабы сложены руки на животе. Давид Давидович острил:

— Из этого видно, что высокие чувства не были чужды этой богине.

С этой каменной бабой случилось нечто курьезное. Когда отец Бурлюков ушел на пенсию, граф разрешил ему вывезти домашние вещи на его, мордвиновский, счет. И вот каменная баба совершила путешествие по железной дороге из Тавриды к Бурлюкам в Москву, а там — никому не нужная — была брошена где-то на задворках.

После обеда, когда столовая пустела, братья Бурлюки, чтоб размяться, пускали стулья по полу с одного конца

громадной залы на другой. Запуская стул к зеркалу, Владимир кричал:

— Не рожден я для семейной жизни!

Затем мы шли в сад писать этюды. За работой Давид Давидович читал мне лекции по пленеру. Людмила Давидовна, иногда ходившая к нам на этюды, прерывала брата и просила его не мучить гостя словесным потоком. В ответ на это Давид Давидович сначала как-то загадочно, но широко и добродушно улыбался. Лицо его принимало детское, наивное выражение. Потом все это быстро исчезало, и Давид Давидович строго отвечал:

— Мои речи сослужат ему большую пользу, чем шатанье по городским улицам и ухаживание за девицами.

Иногда лекции эти затухали сами собой, и тогда Давид Давидович многозначительно произносил свое обычное «ДДДа», упирая на букву «д». Некоторое время молча накладывал на холст пуантель. Затем вдруг принимался громоглазить, декламировать Брюсова — почти всегда одно и то же:

Мчались мимо моторы, автомобили, кебы,
Был неисчерпаем яростный людской поток...

Читал стихи он нараспев. Тогда я еще не знал этого стиля декламации, и он казался мне смешным, после я освоился с ним, привык к нему, теперь порой и сам пользуюсь им.

Кроме строчек про моторы, Давид Давидович читал мне множество других стихов символистов и классиков. У него была изумительная память. Читал он стихи, как говорится, походя, ни к чему. Я слушал его декламацию больше с равнодушием, чем с интересом. И казалось, что, уезжая из Чернянок, я заряжен лишь живописными теориями пленера, на самом деле именно там я впервые заразился бодростью и поэзией (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 36, л. 38—40).

В воспоминаниях «Об опере «Победа над солнцем», написанных в 1960 году, Крученых рассказывает о постановке 2 и 4 декабря 1913 года обществом художников «Союз молодежи» в петербургском театре «Луна-парк» трагедии «Владимир Маяковский» и 3 и 5 декабря оперы «Победа над солнцем» (пролог к опере написал В. Хлебников, текст либретто — Крученых, музыка М. В. Матюшина, декорации выполнил К. Малевич). В это время познакомился Крученых с художником Павлом Николаевичем Филоновым (1883—1941), также принимавшим участие в работе над постановками (о работе художников И. С. Школьника, П. Н. Филонова и К. С. Малевича над декорациями к постановкам «Первого в

мире футуристов театра» см.: Эткинд М. «Союз молодежи» и его сценографические эксперименты // Советские художники театра и кино. 79. М., 1981. С. 252—259). Обратим внимание также на то, что живописные панно к двум действиям трагедии «Владимир Маяковский», выполненные И. С. Школьниковом (1883—1926), хранятся в ЛГМТМИ; в 1930-е годы эскиз к первому действию был утрачен. Фотография этого эскиза уцелела в одном из альбомов Крученых и воспроизводится на вкладке (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 290, л. 148).

В своих воспоминаниях Крученых упоминает председателя «Союза молодежи» Левкия Ивановича Жевержеева, сборник футуристов «Дохлая луна» (1913), обыгрывает название книги Бальмонта «Будем как солнце» (1903), цитирует стихотворения Маяковского «Адище города» (1913) и «Революция. Поэтохроника» (1917).

ОБ ОПЕРЕ «ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»

Громадный успех футуризма, собиравшего (в 1913 г.) в течение с лишком сорока лекций, докладов и диспутов — массу публики в Петербурге, соблазнил тамошний «Союз молодежи» (главным образом состоял из живописцев) и его мецената и председателя — известного Левкия Жевержеева, устроить «первые в мире» постановки двух пьес будетлян — трагедии «Владимир Маяковский» и оперы «Победа над солнцем» (текст А. Крученых, муз[ыка] Мих[аила] Матюшина, декорации и костюмы знаменитого автора квадр[ата], как его теперь называют критики — Казим[ира] Малевича). Средств на постановку двух пьес сразу (в декабре 1913) у «Союза молодежи» не хватило, и пришлось в качестве актеров набирать студентов, любителей, и только две главных партии в опере были исполнены хорошими опытными певцами — они просили в программе их имен не упоминать. Рояль, заменявший оркестр, старый, отвратительного тона, был доставлен лишь в день спектакля.

А что делалось с К. Малевичем, которому не дали из экономии возможности писать в задуманных размерах и красках... если прибавить, что художнику приходилось писать декорации под самое пошлое глумление и смех разных молодцов из оперетки (которые играли раньше в этом театре, а позднее там играла Комиссаржевская со своей наспех сколоченной труппой), то удивляешься энергии художника, написавшего 12 больших декораций за 4 дня (так вспоминает Мих[аил] Матюшин).

К трагедии «В[ладимир] М[аяковск]ий» писали двое. Павел Филонов (работал, *не вставая двое суток*) и Иосиф Школьник, пытавшийся поработать так же (но после первых суток уснул на декорации и чуть не наделал пожара!).

Тот же Матюшин вспоминает с большой благодарностью о студентах-актерах, которые выполнили свою задачу хорошо, притом указывает, что репетиций для оперы, считая и генеральную, *общих* было только две! Все это при полном несочувствии мне дававших денежную и материальную помощь «Союзу молодежи», — не считая, конечно, Жевержева, председателя.

Я не могу забыть такого случая: на генеральной репетиции оперы, уже в костюмах (они состояли из прочного проволочного каркаса и крепкого картона, который живописал К. Малевич) — это спасло актера. А случай (явно злонамеренный) был такой: по ходу пьесы один актер стреляет в др[угого] из ружья, полагается — холостой выстрел, но враги наши, бывшие в дирекции театра, вложили в ружье крепкий пыж, и только благодаря тому, что костюм был сделан из толстого прочного картона и проволочного каркаса, — актер отделался небольшим ушибом. Тут же кстати сообщу, что тот же враждебный директор, когда после премьеры публика усиленно вызывала «автора», закричал из ложи: «Его увезли в сумасшедший дом!» Преодолеть все эти провокации уже было победой над врагами нового искусства [...].

В сюжете оперы несколько линий:

1). Если уже была «дохлая луна», то почему же не быть побежденному солнцу? В литературном плане идея та же: надоела возня лириков с голубоватыми лунными ночами, блеском их, таинственными тенями, увеличивающими очи красавиц и т. д. и т. п. Так и солнце: очень уж тогда в годы расцвета символизма было распространено утверждение «будем как солнце». А в поэтической основе оно рифмовалось преимущественно с червонцами — побольше золота, валюты, богатства, о чем тогда мечтало большинство «солнечных людей». Но уже Маяковский в ранних стихах писал:

Крикнул аэроплан
и упал туда,
где у раненого солнца
вытекал глаз —

это *первый* удар и начало заката идола буржуазии.

Еще из Маяковского:

Ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнце

и лун лучи
летающими пальцами
тысячерукого Марата!

Такое отношение встречается и во многих других его стихах и поэмах. Наконец, в общеизвестном стихотворении так наз[ываемое] «солнце», поэт бьет [...] по плечу:

здорово, златолобо.

а ему в ответ:

Ты да я, нас, товарищ, двое,

это уже не божество, а обыкновенный рабочий, товарищ, и если мы его *лица* еще вблизи не увидели, то луну близко сфотографировали и рассмотрели сзади.

Тут возникает вторая линия — космическая. Если в 1913 г. «Победа над солнцем» рассматривалась как фантастическое сумасбродство, то теперь вопросы космоса поставлены на научную основу и в опере несущие солнце (таки поймали это светило!) говорят:

корни его пропахли арифметикой,

то есть, если смотреть в корень, то овладение космосом это наука, где математика одна из главных [...]. В опере нет плавно плетущегося сюжета, он развивается резкими скачками: тут и Летчик с упавшим аэропланом, летавшим по этому заданию, и будетлянские силачи, и необыкновенные высотные здания с запутанными ходами и выходами, и оплакивающие солнце дельцы (хор похоронщиков), и черные боги дикарей (в пику золотому идолу), которым поется гимн. Заодно уж и их любимице *свинье*, как читал и напечатал я в своих книгах; Корней Чуковский еще в 13-м году обзывал меня «свинофилом». Я напомнил ему об этом в своем кредо на 1960 год. Свинарство — моя тема.

А ВОТ МОЕ

Щедрое свинарство — моя тема,
Еще в 13-м году и поныне,
Она затмила экс-принцесс
и франтов с хризантемами,

и мы живем теперь на земле преобразенной,
не в пустыне:

Идут здоровые свинарки и свинари,
поют ловкие доярки и звучари
и скоро сгинут в отставку
задиры ржавые мечари,

Да здравствуют звонкоголосые
речаря!

Еще в 1913 г. К. Чуковский назвал меня *свинофилом* (пародия на древних славянофилов) — см. его статьи и книги 1913—22 гг.

Тут сказать пора —
Нету худа без добра!

Январь 1960

А. Крученых

(там же, ед. хр. 45, л. 1—3, 10—13).

Архив А. Е. Крученых — своеобразный музей советской литературы. Чьих автографов здесь только нет! Вероятно, изучение взаимоотношений каждого их автора с Крученых могло бы стать темой увлекательного и поучительного рассказа. А мы остановимся на записках и письмах Бориса Леонидовича Пастернака.

По словам Крученых, его знакомство с Пастернаком состоялось в 1922 году, через Маяковского и Брикю.

Крученых привлек Пастернака к участию в составляемых им сборниках «Турнир поэтов» (вып. 1—3 за 1928—1934 годы), этой «коллекции версификаторских курьезов», где, кроме Пастернака, с экспромтами и эпиграммами на Крученых выступили В. Маяковский, В. Катаев, С. Кирсанов, В. Инбер, С. Третьяков, Н. Асеев, Ф. Раскольников, Ю. Олеша и др. Пастернак в это время дарит Крученых автографы своих стихотворений и переводов, делает надписи на книгах и фотографиях.

В 1925 году в сборнике «Жив Крученых!» Пастернак помещает свою статью о творчестве Крученых; в 1926 году выходит сборник стихов Крученых «Календарь» с вступительной статьей Пастернака, озаглавленной «Взамен предисловия».

«Что ценного в Крученых? По своей неуступчивости он отстаёт от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо дальше. Но и он на зависть фанатик и, отдуваясь своими боками, расплачивается звонкою строкой за матерьяльность мира.

Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем физиология сказки от сказки.

Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиванием сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы», — писал Пастернак (Жив Крученых! М., 1925. С. 1). И тут же отмечал неудачи новатора: «Слабейшая сторона Крученых — его полемика. Не говоря о том, что единоборство с

академиками банально до женственности и отягощено рутинной куда более обветшалой, чем академические традиции, Крученых замечателен тем, что ведет борьбу либо бесплодную, либо с победами, инсценированными до подтасовки. Его изучение Пушкина или спор с Брюсовым приводят в недоумение» (там же).

Об одной из своих встреч с Пастернаком Крученых рассказал в письме к Г. В. Бебутову от 11 декабря 1931 года (черновик письма вклеен в один из альбомов). В письме упоминаются поэты Т. Табидзе и П. Яшвили, а также еще не ставшая в то время женой Пастернака З. Н. Нейгауз. Письмо озаглавлено: *«Кое-что обо мне и о Ваших друзьях»*.

7.XI. с/г. я вечером зашел к Борису Пастернаку. Скоро туда же ввалились Тициан Табидзе и Паоло Яшвили — только что с поезда. Б. П. вызвал по телефону троих друзей — и состоялась встреча и новоселье (в освободившейся комнате брата Б. П.). Присутствовала и Зин. Ник. Нейгауз.

Был ужин, была выпита «порция Тициана» — 3 бут. вина и бут. крепчайшего коньяку.

Воспламенились. Зашумели.

Б. П. просил меня читать стихи. Я прочел несколько своих «коронных». Приняли горячо, просили еще.

К слову, я заговорил о «фантастичности» нашей эпохи, о том, что самое прекрасное — самое фантастическое, указывал на туман, глядевший в окна, на обезглавленный храм Христа Спасителя, читал отрывки из предислов[ия] Б. П. к моему «Календарю» и дальше: — Но однажды Б. (Леонидович) написал еще более фантастическое, именно в первую нашу встречу у Брика и М[аяковск]ого (Водопьян. пер., 1922 г.): «Я всегда мечтал писать, как Крученых».

Тициан Табидзе заметил:

— Да, это правильно, об этом следует мечтать.

Б. П.:

— Не всякая мечта осуществляется.

Я был наверху... (блаженства!).

Если к этому прибавить еще, что до ужина Б. П. написал мне на экземпляре «Спекторского»:

Тонкому

эстету

Алеше Крученых

от одного из боборыкинствующих.

7/XI.31 г.

Б. Пастернак

и на экземпляре «Поверх барьеров»:
Алеше Крученых,
трогательному и милому
на добрую память.
Б. Пастернак.
Москва. XI.7.31 г.

И еще черточка: никто не решился читать после меня. Все были поражены, ошеломлены, растроганы.

Зин[аиде] Ник[олаевна] стихи тоже очень понравились. Она очень интеллигентная и трогательная женщина [...].

Так кипит и гремит моя поэтическая стихия!..

(ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 299, л. 141—144).

По сохранившимся письмам Пастернака к Крученых можно где пунктиром, а где сплошной линией обозначить историю их взаимоотношений. В публикуемых ниже двух письмах Пастернака содержатся его отзывы о новых стихах Крученых в связи с предполагавшимся приемом последнего в Союз советских писателей. Отмечая «карморанские реминисценции» в стихах Крученых, Пастернак имеет в виду «Баллады о яде карморане» из сборника стихов Крученых «Голодняк» (М., 1922).

8 ноября 1930 г.*

XI.1930.

Дорогая Круча, Алеша милый!

Разумеется, я свинья, хотя ты не прямо это утверждаешь. Меня трогает твой приход к лирике, когда все пришло к очередам, что-то вроде Фета по несвоевременности. И как твой замумный багаж засверкал вдруг и заиграл! Точно это ему, а не тебе, затосковалось, и он ударился во что-то алкейски-сафическое в отсутствие хозяина, почти что с жалобой, что раньше ему не позволяли. И какие-то ранние Володины [Маяковского] ноты вдруг ни с того ни с сего местами.

Очень мило. И только карморанские реминисценции пополам с Фрейдом в этой связи мне не по душе. Твой Б. (там же, ед. хр. 184, л. 6).

* Датируется по почтовому штемпелю.

10 октября 1934 г.

Дорогой Алеша, ты на меня будешь в претензии, но, как член Правления, я никакой рекомендации тебе, кроме приложенной, не мог и не был вправе придумать. Уж ты не взыщи, сам виноват. Слишком давно и долго чуждался ты всего потного, капитального и почтенного, чтобы теперь вдруг стать претендовать на маститую солидность. Дернул тебя черт встретиться вчера со мною: так бы все было гладко, а теперь ты на меня будешь в обиде. А я-то при чем?

Твой Б.

Половинку с рекомендацией оторви. Возьми рекомендацию у Арт[ема] Веселого и у Олеси.

В Союз писателей

Нельзя ли принять в кандидаты союза А. Е. Крученых? Если прошлое его, на мой взгляд, представляет неумеренное увлечение некоторыми техническими крайностями, со всем существом творческого языка несоразмерными, то это же обстоятельство прибавляет ему в его новой роли библиографа и знатока книги редкую у книжников освоенность с цеховыми секретами мастерства и формы. В них он — свой человек.

Кроме того, он продолжает работать и как поэт, в менее односторонних и узких, чем прежде, видах.

Б. Пастернак

10.X.34 (там же, л. 9—10).

Значительная часть хранящихся в фонде писем Пастернака к Крученых отправлена из Чистополя, где Пастернак жил в 1941—1943 годы вместе с женой — З. Н. Пастернак и детьми (упоминаемый в одном из писем старший сын Пастернака — Евгений — находился в это время в Ташкенте).

Главной темой писем Пастернака к Крученых в эти годы становится его работа над переводами трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта» — в 1942 году; «Антоний и Клеопатра» — в 1943 году; а также — вопросы их издания и предполагавшейся постановки во МХАТе и в Малом театре. Одновременно Пастернак переводил стихотворения польского поэта Юлиуша Словацкого по заказу Гослитиздата; рукопись была послана П. И. Чагину 30 мая 1942 года, вместе с письмом (ф. 2550, оп. 1, ед. хр. 62, л. 3). О судьбе рукописи см. в послесловии Е. Б. Пастернака в книге: Сло-

вацкий Ю. Стихи. Мария Стюарт/Пер. Б. Пастернака. М., 1975. С. 171—175.

В письме от 18 марта 1942 года Пастернак обещает выслать Крученых тетрадь со своими стихотворениями из циклов «Переделкино» и «Стихи о войне», вошедшими в книгу «На ранних поездах» (1943). Рукопись была послана с дарственной надписью: «На память из Чистополя Алеше Крученых с превеликою нежностью. Б. Пастернак. 20.III.42» (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 801, л. 1). Стихотворения «На ранних поездах» и «Бобыль» были опубликованы в журнале «Красная новь» (1941. № 9/10. С. 46).

В письме от 22 марта 1942 года Пастернак поздравляет Крученых с его вступлением в Союз писателей, куда он был принят 4 марта 1942 года (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 229, л. 64).

24 сентября 1942 года Пастернак выезжает из Чистополя в Москву. Одна из московских встреч Пастернака «зафиксирована» в виде следующей записи:

Алексею
Крученых
в собственные
его руки
!!!
Б. Пастернак.
И будьте
здоровы.

14.X.42

(там же, ед. хр. 184, л. 17).

Во время поездки в Москву Пастернак получил от Комитета по делам искусств заказ на перевод трагедии «Антоний и Клеопатра». Вл. И. Немирович-Данченко «просит закрепить перевод «Антония» специально за Художественным театром» (см. письмо Н. Н. Чушкина Пастернаку от 13 января 1943 года, ф. 2867, оп. 1, ед. хр. 54). По возвращении в Чистополь в конце декабря 1942 года Пастернак заключает договор с Комитетом по делам искусств, ведет переписку с дирекцией МХАТа. Смерть Немировича-Данченко остановила работу МХАТа над постановкой трагедии Шекспира в переводе Пастернака.

В заметке «Малый театр в 1943 году», опубликованной в газете «Литература и искусство» (№ 2 (54) от 9 января 1943 года), дирекция театра сообщила, что «...в этом году будет начата работа над «Ромео и Джульеттой» Шекспира в переводе Бор. Пастернака». Эта постановка также не была осуществлена.

И[лья] Г[ригорьевич] читал их, он подчеркивал чисто литературную работу. В них тоже есть своя образность, свой стиль. Я сказал бы, что это не телеграфный, а ударный стиль. Другой стиль, как говорит сам И[лья] Г[ригорьевич], и не дошел бы. Бить трудно при помощи придаточных предложений. Это хороший стиль и в статьях, и в стихах.

Я говорю кратко, потому что мнение как будто у всех единодушное» (ф. 631, оп. 16, ед. хр. 129, л. 7).

В публикуемых 10 письмах и 1 телеграмме Пастернака за 1942—1956 годы упоминаются: Локс Константин Григорьевич — критик, переводчик; Казанский Борис Васильевич — литературовед, пушкинист, переводчик; Брайнина Берта Яковлевна — критик, литературовед; Асмус Валентин Фердинандович — доктор философских наук, профессор МГУ; Чагин Петр Иванович — в 1939—1941 годах директор издательства «Художественная литература»; Храпченко Михаил Борисович — в 1939—1948 годах председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.

1

6 января 1942 г. Чистополь

6.1.42. Крепко крепко тебя обнимаю и целую, дорогой Алеша! Я напишу тебе как-нибудь подробнее, а пока спешу сообщить, что все в восхищеньи от твоей открытки и она доставила мне большую радость. Может быть, в феврале или марте я приеду с Фединым или с Колей [Асеевым] по делам и мы поживем до весны, а перевозить всех, бог даст, в случае наших успехов, будем не раньше осени, слишком много труда положено было на мало-мальски сносное обзаведенье детей и женщин, и второй раз этого не поднять; мы же — другое дело и, может быть, скоро увидимся. Большое тебе спасибо за память. Крепко целую (ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184, л. 12).

2

18 марта 1942 г. Чистополь

18.III.42. Дорогой Алеша! Я никому не писал 2 месяца, чтобы довести до конца «Ромео». Ты простая и благородная душа. Твои открытки восхищали юмором и блеском. Я не раз порывался написать тебе о нашем здешнем житье-бытье.

Вероятно, я расскажу это тебе устно. Если судьбе будет угодно, я через месяц думаю собраться в Москву. Мне это

надо будет по делам; и именно сообразуясь с их течением, я задумываю эту поездку и назначаю ее предположительный срок.

Наверное, весной давление на восток возобновится, и технически будет трудно двигаться навстречу потоку, но половина денежных расчетов, за которыми мне придется съездить, будет по избранному Словацкому для Чагина, и, наверное, весь апрель я потрачу на его изготовление.

Милый друг, у меня нет никакой надобности чем бы то ни было затруднять тебя. Экземпляр «Ромео» я бы мог послать непосредственно Храпченке в Комитет заказною бандеролью. Если, может быть (я еще не уверен), я попробую заслать его тебе, с тем чтобы через несколько дней, по его прочтении, ты его передал Волконскому в Комитет по делам искусств (это имя в телеграфном запросе Комитета ко мне не совсем разборчиво), — то только в чайни, что, может быть, это с какой-нибудь стороны будет тебе приятно. Ты ведь человек компанийский и добрый товарищ. Может быть, тебе доставило бы удовольствие показать кому-нибудь перевод или взглянуть самому. В виде пробного шара я вышлю тебе заказною бандеролью несколько моих стихотворений, которых ты не знаешь. Они написаны перед самой войной в Переделкине и должны были появиться в «Красной нови». Остальное — осенние вещи, связанные с войною. Если тетрадка дойдет, можно будет посылать «Ромео» с легким сердцем. Пока я буду корпеть над Словацким и мне будут перестукивать перевод, у тебя будет время срочно известить меня, как прошло испытанье.

Представляю себе степень ваших лишений, бедные, бедные! Сколько раз у меня сжималось сердце при мысли о брате, об Асмусах, о Косте Локсе, о тебе, о вас всех! Но не думай, что здесь слишком сладко. В Москву думаю соблазнить вместе с собой К. Федина, а то поеду один, без иллюзий, но с еще большей легкостью в душе, чем уезжал, с еще дальше зашедшими размышлениями, с еще более многочисленными установками и недопущениями. Так я тебе ничего и не написал. Целую тебя. Всем сердечный привет.

Твой Б. П. (там же, л. 13—14 об.).

3

22 марта 1942 г. Чистополь

22.III.42. Дорогой мой! Уже отправив тебе письмо, я вдруг узнал, что было чествование тебя, на котором выступал Эренбург. От души тебя поздравляю. Срочно сообщи мне, цели Гослитиздат и куда (адрес!) посылать рукописи Ча-

гину. Достань мне в их библиотеке *собрание статей Ап[оллона] Григорьева* в одном томе, под редакцией Страхова и вышли по Зининому адресу заказной бандеролью: Татарская АССР, г. Чистополь, ул. Володарского, 63, Детдом Литфонда, Зин[аиде] Ник[олаевне] Пастернак, для меня. Он мне нужен для одной работы (там же, оп. 2, ед. хр. 46, л. 1).

4

5 января 1943 г. Чистополь

5.1.43. С Новым годом, дорогой Алеша! Прости за жировое пятно на открытке, след здешнего кострового освещения. Еще и еще раз горячо благодарю тебя за твое внимание и заботы. Я доехал очень хорошо и, конечно, не ошибался, когда так рвался обратно сюда. Место привлекает тишиной, а главное, нормальностью условий: здесь можно работать как угодно прилежно и знать, что чем больше ты выработаешь, тем тебе будет теплее и привольнее. Не везде эта пропорция так очевидна. Принялся вовсю за Антония.

Твой Б. П. (там же, оп. 1, ед. хр. 184, л. 18).

5

6 января 1943 г. Чистополь

6.1.43. Дорогой Алеша! Эту открытку опустят в Москве. Отсюда едут несколько человек, Брайнина, Тренев, Федин и другие. Если кто-нибудь из них согласится взять, в клуб на твое имя переведут 2—3 экз. детского Гамлета. У меня к тебе просьба. Купи мне, пожалуйста, русско-английский и англо-русский словарь Боянуса (издание Советской Энциклопедии). Их сюда посылать не надо, но хорошо было бы, если бы они были у тебя на руках к моему весеннему приезду. Кланяйся Николаю Николаевичу (Ас[ееву]). Еще одна просьба. Напиши мне, что кругом слышно хорошего, по адресу брата: Москва, Гоголевский бульвар, 8, кв. 52. Александру Л[еоновичу] Пастернаку, для меня, и письмо дойдет ко мне скорее, чем по почте. Твой Б. П. (там же, л. 19).

В тот же день Пастернак написал еще одно письмо Крученых.

6

6.1.43

Дорогой Алеша!

Положение осложняется. Мне придется затруднить тебя просьбой. Я думал, что отыщу в Чистополе обыкновенного

трехтомного гербелевского Шекспира, но, как видно, его тут нет. Мне нужен тот (третий, кажется) том, где помещен перевод «Антония и Клеопатры» *Корженевского*. Добудь его заимообразно и пришли мне заказной бандеролью, я таким же путем его тебе верну. Мне это нужно для сравнений, чтобы не повторять, по неведению, других. Покупать этой дряни ни в коем случае не следует. Достань как-нибудь по-другому.

Писать этими отравительными чернилами совершенное наказание. Это краска для печатей, разведенная водой.

Если Брайнина согласится взять сверточек со своими вещами, 3 экземпляра «Гамлета» для тебя будут оставлены в клубе на Поварской. Если нет, я их пошлю тебе заказной бандеролью.

Еще раз с большой благодарностью перечел твоё прелестное подношение. Целую тебя.

Твой Б. П. (там же, л. 20—20 об.).

7

28 января 1943 г. Чистополь

Дорогой Алеша! Только что получил твою открытку от 11-го, она шла только две недели, по здешним обычновьям пример поразительной быстроты. Узнал ли что-нибудь Казанский о моей ленинградской двоюродной сестре? Я писал и телеграфировал туда, но пока оттуда ни слуху ни духу. Около месяца тут с десятком моих писем, среди которых одно к тебе, лежат три Гамлета для тебя у Брайниной, которая все собирается в Москву и наконец когда-нибудь соберется. Словарь мне нужен русско-английский, и не какой-нибудь, а определенный, из серии словарей Боянуса, Мюллера и пр., и ни в коем случае *не сюда*. Здесь у меня для работы есть свой, старый.

(Продолжение в след[ующей] откр[ытке]) (там же, оп. 2, ед. хр. 46, л. 2).

Продолжаю: ты по этому делу обратись к товарищу за книжной стойкой союза. Я у него уже эти словари (оба: русско-английский и англо-русский) заказывал, но потом, за отъездом, отменил заказ. Так вот ты скажи ему, что заказ возобновляется и чтобы он их либо сам приобрел для меня, или передал тебе для той же цели. Сюда мне потребуется другая книга, и я об этом тебя прошу в закрытом письме, задержавшемся у Брайниной (я в конце концов его завтра отправлю по почте). Вот эту вещь, гербелевского Шекспира,

том с «Антон[ием] и Кл[еопатрой]», перевод Корженевско-го... (кажется) достань и пришли мне сюда заказной бан деролью обязательно и безотлагательно. Я перевел вчерне уже около половины. Работаю день и ночь.

Крепко целую тебя. Твой Б. (там же, оп. 1, ед. хр. 184, л. 26).

8

28 января 1943 г. Чистополь

[...] Я бешено тут тружусь и половину (42 печатных страницы мелкого английского шрифта) вчерне уже перевел, но это ничего не значит, так как главная часть работы у меня всегда переписка набело, когда появляется новая редакция, далекая от первой. Целую. Твой Б. П. (там же, л. 25).

9

Телеграмма

28 января 1943 г. Чистополь

Гербеля нашел Чистополе. Посылать сюда не надо. Целую. Поклон Коле [Асееву]. Борис (там же, оп. 2, л. 3).

10

15 февраля 1943 г. Чистополь

15.II.43.

Дорогой Алеша, пишу тебе страшно второпях и буду вынужденно краток. Спасибо тебе большое за вторую тетрадь. В ней мне больше всего понравились страницы 1-я, 11 и 12-я, отчасти 4-я. Я не знаю, не истолковала бы Анна Андреевна ложно некоторую общую твою необычность. Как бы она не показалась ей, в особенности при огорчительности ее жизни, легкостью и неуваженьем к ней, которых у тебя, конечно, нет и в помине.

Из прилагаемой доверенности ты увидишь, что просьба твоя исполнена в более чем десятикратном размере. Три экземпляра возьми себе, а остальные сохрани до моего приезда. Виноват: два-три экземпляра пришли мне просмотреть.

Я тут совершенно обезденежел и сижу без копейки, по вине некоторых учреждений, вроде Малого театра и других, которые, хотя и не должны мне еще ничего, обещали кредитовать меня при отъезде из Москвы и надули.

У меня к тебе просьба. Надеюсь через месяц довести отделку Антония, вчерне уже готового (этим я могу похвалиться: 90 страниц мелкого английского печатного текста в

40 дней!) до конца. Тогда мне его будут переписывать, и при этом третьи экземпляры всегда пропащие, до того они бледны. Достань и пришли мне свежей кофирки, сколько сможешь и как можно больше. Об оказиях сюда (для посылок) справляйся в Клубе и *Литфонде*.

Поблаговари от души Кирсанова за хорошее отношение и кланяйся ему. Сюда я приехал совершенным именинником и юбиляром, и при деньгах, а за месяц все изменилось. Виновата работа, которой я отдал все время и силы: последнюю неделю я садился работать с 6-ти часов утра.

Меня в восторг привело асеевское «В последний час». Какое движение и сколько огня! Вот это я понимаю! Скажи ему, что я его крепко обнимаю и всегда думаю о нем. У меня давно начато к нему большое письмо, и не случайно, и хорошо, что я его не кончаю. Оно из разряда тех ложных попыток, когда письмом, разговором или замыслом романа думают заменить целую жизнь, то есть оно живо только в первых страницах, а далее представляет бездну нежности и глубокомыслия, засасывающую в бесконечность.

Меня очень порадовало твое описание Эренбургского вечера. Сегодня я получил из Ташкента письмо от старшего сына Жени, он тоже много пишет об Илье Григорьевиче и очень любит его.

Копирки!

Прости за торопливость.

Твой Б. П. (там же, оп. 1, ед. хр. 184, л. 22—23 об.).

11

24 января 1956 г.

24 янв. 1956

Дорогой Алеша!

Говорят, ты собираешься справлять свое семидесятилетие. Не верю, не верю — не похоже. По-моему, ты слишком предусмотрителен и лет на десять предупреждаешь события. Но будь по-твоему. Всегда, по любому поводу рад засвидетельствовать тебе свою любовь и уважение.

Твой Б. Пастернак (там же, л. 38).

Завершая на этом краткий обзор архива Алексея Елисеевича Крученых, подивимся вновь своеобразию его таланта и с благодарностью помянем его неукротимый собирательский пыл, позволяющий нам снова и снова открывать и прочитывать все новые страницы и строчки в истории нашей литературы...

«ЧЕЛОВЕК ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ...»

(Набросок портрета Ю. Г. Оксмана по материалам его архива)

Обзор А. Д. Зайцева

25 апреля 1966 года, выступая на заседании научного совета ЦГАЛИ, посвященном 25-летию архива, Юлиан Григорьевич Оксман, в частности, сказал: «Я очень счастлив, что мне пришлось сегодня побывать на празднике, я чуть было не сказал «вашем». Нет — это наш праздник! Я принадлежу, к величайшему моему сожалению, к самому старому поколению ваших предшественников. В 1916 году я пришел в архив Министерства народного просвещения сразу же по окончании университета и начал в нем свою служебную и научную деятельность архивиста, источниковеда, текстолога, организатора научной работы в области архивного дела [...]. Я счастлив, что мне пришлось участвовать в деятельности по собиранию и изучению в широком плане памятников просвещения и русской культуры [...]. Я много думал над тем, кому передать свой личный архив, архив старого профессора, ученого, который готовил первых специалистов-архивистов. Вначале я думал, что отдам архив в Пушкинский Дом, с которым была связана моя молодость. Потом подумал о Библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, думал передать в Ленинскую библиотеку, а теперь все-таки решил: лучше всего будут обеспечены интересы культуры, литературы и мои личные, как фондообразователя, если я передам свой архив в ЦГАЛИ».

Свое намерение Юлиан Григорьевич осуществил: с 1966 года началась передача в ЦГАЛИ его архива, завершенная уже после смерти ученого его вдовой — Антониной Петровной Оксман. Сегодня материалы этого архива тщательно разобраны, описаны, пронумерованы, заключены в две тысячи сто одну архивную папку, каталогизированы.

«Ю. Г. Оксман (1894—1970) — литературовед» — лаконично профессиональное название архивной описи, которое, конечно же, не исчерпывает всего разнообразия и широты деятельности «фондообразователя». Тем более, когда речь идет о Ю. Г. Оксмани. Восполнить лапидарность этой характеристики — долг прежде всего архивиста. Попытаемся хотя бы в некоторой степени оплатить его.

Прежде всего, расширим «визитную карточку» фонда № 2567. Под этим номером в ЦГАЛИ хранится архив крупного советского ученого, историка литературы, видного пушкиниста, архивиста, историколингвиста, археографа, профессора, доктора филологических наук, коллекционера — Юлиана Григорьевича Оксмана.

Жизнь и деятельность этого замечательного человека и ученого мало исследована, а между тем значительность научных разработок Оксмана, его преподавательско-организаторская деятельность, широкий спектр научных интересов, разнообразный и многочисленный круг современников, состоявших с ним в научном и дружеском общении, — все это заслуживает обстоятельного и специального изучения. В качестве первого такого опыта «жизнеописания» Оксмана предлагаем читателям очерк, целиком построенный на архивных материалах, в большинстве своем не известных пока даже специалистам. При этом было трудно преодолеть естественно возникшее желание как можно «плотнее» насытить этот рассказ документами и цитатами из них.

Начнем с начала. В автобиографических заметках, которые вел Оксман в 1960-е годы, он писал: «Родился я 30 декабря 1894 г. в городе Вознесенске, заглохшей и опустевшей ставке упраздненных лет за сорок перед тем военных поселений Прибужья. И время, в которое я появился на свет, было на редкость глухое, и самый город наш, мертвенно-сонный, с его затхло-неподвижным бытом, с его оторванностью от железнодорожных путей, культурных и торгово-промышленных центров, был, вероятно, одним из самых глухих углов, занесенных на карту Российской империи. Впечатлений было так мало, что ничего нет удивительного в том, что я ничего не могу вспомнить ни о начальной поре своего становления, ни о позднейших его путях» (ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 179, л. 3). Тем более трудно нам сейчас подробнее говорить «о начальной поре становления» юного Оксмана, родившегося «в семье химика-бактериолога, служащего городского общественного самоуправления» (там же, ед. хр. 1088, л. 1).

Позади вознесенская гимназия. Что дальше? Сейчас трудно с исчерпывающей полнотой восстановить ход размышлений, симпатий и антипатий молодого Юлиана Оксмана, приведших в конце концов к выбору им той сферы деятельности, в которой он себя позднее столь блестяще проявил. Как бы то ни было, недавний гимназист отправляется в Германию и в 1912—1913 годах слушает курс лекций по философии и истории культуры в Боннском и Гейдельбергском

университетах. Знание иностранных языков в наши дни встречается не так уж часто: Оксман владел французским, немецким, итальянским, английским, польским, сербским.

С 1913 по 1917 год он учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, слушал лекции по двум отделениям — историческому и славяно-русскому, специализируясь в области изучения русской литературы и истории XVIII—XIX веков. Позднее Оксман писал об этом периоде своей научной биографии: «Я принадлежу к петербургской школе филологов-пушкинистов, получивших свое литературоведческое воспитание в пушкинском семинаре профессора С. А. Венгерова. Большое влияние оказали на меня в университетские годы лекции и семинары А. А. Шахматова, И. А. Шляпкина, Н. М. Лисовского и Н. К. Пиксанова, а особенно книги и статьи П. Е. Щеголева, с которым я и лично познакомился в 1915 г. Некоторое время я занимался русской историей, работая в семинаре М. В. Ключкова» (там же, ед. хр. 179, л. 7). Перечисленные университетские преподаватели являли собой цвет отечественной историко-литературной науки и, безусловно, сыграли значительную роль в формировании Оксмана-ученого.

При создании образа Оксмана-исследователя традиционный портрет кабинетного ученого был бы не только не похожим на оригинал, но и прямо ошибочным. И отнюдь не только в силу особых обстоятельств его биографии, о чем будет еще сказано, но и, главным образом, по причине склада его характера, открытого для познания и активного участия в самых разнообразных сферах общественного бытия. Постоянный творческий поиск, стремление к пополнению своих научно-общественных представлений, масштабная широта и размах научных и культурных интересов (по инициативе и при личном участии Оксмана было предпринято множество значительных культурно-исторических начинаний), оптимизм, не покидавший его в самых сложных жизненных ситуациях, — вот, пожалуй, некоторые основные черты личности Юлиана Григорьевича Оксмана. Не случайно поэтому Ф. В. Гладков и охарактеризовал его «как человека жизнерадостного и жизнедеятельного, простого и богатого душой» (там же, ед. хр. 420, л. 1).

Эта широта проявилась уже в студенческие годы. Наука? Да. Но еще и литература. И искусство. А позже и общественная деятельность: в 1918—1920 годах Оксман — член губернского и городского Петроградского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в 1920—1922-м — член Одесского губернского ревкома, в 1933—1936-м —

член президиума Ленинградского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов.

В студенческие годы формируются и литературные привязанности и знакомства Оксмана, многие из которых оказались впоследствии зафиксированы им в черновых набросках воспоминаний. «Когда я увидел в первый раз Блока? — вспоминал Оксман. — Вероятно, в середине мая 1915 г. [...] в кафе Филиппова, на углу Большого и Ропшинского на Петроградской стороне. Он сидел за столиком то [ли] за [стаканом?] кофе, то [ли] за морсом. Спиртное было запрещено» (там же, ед. хр. 179, л. 37).

А вот запись, относящаяся к другому периоду, ко времени «Серапионовых братьев»: «На собрании серапионов я слушал чтение Фединым рассказа «Анна Тимофеевна». Это было, вероятно, летом 1922 г., когда я был в командировке в Ленинграде. Менее вероятно, что это было весной 1923 г.

Помню, что я просил Мишу Слонимского познакомить меня с Зощенко, я только что прочел «Рассказы Назара Ильича Синябрюхова». Но Зощенко не было на этом чтении. Я познакомился с ним позже, а встречался часто еще позже, когда мы жили в Сестрорецке, на даче — Каверины, Тыняновы, Зощенко. Это было в 1934—1936 гг.» (там же, л. 16).

Письма Оксмана — яркие образцы своеобразного стиля — не раз появятся в этом обзоре, характеризуя многочисленные события нашего времени и, в еще большей степени, их автора: человека наблюдательного и точного, ироничного и мужественного, энергичного и тактичного. Б. М. Эйхенбаум — историк литературы, знаток эпистолярной культуры, писал 4 сентября 1957 года Оксману: «Твои письма я читаю всегда с жадностью и восторгом — так много в них и ума, и чувства, и «сердца горестных замет»!» (там же, ед. хр. 1034, л. 26).

Своеобразен почерк Оксмана. «С ходу» прочесть написанное им совсем не просто. Как справедливо заметил В. Б. Шкловский (кстати, сам широко пользовавшийся пишущей машинкой) в письме Оксману 18 октября 1961 года: «Почерк у тебя толстовский с портретным сходством. Читать тебя надо как рукопись майя, с кибернетической машиной» (там же, ед. хр. 1017, л. 41).

Особое место в обширном эпистолярном комплексе занимают письма Оксмана жене — Антонине Петровне. Биография ученого способствовала (во многих случаях — к сожалению) его оторванности от дома. Разлука заполнялась письмами.

Истоки этой переписки относятся к 1917 году. Так, 2 августа Оксман сообщал: «Перечитывал Чехова, Писемского; удивлялся художественной безграмотности первого (и несомненно последнего) прочтенного мною романа Мамина-Сибиряка («Приваловские миллионы»), перелистывал альманахи последних 2-х лет. Очень заинтересовался Францией 30—50-х годов и с большим интересом прочел корреспонденции из Парижа Гейне, едкие, в значительной части потускневшие, но необычайно глубокие. Как противно было в сравнении с ним смешное фразерство напыщенного Гюго — «История одного путешествия» — записки о Наполеоновском перевороте 2 декабря 1851 г.» (там же, ед. хр. 212, л. 23).

Через три недели Осман напишет из голодной предоктябрьской столицы: «В Петрограде теперь очень беспокойно — события под Ригой, голод, безработица, надвигающаяся ежеминутно, — грозят новым переворотом. Жить невыносимо трудно — кроме хлеба, который получаю по карточке, я ничего не видел даже съестного, кроме овощей [...]. Настроение у всех подавленное, безнадежность полнейшая, и все же везде идет прежним темпом работа и жизнь ни на минуту не прекращается [...]. Как бы то ни было, этот месяц будет решающим, и после сентября определится многое» (там же, л. 24). Как видим, ощущение неизбежности грядущих перемен, что называется, «висело в воздухе». Предчувствие не обмануло Оксмана: «после сентября» действительно определилось многое. И для молодого ученого, и для страны, и для человечества. В этом же письме характерные для кипучей натуры Оксмана слова о том, что несмотря ни на что — работа и жизнь ни на минуту не прекращаются. 15 октября он писал: «...вчера в пушкинском кружке читал доклад Андрей Белый — это было нечто поразительное, незабываемое никогда, — доклад назывался «О ритмическом жесте» (но по существу был вдохновеннейшей импровизацией о мистической сущности лирического творчества). В течение полутора часов он держал всех на такой высоте духовного подъема, какой я никогда не испытывал» (там же, л. 28).

Вернемся, однако, к «служебной» линии биографии Оксмана. По окончании университета в начале 1917 года он был по представлению историков литературы С. А. Венгерова и И. А. Шляпкина оставлен, как тогда официально это называли, — для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской литературы.

Здесь следует особо сказать об одной характерной черте научного творчества Оксмана, проявившейся уже в студенческие годы, привлекавшей современников и до сих пор

привлекающей внимание исследователей к трудам Юлиана Григорьевича. Речь идет о его пристальном внимании к архивам, к Документу, о стремлении Оксмана разыскать и ввести в научный оборот как можно большее число архивных материалов. Не просто умозрительно опровергнуть существующее в науке представление (какой бы блестящей ни была выдвигаемая гипотеза), а на основании добытых в архивах новых исторических источников обосновать свой взгляд на события прошлого. Тщательность научных выводов, их прочная документальная база и вместе с тем широта обобщений и ассоциаций — характерны для творчества Оксмана. Отмечая эту особенность его исследовательской манеры, известный советский историк, декабристовец, Б. Е. Сыроечковский писал, что для работ Оксмана «характерно богатство критически проверенных фактических данных, мастерская работа с первоисточниками, тонкость и точность исследовательских приемов, широкий научный кругозор, широкие сближения и сопоставления» (там же, ед. хр. 901, л. 52).

Практически постоянному притоку свежих фактических данных в трудах Оксмана способствовала его любовь к архивным разысканиям, вкус и уважение к единой и неделимой «монаде» всякого исторического построения — Документу, блестящие навыки источниковедческих и текстологических исследований. Вспомним в этой связи лишь некоторые собрания сочинений русских писателей, подготовку текстов к которым осуществил Оксман. Это издания произведений А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, К. Ф. Рылева, В. М. Гаршина, П. А. Добролюбова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена и другие.

Естественно, что без обращения к подлинникам, без постоянной работы в архивах это было бы невозможно. И здесь пора сказать несколько слов об «архивной» странице в биографии Оксмана, который был с архивами «на ты» не только как исследователь, систематически изучавший их материалы, но и как профессиональный архивист — организатор и преподаватель архивного дела, прекрасно знавший сложный для непосвященного мир архивов изнутри, что, конечно, само по себе имело существенное значение в его научно-исследовательской работе. Перечень архивных должностей, которые занимал в своей жизни Оксман, не мал. В автобиографии 1949 года он писал: «Работал с 1914 г. в архивах по выполнению заданий своих университетских руководителей, и, сделав несколько докладов в научных обществах и кружках о результатах своих разысканий в области цензуры и журналистики пушкинской поры, получил предложение академика

С. Ф. Платонова занять должность научного сотрудника комиссии по научному описанию Архива министерства народного просвещения. Сперва работал сверхштатно, а с 1.VI.1917 г. был назначен помощником начальника архива, одновременно являясь чиновником особых поручений при министре народного просвещения. На этой работе остался и после Октябрьской революции — сперва в Комиссариате народного просвещения, а с 1.VI.1918 г. в Центральном архиве РСФСР, где руководил сектором цензуры и печати. В начале 1920 г. назначен был особоуполномоченным Реввоенсовета по охране и разборке архивов войсковых частей на территории Украины, с пребыванием в Одессе [...]. В Одессе я пробыл с 7.II.1920 г. по 1.IX.1923 г. В течение этого времени был сперва приват-доцентом университета, затем профессором Института народного образования и Археологического института, ректором последнего и начальником областного архивного управления» (там же, ед. хр. 1088, л. 1).

Таковы основные вехи служебной архивной деятельности Оксмана. Надо сказать, что репутация Оксмана-архивиста была высока. Так, именно к нему обратился 28 декабря 1918 года заведующий справочно-статистическим отделом Главного управления архивным делом историк А. Е. Пресняков с просьбой «принять на себя труд по составлению указателя относительно архивов литературного характера» (там же, ед. хр. 1066, л. 3).

Деятельность Оксмана на «архивной ниве» не ограничивалась сказанным, а была значительно шире. В годы работы в Одесском археологическом институте он, в частности, руководил занятиями «по архивоведению (закончил общий курс — архивное дело в Западной Европе и на Востоке, прочел спецкурс — история архивного законодательства в России)» (там же, ед. хр. 1070, л. 3).

Там же, в Одессе, делал очень многое для сохранения и упорядочения архивных материалов; Оксман-ученый, исследователь полагал такого рода работу лишь первой стадией в архивном деле. Главную же цель он видел в использовании этих материалов, их научном осмыслении и введении в широкий общественный оборот (казалось бы, очевидная мысль, которая, между тем, и до сих пор не является бесспорной в научном и архивном мире). Архив для него — это своего рода лаборатория исследователя. Он так и писал известному историку Д. И. Багалею в 1923 году из Одессы: «Пока что я сохраняю в своем владении исторический архив, который разрабатывается и мною, и моими учениками [...]. Создан он, прежде всего, моими личными трудами, оборудован, инвентаризован,

описан и т. д.; а сейчас представляет даже маленькую научную лабораторию» (там же, ед. хр. 187, л. 2).

В 1923 году закончился «одесский» период жизни Оксмана и начался «ленинградский». Основные вехи его сам Оксман кратко перечислил в автобиографии: «В сентябре 1923 г. я возвратился в Ленинград*, будучи избранным (по представлению академика С. Ф. Платонова и профессоров А. Е. Преснякова и А. С. Николаева) профессором Ленинградского** университета. Научно-исследовательскую и преподавательскую работу совмещал с административной, являясь начальником архива министерства внутренних дел, членом Пушкинской комиссии Академии наук СССР, председателем Пушкинского комитета института истории искусств, ученым секретарем Института русской литературы. С 1933 г. по предложению С. М. Кирова и А. М. Горького и Президиума Академии наук СССР провожу реорганизацию Пушкинского Дома, принимаю в ведение последнего пушкинский заповедник, восстанавливаю квартиру Пушкина как музейное учреждение, возглавляю подготовку Пушкинского юбилея 1937 г. С назначением А. М. Горького директором Института русской литературы Академии наук СССР назначаюсь его заместителем, заведующим редакцией и членом главной редакции академического издания сочинений Пушкина членом редакции «Известий», отдел[ения] обществ[енных] наук Академии наук и главным редактором сектора классиков» (там же, ед. хр. 1088, л. 1).

Если к перечисленному добавить, что в это же время, с середины 1920-х по середину 1930-х годов, Оксман ведет огромную научно-исследовательскую работу, готовит к печати многочисленные сборники, собрания сочинений, рецензирует, редактирует, преподает, — то станет очевидной как его огромная работоспособность — «жизнедеятельность», так и значение этого труда. Поистине — титанического.

А рядом — жизнь, с ее простыми и необыкновенными событиями, со своей непредсказуемой заданностью, переплетением великого и смешного, трагического и курьезного. Из письма Оксмана жене от 12 октября 1924 года: «...наш поезд был захвачен бандитами около Бахмача (ст. Мена) ночью; перестрелка шла около 3/4 часа, затем охрана наша отступила, и ворвались бандиты; брали они только наличные деньги и драгоценности, вещей не трогали. Всякого кровопролития явно избегали — даже коммунистов и красных курсантов не трогали. У женщин ничего не забирали и держались

* Так в тексте. Правильно — Петроград.

** Петроградского.

«рыцарски» по отношению к ним [...]. Гораздо серьезнее петроградское наводнение, последствия которого грозно напоминают еще и сейчас о страшном бедствии. Петроградская сторона была вся под водою, по Большому проспекту ходили баркасы, уничтожены мостовые, сады, унесены дровяные склады и т. д. и т. п. До сих пор нет электричества, сидим впотьмах и в 9 час. ложимся» (там же, ед. хр. 212, л. 40—41).

Общественные и литературные события этого времени не оставляют Оксмана равнодушным, стремительная жизнерадостность проявляется в том, что эти события не только отражались в письмах, так сказать, «по горячим следам» впечатлений, но и оставались в памяти, фиксировались на самых неожиданных и невероятных клочках бумаги, на старых листах календаря, почтовых конвертах и извещениях, обложках журналов, представляя собой фрагменты огромных по замыслу и охвату, но в полном объеме так и не осуществленных, воспоминаний. Впервые мысль о написании воспоминаний возникла у Оксмана в труднейший, колымский, период его жизни, по всей вероятности, как одна из попыток заполнить образовавшийся интеллектуальный вакуум. 19 августа 1943 года в письме жене он даже излагает целую программу: «...меня тянет к мемуарам, и нужны только вехи вроде таких опорных личностей, как Юра Маслов, Вася Комар[ович], Юр[ий] Ник[олаевич Тынянов], а из учителей Сем[ен] Афан[асьевич Венгеров], Шляпкин, Серг[ей] Федор[ович Платонов], А. С. Николаев, Пресняков, Модзалевский, Сакулин, чтобы вокруг разместилось все прочее академическое, университетское, литературное и проч. наших лет, мертвое, живое, отмирающее» (там же, ед. хр. 214, л. 33. Оpubл. в кн.: Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига. 1988).

Этот первоначальный замысел мемуарного цикла впоследствии значительно расширился, хотя далеко не все из задуманного Оксману удалось реализовать. Перелистаем некоторые из мемуарных страниц, относящихся к этому периоду жизни Оксмана.

Смерть Есенина. Оксман вспоминает спустя много лет: «Сергей Есенин покончил с собою 28 декабря 1925 г. Узнал об этом на следующий день от Б. М. Эйхенбаума. Вместе с ним я поспешил в Союз писателей, где выставлен был гроб с его телом. Потом поехал с кем-то на Московский вокзал, где на запасных путях стоял товарный вагон, куда поднимали гроб. Людей было мало — растерянные интеллигенты, какие-то литераторы, молодые люди, больше — де-

вушки. Девушки читали стихи Есенина, робко и невыразительно. Еще не выработан был церемониал ни похорон, ни гражданской панихиды. А тут еще самоубийца. Неизвестно, что скажет начальство, как откликнется печать» (там же, ед. хр. 179, л. 41).

А вот брошенная в письме А. П. Оксман от 16 мая 1923 года обрывающаяся многоточием реплика очевидца бурных театральных поисков того времени: «...был еще раз в театре — самоновейшем революционном — Мейерхольда на «Земле дыбом». Это такой ужас в смысле пошлости, скуки и балаганщины, что просто обидно становится за театр и за себя. Правда, автомобили, автобусы, мотоциклы разъезжают по сцене и среди публики, стрельба и оглушающий шум не умолкают ни на минуту, но...» (там же, ед. хр. 212, л. 36).

Литературные события в воспоминаниях Оксмана тесно переплетаются с общественно-политическими. Напомним: первая половина 1930-х годов в жизни Оксмана — время чрезвычайно насыщенное не только исследовательской работой, но и деятельностью общественной, организационной. В частности, именно он вел всю конкретную подготовку по празднованию в стране Пушкинского юбилея 1937 года. Правда, ему не удалось довести до конца это предприятие. Но об этом позже. А сейчас свои трудности, и, встревоженный ими, Оксман пишет своему коллеге, видному советскому пушкинисту М. А. Цявловскому в первый день 1932 года: «А все-таки как-то тревожно, хмуро и неприветливо на научно-литературном фронте встречает нас 1932-й, последний, завершающий и т. д. и т. п. Ленинград, по крайней мере, очень мрачен, весь декабрь прошел в крайне напряженной обстановке дискуссий, разоблачений, разгромов, приостановки больших издательских предприятий...» (ф. 2558, он. 1, ед. хр. 134, л. 1 и об.).

Как бы то ни было, Оксман напряженно работает и в силу отмеченных обстоятельств возвращается в самых различных общественных и государственных сферах. В том числе и достаточно высоких по своему рангу. Сохранился конспект, точнее — тезисы, наскоро набросанные Оксманом уже в 1960-х годах об этом периоде его жизни. К сожалению, они так и не были развернуты в подробные воспоминания.

«Обязательно надо записать о моих встречах летом 1934 г. с Л. Б. Каменевым в Ленинграде, о доездке с ним в Михайловское. О встречах с ним же осенью 1934 г. в Москве. Встречи с Зиновьевым, которого Л. Б. сватал на роль автора популярной брошюры о Пушкине к юбилею. Репетицией этой брошюры должна была явиться статья Зиновьева в пушкин-

ском томе «Литературного наследства». Встреча с Зиловьевым в конце ноября в кабинете Каменева. Сюда ввести рассказы Каменева о Сталине и Горьком. У Каменева: Щербаков и Луппол. Реконструкция государственного и партийного аппарата. Рассказ Горького о том, как Сталин просит у него написать брошюру биографического характера для массового распространения. О таком же предложении мне рассказал Кольцов, когда мы возвращались с ним от Енукидзе.

Лето 1934 г. Подготовка к съезду писателей. Бухарин и Каменев в Ленинграде (в ленинградской квартире Бухарина во дворе АН). Подготовка речей Бухарина, Каменева, Горького. И. Эренбургу [и] мне поручено собрать материал по теории литературы, о преемственности социалистического реализма, о месте [фольклора?]» (ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 179, л. 68 об.).

Среди других Оксман упоминает здесь государственного и партийного деятеля А. С. Щербакова, философа и историка И. К. Луппола, журналиста М. Е. Кольцова...

В середине 1930-х годов Оксман — один из энергичнейших деятелей в области пушкиноведения. Не только ученый, специалист по изучению жизни и творчества Пушкина, особенно — рукописей поэта, — но и деятельный организатор научно-исследовательских широко задуманных общественных предприятий в изучении и пропаганде пушкинского наследия. Можно только поражаться размаху замыслов Оксмана в этом отношении. И, надо думать, сложилась судьба ученого иначе, многих лакунов, до сих пор имеющих в нашем пушкиноведении, вероятно, могло бы не быть. В некоторой степени характер пушкиноведческих усилий Оксмана того времени передает выдержка из его письма М. А. Цявловскому от 23 августа 1933 года: «...очень досадно было не застать вас в Москве, — чуть было не махнул к вам в Ясную Поляну для совещания о плане наступления на Пушкинском фронте. А все предпосылки для успеха этого наступления налицо. Имел беседу по Пушкинским делам в самой высокой инстанции, где очень сочувствуют не только полному собранию сочинений Пушкина, но и энциклопедии, а главное, большой конференции, которая объединила бы пушкиноведов с писателями. Конференцию будет проводить Акад[емия] наук и А. М. Горький, академическое издание будет возглавлять Горький, а легкую промышленность в области пушкиноведения — Л. Б. Каменев. С последним я тоже беседовал о конкретизации некоторых замыслов — о маленьком Пушкине и об энциклопедии» (ф. 2558, оп. 1, ед. хр. 134, л. 28).

«В расцвете сил» — излюбленная фраза составителей некрологов. И хотя мы подошли только к середине жизненного пути Юлиана Григорьевича, — нам придется, к сожалению, воспользоваться этим трафаретом. Итак, в самом расцвете творческих и жизненных сил прерывается активная научная и общественная деятельность Оксмана, на десять долгих и трудных лет он выбывает из строя и без того немногочисленных специалистов-пушкинистов, историков отечественной культуры и общественной мысли. В ноябре 1936 года, совсем незадолго до начала юбилейного, Пушкинского, года, для подготовки празднования которого он отдал столько сил и энергии, Оксман был арестован*. «Виновным я себя ни в чем не признал, — писал он в автобиографии, — в суд мое дело направлено не было, но постановлением Особого совещания при НКВД от 15.VI.1937 г. я был присужден к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на пять лет. Этот срок почти удвоился, так как сперва меня не освободили по обстоятельствам военного времени, а затем по постановлению местных органов» (ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 1088, л. 2).

Наступивший в жизни Оксмана этап (похоже на дурной каламбур) был связан не только с физическими трудностями и лишениями, но и, что было, вероятно, не менее тягостно для привыкшего к напряженной интеллектуальной деятельности ученого, — с огромными нравственными издержками. И все же не раз отмеченные выше жизнедеятельность и жизнерадостность Оксмана, никогда не покидавшие его, сыграли свою положительную роль и в новых условиях. Географических — Колыма, Магадан. Трудовых — он был строительным рабочим, грузчиком, освоил много других специальностей (сторожа, банщика, сапожника). Бытовых — барак, цинга.

Письма Оксмана этой поры (большинство адресовано Антонине Петровне) — полны сдержанности, мужественны, внешне спокойны и очень «по-оксмановски» наполнены. «Перед нами документ, запечатлевший черты личности и судьбы одного из ярких представителей гуманитарной интеллигенции 20—30-х годов — личности, которая с изумляющей стойкостью перенесла удар сталинской репрессивной машины, десятилетнюю изоляцию от культурной жизни, все тяготы тюрьмы и лагеря», — пишут авторы вступительной статьи к публикации 30 писем Оксмана жене за 1936 — 1947 годы М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес (Четвертые Тыняновские

* В 1930 и 1931 г. ученый уже арестовывался дважды, но пребывание его в тюрьме, откуда он был вызволен хлопотами историка П. Е. Щеголева, было тогда непродолжительным.

чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 96—168). В этих письмах перед нами встают некоторые реалии неизвестного и очень многообразного мира, во многом отличающиеся от привычных схем, основанных на слухах и полублегарных сведениях. Амплитуда колебаний в условиях жизни и быта — от ночевки у костра при минус 60° (письмо от 24.II.1943 г.) до периодов относительного «благополучия», когда часть срока Оксман отбывал расконвоированным за пределами лагерной «зоны», имел возможность пользоваться присылаемыми деньгами и продуктовыми посылками, даже заниматься в библиотеке (письмо от 27—30.10.1945 г.). Но все же это была неволя; кроме того, как справедливо замечают Чудакова и Тоддес, необходимо все время помнить о сугубой подцензурности этих писем, когда «...автор «несколько идеализировал» описание колымских условий и «оберегал» жену от всего, что могло бы [...] встретиться».

Подобно Кюхельбекеру, который на каторге и в сибирской ссылке воспринимал как литературную новость журналы и альманахи десяти-пятнадцатилетней давности, вступая в полемику с авторами, творчество которых, в сущности, представляло собой свет давно угасших в Петербурге и Москве звезд и звездочек, Оксман перечитывает случайно попавшиеся ему книги, в том числе и выходившие под его редакцией томики упраздненного издательства «Academia» или же книгу «упраздненного» писателя И. Э. Бабеля (очень возможно, что в июне 1943 года, когда Оксман писал Антонине Петровне о своих впечатлениях от случайно попавшегося ему томика Бабеля, он ничего не знал о страшной судьбе писателя, арестованного позже Оксмана и к этому времени уже давно отсутствовавшего в числе живых). Но ощущения оторванности от передовой гуманитарной мысли не возникает («Прочел внимательно, как чужие работы, — пишет он о своих давних комментариях к прозе Пушкина, — и даже удивился, что многое сделано очень неплохо. Конечно, сейчас бы сделать это можно с более широкой перспективой, но самый фонд заложен «всерьез и надолго» и исходные линии исследования намечены правильно» (письмо от 5 июля 1943 г.; см. № 3).

Помещаемые ниже 10 писем Юлиана Григорьевича жене за 1943—1945 годы дополняют публикацию Чудаковой и Тоддеса, но не исчерпывают весь комплекс «лагерной эпистолярной» Ю. Г. Оксмана. Письма публикуются по переданным в ЦГАЛИ А. П. Оксман машинописным копиям (ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 214, 216).

Там, где это оказалось возможным, фамилии и инициалы упоминаемых автором лиц раскрыты в квадратных скобках.

1

20 мая 1943 г.

20 мая 1943

Дорогая Тосенька, чем реже приходится писать, тем труднее найти нужные слова, тем стеснительнее и неувереннее выражение самого главного, особенно когда грусть и нежность, беспомощность и неизвестность парализуют и мысль, и чувства, и волю. Бесконечно тревожусь за тебя, моя ненаглядная, моя единственная, самая родная и близкая, несмотря на годы, расстояния и беды, разъединившие нас так бессмысленно и опять, кажется, надолго. Толком и даже без толка ничего не знаю о тебе уже очень, очень давно. Писал и телеграфировал в Ленинград, потом — с прошлой осени — в Астрахань, потом в Пржевальск (и до востребования, и на Киргизскую). От мамы и даже из Москвы (вероятно, от Иры [Альтер], но точно не знаю) получил несколько телеграмм, но от тебя ни звука.

Мои дорогие беженцы, душа болит за всех вас, с нетерпением жду, когда отбросят фашистов из-под Ленинграда, как отбросили их из-под Москвы, где уже восстановилась нормальная жизнь, но пока — пока приходится, стиснув зубы и сжав нервы, ждать, ждать и ждать. Жду первого парохода, авось привезет письма, из которых узнаю хоть что-нибудь о ваших странствиях и настроениях, о вашем быте, о ваших надеждах. Тосенька, родненькая, береги себя и думай только о своих удобствах, которых так немного может быть в нынешних условиях и которыми тем более приходится дорожить. О себе мне говорить трудно — я здоров, живу в сносных (хотя и прежних) условиях, стараюсь быть бодрым, не терять своего лица, много работаю, но не очень устаю, имею возможность даже следить за новой литературой и перечитывать старое. Прежних моих знакомых уже не застал в Магадане, да и новые должны в июне ехать на фронт или на работу в Сибирь и на Урал. Досадно, что погибли ваши письма, адресованные в Магадан, когда я странствовал за тысячу километров отсюда, затем болел, затем даже умирал, но каким-то чудом (вторично, в третий или четвертый раз) остался жив, чтобы еще дожидаться встречи с тобой, моя радость. Да, — «чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса». Чудо выручало меня уже не раз, невольно станешь оптимистом, даже

при самой неутешительной конъюнктуре! Шутки шутками, а подсознательная уверенность в том, что встреча наша, несмотря ни на что, не за горами, только и позволяет жить. Бога ради, не беспокойся за меня, моя радость, только иногда вспоминай и хоть раз в месяца два давай о себе знать. А пока жду писем, чтобы хоть как-нибудь выйти из круга неизвестности о тебе за три года. Пиши в Магадан, Местпром, массово-обувной цех, мне. Напиши, где Нюся [А. П. Семенова], где Альфр[ед] Каз[имирович], где Тамара [Т. П. Семенова], где Малюся [М. М. Штерн], с кем ты в Пржевальске? Крепко, крепко тебя обнимаю и целую. Пиши чаще, учитывая, что письма часто теряются. Юл.

2

20 июня 1943 г.

20/VI 43

Тосенька, родная моя, пишу тебе уже второй раз в этом месяце, перед тем писал в Пржевальск дважды — в апреле и в мае, всегда посылаю заказные. Из Астрахани даже обратно пришло мое первое письмо (от 3 окт. 1942 г.), не застав уже тебя на старом месте. «Из края в край, из града в град судьба, как вихрь, людей метет. И рад ли ты — или не рад — вперед, вперед, всегда вперед». Вот и мои любимые стихи (еще с 1919 г., когда их впервые истолковал в Пушкинском кружке Андрей Белый) получили конкретную значимость для всех нас, да еще в самом трагическом варианте, о котором никто никогда и подумать не мог даже в бредовом кошмаре.

Моя любимая, о тебе я думаю больше и чаще, чем о себе, — и не только в тревоге за твое настоящее, но и в порядке постоянных воспоминаний, постоянных ассоциаций, самых нежных, самых дорогих. Если бы не завершилась моя биография (на которую я все-таки еще не теряю надежд, оставаясь таким же самонадеянным, как когда-то на вечере у Раи Мангуби) — ты останешься в ней самой большой радостью, которую послала мне судьба. На всем протяжении моей жизни (чуть было не написал даже «земной», как будто бы уже пишу из другого мира). Если б ты только знала, моя единственная, сколько счастья связано было у меня даже в последние годы с твоими редкими письмами, даже с твоими последними бесконечно печальными двумя открыточками... С нетерпением жду разбора почты, авось найдутся там еще весточки от тебя, моя крошка. Мой приятель останется до середины августа в Магадане, а потом едет к себе в Семипалатинск,

откуда постарается связаться или с тобой, или с мамой; я никогда не забуду, что благодаря ему я нашел через Москву и тебя и маму — после того, как вы переменили свои адреса, эвакуировались из Каргалы и Астрахани. Получение моих писем, если не трудно, подтвержай, Тосенька, телеграммами.

У нас устанавливается лето, т. е. с 11 до 2-х греет солнышко, а потом начинается ветер, холодный ветер с Ледовитого океана, туман с Охотского моря, сырость своя, колымская. Вечера у нас осенние, а ночи зимние. Перечел случайно попавшийся томик Бабеля. Вспомнил, как мы с тобой смотрели «Закат» в одну из гастрольных поездок студии Вахтангова в Ленинград. Пьеса все-таки и сейчас производит впечатление, как по-настоящему сделанная вещь. Да и весь Бабель хоть и не очень большой, но настоящий талантливый художник, мастер слова и образа. В нем много от Мопассана, которого недаром он так любит, но эротизм парижанина в одесской редакции кажется порой слишком вульгарным. Впрочем, и Хемингуэй, которого я очень ценю, эротичен почти в той же мере, что и автор «Конармии». Читала ли ты «Прощай, оружие!»? Обязательно прочти, если не читала прежде. Кстати, что писал Юрий Николаевич [Тынянов] после первого тома «Пушкина»? Мне ничего не попадалось здесь. Бабель напомнил мне Одессу, нашу жизнь на Елизаветинской, Романа Михайловича. Неужели слух о его гибели со всей семьей при эвакуации Одессы верен? Когда-нибудь, м. б., я и напишу об Одессе эпохи 1919—1922 гг. Точнее о нас с тобой на фоне тех лет, которые нам казались случайным этапом, мало-значительным и ни в какой мере не интересным, а на самом деле именно эти годы для нас были одними из лучших, но только на редкость плохо использованных. Ну, да об этом уж поговорим, когда опять будем вместе. А пока надо кончать письмо. Я здоров, моя радость, чувствую себя бодро, живу в нормальных бытовых условиях, дни бегут, как во сне, а это сейчас не так плохо. Если бы спокоен был за тебя и за маму, то было бы совсем хорошо. Боюсь, что вам хуже, чем мне, но уверен, что будет лучше, если выдержим еще эту зиму. Очень мне больно, что не могу ничем помочь никому из вас, да в сущности ничего и не знаю о вашем быте. Моя родная, каждая мелочь мне интересна, не говоря уже об основных темах. Чем наполнен день, с кем и как работаешь, кто из знакомых еще в Пржевальске, что делает Тамара, как сводите концы с концами, даже если они не сходятся? Знаешь, и я жалею, что ты не завербовалась в 1939 г. на Колыму. Здесь, конечно, нам было бы легче, несмотря даже на разницу в нашем положении. О

материальной стороне быта и говорить не приходится — здесь есть все, нужное для примитивного быта, каким стал после Ленинграда и твой быт, с тою разницей, что мы были бы близко друг от друга и я был бы спокоен за твою жизнь и здоровье. Продовольственная база Дальнего Севера очень удовлетворительна, благодаря запасам моря, заботам правительства, заграничным закупкам и своим фондам. Еще лучше с одеждой и обувью. Были бы только деньги, которые здесь гораздо дороже, чем у вас. Цены у нас почти прежние на все необходимое.

Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, моя радость. Жду твоих писем, надеюсь на твои силы, которых хватило на столько лет и *должно* хватить еще на одну зиму. А для меня одно уже сознание того, что ты хоть немного обо мне думаешь, дает уверенность в осуществлении всего того, что нам нужно. Крепко тебя обнимаю и целую. Извести Актюбинск о получении моих писем. Твой Юл.

Где Вера и Танюша?

3

5 июля 1943 г.

5/VII

Дорогая Тосенька, вчера получил две открыточки от тебя, апрельскую и майскую, — всего, значит, получил четыре за этот год, таким образом, все, что ты написала. Радость моя была так велика, что весь день ходил именинником, а жизненной зарядки этой хватит месяца на полтора, право — не меньше. Теперь у меня одна забота — чтобы и ты получила все мои писульки, отправленные в Пржевальск «до востребования». Из них ты, надеюсь, поймешь, что о выезде моем отсюда пока и речи быть не может. Неужели, если бы у меня была хоть какая-нибудь возможность перебраться к тебе, я мог оставаться так далеко и в таких условиях, в которых продолжаю находиться столько времени. Пойми, что ничего не изменилось со времени нашей разлуки, моя любимая. А конкретно раскрывать все скобки пока очень затруднительно. Хорошо хоть то сейчас, что мы можем переписываться, найдя друг друга. А ведь еще в прошлом году в это время это была для меня задача неразрешимая, равно как и в 1941 г. Кстати, получил очень хорошее письмо от какой-то Маруси Бархатовой, которая живет сейчас в нашей бывшей квартире в Ленинграде. Сообщает о моих бумагах, которые надеется сберечь до нашего возвращения. Я ответил ей (обидно,

что не знаю ее отчества и назвал поэтому в своем письме Марусей). Напиши мне о ней. Твои открыточки и ее письмо меня как-то вернули в старую атмосферу и напомнили о людях, которые чуть было вовсе не выветрились из памяти, и об интересах, которые уже сильно потускнели. Я имею в виду академических дельцов и научную братию вроде Пиксанова, Жирмунского, Азадовского. Кстати, где Алексеевы, не знаешь ли ты чего о Цявловских, о Бонди, о Бельчикове. Очень грустно мне стало за бедного Юрия Николаевича. И его, и Вен[иамина] Ал[ександровича Каверина], и Лид[ию] Ник[олаевну Каверину, урожд. Тынянову] я по-настоящему и люблю и очень ценю. Бесконечно грустно мне было узнать о судьбе Васи Ком[аровича], Вас[илия] Вас[ильевича Гиппиуса], Мих[аила] Карл[овича Клемана]. Очень прошу написать подробнее, если это можно. Жив ли А. С. Орлов? Где Н. И. Мордовченко? Закончилось ли академическое издание Пушкина? Где сейчас Пушкинский Дом? Недавно мне попался Пушкинский том «Литературного наследства» (1934 г.) и последние томики изд. «Academia» (комментарии к прозе Пушкина). Прочел внимательно, как чужие работы, и даже удивился, что многое сделано очень неплохо. Конечно, сейчас бы сделать это можно с более широкой перспективой, но самый фонд заложен «всерьез и надолго» и исходные линии исследования намечены правильно. Тянет ли меня сейчас к работе — сказать определенно не могу, но если придется возвратиться, то сделать рассчитываю немало, без всяких цеховых мелких расчетов и узколобых кабинетных деляг. Но все это, повторяю, в далекой перспективе, лишено всякой актуальности и трогает меня очень мало. Хотелось одно время мне написать Юр[ию] Ник[олаевичу]. Но даже и не узнал ни его адрес, ни адрес Каверина.

4

29—31 октября 1943 г.

29 октября 1943

Милая моя женушка, ненаглядная моя Тосенька, бесконечно тоскую я по тебе и болею за тебя. Прежде, когда я знал, что ты в Ленинграде с мамой, я за тебя почти не беспокоился, точнее — волновался, по только не так, как теперь. Невозможность облегчить твоё положение — самое тяжелое, что только было и есть со мной за последние годы. Мне иногда даже досадно за мое нынешнее «благополучие», очень условное и временное, но все же вполне терпимое. Здоровье мое

за лето очень окрепло, всем хорошо обеспечен, живу в хорошем общежитии, теплом и чистом, на 18 человек. С работы возвращаюсь не позже 8, иногда в 7 ч. Около часа трачу на «хозяйство» — готовлю себе чай, варю какую-нибудь крупу или поджариваю рыбу. Свежей уже нет, отмачиваю соленую кету. Овощей в этом году было мало, выдавали раза 3—4 по 5 кило за весь сезон. Денег у меня скопилось на счете много, но выдают их небольшими суммами. Бога ради, не беспокойся за меня, ничего не вздумай больше присылать. То же самое напиши маме, хотя я уже и сам писал об этом. С нетерпением жду твоих сентябрьских писем. Пароходы ходят пока нормально, но около середины декабря навигация прекращается. Останутся одни телеграммы, да и те доходят не всегда хорошо. Письмо лежит третий день, надо его отправлять, но все надеялся получить до его отправки новую почту. Все у меня постарому, ни на что жаловаться не могу. Читаю, правда, меньше, чем прежде — больше занят, да и встаю позже. Зима еще не беспокоит, а только бодрит. Никак не могу написать ничего Ильюше [И. С. Зильберштейну], не говоря уже о Тарле: руки не поднимаются к перу, когда нет веры в успех своих писаний, да и не хочется ни фальшивить, ни быть откровенным. Моя родная, тебе не нужно растолковывать подробнее, почему я так отношусь к этим письмам, но пока что мое отношение именно таково.

Перечитываю последнее время классиков, а из русских хороших прозаиков Лескова. Новых книг давно не видел, самая интересная из них «Тысячи падут» Габе — много аналогий, в общем очень похоже, прочти обязательно, если еще не читала. Из новых фильмов видел только «Сталинград» да «Киноконцерты». Последние очень расстроили, вызвав поток воспоминаний, но все-таки очень доволен тем, что слышал. Пиши, моя радость, чаще и подробнее. Крепко, крепко обнимаю и целую. Весь твой Юл.

31.X. Отчего ты ничего не писала о Елене Дмитриевне? Где она? Я очень часто вспоминаю Володю, на редкость был оригинальный и интересный человек, погибший ни за что ни про что.

5

24—30 ноября 1943 г.

24 ноября 1943

Дорогая Тосенька, на днях отправил тебе первое письмо во Фрунзе, сейчас посылаю вдогонку второе. Получишь ты

эти письма уже в декабре, когда навигация прекратится, оставив для связи только телеграф. Моя любимая, последние дни я опять затосковал по тебе так остро, что невольно волнует мысль, не случилось ли чего с тобой. Вижу и чувствую тебя, как будто бы мы расстались только несколько дней назад. Взволновал меня самый факт твоего переезда — точно Пржевальск был для тебя более спокойной пристанью! Моя ненаглядная, очень сердят меня твои посылки, которым я все равно не пользуюсь, а впрок держать их нет смысла. Тебе эти деньги гораздо нужнее, чем мне, а если бы мне понадобились ваши переводы — я всегда бы телеграфировал о них, как это сделал и раньше. Словом, надеюсь, что ты будешь послушной, моя радость... От мамы и Тамары получаю телеграммы и деньги, которые тоже не нужны. Вчера получил письмо от 23 сентября с отчетом об урожае, который сняла Тамара со своих двух огородов. Порадовался за них, видимо, положение их сейчас много лучше, чем в первые месяцы жизни в Актюбинске. Я хотя и не снимал никаких урожаев, но тоже не могу жаловаться на свой быт. Чувствую себя физически очень хорошо — очень окреп, много бываю на воздухе, великолепно, по нынешним временам, питаюсь, живу в хорошем (уютном и теплом) бараке для специалистов, словом, законсервирован на зиму хорошо... Работа у меня нетрудная, отношением к себе доволен, а прочее... от нас не зависит, а потому жаловаться ни на что не могу. Перспективы отдаленные утешительны, а ближайшие — туманны, что несколько выбивает из колеи и заставляет нервничать время от времени, но и с этим стараюсь если не мириться, то держать себя в рамках. Близких людей у меня после отъезда Эксархиди не осталось, но и к этому уже успел себя приучить. Пишу только тебе и маме, да и то последнее время реже, чем летом. Другим же, как не писал прежде, так и не пишу и сейчас. Даже Ильюше, с которым хотел связаться, тоже до сих пор не написал. Читаю много, но самые случайные вещи. Недавно пересмотрел шеститомник Пушкина изд. «Academia», которые прежде не видел (из маленьких томиков видел все еще в 1940 г.), да Пушкинский том «Лит. наследства». Еще раз, хоть это и несколько претенциозно, убедился, что я кое-что сделал в свое время и никак не устарел, строил «всерьез и надолго». Это очень утешает иногда. Вспоминаю тайгу и бесконечную зимнюю многомесячную ночь (точнее — сумерки) у Индигирки, куда меня забросила судьба в 1941—42 гг. Мороз 60 градусов, костер, я у костра всю ночь напряженно всматриваюсь в прошлое (настоящего тогда для меня не было, «будущее» было более чем проблематично), вспоминаю прежде всего тебя

и все, что с тобой связано. У костра я не только вспоминал, но иногда писал мысленно целые книги, главу за главой, ярче и легче, чем бывало за письменным столом в Ленинграде [...].

6

2 ноября 1944 г.

2 ноября 1944

Дорогая Тосенька, отправил тебе заказное дней десять назад. Сейчас пишу еще, моя родненькая. Получил только что письмо от мамы от 13 сентября очень обстоятельное. Из хороших новостей — возвращение в Одессу Ром[ана] Мих[айловича Волкова] со всей семьей. Так мало осталось у меня друзей, что весть о каждом задевает за живое. Видимо, нашим очень тяжело пришлось налаживать жизнь и много разочарований испытать после возвращения. Трудностями быта мама объясняет и свое долгое молчание — очень уж много жутких впечатлений — не только от прошлого, но и от настоящего. Ниной очень довольна — и ее поведением при немцах, и сейчас. Она действительно исключительную проявила энергию и находчивость в самых страшных условиях. Пишет мама и о Нюсе, которая сохранила все и сама прекрасно сохранилась. Моя родненькая, бесконечно тревожусь за тебя, воображая ленинградскую зиму и твою неустроенность. От этих мыслей я только и старею, ибо все остальное, с моей точки зрения, в порядке вещей. Страшно только, что годы лучшие убежали и что через два месяца мы бы с тобой справляли мой юбилей. Дорогая моя подружка, самое замечательное, однако, в наших отношениях это то, что ты для меня так же дорога, близка и любима, как много, много лет назад. Я не хочу сказать, что так же, как в гимназические годы, только потому, что потом я тебя стал любить и больше, и иначе. А сейчас, если у меня и сохранились силы для будущего, то только потому, что это будущее связано с тобою. Все, что можно было сделать для ускорения моего возвращения, мною сделано. Но в близость нашей встречи я пока все-таки не могу верить, учитывая порядок вещей и случайность самого своего пребывания на земле, а не в заоблачных сферах. Моя дорогая девочка, пиши мне почаще, а зимой телеграфируй хоть раз в месяц. Привет всем друзьям. Твой Юл.

2 июля — 13 августа 1945 г.

2 июля 1945

Дорогая моя Тосенька, получил твою открыточку от 8 июня, а незадолго перед этим от середины июня. Ответил тогда же письмами и даже телеграммой. Одновременно с твоими открытками получил большое письмо от Степанова, а из Ленинграда два номера «Звезды» (не знаю, от кого). Моя родная, я писал тебе в течение последних трех месяцев очень часто на твой служебный адрес и раз через Ирочку, но, видимо, письма где-то задержались. Пароходы ходят сейчас довольно часто, и с каждым я посылаю не меньше двух писем. Видимо, из зимних писем дошло тоже очень мало. На тебя же я очень иногда сержусь за скупость твоих открыток. Ей-Богу, из писем Ирочки и Степанова я знаю о тебе и твоём быте гораздо больше, чем от тебя самой.

В моих делах никаких перемен нет, да и рассчитывать в этом году ни на что не приходится — сейчас это и тебе, вероятно, ясно! Лишь бы хуже не было, а этим годом я все-таки доволен даже за то, что не переменял адреса. Чувствую себя не очень важно. Лета в этом году вовсе не было, дней десять я никак не могу оправиться от гриппа, ослабел, выбился из колеи в материальном отношении так, что даже телеграфировал тебе об этом. Но все это мелочи и пустяки. Хочется верить, что и на основных участках нашего жизненного фронта дождемся перелома к лучшему.

Мой дорогой инженер, признайтесь, что и вы, несмотря ни на что, где-то в глубине души все-таки верите в это так же, как и я. Тосенька, я много раз спрашивал тебя о Добровольских. Из упоминания Н. Л. [Степанова] об Эйхенбаумах понял, что они потеряли Диму. Обязательно напиши, где и как это случилось.

13.VIII. Письмо осталось неоконченным, моя радость, из-за объявления войны [Японии — 9 августа 1945 г.]. Но сейчас уже можно не сомневаться, что и пароходы пойдут очень скоро опять по-прежнему. События меня бесконечно бодрят, и я даже помолодел от их темпов. Фашизм во всех его разветвлениях будет уничтожен и выкорчеван с корнем не только на Западе! Крепко, крепко тебя обнимаю и целую. Твой Юл.

25 июля 1945 г.

25 июля 1945

Тосенька, дорогая моя бедняжечка, получил твою открытку от 23.VI, которая дошла молниеносно быстро — 20 июля была уже в Магадане. Ужасно огорчила меня эта открыточка прежде всего своим настроением, потом потерей надежд на твои письма. Если ты с февраля по конец июня ничего не писала, значит, и мои ожидания были напрасны. Возможно, что писать такие письма, какие посылал я, это еще неприятнее, чем полное молчание, но мне было бы все-таки легче от самых плохих писем, чем от их отсутствия. Поэтому я и писал так много, может быть, слишком много, но не знаю, дошла ли хоть пятая часть посланного разными способами, в том числе и случайными самолетами и случайными знакомыми. А не телеграфировал тебе только потому, что рассчитывал на получение моих писем с первыми пароходами, нечего было к ним дополнять, осложняя и без того малодоступный телеграф. Тосенька, родная моя, ничем утешить тебя пока что не могу, все без перемен и даже без перспектив в ближайшие месяцы на лучшее. Но о здоровье можешь не тревожиться — я давно оправился и физически чувствую себя как в лучшие годы здесь. Только нервы напоминают о большом неблагополучии. На днях, например, бегал в город на американский фильм, который ты, вероятно, видала — «Ураган», и, несмотря на весь примитивизм этой вещи, ужасно расчувствовался, а затем еще целый день был затуманен. Мама и Тамара пишут мне очень часто, я бесконечно благодарен им за это. Ты, видимо, плохо представляешь себе, какое событие в нашей жизни здесь получение даже нескольких строк из другого мира, а тем более от родных и близких. Я писал тебе о получении книжки от Мордовченко и письма М[арка] Конст[антиновича Азадовского]. Рад, что Малюся возвратилась благополучно в Ленинград. Где она работает?

С В. И. Шухаевым я как-то разговорился о Лебедеве и его жене, с которой он был очень дружен со стародавних времен, — и лишний раз вспомнил Малюсины рассказы. Дела В. И., как я писал тебе, неожиданно оказались лучше моих. Он уже даже подумывает об отлете куда-нибудь под Москву, а пока работает главным декоратором Дома культуры. Я изредка бываю у него и его жены, которая тоже освобождена в апреле. Дорогая Тосенька, я просил тебя недавно расплатиться за меня с Ив[аном] Павл[овичем] Александровичем, моим

сослуживцем, надеюсь, тебе это будет не очень трудно, а мои финансы несколько подорваны из-за непредвиденных трат на туалеты.

Моя родная, я писал тебе, что очень хотел бы, чтобы ты жила с Нюсей, хотя бы к зиме этот вопрос разреши, а уж следующую зиму будем вместе, на худой конец даже здесь. Крепко, крепко тебя целую и обнимаю. Твой Юл.

9

12 сентября 1945 г.

12 сентября 1945

Дорогая Тосенька, на днях отправил тебе большое письмо через Ирочку, сейчас вкладываю этот листочек в конверт для мамы. Мне кажется, что по твоему адресу на ул. Даля почти ничего не доходит. От тебя я получил все твои открытки, последняя, от 28 июля, пришла через 3 недели. Так досадно, что в ней было только пять строк. Моя родная, я тебя не поздравил до сих пор с окончанием мировой войны. Для нас на Колыме это двойной праздник во всех отношениях — ведь Япония от нас очень близко, и это накладывало на весь стиль нашей жизни особый отпечаток, который вы не всегда учитывали да, вероятно, и сейчас еще не все учитываете. Так или иначе, моя родная, дата нашего свидания приблизилась, и эта зима, надеюсь, будет уже подлинно последней для меня на Дальстрое. Иногда у меня мелькает мысль о возможности провести 1946 год в Магадане нам с тобой вместе, но очень уж и дорога тяжела и хлопот много. Столько терпели, что, пожалуй, не стоит из-за нескольких месяцев выходить из колеи. Имею в виду, конечно, только твою «колею», о подробностях которой, впрочем, знаю очень мало. Ты так скупа в своих письмах, что просто уж не знаю, что и сказать тебе об этом. Во всяком случае мне очень, очень бывает и горько, и досадно из-за этого. Я писал тебе, что меня очень порадовало письмо от Ник[олая] Леон[идовича Степанова]. Он, кстати, и о тебе писал очень хорошо. Просил я тебя поблагодарить за присланную книгу и Н. И. Мордовченко. Послал тебе как-то письмо для Лид[ии] Ник[олаевны Кавериной]. Спрашивал тебя о муже (последнем, конечно, по счету) Люси. Ты все-таки напрасно так отбрасываешь от себя родных: какие бы они ни были, но все-таки они так уж вросли в нашу жизнь, что приходится принимать их без критики, как известную данность. Впрочем, тебе видней. Кстати, Александрович не получил того, о чем я просил. Я же не мог воспользоваться

твоей посылкой, которая или вернется обратно, или дойдет до меня через несколько месяцев. Очень получилось глупо и досадно, но тут уж ничем не поможешь. Крепко тебя целую. Твой Юл.

10

27—30 октября 1945 г.

27—30 октября 1945

Дорогая моя Тосенька, получил две твоих открыточки, последнюю от 30 августа. Только вчера отправил тебе заказное по новому адресу. Моя радость, мне ужасно неприятно за то, что мог еще совсем недавно огорчить тебя своим письмом. Так мне больно за тебя, что и сказать не могу. Об одном не стану просить: береги себя, не надрывайся на своих работах, помни, что никто тебе сейчас не поможет, если надорвешь себя всякими сверхурочными и огородными делами. Знаешь, Тосенька, как ни мало у меня сейчас надежд на ближайшее будущее — все-таки где-то теплится уверенность в том, что мы с тобой еще обязательно проживем вместе. Если бы не это, мне и вовсе не хотелось бы тянуть канитель, подменившую для нас с тобой даже видимость жизни. Вчера удалось мне почти целый день провести в библиотеке за просмотром газет и журналов этого года. С особым интересом прочел все 18 номеров «Войны и рабочего класса» и «Литература и искусство» за год. Узнал о книге Федина, которая меня очень заинтриговала, о неудачах Зощенко, посмотрел фотографии наших писателей на фронтах, подивился скудости информации о смерти Юр[ия] Ник[олаевича]. Сейчас как-то притупилась у меня острота этой потери, но просто оттого, что не могу об этом думать. А как вспомню — так страшно становится от безвоздушного пространства вокруг нас. Моя родная, я писал тебе, что не вижу никаких зацепок для тебя в Ленинграде, а потому был бы даже доволен, если бы ты переменила климат. Кстати, отчего ты все-таки ни слова не писала о том, что нашла на нашей бывшей квартире, что сохранилось из моих бумаг, что за человек Маруся? Не понял из открытки, что за муж у Люси и в каком смысле он «новый» и зачем они приезжали в Ленинград? Напиши при случае, т. е. в расчете на ледокол, так как навигация уже скоро прекратится. Третий день идет снег с дождем, отчаянная гололедица, но на душе у меня легче, чем летом, хотя и мне хочется тепла, и я радовался солнечным дням, бродя по воскресеньям за городом, собирая ягоды и валяясь в зелени. Таких дней было, впрочем, очень

мало (и в смысле погоды, и в отношении свободы) — лето промелькнуло, как сон, а осень еще быстрее... Что ты читаешь, моя родненькая? Старое или новое? Читала ли ты Федина «Горький среди нас»?

К счастью, и плохому наступает конец. 1946 год стал в жизни Юлиана Григорьевича последним годом, проведенным им в вынужденном творческом бездействии, затянувшемся на десять долгих мучительных лет. Многие передумано ученым в эти годы. Многие осмыслено заново. Подведены итоги, намечены планы на будущее. Неиссякаемая жизнедеятельность не пала под ударами трудностей и лишений. Впереди была надежда...

«Возвращение мое к научной работе обеспечено было Советом Министров СССР лишь в 1946 г., — писал Оксман, — в результате обращения членов Верховного Совета СССР академиков Б. Д. Грекова, С. И. Вавилова, И. И. Мещанинова, писателей Н. С. Тихонова и Л. М. Леонова в Совет Министров СССР» (там же, ед. хр. 1088, л. 2).

Возвращение Оксмана в стихию научной деятельности оказалось заметным явлением. Профессор Саратовского университета до 1957 года, а затем научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького — Юлиан Григорьевич сумел и в этот период своей жизни внести существенный вклад в развитие советской исторической и литературной науки. Видный историк Сигизмунд Натанович Валк писал 24 декабря 1962 года Оксману: «За Вашей неутомимой грандиозной работой я все время следил и очень огорчился, когда узнавал, что под некоторыми подписями скрываются Ваши собственные труды. По-видимому, теперь все же настало время, когда Вам удастся довершить задуманные Вами работы, которые явятся итогом Ваших многолетних разысканий. А потом, кроме Белинского и Рылеева, у Вас так много сделано и для Пушкина, и теперь для Герцена, что было бы грешно не сделать и эти имена предметом последующих Ваших работ. Если подумать, сколько лет Вам пришлось прожить в тяжелейших условиях, в полной оторванности от литературных работ, можно только удивляться Вашей теперешней энергии и той полноте сил, которую Вы сохранили» (там же, ед. хр. 371, л. 3).

«Полнота сил» и энергия, бесконечная преданность науке, увлеченность исследовательской работой — все это предопределило и обусловило плодотворность и размах научной деятельности Оксмана в последующие годы. Творческие усилия ученого были обращены к наиболее важным, актуальным,

сложным и неразработанным проблемам советской историко-литературной науки. В их числе особое место занимала (да и в наше время она остается важнейшей) — проблема исторических источников в работе исследователя. Изучение, «введение» источников — источниковедение. Источниковедение — это наука об исторических источниках, о системе их поиска, изучения, извлечения из них необходимых историческим сведениям. Можно сказать, что источниковедение представляет тот самый «нулевой цикл», документальный и фактический фундамент, без основательной прочности которого невозможно любое историческое построение, неизбежно обреченное на шаткость и рассыпающееся при первом серьезном порыве критического ветра. Как отмечал в 1952 году Оксман: «задача, стоящая перед Академией наук, — поднять источниковедение и текстологию до уровня точной науки» (там же, ед. хр. 220, л. 5). Пристальный интерес к источниковедческим аспектам — характерная черта творческой манеры Оксмана и, безусловно, одна из основных причин успеха его историко-литературных исследований.

К. И. Чуковский так характеризовал особенности исследовательской манеры Оксмана (письмо Юлиану Григорьевичу от 11 ноября 1952 года): «Умение освежить, обновить всякую застарелую тему, проникнуть в ее социальную суть, изящество в подаче материала, в композиции его отдельных частей — все это Оксман и его «саратовская школа» (там же, ед. хр. 997, л. 11).

Вернемся, однако, к Оксману-очевидцу и заинтересованному «протоколисту» событий его времени — пока сорокалетней и тридцатилетней давности.

27 марта 1947 года. Всего лишь несколько месяцев назад возвращенный из глуши колымских просторов в Москву, Оксман пишет жене: «25 марта я был на закрытом торжественном спектакле в честь конференции 4-х министров. Видел я всех — В. М. Молотова, Вышинского, Жемчужину, Бевина, Маршалла, Бидо с женою, всех военных экспертов, всех послов с их дамами и т. д. и т. п. Впечатление огромное, незабываемое. Рассмотрел всех за четыре часа, конечно, очень внимательно. Шел новый балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Плясала Уланова — это нечто до того восхитительное, что и представить трудно, не то что описать. Балет поставлен изумительно, что примиряет даже с музыкой — скучной и ученой» (там же, ед. хр. 218, л. 18). Поистине, Оксман попал «с корабля на бал».

Время надежд на перемены, наступившее после марта 1953 года, время возродившихся стремлений — стало долго-

жданым для многих. Юлиан Григорьевич с каким-то открытым упоением, восторгом, оптимизмом (во многом, как это понятно сейчас с исторической дистанции, преждевременным) принял первые признаки «оттепели» за реальные перемены, многое связывал с оживлением планов, надежд, устремлений. Это необходимо помнить для адекватного восприятия ряда его высказываний 1950-х — начала 1960-х годов.

29 апреля 1953 года он писал жене: «...дух в Москве такой весенний, радостно-возбужденный, настроение у всех подъемное, что стыдно думать о своих немощах. Ну их! [...] Никогда я не чувствовал так сильно морально-политического единства всего советского народа, как сейчас в Москве. Такую мощь никто не сможет поколебать, и это хорошо начинают понимать все враги нашего Союза. С каждым днем наша сила растет, мудрость коллективного руководства демонстрируется на каждом шагу. Знаешь ли, что к Ворошилову может попасть на прием каждый советский гражданин на 3 или 4-е сутки после записи у референта? Молотов ездит в открытой машине, встречаемый бурными приветствиями. Наш министр культуры — исключительно благожелательный и оперативный государственный деятель, который много сделает для подлинного расцвета нашей культуры. Говорят, что все лагеря передаются министерству юстиции, ждут семичасового рабочего дня, всюду искореняются бюрократизм и безответственность. Разумеется, все это дойдет и до Саратова» (там же, ед. хр. 220, л. 17).

Пожалуй, давно уже общим местом стало утверждение об особом значении литературы в жизни нашего Отечества. Вспомним точное — «поэт в России больше, чем поэт». События литературные никогда не воспринимались исключительно с точки зрения канонов и постулатов одной лишь «изящной словесности», а всегда стремительно вторгались в самую гущу «живой жизни», сознательно заостряя все наиболее животрепещущие проблемы государственного и общественного бытия страны. Не в этом ли разгадка мощи и глубины отечественной литературы в ее вершинных проявлениях? Во всяком случае, мыслящие современники в едином контексте стремились воспринимать явления литературы и явления общественной жизни; все же временами, по большей части из-за обстоятельств, навязанных извне, такое восприятие искажалось (достаточно вспомнить «всенародное осуждение» Ахматовой, Зощенко, Пастернака).

Оксман, историк литературы — профессионал, человек общественно активный — с особенной восприимчивостью и ост-

ротой принимал и расценивал происходившие в стране события. Так, 24 ноября 1956 года, рассказывая о развернувшейся полемике вокруг романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», Оксман писал жене: «В литературной области много тучек. Началась яростная кампания против романа Дудинцева. Говорят, что ее поддерживает Шолохов, подружившийся в Ростове с Юрием Ждановым, который выступил особенно резко против Дудинцева и его тенденций охаивать все, что было при Сталине. Дискуссии о Дудинцеве запрещены, они выливались в демонстрации против последствий культа. Поднимается везде негодование молодежи, всполыхнулась критика дурных людей на заводах [...]. Я считаю, что все будет введено в надлежащие рамки и что мудрость наших вождей справится со всеми неполадками. Идут дебаты о новых журналах. Оживление в театрах — билетов опять никуда не достать без блата» (там же, л. 20—21).

В оценке такого важного и взбудоражившего общественное мнение события, как заочное снятие с поста министра обороны и вывод из состава Президиума ЦК КПСС крупнейшего советского военачальника Г. К. Жукова, Оксман придерживался официальной точки зрения, у него, по-видимому, не оставалось сомнений в правильности действий руководства. Объяснить это можно тем огромным кредитом доверия к Н. С. Хрущеву, который был ему оказан народом и обществом после XX съезда партии, положившего начало крушению культа личности. Высказывания Оксмана характерны как отражение мнения определенной части передовой интеллигенции по поводу опалы знаменитого маршала; из тех же высказываний следует, что точки зрения на происшедшее у современников были подчас полярно противоположными. 29 октября 1957 года Оксман писал жене: «Ты не жалея своего любимого полководца, столь неожиданно разделившего участь тех, которых пришлось убрать раньше. Вся Москва негодует по поводу того, что он пытался оторвать свою часть от партии и народа. Получил по заслугам. Нас опять спас Никита Сергеевич, который все больше и больше вырастает в отцы Отечества» (там же, л. 32). И далее, через неделю: «Но любопытно, что Жуков оказался совсем не таким популярным человеком, как это думали некоторые интеллигенты. Судьба собачонки, отправившейся на втором спутнике в стратосферу, всех занимает гораздо больше, чем судьба бывшего национального героя. Москва готовится к празднику, амнистия всех порадовала своею широтою. Мы сильны, как никогда раньше, что бы ни хрюкали разные даллеса и черчилли» (там же, л. 35).

Жизнь Оксмана, богатая на события и знакомства, в своеобразной форме запечатлена в переписке ученого, сохранившейся в его архиве. Широкие творческие интересы, разнообразные научные планы, кипучая организационная деятельность — все это, так или иначе, связывало его в разные годы с огромным кругом представителей советской культуры и науки. Только в фонде Оксмана хранятся письма к нему почти от восьмисот корреспондентов. Это — письма замечательных советских ученых и общественных деятелей — Д. С. Лихачева и И. Л. Андроникова. Письма историков литературы, пушкинистов — С. М. Бонди и Н. К. Гудзия, В. М. Жирмунского и Б. П. Козьмина, Н. К. Пиксанова и Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского и Б. М. Эйхенбаума. Среди корреспондентов Оксмана — видные советские историки: В. П. Волгин, Н. М. Дружинин, Е. В. Тарле, М. В. Нечкина; деятели литературы и искусства: А. А. Ахматова и О. Ф. Берггольц, Ф. В. Гладков и В. А. Каверин, В. Г. Лидин и С. Я. Маршак, М. Ф. Рылский и А. М. Файко, К. А. Федин и К. И. Чуковский, И. Г. Эренбург и К. М. Козинцев и многие, многие другие.

Юлиан Григорьевич часто и охотно писал письма — быть может, занятия историей России XIX века, этого «эпистолярного» (впрочем, как и «мемуарного») столетия, способствовали формированию у него этой — прямо скажем, нечастой в наши дни — привычки.

Корней Иванович Чуковский, отмечая творческую насыщенность писем Оксмана, писал ему 13 июля 1962 года: «Вы, единственный из всех писателей, умудрились унаследовать от Белинского охоту (и способность) критиковать и рецензировать книги в *частной переписке*; а так как Вы один из самых даровитых читателей, каких я встречал, можете себе представить, как (помимо удовольствия) *выгодно* всякому из нас переписываться с Вами и дарить Вам свои книги» (там же, ед. хр. 998, л. 18).

Переписка Ю. Г. Оксмана, ждущая своего опубликования, без сомнения, явится одним из замечательнейших памятников духовной жизни советского общества в непростые и нелегкие десятилетия его истории.

Говоря о деятельности Ю. Г. Оксмана, невозможно оставить в стороне тему «Оксман-коллекционер». Знаток рукописей и архивов сам был страстным собирателем автографов и исторических документов.

В основном в 1920—1930-е годы Оксману удалось собрать богатейшую коллекцию документов XVIII—XX веков, по праву названную позднее одним из виднейших

советских коллекционеров, доктором искусствоведения И. С. Зильберштейном «коллекцией века». Знакомство с букинистами, антикварами, усердные посещения книжных развалов тех лет, розыски известных в прошлом частных собраний — все это позволило Оксману собрать свою коллекцию — драгоценные автографы выдающихся деятелей отечественной культуры. Для убедительности перечислим лишь некоторые из документов этого собрания. Стихотворения — А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонта, Е. А. Баратынского, Д. В. Веневитинова, М. А. Волошина, П. А. Вяземского, Н. С. Гумилева, А. А. Дельвига, В. В. Капниста, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова, Н. В. Кукольника, А. Н. Майкова, С. Я. Надсона, Ф. К. Сологуба, А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, И. Г. Эренбурга; рассказы, очерки и статьи — Л. Н. Андреева, В. М. Гаршина, А. И. Герцена, В. И. Даля, М. А. Кузмина, А. И. Куприна, Н. С. Лескова, А. М. Ремизова, А. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова; письма — И. С. Аксакова, Л. Н. Андреева, А. А. Ахматовой, Е. А. Баратынского, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, И. А. Бунина, В. В. Верещагина, А. К. Глазунова, Ф. Н. Глинки, Н. И. Гнедича, И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Ф. М. Достоевского, В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Игоря Северянина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, К. И. Чуковского и множество других материалов деятелей, вошедших в историю советской культуры.

Даже этот весьма неполный перечень говорит об истинной ценности коллекции Оксмана, переданной им вместе со своим архивом в ЦГАЛИ...

В коллекции кроме автографов находится большое количество вырезок из газет, журналов, брошюр, систематизированных по темам, которыми в разное время занимался ученый, — в первую очередь относящихся к творчеству А. С. Пушкина, а также В. Г. Белинского, А. С. Грибоедова, К. Ф. Рылева и др.

Коллекция Оксмана сохранилась не полностью: основные утраты были связаны с изъятием бумаг при обысках и арестах. Здесь мы подходим к событиям последнего десятилетия жизни ученого, когда судьба ниспослала ему новые испытания. Вот что пишут об этом М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес: «В 60-е годы это был [...] человек, хорошо известный знавшим его едва ли не более всего бескомпромиссностью суждений и действий. Эти действия «поверх барьеров», нарушавшие официальные стандарты общественного поведения, привели в августе 1963 г. к резкому конфликту с одним из государст-

венных ведомств, а затем, поскольку Оксман не поддавался давлению и не сделал шагов, которые от него требовали, — к постепенному отстранению его от активной деятельности, включая увольнение из ИМЛИ и исключение из Союза писателей (октябрь 1964 г.), а также к частичному запрету на упоминание его имени в печати (ряд статей был опубликован под псевдонимами). Этот запрет вплоть до середины 80-х гг. приходилось, и с большими трудностями, преодолевать всем, кто не желал забывать имя ученого» (Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 112). Как пишет Л. Флейшман, опубликовавший письма Оксмана к Г. П. Струве 1962—1964 годов, проливающие свет на конкретные обстоятельства конфликта Оксмана с официальными кругами этого времени, «...Оксмана можно считать одним из зачинателей того процесса преодоления барьеров между русской зарубежной и советской культурной жизнью, которое стало характерной чертой ситуации 60-х и 70-х годов» (Stanford Slavic Studies. Vol. 1. Stanford, 1987. С. 21). Именно в это время у Юлиана Григорьевича были отобраны некоторые рукописи А. А. Ахматовой, которые она подарила ему; есть надежда, что они уцелели и еще обнаружатся.

Как мы уже говорили, Ю. Г. Оксман не оставил завершенных мемуаров, хотя и неоднократно возвращался к этой мысли. Из набросков и заготовок наибольший, пожалуй, интерес представляют его записи о встречах и беседах с А. А. Ахматовой (почти полностью опубликованы В. А. Черных в сборнике «Ахматова в воспоминаниях современников»).

Познакомившись с Ахматовой еще в начале 1920-х годов, будучи глубоким ценителем ее творчества, Оксман с конца 1950-х стал записывать ее суждения, оценки, воспоминания, чередуя их с собственными размышлениями, оценками современных литературных и общественных событий. В его заметках появляется вариант заглавия, которое Оксман предполагал дать своим будущим воспоминаниям: «Из дневника, которого я не веду». Первая запись сделана 13 октября 1959 года, последняя — за полгода до смерти Анны Андреевны — 14 октября 1965 года. Помимо общекультурных источников, лежавших в основе дружеского общения Ахматовой и Оксмана, большую роль в их взаимном интересе сыграл Пушкин, профессиональному изучению творчества которого немало сил и лет отдал Юлиан Григорьевич и судьба и поэзия которого постоянно занимали Ахматову. Мнение специалиста, тем более такого знатока русской истории XIX столетия, о ее пуш-

киноведческих работах было очень важно для Ахматовой.

Мемуарные наброски Оксмана были, вероятно, сделаны как черновые заготовки для будущих мемуаров и записывались непосредственно вслед за той или иной встречей с Анной Андреевной. Вот несколько отрывочных записей Оксмана с его же подстрочными примечаниями:

«13 октября 1959 г., вторник. Сегодня у нас обедала А. А. Ахматова. Она, как говорят сейчас, в очень хорошей форме [...]. После своего 70-летия несколько «раздалась», потолстела и огрубела. Типаж русской бабы, много видевшей и испытавшей. Несколько больше, чем обычно, занята своей славой, успехами, теми спорами, какие идут о ней за рубежом, во Франции, в Англии, в САСШ. Обычно Анна Андр[еевна] очень осторожна в своих политических высказываниях, даже когда говорит о своей страшной судьбе, о пройденных годах нищеты, травли, тревог за Леву. Сегодня была смелее, откровеннее. Читала «Реквием», потом стихи, которые, по ее словам, она даже никогда не записывала. Сейчас ее со всех сторон тормозат просьбами о стихах. Летом даже «Правда» попросила что-нибудь. Она послала одно стихотворение, но они все же не напечатали его. Я спросил о состоянии ее архива. Она, оказывается, его уничтожила только в 1949 г., после вторичного ареста Левы. Какая страшная потеря для нашей культуры. Уцелели, по ее словам, только письма к ней В. К. Шилейко — случайно куда-то завалились.

Самое сильное ее впечатление за последние годы — чтение Кафки. Она его прочла по-английски — один томик. Пробовала по-немецки — трудно. (Я не предполагал, что А. А. все же знает и немецкий язык.)

Мне кажется, что сейчас она очень не любит Пастернака — видела его на 30-летию Комы Иванова. С нескрываемым раздражением упомянула о том, что Пастернак считает русскую поэзию своим личным делом, говоря о ее возможностях как хозяин и единственный авторитет. Анна Андр[еевна] «осадила» его очень резко.

Волнуется по поводу издания своего нового сборника (его редактирует В. Н. Орлов). А. А. не очень ему верит, хотя он клянется в своей преданности ей [...].

«14 января 1961 г. В субботу вечером был у А. А. Ахматовой, привозил ей справку о ней, сданную в «Краткую литературную энциклопедию». Сделала ряд существенных уточнений фактического порядка. Протестовала против утверждения, что М. Кузмин декларировал «прекрасную ясность» акмеизма в предисловии к ее первому сборнику. М. Кузмин

был врагом акмеизма, да и все акмеисты его не любили. Ошибка идет еще от статьи В. М. Жирмунского, где Кузмин объединен с акмеистами [Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм//Русская мысль. 1916. № 12]. А. А. с негодованием говорила о подлости Суркова, который в своем предисловии к гослитовскому одному томику ее избранных стихов, выходящему через месяц, оскорбительно третирует довоенное творчество А. А., сочувственно поминает мерзкое постановление о ней от 14 августа 1946 г.*, а сам в разговорах с ней негодует на ее травлю, выдает себя за ее смиренного почитателя**.

Упоминает о том, что статью о дуэли Пушкина не будет переиздавать — переписка молодых Карамзиных, только что изданная (в отмену «Тагильской находки» Андроникова), черным по белому пишет о том же, что доказывает в своей работе она, полемизируя и со Щеголевым, и с Казанским. Поэтому у нее пропал вкус к этой работе [...].

«24 ноября 1962 г. В девятом часу добрался до новой временной квартиры Анны Андреевны. Она живет сейчас у Ники Никол[аевны] Глен, переводчицы с болгарского, работающей в Гослите. Большая коммунальная квартира, очень захлавленная (Садово-Каретная, 8, кв. 13, восьмой этаж). Странно, что А. А. Ахматова, проводящая больше половины года в Москве, живет в таких трудных условиях — всегда «на краешке чужого гнезда», как бедная родственница, без настоящего ухода. Сперва она живет у Ардовых, затем переезжает к Марье Сергеевне Петровых, потом к Нике Глен, потом еще к кому-нибудь. Но Анна Андр[еевна] сейчас очень бодра, в явном подъеме. Вид у нее — «победный», блестят глаза, молодой голос, легкие и свободные движения. У нее сегодня были гости из Болгарии, заезжал А. А. Сурков, без конца звонят друзья, газеты и журналы просят стихов. Правда, Твардовский неожиданно отказался печатать куски из ее поэмы, несмотря даже на специально заказанное К. И. Чуковскому послесловие, но А. А. передает поэму в «Знамя». Журнал этот не очень ей нравится, она презирает и Кожевникова, и Сучкова, но большого значения месту публикации не придает. Лишь бы печатали полностью, без принудительных вариантов, да скорее. Существенной разницы ведь нет между нашими журналами и газетами. Но в «весну» А. А. верит.

* Над строкой вписано: «Суркова заставили спать все оскорбительные формулировки!»

** Другой ее почитатель (действительный) купил портрет А. А., писанный Тырсой, и подарил ей фотографию, очень хорошую. (Примеч. авт.)

Факт публикации «Один день заключенного» [Один день Ивана Денисовича//Новый мир. 1962. № 11] (она очень высоко ценит и эту повесть, и ее автора) — для нее показатель очень больших сдвигов если не в литературе, то в руководстве ею. Стихи Евтушенко и Слуцкого в «Правде» и в «Литературной газете» не могут не иметь продолжения, а то, что Ермиловы спешат «петушком, петушком» за Солженицыным, ее очень смешит. Я заметил, что духовные отцы В. В. Ермилова — Булгарин и Буренин были более «благородны» — они не печатали в «Сев[ерной] Пчеле» и «Новом времени» панегириков своим жертвам. Когда же я сказал, что Москва в последние дни похожа на Петербург весною 1821 г., когда все читали IX том «Истории» Карамзина (о зверствах Грозного), — А. А. со смехом заметила: «Я ведь подумала об этом же самом».

А. А. показала мне грудку фотографий 1909—1957 гг. Вспомнила, что мы познакомились в 1924 году у Щеголевых (она очень дружила с Валент[иной] Андреевной). Сказала, что счастлива, узнав, что я начал собирать материалы о Гумилеве, Мандельштаме («м. б., займетесь и мною»). Потом прочла все то, что написала о Мандельштаме. Разумеется, ничего более значительного о нем я не слышал. Каждая строка этих воспоминаний драгоценна в разных отношениях. Это и мемуары, и остов биографического исследования, и проникновеннейшая характеристика. И как все это «исторично», тонко, умно, конкретно. Много «интимно-бытового» (от перечня женщин, которых любил О. Э., до обстановки его московской комнаты, в которой шел обыск перед его первым арестом). О. Э. был одним из немногих, кто высоко чтит Гумилева не только при жизни, но и после его смерти. Оказывается, Пастернак не любил Гумилева, как и Мандельштама. Очень поздно прочел Пастернак и Хлебникова. А Михаил Кузмин поместил памфлетную статью о Гумилеве через несколько месяцев после его расстрела.

А. А. вдруг перешла к воспоминаниям о Гумилеве. Ей показали в 1930 году место, где были расстреляны все осужденные по Таганцевскому делу (недалеко от Сестрорецка, около ст. Бернгардовка, у артиллерийского полигона, на опушке сосновой рощи). Горький отказался принять делегацию писателей, хлопотавших за Гумилева. Он в эту пору готовился к отъезду за границу, нервничал, болел, всего боялся. Из тюрьмы Н. С. прислал три письма (с оказиями) — одно жене, другое в издательство «Мысль», третье в Союз писателей, с просьбой о продовольственной передаче. Кстати сказать, я видел на Колыме (шли в этапе) каких-то людей,

сидевших с Гумилевым на Гороховой. Он довольно долгое время был в общей камере, откуда его и водили на допросы. Он был очень бодр и не верил в серьезность предъявленных ему обвинений, не допускал возможности высшей меры. Через некоторое время после расстрела Гумилева его родными и друзьями была организована панихида по нем в Казанском соборе. Среди молящихся Анна Андреевна заметила мать и тетку Блока с Любовью Дмитриевной.

У Гумилева был сын от Ольги Ник[олаевны] Высоцкой, молодой актрисы. Он на год моложе Лёвы, с которым сейчас дружит (кажется, он работник торговой сети, завмаг). Дочь Гумилева погибла в пору блокады, вместе с матерью. Ей было 23 года.

9 декабря 1962 года вечером был у Анны Андреевны, где застал Л. К. Чуковскую. Перед моим уходом пришла Э. Г. Герштейн. Разговор начался с предложения Анны Андреевны посмотреть впервые объединенный в законченный цикл «Реквием». Он впервые только вчера и переписан на машинке, снабженный двумя предисловиями — прозаическим и стихотворным. Я очень удивился, прочитав в цикле политических стихов то, что считал прощанием с Н. Н. Пуниным — «И упало каменное слово на [мою] еще живую грудь». А. А. рассмеялась, сказав, что она обманула решительно всех своих друзей. Никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда. (Я все-таки не совсем уверен, что это так!) Но самое странное — это желание А. А. напечатать «Реквием» полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А. А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны, так как они заразительно не советские, где пафос проблематики борьбы с культом, протест, поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. Я убедил ее даже не показывать редакторам, которые могут погубить всю книгу, если представят рапорт о «Реквиеме» высшему начальству. Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем ее «Реквием». Кстати, она очень резко и презрительно сказала о стихах Слуцкого «Мой хозяин меня не любит» и «Мы все ходили под богом», что это, может быть, неплохо по замыслу, но все же *не похоже на стихи*.

Вспоминали Мандельштама. На днях был у А. А. переводчик Зенкевич, бывший акмеист, лично очень близкий Гумилеву. Зенкевич прочел ей какую-то коллективную сатирическую поэму десятых годов, указав несколько строк, принадлежащих в ней Осипу Эмильевичу (надо будет запи-

сать эти строки). Я рассказывал о своей последней встрече с Гумилевым в Доме литераторов на Басейной (в конце ноября 1920 г.). Внешний его вид той поры очень точно запечатлен в воспоминаниях Ирины Одоевцевой. Из Дома литераторов мы вышли вместе — я рассказывал ему о том, что видел в 1919—1920 гг. на территории, занятой Деникиным, и о том, что слышал от людей, бежавших из Крыма, о Врангеле. Он слушал очень внимательно, хотя, как мне показалось, знал обо всем этом не хуже меня. Он явно был на стороне белых и не придавал значения их преступлениям и ошибкам.

Анна Андреевна, как мне кажется, в последние месяцы чаще думает о Гумилеве, чем в прежние годы. Она ездила на место его расстрела и погребения — где-то под Сестрорецком, у станции Бернгардовка.

19 января 1963 г. Позавчера А. А. Ахматова позвонила мне, напомнив, что я давно обещал к ней приехать. В самом деле, я поздравил ее ночью 1 января с Новым годом (она встречала его у М. С. Петровых) и условился о встрече в ближайшие дни.

Застал ее в постели. Она слегка простужена (температура 37,2), но очень разговорчива и явно в большом подъеме. В «Новом мире» и в «Знамени» напечатали ее стихи, отклонив отрывки из поэмы; оба журнала напечатали очень [скоро?] ее трагические стихотворения последних лет. А. А. ждет ответа из «Москвы», где находится поэма. Судьбу ее решает Лев Никулин. Несмотря на все мои уговоры, А. А. послала в «Новый мир» весь «Requiem», хочет, чтобы посмотрел стихи не Твардовский, а Дементьев. Уверяет, что сделала это только потому, что «Реквием» пошел уже по рукам, может попасть за границу и т. п., а потому ей необходимо показать, что не считает этот цикл нелегальным. Свой подъем объясняет окончанием «Реквиема» и переделкой поэмы. Новая ее редакция закончена была еще в сентябре, но сейчас она ее доделала, уточнила ряд мест, которые в новом свете стали предельно ясными. Смеясь, сказала, что самый отрицательный отзыв о первой редакции был мой, что в свое время ее очень огорчило.

Прочла наброски статьи об «Уединенном домике на Васильевском острове». Написано это уже давно, но ее смущал отрицательный отзыв Б. В. Томашевского. Сейчас она вернулась к этой теме (может быть, под влиянием беседы с В. В. Виноградовым и рассказов о его докладе на эту тему в Пушкинском музее). Работа А. А. исключительно тонка по своим конкретным наблюдениям (особенно связь пейзажа «Уединенного домика» со стихами «Когда порой воспоминанье...»), очень наивно объясняемых Б. В. Томашевским; французское

письмо к Путяте и строки Жуковского, [его] записи). Меня очень удивляет, как А. А. всегда не уверена в ценности своих писаний о Пушкине. Точнее, она-то всегда уверена в главном, но очень опасается допущенных мелких промахов, могущих подорвать ценность ее основных догадок и розысков, [дающих] возможность неправильных толкований. Словом, она слишком дорожит своим именем великой поэтессы и боится подорвать свое положение ложным впечатлением читателей от ее [неизданной?] работы в области биографии Пушкина. А. А. делает вид, что ее больше не трогает возможность получения Нобелевской премии. Она без ужаса не может себе представить грозящих ей неприятностей (Поликарпова и Кочетова). Ее волнует самый факт получения премии, хотя она и не сомневается в том, что достойна этой премии. Не представляет себе и поездки в Стокгольм, которая ей уже якобы и не по силам. Вспомнила, не скрывая своего брезгливого отношения к этой истории, как вместо нее поехала в Италию Вера Инбер. Я заметил, что А. А. никак не ценит и Ольгу Берггольц. Заговорили о судьбе бумаг Мандельштама. А. А. хорошо знала Рудакова, который встречался с Осипом Эмильевичем в Воронеже. После гибели Рудакова его бумаги вместе с архивом самой Анны Андреевны и некоторыми рукописями Мандельштама остались у вдовы Рудакова, живущей в Ленинграде. Эта особа широко торговала и торгует этими материалами. А. А. недавно дописала и доделала свои воспоминания о Мандельштаме. Обещала дать мне их копию, а гока дала «Четвертую прозу». Много рассказывала о Надежде Яковлевне. Она, оказывается, художница, ученица Экстер, киевлянка. Ей было всего 20 лет, когда она стала женою Осипа Эмильевича.

3 февраля 1963 г. В 3 часа дня заехал к А. А. Ахматовой. Она сейчас живет у Маргариты Алигер, в ее «роскошной», как у практикующего врача, квартире в Лаврушинском переулке. Комнатка Анны Андреевны около санузла; походная кровать, маленький круглый столик, на котором книги, рукописи, остатки какой-то еды. Рукописи и на кровати. У Анны Андреевны — Л. Д. Стенич — принесла какую-то переписку от машинистки, м. б. — сама переписала. Какие-то молодые люди — юный педагог, какая-то девочка со стихами. Юные дарования вскоре уходят — нет лишнего стула.

Анна Андреевна мрачна. Недавно стихи возвращены из «Знамени», поэма из «Москвы», «Реквием» из «Нового мира». Она хочет забрать и сборник свой из «Советского писателя». Два месяца оттуда ни слова. Лесючевский явно не хочет печатать Ахматову, надо думать — большой трус. Идеологическая комиссия ЦК вмешивается во все — в работу из-

дательств, журналов, особенно — в кино. Отовсюду бегут к Ильичеву с «сигналами». Черная сотня наступает [...].

У А. А. был в гостях недавно Солженицын — приносил рукопись своей поэмы, написанной ямбами. Стихом он владеет плохо, материал для большой повести, мрачной, как все, что он пишет. А. А. сказала ему, что «бороться за эту поэму не стоит». Он понял — и больше ни о чем не спрашивал...

Хочет возвращаться в Ленинград на будущей неделе. Будет работать над статьями о Пушкине. Огорчена просьбой Виноградовых изъять страницы об «Уединенном домике на Васильевском острове». Я убеждал ее не соглашаться с В. В. Виноградовым, хотя Т. Г. Цявловская на этот раз согласна с Виноградовым. В свое время против гипотезы о Голодае резко высказался Б. В. Томашевский. Я напомнил Анне Андр[еевне], что Томашевский никогда не отказывался от *своих* толкований разных иных произведений, даже в тех случаях, когда приводились документальные основания нелепости его гипотез. Как же может он принять догадку А. А. Ахматовой! А. А. распорядилась о передаче мне копии нового варианта ее воспоминаний о Мандельштаме. Поговорили о Цветаевой. А. А. чувствует себя перед ней виноватой. Не думаю, чтобы она ее любила.

29 октября 1963 г. Вечером у А. А. Ахматовой. Она у Ардовых, в той самой каморке; такая же собранная и уверенная, не изменилась с весны. Привезла новые стихи, восстановленную пьесу в [лицах?], три статьи о Пушкине (новое — о Строгановых). В будущем году ей 75 лет, но юбилея не будет. А. Прокофьев лицемерно заметил, что наша общественность не хочет знать о юбилейных датах, кончающихся на пятерки. Но книжку обещают издать — в Ленинграде. Ей хотелось бы новую книгу, а не сборник. Большую книгу зарезала Книпович, осатаневшая не только от книг, но и от живой крови (наперсница Лесючевского). Показала итальянское издание своих стихов, слыхала, что вышло что-то в Мадриде. Она знает, что у меня отобрали ее «Поэму без героя» (обе редакции) и воспоминания о Мандельштаме, но не хватило духа сказать, что отобрали и некоторые мои дневниковые записи о ней — с 1957 года. Знает о Софийском конгрессе славистов и наших неудачах — из-за того, что русскую науку представляли благие и самарины. Два американских доклада о Мандельштаме — но комнату его вдове в Москве и сейчас не дали, хотя Сурков, а потом и Аджубей еще в прошлом году обещали это Анне Андреевне. Видимо, Поликарпов доложил стихи о Сталине, которые не понравились начальству, да оно

и естественно, речь идет не об одном Сталине. С деньгами, видимо, плохо. Придется взять заказ на переводы. Предлагают стихи Леопарди, которые ее не трогают*. Вспомнили Кафку, которого она прочла впервые в прошлом году. Его повести были самым сильным ее впечатлением от всего прочитанного за последние несколько лет...

«Пахнет гарью. Огни Св. Доминика опять опалили меня». Она считает это неожиданностью и не очень поверила, что я ждал именно этого.

Вот недавние ее стихи:

ОПЯТЬ РАЗЛУКА

Что нам разлука? Лихая забава!
Беды скучают без нас...
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час?

Или забыты, забыты, за... Кто там
Так [научился?] стучать?
Вот и иди мне обратно в ворота
Новое горе встречать.

А суетна А. А. по-прежнему. Больше всего занимает ее судьба ее стихов, завоевывающих мир медленнее, чем ей хотелось бы. Она считает себя более значительным поэтом, чем Пастернак и Цветаева. Ревнует к их славе и за гробом. Я уж не говорю о наших молодых поэтах.

30 мая 1965 г. Вечером был у Анны Андреевны. Опять, как при первых встречах с нею в Москве, она на Б. Ордынке, у Ардовых. В Лондон едет завтра, в 6 ч. вечера, через Остенде. Очень ясная, уверенная в себе, настоящая королева, даже в убогой столовой еврейской квартирнки. В Оксфорде у нее много друзей и почитателей, т. е. человек пять-шесть, но настоящих. С 1946 г. она знакома с Исайей Берлиным — он был у нее в Ленинграде чуть ли не до рассвета. Оказывается, Берлин — референт Черчилля в то время.

В Оксфорд берет только одну рукопись — «Пушкин в 1828 году». Стихи — не в счет. Есть и новые, которые прочла по бумажке (дата: 1958—1964). Говорили о переводах, появившихся сегодня в «Литературной газете». Оригинальных ее стихов барабанщики не печатают. Сергей Наровчатов — большой ее почитатель, но он не влиятелен. Многое может Сурков, но он трус и живет до сих пор в страхе, который нагнал на него Хрущев. Больших трудов стоило Анне Андреевне

* «Хотя он поэт интересный даже для переводчика наших дней», — добавила А. А. (Примеч. авт.)

уговорить его согласиться на включение в печатающийся сборник страницу «1915 год» из «Поэмы без героя». Боясь каждой строки, печатающейся у нас, ильичевцы и поликарповцы довольно спокойно реагируют на то, что за рубежом переведен на все языки «Реквием», что опубликованы воспоминания Анны Андреевны о Мандельштаме (в последней книжке «Воздушных путей»). За всю нашу историю еще не было таких невежественных и глупых цензоров и редакторов, как те, которые утвердились в Комитете по печати сейчас [...].

27/VI 65. В 12 ч. позвонила Анна Андреевна и просила приехать к ней в Сокольники. Она переехала от Ардовых к Л. Д. Стенич. В Комарово уезжает 30-го, дневным поездом. Она очень устала от Оксфорда, Лондона и Парижа, но победа отражается в каждом слове, в каждом жесте. На церемонию в Оксфорд приехали и некоторые русско-американские слависты во главе с Глебом Струве. Объяснение с ним по поводу того, что он пишет о ней, не привело к примирению. На ее возмущенные слова о том, что он говорит неправду, доказывая, что она «кончилась» в 1922 году, Струве заметил, что у него нет оснований менять свою общую концепцию. Поразному они смотрели и на ее роль в жизни Гумилева. Политика для Струве дороже истории. Все же я думаю, что разрыва не произошло. С отвращением А. А. говорит об издателе «Воздушных путей» Гринберге. Он бестактно напечатал черновой вариант ее воспоминаний о Мандельштаме, где раскрыты полностью некоторые фамилии — например, Маруся Петровых, где Эльза Триоле третируется как «Триолешка». Меня удивило, что по рукам ходили такие редакции воспоминаний (я об этом узнал сейчас впервые). Для Надежды Яковлевны она привезла новое издание стихов Мандельштама и «Воздушные пути»; для Левы ей вручил Струве второй том Гумилева.

В Оксфорд она хочет написать о молодежи, возглавляемой Натальей Николаевной (Валучевские, Карамзины) и более близкой Дантесу, чем Пушкину. Просила меня отредактировать будущую статью [...]. Она попросила меня дать ей выписку из статьи Ф. Степуна о «Докторе Живаго» (концовку). Оказывается, Ф. Степун недавно умер. Потом А. А. попросила меня сделать фото с моей рукописи «Русалки» Гумилева, где ясно обозначено, что эти стихи посвящены ей. В Оксфорде Анна Андреевна очень многое диктовала о себе и своей работе одной англичанке, которая пишет о ней книгу.

Разговор о книге Сечкарева об Иннокентии Анненском, которую А. А. прочла с исключительным вниманием.

В Париже виделась с Г. Адамовичем, который произвел

на нее очень хорошее впечатление. Умен, не озлоблен, все понимает. Жалкое впечатление произвел Юрий Анненков. По словам Г. Адамовича, Георгий Иванов сознательно фальсифицировал свои мемуары и даже не оспаривал этого в разговорах с друзьями.

А. А. с некоторым сокрушением заметила, что в Комарове ей придется еще выполнять свои обязательства по переводу некоторых произведений Леопарди [...]

Заканчивая свое выступление на научном совете ЦГАЛИ 25 апреля 1966 года, Юлиан Григорьевич, сам — неутомимый публикатор, обратился к архивистам со следующими, оказавшимися пророческими, словами: «Вы делаете ваше дело с такой любовью, сознанием такой ответственности за то, что вам поручено, что просто становится трогательно. Невольно вспоминаешь товарищей по работе 1916—1917 годов. Это были случайные люди, далеко стоявшие от дела, которому служили. Тем более приятно видеть здесь советских архивистов — воспитанников советской школы, с таким опытом и кругозором [...]. Когда А. В. Луначарский познакомился с архивными материалами, находящимися в подвале, он потребовал возможно скорее подготовить их к печати. И тогда было решено издать первый советский альманах «Литературный музей». Это название и тогда странно звучало. Сборник печатался два года: начал он печататься в 1918 году, закончил печататься в 1919 году, а поступил в продажу в 1921 году. Это первый сборник, в котором начиналась моя публикаторская работа. Тогда первый комиссар по делам печати Володарский, этот замечательный деятель Октябрьской революции, с большим сочувствием отнесся к этому делу. Мне бы хотелось, чтобы сборник такого типа был создан и в вашем коллективе. Я уверен, что вас поддержат и в литературных, и в государственных органах».

Завершая этот краткий очерк жизни и деятельности Юлиана Григорьевича Оксмана — замечательного советского ученого, человека яркого и цельного, принципиального и бескомпромиссного, «жизнерадостного и жизнедеятельного» и помещая этот очерк в сборнике «Встречи с прошлым», мы, хочется думать, тем самым продолжаем традицию того «Литературного музея», у истоков которого стоял Оксман, и уже седьмым выпуском сборника архивных материалов осуществляем пожелание, высказанное им архивистам ЦГАЛИ.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

(Из хроники ЦГАЛИ)

— Приглашение в ЦГАЛИ на встречи с сотрудниками архива ученых, писателей, артистов, режиссеров давно уже стало традицией. В 1988 году в архиве, например, выступали писатель Л. Э. Разгон с рассказами из цикла «Непридуманное», кинорежиссер Л. М. Рошаль, показавший свой фильм «Соло трубы». Но даже на фоне других интересных выступлений выделялись две встречи с Н. Б. Кузьминой. Она принесла магнитофонные записи устных рассказов своего отца М. И. Ромма. Из старенького переносного «Грюндига» (подарок Ромму от западногерманских коллег после всемирного успеха фильма «Обыкновенный фашизм») зазвучал голос Михаила Ильича, знакомый всем, кто видел фильмы «Обыкновенный фашизм», «И все-таки я верю...», мягко-проницательный, с очень подкупающей доверительной интонацией. Ромм оказался необыкновенным рассказчиком. Впечатление от устных воспоминаний, которые Ромм наговаривал на магнитофон в течение ряда лет (а устный рассказ — это особый жанр, промежуточный между литературой и актерским искусством), при прослушивании оказался неизмеримо сильнее, чем при знакомстве с небольшими фрагментами его воспоминаний, напечатанными в «Советском экране» и «Огоньке». Цгалийцы услышали о трагикомической истории демонстрации фильма «Ленин в Октябре» в годщину Великой Октябрьской революции в Большом театре руководителям партии и правительства во главе со Сталиным; о Сергее Михайловиче Эйзенштейне, его конфликте с председателем Комитета по кинематографии Б. З. Шумяцким и вообще об отношении к великому режиссеру кинематографического начальства; о сменившем Шумяцкого после ареста и казни последнего в 1938 году странном человеке С. С. Дукельском; о печально прославленных встречах Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией в начале 1960-х годов и о многих других не менее интересных вещах.

— Недавно поступившие в ЦГАЛИ архивные материалы Виктора Викторовича Конецкого довольно полно отражают как морскую, так и литературную стороны его биографии: записные книжки и дневники штурмана, побывавшего почти на всех континентах (кроме Австралии), органично дополняются обилием писем, радиограмм, фотографий — всем тем, из чего в промежутках между рейсами создается необычайно колоритная проза Виктора Конецкого. Пейзажи, натюрморты, акварели, которые, по признанию самого автора, всегда пишутся им с наслаждением не только под палящим солнцем на суше и на море, но и в арктических рейсах, также украшают образованный в ЦГАЛИ фонд писателя. Конецкий-моряк, Конецкий-писатель,

Конечский-художник постоянно пополняет собрание архива своими новыми материалами.

— Разными дорогами пришли в 1925 году в кино Иван Пырьев и Марк Донской, а на год раньше их Сергей Герасимов — режиссеры, ставшие корифеями советской кинематографии. Не одинаково складывался творческий путь создателей нашего киноискусства, проследить который можно по их архивам. 30 лет велась работа по комплектованию архива С. Герасимова, 20 лет — И. Пырьева, 5 лет — М. Донского. И вот их архивы почти одновременно поступили в ЦГАЛИ...

Свыше 6000 документов находится в фонде М. Донского. Тут сценарии, материалы фильмов ярко выраженной Донским горьковской темы и Ленинианы, а также фильмов «Радуга» и «Непокоренные», отмеченных международными премиями, и множества других. Сохранились материалы к неосуществленной кинодилогии о Ф. И. Шляпине, над сценарием которой Донской работал вместе с Александром Галичем. Треть архива составляют фотографии, на них — рабочие моменты съемок, серии фотоснимков по фильмам, снятым Донским. Список выдающихся в истории культуры лиц, с которыми запечатлен режиссер, может составить несколько страниц, как и список его корреспондентов.

Архив И. Пырьева, автора популярных довоенных и послевоенных фильмов «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» и множества других, хоть и уступает архиву М. Донского по количеству документов (их две с половиной тысячи), но вполне может сравниться с ним по насыщенности. Кроме творческих материалов к упомянутым фильмам, в фонде отложились и другие — сценарии Пырьева и фотографии, относящиеся к экранизации произведений Ф. М. Достоевского «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы», а также к неосуществленным постановкам «Мертвые души» (литературный сценарий по поэме Гоголя написан М. А. Булгаковым в 1934 г.), «Война и мир» и «Воскресение» по романам Л. Н. Толстого, «За великую Русь» («Иван Грозный»). Содержательны и интересны не только имеющиеся в архиве фотографии, но и письма деятелей культуры начиная с 1930-х годов.

История нашего кино немыслима без имени С. Герасимова, чей архив с 1977 года начала передавать в ЦГАЛИ Т. Ф. Макарова. Вся бурная и многогранная деятельность выдающегося сценариста и режиссера, талантливого воспитателя многих поколений актеров и режиссеров отражена в материалах его личного архива, комплектование которого продолжается.

И еще один архив, привезенный сравнительно недавно и по достоинству занявший свое место в стенах ЦГАЛИ, ожидает внимательного исследователя. Это архив нашего давнего и верного друга и союзника, замечательного представителя первого поколения советских кинорежиссеров, стоявших у истоков советского кино, Сергея Иосифовича Юткевича. Более 30 лет Сергей Юткевич поддерживал с нами самые добрые отношения, систематически оказывал архивистам действенную помощь, начиная с работы над архивом

С. М. Эйзенштейна. Свой вклад внес он и в наше издание, написав предисловие к 4-му выпуску «Встреч с прошлым».

— С 24 по 26 февраля 1988 года в переполненном конференц-зале ИМЛИ АН СССР им. А. М. Горького прошли первые в нашей стране Мандельштамовские чтения, организованные Комиссией по литературному наследию О. Э. Мандельштама при СП СССР, ИМЛИ, факультетом журналистики МГУ и Литературным институтом. За три дня было заслушано около 50 докладов и сообщений, представленных исследователями Москвы, Ленинграда, Риги, Тбилиси, Еревана, Воронежа, Новгорода, Пскова, Смоленска, Омска, Ижевска, Кемерово и Череповца. В первый день чтений было сообщено о состоявшейся 28 октября 1987 года реабилитации Мандельштама по «делу» 1934 года (в 1956 году он был реабилитирован лишь частично, по «делу» 1938 года).

Открыл Мандельштамовские чтения директор ИМЛИ Ф. Кузнецов; тепло были встречены выступления двоих из немногих оставшихся, кто знал поэта лично, — Л. Гинзбург и С. Липкина. Прозвучали доклады С. Аверинцева, В. Микушевича, А. Кушнера, Г. Померанца, М. Полякова, Е. Б. Пастернака, П. Нерлера, В. Сажина, М. Гаспарова, М. Чудаковой, А. Меца, Г. Левинтона, А. Морозова, Е. Тоддеса, М. Гуревича и др. Ценным дополнением к историко-филологической программе были доклады Ю. Молока о некоторых ранних портретах Мандельштама работы Бруни, Митурича и Зельмановой и Л. Шилова — о звуковой организации авторского чтения Мандельштама. Впервые публично была воспроизведена запись авторского чтения стихотворения «Я буду метаться по табору улицы темной...».

В чтениях принял участие сотрудник ЦГАЛИ С. Шумихин, доклад которого был посвящен истории не состоявшейся в марте 1934 года покупки Государственным Литературным музеем архива поэта. Доклад основывался на материалах Экспертно-закупочной комиссии Гослитмузея и переписке директора музея В. Д. Бонч-Бруевича и О. Э. Мандельштама, хранящейся в ЦГАЛИ и Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина.

— Третьи международные Булгаковские чтения состоялись по традиции в светлые майские дни 1988 года в Ленинграде. Они всегда бывают приурочены ко дню рождения писателя. Проводятся чтения по инициативе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии при участии Ленинградской писательской организации и Ленинградской организации Союза театральных деятелей РСФСР.

Тема их была сформулирована так: «Михаил Булгаков и его театр в современном мире». Программа была насыщенной, как никогда. Пришлось проводить секционные заседания. Конференция продолжалась с 11 по 14 мая.

Доказательством того, что имя Булгакова занимает сегодня в мировой театральной культуре видное место, служил состав зарубежных гостей. С докладами выступили ученые из Италии, Англии, Канады, Венгрии, Югославии, Индии.

Как и предыдущие чтения, конференцию открыл исследователь творчества Булгакова, ответственный редактор издания «Театральное наследие М. А. Булгакова», инициатор и неутомимый организатор Булгаковских

чений, доктор филологических наук Александр Алексеевич Нинов. Осветив тему научной конференции, он закончил доклад тем, что Булгаков близок современному миру светлыми замыслами, творческой волей, желанием писать, как дышать, — свободно.

Председатель комиссии Союза писателей по литературному наследию Булгакова А. В. Караганов, помимо своего сообщения «Об иронии и интеллектуализме Булгакова», познакомил участников конференции с состоянием изданий произведений Булгакова в СССР, особо подчеркнув главную цель комиссии — закончить к 100-летию юбилею писателя (1991 г.) издание пяти-томного собрания сочинений.

Директор Миланского института восточноевропейских литератур и языков Э. Баццарелли посвятил свой доклад «Дон Кихоту», инсценированному Булгаковым. Баццарелли чрезвычайно высоко оценил эту работу Булгакова, ставшую новым, самостоятельным произведением, отдельными сценами не уступающим гению самого Сервантеса.

Лирическую ноту внесла своим выступлением Е. А. Земская — племянница Булгакова, рассказавшая о его детстве и юности, об увлечении театром, о любительских спектаклях, которые ставились в семье Булгаковых.

Друг Булгакова В. Я. Виленкин остановился на драматической истории создания пьесы «Батум» (о молодости И. В. Сталина). Он категорически выступил против имеющей хождение версии, согласно которой этот шаг Булгакова был компромиссом.

С. В. Житомирская с большим юмором живописала эпопею комплектования Отделом рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина архива писателя.

В различных аспектах развивалась основная тема чтений в докладах крупных ученых — филологов и театроведов А. А. Гозенпуда, Д. И. Золотницкого, Н. М. Зоркой, Я. С. Лурье, А. М. Смелянского, М. О. Чудаковой. Прозвучали и голоса молодых булгаковедов В. В. Гудковой, О. Д. Есиповой, Т. Д. Исмагуловой.

Блеском, благородством, юмором светились выступления зарубежных исследователей: Л. Милн (Англия), К. Райта (Канада), К. Сахпи (Индия), Д. Спендель де Варда (Италия), Л. Халлер (Венгрия). Моменты интересной полемики наметились в выступлениях М. А. Петровского (Киев) и Р. Джулиани (Италия).

Две основные темы прошли в Третьих Булгаковских чтениях — масштаб влияния Булгакова на современный мировой театр и интерпретация пьес Булгакова отечественными театрами.

От ЦГАЛИ в работе конференции приняла участие К. Н. Кириленко, активная участница двух предыдущих чтений. Она прочла доклад «Проблемы литературного наследия Булгакова (по письмам Е. С. Булгаковой)».

На заключительном заседании широко обсуждался вопрос о праздновании столетнего юбилея Булгакова. Было решено обратиться в ЮНЕСКО с просьбой объявить 1991 год годом Булгакова, целиком посвятить его творчеству один из номеров журнала «Курьер ЮНЕСКО». Поставлена задача —

закончить к 1991 году издание 5-томного собрания сочинений, создать музей писателя в Москве и Киеве, назвать его именем одну из улиц Москвы, новый теплоход, обратиться в Советский Фонд культуры с предложением открыть счет памяти Булгакова и собранные средства вложить в организацию музеев, открытие мемориальных досок и пр. Необходимо сделать доступными для исследователей все архивные фонды Булгакова, издать международную библиографию писателя. В дни празднования юбилея предполагается провести кинофестиваль и фестиваль спектаклей по булгаковским пьесам. В 1990 году провести чтения в Ленинграде, а в год юбилея поочередно — в Москве, Ленинграде, Киеве.

— 1 июня 1988 года исполнилось 70 лет со дня подписания В. И. Ленинским декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Эти юбилейные дни архивисты подводили итоги пройденного пути, обдумывали перспективы развития архивов, искали решения острых вопросов, как научных, так и практических. 1—3 июня 1988 года в московском Дворце молодежи работала Всесоюзная научно-практическая конференция «Ленинские принципы социалистического архивного строительства — основа перестройки и совершенствования архивного дела», а вечером 3 июня состоялось торжественное юбилейное собрание архивистов в актовом зале МГУ на Ленинских горах.

С докладом «Жизненность ленинских принципов организации социалистического архивного дела» на конференции выступил начальник Главного архивного управления Ф. М. Ваганов. «Ленинские декреты, — говорил он, — заложили основы организации архивного дела в Советской стране, определили общественно-политические функции государственных архивов. Все архивные документы этим декретом объявлялись собственностью государства, и весь их комплекс образовывал единый Государственный архивный фонд».

С докладами и сообщениями выступили представители центральных государственных архивов СССР, архивных учреждений союзных республик, Болгарии, Вьетнама, Лаоса, Чехословакии и других стран. Архивисты подчеркивали необходимость развития ленинских принципов организации архивного дела в современных условиях, обеспечения материально-технической базы для их реализации, расширения документальной основы исторических исследований. Директор ЦГАНХ СССР В. В. Цаплин в своем докладе напомнил о долге современных архивистов и историков перед памятью тех, кто стоял у истоков советского архивного дела и был уничтожен в 1930—1940-е годы.

С сообщением «Проблемы поиска и развития форм публикаторской деятельности архива» выступила директор ЦГАЛИ Н. Б. Волкова. Она особо остановилась на роли государственных архивов в сохранении и публикации наследия деятелей литературы и искусства, как тех, кто подвергся репрессиям, так и тех, чье творчество замалчивалось во времена культа личности и в «застойный период», — В. Мейерхольда, В. Гроссмана, А. Ахматовой и др. ЦГАЛИ внес существенный вклад в собирание архивов этих лиц, изучение и публикацию их документов.

Участники конференции детально обсудили вопросы перестройки и совершенствования архивного дела. Было принято обращение к Совету Министров СССР с предложениями по перестройке архивной отрасли на основе сохранения и развития заложенного ленинскими декретами принципа ее самостоятельного межведомственного статуса.

На торжественном собрании было зачитано приветствие Председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова советским архивистам — хранителям документальной памяти народов нашего отечества, где говорилось: «XXVII съезд КПСС поставил перед нами ответственную задачу — улучшить архивное дело в стране. Советские архивисты должны обеспечивать все условия для того, чтобы историческая память, опыт поколений широко изучались, творчески оценивались с позиций современности, служения делу перестройки».

— В архиве поэта Бориса Слуцкого (1919—1986), сохранившемся достаточно полно, лучше всего представлено рукописное наследие — свыше сорока объемистых тетрадей и папок, заполненных стихами и прекрасной прозой. Это дневниковые записи и отзывы, наброски воспоминаний и сегодняшние впечатления, переводы и — опять стихи, стихи, варианты и наброски. Бесценный материал, подлинная лаборатория творчества, труд постоянный и упорный. Многие из стихов были при жизни поэта не опубликованы и только сейчас появляются в печати. В разделе переписки, составляющем несколько сот писем, помимо 30 писем самого поэта (в копиях и черновиках), есть письма М. Алигер, О. Берггольц, В. Бокова, А. Гладкова, Л. Зорина, В. Каверина, Г. Козинцева, А. Кушнера, А. Межирова, М. Петровых, Д. Самойлова, Ю. Трифонова, В. Шаламова, Б. Эйхенбаума и др.

Дополняют архив фотографии поэта, газетные и журнальные вырезки и собранные Б. Слуцким материалы, среди которых особую ценность представляет дневник Б. Лазаревского за 1925 год с вклеенными письмами И. Бунина, А. Куприна, М. Арцыбашева.

— Существенно пополнился архив одного из старейших наших поэтов, переводчиков, драматургов — Сергея Васильевича Шервинского: получен большой массив рукописей начиная с 1920-х годов. Здесь пьесы, инсценировки, сценарии «Свинопас», «День рождения инфанты», «Наследники Рабурдена», «Пиноккио», «Катюша Маслова» и др.; статьи и очерки о Пушкине, Брюсове, Уайльде, о проблемах перевода и мн. др. Широко представлены работы Шервинского-переводчика, одного из основателей советской школы перевода. В архиве хранятся его переводы античной и западноевропейской поэзии (например, «Фауст» Гете), многочисленные переводы с армянского и других языков народов СССР. Эпистолярный раздел включает переписку с А. Ахматовой, Н. Альтманом, Л. Гроссманом, М. Кнебель, И. Розановым, А. Остроумовой-Лебедевой, С. Чиковани, К. Чуковским, М. Лозинским, Р. Симоновым, М. Штраухом, А. Штернбергом и др. Среди собранных С. Шервинским материалов следует отметить автографы М. Волошина, К. Липсера. Всего в архиве более 2000 документов.

— Архив известного писателя В. Г. Лидина передается в ЦГАЛИ его

дочерью, Е. В. Лидиной. В нем — произведения писателя разных лет, собранные в альбомы (в виде вырезок из газет и журналов), эссе, повести, рассказы, очерки, рецензии за период с 1909 по 1970-е годы, изданные в СССР и за рубежом. Раздел переписки включает множество писем; за годы долголетней литературной и общественной деятельности В. Лидин переписывался со многими литераторами: И. Андрониковым, В. Ардовым, И. Балзой, П. Берковым, Н. Бромлей, А. Белым, Д. Булюком, М. Волошиным, В. Гроссманом, С. Дурлылиным, М. Зоценко, В. Ивановым, В. Кавериним, В. Катаевым, Л. Леоновым, А. Луначарским, Ю. Оксманом, Б. Пастернаком, М. Пришвиным, А. Фадеевым и др., с музеями, творческими союзами и обществами, редакциями и издательствами. Всего в архиве писателя более 8000 документов.

— Свой архив критик и литературовед Д. Молдавский (1921—1987) начал передавать в ЦГАЛИ с 1982 года. Сейчас весь он целиком сосредоточен в стенах нашего архива; его хронологические рамки — с 1940 по 1987 год. В архиве Молдавского рукописи многих статей, воспоминаний, очерков, рецензий — о творчестве Н. Асеева, М. Зоценко, В. Маяковского, А. Прокофьева, М. Сарьяна и мн. др. В многочисленных тетрадях — дневниковые записи Молдавского разных лет, путевые записки, часто проиллюстрированные веселыми рисунками и фотографиями. Живой и общительный по характеру, Молдавский состоял в многолетней переписке со многими поэтами, писателями, художниками. Среди его корреспондентов — А. Гладков, В. Катаев, Д. Самойлов, Л. Славин, С. Городецкий, С. Юткевич. В альбомах литературовед собрал автографы, письма, фотографии М. Волошина, В. Гроссмана, И. Сельвинского, О. Берггольц, В. Пановой, М. Алпатова, В. Астафьева, А. Володина, В. Быкова, С. Залыгина, В. Тендрякова и многих других.

— Архив литературоведа Г. В. Бебутова (1904—1987) состоит из 2-х разделов: собственных рукописей и собранной Бебутовым коллекции. В первом разделе — воспоминания и статьи о В. Маяковском, Б. Пастернаке, С. Есенине, В. Шкловском, Е. Евтушенко, М. Шагинян и др. Второй раздел включает десятки рукописей, автографов, писем, фотографий, книг с дарственными надписями Н. Асеева, К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока, С. Есенина, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, Д. Шостаковича и др.; рисунки А. Гончарова, Л. Гудиашвили, К. Зданевича. Многочисленные документы известных деятелей грузинской культуры из архива Г. Бебутова — В. Гаприндашвили, К. Коладзе, С. Чиковани, А. Хоравы и многих других — свидетельство исторически сложившихся дружественных связей русской и грузинской культур.

— 4—6 июня 1988 года в городах Резекне и Даугавпилсе (Латвия) проходили Четвертые Тыняновские чтения. Традиционно они открылись в Резекне (быв. Ружице), городе, где родился Ю. Н. Тынянов. Жители Резекне сохраняют память о писателе и ученом: в городе в помещении средней школы № 6 открыт небольшой, единственный в стране музей Тынянова.

Тыняновские чтения, возникнув, по словам одного из их организаторов М. О. Чудаковой, в виде тех «нечастых и с трудом достигаемых ситуаций, когда по культурно-общественной инициативе происходит регулярный публичный обмен мнениями и идеями», превратились в авторитетные, серьезные

научные конференции как по проблемам литературоведения (преимущественно лежащим в русле развития теоретических принципов и научного наследия ОПОЯЗа), так и по изучению источниковой базы общественных наук и вообще по широкому кругу вопросов истории отечественной культуры. С выходом в свет «Тыняновских сборников» чтения завоевали прочный авторитет и в мировой науке, в первую очередь, конечно, в семиотике.

Четвертые чтения открылись выступлением старейшего советского писателя В. А. Каверина. Несмотря на то что на сей раз среди участников отсутствовали двое ученых, доклады которых на предыдущих чтениях всегда вызывали живейший интерес, — Вяч. В. Иванов и Ю. М. Лотман, научный потенциал Четвертых чтений, как отметил в последний день их работы М. Л. Гаспаров, оказался не ниже предшествовавших. Из прозвучавших в течение трех дней выступлений хочется отметить доклады М. Л. Гаспарова «Научность и художественность в творчестве Тынянова», Н. А. Богомолова «Дневники и эпистолярная в русской культуре начала XX в.», М. О. Чудаковой «О некоторых чертах литературного процесса 1920-х гг.», Артура Приедитиса «Жанр пародии в творчестве Райниса», М. Б. Мейлаха «Наследие формализма и поэта обэриутов», Б. В. Дубина «Быт, фантастика и «литература» в прозе 1920-х гг.», киноведа М. Б. Ямпольского «Вытеснение источника как эволюционный механизм» и Ю. Г. Цивьяна «Цензура и язык русского кино». Впервые в Тыняновских чтениях приняла участие и сотрудники ЦГАЛИ. Так, А. Д. Зайцев (к сожалению, сам не сумевший приехать) стал соавтором Е. А. Тоддеса, сделавшего доклад «К истории архива Кюхельбекера», где были привлечены материалы, легшие в основу публикации Зайцева об архиве Тынянова в 6-м выпуске «Встреч с прошлым». Старший научный сотрудник ЦГАЛИ С. В. Шумихин выступил с докладом «Судьба архива Ф. Ф. Раскольниковца, или несколько размышлений об архивной истории», вызвавшим большой интерес присутствовавших. На основе доклада в № 4 (1988 г.) журнала «Наше наследие» появилась одноименная статья.

Нельзя не отметить прекрасную организацию, четкость в обеспечении жизни и быта участников чтений, предоставление им для заседаний лучших аудиторий Резекне и Даугавпилса, посещение музея Тынянова и книжного магазина «Лиезма», автобусную экскурсию по Латгалии. За это следует поблагодарить латвийских товарищей, в том числе и работников ЦК Компартии Латвии, без помощи и заинтересованности которых столь успешно провести чтения и выпустить к их началу тиражом в 500 экз. сборник материалов для обсуждения было бы невозможно.

— С 5 августа по 13 ноября 1988 года на ВДНХ СССР в павильоне «Советская культура» работала межотраслевая тематическая выставка «Государственный архивный фонд СССР и его роль в перестройке». Выставка была организована Главархивом СССР, Министерством культуры и ВДНХ. Она пользовалась большим успехом; многие газеты, радио, телевидение дали информацию о ней. Среди демонстрировавшихся документов многие впервые были извлечены из недр архивных «спецхранов» и помогали в освещении «белых пятен» нашей истории. Раздел ЦГАЛИ на выставке был представлен

документами А. Платонова, В. Мейерхольда, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Ф. Раскольникова и мн. др. Многие посетители оставили в книге отзывы и пожелания о том, чтобы сделать подобную выставку постоянной и показывать ее в других городах страны.

— Архив русского философа, публициста и общественного деятеля Николая Александровича Бердяева (1874—1948) поступил в ЦГАЛИ в 1960 году из советского посольства в Париже, куда он был передан свояченицей Бердяева Евгенией Юдифовной Рапп. Заботливо сохранив архив, разобрав его (все рукописи были систематизированы, письма разобраны по адресатам, трудночитаемые автографы снабжены копиями), Е. Ю. Рапп вернула его на Родину, но в то время архив Бердяева поступил в отдел секретных фондов ЦГАЛИ и достоянием исследователей не стал. И вот, спустя 26 лет, в сентябре 1988 года фонд Н. А. Бердяева (ф. 1496), насчитывающий 1007 ед. хр. за 1870—1954 годы, переведен на общее хранение. Думается, что творческое наследие профессора Бердяева, высланного из пределов Советской России в 1922 году, на этот раз возвращается на Родину окончательно.

Материалы фонда отражают как дореволюционную научную и литературную деятельность Бердяева (в основном, это гранки, верстки, вырезки, машинописные копии), так и философские работы времен эмиграции (это, в основном, автографы). Отметим, что последний, наиболее плодотворный период научной и творческой деятельности Бердяева (1922 — 1949 г.) советскому читателю практически неизвестен.

Ядро фонда образуют рукописи — на их долю приходится 267 ед. хр. Среди них 37 неопубликованных и 15 не публиковавшихся на русском языке (в их числе книга «Истина и откровение»).

Эпистолярное наследие представлено не в полном объеме (часть писем была передана в свое время в США). Однако и количество имеющихся в ЦГАЛИ писем впечатляет — их 594. Среди адресатов и корреспондентов: С. Н. Булгаков, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Г. П. Федотов, Д. В. Философов, Л. И. Шестов, А. Бергсон, Р. Мартен дю Гар, Ж. Маритен.

В целом материалы фонда Бердяева представляют исключительную ценность для отечественной культуры; скорейшее введение их в историко-культурный и читательский оборот насущно и необходимо. Работа уже начата: ЦГАЛИ совместно с ИМЛИ АН СССР им. А. М. Горького приступил к подготовке к изданию избранных сочинений Николая Александровича Бердяева.

— В 1988 году вышел в свет 6-й выпуск «Путеводителя» по фондам ЦГАЛИ, в котором дано краткое описание документов и фондов, поступивших в архив в 1978—1983 годах.

Главная задача этого, продолжающегося уже четверть века издания — информировать исследователей о хранящихся в ЦГАЛИ материалах с целью облегчить их широкое использование. 6-й выпуск «Путеводителя», как и все предыдущие, имеет три раздела, в которых аннотированы личные фонды, коллекции и собрания, фонды госучреждений и творческих организаций.

В составе первого раздела следует отметить фонды писателей и поэтов К. Г. Паустовского, И. Г. Эренбурга, А. Т. Твардовского, М. И. Цветаевой, В. С. Гроссмана, Ю. К. Олеси, В. Т. Шаламова; театральных деятелей М. М. Штрауха, Ю. С. Глизер, Э. П. Гарина, Х. А. Локшиной, Ф. Г. Раневской; кинорежиссеров М. И. Ромма, А. Е. Разумного, Н. В. Экка, Л. Л. Морского; художников А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкина, М. В. Добужинского, Н. Э. Радлова.

Во втором разделе аннотируются коллекции: В. Д. Авдеева, П. А. Попова, Л. И. Рабиновича, А. Г. Савченко, Ф. С. Седых; собрание рисунков, литографий, гравюр русских и советских художников, собрание фотографий деятелей литературы и искусства.

В третьем разделе представлены фонды Министерства культуры СССР, Ассоциации художников революции (АХР), Союза художников РСФСР, Союза писателей РСФСР, а также фонды театров, высших учебных заведений, относящихся к литературе и искусству, издательств.

Над 6-м выпуском «Путеводителя» работал весь коллектив ЦГАЛИ. Справочный аппарат тома подготовлен С. Г. Блиновым, общая редакция была осуществлена А. Д. Зайцевым и Ю. А. Красовским.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аброскина И. И. 323
 Авдеев В. Д. 576
 Авенариус Р. 70
 Аверинцев С. С. 569
 Аверченко А. Т. 160, 161, 170, 310
 Агапов Б. Н. 436
 Агранов Я. С. 339, 356, 358
 Агранова В. 339
 Адамович Г. В. 99, 100, 312, 565, 566
 Аджубей А. Н. 563
 Адикаевский В. С. 44
 Адлер Б. 93
 Азадовский М. К. 542, 547
 Азеф Е. Ф. 272
 Айвазовский И. К. 49, 53, 54
 Айхенвальд Ю. И. 9, 89—102
 Акимов Н. П. 74
 Аксаков И. С. 555
 Аксаковы 169
 Аксенов В. Н. 295
 Александров Г. В. 484
 Александрович И. П. 547, 548
 Александровский, заключенный 470
 Алексеев, заключенный 216
 Алексеев В. Д. 158
 Алексеев В. М. 93
 Алексеев Г. В. 10, 13, 157—187
 Алексеевы 542
 Алехнович Г. В. 174, 175
 Алигер М. И. 562, 572
 Алмазов Б. Б. 20
 Алпатов М. В. 573
 Альтер И. М. 538, 546, 548
 Альтман Н. И. 572
 Амброзевич В. К. 236
 Амфитеатров А. В. 272
 Андреев Л. Н. 165, 167, 231, 299, 300—305, 555
 Андреев Т. Д. 299
 Андреев Ю. А. 179
 Андроников И. Л. 554, 558, 573
 Анкст А. А. 75
 Анисимов Ю. П. 369, 381, 407
 Анненков Ю. П. 566
 Анненский И. Ф. 247, 565
 Антокольский П. Г. 71
 Антония, монахиня 205, 207
 Арбенина О. Н. см. Гильдебрандт О. Н.
 Арватов Б. И. 365
 Ардов В. Е. 9, 475—494, 573
 Ардовы 558, 563—565
 Ариштам А. М. 188, 194
 Архангельская А. Г. 198, 199
 Архиппов Е. Я. 246
 Арцыбашев М. П. 302, 305, 572
 Асеев Н. Н. 323, 333, 337, 339, 340, 346, 347, 354, 370, 371, 410, 428, 513, 519, 521, 523, 573
 Асеева К. М. 337, 339
 Асеевы 336
 Асмус В. Ф. 67, 75, 519
 Асмусы 520
 Астафьев В. П. 573
 Атаюрк М.-К. (Кемаль-Паша) 174, 176, 178
 Ауслендер А. Я. 247
 Ауслендер С. А. 241, 247
 Афанасия, игуменья 204—208
 Афанасьев А. Н. 160
 Ахматова А. А. 60, 93, 134, 164, 232, 388, 407, 445, 518, 523, 552, 554—566, 571, 572, 575
 Ашукин Н. С. 103—109
 Бабель И. Э. 157, 537, 540
 Багалей Д. И. 531
 Бажан Н. П. 250
 Базилио (Василий), слуга 269, 271
 Байрон Дж. 196, 389, 396
 Бакшеев П. А. 255
 Балиев Н. Ф. 317
 Балтрушайтис Ю. К. 91
 Бальзак О., де 158, 223, 396, 507
 Бальмонт К. Д. 94, 95, 97, 510, 555, 573
 Баранова А. П. 200, 201, 203, 231
 Баратынский (Боратынский) Е. А. 37, 92, 93, 555
 Баргенов П. И. 35
 Бархатова М. 541, 542, 549
 Баталов Н. П. 255
 Батый, хан 414
 Баццарелли Э. 570
 Баян Вадим (Сидоров В. И.) 122
 Бебутов Г. В. 364, 514, 573
 Бевин Э. 551
 Бедняков А. М. 217, 218
 Белинский В. Г. 94, 530, 550, 554, 555
 Белов, заключенный 470
 Белоусов Е. И. 103, 109
 Белоусов И. А. 103, 104, 109
 Белоусов И. И. 103, 105—109
 Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 70,
 Бельчиков Н. Ф. 542

- 92—94, 98, 103, 160, 164, 173,
180, 184, 192, 194, 366, 529, 539,
573
- Беляев М. П. 247
Беляева Р. 518
Беннетт А. 108
Бенуа А. Н. 576
Бень Е. М. 89
Берберова Н. Н. 90, 92
Берггольц О. Ф. 9, 15, 408—440,
554, 562, 572, 573
Бергсон А. 575
Бердан И. Э. 249
Бердяев Н. А. 94, 575
Верия Л. П. 444
Берков П. Н. 573
Беркович К. 223
Берлин И. 564
Берлиоз (Berlioz) Г.-Л. 26, 242
Берлиц 317
Бернардаки 43
Берне Л. 494
Бестужевы 37
Бетховен Л., ван 22, 185, 396
Бидо Ж. 554
Бизе (Bizet) Ж. 243
Блантер М. И. 482
Блинов С. Г. 103, 576
Блок А. А. 92, 93, 97, 98, 183, 187,
232, 233, 246, 307, 394, 400, 405,
411, 422, 427, 428, 487, 528, 555,
573
Блок Л. Д. 560
Блюхер В. К. 459
Блюхер Р. 459
Бобров С. П. 15, 369, 370
Бовшек А. Г. 68—70, 73, 75
Богданов А. А. 309
Боголюбов С. П. 307
Богомолов Н. А. 239, 248, 574
Богуславская (Пуни) К. Л. 188,
194
Бодлер Ш. 143, 247
Бойто А. 283
Боков В. Ф. 572
Большаков К. А. 35
Бондарчук С. Ф. 480
Бонди С. М. 542, 554
Бонч-Бруевич В. Д. 33, 233, 236,
237, 297—299, 306, 308, 569
Боянус С. К. 521, 522
Брайнина Б. Я. 519, 521, 522
Браун Ф. А. 93
Бредов, генерал 176
Брехт Б. 492
Бржеская А. Л. 407
- Брик Л. Ю. 323, 324, 335, 337—
340, 342, 348—353, 355, 356—358,
360—363, 365, 410
Брик О. М. 335, 337—339, 342, 343,
352, 353, 357, 358, 362, 364, 365,
410, 476, 514
Брики 365, 428, 482, 513
Бродский И. И. 327
Бродский П. Л. 70
Брокгауз Ф. А. 209
Бромлей Н. Н. 573
Бронников Ф. А. 210
Бронникова Е. В. 32
Брук П. 69
Бруни Ф. А. 569
Брюсов В. Я. 92, 93, 96—98, 101,
106, 107, 164, 192, 234, 378, 506,
509, 514, 555, 572
Брюханенко Н. А. 336—339, 350,
351, 358, 362, 364
Булгаков М. А. 485, 568—571
Булгаков С. Н. 575
Булгаков Ф. И. 49, 53
Булгакова Е. С. 570
Булгарин Ф. В. 559
Бунин И. А. 95, 124, 158, 160, 164,
165, 173, 176, 299, 300, 310, 311,
394, 555, 572
Буренин В. П. 559
Бурлюк В. Д. 506, 507
Бурлюк Д. Д. 122, 323, 325—329,
339, 497, 506—509, 573
Бурлюк Д. Д. (сын) 326
Бурлюк Д. Ф. 506
Бурлюк Л. Д. 506, 508, 509
Бурлюк Л. И. 506
Бурлюк М. Д. 506
Бурлюк М. Н. 323, 325—327
Бурлюк Надежда Д. 506
Бурлюк Николай Д. 506, 507
Бурлюки 326, 506—508
Бухарин Н. И. 356, 357, 535
Буцкий А. К. 69
Быков В. В. 573
Бэлза И. Ф. 573
Бютинг Н. Г., фон 158
Бялик Б. А. 323
- Вавилов С. И. 550
Ваганов Ф. М. 571
Валк С. Н. 550
Валуевы 34
Валуческие 565
Ван-Гог В. 504
Ван-Димен А. 189
Василевская В. 411

- Вассерман Я. 223
 Ватто А. 504
 Вахтангов Е. Б. 540
 Вашков Е. И. 50
 Вебер (Weber) К.-М., фон 241, 242
 Венгероу С. А. 94, 527, 529, 533
 Вевевитинов Д. В. 37, 555
 Вевявский Г. 27
 Вевявский Ю. 27
 Вевесаев В. В. 168, 300
 Вевещагин В. В. 555
 Веврлен П. 144, 145, 374, 397
 Веврхарн Э. 123
 Веврховские 245, 246
 Веврховский Ю. Н. 33
 Вевсединович Я. 160
 Вевселей А. 157, 162, 163, 516
 Вевлугин А. (Рындзюн В. И.) 188, 193, 310, 311
 Вевшев (Пржецлавский) В. Г. 108, 109
 Вевленкин В. Я. 570
 Вевлькина Л. Н. 234
 Вевльям Г. 164
 Вевниченко В. К. 163
 Вевноградов В. В. 561, 563
 Вевноградов Г. С. 406
 Вевноградовы 563
 Вевнокур Г. О. 364
 Вевсковатов П. А. 34, 42
 Вевзнесевский А. Н. 349, 499
 Вевлгин В. П. 554
 Вевлков Р. М. 540, 545
 Вевлкова Н. Б. 310, 571
 Вевлконский (Муравьев) Н. О. 520
 Вевлодарский В. 566
 Вевлодин А. И. 573
 Вевлошин М. А. 67, 94, 122—124, 164, 168, 378, 408, 413, 418, 555, 572, 573
 Вевльф М. О. 55
 Вевркунова Н. И. 426
 Вевронин С. Д. 297
 Вевронский А. К. 157, 179
 Веврошилов К. Е. 552
 Веврангель П. Н. 174, 177, 178, 193, 561
 Вевревская Н. П. 227, 231
 Вевсоцкая О. Н. 560
 Вевшинский А. Я. 444, 551
 Вевшипан Л. М. 200, 231
 Вевяземская В. Ф. 30, 38
 Вевяземская (Столыпина) М. А. 29
 Вевяземские 20, 29, 30, 35
 Вевяземский А. И. 29
 Вевяземский Павел П. 27—30, 33—46
 Вевяземский П. А. 20, 27—29, 33, 555
 Вевяземский П. П. 29
 Вевгабе Г. 543
 Вевгабори Э. 35, 46
 Вевгаврила, слуга 260
 Вевгаевский В. П. 39
 Вевгалифе Г., де 132
 Вевгалич А. А. 568
 Вевгалушкина Т. Г. 160
 Вевгамазин В. И. 365
 Вевгамсун К. 488
 Вевганф Ю. А. 477, 478
 Вевгапридашвили В. И. 573
 Вевгарин (Михайловский) Н. Г. 300
 Вевгарин Э. П. 576
 Вевгаршин В. М. 366, 442, 530, 555
 Вевгаспаров М. Л. 569, 574
 Вевгегель Г.-В.-Ф. 126
 Вевгедимин Г., вел. кн. 50
 Вевгейне Г. 20, 494, 529
 Вевгерасимов А. М. 491
 Вевгерасимов М. П. 93
 Вевгерасимов С. А. 568
 Вевгермоген, патриарх 139
 Вевгерцен А. И. 105, 169, 197, 248, 530, 550, 555
 Вевгершензон М. О. 92, 98, 164
 Вевгерштейн Э. Г. 560
 Вевгерье В. И. 197
 Вевгерье С. В. 197
 Вевгессен И. В. 180, 183, 194
 Вевгете И.-В. 28, 160, 355, 366, 392, 394, 397, 572
 Вевгидулянов, заключевнный 214, 215
 Вевгильдебрандт (Арбенина) О. Н. 236
 Вевгиляровский В. А. 33
 Вевгиммельфарб, следователь 212—216, 229
 Вевгинзбург Л. Я. 569
 Вевгинзбург Р. 268, 272, 290
 Вевгинце, студент 243
 Вевгиппиус В. В. 542
 Вевгиппиус Э. Н. 575
 Вевгитлер А. 324, 488
 Вевгладков А. К. 572, 573
 Вевгладков Ф. В. 527, 554
 Вевглазунов А. К. 555
 Вевглазунов И. И. 55
 Вевглен Н. Н. 558
 Вевглизер Ю. С. 576
 Вевглумов А. Н. 402, 407
 Вевглинка Ф. Н. 555
 Вевгневич Н. И. 555
 Вевгоген П. 507
 Вевгоголь Н. В. 48, 126, 169, 173, 366, 484, 568

- Гозенпуд А. А. 570
 Голицыны 20
 Голлербах Э. Ф. 246
 Головин А. Я. 294
 Гольдони К. 434
 Гонзаго (Gonzago) Л. 244
 Гонкуры Э. и Ж. 233
 Гончаров А. А. 573
 Гончаров И. А. 223, 555
 Гончарова А. Н. 40
 Гончарова Н. С. 498
 Гоппе Г. Д. 55
 Горбунов И. Ф. 28
 Горелов И. 226
 Горный С. (Оцуп А. А.) 181, 184
 Городецкий Г. Б. 363
 Городецкий С. М. 93, 94, 573
 Горожанин В. М. 336, 339, 358
 Горская Е. И. 157
 Горчаковы 20
 Горький А. М. 72, 91—95, 98, 123, 153, 160, 161—163, 176, 197, 202, 215, 226, 229, 256—258, 263, 265, 266, 269, 271, 273, 275, 280, 295—303, 305—309, 324, 326, 327, 363, 532, 535, 550, 559
 Гофман (Hoffmann) Э.-Т.-А. 67, 242
 Гоцци К. 242, 434
 Гоше Л. 188, 193
 Грей (Grey), де 262
 Греков Б. Д. 550
 Гренцион (Чулкова) А. И. 90—92
 Гржебин З. И. 194, 302, 304
 Грибоедов А. С. 555
 Грибунин В. Ф. 486
 Григорович Д. В. 33, 46—49, 224, 555
 Григорьев А. А. 392, 521
 Григорьев С. Т. 107
 Гризи К. 22
 Гримм В. и Я. 435
 Грин А. С. 10, 12, 67, 174, 249—253, 333, 426
 Грин Н. Н. 249—252, 333
 Гринберг Р. Н. 188, 194, 565
 Гринкруг Л. А. 336, 339, 354, 358, 362
 Грифцов Б. А. 91
 Гришечко-Климов А. М. 328—329, 363
 Громов, врач 201
 Гроссман В. С. 571, 573, 576
 Гроссман Л. П. 164, 572
 Гудзий Н. К. 554
 Гудиашвили Л. Д. 573
 Гудкова В. В. 570
 Гумилев Л. Н. 557, 560, 565
 Гумилев Н. С. 9, 12, 60—62, 92, 93, 98, 555, 559—561, 565
 Гумилева (Энгельгардт) А. Н. 61
 Гундулич И. 160
 Гуревич М. 569
 Гуро, генерал 316
 Гус Я. 195
 Гэреборд 76
 Гюго (Hugo) В. 123, 392, 432, 529
 Давыдов Д. В. 37
 Даллес А. У. 553
 Даль В. И. 160, 555
 Дальский М. В. 258, 263
 Дан (Гурвич) Ф. И. 180, 183
 Данилевский Г. П. 33, 46, 48—57
 Данилевский К. Г. 52
 Данилевский М. Г. 52
 Д'Аннунцио (D'Annunzio) Г. 245
 Данте А. 207, 396
 Дантес Ж.-Ш. 38, 565
 Даргомыжский А. С. 397
 Лацко, партийный и советский работник 250
 Дворищин И. Г. 256
 Дебюсси К. 248
 Девриен А. Ф. 55
 Дейч А. И. 69
 Декарт (Картезий) Р. 76
 Де Куинси (Квинси) Т. 143
 Дёлер (Шереметева) Е. С. 19—30
 Дёлер Т. 19—21, 23—27, 30, 31
 Делиб (Delibes) Л. 243
 Дельвиг А. А. 555
 Дельмас Ж. 258
 Дементьев А. Д. 561
 Демидовы 199, 200
 Деникин А. И. 123, 135, 166, 174, 177, 561
 Денисовский Н. Ф. 336, 339, 356, 364
 Державин Г. Р. 27, 92, 98
 Джонс Э. (Зиберт Е. П.) 351, 365
 Джулиани Р. 570
 Диккенс Ч. 488, 491
 Ди Лоренцо Т. 289
 Диоклетиан, имп. 159
 Добровольские 546
 Добролюбов П. А. 530
 Доброправов Б. Г. 486
 Доброхотова З. 240
 Добужинский М. В. 576
 Довженко А. П. 348
 Долгополова А. М. 200, 209, 226, 231
 Долгополова И. В. 227, 228, 231

- Долядзе Ф. Е. 328
 Дон-Аминадо (Шполянский А. П.)
 9, 10, 310, 311—322
 Донской М. С. 568
 Д'Ормевиль 269
 Дорошевич В. М. 124, 158, 164
 Достоевский Ф. М. 28, 33, 35, 43,
 45, 46, 55, 59, 72, 107, 126, 173,
 210, 456, 461, 465, 488, 493, 494,
 555, 568
 Драйзер Т. 465
 Дриго Р. 282
 Дроздов А. М. 163
 Дружинин Н. М. 554
 Дуайен, профессор 317
 Дубин Б. В. 574
 Дубов Н. И. 249—251
 Дудинцев В. Д. 553
 Дукельский С. С. 567
 Дункан А. 188
 Дуня, послушница 205, 207, 208
 Дурылин С. Н. 9, 366—407, 573
 Дыбенко П. Е. 174, 175, 177
 Дышник В. А. 75
 Дюамель Ж. 394
 Дягилев С. П. 258
- Евлогий, патриарх 235
 Евтушенко Е. А. 559, 573
 Ежов Н. И. 362, 365
 Екатерина II 49, 199, 200, 240
 Елпатьевский С. Я. 168
 Енукидзе А. С. 535
 Ермилов В. В. 330—332, 442, 559
 Есенин С. А. 92, 98, 160, 164, 188,
 329, 330, 334, 335, 344, 405, 498,
 533, 534, 573
 Есипова О. Д. 570
 Ефрон И. А. 209
- Жанна д'Арк 433
 Жданов Ю. А. 553
 Жевержеев Л. И. 510, 511
 Жемчугова П. И. 21
 Жемчужина П. С. 551
 Жемчужная Е. Г. см. Соколова Е. Г.
 Жемчужный В. Л. 335, 339, 362,
 364
 Жеромский С. 74
 Животовские 282
 Жигулин А. В. 445
 Жид А. 233
 Жирмунский В. М. 542, 554, 558
 Житомирская С. В. 570
 Жорж, князь 237, 243
 Жуков Г. К. 553
- Жуковский В. А. 37, 246, 389, 555,
 562
- Заболоцкий Н. А. 573
 Завадский Ю. А. 281
 Зайцев А. Д. 525, 574, 576
 Зайцев Б. К. 164, 302, 304
 Зайцев В. 240
 Зайцев П. Н. 70
 Заковский Л. М. 297, 298
 Залыгин С. П. 573
 Замятин Е. И. 164
 Захарова Т. 502
 Звягинцева В. К. 367, 371, 377—
 379, 397, 406
 Зданевич К. М. 334, 573
 Зелинский К. Л. 323, 388, 401
 Зельманова, художница 569
 Земская Е. А. 570
 Зензинов В. М. 188, 194
 Зенкевич М. А. 560
 Зильберштейн И. С. 312, 543, 544,
 555
 Зиновьев Г. Е. 280, 534, 535
 Золотницкий Д. И. 570
 Золя Э. 396
 Зорин Л. Г. 572
 Зоркая Н. М. 570
 Зоценко М. М. 157, 446, 528, 549,
 552, 573
- Ибсен Г. 488
 Иван, слуга 43
 Иван IV (Грозный) 296, 559
 Иван Дитя см. Ардов В. Е.
 Иванов В. Д. 448, 449
 Иванов Вс. В. 160, 573
 Иванов Вяч. И. 91, 94, 367, 373, 396
 Иванов Вяч. В. 557, 574
 Иванов Г. В. 566
 Иванов Гр. 175
 Иванов Ф. В. 181, 184
 Иванова В. А. 158
 Иванова Т. А. 35
 Игумнов К. Н. 196, 198, 203, 209
 Идрис, объездчик 325
 Измайлов А. Е. 34
 Изола 268
 Ильин А. А. 55
 Ильинский И. В. 478, 483
 Ильичев Л. Ф. 450, 563
 Ильф И. А. 484
 Илья Антипович, журналист 51
 Инбер В. М. 411, 426, 427, 513, 562
 Исмаицкий, заключенный 222
 Исмагулова Т. Д. 570

- Каверин В. А. 473, 542, 554, 572—574
 Каверина (Тынянова) Л. Н. 542, 548
 Каверины 528
 Каганович Л. М. 162
 Казаков Г. М. 245, 248
 Казаков М. Ф. 199
 Казаковы 246
 Казанова Дж. 235
 Казанский Б. В. 519, 522, 558
 Казин В. В. 93
 Кайзер, заключенный 225
 Каменев Л. Б. 534, 535
 Камепев С. С. 188, 193
 Каменский А. П. 164
 Каменский В. В. 323, 326, 328, 329, 336, 339, 363, 497
 Кант И. 137
 Канцель В. С. 293
 Капабланка Х.-Р. 134
 Капнист В. В. 555
 Караганов А. В. 570
 Кара-Дэмур С. С. 411, 423, 425
 Карамзин Н. М. 555, 559
 Карамзина Е. А. 34, 38, 40, 41
 Карамзины 34, 37, 558, 565
 Кара-Мурза С. Г. 353
 Карузо Э. 258, 266
 Кассиль Л. А. 336, 339
 Катаев В. П. 323, 513, 573
 Катанян В. А. 323, 324, 327, 333—335, 339, 340—348, 351, 353, 354, 356—359, 362, 365
 Катанян В. В. 357, 359, 364
 Катанян Г. Д. 323, 334—339, 348—354, 357—363
 Кафка Ф. 488, 557, 564
 Качалов В. И. 255, 386, 387, 390, 407
 Кашук М. Э. 282, 290
 Кедров М. Н. 480
 Керн А. П. 37
 Киплинг Р. 411, 422
 Киреев Б. М. 357
 Кирилenco К. Н. 254, 570
 Киров С. М. 532
 Кирсанов С. И. 323, 335, 336, 339, 354, 364, 513, 524
 Кирсанова К. К. 335, 336, 339, 348, 364
 Клауберг (Клаубергус) И. 76
 Клебер см. Штерн М. М.
 Клеман М. К. 542
 Клименко В. Н. 244
 Клочков М. В. 527
 Клюев И. В. 498
 Кнебель М. О. 480, 572
 Книпович Е. Ф. 563
 Коберт 143
 Ковальчик Е. И. 392, 407
 Коган А. Э. 181, 184
 Коген Г. 370, 380
 Кожевников В. М. 558
 Козинцев Г. М. 572
 Козинцев К. М. 554
 Козлов В. И. 218, 220
 Козлов И. И. 95, 96
 Козьмин Б. Н. 554
 Коладзе К. 573
 Колерус И. 75
 Колесников Б. Ф. 218
 Колоколов А. П. 244, 248
 Колпакчи Л. В. 484
 Кольцов М. Е. 323, 535
 Комарович В. Л. 533, 542
 Комиссаржевская В. Ф. 460, 510
 Комиссаржевская Е. 460
 Комиссарова-Дурылина И. А. 376, 396, 399, 401—406
 Конецкий В. В. 567, 568
 Контан 263
 Кончаловская О. В. 385
 Коншин А. Н. 208
 Коншин Н. Н. 208
 Коншин С. Н. 208
 Корженевский С. Н. 522, 523
 Коркина Е. Б. 122, 196
 Корнилов Б. П. 407, 408
 Корнфельд Г. К. 55
 Коробова Н. А. 254
 Коровин К. А. 258, 267, 296
 Королева Н. Г. 408, 499
 Короленко В. Г. 442, 443, 555
 Косолапов Р. И. 450
 Костриц Л. М. 244, 248
 Коцюбинский М. М. 160
 Кочетов В. А. 562
 Кравченко Л. И. 159
 Краевский А. Н. 214, 216, 225
 Крандиевская-Толстая Н. В. 181, 184
 Крандиевские 197
 Красин Л. Б. 180, 183, 308, 309
 Краснощекова Л. А. 339
 Красовский Ю. А. 576
 Крахт К. Ф. 366
 Крашенинникова Е. А. 403, 407
 Кржижановский С. Д. 9, 13, 67—88
 Криштофова М. В. 475
 Крпоткин П. А. 394
 Кружков Н. 37, 43
 Кружков В. С. 450

- Крупская Н. К. 481
 Крученых А. Е. 9, 323, 326, 339, 374, 497—524
 Крылов И. А. 555
 Крюденер М. 22
 Кузмин А. А. 247
 Кузмин М. А. 10, 12, 228, 232—248, 555, 557—559
 Кузина (Федорова) Н. Д. 247
 Кузины 239
 Кузнецов Ф. 569
 Кузьмина Н. Б. 567
 Кукольник Н. В. 555
 Кулешов Л. В. 323, 339
 Кульбин Н. И. 238, 363, 498
 Купер Д.-Ф. 52
 Куприн А. И. 95, 165, 170, 171, 174, 176, 299, 300, 317—319, 555, 572
 Курбас А. С. 69
 Кусевицкий С. А. 268
 Кусиков (Кусикян) А. Б. 180—182, 84, 185, 188
 Кучухидзе К. 324
 Кучухидзе Л. К. 324, 325
 Кучухидзе Н. 325
 Кушнер А. С. 569, 572
 Кушнер Б. А. 365
 Кюнер В. В. 243, 248
 Кюхельбекер В. К. 37, 537, 574

 Лавриненко, провокатор 456
 Лавров В. М. 49, 52
 Лавров И. И. 218, 219, 227
 Лавут П. И. 339
 Ладыженский В. Н. 164
 Ладыжников И. П. 306, 308
 Лазаревич Л. 160
 Лазаревский Б. А. 164, 572
 Лакшин В. Я. 11—16, 460
 Ланн Е. Л. 71, 75
 Ларионов М. Ф. 498
 Ларионова М. 240
 Лебедев-Полянский П. И. 72
 Лебле И. М. 258
 Левенсон А. А. 222
 Левидов М. Ю. 72, 73
 Левин А. С. 356
 Левинтон Г. 569
 Левицкий, заключенный 218
 Леже Ф. 492
 Лежнев И. Г. 70
 Ленин В. И. 132, 135, 160, 340, 341, 364, 443, 452, 458, 481, 571
 Ленц В. Ф. 22
 Леонардо да Винчи 235
 Леонидов Л. М. 288
 Леопов Л. М. 550, 573
 Леонарди Дж. 564, 566
 Лепешкин И. Л. 205
 Лепешкины 205
 Лермонтов М. Ю. 11, 12, 34, 35, 37, 40—42, 361, 383, 411, 422
 Лернер Н. О. 35
 Лесков Н. С. 49, 56, 226, 245, 248, 543, 555
 Лесючевский Н. В. 562, 563
 Либерати Л. 289
 Либерати Э. 282, 289
 Лидин В. Г. 103, 104, 107—109, 158, 160, 554, 572, 573
 Лидина Е. В. 573
 Линд М. В. 91
 Липкин С. И. 569
 Липскеров К. А. 572
 Лисовский Н. М. 527
 Лист Ф. 26
 Литвин (Шюц-Литвинова) Ф. В. 258
 Лихачев Д. С. 554
 Ллойд Джордж Д. 317
 Лобанов В. М. 33
 Лозинский М. Л. 372, 572
 Локс К. Г. 519, 520
 Локшина Х. А. 576
 Лондон Дж. 223
 Лотман Ю. М. 574
 Луконин М. К. 409, 413, 414, 418, 420
 Луначарский А. В. 255, 288, 341, 483, 566, 573
 Лундберг Е. Г. 74
 Луппол И. К. 535
 Лурье Я. С. 570
 Львовы 20
 Лядов А. К. 363
 Лядов К. Н. 243

 Маграчев А. 411, 417—419, 422
 Майков А. Н. 33, 46, 50, 57—59, 555
 Макарова Т. Ф. 568
 Маковский С. К. 90, 94
 Макогоненко Г. П. 411, 429—431, 434
 Малевич К. С. 498, 509—511
 Малер Г. 266
 Малиновская Е. К. 277
 Малкин Б. Ф. 339
 Малларме С. 125
 Малмстад Дж. 239, 247
 Мальцевы 29
 Мамин-Сибиряк Д. Н. 529
 Мамонтов С. И. 254

- Мангуби Р. 539
 Мандельштам Н. Я. 562, 565
 Мандельштам О. Э. 122, 123, 232, 236, 559, 560, 562, 563, 565, 569
 Мануйлов В. А. 35
 Маньковский А. В. 122
 Марголина О. Б. 90
 Марджанов А. К. 69
 Марджапов (Марджанишвили) К. А. 475, 483
 Марецкая В. П. 255
 Марий Гай 144
 Маритен Ж. 575
 Марказе Ж.-К. 499
 Марков В. 499
 Марков (Марков 2-й) Н. Е. 187, 191
 Маркс А. Ф. 55
 Маркс К. 137, 160, 206, 452, 456, 491
 Мартен дю Гар Р. 575
 Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) 187, 194
 Мартос И. П. 200
 Маршак С. Я. 372, 554
 Маршалл Дж.-К. 551
 Маслов Г. В. 533
 Маслово-Стокоз Л. Н. 209, 231
 Массне (Massenet) Ж. 243
 Масютин Н. В. 189, 194
 Матисс А. 507
 Матюшин М. В. 509—511
 Махно Н. И. 174, 177
 Маяковская Л. В. 354
 Маяковская О. В. 354
 Маяковские 324, 325
 Маяковский В. В. 10, 93, 122, 123, 222, 237, 323—365, 411, 427, 428, 433, 481, 482, 498, 499, 509—515, 573
 Маяковский В. К. 324
 Межиров А. П. 572
 Мейер В. 306—308
 Мейербер (Meyerbeer) Дж. 241
 Мейерхольд В. Э. 67, 330, 332, 335—337, 339, 479, 480, 482—484, 486, 492, 534, 571, 575
 Мейлах М. Б. 574
 Мейо В. 199
 Мелентьев М. М. 9, 196—231
 Мельников П. И. (Андрей Печерский) 245
 Мендельсон Я. 26
 Метнер Н. К. 366, 378, 382, 390, 407
 Метнер Э. К. 366, 376
 Мерзковский Д. С. 94, 575
 Мехлис Л. З. 362, 365
 Мец А. Г. 569
 Мешков Н. М. 109
 Мещанинов И. И. 550
 Микушевич В. Б. 569
 Милл Л. 570
 Милюков А. П. 49, 50, 55, 57
 Милюков П. Н. 310, 313
 Минин, заключенный 223, 224
 Минский (Виленкин) Н. М. 180, 184, 194, 234
 Митурич П. В. 569
 Михаил Павлович, вел. кн. 24—26
 Мицкевич А. 74, 397
 Модзалевский Л. Б. 533
 Моисси А. (Сандро) 493, 494
 Молдавский Д. М. 573
 Молок Ю. А. 569
 Молотов В. М. 551, 552
 Молчапов И. Н. 162
 Мольер Ж.-Б. 245, 335
 Монахов Н. Ф. 283
 Монготье (Mongauetier) 240
 Мопассан Г'и, де 540
 Мордвинов, граф 506—508
 Мордовченко Н. И. 542, 547, 548
 Мори (Mori), каноник 244
 Морозов А. А. 569
 Морозов М. М. 372, 390, 398, 401, 407
 Морозов П. О. 102
 Морской Л. Л. 576
 Москвин И. М. 486
 Моцарт (Mozart) В.-А. 242, 245, 397
 Мошкова (Кузмина) В. А. 247
 Мошкова Л. С. 245
 Мстиславский С. Д. 70
 Муйжель В. В. 302—305
 Муньоне Л. 260, 261
 Муравьев Н. Н. 433
 Муравьевы 20
 Муратов П. П. 91
 Мусоргский М. П. 259, 396, 397
 Мюллер В. К. 522
 Мясоедова, гимназистка 242
 Мясоедовы 241, 242
 Набоков В. В. (Сирин) 93, 95, 99, 101, 180
 Надеинская Т. Г. 544, 547
 Надсон С. Я. 555
 Наживин И. Ф. 164, 166
 Назым Хикмет Р. 336, 339
 Нансен Ф. 317
 Наполеон I 193
 Наровчатов С. С. 9, 408—440, 564
 Наровчатова О. С. 415, 416

- Насимович А. Ф. 108, 109
 Настасья, прислуга 241
 Паумова А. О. 372
 Пезданова А. В. 295
 Незнамов П. В. 336, 339, 354, 364
 Нейгауз Г. Г. 69
 Некрасов Н. А. 43, 44, 47, 48, 50, 56, 555
 Немирович-Данченко Вас. И. 163, 171
 Немирович-Данченко Вл. И. 483, 485, 517
 Нерлер П. М. 569
 Нестеров М. В. 196, 366, 390, 407
 Нечкина М. В. 554
 Никитин Д. В. 197, 202, 203, 209, 215, 225, 226, 229
 Никитина Е. Ф. 14, 15, 71
 Николаев А. С. 532, 533
 Николаевский Б. И. 164
 Николай I 19, 21, 24, 26, 151
 Николай II 236
 Николини Д.-Б. 27
 Никулин Л. В. 323, 561
 Нинов А. А. 570
 Ницше Ф. 488
 Нольте, прислуга 194
 Новиков И. А. 164
 Нувель В. Ф. 245
- Одоевцева И. В. 561
 Ознобишин Д. П. 273
 Оксман А. П. 525, 528, 534, 536—550
 Оксман Ю. Г. 10, 303, 525—566, 573
 Оленцев, следователь 213—215, 220
 Олеша Ю. К. 157, 323, 354, 513, 516, 576
 Омер де Гелль (Hommaire de Hell) А. 35, 42
 Опочинин Е. Н. 12, 32—59
 Опочинин Ф. К. 33
 Опочинина Л. Е. 33
 Орленев П. Н. 165, 494
 Орлов А. С. 542
 Орлов В. Н. 557
 Осмеркин А. А. 74
 Осоргин М. А. 91
 Островский А. Н. 67, 484
 Остроумова-Лебедева А. П. 572
 Остроухов, заключенный 216
 Остужев А. А. 493
 Офрен Ж. 240
- Пабст П. А. 206
 Павленко П. А. 35
- Палмерс (Palmers) 262
 Панаев И. И. 47
 Панаева (Головачева) А. Я. 47, 48
 Панова В. Н. 573
 Панферов Ф. И. 157
 Параджанов С. И. 349
 Парменид 85
 Парнис А. Е. 499
 Парнок С. Я. 92
 Паскевич И. Ф. 433
 Пастернак А. Л. 521
 Пастернак Б. Л. 9, 12, 103, 164, 338—348, 364—407, 411, 422, 428, 433, 446, 465, 497, 499, 513—524, 552, 557, 559, 564, 573, 575
 Пастернак Е. Б. 516, 524, 569
 Пастернак (Нейгауз) З. Н. 514—516, 521
 Пастернак Л. О. 341, 367, 390, 391
 Паустовский К. Г. 473, 576
 Паша, домработница 354, 365
 Пашков П. П. 282, 283, 285, 287
 Пейкер А. И. 244, 248
 Пейкер М. Г. 248
 Пеллико С. 27
 Пеняев (Бекханов) И. П. 273
 Перельман, заключенный 223
 Перкина Е. 460
 Петипа М. И. 22
 Петр I 182, 219
 Петров Г. С. (Русский) 180, 183, 247
 Петров Е. П. 484
 Петрова В. 460
 Петровская Н. И. 100, 101
 Петровский М. А. 570
 Петровых М. С. 558, 561, 565, 572
 Печаткин В. П. 55
 Печкин Н. Н. 203, 209, 215, 225, 227, 229
 Пешкова Е. П. 204, 298
 Пикассо П. 491, 492
 Пиксанов Н. К. 527, 542, 554
 Пильняк (Vogay) Б. А. 9, 10, 12, 35, 103, 107, 157, 160, 161, 163—165, 176, 179, 180, 182—187, 189—195
 Пильский П. М. 124
 Пинегин Н. В. 189, 194
 Пирет 85
 Пиросманишвили Н. А. (Нико) 335
 Пирр 191
 Писемский А. Ф. 529
 Платон 50
 Платонов А. П. 575
 Платонов С. Ф. 531—533

- Плейель Ж.-К. 22
 Плиний Старший 136
 Плисская М. М. 349
 По Э.-А. 67
 Подгурская К. 242
 Подкопаева Ю. Н. 233
 Подъячев С. П. 161
 Покровский С. А. 223
 Поленовы 197
 Поликарпов Д. А. 562, 563
 Полонский В. В. 336, 338, 339, 364
 Полонский В. П. 343—345, 364
 Полонский Я. П. 33
 Поляков М. 562
 Померанец Г. С. 569
 Попов А. Д. 162, 480
 Попов И. В. 199
 Попов П. А. 576
 Попов П. С. 35
 Попова О. Н. 299
 Поссе В. А. 299
 Поссо 79
 Постников С. Т. 188, 194
 Постышев В. 466
 Пресняков А. Е. 531—533
 Приедитис А. 574
 Примаков В. М. 362
 Пришвин М. М. 174, 175, 573
 Прокофьев А. А. 563, 573
 Прокофьев С. С. 74, 248, 329, 363, 397, 551
 Протасова Н. Д. 28
 Протопоповы В. Д. и Д. Д. 299
 Пруст М. 394
 Пуни И. А. 180, 184, 194
 Пунин Н. Н. 560
 Путята Н. В. 562
 Пушкин А. С. 11, 12, 19, 20, 27, 29, 32—34, 36—40, 45, 58, 67, 89—93, 95, 98, 101, 102, 126, 158, 159, 196, 215, 220, 234, 245, 293, 295, 296, 329, 330, 357, 383, 392, 397, 407, 479, 514, 530, 532, 534, 535, 537, 540, 542, 544, 550, 555, 556, 558, 562—565, 572
 Пушкин Анд. К. 497
 Пушкина Н. Н. 40, 565
 Пущин И. И. 37
 Пшеченко Е. Ф. 464, 465
 Пырьев И. А. 568
 Пясты 433
 Пятницкий К. П. 297—309

 Рабинович Л. И. 576
 Радлов Н. Э. 576
 Радлов С. Э. 493
 Радлова А. Д. 372
 Раевский С. см. Дурылин С. Н.
 Разгон Л. Э. 567
 Разумный А. Е. 576
 Райнис Я. 574
 Райт К. 570
 Райх Э. Н. 335, 336, 339
 Раневская Ф. Г. 576
 Рапп Е. Ю. 575
 Раскольников Ф. Ф. 236, 513, 574, 575
 Распутин Г. Е. 317
 Ратгауз Д. М. 164
 Рафаэль Санти 357, 396
 Рахманинов С. В. 258
 Рашковская М. А. 366
 Рембо А. 513
 Рембрандт Х.-Р., ван 505
 Ремизов А. М. 160, 164, 173—176, 180, 184, 187, 189, 192—194, 555
 Ремизова С. П. 189
 Ренан Ж.-Э. 208
 Ренн (Wrenn) К.-Л. 388, 407
 Репин И. Е. 53, 274, 366
 Репинский, студент 243
 Рескин Дж. 394
 Рид Т.-М. (Майн-Рид) 321
 Рид Х. 373, 394, 407
 Рикорди (Ricordi) 262
 Рильке (Rilke) Р.-М. 370, 380—383, 394, 407, 433
 Римейко В. 43
 Римский-Корсаков Н. А. 243, 258, 265
 Рихтер (Richter) Ж.-П. 242
 Рогожин, следователь 213
 Родионов Л. Л. 441
 Родченко А. М. 323, 336, 337, 339, 364
 Розанов В. В. 197, 248
 Розанов И. Н. 572
 Розанова О. В. 498
 Роллан Р. 222
 Ромм М. И. 567, 576
 Ромов С. М. 222, 223
 Росимов (Офросимов) Ю. В. 181, 184
 Росси Г. 26
 Россини Дж. 26, 241
 Рошаль Л. М. 567
 Рубинштейн А. Г. 49, 54
 Рубинштейны 27
 Рудаков С. Б. 562
 Рукавишников И. С. 394
 Руслан, крестьянин 296
 Руссо Ж.-Ж. 394
 Руставели Ш. 411, 418

- Рыжков Н. И. 572
 Рылеев К. Ф. 530, 550, 555
 Рыльский М. Ф. 554
 Рындина М. Э. 90
 Рябова Н. Ф. 332
 Рябушинский Н. П. 226
- Савонарола Дж. 169
 Савченко А. Г. 576
 Сад Д.-А.-Ф., де 234
 Садовской Б. А. 91
 Сажин В. Н. 569
 Сакулин П. Н. 533
 Салтыков (Щедрин) М. Е. 12, 44, 45, 555
 Самойлов Д. С. 410, 572, 573
 Сарьян М. С. 573
 Сахни К. 570
 Свешникова А. Н. 233
 Свешниковы З. и Б. 339
 Свиный П. П. 34
 Свистальский В. А. 196, 198—201, 203, 204, 208—210, 221, 226, 228, 231
 Северянин И. 122, 123, 134, 555
 Седов Г. Я. 189
 Седых Ф. С. 576
 Сезанн П. 507
 Сельвинский И. Л. 573
 Семен, слуга 37, 43
 Семенова А. П. 539, 545, 548
 Семенова Т. П. 539, 540
 Семеновский С. А. 23
 Сенфф Б. (Senff) 245
 Сенявин А. А. 243
 Серафим Саровский 191
 Серафимович А. С. 165, 299, 300, 302, 304
 Сервантес Сааведра М., де 570
 Сергеев-Ценский С. Н. 35, 164, 168
 Серебров Н. 327
 Серебрякова А. Е. 456
 Серов В. А. 258, 271, 296, 341
 Сетницкая О. Н. 407
 Сечкарев В. М. 565
 Сидоров А. А. 369
 Сидоров Г. А. 363
 Сизов Василий см. Горький А. М.
 Симонов К. М. 410, 428, 448, 465
 Симонов Р. Н. 74, 572
 Симонов С. М. 209, 231
 Синякова М. М. 498
 Сиротинская И. П. 60
 Скандерберг К.-Г. 475, 480, 481
 Скиталец С. Г. 165
 Скобцва И. К. 480
- Скотт В. 241, 420
 Скрыбин А. Н. 341, 378
 Славин Л. З. 573
 Славский К. Г. 201, 203, 209
 Слалцев Я. И. 174, 177
 Словацкий Ю. 433, 516, 517, 520
 Слонимский М. Л. 528
 Слуцкий Б. А. 349, 559, 560, 572
 Случевский К. К. 382
 Смеляков Я. В. 412, 440
 Смелянский А. М. 570
 Смирнов В. А. 175, 176
 Смирнова (Россет) А. О. 37
 Смирнова И. 500
 Смирнова Н. А. 197
 Смоленский С. В. 245, 248
 Снытко Н. В. 19, 258
 Собинов Л. В. 326
 Соболевский С. А. 32
 Соболев А. 124
 Сокольский П. П. 49, 53
 Соколов (Кречетов) С. А. 101
 Соколов-Микитов И. С. 15, 157, 158, 160, 165, 174—180, 184, 192, 193
 Соколова Е. Г. 335, 339, 362, 364
 Соколова Л. В. 282
 Соколова М. А. 186
 Солженицын А. И. 10, 15, 441—474, 559, 560, 563
 Соловьев Н. Ф. 243
 Сологуб Ф. К. 92, 93, 97—100, 555
 Сомов К. А. 233—235
 Соснора В. А. 349
 Софроницкая И. И. 390, 407
 Софронов А. В. 492
 Спендель де Варда Д. 570
 Спенсер Г. 137
 Спиноза Б. 75, 76
 Сталин И. В. 10, 360—362, 365, 441, 443, 445, 453, 456, 462, 463, 467—469, 472, 473, 535, 553, 560, 563, 564, 567, 570
 Станиславский К. С. 478, 483
 Стасов В. В. 258, 263—265, 294
 Стасюлевич М. М. 55
 Стахович М. А. 276
 Стенич Л. Д. 562, 565
 Степанов Н. Л. 546, 548
 Степанова В. Ф. 336, 337, 339, 364
 Степун Ф. А. 565
 Стефаник В. С. 160
 Стивенсон Р.-Л. 138
 Страбон 136
 Стравинский И. Ф. 248
 Страхов Н. Н. 521

- Строгановы 563
 Струве Г. П. 556, 565
 Стюарт В. Д. 258
 Стюарты 259
 Суворин А. С. 55, 102
 Суворова К. Н. 233, 236, 246
 Судейкин С. Ю. 237, 576
 Суриков В. И. 385, 407
 Сурков А. А. 375, 407, 558, 563, 564
 Сутырин В. А. 331, 332
 Сухотина (Толстая) Т. Л. 215
 Сучков Б. Л. 558
 Сыроечковский Б. Е. 530
- Т**
 Табидзе Т. Ю. 514
 Таиров А. Я. 67, 69, 70, 74, 162
 Талейран Ш.-М. 169
 Таль Б. М. 362, 365
 Тальберг З. 26
 Тарасова А. К. 295
 Тарле Е. В. 543, 554
 Тарханов М. М. 486, 487
 Татлин В. Е. 356
 Твардовский А. Т. 174, 441—443, 446, 449—451, 453, 454, 457, 464, 465, 473, 558, 561, 576
 Телешов Н. Д. 165, 255, 299, 300
 Теляковский В. А. 263
 Тендряков В. Ф. 573
 Тик Л. 242
 Тименчик Р. Д. 232
 Тихонов Н. С. 323, 411, 426, 428, 550
 Тихонов П. Г. 470
 Тициан 336
 Тоддес Е. А. 536, 537, 555, 569, 574
 Толлер Э. 484
 Толмачев М. В. 233
 Толстой А. К. 27, 28, 555
 Толстой А. Н. 157, 160, 164, 176, 181, 184, 192, 193, 295, 555
 Толстой Л. Н. 13, 15, 28, 48, 94, 158, 167, 173, 183, 192, 202, 215, 223, 248, 349, 355, 378, 388, 394, 398, 411, 485, 488, 493, 494, 568
 Томашевский Б. В. 554, 561, 563
 Третьяков В. К. 232
 Трезвинский С. Е. 277
 Тренев К. А. 521
 Третьяков П. М. 390
 Третьяков С. М. 339, 342, 354, 359, 513
 Третьякова О. В. 339, 353, 358
 Триоле Э. 565
- Т**
 Трифонов Ю. В. 572
 Тришатов (Добровольский) А. А. 9, 13, 103—121
 Троцкий Л. Д. 484
 Трубецкой П. П. 266
 Тувим Ю. 74, 433
 Тур Евгения (Салиас де Турнемир Е. В.) 27
 Тургенев И. С. 33, 35, 45, 388, 530, 555
 Туровский, заключенный 219
 Тухачевская С. 466
 Тынянов Ю. Н. 476, 533, 540, 542, 549, 573, 574
 Тыняновы 528
 Тырса Н. А. 558
 Тютчев Ф. И. 28, 375, 383, 396, 555
- У**
 Уайльд О. 247, 573
 Уланова Г. С. 551
 Успенский Н. В. 442
 Уэллс Г. 124, 432
- Ф**
 Фадеев А. А. 255, 363, 375, 573
 Файко А. М. 554
 Фальборк Г. А. 299
 Фальковская Е. А. 305
 Фальковские 302, 305
 Фаррер К. 143
 Федин К. А. 93, 160, 250, 498, 499, 519—521, 528, 549, 550, 554
 Федоров Н. Ф. 13
 Федотов Г. П. 575
 Фельдман Д. М. 67
 Феррари Е. К. 93
 Фет А. А. 375, 398, 407, 515
 Фигнер Н. Н. 274
 Филарет, патриарх 139
 Филатов Н. Ф. 264
 Филиппов Д. И. 528
 Филонов П. И. 499, 509, 511
 Философов Д. В. 575
 Фильч К. 22
 Флейшман Л. С. 556
 Флобер Г. 125, 223
 Фореггер Н. М. 475, 481, 482
 Франко Б.-Ф. 321
 Франко И. Я. 160
 Франс А. 183
 Франтишев, журналист 422
 Франчук В. 460
 Фредро А. 74
 Фрейд З. 488, 515
 Фридман Ю. А. 444, 445, 462—464
 Фриче В. М. 162

- Фромантен Э. 223
 Фуже Ф. 242
- Халатов А. Б. 356, 358, 365
 Халлер Л. 570
 Хамидулин Н. 428
 Харджиев Н. И. 499
 Хемингуэй Э. 540
 Хлебников В. В. 326, 411, 427, 428,
 497—499, 502, 509, 513, 559
 Хмелев Н. П. 485—487
 Хмельницкая Н. Б. 332, 333
 Ходасевич В. Ф. 9, 10, 12, 89—102,
 122, 164, 232
 Ходасевич Ф. И. 89
 Холин, заключенный 225
 Холодовский А. М. 225
 Хорава А. А. 573
 Хохлова А. С. 323, 339
 Храпченко М. Б. 519, 520
 Хрущев Н. С. 231, 443, 451, 473,
 553, 564, 567
- Цаплин В. В. 571
 Царевская Е. 240
 Цветаева А. И. 197
 Цветаева М. И. 93, 95, 232, 312,
 313, 341, 364, 373, 394, 395, 397,
 398, 400, 406, 407, 411, 427, 428,
 499, 563, 564, 576
 Церетели А. А. 282, 290
 Цивьян Ю. Г. 574
 Циглер Р. 499
 Цицерон М.-Т. 154
 Цявловская Т. Г. 563
 Цявловские 542
 Цявловский М. А. 534, 535, 554
- Чагин П. И. 387, 391, 392, 400, 407,
 516, 519—521
 Чайковский П. И. 209, 326, 396
 Чаковский А. Б. 461
 Чаплин Ч. 487—491
 Чарнолуцкий В. И. 299
 Челлини Б. 289
 Чернов В. М. 180, 183, 194
 Черный Саша (Гликберг А. М.)
 160, 165, 170—174
 Черных В. А. 556
 Чернышев Н. М. 367
 Чернышевы 367
 Черчилль У. 553, 564
 Чесноков, плотник 296
 Честертон Г.-К. 70
 Чехов А. П. 15, 126, 143, 161, 388,
 494, 505, 529, 555
- Чехов М. А. 189, 255
 Чиковани С. И. 572, 573
 Чириков Е. Н. 164—170, 299,
 300
 Чичерин Б. Н. 242
 Чичерин Г. В. 237, 239, 240, 242—
 245
 Чудакова М. О. 536, 537, 555, 569,
 570, 573, 574
 Чужак Н. Ф. 346, 365
 Чуковская Л. К. 560
 Чуковский К. И. 94, 170, 334, 372,
 512, 513, 551, 554, 555, 558, 572
 Чулков Г. И. 94, 164, 302, 304
 Чухрай Г. Н. 479
 Чушкин Н. Н. 517
 Чхеидзе У. В. 483
- Шагинян М. С. 90, 91, 93, 573
 Шаламов В. Т. 572, 576
 Шаляпин Б. Ф. 257, 278, 282, 283,
 285, 287, 289, 291
 Шаляпин И. Ф. 257, 259, 260
 Шаляпин Ф. И. 9, 254—296, 396, 568
 Шаляпин Ф. Ф. 256, 257, 282, 283,
 285, 289, 292
 Шаляпина Д. Ф. 256, 289
 Шаляпина (Торнаги) И. И. 254, 255,
 257—281
 Шаляпина И. Ф. 254—257, 260, 278,
 281—296
 Шаляпина Л. Ф. 257, 260, 278, 280—
 282, 284, 289
 Шаляпина Марина Ф. 256, 289
 Шаляпина (урожд. Элухен; Пет-
 цольд) Мария В. 256
 Шаляпина Марфа Ф. 256, 289
 Шаляпина Т. Ф. 257, 281, 282, 284,
 287, 289
 Шахматов А. А. 527
 Шевченко Ф. В. 486
 Шекспир У. 67, 73, 241, 245, 372,
 374, 386, 388—390, 392, 393, 395,
 399, 400, 407, 428, 493, 516, 517,
 522
 Шенгелая Н. М. 335
 Шенгели Г. А. 9, 14, 72, 122—156
 Шервинский С. В. 164, 572
 Шергова Г. М. 411, 431
 Шереметев Д. Н. 20
 Шереметев Н. Д. 21
 Шереметев Н. П. 20
 Шереметев П. С. 31
 Шереметев С. В. 20, 26
 Шереметев С. Д. 20, 27—30, 32
 Шереметева А. С. 20—22, 25

- Шереметева (Алмазова) В. П. 20, 23—26
- Шереметева (Вяземская) Е. П. 20, 28—31
- Шереметевы 19, 25, 30
- Шестов Л. И. 575
- Шилейко В. К. 557
- Шиллер И. 407
- Шилов Л. А. 569
- Шишков В. Я. 174
- Шкафер В. П. 273
- Шкловский В. Б. 157, 323, 339, 341, 349, 476, 528, 573
- Школь, заключенный 224
- Школьник И. С. 509—511
- Шляпкин И. А. 527, 529, 533
- Шмаков Г. Г. 246
- Шмелев И. С. 168
- Шмидт П. П. 343
- Шолохов М. А. 553
- Шопен Ф. 12, 21—23, 26, 373, 395—397, 407
- Шопенгауэр А. 134
- Шостакович Д. Д. 573
- Шоу Дж.-Б. 67, 488, 492
- Шпенглер О. 195
- Шполянская Н. М. 312
- Штейнер Р. 195
- Штеренберг Д. П. 364
- Штеренберг Н. 339
- Штеренберг Ф. Д. 337, 339, 364
- Штеренберги 336
- Штерн Мальвина М. 539, 547
- Штерн М. М. (генерал Клебер) 444, 445
- Штернберг А. А. 572
- Шторм Г. П. 72
- Штраух М. М. 481, 484, 572, 576
- Шуберт Ф. 241
- Шубинский С. Н. 49, 52, 53, 56
- Шувалов Б. В. 363
- Шумихин С. В. 232, 569, 574
- Шумяцкий Б. З. 567
- Шухаев В. И. 547
- Щаденко (Денисова) М. 351, 365
- Щеголев П. Е. 35, 527, 536, 558
- Щеголева В. А. 559
- Щеголевы 559
- Щербаков А. С. 535
- Щербина Н. Ф. 50, 56
- Эйзенштейн С. М. 461, 475, 479, 483—485, 567, 569
- Эйхенбаум Б. М. 476, 528, 533, 554, 572
- Эйхенбаум Д. Б. 546
- Эйхенбаумы 546
- Экк Н. В. 576
- Эксархиди 544
- Экскузович И. В. 277, 282
- Экстер А. А. 562
- Эллис (Кобылинский Л. Л.) 366, 397
- Энесидем (Энезидем) 85
- Эрар С. 22
- Эредиа Ж.-М., де 123
- Эренбург И. Г. 164, 180, 184, 351, 365, 410, 491, 518, 519, 524, 535, 554, 555, 576
- Эспинати Марати (Espinati Marati) 244
- Эткинд М. Г. 510
- Эфрос А. М. 196, 209
- Юденич Н. Н. 187
- Юрин М. П. 329—332, 363
- Юрковский Б. 327
- Юркун Ю. И. 236, 237, 246
- Юсуп, казахский поэт 338, 339
- Юсупов Ф. Ф. 317
- Ютанов В. П. 105, 109
- Юткевич С. И. 9, 475—494, 568, 573
- Юшкевич С. С. 124
- Яблоновский А. А. 99, 101
- Яблочков П. Н. 191
- Ягеллоны 433, 437
- Ягода Г. Г. 197, 229, 298, 321
- Якобсон Р. О. 355, 476
- Яковлев А. С. 91
- Яковлев В. Н. 294
- Яковлев, юрист 230
- Яковлева Т. А. 351, 352, 365
- Якубович, следователь 213
- Ямпольский М. Б. 574
- Яншин М. М. 336, 338, 339, 364
- Янтарев Е. Л. 91
- Ярошенко Н. А. 220
- Яшвили П. Д. 514
- Яценко А. С. 164, 180, 184, 193, 194

СОДЕРЖАНИЕ

- 9 От редколлегии
- 11 Месса по минувшему. В. Лакшин
- ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ
- 19 ДВЕ ТЕНИ ОСТАФЬЕВСКОГО ПАРКА
Публикация Н. В. Снытко
- 32 ВОСПОМИНАНИЯ Е. Н. ОПОЧИНИНА
Публикация Е. В. Бронниковой
- 60 •И КАК ОГНЕННЫЕ ЗАРНИЦЫ ПОЛЫХНУЛИ ДОБРО И ЗЛО...
(Вторая песнь «Поэмы начала» Н. С. Гумилева)
Публикация И. П. Сиротинской
- 67 •КАНОНАДА ПО КАНОНАМ•
(Рассказы С. Д. Кржижановского)
Публикация Д. М. Фельдмана
- 89 «...Я ОЧЕНЬ СЛЕЖУ ЗА ВАШИМИ ОТЗЫВАМИ...»
(Письма В. Ф. Ходасевича Ю. И. Айхенвальду)
Публикация Е. М. Бени
- 103 МОНТАЖ ПОРТРЕТА ПИСАТЕЛЯ
(Рассказ А. Тришатов «Тысячебратское»)
Публикация С. Г. Блинова
- 122 ОЧЕРКИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ТЫЛА
(Главы из романа-хроники Г. А. Шенгели «Черный погон»)
Публикация А. В. Маньковского
- 157 ЗАГРАНИЦА
(Воспоминания Г. В. Алексеева и очерк Б. А. Пильняка)
Публикация Е. И. Горской
- 196 МОЙ ЧАС И МОЕ ВРЕМЯ
(Главы из воспоминаний М. М. Мелентьева)
Публикация Е. Б. Коркиной
- 232 ИЗ ДНЕВНИКА МИХАИЛА КУЗМИНА
Публикация С. В. Шумихина
- 249 НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Сообщение И. Э. Бердан
- 254 СУДЬБА АРХИВА Ф. И. ШАЛЯПИНА
Сообщение К. Н. Кириленко и Н. А. Коробовой
- 297 АРХИВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗНАНИЕ»
Сообщение С. Д. Воронина
- 310 «МНЕ... НЕОБХОДИМО ВАМ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ СОВЕРШЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПОЭТ...»
(Из парижского архива Дон-Аминадо)
Публикация Н. Б. Волковой
- 323 СОВРЕМЕННОКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
(Воспоминания о В. В. Маяковском)
Публикация И. И. Аброскиной
- 366 ДВЕ СУДЬБЫ
(Б. Л. Пастернак и С. Н. Дурылин. Переписка)
Публикация М. А. Рашковской

- 408 ПИСЬМА С. С. НАРОВЧАТОВА К О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ
 Публикация Н. Г. Королевой
- 441 ВОКРУГ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
(Письма читателей в редакцию «Нового мира»)
 Публикация Л. Л. Родионова
- 475 КОНТРАПУНКТ РЕЖИССЕРА
(Письмо В. Ардова С. Юткевичу)
 Публикация М. В. Криштофовой

ОБЗОРЫ ФОНДОВ

- 497 «МИРСКОНЦА»
(Из архива А. Е. Крученых: стихи, воспоминания, письма Б. Л. Пастернака)
 Обзор А. К. Пушкина
- 525 «ЧЕЛОВЕК ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ...»
(Набросок портрета Ю. Г. Оксмана по материалам его архива)
 Обзор А. Д. Зайцева
- 567 ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ
(Из хроники ЦГАЛИ)
- 577 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Редактор Т. И. Киреева
 Художественный редактор Е. Н. Заломнова
 Технический редактор В. А. Преображенская
 Корректоры Л. В. Кожкина, Т. А. Лебедева

Сдано в набор 20.02.90. Подп. в печать 17.09.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типографская № 2. На вкл. офсетная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76 (в т. ч. вкл. 1,68). Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 37,25 (в т. ч. вкл. 1,32). Тираж 100 000 экз. Заказ № 1115
 Цена 2 р. 60 к. Изд. инд. ИЗ—602.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Госкомиздата РСФСР. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электро-сталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

